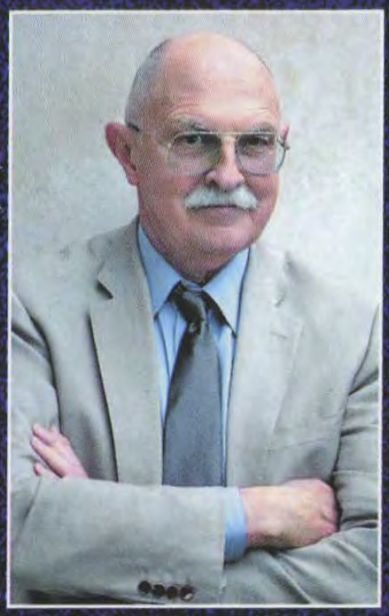

Рэндалл КОЛЛИНЗ

Один из наиболее известных
и признанных в мире
современных социологов

Профессор социологии
в Университете штата Пенсильвания
(Филадельфия, США)

МАКРО-ИСТОРИЯ

Очерки социологии БОЛЬШОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

Перевод с английского
Н. С. Розова

Randall Collins

MACROHISTORY
Essays in Sociology of the Long Run

URSS

Рэндалл КОЛЛИНЗ

Профессор социологии в Университете штата Пенсильвания (Филадельфия, США), экс-президент Американской социологической ассоциации. Является одним из наиболее известных и признанных в мире современных социологов, автором многих ярких и глубоких книг, в том числе: «Социология конфликта: По направлению к объяснительной науке» (1975), «Общество дипломов: Историческая социология образования и стратификации» (1979), «Четыре социологические традиции» (1985, 1994), «Веберианская социологическая теория» (1986), «Социология философий: Глобальная теория интеллектуального изменения» (1998; русский перевод 2002), «Цепочки интерактивных ритуалов» (2004), «Насилие: Микросоциологическая теория» (2008), «Есть ли у капитализма будущее?» (совместно с Иммануилом Валлерстайном и др.; 2014). В настоящее время Р. Коллинз ведет исследования в таких областях, как социология насилия, высокотехнологичные войны, динамика эмоций в групповом поведении.

В своей книге «Макроистория: Очерки социологии большой длительности» Р. Коллинз собрал свои самые значительные теоретические работы в области исторической макросоциологии: геополитические теории демократии, революций, этничности, оригинальные концепции эволюции рынков, четырех процессов модернизации, становления капитализма в Азии. Здесь же представлена статья с методологическим анализом предсказания распада «Советской империи» (Варшавского блока и СССР), которое Р. Коллинз сделал в 1980 г. на основе своей общей геополитической теории и анализа данных по обеим сверхдержавам.

О переводчике

Николай Сергеевич РОЗОВ

Доктор философских наук, профессор. Автор более 250 научных работ, в том числе книг «Структура цивилизации и тенденции мирового развития» (1992), «Философия гуманитарного образования» (1993), «Ценности в проблемном мире: Философские основания и социальные приложения конструктивной аксиологии» (1998), «Философия и теория истории: Пролегомены» (2002), «Историческая макросоциология: Методология и методы» (2009), «Колея и перевал: Макросоциологические основания стратегий России в XXI веке» (2011). Составитель и научный редактор альманаха «Время мира» и серии коллективных монографий «Теоретическая история и макросоциология». Перевел (совместно с Ю. Б. Вертгейм) фундаментальный труд (1270 стр.) Р. Коллинза «Социология философий: Глобальная теория интеллектуального изменения» (2002).

Наше издательство предлагает следующие книги:

15558 ID 191747

9 785971 017080

Издательская группа URSS

Каталог изданий в Интернете: http://URSS.ru

E-mail: URSS@URSS.ru

117335, Москва, Нахимовский проспект, 56

Телефон / факс (многоканальный) +7 (499) 724 25 45

Отзывы о настоящем издании, а также обнаруженные опечатки присылайте по адресу URSS@URSS.ru. Ваши замечания и предложения будут учтены и отражены на web-странице этой книги на сайте http://URSS.ru

Randall Collins

MACROHISTORY

ESSAYS IN SOCIOLOGY OF THE LONG RUN

Stanford University Press

Рэндалл Коллинз

МАКРОИСТОРИЯ

Очерки социологии большой длительности

Перевод с английского и послесловие
доктора философских наук, профессора
Н. С. Розова

URSS
МОСКВА

ББК 60.58.0 63.3(0) 65.03 71.0 87.3

Коллинз Рэндалл

Макроистория: Очерки социологии большой длительности. Пер. с англ. / Послесл. Н. С. Розова. — М.: УРСС: ЛЕНАНД, 2015. — 504 с.

Книга одного из наиболее выдающихся современных социальных исследователей Рэндалла Коллинза является блестящим образцом теоретического и динамического подхода в исторической макросоциологии («макроистории»). Автор отчасти «собирает сливки» лучших достижений в этом бурно развивающемся направлении, представляя и умело соединяя концепции наиболее глубоких и основательных исторических социологов и историков, таких как: Перри Андерсон, Джованни Арриги, Иммануил Валлерстайн, Роберт Вутноу, Мартин Ван Кревельд, Джек Голдстоун, Пол Кеннеди, Вильям Макнил, Майкл Манн, Теда Скочпол, Артур Стинчкомб, Чарльз Тилли, Кеннет Уолтц и др. При этом основная часть книги Р. Коллинза посвящена изложению его собственных оригинальных теорий в области долговременной социальной и исторической динамики.

Эти динамические теории посвящены центральным темам исторической макросоциологии. Через особые сочетания условий объясняются расширения и упадки империй, процессы бюрократизации и секуляризации, революции и государственные распады; в том числе в книге дан детальный анализ известного, сделанного автором в 1980 г., геополитического предсказания распада Варшавского блока и СССР. Представлены оригинальные, также основанные на геополитике, теории демократизации, объединения и разделения этнических групп, концепция развития и кризисов рыночной экономики, причем не только на Западе, но также в средневековых Китае и Японии.

Автор, с одной стороны, опирается на могучую классическую традицию социально-исторической мысли (прежде всего, на идеи Макса Вебера, но также К. Маркса, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, Р. Бендикса, Ф. Боркенау, Б. Мура, К. Боулдинга и др.), с другой стороны, выстраивает четкие конструкции динамического взаимодействия переменных, проверяет и уточняет их на обширном историческом материале. Это позволяет ему каждый раз развеивать ходовые мифы и мыслительные шаблоны, распространенные не только в обыденном, но и в научном дискурсе. Р. Коллинз предлагает вместо них смелые, нетривиальные, иногда будоражащие, но солидно обоснованные идеи.

Книгу дополняет макросоциологическое послесловие переводчика — проф. Н. С. Розова, — где главные теоретические положения каждой главы обсуждаются в контексте динамики истории России, а также текущей ситуации и перспектив российской политики.

Книга предназначена для социологов, политологов, этнологов, социальных философов, специалистов по военной, экономической и культурной истории, для всех, кому интересны современные достижения мировой науки в объяснении исторической динамики — социальных кризисов и переходов, подъемов и упадков, процессов и трендов большой длительности.

This translation is published by arrangement with Stanford University Press, www.sup.org
Публикуется по соглашению с Стэнфорд Юниверсити Пресс, www.sup.org

ООО «ЛЕНАНД». 117312, г. Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, д. 11А, стр. 11.
Формат 60×90/16. Печ. л. 31,5. Зак. № 252.

Отпечатано в ООО «Типография «Зауралье». 640022, Курган, ул. К. Маркса, 106.

ISBN 978–5–9710–1708–0 (ЛЕНАНД)
ISBN 978–5–453–00095–1 (УРСС)

© 2000 by the Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University. All rights reserved
© УРСС, 2015

15558 ID 191747
9 785971 017080

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА URSS
E-mail: URSS@URSS.ru
Тел./факс (многоканальный): + 7 (499) 724 25 45
Каталог изданий в Интернете: http://URSS.ru

Оглавление

Аналитическое содержание 4
Предисловие к русскому изданию 10
Благодарности 22
Введение. Золотой век исторической макросоциологии 23
Глава 1. Центрированная на государстве теория революции и идеологии: достижение зрелости 51
Глава 2. Геополитическая основа революции: предсказание советского коллапса 78
Глава 3. «Балканизация» или «американизация»: геополитическая теория этнических изменений 131
Глава 4. Демократизация извне внутрь: геополитическая теория коллегиальной власти 196
Глава 5. Идеологическая порка Германии и теория демократической модернизации 259
Глава 6. Рыночная динамика как движущая сила исторических изменений 304
Глава 7. Азиатский путь к капитализму 355
Приложение А. Как моделирование компактной теории может воспроизвести запутанные пути истории (*Роберт Ханнеман, Рэндалл Коллинз, Габриэль Мордт*) 398
Приложение Б. Боркенау о геополитике языка и культурного изменения 425
Послесловие. Теории исторической динамики Рэндалла Коллинза и российский контекст (*Николай Розов*) 437
Библиография 476
Предметно-именной указатель 493

Аналитическое содержание

Предисловие к русскому изданию **10**

Благодарности **22**

Введение. Золотой век исторической макросоциологии **23**

1. Свивая нити аналитической макроистории 24
2. Критики макроистории 38
3. Теория и аналитический партикуляризм 41
4. Обзор книги 44

Глава 1. Центрированная на государстве теория революции и идеологии: достижение зрелости **51**

1. Голдстоун и теория государственного распада 55

Разбор критики относительно выборки по зависимой переменной 61

Последствия государственного распада и вопрос культуры 66

Вутноу и политические средства идеологического производства 70

2. Социология после упадка [марксизма] 77

Глава 2. Геополитическая основа революции: предсказание советского коллапса **78**

1. Моя персональная история теоретически обоснованного предсказания 78
2. Развитие геополитической теории государственного могущества 81
3. Связь геополитической теории с общей теорией формирования и распада государств 89

Механизмы государственного распада 92

Легитимность как переменная, определяемая геополитическим престижем могущества 97

4. Предсказание распада Российской империи на основе геополитической теории 99
5. Что считать обоснованным предсказанием? 108
6. Теории коллапса Советской империи 110
Этническое восстание 110
Свержение репрессивных режимов 112
Капитализм против социализма 112
Личность 115
Идеология 117
7. Насколько точным может быть предсказание? 120
8. Вложенные уровни предсказания от макро- к микро- 124
9. Препятствия для успешного социологического предсказания 127
10. Будущие перспективы предсказательной социологии 130

Глава 3. «Балканизация» или «американизация»: геополитическая теория этнических изменений 131

1. Чем определяется число существующих этнических групп? 133
2. Социальное конструирование этничности в долгосрочной перспективе 136
Социальное конструирование соматотипов 136
Социальное конструирование этнолингвистических групп 141
Протоэтничность и этнонационализм 143
3. Престиж могущества и этническая легитимность 147
Американский вопрос: ассимиляция или этнический застой? 169
«Американизация» против «балканизации» 174
Геополитический престиж и борьба за средства культурного производства 176
4. Проблемные случаи 178
Ирландия и имперская Британия 179
Белое сопротивление ассимиляции чернокожих в Соединенных Штатах 183
Будущее этничности 189

Глава 4. Демократизация извне внутрь: геополитическая теория коллегиальной власти 196

1. Телеология, культура и одномерная причинность 199
2. Демократизация в нескольких измерениях: коллегиальное разделение власти и широта избирательного права 201

Уровни демократизации в некоторых крупных государствах 206

3. Объяснение широты избирательного права 212
4. Классические подходы к пониманию коллегиального разделения власти: Монтескье, Токвиль и Вебер 214
5. Ингредиенты коллегиального разделения власти 218

Аналитическое значение европейского Средневековья 220

Демократические структуры в средневековой Германской империи 224

6. Вклад папско-имперского конфликта в геополитическое равновесие 230
7. От военной патовой ситуации — к коллегиальным альянсам 232

Провал республики рейхстага 234

8. Папская демократия и провал консилиаристского движения 236
9. Структурные недостатки провалившейся средневековой демократии 241
10. Геополитические успехи некоторых средневековых республик 245
11. Вклад дипломатического альянса в демократию 252

Геополитические источники становления США 255

Приложение теории: будущее российской демократии 256

Глава 5. Идеологическая порка Германии и теория демократической модернизации 259

1. Четыре модернизационных процесса 264
2. Бюрократизация 267
3. Секуляризация 274
4. Капиталистическая индустриализация 288

5. Демократизация 291
6. Мировые войны и нацистский режим — геополитические корни современной идеологической порки Германии 293
7. Мораль этой истории 302

Глава 6. Рыночная динамика как движущая сила исторических изменений 304

1. Некоторые принципы рыночной динамики 304
Рынки родства, невольничьи рынки, аграрно-принудительные рынки. Капиталистические рынки 309
Предостережение: идеальные типы и эмпирические сочетания 312
2. Рынки родства 314
Революция родства и возникновение государства 319
3. Невольничьи рынки 322
Кризис экономики рабства 328
Исламские рынки солдат-рабов 332
4. Аграрно-принудительный обмен 335
Расширение аграрно-принудительных рынков 338
Религиозный корпоративный капитализм 341
Кризис аграрно-принудительного обмена 345
5. Капитализм 347
Провал социалистической автаркии 352

Глава 7. Азиатский путь к капитализму 355

1. Структурные компоненты самотрансформирующегося капитализма 358
2. Социальные препятствия капитализму 361
Новая интерпретация веберовской модели как экономики религиозных организаций 365
3. Долговременный паттерн восточноазиатского капитализма 369
Рост средневековой буддийской экономики в Японии 371
4. Рынки факторов производства 376
Товарные рынки 376
Рынки труда и социальная мобильность 377

Формирование производственного капитала 379
Рынок земли 381
Монастырские предприниматели 381
5. Буддийская экономическая этика 382
6. Буддийский вклад в бюрократическую законность и права собственности 385
7. Прорыв к светской экономике 389
Развитие капитализма массовых рынков в период Токугава 392
8. Значимость религиозного капитализма в мировой истории 395

Приложение А. Как моделирование компактной теории может воспроизвести запутанные пути истории (*Роберт Ханнеман, Рэндалл Коллинз, Габриэль Мордт*) **..... 398**

1. Конфликтная теория динамики легитимности и внешнее могущество государства 401
2. Престиж могущества, легитимность и международный конфликт 405
3. Издержки и выгоды империи 409
4. Империалистический капитализм и военно-промышленный комплекс 413
5. Уточнение модели и ее границы 420
6. Теоретическое моделирование как шаг к прикладной социальной теории 422

Приложение Б. Боркенау о геополитике языка и культурного изменения 425

1. Возникновение западной речи 427
2. Германская религия и нигилизм 433

Послесловие. Теории исторической динамики Рэндалла Коллинза и российский контекст (*Николай Розов*) **..... 437**

1. Золотой век исторической макросоциологии… Россия опять на обочине? 438

2. Теория революций и политические перспективы России 444
3. Предсказание распада СССР и геополитика современной России 449
4. Этническая динамика и тенденции межэтнических отношений в России 454
5. Геополитическая теория демократии и отечественные перспективы демократизации 457
6. Четыре аспекта модернизации в российской исторической динамике 462
7. Рыночная динамика в современной России: специфика и вероятные следствия 466
8. Монастырские корни «японского чуда» и условия пользы церковного «стяжательства» 471

Библиография 476

Предметно-именной указатель 493

Предисловие к русскому изданию

В начале нового русского издания «Макроистории» давайте по-новому посмотрим на некоторые основные темы книги. Находимся ли мы до сих пор в Золотом веке исторической макросоциологии? Да, но уже не в раннем периоде, когда делались первые прорывы, но в зрелом.

Одна из главных полученных в этом Золотом веке теоретических моделей — военно-фискальная теория современного государства (глава 1) — была развита и получила еще большее эмпирическое подкрепление. Мигель Сентено в книге «Кровь и долг. Война и национальное государство в Латинской Америке» (2002)[1] дает важное отрицательное сравнение. Государства Латинской Америки обычно не вели внешних войн. А значит, они не проходили через революцию массовой (и дорогой) военной организации, не были вовлечены в создание широкой системы налогообложения, ни создавали бюрократический аппарат для государственного проникновения в общество. Результатом стали слабые и несовременные государства, с более низким уровнем патриотического самосознания — гражданской идентичности. А также с плохими результатами в сфере демократии, поскольку военные в основном использовались во внутренней фракционной политике и тем самым способствовали расколу, а не объединению. Сентено дает и лучшее объяснение политического развития Латинской Америки, и изящное подтверждение [через негативные случаи, т. е. с другой, чем в нововременных государствах Западной Европы, траекторией] последствий военно-фискального пути развития. Другой обсуждавшейся группой негативных случаев являются африканские государства к югу от Сахары; здесь тоже было очень мало межгосударственных войн, а незначительные вооруженные силы использовались в большей мере для политических репрессий, чем для общенациональной мобилизации.

---

[1] *Centeno, Miguel Angel.* Blood and Dlebt: War and the Nation-State in Latin America. University Park, Pa., Pennsylvania State University Press, 2002.

Результатом стали несостоявшиеся, терпящие неудачи государства (failed states).

Майкл Манн, один из родоначальников военно-фискальной теории государства, обращает внимание на условия геноцида в книге «Темная сторона демократии. Объясняя этнические чистки» (2005)[1]. Массовое уничтожение этнических чужаков — это современное («модерное»), а вовсе не традиционное явление, причем оно особенно характерно для ранних периодов распространения демократии. Традиционные автократии были рады включать разные этнические и религиозные группы, поскольку жили по принципу «разделяй и властвуй»; они практиковали опосредованное управление через местную знать и рассматривали инородцев как дополнительный трудовой ресурс для эксплуатации. Чтобы запереть население в границах национального государства, понадобилась более высокая степень однородности, а популистская идеология народного правления превратила тех, кто разделяет нацию и тем самым угрожает ей, во врагов, даже в нелюдей, которые должны быть изгнаны или уничтожены. Особенно агрессивными были демократии поселенцев на фронтьерах, таких как американский Запад или Австралия, где местные туземные племена не использовались в качестве трудового ресурса фермерами-первопроходцами. Сегодняшние зрелые демократии счастливы, что эти явления геноцида остались в прошлом. Однако, подобно другим крупным историческим макросоциологам, Манн реалистично взирает и на настоящее, и на прошлое: продолжающаяся массовая мобилизация населения при распространении демократических идеалов проходит сегодня через опасные зоны, в которых остаются возможными зверства самого худшего свойства.

В более широком контексте сейчас подходит к своей кульминации эпический многотомный труд Манна — вышел третий том «Источников социальной власти» под заглавием «Глобальные империи и революции, 1890–1945 гг.»[2]. Здесь объясняется, почему империи, начиная с Нового времени, составляли столь широкий спектр — от неявных до ужасающих, как сходились политические

[1] *Mann, Michael.* The Dark Side of Democracy. Explaining Ethnic Cleansing. Los Angeles: University of California, 2005.

[2] *Mann, Michael.* The Sources of Social Power. Vol. 3, Global Empires and Revolution, 1890–1945. Los Angeles: University of California, 2012.

и финансовые причины, вызвавшие Великую депрессию, и почему именно тогда наступила эпоха фашизма. Скоро появится и четвертый том[1]. Используя свою четырехмерную матрицу власти*, Манн показывает, что события становятся переломными моментами, когда пересекаются ведущие источники власти: капиталистический кризис, связанный с Мировой войной в начале XX в., тупик плюралистической политики вкупе с экологическим кризисом — в XXI в. Имеют место разные уровни случайности, но только в пределах структурных тенденций, обусловленных историческим развитием данных четырех источников власти; это особенно важно из-за существования множественных причин, которые приводят к таким непредсказуемым пересечениям. В отличие от склонности некоторых теоретиков апеллировать к бесконечным возможным интерпретациям со стороны исторических акторов, Манн более реалистично помещает случайность крупных событий в отношения между различными типами структур.

Геополитическая теория революции, которую я использовал в начале 1980-х гг., чтобы предсказать падение России / Советской империи (см. главу 2), объединяется с центрированной на государстве теории в том смысле, что распад начинается скорее сверху, а не в результате массовой мобилизации снизу; главный кризис — это прежде всего фискальное ослабление государства, то есть снижение его способности наполнять бюджет, а вовсе не экономический кризис общества в целом. Учитывая, что военные затраты всегда были основной статьей бюджетных расходов в крупных современных государствах, геополитический баланс между великими мировыми державами ставит их в ситуацию конкурентного напряжения. Это напряжение теперь связано не только с прямыми победами и поражениями в войнах, но также с соперничеством в холодных войнах — в подготовке к битвам, становящейся все более дорогостоящей, поскольку высокие технологии военных действий становятся все дороже и дороже. Таким образом, именно крупные государства, борющиеся за мировую гегемонию, подвержены наибольшему риску фискального

[1] *Mann, Michael.* The Sources of Social Power. Vol. 4, Globalizations, 1945–2011. Los Angeles: University of California, 2012.

* М. Манн, развивая идеи М. Вебера, считает источниками власти четыре сети: политическую, военную, экономическую и культурную/идеологическую. (*Здесь и далее под значком «*» приводятся примечания переводчика.*)

кризиса, внутриэлитной борьбы, а следовательно, государственному распаду и структурным революциям.

Давайте попробуем обновить эту теорию, обратившись ко многим революциям, — как правило, не очень крупным, — которые произошли начиная с 2000 г. Самыми важными из них были так называемые «цветные революции», имевшие место в бывших советских республиках, таких как Украина, Армения и др., а также недавние восстания «Арабской весны» 2011 г. Эти революции, как представляется, совершались по другой парадигме: не будучи вызванными геополитикой или фискальным кризисом государства, они показывают некий процесс мобилизации снизу: народные протесты, получающие огласку в новостных средствах массовой информации, а теперь еще и в новых электронных социальных медиа, перерастают в массовые столкновения с кульминацией в собрании огромных толп мужчин, женщин и детей в центральных общественных местах. В основном люди использовали методы ненасильственного протеста, представляя себя как невинно живущий и исполненный идеализма народ, противостоящий дряхлым, устаревшим диктатурам и их жестоким силовым репрессиям. Хотя и было несколько неудач, в ряде случаев такие народные протесты были эффективны и добились смены режима. Но давайте вспомним о более глубоком смысле революции: это не просто замена одного ряда лидеров другим, но структурная трансформация общества. Такие структурные изменения, которые были характерны для крупных исторических революций — Французской революции 1789 г., Китайской революции 1949 г., Русских революций 1917 и 1991 гг., — были связаны с глубокими структурными кризисами всей жизнеспособности государства и его отношения к обществу, поскольку государства терпели финансовые и военные провалы, а также глубокие расколы между элитами, имевшими различные структурные основы в старом режиме. Эти кризисы не могут быть преодолены только заменой одного состава лидеров другим составом.

Напротив, восстания «Арабской весны», даже самые успешные, смогли лишь избавиться от конкретных лидеров или правящих семей. То, почему они не пошли дальше в проведении структурных преобразований, связано с процессами самой революции. Эти восстания не начинались ни с фискального кризиса государства, ни с раскола элит; вместо этого они были массовыми движениями, необычайно успешными в мобилизации большого числа людей и соз-

дании особого фокуса внимания в некоем центральном месте. Площадь Тахрир в Каире является архетипом для такого рода революций, здесь произошел переломный момент — общий эмоциональный порыв, возможно, разделявшийся миллионами людей. Если они могут удерживать свою эмоциональную солидарность в течение нескольких недель, то вызывают колебания лояльности в полиции и вооруженных силах, а в конечном счете сторонники режима вдруг покидают своего прежнего лидера и переходят на сторону восставших. Такой переломный момент вызывает огромный энтузиазм — эмоциональный подъем, но при этом упускается из вида сама структура; революционная мобилизация удерживается главным образом символической целью избавиться от конкретного лидера, воплощающего собой старый режим, но самой этой мобилизации не хватает собственной структуры, а поскольку прежние элиты не раскололись и не были ослаблены фискальным или геополитическим кризисом, после угасания энтузиазма они, как правило, вновь заявляют о себе. Момент максимального единства сил революции — это как раз апогей требований ухода прежнего лидера, тогда как после празднования этого ухода сами протестные массы, как правило, распадаются на соперничающие группы интересов.

Есть и другие варианты развертывания событий в восстаниях «Арабской весны»; в некоторых из них массы людей оказались не способны создать переломный момент, поэтому данные революции не смогли пройти быстро и относительно ненасильственным путем, как это происходит, когда силы режима присоединяются к требованиям смещения их бывшего лидера. Вместо этого некоторые восстания ведут к распаду на соперничающие, географически разнесенные бастионы, а это приводит к полномасштабным гражданским войнам. Результаты этих войн определяются не столько местными силами, сколько внешней военной интервенцией, из-за чего революция еще в меньшей степени оказывается объединяющим нацию процессом (таковы были события, например, в Ливии, Йемене, Бахрейне, Сирии). Таким образом, революции «Арабской весны» в конечном счете укрепили теоретическую значимость модели революции как государственного распада; они являют собой негативные случаи — примеры того, что происходит, когда революция не начинается с геополитического/фискального кризиса наверху, — тогда оказывается гораздо труднее проводить основные структурные преобразования. «Цветные революции» в бывших республиках

СССР демонстрируют тот же паттерн; имеет место временный успех народных движений, но мало проводится структурных преобразований, и в течение нескольких лет прежние местные элиты, как правило, восстанавливают свою власть.

Давайте применим эти соображения к событиям в России, начиная с 1991 г. Революции 1989–1991 гг. соответствуют классической модели геополитического напряжения, фискального кризиса и распада государства через борьбу между государственными элитами (см. главу 1). Фискальные напряжения, порожденные сочетанием военных расходов, которые были связаны с геополитикой холодной войны, а также растущее отставание экономического роста от западного капитализма не могли быть преодолены ограниченными реформами Горбачева. Предоставление автономии народам Восточной Европы привело к нарастающей волне народных движений и впоследствии дало возможность элитам расколоться по линиям национальных республик СССР; вся геополитическая расстановка сил претерпела сдвиг, что привело к подобной трансформации всей структуры бывшей советской политики и экономики (см. главу 2). Это была, несомненно, одна из великих структурных революций в мировой истории, затронувшей все уровни общества.

В переходный период произошел огромный рост неравенства; шли битвы организованных преступных групп, в экономике поднялись олигархи; фракцией тогдашних революционеров была перестроена государственная власть; ставка была сделана на использование нового аппарата безопасности и его средства для получения финансов через коррупцию, то есть взятки давались за официальную защиту. Режим Путина, вышедший из переходного режима Ельцина, выиграл благодаря усмирению внутренних конфликтов и подавлению влияния олигархов, благодаря подъему цен на нефть, как раз тогда случившемуся на мировом рынке, а также благодаря способности России осуществлять некую степень геополитического могущества против своих прежних сателлитов — национальных республик бывшего СССР, что делает теперь Россию пусть уже не соперником за мировое влияние, но региональным гегемоном.

В главе о воздействии геополитики на демократизацию я отмечал, что демократия — это не только широкое избирательное право, но также коллегиальная структура разделения власти между центрами принятия решений (глава 4). Само по себе право всего населения выбирать голосованием своих лидеров не приводит автома-

тически к функционирующей демократии, а при отсутствии баланса между центрами силы результатом становится плебисцитарная автократия. В целом как раз в это и вылился путинский режим, при котором после периода популярности за борьбу с худшими явлениями в периоде преобразований верховная власть стала удерживаться через проводимые сверху манипуляции выборами. Авторитарные режимы так же, как и протестные движения, обучаются, следя за тем, что происходит в других местах; способы массовой мобилизации популярных социальных движений, используемые в «цветных революциях» и в событиях «Арабской весны», — это как раз то, что нынешний российский режим пытается избежать, ограничивая возможности людей собираться и демонстрировать недовольство. В этом отношении Россия подражает недавней тактике китайского режима.

В начале XXI в. важным явлением в мире стала растущая роль народных сил с низовой мобилизацией, с использованием социальными движениями давления прямого действия в целях политических изменений. В своей крайней форме, цель заключается в создании критической точки, когда в момент подъема коллективной эмоции свергаются лидеры старого режима. Но это случается редко, а последствия такого события, при отсутствии глубоких структурных кризисов, как правило, не особенно значительны.

Сочетание структурных сил и народной борьбы имело место в бывших республиках Советского Союза, которые в настоящее время занимают положение буферных государств между основными блоками могущества. Новые независимые государства, такие как Украина, стали буферными государствами в связи с распадом Варшавского пакта и расширением Европейского союза на восток. Теперь они занимают промежуточное положение, испытывая экономическое и политическое давление относительно более плотного присоединения либо к ЕС, либо к воссозданному российскому блоку. Следует отметить, что такие государства, как Украина, являются слабыми в плане ресурсов и военной мощи, а в связи с этим их правительства страдают от последствий низкого престижа геополитического могущества. Они являются объектами вмешательства со стороны крупных держав.

Тем не менее, согласно геополитической теории, есть некоторые обстоятельства, при которых слабые буферные государства находят нишу, которая дает им относительно высокий престиж могу-

щества; таковы ниши нейтральных зон, посредников, или лидеров неприсоединившихся стран. Швейцария с XIX в. занимала особую позицию нейтрального пространства для изгнанников, агентов и представителей сторон, служила в качестве надежной финансовой гавани; ее давний нейтралитет вне политики великих держав сделал ее местом переговоров и неофициальных обменов, а тем самым — космополитическим центром, несмотря на ее небольшой размер. Однако имеется лишь ограниченное число таких ниш в геополитической системе, и очень немногие буферные государства получают такую роль. Другой версией успешного буферного государства была Югославия в период между 1945 и 1990 гг., когда она обрела международный престиж благодаря своей промежуточной позиции между советским и западным/капиталистическим блоками; таким образом, она могла играть роль лидера мирового блока неприсоединившихся стран. Поскольку внешний престиж могущества обуславливает престиж правителей, югославский режим Тито и его преемников сохранял надежный контроль над страной. Крушение советского блока стало своего рода естественным экспериментом для проверки [принципа] этой геополитической динамики; когда распался один из двух крупнейших блоков могущества, больше уже не было ниши для посредника; исчез престиж могущества югославского промежуточного коммунистического режима, а государство стали раздирать возрожденные идеологии особых этнических народностей. Эти уроки относительно судьбы буферных государств бросают некий свет на то, что случится с новым составом буферных государств на западных границах России. Лишь немногие, если вообще кто-либо из них, обладают таким космополитическим положением, чтобы стать подобно Швейцарии нейтральным пространством для посредничества. А с учетом того, что почти во всем мире преобладает неолиберальный капитализм, уже нет структурной ниши для нейтральных стран, тем более для лидеров блока неприсоединившихся. Можно сделать вывод, что буферные государства по-прежнему будут переживать внутренние раздоры вокруг слабых правительств, кроме тех случаев, когда авторитарные режимы станут сателлитами России как регионального гегемона.

В самой Российской Федерации также есть проблема партизанской, или террористической, войны, ведущейся в приграничных регионах, таких как Северный Кавказ, но проникающей и в российский хартленд. В геополитическом плане партизанская/террористи-

ческая война является оружием слабых, когда повстанцы не могут победить в классических битвах против более крупных и хорошо вооруженных сил. Партизанская война (герилья) стала известна в испанском сопротивлении Наполеону в 1808–1814 гг., в XX в. она получила развитие благодаря новым приемам политической мобилизации; с 1970-х гг. она превратилась в так называемый терроризм. Партизанская война наносит удары по военным целям, особенно по логистике [транспортным линиям и складам] оккупационных сил, по принципу ударь-и-беги; террористическая тактика направлена на поражение более слабых и менее оправданных целей — на гражданское население противника. Подпольная повстанческая борьба обоих типов прячется среди мирных жителей, в этой сфере мятежники делают свои запасы и поддерживают организацию, когда не воюют; при этом террористы специализируются в атаках на гражданское население. Такой паттерн взаимодействия приводит к порочному кругу, к войне с состязанием в жестокости, поскольку правительственные войска, как правило, нападают на гражданских лиц (преднамеренно или непреднамеренно) в поисках партизан/террористов, а это дает последним эмоциональное и моральное оправдание для последующих атак на гражданское население противника, и так возобновляются циклы кровавых бесчинств.

Вопрос, который пока еще недостаточно хорошо понимают исследователи социологии этих процессов, состоит в следующем: при каких условиях прекращается повстанческое движение. В обычных войнах есть ритуалы победы и поражения, которые, как правило, гасят насилие. Но поскольку партизанские/террористические войны являются децентрализованными, ни один центр церемониальной власти не может объявить ни победы, ни поражения, ни перемирия; мятежники с самым крайним идеологическим настроем сохраняют свободу действий для совершения дальнейших жестокостей, что продолжает конфликт. Вопрос о том, когда такие конфликты продолжаются или завершаются, зависит не столько от военной динамики, сколько от идеологических сетей. Геополитическая теория говорит, что для сильных государств, обладающих высоким престижем могущества, как правило, характерны выраженные национальные идентичности, связанные с идеологией правителей государства. Отчасти это происходит потому, что сильные государства мобилизуют большую военную силу для своих внешнеполитических предприятий (наступательных или оборонительных в разных

ситуациях), и эта военная организация объединяет в борьбе мужчин призывного возраста из всех слоев населения. Слабые и децентрализованные государства, наоборот, уязвимы в отношении мобилизации многих отдельных идентичностей, стремящихся воспользоваться слабостью государства, чтобы создать меньший или более однородный анклав вокруг собственной народности. Однако, как я утверждал в главе о геополитической теории этнического изменения, этничности не являются постоянными или устойчивыми историческими целостностями; масштаб этнического национализма растет и становится более включающим, инклюзивным в сильных расширяющихся государствах, тогда как в слабых государствах принимает более фрагментарные и исключающие формы.

Ситуация на Северном Кавказе обострилась в 1990-е гг., после распада СССР; чеченское население было склонно к отделению подобно бывшим советским республикам Грузии, Армении и Азербайджана, но было силой удержано в Российской Федерации. Воинственные националистические движения, какими бы страстными они ни были в пылу конфликта, тем не менее являются социально сконструированными. Местный национализм не был особо выражен в период подъема СССР как первостепенной мировой державы. Означает ли это, что партизанская война / терроризм — феномен переходного периода и что он будет угасать по мере того, как Россия вновь утвердит себя в качестве регионального гегемона? Одним осложняющим фактором является то, что региональный мятеж значим не столько в плане национального/этнического самосознания, сколько как проявление религиозной идентичности, которая укоренена в радикальном исламистском движении, активном в обширной части глобального Юга. Идеологические движения — это не только идеи, но и сети, а современные транспорт и связь привели к созданию мобильных международных идеологических сетей. Чеченские войны были одним из первых мест привлечения множества исламских добровольцев, и наоборот, стали поставщиками бойцов на другие исламские фронты. Этот вид конфигурации международных сетей партизанских/террористических боевиков предполагает, что такие приграничные регионы будут оставаться нестабильными. Как и террористические движения, в целом они недостаточно сильны организационно, чтобы свергнуть правительство, но их децентрализованная форма и их деятельность внутри гражданского населения затрудняют попытки правительства их искоре-

нить. Существует и обратная связь, непреднамеренное следствие терактов: они укрепляют поддержку правительства со стороны значительной части населения, так как террористы делают из своих жертв врагов, которые, в свою очередь, уповают на сильное правительство, способное их защитить. Таков еще один контур в том же порочном круге.

Чтобы очертить более широкую картину будущего, давайте добавим сюда еще один момент. В свое время тема азиатского пути к капитализму (см. главу 7) была странной и удивляющей, но в настоящее время достигнуто значительное согласие относительно того, что Восточная Азия была центром мировой экономики до подъема Запада. Некоторые авторы из миросистемной школы, включая таких, как Андре Гундер Франк и Джованни Арриги, присоединились к тем, кто считает Китай следующей державой-гегемоном мирового капитализма, начиная с 2020 или 2030 г. На такие прогнозы нужно смотреть с осторожностью, так как нынешние темпы роста в Китае отнюдь не обязательно сохранятся в течение длительного времени. Существует еще одно важное дополнительное соображение. Капитализм сегодня вступил в ту фазу, в которой представляется возможным общемировой системный кризис. Переход экономики к информационным технологиям не только объединяет различные регионы мира в большей степени, чем когда-либо ранее, но также оказывает давление на занятость среднего класса. Уже имеет место высокая конкуренция для представителей среднего класса за рабочие места, притом что во всех развитых странах ручной труд сократился до незначительной доли рабочей силы. В настоящее время информационные технологии в различных формах заменяют компьютерами многие рабочие места представителей среднего класса. Вдобавок к этому, уже начинается эпоха широкого использования роботов вместо людей. Старое марксистское предсказание кризиса капитализма вследствие механизации ручного труда теперь становится актуальным в новой форме; в течение XX в. механизация труда рабочего класса была компенсирована ростом объемов труда для среднего класса, но сейчас труд самого среднего класса вступает в кризис*.

---

* См. об этом подробнее: *Коллинз Р.* Технологическое замещение и кризисы капитализма: выходы и тупики // Политическая концептология. 2010. 1: 35–50. http://polis.isras.ru/files/File/puvlication/Makarenko/Collins.pdf

Выше было отмечено, что революции снизу при отсутствии структурного кризиса остаются относительно незначительными по своим последствиям, а часто вообще оказываются неудачными. Возрастающее давление на капитализм является одним из таких структурных кризисов, который будет надвигаться на протяжении последующих десятилетий. Как именно это проявится в разных странах, зависит от многих случайных обстоятельств, но, как отмечал Манн, самые важные непредвиденные обстоятельства происходят одновременно при схождении структурных кризисов в различных сферах власти. В ближайшие несколько десятилетий XXI в., особенно в 2030–2050 гг., вероятно, будут происходить новые громадные преобразования.

Рэндалл Коллинз

Июнь 2014 г., Филадельфия

Благодарности

За комментарии и предложения я обязан Чарльзу Тилли, Джеку Голдстоуну, Майклу Манну, Артуру Л. Стинчкомбу, Джону А. Холлу, Гансу Джоасу, Дитриху Решемейеру, Роберту Вутноу, Сьюзен Уоткинс, Сэмюэлу Каплану, Майклу Хехтеру, Александре Марьянски, Джозефу М. Брайнту, Джонатану Тернеру, Альберту Бергесену, Койа Азуми, Стивену Калбергу, Йохану Гудсблому, Орландо Паттерсону, Кеннету Баркину, Гленну Файербо, участникам коллоквиума Международного христианского университета и Университета Дзеэцу. Дэвид В. Уоллер, Цзи-ли Ли и Ребекка Ли принимали большое участие в развитии и обсуждении содержания нескольких статей, составивших данную книгу. Роберт Ханнеман и Габриэль Мордт, которые являются соавторами работы по компьютерному моделированию, представленной в приложении, заслуживают особой благодарности за сотрудничество.

Введение

Золотой век исторической макросоциологии*

История, как отмечал Эмиль Дюркгейм, должна быть микроскопом социологии. Он имел в виду не то, что история должна увеличивать малое, но то, что она должна быть инструментом, с помощью которого обнаруживаются структуры, не видимые невооруженным глазом. Программа, которую Дюркгейм заявил в журнале «Annee Sociologique», не особенно продвинулась в такого рода исследованиях; здесь скорее обрисовывались статические структуры, а не динамика структурного изменения. Наказ Дюркгейма до сих пор остается в силе: что-либо крупное и с обширными связями может быть поставлено в центр рассмотрения не иначе как с использованием еще более широкой перспективы. Политические и экономические устойчивые структуры, или паттерны, особенно когда они охватывают государства и напряжения, связанные с войной, системами собственности и рынками, можно наилучшим образом увидеть при исследовании многих взаимосвязанных историй в течение долгого периода времени. То, чего Дюркгейм желал для социологической теории, было не микроскопом, а могло бы быть скорее названо *макроскопом*.

Два противоположных взгляда на историю господствовали в XX в. по христианскому календарю, до сих пор используемому на

---

* Коллинз использует свой неологизм "macrohistorical sociology", в то время как с начала 1990-х гг. в американской и мировой науке стали все шире применяться термины "macrosociology" и "historical macrosociology". См., например, выдержавший несколько изданий учебник *Sanderson S.* Macrosociology: An Introduction of Human Societies, 1995. В российской традиции также распространился термин «историческая макросоциология», который и принят с согласия автора за основу в переводе.

постхристианском Западе. С одной стороны, это был век прежде всего макроистории, в котором впервые стала возможной осмысленная история мира. Г. В. Ф. Гегель, писавший в период того поколения, когда как раз формировалась профессиональная историография, знал вполне достаточно о цикле китайских династий, чтобы утверждать, что только у Запада была история. Ко времени Первой мировой войны Освальд Шпенглер, Макс Вебер и немного позже Арнольд Тойнби делали свои обзоры цивилизаций Китая и Индии, Египта и Месопотамии, Персии и арабского мира, иногда Мексики, Перу и Полинезии, наряду с более привычным сравнением греко-римской античности со средневековой и современной Европой. Взгляд интеллектуалов XX в. состоял в отвержении этих глобальных перспектив в пользу доводов о том, что история показывает нам не более чем нас самих, безнадежно контекстуализированных в бесструктурности. Такова эпистемологическая версия известного выражения: все, чему мы учимся у истории, — это то, что невозможно учиться у истории. Давайте кратко рассмотрим названные две стороны исторического сознания XX столетия.

1. Свивая нити аналитической* макроистории

Раннее распознавание паттернов кристаллизовалось в расплывчатой идее о том, что «история повторяется». Тойнби начал свой поиск паттерна [развития] всех цивилизаций, потому что мировые войны Британии и Германии напоминали ему смертельную борьбу либеральных Афин с авторитарной Спартой. Шпенглер сопоставлял свидетельства повторения последовательностей культурного расцвета и упадка во всем мире, причем каждая последовательность отличалась своей уникальной ментальностью, подобно повторяемой мелодии, которая играется в разных ключах. Карл Маркс, чье знание неевропейской истории не намного превосходило гегелевское, описывал ее статическую природу в материалистической манере как восточный деспотизм — модель, которую в 1950-е гг. разрабатывал Карл Виттфогель. Оставив в скобках незападный мир, Маркс начал с прозрения о том, что классовый кон-

* Здесь и далее автор использует термин «аналитическое» в значении, более близком к русскому «теоретическое».

фликт в римском мире повторялся аналогичными классами в средневековом феодализме и в современном капитализме. Марксистская школа исторической науки — это прежде всего интеллектуальное движение XX в. Оно предлагает материалистическую параллель к наблюдениям Шпенглера, выявляя абстрактные последовательности, повторявшиеся в различных модальностях. Случаи истории, повторяясь, не обязательно предполагают циклы, подобные повороту колеса; более поздние поколения ученых увидели, что повторяющееся может быть рассмотрено более аналитично и что многочисленные процессы могут совмещаться, сплетая ряд исторических полотен, каждое из которых своеобразно в своих деталях.

Среди идей всех макроисториков начального периода идеи Вебера оказались наиболее живучими. Отчасти это произошло оттого, что понадобился почти целый двадцатый век, чтобы по достоинству оценить масштаб его работы. Его аргументация относительно протестантской этики прославилась к 1930-м гг., но только к 1950–1960-м гг. стали широко признаны его сравнения мировых религий, призванные показать, почему христианство, продолжая определенные образцы древнего иудаизма, дало толчок динамике нововременного капитализма, тогда как цивилизации конфуцианства, буддизма, индуизма и ислама этого не сделали. Также постепенно становился все более влиятельным Веберов метод демонстрации того, как переплетаются множественные измерения социальной причинности. Сейчас почти везде ученые признают, что три измерения — политика, экономика и культура — должны учитываться в каждом анализе; хотя, как утверждали структуралистски настроенные марксисты 1970-х гг., одному из этих измерений может быть отдано первенство «в конечном счете». Есть также негативная сторона, определяющая особую влиятельность Вебера. Снятие слоев с веберовских понятий открыло поле, богатое исследовательскими нишами, а возможности развития веберовских идей то в одном, то в другом направлении, обеспечили ему репутацию великого классика исторической макросоциологии. Сам процесс раскрытия [наследия] Вебера как многогранного образа не позволял в течение многих десятилетий видеть как раз то, что ведет далее, за него. Только сейчас мы становимся способны видеть достижения Вебера в их полноте и можем также видеть его пределы. Эти пределы состоят не столько в его аналитическом аппарате, сколько в его взгляде на мировую историю. При всем его несогласии с Гегелем и Марксом

Вебер разделяет с ними европоцентричный взгляд: для всех важных целей истории тех стран, что расположены восточнее Палестины или Греции, рассматривались как аналитически статические повторы, тогда как динамические исторические превращения считались присущими только Западу. В нескольких очерках, собранных в этой книге, я показываю, как веберовские аналитические средства могут позволить нам выйти за пределы веберовского европоцентризма.

Период исследований, начавшийся с середины 1960-х гг. и продолжающийся в настоящем, может быть по праву назван Золотым веком макроистории. Незрелость поколения первопроходцев преодолена, были предприняты плодотворные начинания, и новое поколение исследователей выстроило целый ряд новых парадигм. В аналитическом плане главным стилем этого периода является взаимодействие веберианских и марксистских идей. Хотя догматическая приверженность тому или иному из этих классиков и существует в некоторых научных лагерях, сквозной для творческого ядра Золотого века стала прагматическая установка. Смесь идей Маркса и Вебера добилась превосходства потому, что ключевые идеи этих традиций доказали свою плодотворность в самых неожиданных направлениях.

Наиболее поразительное накопление знания имело место в излюбленной теме Маркса — теме революции. Начав с расширения взгляда на экономическую причинность, исследователи превратили парадигму революции в теорию революции. Баррингтон Мур и Артур Стинчкомб, за которыми последовали Джефри Пейдж и Теда Скочпол, отметили, что эпохой революций был не столько промышленный капитализм, сколько предшествовавший ему период аграрного капитализма. Сельскохозяйственное производство, направленное на рынок, было средоточием классовых конфликтов от Английской революции до Вьетнамской революции, а трудовые отношения и структуры собственности сельскохозяйственного капитализма направили нововременную политику на трансформационные пути в левом, правом или центральном направлениях. Продвигаясь дальше, Скочпол и Джек Голдстоун показали, что один лишь классовый конфликт недостаточен для революции; он должен сопровождаться фискальным кризисом государства, а также расколом между государственной элитой и владельцами собственности по вопросу о восстановлении государственных финансов. Работа Скочпол явля-

ется вехой сдвига парадигмы к тому, что может быть названо теорией революции как государственного распада (the state breakdown theory of revolution). Скочпол и Голдстоун разрабатывают общую модель распада государства как альтернативные цепочки все более ранних причин, сосредоточиваясь соответственно на геополитических напряжениях и демографически обусловленных изменениях цен.

Другое направление исследований продолжило чисто марксистскую линию. Здесь предпосылка первенства экономики была сохранена при сдвиге поля приложения идей от традиционного фокусирования на национальном государстве к капиталистической мировой системе. Этому воскрешению марксизма помог дипломатический брак со школой «Анналов». В работе Броделя 1949 г. «Средиземноморье и средиземный мир в эпоху Филиппа II» создано грандиозное историческое полотно с помощью терпеливого накопления исследований материальных условий повседневной жизни, а также торговых и финансовых потоков [Braudel 1972]. Бродель описал первую из европейских миросистемных (world-system) гегемоний — испано-средиземный мир XVI в. Иммануил Валлерстайн в многотомной серии трудов, начатой в 1974 г. и все еще продолжающейся, теоретизировал броделевский мир в марксистском направлении. Валлерстайн возглавил миросистемную школу, описывающую распространение европейской мировой системы по земному шару через следующие друг за другом кризисы и сдвиги гегемонии. Миросистемное научное направление стало своего рода центром сбора и обмена информацией для ученых всего мира, создавая теоретический резонанс работам региональных специалистов, темы которых простираются от торговли в малаккских проливах до товарных цепочек в Латинской Америке. Подобно школе «Анналов», миросистемный лагерь является стратегическим альянсом детализированных и специализированных историй; Золотой век грандиозного исторического виденья настал благодаря объединению исторических исследований, ведущихся в течение столетия. Растущая популяция университетов и историков в них было основой для возрождения марксизма в науке середины XX в. Марксизм обеспечил некий движитель, с помощью которого остававшиеся бы в ином случае малоизвестными [исторические] специализации смогли объединиться в грандиозном марше по направлению к парадигмальной революции.

Все действующие интеллектуальные движения имеют свои внутренние конфликты и неожиданные линии обновления. Миросистемный лагерь не остался концептуально статичным. В наиболее раннем периоде, представленном теорией зависимости Андре Гундера Франка, подчеркивалось, что отсталость и неразвитость (underdevelopment) стран — этот миросистемный эквивалент угнетения пролетариата — создается и возрастает сразу же по мере проникновения в эти страны мирового капитализма. Это утверждение было атаковано исходя из фактических оснований, и теория зависимости отступила к позициям зависимого развития: хотя развитие и может происходить в условиях капиталистической зависимости, относительный разрыв между метрополией и периферией постоянно увеличивается. Более того, есть случаи восходящего продвижения в миросистеме — от периферии через полупериферию в ядро, а иногда (как в Североамериканском регионе, который со временем стал Соединенными Штатами) — даже в гегемонию внутри ядра. В структуралистском истолковании капиталистическая миросистема является множеством позиций, которые могут быть заполнены различными географическими регионами. Есть место только для малой зоны гегемонии, окруженной ограниченной областью ядра, где сосредоточены капитал, предпринимательские инновации и наиболее привилегированные рабочие. Всегда есть разрывы в богатстве между этим регионом, полупериферией и периферией, зависящие от потоков капитала, технологических и трудовых отношений, задаваемых в центре. В структуралистской версии миросистемной теории принято считать, что социальная мобильность может быть направлена вверх и вниз внутри системы, но всегда остается относительная привилегированность или субординация этих нескольких зон. В то время, когда я это пишу (конец 1990-х гг.), данное утверждение все еще остается гипотезой без убедительных данных, которые подкрепили или опровергли бы ее. Схожие основания имеют внушительные теории о волнах расширения и сокращения мировой экономики, а также об устойчивой структуре, или паттерне, войн за гегемонию и сдвигов гегемонии (в работах: [Sanderson 1995; Arrighi 1994; Chase-Dunn 1989] есть полезные обзоры). Еще более спекулятивной остается переделка в миросистемном духе старого марксистского предсказания о будущем кризисе таких масштабов, что сама капиталистическая система превратится в мировой социализм.

При всех этих неясностях миросистемное исследование сообщает энергию и живость течений Золотому веку макроистории. Оно расширяет и объединяет множество линий специализированной и региональных истории, даже если концептуальная модель не так хорошо обоснована, как подходы, развитые в более узких пределах модели революций как государственных распадов.

Другое направление творческого развития миросистемной модели было задано сомнением в ее европоцентрической точке отсчета. Валлерстайн, как и Маркс, отличал в концептуальном плане большие региональные структуры, которые структурно статичны и не способны к самостоятельному экономическому росту (обозначенные как мир-империи), от капиталистических мировых систем — регионов с балансом могущества между соперничающими государствами, дающих некое пространство для маневра, в котором и становится господствующим капитализм. На практике последняя категория оказывается европейским капитализмом, в то время как структурный застой мир-империй объединяет античное Средиземноморье и незападный мир. Точка отсчета для капитализма у Валлерстайна та же, что у Вебера, — Европа в XVI в. Другие исследователи применили модель капиталистической мировой системы к предшествующему времени или к отдаленным зонам торговли, изначально не зависимой от европейской мировой системы. Джанет Абу-Луход описывает главенствующую (superordinate) мировую систему Средних веков, которая объединяла ряд миросистемных торговых зон от Китая через Индонезию в Индию, к арабскому миру с центром в Египте и, наконец, к европейской зоне. Абу-Луход переворачивает аналитический вопрос, спрашивая, как мы можем объяснить не столько подъем Запада, сколько падение Востока. Бродель также в своей поздней работе описывает ряд отдельных мировых систем в период 1400–1800 гг., включая в него не только рассмотренные в средневековой сети у Абу-Луход, но также Турцию и Россию. Бродель считает, что перед промышленной революцией между всеми ними имелось некое грубое сходство в уровне экономического развития, и только затем они были опрокинуты позднейшим европейским вторжением.

Другие исследователи применили логику миросистемных моделей к еще более далекому прошлому. Чейз-Данн и Холл утверждают, что даже безгосударственные племена и самые ранние государства, известные по археологическим данным, никогда не разви-

вались в изоляции, но зависели от региональных мировых систем с ядрами и периферийными торговыми зонами [Chase-Dunn and Hall 1991; 1997]. Эти усилия по распространению данной модели на далекое прошлое привели к сдвигу в аналитическом фокусе миросистемных исследований. Некоторые считают, что специфически капиталистический характер мировых систем является несущественным, для других торговые отношения оказываются более решающей особенностью, чем отношения собственности, трудовые отношения или способы производства. Что явно становится все более центральным в модели, так это ее динамические качества: волны расширения и сокращения, подобные Кондратьевским, в течение примерно одного-двух веков, разделяемые кризисами гегемонии и сдвигами в составе господствующего ядра. Джиллс и Франк схематизировали такие циклы от 3000 г. до н. э. и до настоящего времени [Gills and Frank 1991]. Распространение модели мировых систем на все времена и регионы отвлекает внимание от других вопросов, прежде всего от того, что именно вызывает изменения в характере экономических и политических систем, столь различных, как основанные на родстве безгосударственные племенные сети, аграрное производство под принуждением военных элит, и несколько видов капитализма. Настоящая фаза панмиросистемного (omni-world-system) теоретизирования готова к тому, чтобы быть дополненной другими моделями.

Эти противоречия занимают передний план внимания. Более значительным для общего направления современной мысли стало коренное переключение гештальта — целостного видения самого способа, которым мы делаем макроисторическое исследование. Предмет анализа больше не может быть взят как изолированная единица, будь это отдельное племя в структурно-функционалистской антропологии, изолированная цивилизация эры Шпенглера или национальные государства, облюбованные национальными историками. Эти единицы существуют в мире схожих и несхожих других единиц; а паттерн, или устойчивая структура, их отношений между собой делает каждую из них тем, что она есть. Нельзя сказать, что для аналитических целей мы не можем сфокусировать внимание на единственном племени, культурном регионе или национальном государстве. Но объяснения того, что происходит внутри этих единиц, отвлеченные от их миросистемного контекста, не просто неполны; это могло бы иметь относительно малые послед-

ствия, поскольку объяснения всегда абстрагируются от массы деталей для того, чтобы сосредоточиться на самом важном. Миросистемная точка зрения выдвигает более сильное теоретическое требование: игнорировать этот внешний контекст — значит упустить самые значимые детерминанты политических и экономических структур. В важнейших отношениях все социальные единицы конституированы извне внутрь.

Данное переключение видения к причинности извне-внутрь, начатое современным неомарксизмом, имело параллели на неовеберианской стороне. Это мой путь обращения к той первостепенной значимости, открывшейся во время нынешнего Золотого века макроистории, объяснения государств через их межгосударственные отношения, иначе говоря, через геополитику. Здесь также имеется своя предыстория. Концепция геополитики была развита к началу XX в. в атмосфере, которая ассоциировалась с националистической военной политикой. Халфорд Маккиндер в Британии, Альфред Тайер Мэхан в США, Фридрих Ратцель и Карл Хаусхофер в Германии обсуждали важность сухопутной и морской силы, местоположение на земном шаре стратегических сердцевинных земель (хартлендов), обладание которыми обеспечивало одному государству господство над другими государствами. Тема геополитики приобрела дурной запах при подъеме нацистов и еще более в период послевоенной деколонизации. Но постепенно историческая социология государства сделала очевидным то, что геополитику нельзя упускать из виду. Прежнее порождавшее путаницу смешение между признанием геополитических процессов и оправданием военного расширения распалось. Современная аналитическая геополитика скорее подчеркивает издержки и уязвимость геополитического сверхрасширения. Прежние геополитики были склонны придавать исключительность своему предмету, как, например, в утверждении Маккиндера о том, что гегемония зависит от контроля над географическим хартлендом, находящимся в центре Евразии. Современные геополитики показывают, напротив, что расширение и сужение государственных границ определяется соотношением между геополитическими преимуществами и неблагоприятными положениями соседствующих государств, где бы они ни находились на земном шаре.

Среди прочего на возрождение геополитической истории повлияла мировая история Вильяма Макнила. Его книга «Подъем Запада»

(умышленно антишпенглеровское название), опубликованная в 1963 г., свидетельствует о зрелости мировой историографии, о накоплении достаточного количества исследований для того, чтобы история земного шара могла быть написана в привычной нарративной форме, без обращения к метафоре. В сравнении с цветистыми писаниями поколения первопроходцев мировая история Макнила — это труд профессионального историка, распространяющего стандартные технические приемы и приводящего накопившееся знание к тому виду, в котором Всемирная история перестает быть таинственным мельканием предположительного прошлого. Это взросление мировой историографии можно увидеть также в одновременном появлении других монументальных работ, охватывающих громадные просторы незападной истории: многотомный труд Джозефа Нидэма «Наука и цивилизация в Китае» [Needham 1954], «Приключение ислама» Маршалла Ходжсона [Hodgson 1974]. Макнил успешно децентрирует мировую историю с европейской точки зрения, придавая главное значение процессу, посредством которого «ойкумены» межцивилизационного контакта постепенно расширялись в течение нескольких тысяч лет. Макнил показывает значимость геополитических отношений в экспансии империй, их столкновениях и кризисах. Он приводит множество примеров от Дальнего Востока до крайнего Запада, когда государства подвергались вторжениям со своих окраин, сверх меры расширяли территории и тем самым затрудняли обеспечение своих армий либо подвергались внутреннему распаду. Военный аспект государства, возможно, был преходящим моментом в ранней работе Макнила, но он приобрел большую и явную значимость в его поздних трудах, особенно в книге «Стремление к могуществу» [McNeill 1982], которая документирует всемирную историю социальной организации вооружений и их влияние на общество.

Развитию современных исследований геополитики способствовал еще один тип компендиумов. Появились обширные исторические атласы, такие как серия под редакцией Макэведи [McEvedy 1961; 1967; 1972; 1978; 1982]. Публикация таких атласов — это проявление синтеза, который стал сейчас возможным благодаря накоплению исторических знаний. Бесконечные хитросплетения истории государств становятся зримыми, когда мы можем изучать карты, показывающие, как последовательно менялись территории государств. Трудность охвата всего этого материала в чисто вер-

бальной форме — это одна из причин того, почему прежние описательные истории или разделялись на специализированные исследования, или придавали глянец общей структуре, сводящейся к нереально малому числу великих империй. Исторические атласы, опубликованные в 1960-е и 1970-е гг., обозначили фазу консолидации информации, на основе чего могло строиться более явное теоретизирование.

Геополитически ориентированный, или военно-центрированный, взгляд на государство приобрел возросшее значение благодаря схождению трех областей исследования: геополитической теории, теории революции как государственного распада и исторической социологии современного государства как расширяющегося аппарата военной организации и извлечения налогов.

В 1960–1980-е гг. начала складываться аналитическая теория геополитики. Артур Стинчкомб, Кеннет Боулдинг, Джордж Модельски, Мартин ван Кревельд, Пол Кеннеди и другие разработали согласованный состав геополитических принципов[1]. В моей синтети-

---

[1] Имеются соотносимые труды в области международных отношений, особенно в направлении, названном сейчас «исследованиями безопасности» (ведущие работы включают: [Waltz 1979; Gilpin 1981; Keohane 1986; Walt 1987]. Здесь мы видим странный эффект академической «балканизации» — расхождения между исследовательской работой в политической науке и исторической социологии. Эти дисциплинарные лагери действуют на одной и той же территории, но с различными концептуальными орудиями и различными интересами. В области международных отношений оспариваются предпосылки неореализма, согласно которому поведение государств может быть сведено к вычислению их эгоистических интересов, будь эти интересы экономические и направлены сугубо на могущество, также обсуждаются вопросы о том, является ли межгосударственная арена местом лишенной каких-либо норм анархии. С социологической точки зрения спор относительно международной анархии смешивает аналитическое теоретизирование и нормативную оценку, а это затемняет фокусировку внимания на геополитических принципах, которые одновременно структурируют межгосударственную арену и находящиеся в ее рамках государства. Прежняя школа равновесия сил, или баланса могущества [Morgenthau 1948], взяла британскую стратегию в эпоху раннего Нового времени в качестве своей нормативной модели желаемого поведения и чрезмерно обобщила ее, превратив в аналитическую теорию всей геополитики. Новейшая теория стабильности гегемоний сходным образом основывается на европейской истории Нового времени и сводится к обсуждению желаемых последствий утверждения главенствующей державой, или гегемоном, правил мирового порядка (рассуждения, аналитически пересекающиеся с социологической миросистемной теорией, но расходящиеся с ней в нормативном упоре на разные моменты). В целом теория международных отношений в большей степени озабочена вопросами

ческой теории они составляют динамику соответствующих экономических и материальных ресурсов соперничающих государств, географические конфигурации, влияющие на число потенциальных противников на их границах, а также логистические издержки и напряжения, связанные с угрозами и использованием силы на различных расстояниях от ресурсных центров. В противоположность прежним геополитическим теориям начального периода современная геополитическая теория обрела множественность измерений: нет единственной, перекрывающей остальные, причины расширения или упадка государства, но есть сочетание процессов, которое может приводить к широкому кругу результатов. Хотя и остается естественная тенденция сосредоточения на судьбе великих государств-гегемонов, геополитика аналитически применяется не только к одиночным государствам, но и к зонам взаимоотношений государств, она охватывает времена и пространства, где существуют малые государства и баланс могущества, равно как гегемонии и основные войны. Поскольку война и мир аналитически являются сторонами одного и того же предмета, геополитика включает теорию мирного времени, равно как и его противоположности.

Второй линией исследований, повышающей значимость геополитики, является теория революций как государственных распадов, особенно в формулировке Скочпол. Фискальный кризис в сердцевине основных революционных ситуаций наиболее часто вызывался накоплением долгов из-за крупнейшей статьи государственных расходов — военной. Следующий шаг назад по цепочке причин — это геополитические условия, которые определяют, как много государство воевало, с какими издержками, с какими разрушениями или каким обретением ресурсов благодаря военному успеху. Я утверждал, что скочполовская модель государственного распада сочетается не только с геополитической теорией, но и с неовеберианской теорией легитимности. Теория государственного распада решительно материалистична, она подчеркивает упрямые военные и экономические условия. Остается сфера веры и чувства, культурных и социальных реальностей, которые многие социологи считали

политической стратегии (policy questions), причинами войн и тем, что может быть сделано для их предотвращения. Социологическая геополитика больше интересуется темой формирования государств как в отношении их границ, так и во внутренней организации, через долговременные паттерны войны и угрозы войны.

первичными в человеческом опыте, сфера живых смыслов, через которые фильтруются материальные условия, приводящие людей к действиям. В моем рассуждении теоретический круг замыкается привлечением идеи Вебера о том, что престиж могущества государства — престиж, порождаемый его могуществом, — на внешней арене, и прежде всего опыт мобилизации к войне, является наиболее потрясающим из всех социальных опытов. Легитимность правителей государства проистекает в значительной мере от того, как народ чувствует геополитику и ее влияние на свое государство. Расширяющиеся посредством войн государства и завоевавшие престиж на мировой сцене деятели повышают легитимность в своей стране и даже помогают создать легитимность на пустом месте. Напротив, государства, испытывающие геополитические затруднения, не только соскальзывают к фискальному кризису и государственному распаду, но и обуславливают эмоциональное снижение, которое вызывает делегитимацию. Геополитика ведет к революции по обеим тропам — материальной и культурной.

Третье направление современных исследований показало, что нововременное государство развивалось в первую очередь через разветвление его военной организации. Историки и социальные исследователи получили документальные свидетельства о «военной революции» — громадном росте величины армий, начавшемся в XVI и XVII вв. За ней последовали организационные изменения: оружие стало все в большей степени централизованно обеспечиваться государством, а не через местное производство; обеспечивающие армию обозы увеличились и стали более дорогими; армии обрели строгий порядок муштры и бюрократическую регламентацию. Здесь можно выделить две обобщающие работы. В книге Майкла Манна «Источники социальной власти» (к настоящему времени — два тома [Mann, 1987, 1993]) показано, как преимущественно военные затраты наряду с долгами, оставшимися от прежних войн, приобрели угрожающие размеры в бюджетах государств Нового времени. Манн показывает, что неуклонное увеличение масштаба военных издержек, сначала во время военной революции, а затем в период наполеоновских войн, последовательно способствовало проникновению государства в гражданское общество: отчасти для надежности финансовой поддержки, отчасти для мобилизации экономических и людских ресурсов. Характерное для Нового времени проникновение государства в общество оказалось обоюдо-

острым мечом: оно не только создавало чувства национальной идентичности и преданности, но также воодушевляло социальные классы на полноценное участие их членов в борьбе за политическое представительство на общественной арене и за другие уступки в ответ на фискальные требования. Манн играет неовеберианским козырем на поле марксистской теории классовой мобилизации: в центрированной на государстве модели именно развитие государства через расширение его собственного специфического ресурса — организации военной силы — определяет, могут ли классы вообще быть мобилизованы как политические и культурные акторы. Тот же процесс проникновения государства в общество одновременно мобилизует националистические движения. Мы могли бы добавить сюда другую веберианскую мысль: когда происходит военно-обусловленное проникновение [государства] в общество, тут же приводятся в движение и процессы бюрократизации, и процессы мобилизации интересов; организационные ресурсы современного государства теперь могут быть использованы для целей, весьма отдаленных от первоначальных военных, начиная с создания государства всеобщего благосостояния (welfare state) и до экспериментов с социализмом или культурными реформами.

Другим современным классическим обобщением военно-центрированной теории государственного развития является книга Чарльза Тилли «Принуждение, капитал и европейские государства, 990–1990 гг.» [Tilly 1990]. Упорядочивая все изобилие доступного сейчас научного знания, Тилли показывает, как расходились пути государств, переживавших военную революцию. В зависимости от того, какие были в их распоряжении типы экономической организации, государства полагались на получение средств от городских купцов или от завоевания аграрных территорий. Степень доступности этих ресурсных основ определяла, насколько были трудными фискальные задачи и типы сопротивления, с которыми сталкивались правители, стремящиеся увеличить финансовое обеспечение своих армий. Когда из большого количества малых средневековых государств в результате геополитических процессов отсеялись немногие, нововременные государства кристаллизовались в ряд демократических или автократических политий*, характер которых

* Автор здесь и далее использует понятие «полития» в смысле Вебера — как сообщество, имеющее собственную военную силу для защиты своей территории.

был задан их различными фискальными основами. Исторические пути государственной военной организации соединяются с внешними геополитическими опытами и внутренней борьбой по поводу налогообложения и представительства. Результатом стало побуждение к революциям и образование разных типов устройства современных государств.

Рассмотренные здесь сферы научных исследований являются главным свидетельством в пользу моего утверждения о том, что мы живем в Золотом веке исторической макросоциологии, или макроистории. Не все проблемы решены; но ни в одном периоде творческой работы никогда не решаются все поставленные проблемы — сделать так означало бы превратить обновление в застой, а творческие исследователи в своем продвижении всегда порождают новые темы. Мы можем с уверенностью сказать, что масштаб и глубина нашего виденья мировой истории значительно выросли. Я полагаю, что у нас есть четкие контуры нескольких важных орудий анализа, таких, как теория революций как государственных распадов, миросистемный целостный образ (the world-system gestalt) в наиболее общем смысле поиска причинных процессов, направленных извне внутрь, основные компоненты геополитических процессов, военно-ресурсная траектория развития современного государства. Я уделил столь большое внимание политическим и экономическим темам исторической макросоциологии, поскольку они изучались наиболее упорно и по ним накопилось больше всего теоретических результатов. В данном ограниченном по объему обзоре я должен опустить много других областей, в которых взросление современной социальной истории достигло критической массы или по меньшей мере преодолело порог, за которым уже следуют работы значительной изощренности. Позвольте мне лишь упомянуть небольшое число успешных исследований: в историческом изучении семьи — школа Ласлетта и сравнительные работы Джека Гуди; в истории цивилизующих манер — труды Норберта Элиаса, Стефана Меннела и Йохана Гудсблома; в макроистории болезней и окружающей среды — книги Макнила и Альфреда Кросби; в макроис-

---

Каждое суверенное государство (держава) является политией, но некоторые политии не являются государствами, поскольку не имеют центрального правительства, способного принуждать население к труду и войне (по Р. Карнейро), не имеют монополии легитимного насилия на территории (по М. Веберу).

тории искусства — исследования Арнольда Хаузер, Андре Мальро. Другие работы быстро продвинули вперед историю гендера, сексуальности и материальной культуры. Есть все признаки того, что Золотой век исторической макросоциологии продолжается. Подходы, первоначально разработанные для европейских обществ, как раз сейчас стали серьезно применяться повсюду (таково, например, проведенное Эйко Икэгами исследование цивилизующего процесса в Японии). Дюркгеймовский социологический микроскоп, становясь макроскопом, аккумулировал первый и второй раунды научных открытий; впереди, несомненно, следующий раунд.

2. Критики макроистории

Окинув взором любовный роман двадцатого века с макроисторией, давайте теперь обратимся к обратной стороне их отношений — конфликту. Наряду с развитием охватывающей весь мир и аналитически просветляющей истории существует противоположная тема, критикующая ее ошибки и опровергающая ее эпистемологию. Здесь мы также можем схематизировать обзор, выделив две волны, одна из которых соответствует поколению первопроходцев макроистории, а вторая — изощренной рефлексивности в последние десятилетия XX в.

В 1930-е и 1940-е гг. грандиозные исторические представления отвергались на различных основаниях. Шпенглеровские смутные поэтические метафоры и религиозные декларации Тойнби воспринимались как изъяны, которые неизбежны в работах такого претенциозного масштаба. Карл Поппер с отвращением к нацизму и советскому тоталитаризму утверждал, что ментальность, обозначенная в его индивидуальной терминологии как «историцистская» (т. е. предполагающая поиск исторических законов), крылась в самих корнях антидемократических движений. В более узкой профессиональной сфере антропологи противостояли предшествовавшему поколению, которое рассматривало этнографические материалы в сравнительном и историческом свете и конструировало элементы культуры, не считаясь с шаблонным взглядом на то, какой вид «выживания» они представляли исходя из более раннего пути эволюционного развития. В противоположность такому подходу структурно-функционалистская программа настаивала на том, что

общество в целом должно тщательно изучаться как некий тип живого организма; что позволило бы раскрыть, как институты объединялись друг с другом в некую интегрированную систему, действующую и поныне.

Эта первая волна возражений против макроистории оказалась эфемерной, а новое поколение историков и сравнительных социологов начало публиковать работы, которые я обозначил как составляющие Золотой век. В антропологии также начался новый прилив значимых исследований. Начиная с 1949 г. и с возрастающей отчетливостью в ряде работ 1950-х и 1960-х гг. Клод Леви-Стросс предпринял новый подход к написанию истории «народов без истории», т. е. племенных обществ без памятников письменности и, соответственно, без явного осознания исторических рамок соотнесения [своего времени с прошлым]. Леви-Стросс предложил читать их скрытую историческую память, раскрывая символический код, в котором запоминаются мифы. Этот метод вел его к реконструированию событий эпохальной значимости, таких как практика приготовления пищи, которая отличает людей от животных, которыми люди питаются [Levy-Strauss 1969]. Книга «Мифологики» Леви-Стросса сходна с его ранней работой о структурных моделях родства как попыткой реконструировать паттерн революции родства, благодаря которой отдельные родовые линии, или семейные кланы (family lineages), утверждали себя как элиту, разрывая отношения первобытной взаимности (reciprocity) и приводя к стратификации уже в рамках государства. Структурализм Леви-Стросса находился в двойственном отношении к истории; его близость к структурному функционализму и другим статическим структуралистским теориям, таким как лингвистика Хомского, создавала впечатление, что он также имеет дело лишь с неизменными структурными отношениями. В то же время Леви-Стросс описывал структуры как динамические отношения — системы в неравновесных состояниях, — которые способствовали историческим изменениям, но и оставляли символические следы, или остатки, по которым мы можем реконструировать такие отношения. Структуры Леви-Стросса одновременно являются историческими и над-историческими, во многом таким же образом, как и язык.

Из-за этой двойственности отступающая волна энтузиазма по поводу структурализма перетекала прямо в волну постструктурализма. Леви-Стросс не предложил никакого надежного способа

ни для декодирования символической истории, ни для выявления корреляции (в прямом дюркгеймианском смысле) символов с социальными структурами. Во французском интеллектуальном мире провал проекта Леви-Стросса был воспринят как оправдание историзирования — рассмотрения сугубо в историческом аспекте — всех [культурных] кодов. Установилось представление, что мы живем в мире, структурированном кодами, и видим мир только сквозь линзы наших кодов. Но то, что мы видим сквозь них, переменчиво и ненадежно, будто стекла очков сделаны из текущей воды.

Движение, атакующее макроисторию, а вместе с ней любое построение предметных социологических теорий с широким аналитическим кругозором, подпитывалось из нескольких потоков: влияние поздних поколений феноменологической философии; распространение гегельянской рефлексивности в экспансии Фуко на область истории психиатрии, что делало идеи Фрейда более контекстуализированными и относительными, поколение 1960-х гг., сочетавшее бьющую по мозгам психоделическую «культурную революцию» с политическим радикализмом, связанным уже не с промышленными рабочими, а с движениями студентов-интеллектуалов, антизападный настрой этнических протестов, восстание интеллектуалок-феминисток против господства мужских канонов, фиксированных в традициях написания текстов. Все это вместе составило внушительный альянс политических и интеллектуальных интересов. К этому мы можем добавить скрытое соперничество в мире ученых между специалистами, озабоченными лишь своими собственными нишами, и теми, кто занимается синтезом и помещает специализированные исследования в рамки более широких утверждений.

Общим знаменателем этой недавней волны нападок на макроисторию является приоритет контекстуальности и партикуляризма — признания уникальности и несравнимости отдельных явлений истории. Это антиисторическое сознание тем не менее вырастает из тех же обстоятельств, что и противостоящая ему установка. Нынешние антиисторики появляются в результате объедения историей. Постмодернистское мышление могло бы, вероятно, быть описано как некая форма «рвоты историей», как гримаса отвращения, начавшаяся с разочарования в марксизме и в некоторой степени во фрейдизме, которые в определенных модных кругах рассматривались как Великие Нарративы, единственно достойные того, чтобы о них знать.

Как макроисторики текущего Золотого века, так и их современники — историки, отвергающие грандиозные масштабы, являются продуктами вздымающейся волны осознания того, что мы находимся внутри истории. Все мы — те, кто пишет историю, и те, кто пишет против нее, — существуем и мыслим внутри истории. Несомненно, в будущем будет написана интеллектуальная история конца XX в., равно как история всех других периодов. Наши идеи, сам наш язык являются частью истории. Нет никакого стандарта вне истории, по которому о чем-либо можно было бы судить. Работает ли это признание на пользу макроисторикам или в их осуждение? Нет никакого выхода из тюрьмы контекстуальности, но что отсюда следует?

3. Теория и аналитический партикуляризм

Давайте приведем две указанные позиции к прямому противостоянию. Я подчеркнул, что Золотой век макроистории, или исторической макросоциологии, в котором мы живем, зиждется на накоплении научной работы нескольких поколений историков. Разве это не основание в модных сегодня направлениях философии для того, чтобы отбросить макроисторию как не более чем наивный эмпиризм? Мой ответ на это состоял бы попросту в том, что мы сами интеллектуально конституированы сообществом, охватывающим тысячи историков и социальных исследователей, которые работали в течение нескольких столетий, и что накопленные ими архивы были вскрыты Макнилом, Валлерстайном, Манном, Тилли и другими, так же как более разнородные архивы были вскрыты ранее Вебером и Тойнби. Будет лишь полемическим упрощением предполагать, что приверженность кого-либо эмпирическому исследованию обусловливает его забвение теоретической деятельности. Настолько же произвольно считать, что развитие теоретических интерпретаций происходит лишь благодаря другим идеям, тем более посредством каких-то таинственных прорывов в истории сознания. В социальной реальности интеллектуального мира нынешние представители гиперрефлексивных философских направлений и защитники узкой контекстуальности являются продуктами того же накопления исторических архивов, что и макроисторики. Единственное различие состоит в том, что одна группа специализи-

руется на истории интеллектуальных дисциплин, литературной критики и лингвистики, тогда как другая продвигается в истории экономики, политики и религий.

Ответ на неизбежную понятийную вовлеченность в исторические контексты состоит в следующем: нужно не меньше теории, а больше. Скатывание обратно в локальную контекстуальность часто является путем вопросов без ответа, которые оставляют нас не с большей умудренностью, но со скрытой зависимостью от непроверенных теорий, закодированных в самом языке, который мы используем. *Вся* история теоретически нагружена. Любая попытка скрыть этот факт приводит к плохой истории и плохой теории.

Нет такой вещи, как чисто нарративная, или описательная, история. Невозможно перечислять частности (particulars) без обращения к общим понятиям. Существительные и глаголы содержат скрытые обобщения («снова еще один из *таких же*»). Даже собственные имена не столь конкретны (particularistic), как могут показаться, поскольку они выделяют некоторую целостность, у которой, как предполагается, есть продолжающиеся во времени контуры и которая включает скрытую теорию того, что удерживает эту «вещь» как целое: безобидное упоминание «Франции» или «Парижа» нагружено предпосылками. Дать имя, хоть отвлеченное, хоть индивидуальное, — значит наложить схему того, что с чем соединено и что от чего отделено. Таким образом, риторические формулы обретают реальность, а процессы со многими измерениями конструируются как единые. Кроме того, нарратив — это всегда отбор. Среди всех разных явлений, о которых можно было рассказать, лишь на некоторых сосредоточено внимание как на значительных, а сама их последовательность включает предположение о причинах следования.

Давайте возьмем пример из того, что обычно считается самым не обремененным разумом, движимым сугубо событиями партикуляристским нарративом, — из традиционной военно-дипломатической истории. «Наполеон заставил своих закаленных в боях ветеранов продвигаться маршем в течение всего дня, ошеломив австрийцев появлением поздним вечером 6000 человек. К концу этой битвы австрийский контроль над Италией был утрачен». Это звучит как нарратив, в котором история делается героическими личностями, но его эффектность достигнута отвлечением индивидуума от организационного контекста. Сам нарратив предполагает некий мир, в котором войска организованы в дисциплинированные армии, при-

чем таким образом, что командир может осуществлять централизованное управление и получать быстрый организационный ответ. Также предполагается некая теория боя, согласно которой превосходящее по численности войско, собранное на определенных типах местности, выигрывает битву, причем предыдущий боевой опыт делает войска более способными к таким маневрам, а скорость продвижения войск и время их появления определяют результаты битвы. Эти предпосылки могут быть, а могут и не быть верны в общем случае; сейчас существует развитая военная социология, которая объясняет социальные и исторические условия, при которых такие вещи имеют или не имеют место. Предварительные организационные условия при Наполеоне не существовали во времена галлов и потерпели бы провал в некоторых отношениях ко времени Первой мировой войны. Данный нарратив также предполагает теорию государства, в которой решения принимаются непосредственно исходя из итогов войны. Опять-таки это может быть верно при некоторых условиях, но только если мы специфицируем организационный контекст — победа армий визиготов в 410 г. не привела к тому, что Визиготская империя обрела контроль над Италией, тогда как победа Наполеона в 1800 г. привела к созданию Французской империи.

Степень, в которой описанная последовательность событий делает рассказ связным, а объяснение адекватным, не может быть определена лишь на основе рассмотрения единственного нарратива. Моя мысль не в том, что нарративные истории наполеоновского типа изначально ложны, а в том, что мы знаем, почему и до какой степени они верны, только в свете более общего теоретического знания. Такое знание не появляется просто из воздуха. Оно приходит отчасти в результате изучения достаточно широкого круга иных историй, которые позволяют нам говорить, что является центральными условиями, а что — локальными сопутствующими обстоятельствами, не имеющими значимого влияния на данный отдельный результат. То, что делает социологическая теория, — это накопление узнанного нами из истории.

Специализированные истории с локальным контекстом не свободны от теории. Соответствующие антитеоретические утверждения означают, что имплицитно предполагаемые в таких историях теории — это лишь те, что достаточно стары чтобы стать общими предпосылками. Как мы увидим в главах 4 и 5 данной книги, исто-

рии демократии особенно испорчены из-за неосознанного принятия популярных идеологических категорий. Исторические макросоциологи имеют преимущество благодаря своей способности проверять, действительно ли их модели масштабных процессов во времени и пространстве согласуются с тем, что мы узнали из иных областей социологического исследования. Процессы полевых сражений, упомянутые выше, понимаются более надежно в той степени, в какой соответствующие концепции согласуются с анализом организаций и их распадов, исследований прямого насилия и изучения эмоциональной солидарности в группах. Можно верить социологу, занимающемуся выявлением скрытой в исторических нарративах динамики, что он или она находится на верном пути в той мере, в какой он или она может сопоставить и объединить (cross-integrate) исторические паттерны с другими частями социологии.

Конечный продукт не обязательно должен быть теорией как таковой. В свете такого накопления социологического знания через явную теорию мы лучше способны создавать новые истории. Это не обязательно должны быть новые сравнения или новые случаи (что является удачей, поскольку объем истории конечен, а отчетливые случаи макрофеноменов скоро будут исчерпаны), но такими могут быть исследования, в которых выделяются новые грани наших ранее изученных нарративов для анализа с большей глубиной и свежим взглядом. Например, в значительной мере пересекаются случаи, изученные в работах [Moore 1966; Skocpol 1979; Goldstone 1991, Downing 1992]. Давно известно, что теория и [эмпирическое] исследование циклическим образом переходят друг в друга, но тем не менее это верно и является важной рекомендацией, даже когда в модных метатеориях утверждается, что тот или иной полюс совершенно автономен и никак не совместим с другим. Когда история или общая теория идут каждая своим отдельным путем, то действительно остается в тени то, что одна из них смутно и неосознанно восприняла от другой. Результатом является плохая история и плохая теория.

4. Обзор книги

Данная книга представляет собрание моих собственных попыток практиковать историческую макросоциологию с полным осознанием того, что это теоретическая задача, а также что теории все-

гда строятся шаг за шагом и в форме критики предшествующих теорий. Книгу составили очерки, или эссе, но не трактаты. Я не пытался делать обзор литературы и воздать должное каждой соперничающей концепции, даже когда это вполне можно было сделать. Вместо этого я намечаю широкими мазками, возможно, чересчур схематично, некоторые направления дальнейших рассуждений.

В первой главе сделан обзор того, как далеко мы продвинулись в центрированной на государстве теории революции и в связанной с ней теме идеологий, — как раз данная работа была проделана в Золотом веке в архетипическом марксистском духе.

В следующих трех главах прослежены некоторые следствия геополитической перспективы извне-внутрь для понимания государств и обществ. Центрированная на государстве теория в соединении с геополитической теорией военных перипетий позволяет считать, что революции, в принципе, предсказуемы на основе знания геополитических условий. В главе 2 обсуждаются распад, или коллапс, Советской империи* и революции в коммунистическом блоке на перелом 1980–1990-х гг. Здесь также проведено ретроспективное обсуждение геополитической теории, с помощью которой я предсказал распад Советского Союза в то время, когда общепринятой мудростью был совершенно противоположный взгляд. В главе 3 геополитические принципы объединяются с веберианской темой: легитимность формируется престижем могущества государств. Расширяя этот принцип, мы можем сказать, что данному влиянию подвержена не только легитимность правителей, но также легитимность господствующих этнических групп. В данном очерке проводится рассуждение о том, что этничность имеет отнюдь не примордиальный характер, но конституирована историческим путем, в результате которого может произойти либо расщепление на малые этнические идентичности (что я обозначил метафорически как «балканизацию»), либо сплавление их в большую этнонациональную идентичность (условно — «американизация»). Какое из этих направлений будет выбрано, зависит главным образом от того, претерпевает ли геополитическое положение государства упадок или подъем.

---

* Под советской империей здесь и далее автор имеет в виду все территории, которые контролировались советскими вооруженными силами, т. е. сам СССР и страны Варшавского договора.

В главе 4 представлена теория демократизации. Утверждается, что большинство теорий на эту тему испорчены выборочным нарезанием истории на фрагменты времени и пространства, имеющим характер телеологического искажения, а также жульническим протаскиванием в качестве предпосылок в соответствующие единицы анализа как раз того, что, собственно, должно быть доказано. Демократизация не может быть сведена к процессу с одним только измерением, поскольку фактически она включает два различных процесса: мобилизацию народа в политику через избирательное право и формирование коллегиальных структур разделенной власти, в рамках которых мобилизация могла бы произойти. Коллегиально разделенная власть — это не феномен модернизации, тогда как расширяющееся избирательное право является таковым. Коллегиальные структуры обычно были образованы геополитическими процессами, благоприятствующими скорее устойчивым федерациям и альянсам, а не централизованным государствам. Я стараюсь показать это, рассматривая ряд сравнений, охватывающих средневековое папство, средневековую Германскую империю и формирование Соединенных Штатов Америки. Я также предлагаю некоторые приложения геополитической теории к будущим перспективам коллегиальной демократии в бывшем советском блоке.

В главе 5 проводится дальнейшее исследование той же темы: принятые концепции модернизации искажают данный феномен, сводя многомерный процесс к развитию с единственным измерением. Предложена иллюстрация, опровергающая устоявшееся представление: широко распространенные объяснения немецкого общества как несовременного (unmodern) в культурном плане и антидемократического не корректны как исторически, так и аналитически. Лежащая в основе таких ложных взглядов теория предполагает, что экономическая и социальная модернизация, политическая демократизация — все они осуществляются как бы в одном пакете. В противоположность такой установке я утверждаю, что имеются четыре отдельных измерения модернизации. Если это признать, то оказывается, что Германия была лидером модернизации в нескольких ключевых измерениях (особенно в религиозной секуляризации и организационной бюрократизации), в которых Британия и Соединенные Штаты отставали. Далее, когда мы раскладываем измерение демократии на субкомпоненты коллегиально разделенной власти и широты избирательного права, германский путь политиче-

ского изменения оказывается не так уж сильно отличающимся от других стран — лидеров модернизации. Тревожное следствие состоит в том, что объяснение нацизма и Холокоста не может быть обнаружено в уникальных антимодернизационных свойствах немецкой культуры; напротив, это объяснение следует применить к процессам, которые под другими именами могут произойти со всеми нами.

Вплоть до этого места очерки фокусированы на государственно-центрированной теории и ее ответвлениях. Последние два эссе — главы 6 и 7 — посвящены макроистории экономического изменения в общемировой перспективе. Вместе две эти группы очерков представляют две главные причины макроисторического изменения: геополитику и рынки. Очевидно, это не единственные причины изменения в мультикаузальном мире, но таковы ключевые аналитические организующие схемы, или приемы (devices), вокруг которых образуется многое из остальных причин.

Если хотите, главу 6 «Динамика рынков как мотор исторических изменений» можно считать некой *jeu d'esrit**, или интеллектуальной салонной игрой. Эта игра состоит в том, чтобы посмотреть, насколько сегодняшняя историческая социология способна заполнить пустоты в принадлежащей Марксу и Энгельсу теории истории как ряда процессов развития и кризисов в способах производства. Здесь я утверждаю, что ведущим сектором является не само по себе производство, а рыночные структуры и что динамика рынков обусловила социетальные подъемы и кризисы в ряде политико-экономических систем; таковы были: во-первых, рынки родства, в которых сексуальная собственность обменивалась на политические альянсы, во-вторых, рынки рабов, в которых военные добытчики рабов являлись главными производителями «товаров»; в-третьих, аграрно-принудительные рынки, а с [исторически] недавнего времени — современные капиталистические рынки, иными словами, всепроникающая рыночная динамика, в которой торгуются уже сами средства обмена. В главе 7 я свожу эти четыре типа к трем, включая рабовладельческую экономику по Марксу в более широкую категорию аграрно-принудительных рынков.

Если глава 6 представляет собой попытку спасти то, что осталось от Маркса, то в главе 7 «Азиатский путь к капитализму» я пытаюсь

---

* *Jeu d'esrit* (*франц.*) — игра ума.

проделать то же самое с теорией Вебера о религиозных истоках капитализма. Здесь внимание сосредоточено на переходе от аграрно-принудительных экономик к самоподдерживающейся динамике современного капиталистического роста. Моя мысль состоит в том, что институциональный разрыв с аграрно-принудительными структурами имел место в небольшом секторе, ключевым компонентом которого была религиозная экономика, осуществляемая предпринимательскими монастырскими корпорациями. Здесь я развиваю веберианскую аргументацию, но упор делаю не на религиозные культуры, а на институциональные составляющие капитализма. В этой главе я также отказываюсь от представлений Вебера о том, что капитализм появился лишь на иудеохристианском Западе. Капитализм развивался сходным путем благодаря буддийским институтам: с зачатками в средневековом Китае и прорывом при переходе к эпохе Токугава в Японии.

Книгу завершают два приложения. Первое призвано показать, что разрыв между абстрактными теоретическими принципами и бесконечной сложностью реальной истории не так уж и велик. Компьютерное моделирование некоторых простых моментов неовеберианской теории государства показывает, что когда абстрактные процессы могут накапливаться и воздействовать на самих себя через обратную связь, тогда при одних и тех же теоретических предпосылках можно получать множество различных паттернов истории большой длительности. Здесь варьируют лишь численные значения начальных условий. Как говорят теоретики хаоса, несколько преувеличивая, бабочка в Бермудском треугольнике может вызвать цунами в Индии, но отнюдь не из-за отсутствия абстрактных каузальных процессов, а напротив — благодаря действию этих процессов. В некотором смысле это иллюстрирует стародавнюю марксистскую тему «перехода количества в качество». В Приложении Б резюмируется давно написанная и полузабытая работа Франца Боркенау о том, что может быть названо геополитикой языка, — работа, подкрепляющая мое рассуждение, проведенное в главе 3.

Есть одно оправдание тому, что в книге нет исторических карт. Из-за значимости геополитики в столь многих частях моей аргументации было бы крайне желательно представить в графической форме то, что здесь написано. Многое в начальных формулировках этих очерков появилось благодаря тщательному изучению исторических атласов, когда смутные ощущения кристаллизовались в некий

гештальт, что вело к новым подходам в разработке теорий относительно самих единиц социологического анализа. Я с большой неохотой отказался помещать здесь иллюстративные карты, поскольку черно-белые репродукции передают множество запутывающих деталей, но не представляют четкий и ясный гештальт. Идеальная публикация книги по макроистории должна включать щедрый набор полноцветных исторических карт, позволяющих высвечивать измерения социальной структуры, простирающиеся в пространственных ландшафтах. Я призываю вас читать эту книгу, держа под рукой добротные исторические атласы, такие как серия под редакцией Макэведи «The Anchor Atlas of World History» или же большой том Барраклу.

Дадим Фернану Броделю последнее слово по поводу отношения между глубинными течениями абстрактной теории, намеченными макроисторией, и деталями, которые предстают перед глазами современников в форме «"l'histoire événementielle" — истории событий: поверхностных возмущений, брызг пены, которые на своих могучих спинах несут приливы истории. История кратких, быстрых, нервозных флуктуаций, по определению, сверхчувствительна; самое малое колебание заставляет все антенны трепетать. Но, будучи таковой, история является самой потрясающей, наиболее щедрой для человеческого интереса, а также самой опасной. Мы должны научиться не верить такой истории с ее еще пылающими страстями, как она была прочувствована, описана и прожита современниками, чьи жизни были так же коротки и мимолетны, как наши [...] Это опасный мир, его заклинания и чары мы должны изгонять, в первую очередь составляя карты тех подводных течений, часто бесшумных, чья направленность может быть выявлена только на протяжении больших периодов времени. Полнозвучные события являются часто лишь одномоментными вспышками, поверхностными проявлениями этих больших движений и объясняются только через последние»* [Braudel 1972, 21, Предисловие к первому изданию].

---

* Данный перевод сделан по книге Р. Коллинза, который взял фрагмент из английского варианта классического труда Ф. Броделя. В русском переводе с французского оригинала тот же фрагмент (без купюр) звучит так: «Наконец, третья часть посвящена традиционной истории, если угодно, истории не в общечеловеческом, а в индивидуальном измерении, событийной истории Франсуа Симиана:

Глубинные течения для сегодняшних исторических макросоциологов раскрываются благодаря аналитической глубине, а не просто в обширных описаниях. Метафора Броделя не должна привести нас к заключению, что эти течения движутся где-то далеко от поверхности, скорее, они соединяются вместе и тем самым производят бесконечное множество паттернов, которые и составляют то, что мы подразумеваем под поверхностью событий.

колебаниям поверхности, волнам, вызываемым мощными приливами и отливами. Это история кратковременных, резких, пульсирующих колебаний. Сверхчуткая по определению, она настроена на то, чтобы регистрировать малейшие перемены. Но именно эти качества делают ее самой притягательной, самой человечной и вместе с тем самой коварной. Станем остерегаться этой еще дымящейся истории, сохранившей черты ее восприятия, описания, переживания современниками, ощущавшими ее в ритме своих кратких, как и наши, жизней. Она несет отпечаток их страстей, их мечтаний и их иллюзий. В XVI веке подлинный Ренессанс сменился Ренессансом бедных, покорных, одержимых манией писать, изливать душу и рассказывать о других. Эта забытая эпоха оставила слишком много ценной макулатуры, сбивающей с толку, занимающей неправдоподобно много места. Историк, читающий бумаги Филиппа II, как бы сидя вместо него за его рабочим столом, оказывается перенесенным в причудливый мир, лишенный измерения; безусловно, мир живых страстей; слепой, как и всякий живой мир, в том числе и наш, невосприимчивый к глубинной истории, к ее быстрым водам, на которых наша лодка качается, как скорлупка. Опасный мир, сказали бы мы, но мы оградили себя от его козней и коварства, предусмотрительно обозначив эти часто бесшумные глубинные токи, смысл которых раскрывается только при охвате больших временных отрезков. Громкие события часто суть лишь моменты проявления этих общих предначертаний и объясняются только с их помощью» (*Бродель Ф.* Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. В 3 ч. Ч. 1: Роль среды / Пер. с фр. М. А. Юсима. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 20–21).

Глава 1

Центрированная на государстве теория революции и идеологии: достижение зрелости

Однажды у нас уже была теория революции и идеологии. Основные контуры этой теории были определены Марксом и Энгельсом, причем общие рамки их анализа получили широкое признание. Революции считались классовыми конфликтами. Привилегированный класс сталкивался с растущим давлением со стороны недовольного поднимающегося класса. В конце концов блокирующее давление верхов разрушалось, происходила революционная смена власти, открывавшая период социальных изменений. Этот процесс шел одновременно с последовательной сменой идеологической гегемонии. Правящие идеи были у правящей элиты, а по мере подъема нового класса претендентов на власть их новое сознание играло роль как барометра, так и мобилизующего начала для грядущей революции.

Для марксистов основными классами — действующими лицами в этой драме — были собственники средств производства, сталкивающиеся с поставщиками рабочей силы и собственниками конкурирующих средств производства. Немарксисты также использовали эту схему. Английская и Французская революции, как правило, связывались с «подъемом буржуазии» или иногда — с «подъемом джентри»*. Волна европейских революций XIX в. и многие «модернизирующие» революции XX в. тоже описывались как «буржуазные революции», а получавшиеся в результате институты и идеологии обычно соотносились с «буржуазной» демократией, или демократией «среднего класса».

---

* *Джентри* — нетитулованное мелкопоместное дворянство.

Общая модель подъема и падения классов была относительно автономна от экономической основы, но сохраняла ее структурные свойства. В американской социологии со времени Питирима Сорокина, т. е. с 1920-х гг., акцент сместился на индивидуальную мобильность. Революции связывались с прорывом препятствий для социальной мобильности индивидов, продвигающихся наверх благодаря своим талантам и амбициям, тогда как открытые каналы мобильности в соответствии с достоинствами считались своего рода предохранительным клапаном, ослабляющим давление и устраняющим условия возникновения революций. Изучение социальной мобильности (позже названной «достижением статуса», или «статусным продвижением», — status attainment), игравшее главную роль в социологических исследованиях вплоть до 1960-х гг., было в значительной степени результатом принятия базовой модели о том, что блокирование «поднимающихся социальных классов» приводит к революциям, а также результатом предпочтения пошаговых, постепенных реформ, которые, как считалось, и способствуют мобильности.

Теория идеологии тоже была модифицирована, но осталась в рамках изначальной марксистской/гегелевской модели. В «естественной истории» великих революций Крейна Бринтона не было ничего явно марксистского, но первым предвестником революционных потрясений он полагал идеологическое отторжение интеллектуалов от старого режима [Brinton 1938]. Знаменитая теория идеологии Карла Мангейма была расширением марксистской модели, включавшей утопическую идеологию самих революционеров. Мангейм стремился выйти за пределы исторического процесса, полагаясь на «свободно парящую» группу интеллектуалов, которые могли бы играть роль эдаких либеральных социальных инженеров. Они, в свою очередь, нуждались в социальной основе, причем вне классовой структуры, поэтому Мангейм в своих поздних работах обратился к социологии образования и социологии самих интеллектуальных сообществ. Исследования Райта Миллза 1950-х гг. и работы Алвина Гоулднера 1970-х гг. об идеологии продолжали линию Мангейма. В рассмотрении Гоулднером тех моментов, которые он называл «темной стороной диалектики», марксизм трактовался как идеология интеллектуалов, которые исподтишка возвеличивали свою необходимость в процессе революции и послереволюционном правлении [Gouldner 1976].

Гоулднер сделал явным то, что имплицитно утверждалось «Новыми Левыми» из студенческой среды 1960-х гг.: именно образование и средства массовой информации, а вовсе не старые классовые конфликты, прокладывают путь к власти; коротко говоря, центром политической динамики являются производящие идеологию институты.

Отвергая эту тему, представители марксистского мейнстрима по-прежнему видели идеологическую направленность революций как подвешенную на классовой культуре. Спор шел между линией, идущей от Антонио Грамши, и традицией, заданной Дьердем Лукачем. Линия Грамши состояла в том, что правители осуществляют идеологическую гегемонию, а их контроль над средствами массовой культуры препятствует революционной мобилизации. Приверженцы Лукача, напротив, подчеркивали автономию классовой культуры рабочих (как в известной работе Э. П. Томпсона об английском рабочем классе) и тем самым настаивали на наличии по крайней мере потенциальной основы для восстания. Эта точка зрения была подорвана, когда Крейг Калхун показал, что мятежные английские рабочие, собиравшиеся в годовщину Маркса, сами были отнюдь не заводскими тружениками, но представителями среды умирающих традиционных ремесел и что их консервативная идеология на самом деле состояла в возврате к прошлому [Calhoun 1982]. Популярный сегодня постмодернизм — это, по сути дела, торжество крайне пессимистической версии линии Грамши: гиперактивный культурный рынок позднего капитализма делает революцию и ее идеологию не только невозможными, но и бессмысленными.

В последние десятилетия старая парадигма революции как классового конфликта была разрушена, хотя остатки ее сохраняются в современном мышлении об идеологии примерно так же, как продолжает крутиться маховик, когда приводной вал уже сломан. Между тем на основе ставших доступными богатых исторических данных разработана новая теория революции. Мы знаем гораздо больше, чем наши предшественники, о реальном участии общественных классов в революционной политике, и у нас есть картина государственных финансов, военных структур, экономического развития и демографической динамики, которой не было во времена не только Маркса, но даже Мангейма и Бринтона. Становясь все менее европоцентричными, мы обращаем внимание на

кризисы в Китае, Японии и Турции, выявляем то, что там было общего с революциями на Западе, и то, что от них отличалось. Такое взросление сравнительной исторической макросоциологии является ключевым для растущей точности и изощренности теории революции.

Поворотным пунктом стала книга Баррингтона Мура «Социальные истоки диктатуры и демократии» [Moore 1966]. В некоторых отношениях эта работа может считаться последним ответвлением прежней теории, поскольку Мур делал упор на классовом конфликте как на движущей силе революции; однако в его трактовке этот конфликт происходит от систем собственности, скорее в капиталистическом сельском хозяйстве, а не в промышленности. В центр внимания ставятся крестьянские восстания, а также интересы правительственных бюрократов. Отсюда остается лишь один шаг к книге Теды Скочпол «Государства и социальные революции» [Skocpol 1979]. Скочпол осуществляет полновесную революцию в самой теории революций: теперь государство с его военными и фискальными интересами видится как центральное действующее лицо и как арена кризиса.

В начале 1990-х гг. эта новая центрированная на государстве теория революций существенно продвинулась. Книга Джека Голдстоуна «Революция и восстание в мире раннего Нового времени» [Goldstone 1991] — это интеллектуальная наследница теории Скочпол; сам Голдстоун был учеником Скочпол, так же как Скочпол, в свою очередь, была ученицей Мура. Работа Голдстоуна является настоящим произведением искусства; в том, что касается изощренности модели и основательного использования исторических материалов и сравнений, это, конечно же, лучшее исследование на настоящее время. Данная линия развития отнюдь не уникальна, поскольку центрированная на государстве теория продвигалась широким фронтом. Книга Роберта Вутноу «Сообщества дискурса» [Wuthnow 1989] составляет отличную компанию работе Голдстоуна, поскольку это тоже произведение искусства — лучшая книга из написанных до сих пор по теории идеологии. Вутноу также многое вбирает из богатого исторического материала, использует сравнительную исследовательскую стратегию для выделения причин, он также является наследником теоретической революции, проделанной Скочпол. Анализируя эти работы в едином ключе, мы можем увидеть, насколько далеко мы продвинулись.

1. Голдстоун и теория государственного распада

Первоначальным названием рукописи Голдстоуна было «Государственный распад в мире Нового времени», и оно лучше схватывало главную тему новой теории, чем заглавие опубликованной книги. Революции происходят из-за распада сверху, а не из-за восстания снизу. Не имеет значения уровень лишений широких групп населения: они не способны разрушить государство до тех пор, пока сплочены элиты и их военный репрессивный аппарат. При отсутствии распада в самом государстве для разрушения его также недостаточно прочих типов недовольства как социальной психологии восстания; но и растущие ожидания не выполнят эту задачу. Данное открытие стало одним из наиболее обоснованных в социальных науках, оно было подкреплено исследованием Чарльза Тилли, показавшим, что мобилизация мятежников продвигается до тех пор, пока это позволяют делать внутриэлитный конфликт и блокирование, или демобилизация, репрессивных ресурсов государства.

Голдстоун описывает три компонента государственного распада: 1) финансовое напряжение, неспособность государства платить своим собственным функционерам и прежде всего своим солдатам; 2) межэлитный конфликт, междоусобные войны, разделяющие правителей и парализующие их способность действовать; 3) народное восстание, происходящее одновременно с двумя другими процессами, ведущее к разрушению государства и образованию новых центров силы. Все три процесса должны присутствовать в качестве условий для полного государственного распада, тем самым — для успеха революции.

Эта модель объединяет процессы, которые ранее изучались по отдельности. Нельзя сказать, что народное недовольство не имеет отношения к революции, поскольку это один из факторов, вызывающих мятежи наряду с условиями, выделенными в теории ресурсной мобилизации*. Кроме того, конфликты внутри элиты отмечались начиная с «Восемнадцатого брюмера» К. Маркса. Многие ревизионистские исследования последних десятилетий, документально свидетельствующие о высоком уровне расколов внутри элиты

* Имеется в виду прежде всего теория ресурсной мобилизации Чарльза Тилли, см. [Tilly 1978].

(например, в Английской и Французской революциях), приводят к такому заключению: классовый конфликт не имеет ничего общего с революциями, поскольку одни и те же классы были представлены на обеих сторонах. Голдстоун превращает эту слабость прежней теории классового конфликта в составную часть своей теории государственного распада: ситуация становится революционной именно потому, что структурные условия раскалывают элиты на враждующие группировки. Голдстоун далее показывает, что прежняя теория «скороварки» — блокирования мобильности — неверна, поскольку именно в периоды высокой социальной мобильности внутриэлитный конфликт достигает крайних степеней.

Ядро модели Голдстоуна по существу составляет и ядро теории Теды Скочпол. Она также представила теорию государственного распада, основанную на сочетании фискально-административного кризиса государства, конфликтов внутри правящей элиты и народного восстания. Скочпол определила источники и характер этих трех компонентов несколько иначе, чем Голдстоун. Согласно ее теории, источником фискально-административного кризиса было военное напряжение как результат геополитических условий. Данный паттерн проявляется в исследованных ею случаях: Французская революция была следствием долгов из-за войн в Америке, а Русская* и Китайская революции последовали за мировыми войнами XX в. Для Скочпол, развивавшей идеи Баррингтона Мура, ярким примером внутриэлитного конфликта были распри между сельскими землевладельцами и государственными чиновниками относительно того, за счет чьих налогов должны восполняться государственные расходы. Народными восстаниями по Скочпол были крестьянские мятежи, здесь она вновь следует за Муром, утверждая, что характер крестьянской мобилизации и ответ на нее со стороны элиты определяются паттернами классовых отношений в рамках капиталистического сельского хозяйства.

Голдстоун меняет не ядро данной теории, но источники трех компонентов кризиса. Он показывает, что в период Нового времени за все три аспекта государственного распада был ответствен рост населения.

---

* Здесь и далее под Русской революцией имеются в виду события в России 1917–1918 гг., под Китайской революцией — события в Китае 1911–1949 гг.

1. В преимущественно аграрной экономике, когда население растет быстрее, чем развитие способов культивации, повышаются цены на продукты питания и основные товары. Это повышение цен приводит к значительному давлению на государственный бюджет прежде всего потому, что государству нужно кормить свою армию; данное фискальное напряжение обычно усиливается из-за резкого роста величины армий (так называемой «военной революции»), а также в связи с тем, что рост населения в тогдашних условиях военного состязания позволяет рекрутировать больше солдат. Этот фискальный кризис делает наибольшую пробоину в том государстве, которое связывает свою налоговую политику с сельскохозяйственной продукцией, поскольку налоги берутся в секторе с сокращением реальной стоимости соответствующих ресурсов.
2. Рост населения вызывает конфликт внутри элиты, вновь через несколько взаимоусиливающих каналов. Растущие цены приводят к тому, что элитам дороже обходится поддержание собственного существования и содержание тех, кто от них зависит. В то же время семьи элит разрастаются, большее число дочерей нужно обеспечить приданым и выдать замуж, большее число сыновей пытаются продвинуться на военной или штатской службе. Растущие цены дают прибыль некоторым семьям, занявшим самые выгодные позиции в производстве или торговле, соответственно, все больше семей жаждут попасть в элиту; их успешная мобильность делает более острой конкуренцию между теми, которые уже в элиту попали.
3. Рост населения означает то, что теперь земля делится между бóльшим числом крестьян, а это выталкивает многих либо в нищету, либо в пополнение растущей рабочей силы уже вне сельского хозяйства. Заработная плата городских рабочих падает из-за наплыва трудовых ресурсов. Реальный доход рабочих уменьшается еще сильнее вследствие роста цен. Так нарастает настоящее недовольство, а с ним и вероятность народного восстания. Заметим, кстати, что Голдстоун обнаруживает действительное обнищание рабочих, которое по предположению Маркса должно было произойти при окончательном кризисе капитализма. Только Голдстоун находит его в более раннем периоде — в предыдущем раунде революций, а также в рабочих движениях 1820-х гг., которые Маркс застал в юности.

Скочпол и Голдстоун дают разные версии одной и той же модели, хотя и расходятся в некоторых пунктах. Голдстоун критикует упор Скочпол на военную сферу, считая это ошибочным толкованием фактов. Он указывает, что распад Французского государства в 1789 г. произошел через шесть лет после Американской революционной войны против Англии, причем войны, в которой Франция победила. Перед шестью годами войны (1778–1783 гг.) был мирный период, простиравшийся до 1763 г., тем более что последняя (Американская) война была гораздо менее дорогостоящей для Франции, чем Семилетняя война 1756–1763 гг. Французское государство испытывало гораздо худшую ситуацию с налогами в результате непрерывных войн при правлении Людовика XIV в период 1689–1714 гг., но тогда не случилось ни государственного распада, ни революции. Отличие состоит в том, как утверждает Голдстоун, что Людовик XIV и его наследники выигрывали от прекращения демографического давления, что позволило удерживать уровень государственных доходов и выплачивать военные долги. Однако после 1750 г. население вновь разрослось, за чем последовал каскад проблем, превративший относительно небольшое бремя военных долгов в катализатор государственного распада. Голдстоун проводит сходную критику относительно роли Шотландской войны 1637–1639 гг. в разрастании кризиса Английского государства и в последующей гражданской войне.

При всем этом демографическую модель Голдстоуна и модель геополитического напряжения отнюдь не обязательно считать противоречащими друг другу. Как подчеркивает сам Голдстоун, ключевым фактором распада является напряженное структурное отношение между государственными обязательствами и государственными ресурсами, а не сам рост населения. Обозначение модели Голдстоуна как простого неомальтузианства было бы карикатурой на нее. Голдстоун отмечает, что Реставрация Мэйдзи в Японии 1868 г. была полновесным государственным распадом с революционными последствиями для структуры японского общества. Но население Японии было вполне стабильным в предыдущее столетие; как же тогда японское государство попало в финансовый кризис, который привел к распаду? В данном случае японские элиты получали свой доход преимущественно в натуральном виде, а не деньгами. Поэтому падение цен на рис в связи с ростом производительности труда и при стабильной численности населения приводило

к следствиям, сходным с европейскими кризисами: бюджетному кризису правительства, бедствиям и распрям в среде элиты, росту социального угнетения, ведущего к народным восстаниям. Здесь существенны структурные отношения, а не рост населения как таковой.

Согласно той же логике ключевым является баланс между военными затратами и способностью правительства изымать ресурсы, а вовсе не абсолютный уровень первого или второго. В случае Франции конца XVIII в. военные долги вкупе с расходами на содержание постоянной армии накапливались в течение 40 лет. К 1780-м гг. наибольшая часть доходов казны тратилась только на обслуживание долгов от предыдущих войн [Голдстоун 1991: 211]. Американская война, хотя и не была особенно дорогостоящей для Франции, но разразилась в самое неудачное время. Можно показать сходный паттерн накопления военных долгов Английской короной в начале 1600-х гг. и, конечно же, роль накопления военных долгов в кризисе Османской империи и нескольких династий в Китае. Учитывая, что до Нового времени наибольшая часть бюджета государств во всем мире тратилась на текущие военные расходы или долги от прошлых войн (документальные свидетельства приведены в книге [Mann 1986]), размер военных затрат всегда был определяющим для одной стороны обнаруженного Голдстоуном отношения между государственными обязательствами и ресурсами.

Есть также и более крайние случаи, в которых государство распадается не просто вследствие растянутых во времени военных расходов, а из-за разрушения военного аппарата при поражении в войне. Здесь мы находим Русскую и Китайскую революции XX в., а также Турецкую революцию 1920–1922 гг. Голдстоун проводит новаторский анализ повторяющихся государственных распадов Османской империи между 1590 и 1660 гг. в периоды напряжений, связанных с ростом населения, а также анализ восстановления Османской империи после 1660 г., когда численность населения стабилизировалась. Поскольку тут Голдстоун останавливается, за пределами его анализа остается долговременный упадок на территории Османов вследствие геополитического давления, достигшего апогея в начале XX в. Националистическая революция, осуществленная Кемалем Ататюрком, бывшая прямым результатом поражения Османской империи в Первой мировой войне, последовала за рядом жестоких территориальных потерь. Когда британ-

ская армия держала султана в Константинополе в качестве марионетки, а греческие войска захватывали побережье Малой Азии, во Внутренней Анатолии восстало командование турецкой армии, сбросило утерявшее легитимность мусульманское правление и осуществило светскую революцию. Такого рода революции прямо соответствуют модели геополитического напряжения; то же касается и коллапса Советской империи, испытывавшей напряжения затратной гонки вооружений в неблагоприятных геополитических условиях (см. главу 2).

Суть в том, что у нас есть две соперничающие теории революции, но есть еще стержневая модель государственного распада — фискально-административное напряжение, внутриэлитный конфликт, народное восстание, — а также ряд процессов, ведущих к кризису каждого из этих факторов. Рост населения иногда может играть очень большую роль в эскалации кризиса, но в то же время и геополитические условия могут приводить к роковым последствиям. Во многих случаях факторы демографии и геополитики взаимодействуют. Это особенно характерно для государств, не достигших современной стадии развития, когда их бюджет имел почти полностью военный характер, население было подвержено рискам высокой смертности из-за эпидемий, а экономика не являлась достаточно гибкой для включения растущего населения.

Все это дает повод считать работу Голдстоуна расширением стержневой модели государственного распада, который может быть вызван различными путями. Если бы мы настаивали на динамике напряжения между населением и ресурсами, то модель Голдстоуна ограничилась бы отдельным историческим периодом. «Государство раннего Нового времени» (“early modern state”) — это некий промежуточный тип, в котором уже имеется обширная рыночная экономика сельскохозяйственной продукции, причем такая, что уровень розничных цен может повлиять на состояние государственного бюджета. В то же время у такого государства еще слаба центральная бюрократия; она достаточно громоздкая, чтобы быть затратной, но слишком неэффективна, чтобы изымать требуемые ресурсы без уступок интересам землевладельческих элит. Вдобавок к этому смертность обусловливает большие перепады численности населения, когда по протяженным социальным сетям распространяются эпидемии при отсутствии санитарных технологий, требуемых для контроля над ними. Что же происходит, когда государство

и экономика продолжают модернизироваться? Сам Голдстоун считает, что динамика типа население/ресурсы прекратилась, когда государства вошли в стадию быстро растущей капиталистической экономики. В 1820-х гг. Англия все еще боролась с множественными следствиями роста населения, но к 1830-м гг. институты растущего капитализма стали способны абсорбировать население, которое разрасталось даже быстрее.

При строгом толковании модели Голдстоуна революции возможны только в тех частях мира, где еще не начался быстрый капиталистический рост. Разумеется, такое утверждение нереалистично, и вряд ли оно соответствует позиции самого Голдстоуна. Важнее трактовать его аргументацию как уточнение стержневой теории государственного распада и как приложение этой модели к условиям, при которых население является движущей силой на фоне других переменных. Но даже когда демографические эффекты смягчаются, все равно, при достаточно серьезных геополитических напряжениях может произойти государственный распад. Я сомневаюсь, что теперь век революций уже позади даже для индустриально-капиталистического мира со всей его способностью абсорбировать демографический рост. Геополитическое напряжение может возникнуть для любого государства до тех пор, пока оно выстраивает свою легитимность вокруг организации силы по контролю над территорией; некоторые держатели политической власти всегда будут иметь соблазн повысить свою легитимность военными подвигами и тем самым подвергнуться рискам поражения, вытеснения или сверхрасширения. Теория государственных распадов не станет реликтом прошлых эпох; мы, несомненно, вновь увидим случаи ее приложения.

Разбор критики относительно выборки по зависимой переменной

Большое достоинство работы Голдстоуна состоит в том, что она разрешает вопросы критики всей области исторической макросоциологии в отношении выбора зависимой переменной (ЗП). Эта аргументация выражена наиболее резко Кингом, Кеохэйном и Вербой, которые считают, что такие исследования, как книга Скочпол о революции, являются необоснованными или по крайней мере неопределенными [King, Keohane, and Verba 1994]. Скочпол

выбирает случаи обществ, в которых произошли великие революции, и обращается к предшествующим периодам, чтобы показать их общие условия. Беда в том, что ее выборка ограничивается случаями, в которых произошли революции, и упускает те случаи, в которых их не было. Таким образом, мы не знаем, пригодна ли теория Скочпол о предшествующих причинах во всех случаях, потому что она выбрала только те, в которых эти причины срабатывают. Единственный способ решения этой проблемы состоял бы в том, чтобы рассмотреть все общества, которые проходят через предполагаемую причинную последовательность: составить выборку по независимой переменной (НП). Вывод Кинга и его соавторов состоит в том, что все такие исторические теории не обоснованы эмпирически (не валидны), поскольку очень многие государства, претерпевающие фискальные напряжения, отнюдь не распадаются; соответственно, историческая макросоциология — это пустое предприятие.

Данная критика, если принять ее основание в качестве методологического канона исследований в области исторической макросоциологии, является сугубо формальной. Методолог, вооруженный таким критерием, но без понимания природы релевантных случаев — тех, в которых имели место революции, — будет вечно искать независимые переменные для проверки. Существует также немалое число исследований по исторической макросоциологии, которые не соответствуют этой механической концепции выполнения задач такого рода. Например, при изучении мировой системы дело состоит не просто в анализе независимых переменных, но в рассмотрении тех процессов, которые, сцепляясь между собой, порождают эту систему. В модели НП/ЗП предполагается, что некие единицы, или сущности, уже существуют как фиксированные целостности, однако во многих областях макроистории меняется сама форма таких единиц. Неадекватность схемы НП/ЗП более четко видна в геополитическом анализе, где размер и структура государств не фиксированы, но меняются в соответствии с тем, как соотносятся между собой скопления военной силы. Когда мы проводим геополитический анализ, для нас проясняется, что такие скопления могущества, или центры силы, — это возникающие, а не фиксированные сущности, они представляют собой узлы в сети отношений, которая в определенные моменты и в определенных конфигурациях кристаллизуется только затем, чтобы в другие момен-

ты слиться в более крупные целостности или распасться на более мелкие[1].

Метод НП/ЗП принадлежит понятийному универсуму дискретных сущностей, который может быть назван эссенциалистским позитивизмом. Историческое виденье причинности (развитое в главах 2–4) родственно методам сетевого анализа. В классической формулировке Гаррисона Уайта идентичности и социальные целостности любого вида являются некими областями, или зонами (regions), в сетях отношений [White 1992]. Такие идентичности подвижны и преходящи, они могут быстро возникать, на некоторое время стабилизироваться и затем распадаться. В конечном счете процесс взаимодействия в этой сети растворяет все такие структуры в некий «бульон» отношений, из которого они когда-то появились, а затем они снова возникают в иных конфигурациях[2].

При наличии такой контратаки мы могли бы здесь остановиться и пренебречь критикой ЗП-выборки (отбора исторических случаев на основе зависимой переменной) как контрпродуктивной. Однако Голдстоун решает противостоять этой критике, причем ведет аргументацию на ее собственном поле. Давайте проведем идеализацию и представим, что у государств действительно имеется фиксированная структура по крайней мере на рассматриваемый период времени.

---

[1] Майкл Манн использует образ кристаллизации для формирования структур могущества, которые преобладают в определенные исторические эпохи [Mann 1986, 1993]. Этот образ хорошо подходит для его модели, в которой социальные структуры являются не фиксированными сущностями, но четырьмя перекрывающимися сетями определенных отношений: военных, политических, экономических и культурных. В видении Манном мировой истории размеры и формы нескольких таких сетей в общем случае и для глобального ландшафта не всегда совпадают. Само перекрытие этих сетей (например, более широкое распространение религиозных сетей за пределами военных сетей Римской империи) является ключом к пониманию социальных изменений. Сходная модель сетей различных размеров представлена Чейз-Данном и Холлом для протяженных во времени периодов мировой истории [Chase-Dunn and Hall 1997].

[2] По-другому можно сказать так: временно фиксированные идентичности на более низком уровне могут стать узлами некой сети, в которой на более высоком уровне кристаллизуются некоторые социальные целостности (организации, группы, государства), и этот процесс рекурсивно распространяется и на еще более высокие уровни сетевых отношений. Пока данный процесс продолжается, распад, или растворение, сети отношений, образующей идентичности, может произойти на любом уровне. Конкретный пример см. в моей аргументации относительно того, что коллегиальная демократия может возникнуть из альянса структур в определенных геополитических конфигурациях (глава 4).

Процесс построения государственных границ не может быть понят в этих рамках, поскольку сами эти рамки должны быть построены; однако мы можем исследовать процессы внутри этой единицы анализа. Здесь Голдстоун поднимает перчатку и прямо отвечает на критику ЗП-выборки. Скочпол этого делать не могла, поскольку вначале она формулировала свою модель; ей нужно было потом отбирать случаи по ЗП и рассматривать предшествующие состояния. Благодаря Голдстоуну появляется следующее поколение центрированной на государстве теории; он исследует уже независимую переменную на протяжении долгих периодов времени — периодов, когда революции случались и когда их не было.

В модели Голдстоуна государственный распад (который он называет «приводящим к кризису давлением» — "pressure for crisis") происходит из-за взаимодействия фискального напряжения государственного бюджета ("state fiscal distress") внутриэлитной конкуренции и потенциала массовой мобилизации снизу. Голдстоун разрабатывает количественные индикаторы для каждого из этих трех компонентов: для Англии они представлены на период 1500–1750-х гг., для Франции — на 1680–1847 гг. [Goldstone 1991: 143, 282, 312][1]. Этот паттерн воспроизведен здесь на рис. 1. Мы видим относительные взлеты по каждому из трех компонентов приводящего к кризису давления в Англии середины 1600-х гг. Если же объединить все три компонента, что предполагается в модели взаимодействия факторов (поскольку ни один из них сам по себе не может привести государство к распаду), то мы получим паттерн, представленный на рис. 2. Здесь виден драматический подъем революционного потенциала, начинающийся с конца 1500-х гг. и достигающий пика в 1640-х гг. — в точности в период гражданской войны, учреждения парламента и свержения монархии. Подобным же образом во Франции интегральный показатель быстро растет в 1760-х гг. и достигает пика перед 1789 г.

[1] Стратегия Голдстоуна, состоящая в ограничении анализа сравнениями разных периодов времени в каждом государстве, совершенно правомерна. Невозможно (а также непродуктивно) пытаться сравнивать все государства во все времена и повсюду. Как показывает Ли, метод изучения независимой переменной на протяжении долгого периода времени в одном и том же государстве должен приветствоваться, поскольку позволяет удерживать другие черты случаев в значительной степени постоянными [Li 1998]. Этот метод представляет собой относительно чистую проверку и возможность фальсифицировать модель в классическом попперовском смысле.

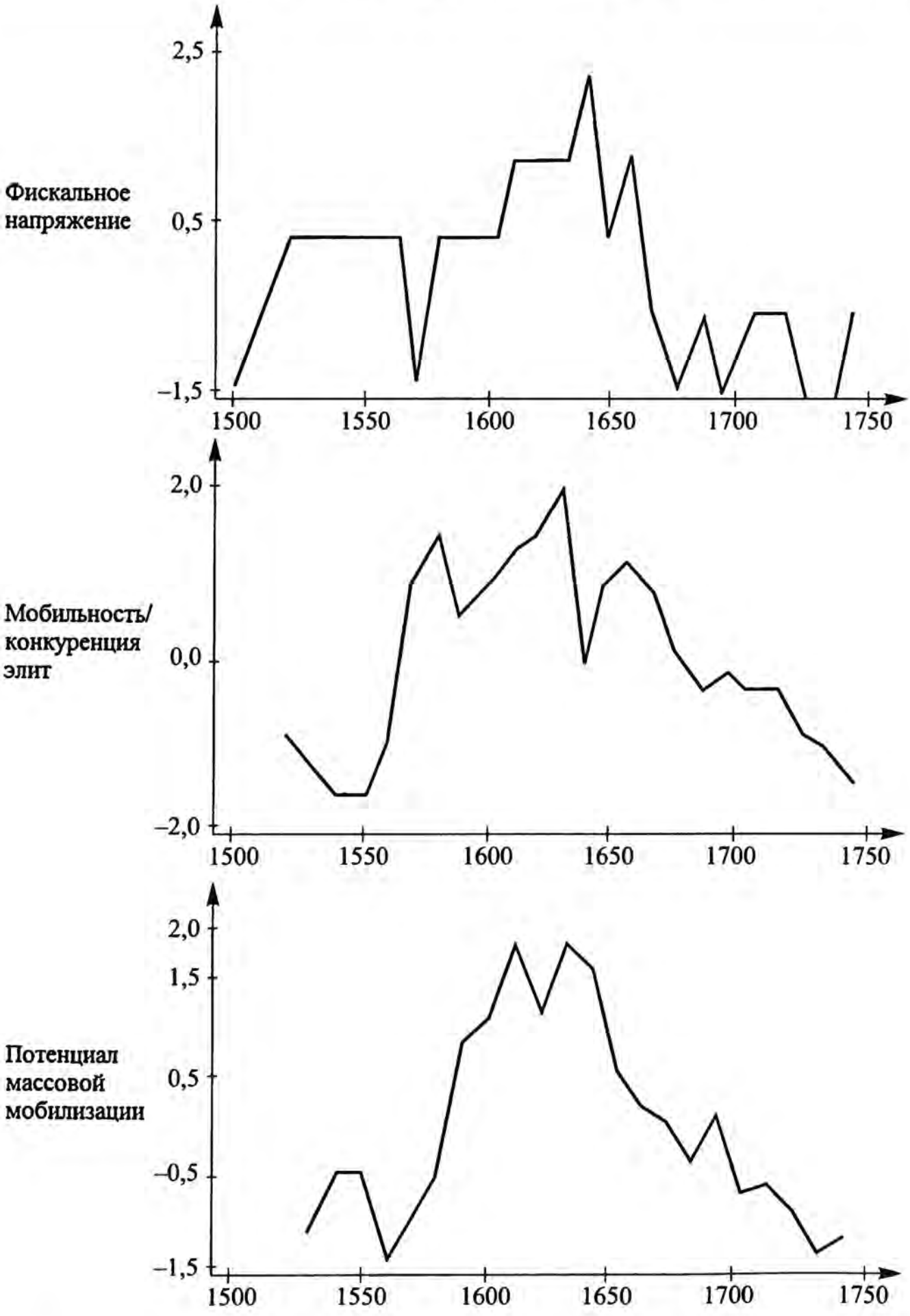

Рис. 1. Фискальное напряжение, конкуренция элит и потенциал массовой мобилизации в Англии, 1500–1750-е гг. Взято из [Goldstone 1991: 143]

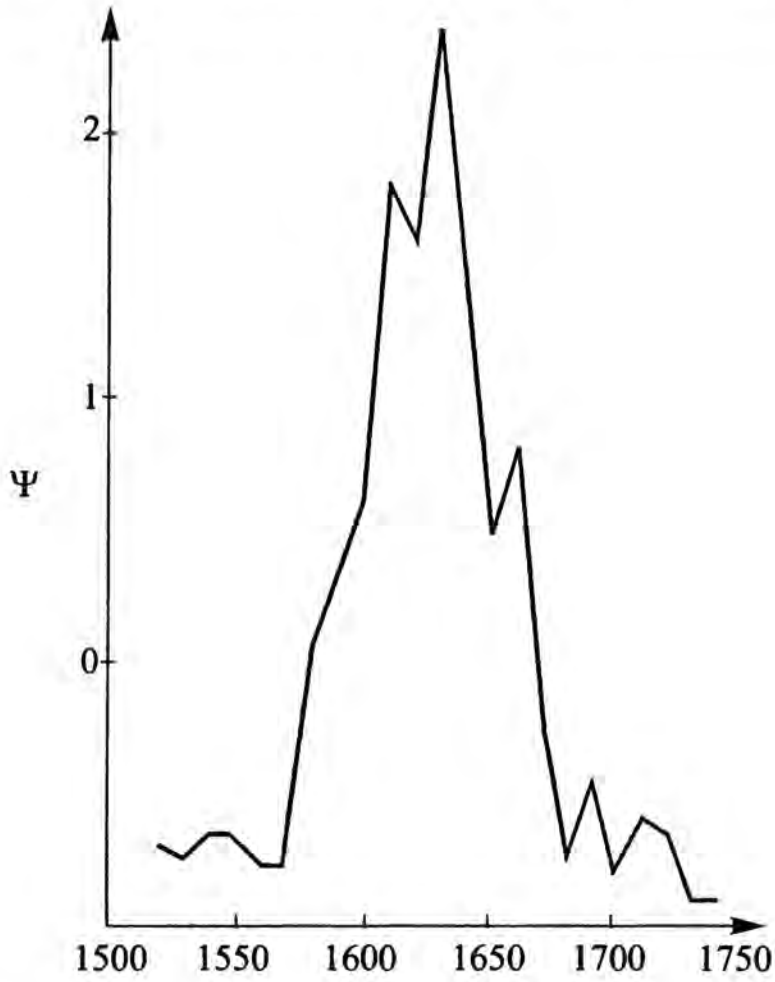

Рис. 2. Динамика интегрального показателя Ψ (psi, pressure for crisis — давление, приводящее к кризису в Англии 1520–1749 гг. Взято из [Goldstone 1991: 144]

Главы книги Голдстоуна, которые посвящены Англии и Франции, показывающие не только причины революции, но также меняющиеся факторы наступления и ненаступления революций, с технической точки зрения являются, пожалуй, самыми впечатляющими образцами исторической макросоциологии. Поистине здесь социология достигает зрелости.

Последствия государственного распада и вопрос культуры

Голдстоун в целом ряде пунктов явным образом опрокидывает марксистскую теорию. При этом некоторая преемственность остается, поскольку теория государственного распада является материалистической и структурной. На самом деле можно было бы обозначить всю эту теоретическую линию как «политический материализм»; экономика по-прежнему очень значима, но важнейшей

является фискальная экономика государства. Геополитические условия влияют на задачи координации материальных ресурсов для нанесения угроз и разрушения. Голдстоун показывает подъем самого государства как подвешенного на нескольких способах извлечения экономических ресурсов для поддержки роста и централизации военной машинерии. Чарльз Тилли в своей книге «Принуждение, капитал и европейские государства» [Tilly 1990]* пожинает другой урожай сравнительной истории, показывая, как судьбы различных государственных структур зависят от того, на каких потоках ресурсов они были выстроены.

Голдстоун является во многом «политическим материалистом», вплоть до того момента, когда государства распадаются. В последующем своем анализе он начинает колебаться. Одна часть его анализа и здесь остается жестко материалистической. Он говорит, что государства будут способны к восстановлению, если сумеют вернуть благоприятный приток ресурсов. Это может случиться, если им посчастливилось войти в эпоху снижения численности населения (таковы, например, Франция, Англия и Османская империя в конце 1600-х гг.). В других случаях сама борьба в период распада может уничтожить достаточную долю населения для того, чтобы давление ослабилось. Голдстоун считает, что именно это произошло в Китае при стабилизирующем переходе от династии Мин к династии Цинь.

Голдстоун также рассматривает вопрос, почему государственные распады приводят к столь различным структурным результатам. Англия и, в более медленном темпе, Франция высвободились из динамики демографического давления благодаря взлету капитализма, но Испания попросту погрузилась в стагнацию, так же, как Османская империя и Китай. Голдстоун считает революцию Мэйдзи в Японии особенно загадочной, поскольку там были проведены масштабные реформы, которые привели к быстрому экономическому росту и усилению военного могущества, хотя это делалось на основе идеологии восстановления прежних традиций. Теперь Голдстоун утверждает, что материальные условия детерминируют государственные распады, но затем идеология становится независимым фактором в определении того, в каком направлении далее пойдет

* Русский перевод: *Тилли Ч.* Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2009.

общество. Таким образом, идеология играет весьма различную роль на трех этапах революции. Вначале, в дореволюционной фазе, ведущей к государственному распаду, имеет место хаос соперничающих групп с давлением всех их жалоб и недовольств; их идеи, как правило, консервативны и слабо соотносятся с радикальными изменениями, которые затем последуют. Затем начинается период борьбы за новое революционное государство, контроль за ситуацией смещается от умеренных реформаторов к таким группам, как якобинцы во Французской революции, чьи цели становятся все более радикальными и чья тактика приобретает все более насильственный характер. Наступает третий послереволюционный период, когда власть стабилизируется и новая социальная структура может быть институционализирована. Именно во втором и третьем периодах, утверждает Голдстоун, идеология становится решающим фактором. Тем не менее на втором этапе революционной борьбы, что на самом деле происходит, так это динамика эскалации конфликта и его угасания (counterescalation). С точки зрения Голдстоуна, дрейф в сторону повышения радикализма объясняется тактикой небольших, но хорошо организованных сетей политических активистов, которые бьют на такие темы, как национальный кризис и контрреволюционная угроза, для того чтобы перехватить поддержку населения в борьбе против своих соперников. На втором этапе идеология остается зависимой переменной, динамику которой Голдстоун объясняет через процесс политической организации в ситуации состязания за контроль над новым аппаратом государственного принуждения.

Именно на третьем этапе аргументация Голдстоуна относительно самостоятельной причинной силы идеологии вступает в свои права. Он полагает, что европейские государства, поскольку они унаследовали религиозную эсхатологию линейного прогресса, были способны к сознательному обновлению и таким образом пришли к современной демократии и капитализму. В азиатских же обществах преобладали культурные образы вечных циклов. В результате после государственных распадов побеждали консервативные движения, которые, несмотря на нередкую новизну в их непосредственных реакциях на кризис, учреждали общества конформистского характера, что обрубало будущие возможности структурного изменения. Однако здесь также имеется структурное условие: эсхатологическая идеология ведет к преобразованиям (transformative

effects), только когда она действует в согласии с маргинальными элитами. Таковы личности, имеющие высшее образование и доступ в политические круги, но исключенные из сфер верховной власти, поскольку не являются членами наследственной аристократии (как во Франции), либо исключенные по религиозным основаниям (как пуритане в Англии). Голдстоун отмечает, что эсхатологическая идеология не имеет преобразовательных последствий, когда она лишена элитарного лидерства, как это было в народных миллениаристских движениях средневековой Европы или в махдистских мятежах Исламского мира. К сожалению, этот дополнительный фактор подрывает тезис Голдстоуна о значимости идеологии. Дело в том, что распады Османского и Китайского государств отличались от европейских случаев распадов именно в этом втором факторе. У османов и китайцев имелись относительно бюрократические формы рекрутирования государственных элит. Поэтому элиты второго ранга выражали свои недовольства по поводу коррупции или некомпетентности тогдашних чиновников; перестройка государства была вопросом восстановления должного порядка, а не создания нового.

И вновь мы видим, что Голдстоун продолжает объяснять идеологические предпочтения политических групп через их структурные позиции. Почему же тогда нам нужно прибегать к дополнительному фактору — эсхатологической традиции? Более того, исторические сравнения не подтверждают с достаточной ясностью тот контраст между эсхатологией Запада и циклической культурой Востока, который Голдстоун хочет изобразить.

В буддизме имеется множество эсхатологических элементов, верований в богов-спасителей и представлений о кризисных периодах в священной истории, что проявлялось во множестве милленаристских движений и политических мятежей в Китае и Японии. Османская империя была мусульманской, а ислам настолько же эсхатологичен, насколько и христианство, также включает идеи Бога-Создателя и Страшного Суда. Я бы предложил считать, что смешения идеологических ресурсов, накопленных во всех основных цивилизациях, вполне сопоставимы между собой (см. [Collins 1998]), так что в кризисные периоды социальные акторы всегда что-то могли найти для идеологического оправдания своих действий, причем не важно, в каком направлении они двигались. Для понимания того, что определяло направления, которые они действительно выбирали, мы должны скорее сосредоточить внимание на социальной

структуре и динамике социального действия вместо того, чтобы взывать к культурным образцам, или матрицам (invoke the blueprints of culture). Мы возвращаемся к теории идеологии. А для этого у нас имеется отличный контрапункт — работа Вутноу.

Вутноу и политические средства идеологического производства

Как и в случае Голдстоуна, содержание книги Вутноу [Wuthnow 1989] не очень хорошо отражается ее названием «Сообщества дискурса», которое, несомненно, было выбрано в связи с интересом к внутренней динамике культуры. Но оно дает ложное впечатление, создавая образ «теплых и пушистых» дискуссионных кружков. Чтобы устранить заблуждение, укажем, что книга Вутноу посвящена социальным конфликтам, а ее базовая аргументация напоминает мне «Немецкую идеологию» Маркса и Энгельса, как будто эта книга переписана в терминах сегодняшней центрированной на государстве теории. Тема книги передается более ясно ее подзаголовком: «Идеология и социальная структура в Реформации, Просвещении и европейском социализме». Таковы идеологии трех великих волн революций эпохи модерна; первая волна включала Английскую революцию, вторая — Французскую, Американскую и большинство революций XIX в., третья — революционные события XX в. примерно до 1965 г. Это книга, которую мог бы написать дух Энгельса в соавторстве с духом Георга Зиммеля.

В соответствии с сегодняшними канонами учености Вутноу опрокидывает традиционную динамику классов-акторов. Тем не менее некая версия классовых конфликтов имеет большое значение в его модели. Таков конфликт экономических интересов, который подчеркивали Мур и Скочпол: конфликт между правительственными чиновниками и землевладельцами по поводу доходов [пополняющих государственный бюджет]. Концепция Вутноу — это конфликтная теория коалиций. В течение всех трех рассмотренных им революционных периодов новые политические и экономические ресурсы укрепляли государственный сектор; затем, если имели место патовая ситуация или длительное равновесие сил между государственными акторами и главными обладающими собственностью консерваторами, открывалось пространство для «третьей партии» культурных предпринимателей, которые в конечном счете выигры-

вали от борьбы — *tertius gaudens*[*]. В эпоху Реформации патовая ситуация возникла между аристократами-землевладельцами и городскими / основанными на торговле государственными структурами; в эпоху Просвещения — между центральной бюрократией и независимыми представительными органами, в которых доминировала аристократия, а в социалистических движениях XIX в. — между землевладельческими и буржуазными партиями. Классовые интересы продолжали действовать, но они прямо не определяли идеологию, причем наиболее влиятельные классовые акторы находились на реакционной стороне.

В контексте этих конфликтов Вутноу документально прослеживает смещения материальных основ культурного производства. Во время Реформации произошел раскол в том, что можно было бы назвать «ритуальной экономикой» церкви. В сельских приходах повседневная жизнь была организована календарным циклом религиозных собраний, причем в центре церемониального внимания оказывались местные аристократы. Отнюдь неудивительно, что сельские землевладельцы были оплотами традиционного католицизма, поскольку они непосредственно покровительствовали священникам и в обмен получали эмоциональную и символическую легитимацию своего статуса. Протестантизм, в своем упрощении ритуалов, в переводе проповедей и книг на национальные языки, атаковал как религиозный, так и социальный статусный порядок.

Реформы протестантизма происходили по целому ряду причин; Вутноу специально не разбирает их, но вместо этого концентрирует внимание на периоде 1519–1559 гг., когда государства Европы решали, принимать ли им эти реформы. Несомненно, можно было бы вернуться к расколам в церковном управлении 1300-х гг., провалу консилиаристского движения[**] в 1400-х гг. (которое превратило бы централизованное папство в республику епископов) и кризису в папских финансах, что было связано с отвержением Лютером продажи индульгенций, приносившей немалые доходы. Здесь чувствуется другой момент взаимодополнительности между исследовательскими интересами Вутноу и Голдстоуна, поскольку средневе-

---

[*] *Tertius gaudens* (*лат.*) — третий радующийся, т. е. выигрывающий от распри двух сторон.

[**] *Консилиаризм* — католическое учение о приоритете церковного совета перед папой.

ковое папство претерпевало некую версию государственного распада. Вутноу сосредоточивает аналитическое внимание на последствиях революции, т. е. на том этапе, в анализе которого позиция Голдстоуна является наиболее слабой. В модели Вутноу Реформация была успешной в тех местах, в которых государство было способно выуживать доходы из новых источников, появившихся в связи с ростом торговли. Эти государства, — прежде всего вольные города и независимые княжества в Германии, Швейцарии и Нидерландах, и в меньшей степени в Скандинавии и Англии — могли набирать свой штат чиновников, не впадая в зависимость от сельской экономики как сферы доминирования аристократии. Превосходная ресурсная мобилизация этих государств позволяла им бросать вызов аристократии в контроле над церковью, ее собственностью и доходами. Религиозные реформаторы вырастали и расширяли свое влияние внутри этой борьбы, некоторые из них стали лидерами, а их идеи были институционализированы там, где ресурсный баланс в наибольшей мере смещался в пользу государства. Там, где таких условий не было — в Испании, Франции, Восточной Европе, — Реформация потерпела провал.

Взрывной рост ратовавших за секуляризацию интеллектуалов, составлявший суть Просвещения, был обусловлен другим сдвигом в средствах культурного производства. Здесь государство было еще более значимым, поскольку новые книгопечатные предприятия сильно зависели как от правительственного лицензирования, так и от спонсированных правительством публикаций. Интеллектуалы обретали новую основу для своих карьер в качестве публицистов, пишущих для политических фракций в парламентских режимах, как это было в Англии, и в салонах, которые возникали вокруг разбухавших правительственных центров, таких как Париж. Фоном служило прохождение государством следующего этапа экспансии в тандеме с экспансией капиталистической экономики; их сплав и составил патронажную основу для новых интеллектуалов, уже не зависевшую от прежней — церковной — основы интеллектуальной деятельности. Чтобы интеллектуалам вступить в своем праве в новый раунд творчества, должен присутствовать и второй ингредиент: раскол в руководстве, когда центральной бюрократии брошен вызов со стороны независимых адвокатов, парламентов или разнообразных религиозных организаций. Это давало множественные основы для патронажа, который был частично автономен относительно

короны. Интеллектуалы с радостью восприняли благоприятный рынок [для своих сочинений] и могли выбирать между соперничавшими патронами. Следствием же была, хотя сам Вутноу не развивает явным образом этот пункт, озабоченность Просвещения верховенством «разума», что являлось идеологией автономии интеллектуалов, их рефлексией над своей новой ситуацией, в которой они стали культурными посредниками в политическом балансе сил.

Третий случай, разбираемый Вутноу, — это рост социалистических идеологий с 1864 по 1914 гг. Здесь наиболее благоприятным обстоятельством было сильное вмешательство централизованного государства в экономику с целью обеспечения ее роста. Архетипический пример представляет индустриализация бисмарковской Германии, которая стала местом самого сильного и активного в интеллектуальном отношении социалистического движения в Европе. Решающее значение имела общая структура политических коалиций. Там, где авторитарное государство было в высокой степени интервенционистским, партия консервативных землевладельцев была вынуждена образовать альянс с промышленной буржуазией; при этом рабочий класс, исключенный из структур власти, выталкивался на левый фланг. Напротив, там, где буржуазные республиканцы одержали политические победы над консерваторами (как в Англии, Франции, Италии и Испании), имела место иная тенденция: все левые партии объединялись, чтобы противостоять правому реваншу. Буржуазные либералы оказывали некоторую поддержку интересам рабочего класса, тем самым придавая умеренный характер реформистской политике; поэтому в этих странах социалистическая идеология была слабой.

Непосредственной материальной основой для интеллектуалов-социалистов были редакторские позиции в массовых газетах и журналах, которые спонсировались соответствующими политическими партиями. Сильнейшей эта база была в Германии, где профсоюзы и парламентские политики образовали некое виртуальное государство в государстве. Неудивительно, что именно здесь социалистические идеи разрабатывались наиболее профессионально под руководством Энгельса (публиковавшего рукописи Маркса в 1880-х и 1890-х гг.), Августа Бебеля, Карла Каутского, Эдуарда Бернштейна, Рудольфа Гильфердинга, Розы Люксембург и других. Зарубежные революционеры, такие как Ленин, взирали на Германию как на центр мирового социалистического движения. Россия,

которую Вутноу не включил в свои сравнения, как представляется, также соответствует базовому структурному паттерну классовых коалиций, хотя там были более скудными материальные ресурсы для интеллектуалов социалистической направленности.

Оглядываясь на сравнения, проделанные Вутноу, можно заметить, насколько сильна в них идейная преемственность в отношении к работам Мура, Скочпол и Голдстоуна. В некоторых вопросах Вутноу в большей мере соглашается с Муром: хотя история уже не соответствует прежней марксистской схеме поднимающихся социальных классов, все равно классовые конфликты производят такой баланс сил, в который продвигаются интеллектуалы со своим собственным творчеством. Также экспансия капитализма повсюду играет важную роль, хотя и отстоит дальше в причинной цепи. Никто пока еще не осуществил великий синтез всех частей этой картины, но уже есть значительное согласие относительно роковых последствий коммерциализации сельского хозяйства (Мур), материальной экономики государства (Скочпол, Голдстоун, Вутноу, Тилли), паттернов внутриэлитного конфликта, порожденного вышеперечисленными факторами (все эти теоретики), а также предоставления автономного пространства для интеллектуалов (Вутноу).

В трактовке Реформации у Вутноу ключевым фактором является способность государств захватывать источники доходов, которые не принуждают их состязаться с обладателями земельных богатств. Именно неспособность проделать это, как показывает Голдстоун, составляет один из главных путей, ведущих к государственному распаду в Англии в 1640 г. и во Франции в 1789 г. Реформация потерпела поражение во Франции вследствие зависимости государства от аристократии. По геополитическим причинам этот момент был наиболее острым в период Реформации, когда французские короли терпели военные поражения, а в 1525 г. король даже был выкуплен дворянством*. В Англии, как отмечает Вутноу вполне в духе Голдстоуна, подъем цен на сельскохозяйственную продукцию

* В битве при Павии (Ломбардия) французы потерпели поражение от армии Габсбургов, конь короля Франции Франциска I был подбит из аркебузы, а самого тяжело раненного и сдавшегося короля захватил в плен вице-король Неаполя. Франциск пробыл в плену целый год, подписал унизительный для Франции Мадридский договор, но потом благодаря финансовой помощи французского дворянства был освобожден, денонсировал Мадридский договор, вступил в союз с Англией и Османской империей и продолжил борьбу с Габсбургами.

в конце 1500-х гг. привел к возрождению земельной аристократии и попыткам восстановить католичество [Wuthnow 1989: 154]. В результате номинальный протестантизм английской церкви попал в средоточие затяжного конфликта между религиозными фундаменталистами и сектантскими протестантами. Таким образом, идеологическая мобилизация, объясняемая Вутноу, во многом заполняет бóльшую часть дискурса, который сопутствовал голдстоуновским государственным распадам.

Проведенный Вутноу анализ условий, при которых преобладают социалистические движения, перекликается с моделью Баррингтона Мура относительно паттернов создания коалиций. Мур показал, что когда землевладельцы продают свою сельскохозяйственную продукцию непосредственно на рынке и контролируют сельский труд традиционными методами принуждения, интересы аристократии оказываются тесно связанными с интересами авторитарного государства. Впоследствии, когда проводимая сверху индустриализация порождает классовый альянс между землевладельцами и промышленной буржуазией («брак железа и ржи»), рабочим уже некуда податься, кроме как в революционную оппозицию. Если Германия — это один полюс, то Соединенные Штаты — другой, хотя Вутноу и не вникает в последний случай. Как утверждал Мур, в Соединенных Штатах исчезновение, в связи с ликвидацией рабских плантаций, консервативных, склонных к принудительному контролю над трудом землевладельцев устранило и аристократию как фракцию в [потенциальных] классовых коалициях. В американской политике доминировала буржуазия (включавшая мелких, работавших на рынок фермеров) при отсутствии авторитарного класса; долгое время здесь вообще не было партии, которая ратовала бы за сильное централизованное государство. Поскольку государственный патронаж прямо или косвенно является основой для политизированных интеллектуальных движений, отсутствие как сильной партии рабочего класса, так и централизованного государства, объясняет приватные условия существования американских интеллектуалов.

В своем анализе Вутноу сосредоточивает внимание на материальных основах культурного производства, а также на политических и экономических конфигурациях, дающих пространство и «возможность дышать» интеллектуалам. Он особенно не вникает в само содержание их идей. Вутноу делает упор, особенно в случае Реформации, на процессе, благодаря которому отбираются и инсти-

туционализируются идеи. Некоторые рецензенты посчитали это слабостью книги, неспособностью автора придать идеям автономную значимость. Но перед тем как поддаться нынешней риторике в наших заключениях, давайте рассмотрим то, что показывает сам Вутноу. Когда материальные и структурные условия благоприятны, происходит настоящий взрыв интеллектуального производства. Вместе с этим распространением идей возникает и обширная область несогласия. Для творческих интеллектуалов оставаться в анонимности — это почти противоречие в терминах, причем отмечаются, или «засвечиваются», они, говоря нечто отличное от других. В связи с этим сами интеллектуалы как группа не могут производить структурные изменения, поскольку проявляют слишком большое несогласие относительно того, в каком направлении следует двигаться.

Как признает в нескольких местах Голдстоун, распространение критических идеологий дополняет атмосферу государственного распада. Однако среди этих идей должен быть сделан некий отбор, если им собираются придать какую-то согласованность в период послереволюционной перестройки. Это проявляется в огромном диапазоне критических позиций относительно католических догматов и практик в конце Средневековья. После 1300 г. появились всевозможные мистики, оккультисты, платоники, скриптуралисты*, пиетисты, аскеты и другие, не говоря уже о множестве конкретных планов реформы церковной организации. Лютер стал центральной фигурой не потому, что его учение было каким-то более проникновенным, чем у других, а потому что его мятеж в ситуации «лоскутного одеяла» германских государств привел к ряду политических беспорядков, а это в конечном счете привело к разрушению централизованного руководства Папы. Сходные паттерны, похоже, имеют место и в других революциях. Нравится нам это или нет, но творчество интеллектуалов отбирается и выдвигается на первый план сдвигами в политических структурах; само по себе оно не определяет направление, в котором изменяются структуры.

При этом все еще остается вопрос о том, как объяснить содержание идей самих по себе. В некотором важном смысле культура автономна, но это не означает, что она никак социально не детер-

* *Скриптуралисты* — те, кто признает как основу знания лишь священные тексты (в христианстве — Библию).

минирована. Вутноу утверждает, что культурное производство расширяется в творческом плане, когда политическая и экономическая структура дает ему пространство, «позволяющее дышать» — хорошо поддерживаемый, но конкурентный рынок для идей. Исторически выстроенная автономия этого пространства и составляет автономию культуры. Это не означает, что социологи ничего не могут сказать о внутренней организации конкурентного пространства интеллектуальной жизни; история творческих идей — это история последовательных перестроек сетей интеллектуалов, а также альянсов и конфликтов между ними. Но это уже иной сюжет, развитый в другой работе [Collins 1998]*; такие процессы отнюдь не являются движущей силой политической или экономической истории.

2. Социология после упадка [марксизма]

Да, после падения традиционной марксистской парадигмы макросоциология продолжает существовать. Центрированная на государстве концепция революции в теории политических и идеологических изменений дала нам внутренне согласованную модель, позволяющую объяснить многие варианты событий, которые составляют богатство нововременной и современной истории. Конечно же, продолжаются споры относительно акцентов, остаются подвешенными некоторые нерешенные вопросы, есть еще пробелы, остаются границы, за которыми спекулятивные размышления опережают надежный [эмпирический] анализ. Также могут обнаружиться некоторые серьезные недостатки в центрированной на государстве модели. Однако точки пересечения и согласия в работах Мура, Скочпол, Голдстоуна и Вутноу, а также Тилли, Калхуна, Манна, теоретиков в области геополитики и других дают крепкое основание судить о том, что получено нечто серьезное и прочное в самом ядре общей теории.

* Русский перевод: *Коллинз Р.* Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. 1280 с.

Глава 2

Геополитическая основа революции: предсказание советского коллапса

1. Моя персональная история теоретически обоснованного предсказания

В 1978 г. я опубликовал теорию, объясняющую изменения в территориальном могуществе государств [Collins 1978]. Расширив теорию конфликта, я решил всерьез отнестись к данному Максом Вебером определению государства как монополизации законной, или легитимной, силы на территории. Превращение этого определения в объяснительную теорию означало, что каждый элемент в ней следует трактовать как переменную. Результатом же стала теория условий, которые определяют геополитические взлеты и падения в территориальном могуществе вместе с последствиями этих перемен. Вывод (corollary) из этой теории состоит в том, что легитимность правителей меняется вместе с внешним престижем могущества их государства. В крайних проявлениях это ведет к объяснению революции как потери легитимности и контроля над средствами принуждения. Таким образом, геополитическая теория стыкуется в трактовке революции с теорией Скочпол о распаде государственных ресурсов, опубликованной приблизительно в то же самое время [Skocpol 1979]. Смыкание этих двух теорий показалось мне дополнительным свидетельством того, что данная модель была на верном пути.

В 1980 г. — в период президентских выборов — главной темой кампании Рональда Рейгана было так называемое «окно уязвимости»: тезис о том, что Соединенные Штаты опасно отстали от Совет-

ского Союза в ядерном вооружении и нуждаются в мощном рывке, чтобы догнать его. В начале 1980-х гг. ядерный ужас достиг апогея; тогда же мобилизовалось движение против ядерного оружия под лозунгом «пять минут до полуночи». Я решил применить свою геополитическую теорию, чтобы посмотреть, что она предсказывает относительно текущей ситуации. Даю честное слово, у меня не было предварительного суждения о том, какие могут получиться результаты. Геополитическая теория включает пять принципов причинных процессов, связанных динамикой накопления. К моему удивлению, все пять главных принципов теории показывали, что СССР прошел пик своего могущества, и предсказывали его будущий упадок. Данный результат не был симметричен: большинство этих принципов предсказывали, что могущество Соединенных Штатов будет стабильным и останется примерно на том же уровне. Только один из этих пяти принципов допускал возможность того, что Соединенные Штаты также придут в упадок, поскольку ядерная война входит в одну из более общих категорий событий, в которых разрушается могущество государства. Моя оптимистическая оценка состояла в том, что остальные четыре принципа сработают прежде, чем пятый, и что СССР распадется раньше, чем начнется ядерная война. Вывод для политической стратегии заключался в том, что гонка ядерных вооружений может быть безболезненно свернута без подрыва могущества Соединенных Штатов.

Весной 1980 г. я представил этот анализ в нескольких местах, включая Йельский и Колумбийский университеты [Collins 1980]. Реакция была неизменно негативной. Специалисты по России, присутствовавшие на некоторых обсуждениях, были обычно консервативно настроенными эмигрантами, в чувствах которых преобладали ненависть к советской власти и страх перед ней. В их представлении ужасающе могущественному СССР должны противостоять столь же могущественные Соединенные Штаты. Такая позиция неудивительна с точки зрения зиммелианской теории конфликта, согласно которой внешняя угроза приводит к идеологической поляризации, циклу эскалации и контрэскалации [страха и ненависти по отношению к противнику]. Реакция либералов была несколько более удивительной. Некоторые члены движения за ядерное разоружение реагировали враждебно. В одной из бесед активист обвинил меня в том, что я говорю, «в точности как Объединенный комитет

начальников штабов», очевидно, имея в виду, что разоружение должно быть оправдано как нравственный крестовый поход, а отнюдь не как применение *Realpolitik**. Возможно, более основательной была позиция либералов, состоящая в том, что мир стоит перед взаимно гарантированным разрушением (mutual assured destruction — MAD), и с таким выводом, что Соединенные Штаты и Советский Союз в равной степени могущественны и в равной степени нуждаются в деэскалации вооружений.

В конечном счете я опубликовал статью под названием «Будущий упадок Российской империи» [Collins 1980]. Содержащееся в ней предсказание оставалось на полке. Во всяком случае я не был удивлен ни когда напряжения афганской войны привели к посрамлению воинственной группировки в СССР и замене ее реформаторским движением Михаила Горбачева, ни когда эти реформы оказались скользким уклоном к распаду империи.

Этот конкретный случай поднимает ряд общих вопросов. Насколько возможно социологическое предсказание? Как мы можем отличить действительно обоснованные предсказания от счастливых догадок и доводов, приводимых *post factum*? Насколько точным может быть предсказание и имеет ли оно свои внутренние пределы? Какие препятствия мешают нам делать предсказания на основе имеющихся интеллектуальных ресурсов? Каковы будущие перспективы предсказания как инструмента прикладной социологии? Поскольку ключ к оценке предсказательной ценности теории состоит в ее согласованности с широкой объяснительной основой исследования, я рассмотрю, как развивалась геополитическая теория и как она стыкуется с тенденцией к построению модели макрополитических изменений, центрированной на государстве и ориентированной на военные ресурсы.

---

* *Realpolitik*, реальная политика (*нем.*) — тип политического курса, государственной стратегии, который исходит не из идеологических или моралистических, а из практических соображений, направленных главным образом на сохранение и рост могущества государства. Изначально такой курс осуществлялся Бисмарком и был так назван по аналогии с понятием, предложенным в 1853 г. Людвигом фон Роше в книге «Основы реальной политики в применении к государственному устройству Германии». Предшественником таких политических идей обычно считают Н. Макиавелли. Идеи *Realpolitik* развивались в области международных отношений в традиции политического реализма Г. Моргентау, Р. Ароном, Дж. Кенаном и другими.

2. Развитие геополитической теории государственного могущества

Геополитическая теория появилась в тот период, когда впервые возникло своеобразное направление теории конфликта — в Германии на рубеже XX в. Густав Ратценхофер и Людвиг Гумплович делали упор на военных источниках происхождения государства. В политической географии Фридриха Ратцеля рассматривалась склонность крупных государств к расширению и превращению в континентальные империи. В этом контексте была сформулирована веберовская трактовка развития государства; для Вебера динамика легитимности, так же как формирование этнического самосознания и национализма, связаны с военной борьбой между государствами и со способами организации, посредством которых то одни, то другие группы населения мобилизуются и снаряжаются для ведения боев [Weber 1968: 901–926]. В течение десятилетий этот аспект теории Вебера оставался невостребованным; в этот период акцент был смещен на функционалистские и культуральные интерпретации Вебера. Геополитическое мышление имело дурной политический аромат, будучи ассоциировано с милитаристской национальной политикой, которую оправдывали первые представители этого направления, включая Маккиндера в Англии, Мэхана в Соединенных Штатах и Хаусхофера в Германии.

С возрождением теории конфликта в 1960-х гг. началось распространение сравнительно-исторических исследований и вновь появился интерес к автономной динамике государства. Геополитика была открыта заново, очищена от партикуляристских формулировок и стала развиваться в более аналитической манере (см. обзор литературы в работах [Enggass 1986; Hepple 1986]). В политической науке классическая геополитическая теория обычно рассматривается как предшественница реалистической школы международных отношений. Давайте рассмотрим различные вклады в современную социологическую геополитическую теорию, поскольку они входят в итоговую модель, которую я построил в 1978 г. [Collins, 1978][1].

[1] Статья [Collins 1978] является источником приводимых далее материалов, если нет иных ссылок. Общая модель, сформулированная в этой статье, была основана на обобщении предшествующей литературы по геополитике, на исследовании, использующем исторические атласы, которые охватывают 3000 лет исто-

Принципы формулируются как условия расширения и сокращения территориального могущества государств[1].

1. *Преимущество в размерах и ресурсах благоприятствует территориальной экспансии.* При примерно равном соотношении прочих факторов, более крупные, более населенные и более богатые ресурсами государства расширяются военным путем за счет более мелких, менее населенных и бедных ресурсами государств. Этот принцип часто формулируется в литературе, посвященной победам и поражениям в войнах [Liddell-Hart 1970; Andreski 1971; Gilpin 1981; Modelski and Thompson 1988; W. Thompson 1988). Сингер обнаруживает, что это преимущество относительно мало, но со временем оно возрастает, поскольку ресурсно доминирующие государства неуклонно накапливают ресурсы за счет своих жертв, тогда как последние постепенно ослабевают [Singer 1979; Singer and Diehl 1990][2]. Такая экспансия может происходить путем прямого приобретения и административного подчинения территории. Ресурсно доминирующие государства расширяются также мирными или квазимирными средствами: через требование от меньших государств-клиентов осуществлять поставки или предоставлять войска совместным союзам под центральным руководством и через распространение своей юрисдикции на внешние, а иногда и на внутренние отношения более слабых государств. Посредством таких механизмов расширение военного контроля над территорией имеет тенденцию к росту *de facto* и часто *de jure*.

2. *Геопозиционное, или «окраинное» (marchland), преимущество благоприятствует территориальной экспансии.* Государства, имеющие врагов на меньшем количестве фронтов, расширяются за

рии Ближнего Востока и Европы, а также отдельный ряд атласов истории Китая. Эта эмпирическая основа шире, чем та, что используется в большей части литературы по международным отношениям и геополитике, где привлекаются данные, относящиеся в первую очередь к Европе после 1500 г. и во вторую очередь — к классическому периоду греко-римской Античности.

[1] Напротив, ограниченность большей части литературы по международным отношениям состоит в том, что она занимается объяснением возникновения войны и условий стабильности или же переходных периодов в межгосударственной системе. Однако более широкая проблема заключается в объяснении условий, которые определяют изменяющееся могущество государств и в особенности могущество как результат войны.

[2] К. Боулдинг представил формальный вывод накопления преимущества в случае игр с двумя участниками. [Boulding 1962: 237–239].

счет государств, имеющих врагов на большем числе границ. Здесь влияние географии осуществляется двумя путями: естественные препятствия в виде гор, широких морей и ненаселенных территорий дают некоторым государствам «тыловую стену», которая позволяет им сосредоточивать свои силы на малом числе направлений. Напротив, крупные территории без естественных барьеров могут обеспечивать существование множества государств, особенно если это плодородные сельскохозяйственные земли, способные прокормить большое население. Специалисты по мировой истории часто отмечают характерный паттерн: окраинные завоеватели происходят с периферии больших населенных областей [McNeill 1963]. Многие проводившие широкомасштабные завоевания государства начинали с окраинной позиции. Все семь объединителей Китая после периодов государственной раздробленности вышли из тех окраин северных районов, где демографические ресурсы были бóльшими по сравнению с другими окраинами. Эти случаи указывают на взаимодействие между окраинным преимуществом и преимуществом в ресурсах. Если имеется множество потенциальных соперников, находящихся в окраинных позициях, успешнее всего расширится тот, кто стартует с бóльшим преимуществом в местных ресурсах и обращает это сочетание преимуществ в накапливающийся рост ресурсов по мере захвата территорий противников, находящихся в центре.

3. *Дробление внутренних (центральных, или срединных) государств.* С течением времени государства, расположенные в середине географического региона, имеют тенденцию дробиться на более мелкие единицы. Этот принцип является развитием предыдущего. Одна из причин расширения «окраинных» государств состоит в том, что на протяжении длительного времени у внутренних, то есть находящихся в центре государств, блокируется кумулятивный рост их ресурсных основ. Такие государства имеют потенциальных врагов и союзников на многих фронтах; эти ситуации способствуют дипломатии баланса сил, в которой формируется оборонительная коалиция против любого доминирующего в текущий момент государства [Morgenthau 1948; Gilpin 1981]. Конфликты между внутренними государствами нередко приводят к патовой ситуации, что приводит к растратам военных ресурсов без продуктивной отдачи. Поскольку такие внутренние государства часто располагаются на плодородных землях, они хорошо обеспечены военными ресурсами, но они струк-

турно блокированы, потому что возможности их экспансии уравновешены случайными колебаниями; только окраинные государства могут осуществлять экспансию с долговременным накоплением. Ранние историки-компаративисты неверно истолковывали причины этого эмпирического паттерна, объясняя его большей решительностью и энергией варваров с периферии в противовес разложению и упадку развитых цивилизаций. Однако в тех случаях, когда геопозиционных преимуществ не имеется, цивилизованные государства с бóльшими ресурсами неизменно одерживают победу над ближайшими ресурсно бедными «варварскими» или племенными областями. Преимущество периферии — не культурное, а структурное.

Далее, в исторических атласах просматривается паттерн, не укладывающийся в рамки простого преимущества окраины над центром. С течением времени при отсутствии окраинного завоевания внутренние области имеют тенденцию дробиться на возрастающее множество государств: это имело место в Китае в течение нескольких междинастических периодов, в Киевской Руси, на Балканах после упадка Османской и Австрийской империй, а также в дроблении Священной Римской империи на *Kleinstaaterei** Германии и Италии. Дробление (территориальный распад, фрагментация) происходит потому, что внутренние государства становятся ослабленными в военном отношении и не способными контролировать отделение [провинций]. Неустойчивые и перекрывающиеся паттерны завоеваний и альянсов разделяют административную власть и делают культуру политического самосознания все более локалистской.

4. *Кумулятивные процессы приводят к периодическому долговременному упрощению с массивными гонками вооружений и решающими войнами* (showdown wars) *между немногими противниками.* Принципы 1, 2 и 3 кумулятивны. Более крупные государства проглатывают меньшие или принудительно втягивают их в союзы, а окраинные государства расширяются за счет раздробленной середины. В результате в течение длительных временны́х периодов (порядка нескольких веков) геополитическая ситуация радикально упрощается.

Это может происходить различными путями. В историческом плане, одним паттерном является ускоряющийся рост единственного окраинного завоевателя, захватывающего внутренние государства.

---

* *Kleinstaaterei* (*нем.*) — малые государства, княжества.

Данная модель характерна для географически простых регионов с единственной основной населенной зоной, таких как Китай или Месопотамия, в период, когда они были изолированными сельскохозяйственными регионами. Второй паттерн, более характерный для географически дифференцированной западной Евразии после распространения сельскохозяйственных сообществ — это рост двух соперничающих окраинных государств, с разных сторон расширяющихся за счет центрального региона, который переживает патовую ситуацию. Третий вариант — это разделение на два огромных блока могущества, один из которых расположен в более центральной позиции, а другой — в более периферийной[1].

Каждая такая ситуация приводит к периоду высокой геополитической напряженности: как минимум к интенсивной гонке вооружений и дипломатической поляризации, часто достигающей пика в решающей войне (в терминологии международных отношений — войне за гегемонию (a hegemonic war) [Gilpin 1981: 186–200]). В первом паттерне, упомянутом выше, одно крупное государство эффективно завоевывает свой мировой регион. Когда происходит решающая война между двумя крупными государствами или блоками, их конфликт приводит к более широкому спектру возможностей. Одно государство может разрушить другое, прокладывая себе дорогу к завоеванию «мира» в масштабах всего района (так, например, Рим завоевал Карфаген в Западном Средиземноморье, что открыло победителю путь к более легкой дальнейшей экспансии). Исторически общая альтернатива — патовая ситуация между двумя противниками, ведущая к дезинтеграции обоих; это может произойти из-за крупных материальных потерь с обеих сторон в войне или из-

[1] Последний вариант является типом упрощения, который появился вследствие раздробленности средневековой Европы на множество государств. Следующие друг за другом три крупные империи/коалиции боролись за гегемонию: Испанская/Габсбургская империя — против коалиции, центром которой была Франция; французская военная и дипломатическая экспансия, достигшая наивысшей точки в империи Наполеона; ось с центром в Германии против объединенной периферии в Первой и Второй мировых войнах. Повторение этого паттерна с разными участниками в одних и тех же ролях предполагает структурные условия, подобные указанным в кумулятивной динамике принципов 1–3, а также случайные факторы, определяющие, кто какие роли исполняет. В каждом случае самая экспансионистская коалиция терпела поражение из-за военного истощения.

за ресурсных напряжений, вызванных длительной гонкой вооружений. В таких обстоятельствах государство-наблюдатель имеет возможность быстрой экспансии в пространство образовавшегося вакуума могущества[1].

Королларий 4а — *Решающие войны порождают высочайший уровень жестокости.* Войны, которые велись в период баланса сил между претендентами на завоевание регионального «мира», были наиболее жестокими, при этом уничтожались целые армии, включая пленных, часто истреблялось и гражданское население. Уровень преднамеренного разрушения рос в войнах [империи] Цинь (первого объединителя Китая после продолжительного периода Воюющих Царств), Ассирии (первого объединителя Месопотамии), римлян в их войне с Карфагеном и монголов (первыми пытавшихся завоевать всю евразийскую территорию); имеются аналоги этим событиям в резком росте жертв среди гражданского населения в мировых войнах XX в. Гилпин отмечает усиление жестокости во время войн за гегемонию в Европе, начиная с XVII в. [Gilpin 1981: 200–201]. Напротив, периоды дипломатии баланса сил в регионах геополитической раздробленности обычно характеризовались кодексами чести, которые ставили пределы насилию и ограничивали разрушительные последствия битв. Механизмом, связывающим геополитические условия с интенсивностью насилия, является высокий уровень эмоциональной и идеологической поляризации в ситуациях, когда от исхода сражения зависят кардинальные структурные последствия. Наоборот, когда влияние отдельных войн на раздробленную структуру могущества мало и переговоры на основе

[1] Войны между Римской и Персидской империями, достигшие кульминации в начале VII в., истощили обеих, оставив в вакууме могущества, в который внезапно вторглась арабская коалиция с новой идеологией ислама. Другие случаи, уже из китайской истории, приведены в работе [Collins 1978]. В результате истощения Германии, Британии и Франции во Второй мировой войне мир попал под господство двух окраинных государств — Соединенных Штатов и России. Главная дискуссия в литературе по международным отношениям состоит в том, ведут ли к большей стабильности или вероятности крупной войны ситуации многостороннего баланса могущества или двусторонняя поляризация [Waltz 1979; Gilpin 1981]. Приводимые при этом эмпирические материалы неубедительны, отчасти из-за того, что исследованы лишь относительно короткие временны́е интервалы. За периоды в 250 лет или больше, которые я исследовал в исторических атласах, геополитическая ситуация обычно в конце концов упрощалась и достигала кульминации в решающей войне.

баланса сил ведут к частому перезаключению союзов, эмоциональная поляризация остается низкой[1].

5. *Чрезмерное расширение* (*overextension*) *приводит к ресурсному напряжению и государственному распаду, или дезинтеграции.* Чем дальше данная военная держава выходит за пределы своей «исходной базы», тем больше издержки. Насколько позволяют судить численные измерения, большинство ресурсов тратится на покрытие этих расходов; результатами являются возрастающая напряженность с ресурсами в тылу и уязвимость для военного поражения; оба этих фактора увеличивают вероятность быстрого расползания военного могущества.

Принцип чрезмерного расширения с точки зрения логистической нагрузки, связанной с передвижением и обеспечением войск, часто отмечался в теоретической и эмпирической литературе. Стинчкомб и Боулдинг построили формальные модели сокращения военных ресурсов, доставляемых на растущие расстояния [Stinchcombe 1968: 218–230; Boulding 1962: 227–276]. Коллинз обнаружил, что фактически в каждом случае централизованных китайских династий упадок был вызван напряженной ситуацией с обеспечением и соответствующими поражениями на отдаленных границах [Collins 1978]. Люттвак показал последовательное сокращение военных ресурсов, сопровождавшее военные кампании римлян на отдаленных границах [Luttwak 1976]. Кеннеди документально подтвердил возникновение напряжений от чрезмерного расширения, исследовав причины упадка главных европейских империй с XV по XX в. [Kennedy 1987]. Изучение этих случаев также показывает, что негативные эффекты чрезмерного расширения действуют гораздо быстрее, чем процессы кумулятивного прироста ресурсов, которые питали экспансию. Всего лишь за несколько лет те империи, которые достигают точки чрезмерного расширения, обычно теряют контроль над военной организацией и политическим руководством. Результатом обычно является падение режима или фрагментация (территориальный распад, дробление) государства.

Многие (но не все) свидетельства в пользу динамики чрезмерного расширения были основаны на исторических сравнениях

[1] Вторая часть этого эмпирического паттерна соответствует принципу Зиммеля—Коузера: перекрестные связи снижают интенсивность конфликта [Coser 1956: 78–80].

аграрных государств. То же верно и для принципов 1–4. Чтобы преодолеть затруднение, связанное с тем, что принципы, основывающиеся на анализе этих исторических периодов, могут оказаться устаревшими в условиях современной военной и транспортной технологии, я исследовал уровни геополитической стабильности морских империй Нового времени и военную эффективность воздушных сил [Collins 1981]. Логистические издержки и уязвимость этих технологий сводят на нет гипотетическое возрастание их радиуса действия[1], соответственно, основные геополитические принципы остаются в силе.

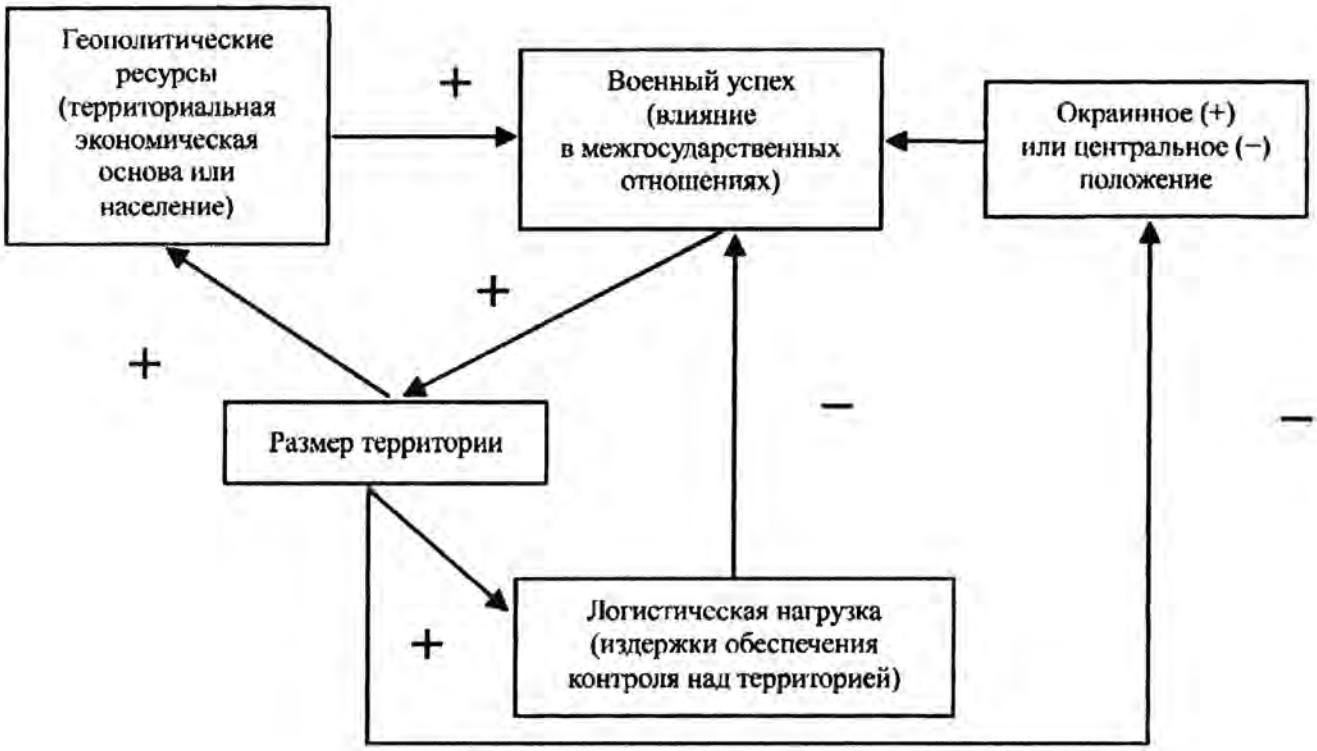

Рис. 3. Геополитическая модель

[1] Иными словами, современные технологии существенно увеличивают расстояние, на которое военная сила может быть направлена за короткие периоды времени. Однако в случае длительного сопротивления (даже на значительно более низком уровне военных ресурсов) логистические издержки на дальнем расстоянии являются определяющими, что и обнаружили Соединенные Штаты во Вьетнаме в 1963–1975 гг. На протяжении минувших 2000 лет произошло лишь незначительное увеличение максимального размера империй и не было тенденции к более частым попыткам создания мировых империй. Этот факт подкрепляет вывод, что соотношение между дальностью транспортировки и логистическими издержками существенно не изменилось. Логистические ограничения на перемещение эффективной военной силы в различных исторических условиях были изучены Ван Кревельдом [Van Creveld 1977, 1991].

Вышеизложенное и является той теоретической основой, исходя из которой я сделал предсказание о будущем состоянии могущества Российского государства. В эмпирической и теоретической литературе принципы ресурсного преимущества, окраинного преимущества и чрезмерного расширения документально хорошо подтверждены. Имелся обильный исторический материал о решающих войнах, но не было общей теоретической формулировки. Отмечалась кумулятивная природа некоторых из этих процессов. Теоретический вклад работы [Collins 1978] состоял в уточнении формулировки дробления середины (как оборотной стороны окраинного преимущества) и связывании всего набора принципов в некую общую динамику усиливающих друг друга процессов, периодически ведущих к долговременным геополитическим упрощениям и переломным моментам[1]. Эти петли обратной связи изображены на рис. 3.

3. Связь геополитической теории с общей теорией формирования и распада государств

Долгое время геополитическая теория вызывала лишь незначительный интерес в социологии; ее важность возросла в связи с тем, что более центральное место заняла теория государства. Одно из направлений в макросоциологии с 1960-х гг. сконцентрировалось на

[1] Формально эти пять принципов могут быть объединены в одно сложное выражение. Окраинное преимущество усиливается за счет преимущества в ресурсах относительно соседних государств; чрезмерное расширение является фундаментальным принципом для установления относительной уязвимости отдельных географических точек в отношении государств с данными ресурсами и логистической нагрузкой. Решающие войны являются результатом долговременного накопления ресурсов, а также геопозиционных преимуществ и недостатков. Техническая трудность в исследовании этого формализма состоит в том, что математические методы и методы компьютерного моделирования направлены только на вычисление геополитической силы одного государства с произвольными значениями [переменных] его внешнего окружения. Не существует простого способа моделировать общий паттерн систем множественных государств в топологическом пространстве, т. е. при разнообразии возможных пространственных конфигураций, которые оказывают влияние на окраинное преимущество. До сих пор компьютерное моделирование проводилось только для упрощенных версий геополитических принципов; см. статью [Hanneman, Collins and Mordt 1995], краткая версия которой представлена в Приложении А.

внешних отношениях между социальными единицами. Миросистемная теория сосредоточилась на динамике процессов в зонах мировой экономики [Wallerstein 1974, 1980, 1989; Chase-Dunn 1989]. Поскольку гегемония в мировой системе основана на взаимно усиливающемся экономическом и военном господстве, в миросистемную модель для объяснения сдвигов гегемонии, подъемов и упадков государств в мировой системе должны быть включены автономные геополитические условия. В рамках другого ориентированного вовне подхода Бендикс представил модернизацию не как параллельные и движимые изнутри процессы развития, но как цепь подражаний «государствами-последователями» политике «государств-лидеров» [Bendix 1967]. В модели Бендикса присутствует некоторое веберианское влияние, поскольку в основе этого подражания лежит престиж могущества государств на межгосударственной арене, а он может быть выстроен прежде всего как геополитическое доминирование. Внешняя отправная точка Бендикса для внутренних государственных изменений была принята и расширена Тедой Скочпол в ее теории революций, порождаемых ростом военных расходов [Skocpol 1979].

К 1980-м гг. в социальных науках имело место полномасштабное движение за «возвращение государства» [Evans, Rueschemeyer, and Skocpol 1985]. На повестке дня было формулирование теории автономной динамики государства, которая может, конечно, взаимодействовать с экономической, культурной и другими динамиками, но не сводится к ним. Общая проблема может быть представлена как формулирование такой динамики, которая детерминирует рост и упадок государства. Каждое из этих направлений изменения содержит подчиненные измерения. Государства растут интенсивно (в масштабах своей внутренней организации и способности к управлению и контролю) и экстенсивно (в территории); они приходят в состояние кризиса или распадаются разными путями (когда вновь имеет место, с одной стороны, организационный распад и потеря способности извлечения ресурсов, а с другой — сокращение территории и дезинтеграция). В этом контексте теория революций привлекла наибольшее внимание; однако нам следует иметь в виду, что революция — это один из сегментов континуума государственного распада, а распад, в свою очередь, — это обратная сторона более общего вопроса формирования государства. В охватывающей перспективе нас заботят именно условия, которые движут государство в различных направлениях по этим континуумам.

Чарльз Тилли представил обзор восходящих траекторий формирования государства [Tilly 1990]. Ядром государства является его военная организация вместе с административным аппаратом для извлечения поддерживающих ее экономических ресурсов. Как только этот аппарат появился, он мог использоваться также и для других целей (включая экономическое регулирование и обеспечение инфраструктуры, благосостояние и распространение культуры); эта часть государственной организации в большинстве случаев стала относительно крупной лишь совсем недавно, надстраиваясь над ядром организации, обслуживающей военную силу. На протяжении большей части истории государственные расходы были связаны в первую очередь с содержанием имеющихся вооруженных сил, а также с долгами, доставшимися от предыдущих войн [Mann 1986: 416–446]. «Военная революция» 1500–1800-х гг. привела к резкому росту размера вооруженных сил одновременно с ростом затрат на их оснащение, на поддержание в постоянной готовности и на централизацию управления ими [Parker 1988]. Таким образом, на протяжении долгого времени именно военная динамика движет интенсивный рост внутренней государственной организации.

Тилли показывает, что различия в формах государственной организации объясняются условиями, определяющими типы ресурсов, которые государства могут извлекать для поддержки этой военной экспансии [Tilly 1990]. В зависимости от того, какие были более доступны источники на территории государств: либо концентрированный капитал (поставляемый главным образом городскими торговыми экономиками), либо рассредоточенные экономические ресурсы (сельскохозяйственная земля), государства следовали различными траекториями организационного и военного роста. Одной крайностью был наем войск на короткое время союзами правителей и капиталистов, что благоприятствовало разделению власти в городских олигархиях и федерациях, закладывая структурную основу для республик. Другой крайностью было экстенсивное завоевание земель — путь роста государств, в которых господствовали военные аристократии. Тилли обнаруживает, что смешанная форма, в которой сочетаются обе ресурсные основы, была путем к централизованному национальному государству, или государству-нации (nation-state), которое в конечном счете заставляло альтернативные государственные структуры подражать ему из-за его превосходящих способностей к военной мобилизации и административному управ-

лению. Важная разновидность государственных структур была выявлена Доунингом, который анализировал влияние «военной революции» на демократию [Downing 1993]. Коллегиальные структуры разделения власти в средневековых государствах размывались вследствие роста армий, которые снабжались централизованным образом. Государства, наиболее уязвимые в плане такой эрозии, становились автократиями, тогда как государства, в наибольшей мере отсрочившие введение административных структур этой военной революции, развивали наиболее сильные парламентско-представительские институты.

Механизмы государственного распада

Итак, согласно представленной схеме структура военных ресурсов была ключом к внутренним формам государственной организации. Соединение данного факта с геополитической теорией образует петли обратной связи между этими двумя сферами. Геополитическое могущество есть отчасти результат извлечения внутренних ресурсов (через принцип 1); в свою очередь, подъем или упадок общего геополитического положения (как результат действия всех пяти принципов) оказывает обратное влияние на общее количество доступных территориальных ресурсов, а также на скорость расходования этих ресурсов в ходе военных приготовлений и насильственного разрушения (см. рис. 4).

Рассмотрим теперь негативный полюс континуума государственного строительства. В последние десятилетия превалирующими в теории государственного распада и революции стали модели, центрированные на государстве. Ключом является уязвимость государств и их правителей по отношению к кризисам извлечения ресурсов, причем в отношении к государственным расходам. Первоначальная формулировка Скочпол могла бы быть названа материальной экономикой государства: само по себе государство является некой экономической целостностью, которая формирует самостоятельный классовый интерес [Skocpol 1979]. Первым представителем таких групп интересов является государственный административный класс, чьи экономические (равно как властные и престижные) интересы способствуют росту способности извлечения ресурсов. Основной класс противников — имущая элита (в аграрных обществах — землевладельческая знать), чьи интересы заключаются

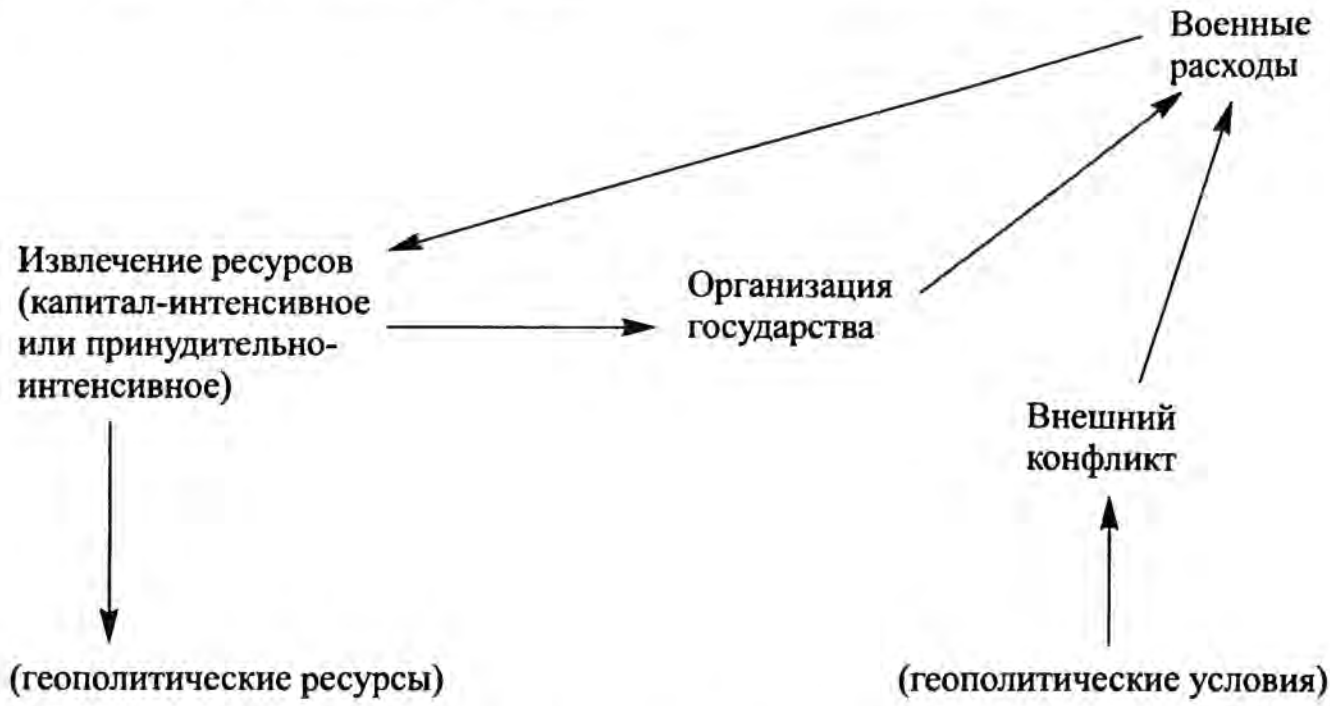

Рис. 4. Модель роста государства по Тилли

в уклонении от извлечения государством их собственных ресурсов. Поскольку эти два класса переплетены социально и политически, в условиях государственного бюджетного кризиса конфликты вспыхивают внутри этой элиты. Данные конфликты вместе с финансовым аспектом самого кризиса, который парализует или отчуждает военные силы, достигают высшей точки в полномасштабном распаде государства на его верхушке. Этот распад открывает дорогу революционным силам снизу[1].

[1] Я не рассматриваю здесь различные виды революционных коалиций и контркоалиций, поскольку в значительной степени они находятся вне сферы государства. В этой части своей модели Скочпол основывается на положениях Мура [Moore 1966]. Проведенный Муром анализ разнообразных структурных последствий различных типов классовых отношений в капиталистическом сельском хозяйстве проверен на дополнительном круге исторических случаев Пейджем [Paige 1975]; этот анализ близок также к ранней формулировке Стинчкомба [Stinchcombe 1961]. Мур возрождает марксистский классовый анализ революций, смещая фокус с промышленных отношений собственности — на аграрные; Скочпол открывает другое направление, добавляя упор на автономную динамику государства. Эти линии развития теории не обязательно являются [взаимоисключающими] альтернативами. Модель государственного распада является ключевой для решения вопроса о причинах начала революции; на участников конфликта и на принимаемые им направления, особенно после революции, влияют экономические отношения собственности (см. рис. 7). Относительный вес этих факторов в отношении к другим факторам должны прояснить дальнейшие эмпирические исследования.

Замечательная проверка и теоретическая разработка модели государственного распада выполнены Голдстоуном; он выстроил длинные временны́е ряды значений эмпирических показателей нескольких аспектов напряженного состояния государства, показав, что сводный индекс этих напряжений, [гипотетически] способствующих кризису, соответствует историческим взлетам и падениям кризиса государства [Goldstone 1991]. Согласно и Скочпол и Голдстоуну, распад государства является результатом сочетания: (1) государственного фискального напряжения, (2) внутриэлитного конфликта, который парализует правительство, и (3) народного восстания. Скочпол делает упор на военное напряжение как на первостепенный источник государственного фискального и административного кризиса; причем источники военного напряжения далее по причинной цепи уточняются на основе геополитической теории. Голдстоун добавляет причинные цепочки ко всем трем аспектам государственного кризиса, сосредоточивая внимание на путях, через которые демографическое давление, опосредованное ценами, инфляцией и налогами, влияет на условия 1–3. Голдстоун возражает против акцентирования Тедой Скочпол военных источников государственного фискального напряжения, но эти две причинные цепи не исключают друг друга; в его собственной модели ключом к государственному распаду является не само по себе демографическое давление, а относительный баланс между государственными обязательствами и государственными ресурсами (см. рис. 5 и 6)[1]. В случаях, когда военные расходы и прошлый военный долг составляют основную часть государственного бюджета, геополитическое напряжение должно порождать мощные силы давления, ведущие к государственному распаду, является ли это или нет исключительным источником такого давления. В самых крайних случаях государственному распаду непосредственно предшествовала дезинтеграция военного аппарата во время войны.

Споры по поводу акцентов на отдельные звенья причинной цепи не должны затмевать накопленные достижения этого ряда исследо-

[1] Ключевое сравнение — реставрация Мэйдзи в Японии, во время которой период скорее демографической стабильности, нежели роста, сыграл роль в возникновении государственного фискального кризиса и других напряжений [Goldstone 1991: 404–414]. Это случилось потому, что доходы были фиксированы, тогда как цены при оплате наличными росли вместе с экономической экспансией. Более детальное сравнение моделей Скочпол и Голдстоуна см. в главе 1.

Рис. 5. Модель государственного распада по Скочпол

Рис. 6. Модель государственного распада по Голдстоуну

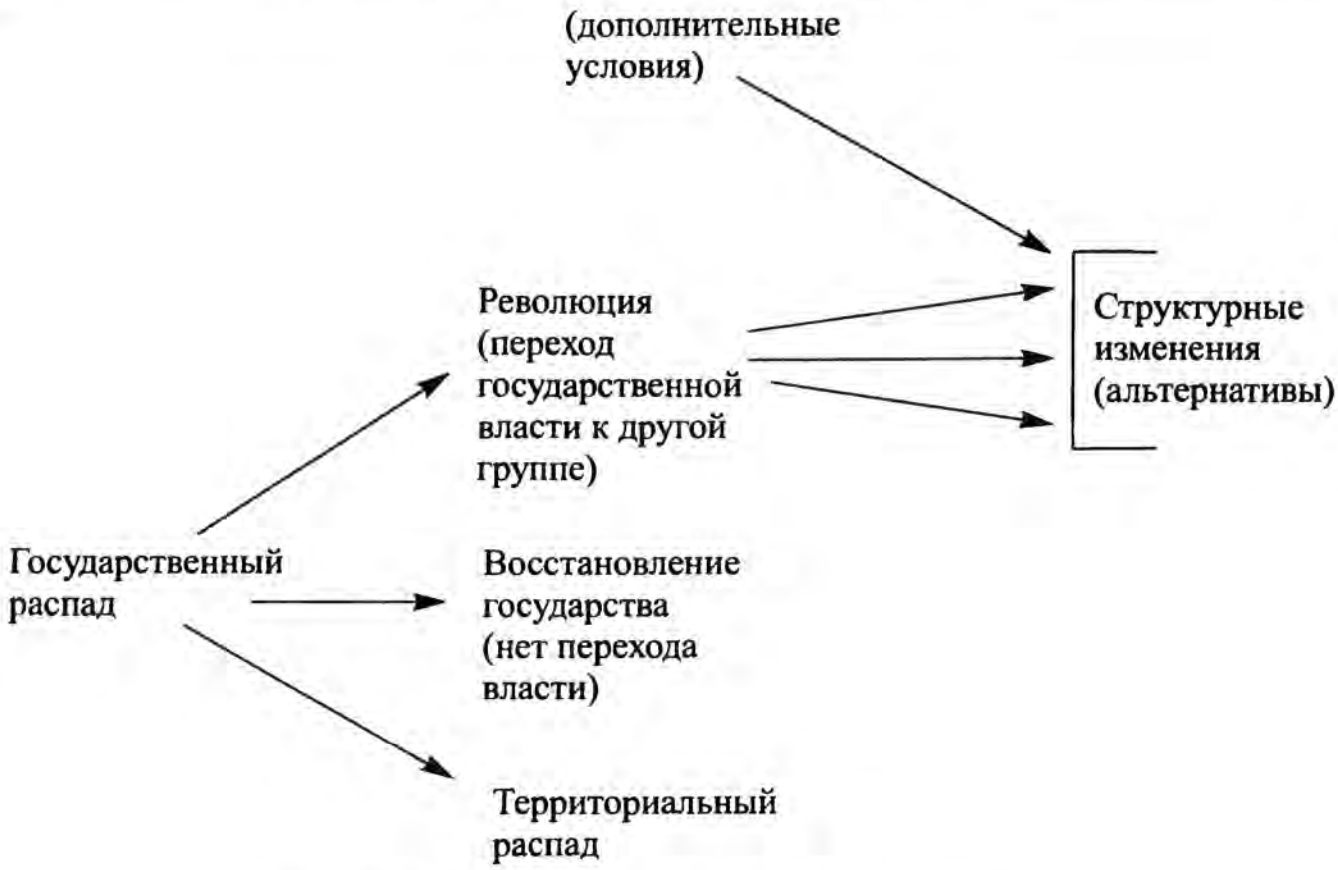

Рис. 7. Государственный распад и революция

ваний. У нас есть хорошее свидетельство в пользу центральной модели государственного распада, включающей фискальное административное напряжение, конфликт (внутри) элиты, народное восстание, а также несколько путей к кризисным условиям в этих факторах. Иногда рост населения может играть особенно большую роль в возникновении кризиса; в других случаях преобладающее влияние оказывают геополитические условия. Часто население и геополитика взаимодействуют. Для пользы теории мы бы не хотели ограничивать применение этой центральной модели только теми историческими периодами, когда рост населения был главной движущей силой среди фоновых переменных. Прогресс теории — это как раз такое развитие центральной модели вместе со вспомогательными моделями, которое делает ее применимой к широкому разнообразию исторических условий.

Теперь проясняется наше понимание соотношения между государственным распадом и теорией революции (см. рис. 7). Как показывает Голдстоун, не за всеми случаями государственного распада следуют революции в специфическом смысле полномасштабной трансформации правящей элиты, сопровождающейся поли-

тической и экономической перестройкой. Если нам нужно понимать и предсказывать эти типы следствий, то нам требуются более детальные теории революции (а также других путей изменений, следующих за распадом). Следует заметить, что в моем анализе советского упадка был предсказан [только] распад; не предлагалось теоретической основы для предсказания того, режим какого именно типа последует. Так, в конце 1990-х гг. остается неясным, действительно ли бывший Советский Союз будет переживать революцию в полном смысле этого термина.

Легитимность как переменная, определяемая геополитическим престижем могущества

В моей собственной версии связи между геополитическими принципами и государственным распадом упор делается на механизме легитимности. Это не означает намерения ослабить модель административного кризиса по Скочпол—Голдстоуну через фискальное напряжение, внутриэлитный конфликт и массовое инакомыслие (dissidence), но добавляет к ним процессуальную динамику, которая прямо соотносится с эмоциональным уровнем политического маневрирования. Следует подчеркнуть: легитимность не является чем-то таким, что нужно рассматривать как абстрактную и постоянную принадлежность политической системы. На микро- и мезоуровне социального взаимодействия легитимность прямо связана с солидарностью и лояльностью политических групп, а также с энтузиазмом или покорностью масс. Напротив, делегитимация — это эмоциональное и когнитивное условие, которое преобладает, когда деятели политической элиты разделены и нерешительны, тогда как массы переходят от отчужденного недовольства и нелояльности к оппозиционным действиям. Наследие Вебера ввело нас здесь в заблуждение; столь много внимания было уделено типологии традиционной, рационально-правовой и харизматической легитимности как средства статичного классифицирования, что должного внимания не получили процессуальные аспекты легитимации.

Легитимность является переменной на двух уровнях. Есть убедительные данные — из современных опросов общественного мнения и из исторических анализов ранних периодов, — что на популярность политических лидеров наиболее сильно влияют периоды военных конфликтов [Ostrum and Simon 1985; Norpoth 1987;

Bueno de Mesquite, Siverson and Woller 1992; опросы Гэллапа, обсуждаемые в работе Hanneman, Collins, and Mordt 1995]. На этом уровне у нас есть данные о связи между престижем военного могущества государства и легитимностью его правителей. Преуспевающие в военном отношении правители, которым благоприятствуют геополитические обстоятельства, создают свою собственную легитимность, когда навязывают свою власть у себя в стране, даже если они, возможно, начинали с насилия, будучи незаконными узурпаторами. Побежденные в войне лидеры, какими бы законными они ни были, подвергаются возрастающему риску быть смещенными. Более того, геополитические условия детерминируют не только степень личной легитимности правителей, но также легитимность всего институционального порядка. В эмпирическом плане есть некий континуум, который простирается от низкой до высокой личной популярности, а также от делегитимации — до высокой легитимности политической структуры. Чрезвычайно популярные индивидуумы (которые могут быть названы харизматичными) способны распространять ауру эмоциональной мобилизации для легитимации совершенно нового государства. На нижнем полюсе континуума, после крайне негативных уровней личной популярности правителей наступает уже делегитимация всего государства[1].

Данная аргументация не сводится к популярности отдельных правителей как таковой (хотя такая популярность является удобным типом данных, свидетельствующих о связи между легитимностью

[1] Хотя это утверждение не подвергалось систематической проверке, исторические данные, кажется, свидетельствуют в его пользу. Трудно привести какой-либо пример, где весь политической (или религиозный) порядок оказался бы делегитимированным или ниспровергнутым, тогда как правитель сохранял бы личную популярность. И наоборот, кажется, не существует примеров, когда новый институциональный порядок был бы учрежден весьма непопулярным лидером. Различие между личной и институциональной легитимностью, по-видимому, эмпирически проявляется только в середине данного континуума. Это не значит, что выраженная личная непопулярность правителя являлась единственным путем к институциональной делегитимации (как аспекту того, что мы обычно называем «революцией»), хотя в некоторых случаях это верно: личная неприязнь к религиозной и сексуальной морали короля Карла I была прелюдией к Английской революции 1640 г.; колебания личной популярности Горбачева были частью динамики делегитимации советского режима. Однако жертвы революции, такие как Людовик XVI во Франции и Николай II в России, не были особенно ненавидимы; при этом не были они и очень популярными фигурами [Stone 1979: 335]. Во всех этих случаях ореол режимного кризиса ускорял личную непопулярность.

и геополитикой). Индивиды включены в более крупные процессы. Именно колебания межгосударственного престижа могущества вызывают быстрые сдвиги в легитимности правителей. Более того, геополитически вызванное условие административного кризиса государства — вместе с внутриэлитным конфликтом — обычно приводит к быстрой смене лидеров на высших постах. Если внутренние распри и хаотические перевороты достигают достаточно высокого уровня, то не только отдельные лидеры теряют авторитет, но и сам институт лидерства лишается силы и признания. Именно через эти каналы геополитические макропроцессы превращаются в те специфические события и динамику персоналий, которые ведут к государственному кризису и распаду.

4. Предсказание распада Российской империи на основе геополитической теории

Рассмотрим теперь специфические предсказывающие факторы, или предикторы, советского коллапса и то, как они реально действовали.

Преимущество в размерах и ресурсах наращивалось со времени расширения первоначального маленького государства Московии в 1390-х гг. К концу 1700-х гг. Россия могла мобилизовать самые крупные в Европе армии[1]. К середине XX в. это преимущество претерпело инверсию: Россия (уже в облике Советского Союза) и ее союзники оказались превзойденными своими противниками по общей численности населения в соотношении 3,5 : 1 и по общим экономическим ресурсам — 4,6 : 1. По численности войск эти два блока были намного ближе: противники Советов вели в соотношении 1,7 : 1 по действующим войскам и только 1,1 : 1 с учетом подключения резервов. Таким образом, уровень мобилизации советского блока в отношении войск к населению был в 3,5 раза выше, чем уровень мобилизации его противников. Соответственно, СССР тратил непропорционально много на свой военный бюджет (около 20 % валового национального продукта) в ущерб расходам на гражданские нужды. Именно этим напряжением озаботился Горбачев

[1] Данные, приводимые здесь и далее, взяты из работ: [Collins 1986; Facts on File 1984–1991; Keesings's Record of World Events 1984–1991], если нет других ссылок.

в начале своего реформаторского периода, с 1985 г. и далее объявляя и до некоторой степени выполняя планы сокращения вооруженных сил и конверсии оборонного производства в гражданское [Becker 1986, 1987; Bernstein 1989; Gelman 1989].

Окраинное преимущество и раздробленность внутреннего пространства работали на преимущество России в период ее территориальной экспансии. Московия изначально расширялась от «тыловой стены» малонаселенной северной лесной зоны, распространяясь на земли небольших государств центральных русских равнин и распавшейся Монгольской империи. Трехсторонняя атака на Польшу как внутреннее государство и ее раздел привели Россию к устойчивому пределу в Европе до тех пор, пока поражение германской центральной державы во Второй мировой войне — другой войне на несколько фронтов — не позволило России еще дальше расширить территориальный контроль в форме имперской власти над сателлитами Восточной Европы. Российская экспансия в Сибирь в 1600-х гг. сталкивалась лишь с разрозненными племенными сообществами. В Южной и Центральной Азии и на Кавказе экспансия продолжалась до конца 1800-х гг. против мелких государств, оставшихся после распада череды империй, основанных в Анатолии и Иране. Эти геополитические условия после 1900 г. все в большей и большей степени превращались в противоположные (т. е. контуры отрицательной обратной связи на рис. 3 теперь преобладали над положительными контурами). Экспансия на Дальний Восток столкнула Россию с Японией и привела к поражению в войне 1904–1905 гг. (а тем самым и к неудачной революции внутри страны). После 1949 г. восстановилось китайское государство, а в 1969 г. произошло новое военное столкновение Советского Союза с Китаем (после битв в 1929 и 1945 гг.), и на этих границах стороны расположили крупные войсковые силы. На юге и на западе были поглощены бывшие буферные зоны малых государств, а российские войска были расположены на передовых позициях, непосредственно противостоя силам НАТО. К 1950-м гг. Российская империя защищала сухопутные границы протяженностью 58 000 километров.

Мое предсказание состояло в том, что совпадение кризисов на нескольких границах приведет эту империю к разрушению. Данная логика подобна той, которую Перроу обозначил как «нормальные случайности» (normal accidents) в сложных организационных системах [Perrow 1984]; в таких структурах местные неполадки, кото-

рые могут быть исправлены по отдельности, перерастают в общесистемный кризис, когда происходят одновременно. Такие события происходят на вероятностной основе, нарастая с ростом числа компонентов. В 1953, 1956 и 1968 гг. Россия столкнулась с рядом восстаний в своих восточноевропейских сателлитах, которые были подавлены с помощью верных войск Варшавского пакта. Но способность обеспечивать лояльность зависит от осознания общей принудительной способности и таким образом подчиняется феномену «спускового крючка», когда в атмосфере кризиса санкции за неподчинение становятся маловероятными [Schelling 1962: 51–118]. Мой прогноз состоял в том, что взаимодействие неблагоприятного геопозиционного положения СССР с его чрезмерным расширением и преимуществом противников в местных ресурсах (таких, что имели место при военных интервенциях СССР для поддержки государств-клиентов, подобных Афганистану) принесет сочетание провалов в отдаленных регионах и в конечном счете достигнет спусковой точки[1].

Фактически же имела место патовая ситуация и растущее внутреннее раздражение по поводу советской интервенции в Афганистан, которая началась в 1979 г. и привела к выводу войск начиная с 1988 г. На смену военно-экспансионистскому режиму, который преобладал в эпоху Леонида Брежнева (умер в 1982 г.) и при его преемниках — Юрии Андропове и Константине Черненко, в 1985 г. пришла реформаторская фракция Горбачева (протеже Андропова). В Советском Союзе почти сразу, с 1986 г. и далее, началось возбуждение националистических сил. Во внешних периферийных районах кавказских и центральноазиатских республик (включая Узбекистан, по соседству с которым шла партизанская война в Афганистане) в 1988 и 1989 гг. разразилось межэтническое насилие. Тем временем в западной части советского блока вдруг началась неконтролируемая мобилизация диссидентского движения. Диссидентство в Польше, базировавшееся на профсоюзной организации, поднялось в 1980 г. и было подавлено посредством введения военного положения в конце того же года по прошлой схеме восстаний и пораже-

[1] «Таким образом, очень похоже, что как только первый раунд серьезных кризисов приведет к потере Восточной Европы или другой отдаленной территории, будет приведен в движение кумулятивный процесс внутреннего ослабления, достигающий кульминации в окончательной потере следующего ряда этнически отличных завоеванных территорий: балтийских государств, Украины, Кавказа и центральноазиатских мусульманских территорий» [Collins 1986: 203].

ний в восточноевропейских сателлитах. Однако в контексте разворачивающегося геополитического кризиса официальные лица балтийских республик СССР поддержали в 1988 г. предложения националистических движений о полной автономии. В Польше в том же 1988 г. забастовки союза «Солидарность» привели к уступкам в пользу реформ и к свободным выборам в июне 1989 г. В августе того же года победившие кандидаты от «Солидарности» были приглашены коммунистическим режимом для формирования коалиционного правительства. Одновременно в Венгрии раскол внутри правящей коммунистической партии* превратил в июне 1989 г. объединенную автократию в коалиционное правление.

Перемещение этнического населения через границы началось при Горбачеве благодаря политике разрешения эмиграции евреев в Израиль. Начавшись с малых количеств в 1986 г., еврейская эмиграция выросла до 20 000 чел. в 1988 г. и 60 000 — в 1989 г. Эта новая эпоха открытости ослабила сдерживание этнических миграций по всему советскому блоку. В самой Российской Федерации люди, переселенные в сталинские годы, теперь стремились вернуться на свою этническую родину. В 1987 г., когда Венгрия начала предоставлять убежище этническим венграм — беженцам из Румынии, власти Румынии временно закрыли границу с Венгрией, а затем в 1989 г. под давлением вновь их открыли. В том же году Турция закрыла свою границу с Болгарией, чтобы задержать приток примерно 300 000 болгар в Турцию. В конце лета и осенью 1989 г. эти процессы вдохновили восточных немцев на массовое получение выездных виз через Венгрию в Западную Европу. Именно это движение стало спусковым крючком: когда чехословацкие границы под давлением массового возбуждения вновь открылись (1 ноября 1989 г.), поток беженцев превратился в открытую оппозицию режиму, а протестующие предприняли атаку на символическую границу — Берлинскую стену.

За две недели, с 9 по 24 ноября 1989 г., противодействие силам режима в Восточной Германии и Чехословакии внезапно привело к уступкам, поскольку Горбачев отказался вводить советские войска как основу Варшавского пакта, чтобы удержать под контролем инакомыслящих, в сущности, отвергнув использование репрессивных

* Официальное название после подавления восстания 1956 г. — «Венгерская социалистическая рабочая партия».

сил. Взаимная угроза, на которой держалась дисциплина в восточноевропейских вооруженных силах, распалась; через два месяца последовали восстания и переход власти по всему восточноевропейскому блоку. Эти события на наиболее отдаленной периферии государств-сателлитов ускорили дезинтеграцию следующего слоя Российской империи. В марте 1991 г. фоном для планов Горбачева по либерализации Советского Союза в более свободную федерацию был выход из СССР шести республик крайней западной периферии (балтийских республик, а также Молдавии, Армении и Грузии). Вслед за распадом власти в августе 1991 г. из-за провалившейся попытки переворота, направленного против Горбачева, весь Советский Союз формально распался. Паттерном этого процесса, как и предсказывалось, было совпадение кризисов на множественных фронтах, кризисов, которые взаимодействовали и ускоряли прохождение через спусковую точку к общему распаду территориальной власти.

Открытое противостояние (*showdown*) *через массивную гонку вооружений и войны*, а также *атмосфера военной жестокости*, очевидно, имели место начиная с середины XX в. Мировая геополитическая ситуация радикально упрощалась в течение этого столетия. Нацистская империя и противостоявшая ей коалиция обозначили одну форму всеобщей конфронтации противостоящих блоков; советско-натовская конфронтация поглотила и разделила ресурсы побежденной стороны. В этом свете гонка ядерных вооружений, с их способностью к самому массовому в мировой истории уничтожению гражданского населения, не кажется такой уж аномалией. Она соответствует паттерну высочайшего уровня военной жестокости, которая сопутствует решающим войнам, когда накопление геополитических ресурсов достигает точки максимального упрощения и поляризации. Эта часть геополитической теории также подтверждала предсказание о потере Россией могущества, хотя в теории оставались два подпути: взаимное истощение ресурсов в гонке вооружений или открытая война[1].

[1] Третий подпуть — победа одного государства, ведущая к мировому господству, — был исключен, потому что сама ядерная война вызвала бы грандиозное уничтожение ресурсов [Office of Technology Assessment 1979]. Кроме того, принципы 1–3 и 5 показывали, что Россия не вышла бы победителем в войне со всей противостоящей ей коалицией.

Исторический исход состоял в том, что реформаторская фракция Горбачева вскоре после прихода к власти начала в одностороннем порядке сокращать ядерные вооружения. Горбачев также начал переговоры о двусторонних сокращениях после встречи на высшем уровне в 1987 г. с президентом Рейганом. С точки зрения геополитического предсказания, начал действовать фактор ресурсного истощения в решающей конфронтации. В начале 1980-х гг. расходы на гонку ядерных вооружений стали непомерными. Непосредственной причиной истощения было наращивание вооружений в Соединенных Штатах при администрации Рейгана. С точки зрения теории конфликта, этот рост конфронтации в эмоциональном плане следовал за серией взаимных угроз между Соединенными Штатами и Советским Союзом с конца 1940-х гг. В какой-то момент эта взаимная эскалация должна была привести либо к ядерной войне, либо к истощению и деэскалации. Расходы на ядерные вооружения в сочетании с другими военными затратами России вызвали ресурсный кризис 1980-х гг., который и привел к власти фракцию Горбачева. Горбачев приобрел свою первоначальную публичную харизму, обратив вспять ядерную эскалацию; в период 1986–1988 гг. такой политикой он обрел огромный престиж, особенно в Западной Европе. Эта популярность Горбачева, в свою очередь, способствовала сначала распространению его образа как либерального реформатора, а его зарубежные поездки, связанные с этой деэскалацией, вдохновляли восточноевропейских диссидентов.

Здесь также взаимодействовали нескольких процессов, ведущих к государственному распаду. Угроза немедленного использования ядерного оружия со стороны НАТО была политикой, принятой, чтобы уравновесить угрозу со стороны сил Варшавского пакта, находящихся рядом с населенными центрами Западной Европы. В ответ на это советским оправданием сохранения этих сил в Восточной Европе было сдерживание ядерного удара. В то же время присутствие сил Варшавского пакта служило укреплению сателлитных режимов. Поэтому начало ядерного разоружения повлекло за собой ожидание вывода войск, а это, в свою очередь, подорвало взаимно контролирующие принудительные коалиции, которые и составляли основу господства в сателлитных режимах.

Чрезмерное расширение губительно действовало на геополитическое положение России в Восточной Азии с начала XX в. В западной части советского блока приобретение имперской власти над

сателлитами после 1945 г. дополнило чрезмерное расширение в другом направлении, как и вторжение в Афганистан на центральноазиатском фронтире. Есть два аспекта сверхрасширения: логистические издержки обеспечения, когда расходы на транспортировку поглощают все возрастающую долю военных ресурсов, и идеологическое/культурное сопротивление, которое проявляется в этнической враждебности. Логистическое сверхрасширение включало целый ряд военных обязанностей в отдаленных областях: охрану границ самого СССР, дополнительную попытку в начале 1980-х гг. стать мировой морской державой посредством создания большого флота авианосцев для портов Тихого океана, Арктики и Северной Атлантики, Черного и Средиземного морей, а также военную помощь, включающую транспортировку военных грузов союзникам на Кубе, во Вьетнаме, на Ближнем Востоке и в Африке.

Второй аспект чрезмерного расширения — этническая враждебность — проявляется, когда широкомасштабные завоевания приводят к созданию полиэтнических империй. В обширном круге исторических примеров этническая враждебность к иноземному правлению возрастала, когда империя контролировала два или больше слоев этнически различных территорий за пределами собственного этнического хартленда (внутренней зоны с относительной этнической однородностью) [Collins 1978]. В этом отношении в период после 1945 г. российское сверхрасширение достигло крайне опасных степеней. В сателлитной зоне Восточной Европы советские войска поддерживали власть на территориях двух и трех этнических слоев, за пределами собственно русской земли. В Афганистане же и на Кавказе, где российские войска были размещены против турецких и иранских сил, военная мощь России также располагалась далеко за пределами российских этнических территорий. Диссидентство, оживившееся в этих регионах как в период 1953–1968 гг., так и с еще большей силой во время распада 1988–1991 гг., было связано с ростом этнического самосознания и враждебности к размещенным в этих областях российским войскам.

Ниже я рассмотрю, в какой степени изначальные, или примордиальные, этнические идентичности были ответственны за распад Советского Союза. Здесь же хочу подчеркнуть, что этническая враждебность мобилизуется по-разному, она проявляется в первую очередь и наиболее интенсивно в регионах, которые геополитически уязвимы в плане возможностей отделения. Внешний слой Рос-

сийской империи — государства-сателлиты — были слабее интегрированы в организационном плане; там оставались национальные правительственные структуры наряду с господством местного языка. Движения, мобилизованные для извлечения выгоды из российской геополитической слабости, подрывали местную коммунистическую власть, ориентированную на союз с Россией. Таким образом, отделение государств-сателлитов способствовало революциям против местных режимов. Внутри самого СССР мобилизация движений, ведущих к формальному распаду, облегчалась тем, что союзные республики были уже организованы как номинально суверенные этнические группы [Waller 1992]. Эта организация являлась результатом того, что Российская империя и ее преемник — СССР — были созданы в результате завоеваний и сформированы как полиэтнические государства. Многочисленные этнические группы входили в эту структуру в течение фаз роста и фаз упадка; таким образом, этничность не может рассматриваться как первоочередная причина распада Советского Союза, скорее она является организационным посредником, через который действовало геополитическое сверхрасширение.

Государственный распад и ускоряющийся кризис легитимности развертывались в соответствии с геополитической теорией. В середине 1980-х гг. накопление геополитических напряжений привело СССР к точке *государственного фискального кризиса.* Политический распад вначале проявился во *внутриэлитном конфликте.* Властный престиж военно-экспансионистской фракции упал из-за провала ее попытки оставаться наравне с США по вооружениям, а также из-за разгрома в Афганистане. К власти пришла реформаторская фракция Горбачева и тут же вступила в конфликт с фракцией, которая базировалась на советском военно-промышленном комплексе. Этот раскол структурно аналогичен разделению элиты на фракции, описанному в модели Скочпол—Голдстоуна: фракция, заинтересованная в фискальном здоровье государства (чистый интерес государственного класса) против фракции «аристократов», чья материальная собственность защищается государством и кто перекладывает бремя извлечения [ресурсов] на другие классы. Горбачев угрожал сократить субсидии военно-промышленному сектору, который тогда являлся сильнейшей частью советской экономики. Результат был равнозначен аристократическому «налоговому восстанию»: военно-промышленный сектор саботировал экономические реформы, направленные на конверсию в пользу гражданской

экономики. В результате период реформ стал временем усугублявшегося экономического кризиса. Горбачев оказался в незавидном положении на скользком уклоне реформы в условиях начинающегося распада, подобном положению кабинета министров Неккера во Франции 1780-х гг. Ухудшающиеся геополитические, экономические и политические обстоятельства усугубляли друг друга. Реформаторская фракция Горбачева не была способна собирать ресурсы для укрепления собственной власти. В конечном счете продолжавшийся внутриэлитный конфликт, достигший кульминации в попытке переворота, предпринятой в 1991 г. военно-промышленной фракцией, разрушил государственную власть и открыл путь революции в форме, аналогичной аристократическому мятежу, который в 1789 г. ускорил падение французской монархии[1].

Третий компонент модели государственного распада — это мобилизация сил оппозиционных классов снизу (*народное восстание*). На этом уровне в общей теории имеется наибольшее число вариаций. Вместо крестьянских восстаний в аграрно-капиталистических обществах мы обнаруживаем диссидентов, изначально сосредоточенных в номинально этнических организациях окраинных республик, объединившихся в разгар волнений образованного населения в главных городских центрах [Bessinger 1990; Sedaitis and Butterfield 1991; Roeder 1991]. Здесь также имело место накопление и ускорение условий распада, мобилизация диссидентского движения.

Фракция Горбачева в своих попытках укрепить свою поддержку во внутриэлитном конфликте против военно-промышленной фракции провела ряд реформ политической либерализации. Первоначальные маневры были направлены на подрыв власти чиновников, оставшихся от брежневской эпохи, что включало атаки на государственную бюрократию и саму коммунистическую партию через призывы к самоуправлению и ускоренному экономическому развитию. Идея *перестройки*, обнародованная в апреле 1986 г., может быть истолкована как попытка расширить основу поддержки Горбачева для переориентации государственной деятельности

[1] Это не означает, что не было других источников внутриэлитного конфликта до периода геополитического кризиса 1980-х гг. Как отмечено ниже (в разделе «Капитализм против социализма»), проблемы экономической неэффективности и ориентированных на рынок реформ также раскололи коммунистическую элиту; но сравнение Китая, СССР и Восточной Европы показывает, что эти экономические проблемы не могли быть ключом к распаду Советской империи.

с военной мобилизации на экономическое развитие. В 1986 и 1987 гг. политические диссиденты были освобождены из тюрем или возвращены из внутренней ссылки; были созваны народные съезды, чтобы подорвать организационную власть коммунистической партии. Ряд избирательных реформ, начавшихся в 1988 г., привел к росту открытости в союзных республиках, кульминацией чего в 1989 г. стал первый открыто избранный Съезд народных депутатов СССР. Рост данных альтернативных структур — то, что Лев Троцкий в своей теории революции называл «двойным суверенитетом», — обеспечил организационную основу, благодаря которой могла быть поставлена под вопрос легитимность всего институционального порядка. Изначально массовая мобилизация, вдохновленная Горбачевым, превратила его в харизматическую фигуру — этакого оратора среди восхищенных толп, — смещая легитимность лично на него. Но личная легитимность является обоюдоострым мечом, особенно в ситуации неустойчивых и сдвигающихся ресурсных основ. С углублением структурного кризиса и поражением Горбачева во внутриэлитном конфликте он был внезапно делегитимирован, а вместе с его личным падением наступила делегитимация всего режима.

5. Что считать обоснованным предсказанием?

Могут ли быть сделаны успешные исторические предсказания? Безусловно, могут. Но важно различать социологическое предсказание и догадку или принятие желаемого за действительное. Обоснованное предсказание требует двух вещей. Во-первых, предсказание должно быть основано на теории, объясняющей условия, при которых разнообразные явления случаются или не случаются — т. е. модель, главной частью которой являются утверждения вида «если..., то...». Здесь требуется более строгий стандарт теории, чем то, что обычно социологи подразумевают под данным термином. Это не категориальная схема, не метатеория и даже не модель процесса, лишенная поддающихся наблюдению последовательностей вида «если..., то...». Во-вторых, необходима эмпирическая информация об исходных точках — начальных условиях в этом утверждении «если..., то...». Мое предсказание советского коллапса основывалось как на принципах геополитической теории, так и на эмпирических данных о состоянии СССР и его противников в 1970-х гг.

Значительная часть путаницы в споре о том, возможно ли предсказание, происходит из неумения различать два этих компонента. При отсутствии теории предсказание является всего лишь эмпирической экстраполяцией. При экстраполяции трендов на короткий срок все, что делают, — так это предполагают, что уже идущий процесс будет также продолжаться, причем без понимания того, что могло бы заставить его изменить направление. Долговременная эмпирическая экстраполяция, с очевидностью, ненадежна. Значительная часть предсказаний, которые делают социологи, — именно этого сорта. Например, мы слышим утверждения, что к середине XXI в. больше половины американских детей будут представителями меньшинств. При отсутствии теории о том, что определяет этнические идентичности, предсказания этого сорта сомнительны, ибо они предполагают, что не будет ни этнической ассимиляции, ни изменений в социальных категориях этничности. Самый знаменитый провал в социологическом предсказании потерпела экстраполяция тренда, когда в 1940 г. демографы, не имея никакой теории относительно бума деторождения, делали демографические предсказания, ошибка которых достигала 100 млн чел.

Теоретические принципы плюс эмпирические данные необходимы для предсказаний, которым мы можем как-то доверять, предсказаний, которые являются чем-то бóльшим, чем догадкой. Теория также должна быть обоснована. Обоснованность макросоциологической теории никогда не относится к типу «все или ничего». При работе со сложными процессуальными моделями с обратными связями между внутренними процессами и внешними отношениями среди государств, никогда нет простого и четкого статистического принятия или отвержения всей модели целиком. Это не значит, что отдельные компоненты модели не могут быть фальсифицированы данными, но сопротивление фальсификации в пошаговом анализе не является главным способом построения правдоподобной макродинамической модели. Успех моего предсказания относительно Российской империи повышает нашу оценку его обоснованности, но если бы данная теория не имела другой основы, чем этот случай, то наше доверие относительно возможности дальнейшего ее применения оставалась бы под вопросом. Полная согласованность всех источников данных является центральной для наших заключений об обоснованности, и эта согласованность проявляется в той степени, в какой теоретические положения, суммирующие различные

случаи, могут быть приведены в логическое соответствие друг с другом. Согласованность между геополитической теорией, военно-ресурсной теорий образования государства и теорией государственного распада является источником взаимной обоснованности для них всех. В предшествующем обзоре этих моделей я сослался на ряд исследований, часть которых была проведена после того, как я предложил в 1980 г. геополитическое предсказание советского коллапса. Исследования и развитие теории в этом направлении продолжается и в настоящее время. Для обоснования всей модели и для соответствующей демонстрации того, что предсказание было сделано скорее на систематической основе, чем *ad hoc*, время выполнения такого исследования не существенно. В этом смысле обоснованность данного геополитического предсказания продолжает повышаться (или же предположительно может быть подорвана) продолжающимся накоплением в развитии макрополитической теории.

6. Теории коллапса Советской империи*

С учетом обозначенных моментов давайте рассмотрим несколько других предсказаний и постфактуальных объяснений, которые были сделаны относительно коллапса Советской империи[1].

Этническое восстание

Самое значительное предсказание, о котором я знал в 1980 г., было сделано Элен д'Анкосс в 1979 г. и было основано на эмпирической экстраполяции. Д'Анкосс просчитала демографические тенденции для русских и других этносов, живших в СССР, и пришла к выводу о том, что данная империя распадется в XXI в., когда нерусские национальности составят большинство населения. Было ли

---

* Автор здесь и далее использует название «Советская империя» в точном геополитическом смысле, обозначая политическую целостность, объединяющую территории, находившиеся под военно-политическим контролем единого центра посредством размещения войск. Таким образом, после 1945 г. «Советская империя» включала не только СССР, но и страны, вошедшие в Варшавский пакт.

[1] Более подробный обзор теорий, которые оказались ошибочными в предсказании Советского коллапса, см. в работах [Collins and Waller 1992; Gaddis 1992].

это достоверной основой для предсказания? Можем ли мы вывести некий теоретический принцип из выявленных д'Анкосс этнических демографических трендов? Такой принцип означал бы, что сам размер этнических групп детерминирует их относительную политическую силу, а имплицитно — что полиэтнические государства склонны претерпевать мятежи и дезинтеграцию. Чего не здесь хватает, так это более широкой теории условий, при которых этнические группы ассимилируются, остаются отличными от других или дробятся на еще более мелкие этничности. Однако тенденции изменения этнических границ весьма вариативны, и похоже, что главная детерминанта здесь — геополитическая (см. главу 3). Иными словами, когда центральное государство (the core state) является геополитически сильным, престиж преобладающей в нем этнической группы высок, что и становится стимулом для этнической ассимиляции. Когда же геополитическая дезинтеграция уже началась, тогда мобилизуются этнические сепаратистские движения, играющие роль моторов процесса децентрализации власти. Отсюда следует вывод, что при отсутствии комплекса геополитических условий предсказания относительной численности разных этносов не являются обоснованным предсказанием советского коллапса[1].

Очень важно не поднимать эти вопросы лишь для определения того, кому следует доверять в плане правильности предсказания. Предсказание не является единичной попыткой выбора удачных попаданий из ряда промахов; оно полезно, только если мы знаем, что у нас есть надежный инструмент — орудие, которое мы можем использовать неоднократно и в меняющихся условиях. Например, имел место ключевой вопрос для ситуации в Восточной Европе и Центральной Азии в 1990-х гг., несомненно, он останется и в XXI в. — ведет ли одна только численность этнического населения к распаду государства, или же общие геополитические условия определяют направление этнической ассимиляции или диссимиляции? Только

[1] Примененная к Соединенным Штатам, модель д'Анкосс подразумевала бы, что Соединенные Штаты с их возрастающим диспаритетом в коэффициентах рождаемости в разных этнических группах также движутся к дезинтеграции из-за этнических факторов. Геополитическая теория, примененная к текущим условиям, предсказывающая высокий престиж могущества для Соединенных Штатов в среднесрочной перспективе, позволяет прогнозировать, что никакой такой этнической дезинтеграции не произойдет.

на основании хорошей общей теории мы можем предложить предсказывающее прозрение (predictive insight)[1].

В этом же духе давайте рассмотрим заявления, которые были сделаны *post factum* — после революций 1989–1990 гг. и особенно после лета 1991 г. Большинство этих рассуждений принимает одну из следующих форм: (а) репрессивные режимы, подобные советскому, были обречены на свержение своими народами, или (б) централизованная (и главным образом социалистическая) экономика неизбежно проигрывала в соревновании с более высокой производительностью свободного рыночного капитализма. Остановим в стороне тот факт, что фактически все до конца 1980-х гг., включая большинство социальных исследователей, рассматривали советские социалистические режимы как существенно устойчивые (permanent). Как же выглядят эти два популярных ретроспективных утверждения в качестве теорий?

Свержение репрессивных режимов

Теория неизбежности падения репрессивных государств явно неверна. Таким был боевой клич ликования в момент, когда низвергались статуи [прежних правителей]. Но при отсутствии государственного распада в верхах и условий для ресурсной мобилизации снизу репрессивный характер государства был очень слабым предиктором, или основанием для предсказания, его уязвимости по отношению к народной революции (см. соответствующие данные в работах [Tilly 1978; Skocpol 1979]).

Капитализм против социализма

Теория о том, что свободные рынки всегда одерживают триумфальные победы, должна заставить нас насторожиться, поскольку она, очевидно, является формой идеологического злорадства. Однако в определенной степени она правдоподобна, даже для геополитической теории, поскольку, если бы она была верна, это имело бы

[1] По сходным причинам предсказание упадка, сделанное советским диссидентом Андреем Амальриком [Amalrik 1970], должно рассматриваться как заявление *ad hoc*, поскольку оно не базировалось на принципах широко обоснованной приложимости.

сильное влияние на относительные уровни ресурсов, питающих военное могущество государств (т. е. было бы ненакопительным аспектом принципа 1 о преимуществе размера и ресурсов). Чтобы избежать приложения теории *post hoc* к отдельному случаю, мы должны рассмотреть, какие общие принципы при этом предполагаются. Один из них заключается в том, что экономическая производительность в сфере потребительских товаров является главной детерминантой политических революций. В качестве сравнительно-исторического обобщения это утверждение попросту неверно.

Вторая слабость состоит в том, что теория превосходства капиталистического производства над социалистическим является смутной в плане времени. Ее нынешнее применение *ad hoc* к периоду советского спада 1980-х гг. слишком узко. В более ранний период (в 1950-х и 1960-х гг., примерно до 1975 г.) советские социалистические экономики переживали более быстрый рост, чем большинство их капиталистических соперников [Kennedy 1987: 429–431, 490–496]. В работе [Szelenyi and Szelenyi 1994] утверждается на этих основаниях, что социалистические экономики, возможно, находились в 1980-х гг. только в средней части циклической фазы спада и что политический упадок был вызван факторами, которые являются случайными с точки зрения собственно экономической теории. Вряд ли из этого можно сделать какой-либо вывод, поскольку нет хорошо развитой теории долговременных паттернов изменения социалистической экономики. К сожалению, то же самое должно быть сказано и о долговременных паттернах капиталистических экономик; есть достаточные данные о циклических процессах и кризисах, но нет общих принципов определения того, когда и почему капиталистические экономики могут оказываться в циклическом кризисе во время роста социалистических экономик (как в 1930-х гг.) или почему происходит обратное (предположительно — случай 1980-х гг.). В будущем социальная наука, возможно, улучшит понимание данного предмета и свою способность к предсказанию, изучая такие макроэкономические паттерны. Но в настоящее время баланс данных и согласованность развития теорий позволяют считать, что, даже когда мы будем лучше понимать экономические циклы, они не станут независимыми детерминантами расширения или распада государств. В лучшем случае они добавят дополнительные причинные контуры, входящие в центральную модель извлечения государством ресурсов и связанных с этим извлечением напряжений.

В нашем распоряжении также есть критическое эмпирическое сравнение, позволяющее сопоставить относительные достоинства геополитической теории и теории превосходства капиталистической производительности: временны́е паттерны государственного могущества СССР и Китая. Эти данные говорят против модели государственного коллапса, основанной на капиталистическом превосходстве. Ли показывает, что все превратности положения китайских коммунистических сил в XX в. вытекают из геополитической теории, и предсказывает на основании относительных геополитических преимуществ Китая на рубеже XXI в., что не следует ожидать здесь внутренней революции [Li 1993]. Другими словами, социализм сам по себе не объясняет изменения государственной слабости или силы, в то время как они объясняются геополитическими условиями[1].

Вышесказанное не означает отрицания экономической слабости социализма, но только спрашивается: возможно ли в терминах общей теории вывести из этой слабости адекватное объяснение советского распада? Существует хорошо развитая основа анализа неэффективности централизованной плановой экономики государственных предприятий [Kornai 1992]. Более того, как показывает Уалдер, а также Ни и Лайн, попытки реформировать такую систему через введение рыночных структур ослабляют и раскалывают правящую элиту. Такие попытки подрывают структуру побудительных мотивов у чиновников, снижая их зависимость от центрального иерархического контроля, и способствуют оппортунистическим стремлениям к личной экономической выгоде [Walder 1994; Nee and

[1] Следует заметить, что Голдстоун, применяя свою модель государственного распада с упором на причинную цепочку, порождаемую ростом населения, делает вывод, что Китай в конце XX в. находится в предреволюционной фазе [Goldstone 1992]. Таким образом, у нас имеется прямое противоречие между предсказанием геополитической теории и предсказанием демографически центрированного варианта теории государственного распада. Ли, сравнивающий два этих фактора посредством ряда количественных показателей по четырем периодам восстаний в рамках общей модели динамики династии Цинь (Восстание Трех Вассалов 1673–1681 гг., Восстание Белого Лотоса 1792–1804 гг., Восстание тайпинов 1851–1864 гг. и Революция 1911 г.), показывает, что динамика роста населения, ведущего к государственному распаду, была наиболее интенсивной при Восстании тайпинов, тогда как Революция 1911 г. была вызвана в основном геополитическим напряжением [Li 1998]. Будущие события позволят оценить достоверность соответствующих теорий.

Lian 1994]. Однако рыночные реформы не могут служить основным объяснением коллапса коммунистического режима. Рыночные реформы были слабыми в СССР, они являлись подспорьем коммунистического правления в Восточной Европе и были наиболее продвинуты в Китае 1980-х гг., где государство оставалось наиболее сильным. В Венгрии и Польше, где были проведены далеко идущие рыночные реформы, смешивались два типа процессов. Рыночная реформа породила внутреннее давление в пользу политических изменений, но это привело к полномасштабной государственной революции только в контексте геополитического кризиса СССР, который распался «сверху».

Может быть вполне справедливым, как утверждают Уалдер, Ни и Лайн, что рыночная реформа в конце концов подорвет социализм в Китае. Этот тезис не предполагает ни государственного распада, ни демократической революции. Действительно, поскольку экономический рост посредством рыночной реформы будет и дальше усиливать геополитическое положение Китая, следует ожидать, что государство останется сильным, даже хотя бы оно эволюционирует к какой-то иной политико-экономической форме, отличающейся от чистого социализма[1].

Личность

Другой фактор, ретроспективно выдвинутый для объяснения советского краха, — это влияние отдельных личностей. Основной аргумент при этом является антитеоретическим: уникальные фигуры,

[1] Вариантом модели капиталистического превосходства является теория стадий развития, по которой все другие виды экономик в конечном счете уступают дорогу капитализму. Такое теоретизирование вполне может быть вызвано идеологической эйфорией периода антикоммунистического мятежа. В эмпирическом плане пока еще нет явных свидетельств в пользу того, что идет общий переход от социализма к капитализму. В конце 1990-х гг. еще отнюдь не ясно, что многие государства бывшего Советского блока становятся полноценными рыночными капиталистическими экономиками. Возможно, что гибридные или какие-то иные формы будут преобладать в течение длительного времени. Похоже, господствующей формой, получающейся при распаде социализма, является индустриально-предпринимательский феодализм [Burawoy and Krotov 1992]. Чтобы стать хорошо подкрепленной, теория экономических переходов должна еще пройти долгий путь развития. Без такой теории у нас имеется мало оснований, на которые можно полагаться для систематических предсказаний.

такие как Горбачев, появление которых непредсказуемо, могут создавать решающие поворотные моменты в мировой истории. Это направление анализа легко опровергнуть. Такие всемирно-исторические личности не появляются случайно; они могут получить всемирно-историческую значимость, только если они структурно находятся в такой позиции, где их действия имеют особо важные последствия. Такие позиции существуют только при наличии высокоцентрализованных структур власти и при условии, что властные коалиции к этому моменту раздроблены и неустойчивы. Коротко говоря, условия для появления социально значимых личностей — те, что сформулированы в теории государственного распада и родственных ей теориях формирования государства и мобилизации социальных движений. Социологический способ постановки этого вопроса — спросить о требуемых условиях для подъема и падения индивидуальной харизмы. Реформаторское движение Горбачева дает особенно ясный пример того, как харизма зависит от окружающей социальной динамики. Горбачев был безвестной фигурой, связанной через Андропова с тайной полицией, пока не стал в 1985 г. главой Коммунистической партии. Именно когда он взял курс на реформы в ответ на структурный кризис, он стал харизматической фигурой. Более детально мы можем проследить динамику нового публичного образа Горбачева в его выступлениях на массовых собраниях и в его поездках, когда в атмосфере окружавшего эмоционального подъема он становился символом либеральных (и миролюбивых) надежд[1]. Этот ореол харизмы начал рушиться, когда массы, которые он мобилизовал, пошли дальше него, а принудительная власть его режима была подорвана, оставив его представителем слабеющего государственного руководства. Харизматические лидеры — великие личности — возвышаются и падают. Более общий социологический урок состоит в том, чтобы уделять внимание условиям, при которых мы можем ожидать, как такие личности будут вспыхивать или гаснуть.

[1] Так, визит Горбачева в Китай в мае 1989 г., целью которого была попытка снизить геополитическую конфронтацию, стал катализатором массовой демонстрации на площади Тяньаньмэнь. Поражение этого восстания показало, что одной только индивидуальной харизмы недостаточно, чтобы произвести структурное изменение при отсутствии факторов, перечисленных в теории государственного распада (см. [Li 1993]).

Идеология

На советский коллапс иногда ссылаются как на пример все перевешивающей роли идеологии. Падение в разных случаях приписывается то неукротимой идее этнического национализма, то распространяющимся идеям свободы, то идее капиталистического рынка (или более точно — его потребительской этике). Нет причины сомневаться в существовании таких убеждений. Вопрос же состоит в следующем: определяли ли они перемены советской системы? А также: обеспечивает ли идеология основание для общего предсказания, либо для заключения о том, что предсказание вообще невозможно?

Структурные условия для мобилизации этнических идеологий были обсуждены выше. Потенциал для подъема этнического национализма существует всегда, но идет ли он в направлении ассимиляции в более крупные национальные единицы (господствующая тенденция в последние столетия) или же в направлении местной обособленности (local particularism) — это весьма переменчиво (см. [Tilly 1993: 246–247]). Было бы тавтологией заключить, что автономная сила этнической идеологии сама определяет, какой путь будет выбран. То же можно сказать и об идеологических лозунгах капитализма. Прокапиталистическая идеология не имеет единого лозунга даже в каком-либо из сменяющих друг друга десятилетий XX в., и было несколько резких разворотов в популярности про- и антикоммунистических идеологий. Вопрос о том, когда и где происходят эти изменения, не был систематически теоретизирован. Если мы сводим тезис капиталистической идеологии к распространению западного потребительства, то поразительным является следующий факт: современная идеология западных интеллектуалов и культуры массовых развлечений весьма далека от восхваления потребительства, а представляет собой скорее «постмодернистскую» атаку на него. Таким образом, антисоциалистическая идеология диссидентов отнюдь не совпадала с идеями предполагаемых проводников идеологии на Западе.

Более теоретический подход к роли идеологии в государственном распаде и революции обнаруживается в накапливающемся корпусе исследований, о которых я уже здесь говорил. Идеологии, связанные с направлениями, которые принимают революции, довольно разнообразны, а теоретическое их объяснение недостаточно

развито. Голдстоун утверждает, подобно Скочпол, что идеологии не являются существенной частью объяснения распада государств [Goldstone 1992: 416–448]. Другими словами, идеология — это ближайшее, но не основное звено причинной цепи; она начинает действовать, только когда внутриэлитный конфликт и государственный фискальный кризис уже достигли значительной степени (ср. с формулировкой Моаддела [Moaddel 1992]). Для Голдстоуна идеология лучше предсказывает то, что последует после распада. Тем не менее нам недостает систематической теории того, какая появится идеология в разных типах случаев. Имеются достаточные свидетельства в пользу того, что идеологические движения «маршируют назад в будущее». Например, главная вспышка классового конфликта в период ранней промышленной революции в Англии произошла под влиянием реакционной идеологии рабочих, пытавшихся повернуть время назад — к ремесленному производству, но с ее помощью удалось только заложить основы для регулирования фабричного производства [Calhoun 1982].

Мое предсказание о [коллапсе] Российской империи включало теоретический тезис о том, что идеология следует за геополитикой. Относительно тех частей СССР, которые попали в геополитическую орбиту близлежащих исламских государств, я предположил, что мотором восстания будет распространение ислама. Престиж идеологии поднимается и падает с государственным могуществом ее наиболее явных приверженцев; таким образом, успех Иранской революции под лозунгами исламского фундаментализма привел к быстрому подъему этой идеологии на соседних территориях, включая Афганистан. Для основной части Советского Союза мое предположение состояло в том, что государственный распад и смена режима вполне могли бы происходить под влиянием идеологий какой-либо диссидентской формы коммунизма. Так оно и оказалось, когда Горбачев начал с реформаторского коммунизма, но я не предвидел, что распад быстро повернет в прокапиталистическом направлении. Здесь мне следовало бы применить общий принцип, согласно которому идеологии, подобно правителям, делегитимируются при падении престижа могущества того режима, который является их носителем. Точно так же как поражение в Первой мировой войне подорвало идеологический престиж капиталистических реформаторов, возглавлявших российское правительство, и подготовило почву для отката к антикапиталистической идеологии, гео-

политически обусловленное поражение СССР (и продолжающееся снижение властного престижа коммунистов — сторонников реформ Горбачева) вызвало откат к антикоммунистической и прокапиталистической идеологии[1].

Таким образом, при распаде государства имеет место тенденция сдвига от одной из двух соперничающих идеологий к другой. Поскольку идеологии обычно не сводятся к паре альтернатив, общность данного принципа не особенно велика. Нам требуется более основательная теория условий, которые порождают различные идеологии и делают ту или иную из них преобладающей[2]. Несомненно, идеология может быть включена в общую предсказательную теорию государственных распадов. Однако, вместо того чтобы представлять ее как некоего свободно парящего движителя, который сам не движется, нам нужно установить условия появления вариантов идеологии и место, которые они занимают в причинной цепи.

Итак, иные соперничающие объяснения советского распада, рассмотренные здесь, оказались объяснениями *ad hoc*. Они не опираются на общие принципы, совместимые с объяснением широкого круга случаев. Напротив, геополитическая теория с самого начала основывалась на сравнительных данных, полученных из более

---

[1] Таким образом, идеологический престиж капитализма за все время его существования может быть связан с соответствующими геополитическими ассоциациями в той же степени, что и с его экономической производительностью. Этому доводу соответствует то, что идеология капитализма распространялась по миру вместе с британской, а затем американской геополитической мощью и подвергалась нападкам как раз в те времена и в тех местах, где геополитический контроль ослабевал. Эта тема требует более систематического исследования.

[2] Сделанные Вутноу систематические сравнения того, какие европейские государства приняли или отвергли протестантизм, Просвещение и социалистические движения XIX в., возможно, служат здесь основой для более развитой модели [Wuthnow 1989]. Центрированная на государстве теория Вутноу родственна модели извлечения государственных ресурсов Скочпол—Голдстоуна—Тилли. Центральный процесс, лежащий в основе главных новых идеологических движений, — это появление новых экономических и организационных ресурсов, которые усиливают государственный сектор. Когда это происходит вместе с патовой ситуацией между государственными деятелями и управляющими собственностью консерваторами (вариант модели Скочпол), тогда открывается возможность для третьей фракции культурных предпринимателей. Их успех зависит от уровня патовой ситуации между двумя ветвями внутриэлитного конфликта, а также от уровня распространения новых материальных и организационных средств культурного производства.

широкой сферы. Геополитическая теория государственного изменения еще далека от совершенства и еще не прошла строгой эмпирической проверки. Тем не менее она дает более или менее точные предсказания и объяснения уже случившегося (predictions and postdictions). Она хорошо стыкуется с главными направлениями теории и исследований развития государства, государственных распадов и революций. Детали того, как действительно произошел советский распад, согласуются с процессами, ожидаемыми на основе этих моделей. Резонно заключить, что геополитическая теория — это тот краеугольный камень, на котором может строиться дальнейшая работа по получению предсказаний.

7. Насколько точным может быть предсказание?

Современная геополитическая теория не очень точна. Используя исторические атласы, можно сделать обобщение, что условия, которые детерминируют геополитические преимущества или неблагоприятные характеристики, изменяются довольно медленно — на протяжении столетий [Collins 1978]. Поскольку государство контролирует военную силу на своей территории, относительный расклад ресурсов соседних государств выявляется в существенно более короткие периоды войн и периоды связанных с войнами острых ресурсных напряжений. Главные войны обычно длятся от двух до пяти лет, редко — более десяти. Это дает нам два различных временны́х порядка: (1) длительное, медленное, латентное наращивание или уменьшение ресурсов, прерываемое (2) быстрым истощением ресурсов во время войн и в периоды крупных сдвигов территориального могущества. Условия, определяющие, когда войны действительно разражаются или, соответственно, когда войн избегают, включают великое множество других факторов[1]; но они, по-видимому, случайно уравновешивают друг друга на длительном отрезке времени, о чем мы можем судить исходя из того, что долго-

[1] Есть некоторые успехи в предсказании возникновения войн при наличии распознаваемых начальных условий, в которых происходят международные споры. Эмпирически успешная модель строится на соотношении ресурсов и моделях альянсов противостоящих государств [Bueno de Mesquite and Lalman 1992].

временное изменение в доступности ресурсов в конечном счете ведет государство либо к расширению, либо к сокращению его территорий. Когда мы применяем геополитическую теорию, чтобы делать актуальные предсказания, мы остаемся с некоторой присущей ей неточностью[1]. С помощью исторических атласов я подсчитал, что геополитические ресурсы дают предсказательную точность до

[1] Портес, комментируя том с материалами симпозиума, где была опубликована первоначальная версия данной главы, утверждал, что геополитическая теория является неточной в той степени, что вообще ничего не предсказывает. Его аргументация состоит в том, что принципы окраинного преимущества и дробления середины могут быть применены только после уже случившегося события, поскольку каждое государство находится в середине — среди других государств, — если посмотреть достаточно широко. Это возражение обусловлено непониманием того, как применяются геополитические принципы. Основные принципы геополитической теории состоят в том, что при прочих равных условиях, ресурсно богатые государства расширяются за счет ресурсно бедных государств; «окраинные» (marshland), или «краевые» (edge), государства расширяются за счет внутренних государств; логистическая нагрузка увеличивается вместе с расстоянием, на которое должна быть перемещена военная мощь от места своего возникновения (home base), что ведет к поддающемуся исчислению пределу военного сверхрасширения и утере территориального могущества. Эти аналитические принципы взаимодействуют между собой. Результатом является кумулятивный паттерн роста и упадка ресурсов, геополитическое преимущество или ущербность, уровень логистической нагрузки.

Как мы определяем, является ли некое государство «внутренним» или «окраинным»? В историческом плане, это условие всегда соотносится с тем, насколько многочисленным и богатым является население на границах государства. Например, Московия в XIV в. была окраинным государством Северной России, поскольку к северу от нее не было никакой эффективной военной державы, хотя в этой области и были малые племенные коалиции. Сходным образом, то, что считается находящимся «на такой-то границе», зависит от уровня развития транспортных технологий для дальних расстояний. В начале XIX в. Соединенные Штаты и Россия не могли быть действительными территориальными противниками, поскольку для обоих государств было бы жутким логистическим сверхрасширением вступить друг с другом в военный контакт. (Имели место мелкие стычки в Северной Калифорнии, но обе стороны быстро осознали, что не могут выставить достаточно сил друг против друга.) Таким образом, государство является внутренним в той степени, в которой у него имеются противники на границах по нескольким направлениям, причем относительный уровень ресурсов этих противников достаточен, чтобы представлять угрозу, и противники находятся в рамках круга эффективной логистики. В каждый момент времени можно измерить ресурсы государства, территориальную конфигурацию и логистическую нагрузку в отношении к тем же параметрам соседних государств. В статье «Будущий упадок Российской империи» я использовал формулу, основанную на разработке Стинчкомба для вычисления военной уязвимости границ СССР в отношении к его соседям, таким как Китай (см. [Collins 1986: 190, 198–199; Stinchcombe 1968: 218–230]).

единиц приблизительно в 30–50 лет; в рамках таких периодов невозможно узнать (по крайней мере из одних только геополитических данных), когда произойдут наиболее острые кризисы военной природы. На основе данных, доступных в 1980 г., я предсказал, что СССР распадется в течение 30–50 лет. Честно скажу, я удивился тому, что это случилось так скоро, но распад определенно произошел во временны́х рамках моего предсказания[1].

Из-за факторов этого промежуточного уровня (или мезоуровня) причинности иногда утверждалось в гораздо более широком смысле, что геополитические ресурсы по своей природе не могут быть основаниями для предсказания изменения государственного могущества потому, что дипломатические альянсы всегда могут нейтрализовать любую отдельную силу или слабость. Манн оспаривает принадлежащую Кеннеди формулировку геополитической теории, утверждая, что обоснованность любой такой модели подрывается непредсказуемостью дипломатических альянсов [Mann 1989; Kennedy 1978]. Но разве на самом деле дипломатия является царством свободно парящих выборов и решений? Пока еще не было систематического столкновения между работами по дипломатии и по геополитической теории, но разумно полагать, что дипломатия следует за геополитикой. Я предлагаю две гипотезы: (а) геополитически сильные государства навязывают союзы более слабым государствам, непосредственно примыкающим к зоне их военной экспансии. Наоборот, слабые государства ищут защиты со стороны соседних сильных государств или уступают, входя в навязанные им союзы; (б) там, где складываются ситуации баланса могущества (т. е. в областях, где многие государства покушаются на границы друг друга — во внутренней зоне, о которой говорится в вышеприведенном третьем геополитическом принципе) государства создают альянсы

[1] Не все аспекты распада Советского Союза были включены в мое геополитическое предсказание. Так, отмечалось, что переход был относительно бескровным, с продолжительной революционной борьбой только в одном случае (Румыния). По-видимому, данный паттерн опровергает теорию революционного изменения, во всяком случае теорию, воплощенную в изречении Маркса: «Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым». Однако в геополитической теории и теории государственного распада не подразумевается, что каждый переход является насильственным, но утверждается только, что накопление ресурсных напряжений на основе организованных средств насилия приводит в движение процессы, которые завершаются сменой режима.

по принципу «враг моего врага — мой друг». Это ведет к геополитическому паттерну шахматной доски и раздробленности внутреннего региона, предсказываемой геополитическим принципом 3. Такие срединные, или внутренние, регионы существуют только до тех пор, пока еще недостаточно сильны окраинные государства. Когда ресурсы могущества кумулятивно наращиваются в противоположных концах такого срединного региона, альянсы сдвигаются, превращаясь в биполярные блоки с диктатом крупнейшего государства в каждом из них. Исторические примеры, начиная от римской экспансии до советского и американского альянсов XX в., внушают мысль, что (отнюдь не вопреки геополитическим принципам) дипломатия — это геополитика, ведущаяся другими средствами.

Существует и третий порядок времени — намного короче, чем любой из приведенных выше. Таково время общественного движения. Его сердцевиной являются два или три дня, в течение которых власть в государстве как бы подвешена и балансирует, при этом мобилизуются толпы на улицах, а волны энтузиазма или страха образуют обширные социальные сети, не последние из которых составляют группы военных, примыкающие то к одному, то к другому центру власти. Вокруг этого микрофокуса времени, когда действительно осуществляется переход государственной власти, — революционных дней народной славы — существует полумрак полуинтенсивной мобилизации, длящейся несколько недель. Этот период может растягиваться на месяцы, если энтузиазм движения распространяется на ряд центров государственной власти, таких как столицы стран Восточной Европы осенью и зимой 1989–1990-х гг. или республики СССР, начиная с 1990 г. и далее[1].

Этот микрофокус времени мобилизации является настолько эмоционально интенсивным и настолько способным к созданию символов, что он обычно затмевает два других временны́х порядка процессов, которые, собственно, делают его возможным (долгие

[1] Эти недавние случаи представляются частью более общего процесса революционного заражения в тесно связанных государствах. Лучшим примером является волна революций весной и летом 1848 г., распространившаяся из Швейцарии, Италии и Франции через германские государства, Австрию, Венгрию и затем угасшая в течение следующего года. Другая такая волна восстаний прошла по городам всей Германии и Центральной Европы в конце Первой мировой войны [Kinder and Hilgemann 1968: 328, 406]. Теория революционного заражения еще должна быть сформулирована.

медленные сдвиги соотношения государственных ресурсов в течение десятилетий и столетий, или несколько лет вызванных войной напряжений). Таким было журналистское клише, особенно летом 1991 г., — отмечать, как это было поразительно, что изменение в советском режиме могло произойти настолько быстро. Однако было бы *социологически* поразительно, если бы изменения в государственном управлении *не* произошли быстро. В ядре государства (как монополии организованной военной силы) находится принудительная коалиция, участники которой дисциплинируют друг друга посредством вооруженной угрозы. Когда такая коалиция раскалывается и сменяется другой, она должна быстро пройти через определенный спусковой момент, поскольку для каждого отдельного ее участника крайне опасно остаться за пределами побеждающей коалиции. Эти спусковые моменты порождают крайние, весьма заразительные эмоции и создают ощущение, что все колеблется на весах, что это момент свободы и выбора. Именно это порождает распространенное представление, что революции беспричинны и непредсказуемы[1].

Тем не менее прохождение через такие спусковые моменты само по себе сильно структурировано двумя первыми временны́ми порядками процессов, о которых я говорил выше. Когда именно эта спусковая точка будет пройдена, непредсказуемо, по крайней мере с точки зрения макро-, но может быть предсказано, что такие спусковые точки будут иметь место внутри более крупного временно́го отрезка, когда макропорядки причинности переходят определенный порог.

8. Вложенные уровни предсказания от макро- к микро-

То, что мы здесь рассматривали, является проблемой макро/микро. Различные порядки причинной и предсказательной точности подчеркивают характер отношения между макро- и микро-.

[1] Куран утверждает, что типичное удивление революцией структурно обусловлено и неизбежно, поскольку рассерженные граждане всегда неверно представляют свои предпочтения из-за социального давления сверху и тем самым вводят в заблуждение не только своих правителей, но и друг друга. Эта теория хорошо объясняет процесс спускового крючка, при этом чрезмерно обобщая неопределенность уровня мезо- на микроуровень.

Рис. 8. Вложенные макро- и микроуровни предсказуемости государственного распада

Обстоятельства, которые ведут к государственному распаду, располагаются на континууме, а не в рамках дихотомии. На полюсе макро- находятся те паттерны причинной связи, которые являются самыми крупными во времени и пространстве; на полюсе микро- имеют место паттерны социальной организации, которые могут распознаваться в последовательно меньших срезах времени и пространства. Таким образом, взаимоотношение между тем, что является более макро-, и тем, что является более микро-, это один из вложенных уровней. Геополитический макроуровень включает причинные паттерны, которые охватывают периоды от десятилетий до столетий, а также меняющиеся степени связанности социальных организаций в разных пространственных регионах. Предсказательные обобщения на этом уровне могут в лучшем случае сводиться к утверждениям о направлении изменений в геополитических преимуществах и недостатках, а также указывать на сдвиги, происходящие в пределах 30–50 лет (см. рис. 8).

Вложенными в такие временны́е периоды являются относительно крупные процессы, такие как войны и государственные распады. (Учитывая неточность нашего словаря для таких материй, мы могли бы называть их *нижнее макро-* или *верхнее мезо-*; они связывают тысячи или миллионы не видящих друг друга акторов в цепях отношений, которые могут развертываться в течение нескольких лет.) Проблема неточности предсказания на этом уровне верхнего

мезо- касается прежде всего инициирования, или непосредственной побудительной причины, конфликта или распада, которое может быть по своей сути случайным, поскольку оно зависит от сцепления множества более мелких кризисов в то, что Перроу называет «нормальными случайностями» [Perrow 1984]. Однако как только процесс распада начинает осуществляться, он демонстрирует значительную долю *теоретического* порядка в том смысле, что широко и даже универсально обнаруживаются абстрактные черты разрушения принудительных коалиций и их замены другими. Вспомним, однако, что успешное предсказание требует сочетания обоснованной общей теории и эмпирических знаний о релевантных начальных условиях. Предсказание часто невозможно сделать в разгар развертывания событий еще и потому, что информация об этих эмпирических условиях недоступна.

Сужая фокус еще более, мы достигаем уровня нижнего мезо- — времени мобилизации движения и вложенных в него бурных часов апогея коллективного поведения[1]. Имплицитно эти события уровня нижнего мезо- выбраны из более широкого круга подобных временны́х периодов, в которых преобладает заведенный порядок и явно не случается ничего такого, что заслуживало бы анализа. И вновь мы видим, что главная неточность предсказания связана с определением времени определенных типов деятельности в этот период. Куран представляет более вескую причину, почему точное определение времени этих спусковых точек не может быть предсказано самими участниками событий [Kuran, 1995]. Такова теория непредсказуемости на третьем уровне вложенного континуума макро/микро, в котором и находятся инициирующие точки взрыва оппозиционных социальных движений. Заблуждение в предпочтениях индивидов, которое является нормальным условием для субъектов внутри взаимно принудительной коалиции, может само рассеяться только в особых условиях (которые в конечном счете переходят из вложенного макроуровня процессов на уровень государственного распада). Однако, как только спусковая точка пройдена, динамика социального движения и пиковые периоды коллективного поведе-

[1] Я обозначаю это как *«нижнее мезо-»*, оставляя *«микро-»* для действительно малых срезов взаимодействия между немногими акторами «лицом к лицу», тогда как еще ниже располагается уровень *«ультрамикро-»* — разговорные и эмоционально-невербальные ритмы.

ния начинают соответствовать сильно структурированным паттернам. Толпы даже в апогее эмоционального энтузиазма не ведут себя хаотично, а демонстрируют значительную социальную координацию вплоть до уровня настоящих микропаттернов [поведения] [McPhail 1991: 158–184]. Такие спусковые точки могут быть также охарактеризованы как переход через условия критической массы; он осуществляется при сетевых условиях, определенных Марвеллом и Оливером [Marwell and Oliver 1993].

Коротко говоря, проблема неточности предсказания возникает именно в тех точках, где мы переходим с более крупного уровня макроанализа на другой — вложенный в него уровень социального взаимодействия. Эта вложенность прямо обращает нас к сдвигу во временны́х порядках, к которому и относится данная неточность. Иными словами, на основе рассмотрения факторов, которые действуют на протяжении данного отрезка времени (например, полувека), невозможно предсказать со сколь-нибудь значительной точностью наступление процессов, которые осуществляются в течение 3–10 лет; а эти процессы, в свою очередь, не позволяют предсказывать наступление процессов, вложенных внутри них и происходящих в еще более краткие периоды времени.

9. Препятствия для успешного социологического предсказания

Есть множество причин, почему социологи не делают более качественных предсказаний. В кратком перечислении такова неспособность отличить эмпирическую экстраполяцию от теоретически обоснованного предсказания и неспособность собрать адекватные эмпирических данные о стартовых точках, которые могут быть отправными для предсказаний. Кроме того, во многих областях есть конкурирующие теории, и относительно мало внимания уделяется тому, у каких частей теории имеется самый высокий уровень обоснованности (согласно изложенным выше критериям). Более того, значительная часть метатеоретических дискуссий в социологии касается не каких-либо конкретных содержательных объяснений, а абстрактных причин, почему такое объяснение человеческих действий (а тем более предсказание) невозможно, а быть может, еще и безнравственно. Не вступая в долгие споры по поводу историцизма,

интерпретивизма и гуманизма, я бы заметил только, что невозможность предсказания отвергается в рассмотренном случае и что в социологии есть множество других областей, где соответствующее сосредоточение внимания на хорошо обоснованной объяснительной теории вместе с достаточной эмпирической информацией о стартовых точках может дать другие успешные предсказания[1].

Указанные выше препятствия для предсказания являются внутренне присущими социальным исследователям как сообществу. Есть также внешние условия, которые, вполне вероятно, являются препятствиями для макросоциологического предсказания политически значимых событий. Одно из них — это влияние политических идеологий охватывающего общества, членами которого мы также являемся. Я уже отметил, что на протяжении большей части 1980-х гг. и либералы и консерваторы были скованы стереотипным образом советского могущества. К концу 1980-х гг. уже шли вовсю либеральные реформы Горбачева, но в газетах Соединенных Штатов о них писали только на внутренних — второстепенных — страницах. Во время президентской кампании 1988 г. кандидат в президенты Майкл Дукакис в своей программе внешней политики пренебрег инициативами военной деэскалации, даже несмотря на свидетельства опросов, говорящих о том, что Горбачев был тогда более популярен в Соединенных Штатах, чем любой американский политик. В начале лета 1989 г., всего за несколько месяцев до того, как в Восточной Европе начался открытый распад, президент Джордж Буш (старший) и его администрация придерживались установки, что реформы Горбачева были всего лишь уловкой и что необходимо продолжать наращивание военной мощи [Facts on File 1986–1989].

Можем ли мы извлечь социологический урок относительно динамики идеологии из поведения американских политиков в конце 1980-х гг.? По-видимому, идеологии, выкованные во время предыдущих конфликтов, изменяются медленно, даже когда меняются лежащие в их основе структурные условия. И только когда происходит драматическое, открытое изменение в видимых отношениях, на первый план выдвигается новый набор идеологических символов. До 1989 г. господствующие во всем мире взгляды состояли

[1] Вопрос о негуманности или аморальности предсказаний должен обсуждаться отдельно. В данном случае я чувствую, что не было ничего безнравственного в попытке 1980 г. способствовать преодолению гонки ядерных вооружений.

в том, что коммунистические государства были прочными и могущественными. Всего через считанные годы столь же общим мнением стало убеждение, что они были обречены на провал. Ни один из этих взглядов не базировался (или не базируется) на хорошо обоснованном теоретическом понимании основ государственного могущества. Социальные исследователи способны внести вклад в такое понимание в той мере, в какой они могут отделить себя, по меньшей мере в какой-то части своей жизни, от популярных политических идеологий.

То, что сделать это трудно, показывает работа Пола Кеннеди. В 1987 г. Кеннеди опубликовал обширный трактат о подъемах и упадках государственного могущества применительно ко всем главным государствам современного мира. Кеннеди самостоятельно сформулировал некоторые из главных принципов геополитической теории, которые я перечислил выше. Он основывал свой анализ на принципах ресурсного преимущества (1) и чрезмерного расширения (4). Тем не менее он не предсказал упадок советской державы, потому что его главной заботой была опасность упадка Соединенных Штатов прежде всего как результата сверхрасширения военного могущества США по земному шару. Здесь видно влияние идеологического предубеждения. Кеннеди выражал точку зрения американских либералов, озабоченных тем, чтобы избежать повторения ошибок Вьетнамской войны; в его теории эта озабоченность присутствовала в виде принципа чрезмерного расширения военного могущества на отдаленные регионы, что должно привести к упадку могущества из-за истощения ресурсов. Теоретические принципы Кеннеди и стоящие за ними исторические сравнения верны сами по себе. Его же неудача в предсказании обусловлена идеологическими предубеждениями: он сосредоточил внимание на государстве, которое он больше всего хотел предостеречь, — на своем собственном, — но при этом упустил возможность рассмотрения того государства, в котором геополитические напряжения были наибольшими.

Имеются также более рутинные причины, в силу которых мы не развиваем или не используем предсказательную силу объясняющей социологии. Обычный дискурс и ритуалы социального взаимодействия склонны реифицировать уже существующие социальные институты, т. е. считать их вполне реальными, вещными, так что они представляются прочными и неизменными. Этнометодологические исследования повседневных рассуждений показыва-

ют, что социальные акторы предпочитают воспринимать постоянный фон нормальности как нечто само собой разумеющееся. Когда какой-то случай вызывает брешь в нормальных ожиданиях, мы стараемся залатать эту брешь, как можно быстрее придавая ей нормальную форму. Такова одна из причин того, почему рядовые социальные акторы воспринимают макроструктуры мира через линзы идеологий, даже несмотря на то, что эти идеологии всего лишь навязывают миру некое произвольное ощущение порядка. Тем не менее рутинное поведение социологов — эмпирических исследователей и теоретиков — не является тем же самым, что рутинное поведение обычных акторов. Мы накопили интеллектуальные ресурсы, которые позволяют нам в рутинном порядке собирать воедино согласованные и эмпирически обоснованные модели социальных процессов, категории которых не должны быть теми же, что и принимаемые за само собою разумеющиеся категории повседневной жизни. Можно показать, что социологическая теория может использоваться для более надежных предсказаний, нежели доступные невооруженному глазу. Это и дает возможность социологии вносить свой особенный и существенный вклад.

10. Будущие перспективы предсказательной социологии

Способность социологии делать надежные предсказания является признаком зрелости этой дисциплины. Надежное предсказание — это не единовременное предприятие; оно основывается на кумулятивном развитии теории и эмпирических исследований. Изучение перспективных путей и тупиков, накопление данных, обнаружение отличий и взаимосвязей, схватывание сложности и стратегическое упрощение главных моделей — для всего этого нужны поколения. Но было бы удивительно, если бы такой прогресс не имел места после 100 лет институционального существования социологии. Макродинамика политических изменений является одним из наиболее давних и постоянных предметов исследовательского интереса в социологии. Страстность и энергия, с которыми она изучалась на протяжении многих лет, сделали ее центром теории, способной приносить все больше пользы, по мере того как более отточенные варианты этой теории будут выработаны в будущем.

Глава 3

«Балканизация» или «американизация»: геополитическая теория этнических изменений

Аналитическое понимание этничности — одно из слабых мест в социальных науках. По этому вопросу есть обширная литература, но многое из сказанного имеет лишь кратковременное значение. В прошедшем столетии поднимались волны энтузиазма в пользу и против разных типов этнических и националистических движений. Шли горячие споры, тесно связанные с текущими политическими настроениями. Начиная с последних десятилетий XX в. повысился престиж этнической автономии, соответственно, дискурс социальных наук наполнился такими морально нагруженными понятиями, как «мультикультурализм», «право на свою культуру» и «культурный геноцид». Такой настрой сильно отличается от преобладавших в начале XX в. и ранее представлений, когда либеральным идеалом, как правило, был включающий, или инклюзивный, национализм, направленный на преодоление мелких регионализмов и местных раздоров во имя единого народа, устремленного к общей цели. В исторической хронике Шекспира «Генрих V» призыв королем корнуольцев, валлийцев, ирландцев и шотландцев на битву в качестве англичан был основан на том же архетипе, который присутствует в американских фильмах о призывниках во Второй мировой войне, когда взвод состоит из молодого фермера (белого англосаксонского протестанта), итальянца, шведа и еврея, которые учатся оставлять в стороне свои различия ради общего дела. Однако в истории помимо этнического охранительства и этнического плавильного котла были и другие варианты, например космополитическое Просвещение XVIII в., распространен-

ным идеалом которого была некая высокая культура, поднимающаяся над всем местным, частным и его охватывающая.

Такой анализ ущербен своей одномерностью. Мы слишком легко согласились с тем, что все течет в одном направлении, что мир как целое движется по некоему эволюционному пути, либо достиг состояния постмодерна, что бывают «периоды национализма» или эпохи политической корректности. Рассмотрим противоположные взгляды на будущее XXI (или XXII) века, соответствующие этим альтернативным моделям: станет ли оно будущим, в котором каждая этническая группа* будет свободной и независимой, даже имея свое собственное государство? Или же продолжится долгосрочная тенденция перехода от разнородности малых локальных групп к крупным национальным блокам, а затем к единой мировой культуре, и созданию — в результате межэтнических браков — единой мировой расы? Таковы оптимистические идеалы; их отрицание — мир сплошной межэтнической вражды, наступающая эпоха погромов, геноцида и терроризма, узаконенного стремлениями по-прежнему подавляемых этнических сообществ, либо век пресного однообразия при мировой гегемонии английского языка и американской поп-культуры. Проведение рассуждений в таких терминах заставляет нас подозревать, что будущее не будет полностью соответствовать ни одному из вышеприведенных сценариев. История всегда была сложнее того набора вариантов, который способны описать такие односторонние модели.

Следует глубже проработать аналитическую основу [рассуждений об этничности]. Ни один процесс не влияет на весь мир, даже на какой-либо мировой регион в целом. Нам требуется модель для целого ряда вариантов этнических отношений и для установления условий, приводящих к сдвигам некоего региона в том или ином направлении. Регион может смещаться в направлении большего этнического многообразия или большего единообразия, что я назвал несколько тенденциозно «балканизацией» или «американизацией». Моя мысль состоит в том, что сердцевиной этих вариаций является сила государства: каким образом государство мобилизует свое население в военном плане и как проникает в него через свои граждан-

* «Этническая группа» здесь и далее используется автором как родовое понятие по отношению к «этносу» (а также «субэтносу» и «суперэтносу») — обычно используемым в русскоязычной научной литературе.

ские щупальца. От этой основы и зависят геополитические судьбы государств. Я представляю здесь государственно-центрированную теорию этничности, дополняющую государственно-центрированную теорию революции, изложенную в предыдущих главах.

При построении такой теории, вещи должны рассматриваться в своем особом контексте. Исследователи всерьез занимались этничностью и семантически близкими темами, такими как раса, национализм, гражданство, и установили множество причинных условий и процессов. Мое утверждение состоит в том, что эти причинные условия оказываются неопределенными, когда мы пытаемся их обобщить. То, что способствовало этнической ассимиляции в Соединенных Штатах 1950-х гг., не работало в Советском Союзе 1980-х гг., поскольку геополитический контекст был иным. Всякая глубокая и обстоятельная теория этничности должна учитывать множество причин. Но среди множества причин одни являются более судьбоносными, чем другие. Я вновь утверждаю, что геополитические отношения между государствами являются тем переключателем, который смещает причинные цепочки внутри каждого из них.

1. Чем определяется число существующих этнических групп?

При всем обилии проводившихся в Соединенных Штатах исследований этничности, США не являются подходящим местом, чтобы начинать выстраивать аналитическую теорию. Социологические исследования здесь были сосредоточены на процессах дискриминации; а в более оптимистичные или самодовольные времена они были сфокусированы на процессах ассимиляции. Однако в этих исследованиях предполагался решенным вопрос о том, почему вообще существуют этнические группы. Исследователей главным образом интересовал вопрос о том, почему этнические группы продолжают существовать или — когда они исчезают. Мы не изучали с должной систематичностью вопрос о том, что, собственно, создает этнические группы. Отчасти это объясняется наличием определенных идеологических предпосылок, которые лежат в основе большинства [американских] исследований. Если кто-то является приверженцем ассимиляции, то он склонен считать доминирующую этническую группу вовсе не этносом, а просто главной

культурой — мейнстримом этого общества. Если кто-то является радикальным критиком, то он может разоблачить и осудить этот подход, указывая, что англоконформизм или доминирование белых англосаксонских протестантов (WASP — white Anglo-Saxon protestants) отражает привилегированный статус одной этнической группы среди других. В любом случае упускается виденье главного из-за принятия на веру культурных категорий, отражающих то, что, по сути дела, является лишь частным историческим обстоятельством. Ассимиляция — это сокращение числа этнических групп, в пределе — до одной этнической общности в границах государства. Склонность рассматривать господствующую этническую группу как цель ассимиляции раскрывает общий процесс: некоторые этнические группы обладают легитимностью, точно так же, как легитимностью может обладать политическое правление. Число этнических групп меняется вдоль некоего континуума, так же как меняется и легитимность господствующей этнической общности. Вопрос для аналитически глубокой теории этничности состоит в следующем: что приводит некий регион к движению [по этому континууму] в том или ином направлении?

Или же рассмотрим этот вопрос с точки зрения приверженца этнического освобождения (an ethnic liberationist). Риторика позиции какого-либо человека, естественно, предполагает, что его собственная этническая группа существует, имеет свою историю, корни и идентичность, уходящие в далекое прошлое. Политическая задача заключается в еще большей мобилизации этой идентичности, чтобы сподвигнуть ее носителей на битвы за ее сохранение и автономию, чтобы заставить этнических «других» признавать обоснованность ее притязаний. Позиция мобилизованных участников этнического конфликта — примордиализм. Это также является материалом для отстраненного взгляда аналитической теории и означает, что точка зрения активистов не является достаточным основанием для теории и, уж конечно, для адекватных исторических описаний. Примордиалист делает историю неким зашоренным поиском в прошлом, ложно представляемом как ясный путь, отмеченный вехами всего того, что может быть расценено как исторические корни. На рубеже XIX–XX вв. итальянцы в Соединенных Штатах переживали процесс обретения итальянской идентичности, тогда как на своей родине они были сицилийцами, калабрийцами, неаполитанцами, генуэзцами, а эти региональные идентичности были

результатом объединения прежде разрозненных деревень или кланов. То же верно и для «чиканос» — результата объединения индейцев, метисов, испанцев и других этнических сообществ. Складывающаяся категория «латиносов» (Hispanics) располагается еще дальше на этом континууме. Этнические группы не только воспроизводятся или исчезают, они также создаются. Процесс политической мобилизации сокращает число мест, где можно провести границы [различения групп] для коллективного действия; конфликт создает тот каркас, который проецируется назад — в примордиальное прошлое[1].

Этническая группа — это не только и даже не в первую очередь сообщество, обладающее общей культурой и идентичностью. Ее идентичность образуется разделительными линиями — противопоставлением ее другим группам. Ключевой вопрос таков: сколько этнических групп социально воспринимаются как существующие в определенном времени и пространстве? И еще более важный вопрос в аналитическом плане таков: что детерминирует уменьшение или увеличение числа этнических групп, а значит и числа межэтнических границ? Простой ответ, которого следует избежать, приходит, если считать первый вопрос относящимся к некоему фактическому обстоятельству. Из обычных разговоров мы знаем, что в Соединенных Штатах или в Боснии существуют некие этнические группы, и, обладая такой информацией, мы можем исследовать то, что представляется более важным, — вопросы конфликта, господства или гармонизации. Ответы на них, основанные на изучении настоящего в краткосрочной перспективе, различаются от случая к случаю. Чтобы выявить траектории развития краткосрочных процессов, нам нужен долгосрочный — макроисторический взгляд.

---

[1] Хобсбаум и Рэнджер называют это «изобретением традиции» [Hobsbawm and Ranger 1983]. В африканском контексте об этом говорилось как об «изобретении племени» [Vail 1989]. Барт и Геллнер критикуют примордиализм с позиций политического конструирования этничности и национализма [Barth 1969; Gellner 1991]. Энтони Смит, напротив, придает особое значение издавна существующим сообществам, которые поддерживаются культурной памятью, религиозными институтами и деятельностью интеллектуалов; такие этнические традиции и обеспечивают ядро государств с идеологией национализма, и препятствуют вливанию в чей-либо чужой национализм. С точки зрения Смита, коллективная политическая мобилизация в прошлом могла быть частью формирования этнических традиций, а затем уже традиция становилась самовоспроизводящейся [Smith 1986].

2. Социальное конструирование этничности в долгосрочной перспективе

Этничность лучше всего описывается как метасообщество — некий каркас для сообщества сообществ. Все члены этнической группы не знакомы друг с другом, но при этом они не связаны и в какую-либо [социальную] сеть. Многие этнические группы, такие как немцы и китайцы, составляют миллионы людей. Этничности зачастую описываются как некие культурные единицы, которым свойственны особые кухня, стиль одежды и образ жизни. Такие единицы социально конструируются двумя взаимосвязанными процессами: изначально неосознаваемым социальным действием, которое выстраивало эти местные особенности, культурным маркированием групповых границ, когда эти отличительные характеристики начинают распознаваться извне в качестве особых маркеров данной группы, а затем, в порядке рефлексии, и самой этой группой. Здесь я сосредоточу внимание на двух маркерах, являющихся в аналитическом плане наиболее показательными и проливающими свет на социальный процесс, который одновременно конструирует первозданную (naïve) протоэтничность и мобилизует этнонационализм. Таковыми являются соматотипы и языки.

Социальное конструирование соматотипов

Люди, принадлежащие к одной этнической группе, как правило, выглядят сходным образом — или по меньшей мере члены группы достаточно часто имеют определенные физические черты, которые социально распознаются в качестве таких, какими предположительно должен обладать «типичный» представитель этой этнической общности. Скандинавы, вероятнее всего, будут голубоглазыми блондинами со светлой кожей, итальянцы — смуглыми брюнетами, и так далее. Специалисты по физической антропологии внесли небольшие уточнения, описав относительную распространенность определенных структур лицевых костей и размеров скелета, типов зубов и групп крови. Разговор об этом сегодня может показаться дурным тоном, поскольку тем самым воскрешаются старые развенчанные теории, согласно которым людям «широколобым» и «узколобым» приписывались различные исторические судьбы, либо же в родословных народов Южной или Восточной

Европы искали преступные наклонности и наследственную нищету. Скорее всего, нет никакой существенной корреляции между физическим обликом и умом, поведением или культурой. И все же я обращаюсь к теме этнических соматотипов, чтобы указать на два аналитических момента[1].

Во-первых, нет сколько-нибудь глубокого и аналитически значимого различения между «расой» и «этничностью». Традиционно расы рассматриваются как физически отличные друг от друга (например, по цвету кожи), тогда как этнические группы считаются различными лишь в культурном плане. Но этнические группы также обладают соматотипическими особенностями (волосы, цвет кожи, строение лица и т. п.), которые обычно замечаются людьми при обостренном осознании этнических различий. Социологическое различение между этничностью и расой пагубно в аналитическом отношении, поскольку оно затемняет социальные процессы, определяющие уровни проведения границ в континууме соматотипических градаций. Раса — это обыденное понятие, некая народная мифология, которая превращает конкретные этнические различия в полный разрыв. Аналитический вызов нам как социологам состоит в необходимости выявления того фактора, который определяет расположение [этнических групп и рас] в данном континууме. Придание этническим различиям расового характера (racialization of ethnicity) — это лишь одна из крайностей данного процесса. Предла-

[1] Отношение между социологией и биологией — предмет горячей полемики. Я хотел бы заявить со всей ясностью, что мое обсуждение социального конструирования соматотипов отличается от его трактовки в современной социобиологии. Насколько мне известно из чтения соответствующей литературы, в социобиологии ведутся абстрактные рассуждения относительно естественного отбора свойств человека и животных по критерию соответствия этих свойств эволюционной приспособленности (то есть роста успеха в размножении вида). Моя же аргументация связана не с естественным отбором или репродуктивной приспособленностью, а с геополитическими отношениями, которые сохраняют популяции [breeding pools] обособленными или приближают их друг к другу. Большинство социологов, неодобрительно относящихся к социобиологии, склонны вообще избегать этой темы. Такое избегание приводит к тому, что некая эмпирическая реальность (соматические различия в физическом облике) отдается на откуп дисциплинам, которые объясняют эти особенности несоциологическим образом. На мой взгляд, социология достаточно сильна в интеллектуальном плане, чтобы отобрать у биологов эту тематику. В ряде важных отношений социология определяет биологию.

гаемая здесь геополитическая теория этничности по определению является также теорией расы[1].

Во-вторых, степень соматического своеобразия социально конструируется. Социальное взаимодействие подчиняет биологию. Соматические различия, как и все остальное, располагаются на некотором континууме. Степень сходства или различия в этнических соматотипах зависит от того, насколько обособлены были популяции (breeding pools). У народов, живущих в отдаленных друг от друга частях света, скорее всего, развиваются совершенно различные соматотипы. Такие географически обособленные популяции выработали соматотипы скандинавов, кельтов, жителей Средиземноморья, коренных обитателей Центральной и Южной Африки (Sub-Saharan Africans), китайцев, айнов и всех остальных соматических вариантов человеческой расы. И наоборот, там, где популяции близки в географическом и социальном плане, соматотипы становятся более сходными. При полной социальной и территориальной близости они сливаются.

Соматотипы — это некий индекс, указатель вех глобальной истории; они являются геополитическими маркерами, впечатанными в человеческие тела. Соматические различия между людьми, живущими теперь рядом друг с другом, отражают прошлые паттерны завоеваний и миграций, включая принудительное переселение рабов. Там, где соматические различия бросаются в глаза (например, очень светлая или очень темная кожа), причиной тому должна быть миграция из отдаленных частей света, где популяции на протяжении длительного времени были обособлены. Если соматотипы сохраняют свои особенности, притом что группы находятся в географической близости, то причиной тому служат социальные процессы, которые сохраняют популяции обособленными. Этносоматическое своеобразие социально конструируется сначала в виде протоэтнических соматотипов (черные африканцы и кельты имели различный физический облик в 500 г. н. э., потому что никогда не жили

[1] Обыденное различение между расой и этничностью вошло в американскую социологию, так как принято считать, что паттерны ассимиляции для белых европейских этносов и для черных афроамериканцев представляют собой два различных социальных процесса. Тем не менее данная проблема объяснения может быть решена лишь в рамках единой в аналитическом отношении теории того, что детерминирует вариации в силе этнических различений. Нам следует избегать того, чтобы сегрегация групп воспроизводилась в сегрегации теорий.

рядом друг с другом), а затем в виде этнонациональных соматотипов, поддерживаемых социальными барьерами, которые препятствуют заключению межэтнических браков (например, в 1970-х гг., когда и черные африканцы, и кельты жили в Британии и Америке).

Не цвет кожи как таковой (или какая-либо иная физическая особенность) определяет социальные отношения. В Швеции XIX–XX вв. на голубоглазых, светловолосых и белокожих финнов, как правило, смотрели сверху вниз; они считались неопрятными и похожими на прислугу. Особо светлый соматотип финнов являлся маркером геополитической истории, когда Финляндия входила в состав завоеванных владений шведского государства с XVI по XVIII в., а финны были батраками и слугами шведских землевладельцев. В Древнем Средиземноморье греки, а позднее арабы, покупали белокожих рабов из Восточной Европы, Руси и азиатских степей, а также черных рабов из Африки; соответственно, особо темная и особо светлая кожа считались признаками низкого социального положения. Геополитическое обособление создает протоэтнические соматотипы. Геополитическое господство придает этим признакам особый смысл, превращая их в знаки социального превосходства или подчиненности.

Расовая дискриминация по цвету кожи — это следствие, а не причина. Европейцы сделали чернокожих африканцев рабами не потому, что они были чернокожими. Владельцы плантаций сахарного тростника и хлопка на островах Карибского бассейна и на американском Юге первоначально пытались приспособить для выращивания своих культур племена коренных американских индейцев, а также европейских работников, связанных жесткими договорами (по сути дела, рабов на сколько-то лет), но потерпели неудачу в воспроизводстве этих источников рабочей силы. Плантаторы обратились к Африке потому, что поставка рабов из этого региона стала доступной [Williams 1966]. Рабство создало расизм в большей мере, чем расизм породил рабство. В свою очередь, Африка оказалась уязвимой для работорговли именно потому, что рабство в ней уже существовало и рабы с готовностью поставлялись в прибрежные порты. К тому же племенные общества Африки были огородническими и, следовательно, намного более слабыми по своим геополитическим ресурсам, чем аграрные государства арабов, а позднее — протокапиталистические государства европейцев, которые организовали торговлю рабами на большие расстояния.

Охватывающая историческая макросоциология большой длительности должна позволить путем сравнений и привлечения соответствующих археологических и палеонтологических данных установить, за сколько поколений обособленной жизни группы достигают какую степень соматических различий между собой[1]. Этот протекающий во времени процесс асимметричен; формировавшиеся в течение тысячелетий различия могут быть стерты за несколько поколений при условии широко распространенного межэтнического смешения (extensive interbreeding). При переходе группы из состояния протоэтнической общности, еще не осознающей свою особость, в состояние, мобилизованное на этнонациональной арене, соматические различия будут сохраняться, только если они будут постоянно воссоздаваться. Это может происходить двумя путями: либо перенос прежних геополитических различий в современную стратификацию позволяет удерживать популяции в социальном обособлении, либо же межэтнические браки имеют место, но получившееся потомство социально определяется как принадлежащее скорее одной группе, чем другой, или к какой-то третьей — смешанной — группе. Если этими группами оказываются белые европейцы и черные африканцы, то возможны следующие исходы: все их потомство в социальном отношении относится к черным, к белым или к третьей категории, такой как «креолы»; четвертая возможность состоит в том, что различие между черными и белыми может просто исчезнуть через несколько поколений, и на их месте появится иная этнонациональная категория (например, «американцы»). Для такого исхода значение имел бы не разброс различных цветов кожи в обществе, а то, какие [соматические] различия выделяются или не выделяются. Соматические различия, некогда считавшиеся важными маркерами групповой идентичности, со временем перестают быть таковыми. Например, различие между древними римлянами и вестготскими варварами, заполонившими полуостров в 400-х гг. н. э., в конечном счете перестало служить социальным маркером, хотя происхождение смеси соматических черт, обнаруживаемой в современной Италии, может быть прослежено и возведено к этим историческим событиям.

---

[1] Взаимосвязанные причины сдвигов этнических разделений в обоих направлениях данного континуума могут быть исследованы методами компьютерного моделирования, как это представлено в Приложении А.

В глобальном будущем этнические границы и разделения конечно же вновь будут варьировать. Количество этнических групп меняется в результате сдвига паттернов взаимодействий между популяциями, что может приводить к исчезновению издавна существующих этнических групп и к возникновению новых этнических категорий. Переходный период, во время которого происходит слияние этнических соматотипов, может быть связан с подъемом этнического самосознания. В Боснии некоторые из худших зверств времен межэтнической войны 1990-х гг. совершались в районах широкого распространения межэтнических браков. Такие конфликты возможны только там, где, во-первых, не все вступают в межэтнические браки и, следовательно, существует популяция «пуристов», которая может оказывать давление на вступающих в такие браки, а во-вторых, число поколений потомства от межэтнических браков не очень велико, поэтому межэтническая семья может социально распознаваться именно как таковая. Этот контраст становится очевидным при рассмотрении межэтнических браков в Соединенных Штатах среди групп, переселившихся сюда в XIX в. Например, многие семьи появились в результате браков между англичанами, немцами и скандинавами, и хотя их потомки на рубеже XXI в. могут представлять свои генеалогические древа, никакой реальной этнической идентификации с кем-либо из этих предков уже нет или почти нет [Waters 1990]. При таких условиях этническая чистка практически невозможна. Три поколения межэтнических браков, по-видимому, стирают прежние этнические разделительные линии при условии достаточно большой доли популяции, вступающей в межэтнические браки. Малое число потомков межэтнических браков всегда испытывает угрозу того, что их определят в качестве еще одной смешанной категории. Сокращение количества признаваемых этнических разделений — это движение по континууму в одном направлении. Движение в противоположном направлении — рост числа соматотипов в некотором регионе — потребовало бы новых миграционных источников или новых барьеров для межэтнического смешения.

Социальное конструирование этнолингвистических групп

Обратимся теперь к другому макроисторическому измерению формирования этнических общностей. Наиболее легко распозна-

ваемое и соответствующее здравому смыслу различие между этническими группами — лингвистическое. Немцы — это те, кто разговаривает по-немецки или эмигрировал из немецкоязычных областей, поляки — это те, кто разговаривает на польском языке или чьи семьи когда-то на нем разговаривали. Этничность как языковая группа является метасообществом, еще более очевидным, нежели «воображаемые сообщества» по Бенедикту Андерсону, включающие тех, кто читает одни и те же газеты или слушает, смотрит одни и те же передачи [Anderson 1983]. Столкновение человека с тем, кто не может разговаривать на его языке, — это настолько сильное впечатление в повседневной социальной жизни, которое только можно испытать.

Этничность есть процесс конструирования социальных расщеплений в том, что представляется изначально заданным, примордиальным: как языковая преемственность, так и наследование соматических признаков не контролируются индивидом и происходят из далекого общего прошлого, которое кажется древним и неподвластным памяти. На самом же деле, социально сконструированная память коротка и решительно тенденциозна. Наша задача как социологов и состоит в постановке макроисторических вопросов о том, какое развитие событий во времени создавало разнообразные типы групповых различий. Попытавшись разобраться с этим на примере соматотипов, мы можем теперь спросить, чем определяется количество существующих этнолингвистических групп? Что требуется для создания особого языка или того, что социально распознается как язык, поскольку границы в континууме языкового разнообразия отнюдь не четкие? Полезно сосредоточить внимание именно на этой стороне проблемы, поскольку у нас имеется больше данных по истории языков, чем по истории соматотипов, популяций или обычаев.

В исторической лингвистике распространенной моделью служит совокупность носителей языка (pool of language speakers), являющаяся аналогом биологической популяции (breeding pool). Социально различаемые языки претерпевают «лингвистический дрейф» — накопление случайных изменений в одном языке приводит к созданию другого языка, как исландский язык появился в результате дрейфа из других скандинавских языков. И наоборот, языковые группы, которые вступают в контакт на устойчивой границе, скрещиваются, создают гибридные, или «креольские», языки. Эту биологическую аналогию я хочу оспорить или по крайней мере дополнить. Ключевые детерминанты языковых изменений, оказывающие наиболее рази-

тельное влияние на этнолингвистические разделения, обычно имеют геополитический характер.

Несмотря на то что государства и этнолингвистические связи меняются с различными ритмами, между ними есть некое сходство: сильные государства содействуют развитию языковой однородности, а интенсивно мобилизованные этнические сообщества с единым языком стремятся к созданию автономного государства. Поскольку такая тенденция к взаимоподобию между государством и языком является лишь одним фактором среди других, такое прямое соответствие происходит только в определенных случаях, хотя и очень важных в аналитическом плане. Существование региональных диалектов в рамках языка не противоречит основному эффекту [взаимодействия языка и государства], но действительно добавляет сложностей. Этнолингвистические идентичности многослойны. Само понятие диалекта, отличающее его от отдельного языка, указывает на то, что некоторая языковая вариация считается нормальной в более крупной охватывающей идентичности. С макроисторической точки зрения жесткое разграничение диалекта и языка носит искусственный характер; оба они являются точками на языковом континууме; так, например, голландский язык можно считать диалектом языка Plattdeutsch (так называемого нижненемецкого — немецкого языка северного побережья, см. [Sperber and Fleischhauer 1963: 79]). Однако важный пункт моей аргументации включает данное аналитическое несоответствие между континуумами, которые обнаруживаются в исторической реальности, и четкими категориями, используемыми социальными акторами при проведении этнолингвистических границ. Этничность конструируется. Она представляет собой идеальный тип в реальной жизни, созданный не учеными, а народом в его обычном существовании; причем данный процесс конструирования этнических идентичностей происходит с различными степенями слияния или обособления. Геополитическая теория вариаций в рамках этого континуума позволит нам представить набросок теории языковых изменений.

Протоэтничность и этнонационализм

Представим себе некоторое аналитическое пространство. На одном его полюсе располагается идеальный тип полностью изолированного сообщества как в языковом, так и в репродуктивном

плане. Но такое сообщество представляет собой лишь протоэтничность, поскольку полностью изолированные сообщества не осознают того, что они отличаются от других. Этническая идентичность, которая сильнее всего осознается на уровне этнонационализма, появляется при вхождении на арену, где государства вступают друг с другом в геополитические отношения. Этничность — это исконно неприятная и мутная тема, поскольку таковыми являются и создающие ее исторические процессы. Наши аналитические проблемы возникают из того факта, что этничность всегда представляет собой искаженное, деформированное понятие — некую попытку наложить «чистую» категорию на социальную реальность, которая «чистой» отнюдь не является.

Этничность — это конструкция, составленная из сочетаний маркеров: соматотипов, языков, фамилий, напоминающих о давнишних и, вероятно, уже исчезнувших различиях между предками; маркерами являются и другие различия в культуре и образе жизни. Все они могут одновременно присутствовать в отдельных, сильно интегрированных местных общинах. Парадокс этничности состоит в следующем: чем в большей мере такие паттерны укоренены на местном уровне, тем менее вероятно, что они станут важными для социального действия. Ведь именно более крупные и [этнически] размытые метасообщества собирают чужих друг для друга людей в широкие категории — группы для политического действия, а также актов дискриминации и враждебности, сочувствия и поддержки. В этих более крупных этнических метасообществах обобщенное понятие этничности само становится социальной реальностью, поскольку образует макроразделения в обществе. Действенна именно различимость, какой бы она ни была, а не какой-то отдельный тип различия. Если же один маркер достаточно силен, то другие излишни. Для черных американцев главным социально распознаваемым маркером служит цвет кожи, тогда как язык и фамилии несущественны. У евреев маркер рода, генеалогии отчасти передается вместе с фамилиями, именами и религиозной в своей основе культурой. У американцев ирландского происхождения соматические и лингвистические маркеры слишком размыты или связаны с чересчур отдаленным прошлым, чтобы иметь действенную значимость; остаются имена, постепенно утрачивающие свои значения, а также организации, прямо направленные на сохранение этнического наследия. Однако такие специально созданные организации имеют искусственный характер

и свидетельствуют о том, что более прочная социальная основа этого этнического разделения в значительной степени утрачена.

Что должно быть в основе общей теории социального конструирования этничности? Степень, в которой конструируются ощутимые границы, является переменной на некотором континууме. На одном конце данного континуума находилась бы примордиальная протоэтничность, где группа полностью изолирована: она совершенно однородна и как популяция, и как языковая общность, и во всех остальных отношениях. На этом полюсе, где группы никогда не вступают в контакт друг с другом, нет никакого чувства различия, а значит и никакой этнической мобилизации. Эта картина является сугубо воображаемой, поскольку реальные сообщества, вероятно, всегда имели какое-то представление о соседях, от которых они отличались. Идеальный тип на другом полюсе — полная ассимиляция — был бы утопией, совпадающей с примордиальной протоэтничностью, божественной целью конца истории, соответствующей эдемскому Саду в начале времен. Полная ассимиляция — это нечто мифическое, поскольку предполагается, что нет никакого взаимодействия за пределами той области, в которой, наконец, совершилась ассимиляция. Такая область была бы равнозначна государству без внешних сношений. Этничность значима только через противопоставление: никогда не может быть только одной этнической группы, их всегда должно быть две или больше. В действительности, ассимиляция означает движение к меньшему числу этнических делений, но никогда не достигает конечной точки.

Степень мобилизации простирается от протоэтничности (минимального чувства своего отличия от других групп) через растущее групповое осознание существования других групп до действий по отношению к ним. Границы того, что мобилизуется, изменчивы; размер и пределы группы конструируются одновременно с ее мобилизацией на политическое действие. Растущее участие на политической арене определяет членство каждой группы в отношении к другим группам, которые определяются в то же самое время.

Самая высокая степень этнической мобилизации может быть названа этнонационализмом. Такова этничность, ориентированная на использование государства в качестве своего инструмента. Этничность не тождественна национализму, поскольку некоторые этнические группы мобилизуются против государства или против господства привилегированной, национально легитимной этниче-

ской группы. Антинациональная, направленная против государства этническая мобилизация также обусловлена государством, как в связи с присущей ему способностью к проникновению [в общество], так и вследствие его внешнего геополитического положения по отношению к другим государствам. Этничность вырастает вместе с государством. Полномасштабная этническая мобилизация несет с собой стремление к государственной автономии. В практическом отношении, ее успех зависит от геополитической силы государства. Если задача достижения автономии политически не реалистична, то этнические группы могут согласиться на местную или региональную автономию *de facto*, освобождающую от вмешательства государства в сферы языка, образования и других средств закрепления соответствующего этнического своеобразия. Даже менее мобилизованные этнические группы — архетипические оседлые хозяйства в далеких горных долинах — находятся вблизи с протоэтническим полюсом континуума и почти не влияют на процесс этнического изменения общества в целом до тех пор, пока они не выходят на арену борьбы за место в очереди за национальное признание[1].

Теория национализма — это подраздел данной теории этничности[2]. Национализм и этничность испытывают влияние одних и тех же процессов. Национализм находится около одного полюса континуума; этничность в ее общепринятом понимании находится посередине. Подобным же образом, споры о гражданстве связаны с теоретическими проблемами этого этнонационального континуума, касаются ли они создания полностью однородного этоса гражданского участия (следовательно, сильного этнонационалистического гражданства), либо мультикультурного или толерантного гражданства, отталкивающегося от этнонационалистического полюса и пытающегося институционализировать коалицию этнических идентичностей с общей легитимностью. Теория национализма дает ключ к теории этничности.

---

[1] В Соединенных Штатах признание некой этничности легитимной проявляется в виде официального упоминания об этнической группе во время публичных мероприятий, приглашения на парады отдельных ее представителей, выделения мест в списках кандидатов от партий на выборах или на съездах партий и т. п.

[2] Этот термин восходит к слову *этнос*, которым древние греки обычно называли политическую единицу, менее структурированную в формальном плане, чем город-государство, или полис. Ранее этносом называли войско или подвижный боевой отряд (war band), иногда племя или нацию [Snodgrass 1980; Smith 1986: 21].

3. Престиж могущества и этническая легитимность

Обсуждая феномен национализма, Макс Вебер отмечал, что границы государства не совпадают изначально или необходимо с языковыми, религиозными или этническими разделениями [Weber 1968: 901–940]. Национальная идентичность, утверждал он, есть то, что конструируется через политическое переживание [жизни] народа со своим государством (political experience of people with their state). Национализм не является предопределенным (primordial), он возрастает или идет на спад. Самым важным из всех коллективных переживаний, с точки зрения Вебера, является всеобщая военная мобилизация. Французский национализм был выкован прежде всего в *levee en masse*[*] наполеоновских войн; германский национализм, преодолевший региональную разобщенность *Kleinstaaterei*[**], был выплавлен в войне за освобождение от наполеоновского завоевания (которое неслучайно разрушило множество второстепенных государств и сделало Пруссию — лидера освободительной войны — центром национальной идентичности).

Веберовская идея согласуется с неодюркгеймианским механизмом формирования эмоциональной идентичности вокруг символов, выкованных в разгаре коллективного участия. Как говорит Вебер, участие в войне не только превращает солдат в «сообщество судьбы», но в той мере, в какой военные действия ведут к завоеваниям, переселению или истреблению, они вовлекают [в это сообщество] также их семьи и прочих гражданских лиц. Чем шире народное участие в военных делах, тем сильнее и основательнее распространяются национальные чувства[1]. Поэтому наиболее мощные формы национальных чувств возникают как в массовых армиях кочевых или мигрирующих племенных союзов, так и в современных государствах, чьи структуры глубоко пронизывают население. Слабее всего национальное чувство в государствах, где узкая прослойка

---

[*] *leve'e en masse* (*франц.*) — массовый подъем.

[**] *Kleinstaaterei* (*нем.*) — малые государства, княжества.

[1] Возникновение национализма зачастую связывается с введением всеобщей воинской повинности, а также бесплатного и обязательного массового образования. Эти явления взаимосвязаны; ранние [национальные] государства, чтобы добиться первого, должны были развивать второе.

аристократов монополизирует оружие и возвышается над массой безоружных простолюдинов. Любые формы военных действий с высокой степенью мобилизации, считает Вебер, достаточно быстро приводят к появлению национальных чувств. В эпоху *Volkerwanderung** ранней германской истории или при наборе в отряды викингов и (возможно, путем экстраполяции) при других переселениях племен создаваемые для этих целей союзы (*ad hoc* coalitions) могут привлекать воинов из многих солидарных общностей, которые теперь принимают новую идентичность, особенно при переселении на значительные расстояния и при успешных завоеваниях. Я бы сказал, что та же переменчивость национальных чувств характеризует сдвиги национальной приверженности и в современных государствах.

Рассуждение Вебера относится к национализму, но его можно распространить и в целом на сферу этничности. Иначе говоря, национализм — это форма, которую принимает этничность, когда этнические границы постепенно расширяются вплоть до совпадения с границами государства. Классические утверждения относительно «ассимиляции» относятся к периоду распространения национализма, причем имплицитно предполагается, что конечная цель соответствующего расширения этнических границ как раз совпадает с государственными границами. Веберовское рассуждение приводит нас в сферу геополитики. В конечном счете суть государства состоит в способности применять военную силу для контроля над территорией. Ни границы государств, ни их могущество относительно друг на друга не являются статичными; геополитика предоставляет принципы, определяющие рост и снижение государственного могущества, направленного вовне.

Я бы добавил следующий вывод: престиж могущества государства на внешней арене влияет на легитимность его правителей во внутренней политике. Существуют, конечно, и другие внутренние источники легитимности, но в динамике долгосрочных изменений наиболее важным фактором, влияющим на легитимность, является внешний престиж могущества (подробнее см. [Collins 1986: 145–166]). Сильнейшим свидетельством в пользу этой связи служит революция: она почти всегда связана с делегитимацией правителей и с расколом в элите, а эти явления, в свою очередь, достигают необходимых [для революции] предельных значений, как правило, в результате геополитического поражения или накопления следствий геопо-

---

* *Volkerwanderung* (*нем.*) — переселение народов.

литического напряжения. И наоборот, престиж правителей государства возрастает вместе с военными успехами даже при отсутствии войны, дипломатическое превосходство сильного государства над другими государствами укрепляет легитимность его правителей. Короче говоря, внешняя геополитика меняет внутреннюю легитимность.

Та же аргументация может быть расширена и применена не только к легитимности правителей, но и к легитимности господствующих этнических групп. Говоря упрощенно, когда государство сильно геополитически, престиж господствующей в нем этнической группы также высок. И наоборот, в геополитически слабом государстве снижается престиж доминирующей в нем этнической общности. В сочетании с процессом организации государства и его проникновением в собственное население, эти принципы позволяют нам предсказывать основные изменения в этнической структуре, а также долгосрочную динамику.

1. *Формирование государства и проникновение его внутрь* [*общества*] *создают высоко мобилизованные формы этничности.* При таких условиях протоэтничность обособленных местных сообществ смещается к полюсу континуума с высоким осознанием солидарных действий и способностью к ним. Формирование любого государства — это первый шаг к этнической мобилизации, поскольку есть призыв к совместному участию в качестве боевой единицы. Степень продвижения этнической мобилизации по этому континууму меняется в зависимости от степени проникновения государства [внутрь общества].

А. На одном конце континуума степень проникновения государства минимальна: таково «многослойное государство» как результат имперских завоеваний, изымающее дань из местных протоэтнических или религиозных сообществ. Даже здесь этническое единство и сознание могут подняться на некую ступень благодаря вмененной сверху коллективной ответственности за взимание налогов и за поддержание внутреннего порядка. Хотя греки, курды и армяне, жившие под властью Османской империи, могут казаться исконными (примордиальными) идентичностями, скорее всего, именно имперские административные практики в системе *миллетов**, *связанные с* коллективной от-

* *Миллет* — религиозная община в Османской империи.

ветственностью и религиозным самоуправлением, превратили их в более крупные единицы, нежели существовавшие ранее, либо же удержали их от распада или сдвига к иным линиям [этнического] деления [Mardin 1997].

Б. Более высокую ступень в данном континууме занимает структура феодальной аристократии в аграрно-принудительных обществах. Изменчивость феодальных союзов, войны и далеко простирающиеся узы династической брачной политики препятствуют сильной этнонациональной идентификации с государством. Эти антинационалистические влияния, которым в некоторой степени противоречили вертикальные требования сеньоров к своим вассалам, а также требования аристократии в целом к своим слугам, подопечным и крестьянам, приводят к некоторой степени идентификации с региональными этническими сообществами. Хотя крестьяне и слуги почти не имели прямого политического участия в системе управления средневекового французского феодализма, консолидация вокруг короля сети испытывавших к нему феодальную приверженность, начавшаяся с Иль-де-Франс*, стало полюсом притяжения в пространстве этнической идентификации.

В. Высоко мобилизованный, долгое время существующий военный союз может приводить к появлению этнической солидарности среди участников, даже когда государственная структура минимальна. Античные греческие города-государства мобилизовали местные идентичности, превращая их в боевые единицы, выходившие за пределы клановой семейственности. Более крупные военные коалиции греков, такие, что создавались против персов, еще далее расширяли масштаб этнической идентификации[1]. Военные союзы германских племен в период геополитического вакуума при распадавшейся Римской империи, ситуативные объединения мужчин (*ad hoc* assemblies of men), желавших переселиться на далекие расстояния, разрывавших семейные связи и бравших на своем пути в жены чужестранок, скорее всего, соз-

---

* *Иль-де-Франс* — регион в вокруг Парижа между реками Сена, Марна и Уаза; ядро французского государства.

[1] Поэмы Гомера, которые стали основным элементом образования около 600 г. до н. э., описывали раннюю и несколько более ограниченную общегреческую военную коалицию — ахейцев, это можно рассматривать как пропаганду транслокальной идентичности, служившей архетипом панэтнического военного союза.

давали новые этнические идентичности. Об этом свидетельствуют, в частности, новые черты германских языков, возникшие во время этих военных миграций [Borkenau 1981]. Такие примеры нас убеждают в том, что нет никакого прямого эволюционного развития от протоэтничности к современному этнонационализму. Периоды сильной этнической идентификации вокруг политии могут иметь место при отсутствии какого-либо подобия бюрократического проникновения в общество, но в тех случаях, когда обширные военные действия на долгое время вовлекают народ в войну. С наступлением мира или при демобилизации значительной части населения, которое становится подчиненным военной аристократии крестьянством, широкая этнонациональная идентификация может распадаться или возвращаться к более низким уровням мобилизации.

Г. Наконец, имеется современный процесс государственного проникновения [в общество]. Бюрократическая экспансия государства, особенно начиная с XIX в. и далее, способствовала развитию всеобщего образования, регулирования экономики и социального обеспечения, а также материальной инфраструктуры транспорта и связи. Индивиды становились гражданами государства, их имена стали вноситься в официальные записи, связанные с призывом на воинскую службу, налогообложением, обязательным образованием, здравоохранением и пенсионным обеспечением, выдачей паспортов и разрешений на работу. В среде вовлеченных в государство создавались национальные культуры, которые добиралась даже до спальни. Уоткинс показывает, что после 1870 г. такие образцы поведения, как количество детей в браке, отношение к внебрачным детям и стремление заключить брак, становились все более схожими между разными районами в каждом из европейских государств [Watkins 1991]. Если раньше наибольшее разнообразие сексуального поведения имело место внутри государств, то теперь оно стало различаться по разным сторонам государственных границ. Проникновение государства вело к установлению связей с центром, которые пересекали отношения внутри местных домохозяйств, соседских общин и производств. Непредвиденным следствием стала способность народа к мобилизации в социальных движениях и политических действиях, причем в беспрецедентном масштабе. Результатом проникновения государства

стало высвобождение целого ряда движений и формирование идентичностей, которые прежде были латентны или не существовали вовсе: классовый конфликт, этническое самосознание, национализм и в конечном счете феминизм и масса движений, озабоченных довольно узкими вопросами [Mann 1993; Tilly 1995].

Решительным шагом к резкому очерчиванию внешних этнолингвистических границ при одновременной внутренней гомогенизации стало создание стандартного национального языка. На рубеже XIX в. около 40 % французских подданных говорили на региональных языках или диалектах, отличных от французского языка, характерного для региона вокруг Парижа. Это многообразие резко сократилось к 1920 г. в результате целенаправленной государственной политики, распространения школьного образования и интеграции посредством национального транспорта, коммуникаций и торговых сетей [E. Weber 1976; Watkins 1991: 162–163]. Таков типичный процесс государственно-центрированного конструирования идеального типа этнонациональной идентичности — движения по континууму от большего к меньшему числу этнолингвистических групп. Данный процесс также связан с одновременным переопределением привычных границ, укреплением границ между группой, определяемой как «французы», и всеми «не-французами» — формой этнонациональной мобилизации. Степень этнолингвистической однородности и сила этнонациональной идентичности появляются из способности государства проникать в толщу своего населения и выводить его на единую национальную арену.

Даже в своей крайней форме проникновение государства отнюдь не достигает автоматически успеха в создании единой этнонациональной идентичности в границах каждого современного государства. Вместо этого может получиться пространство, в котором этнические группы мобилизуются на борьбу друг с другом либо за определение того, чья культурная идентичность станет легитимным ядром данной нации, либо за институционализированные субсидии — куски национального пирога, либо за местную автономию, либо вообще готовят восстание и отделение от существующего государства. Но и государство не обязательно остается неизменным: его территория меняется. Даже государства с высокими степенями внутреннего проникновения, в результате геополитических процессов могут вклю-

чаться в более крупные амальгамные образования или же делиться. Наряду с процессом проникновения государства нам также следует рассмотреть три геополитических паттерна.

2. *Геополитический подъем государства на внешней арене повышает престиж могущества доминирующей этнической группы внутри этого государства.* Чем выше геополитический престиж могущества, тем успешнее государство пронизывает свое собственное население, когда вводятся институты национального политического участия и культурной коммуникации. Восходящее в геополитическом плане государство лучше способно ассимилировать региональные и иные протоэтнические общности, включая их в общий национальный язык, устанавливая единый стандарт образования и иные аспекты единообразной культуры общества (uniform public culture)[1]. Наши главные примеры создания национальной культуры, такие как Британия XIX в., — это случаи, для которых характерны не только наличие национального экономического рынка, складывание институтов транспорта и коммуникации, но также высокий геополитический престиж могущества этого государства. При отсутствии такого престижа национальные институты становятся ареной скорее этнического противоборства, чем этнического объединения[2].

---

[1] Подъем национальной культуры не предполагает культурного единообразия в каждом аспекте. Разные социальные классы имеют свои культуры. Формирование национальной культуры означает лишь то, что культура высших классов общества успешно институционализируется в публичной сфере как высокостатусная, легитимная культура, соответствующая респектабельным занятиям. Национальным языком становится тот, на котором говорят в политике и бизнесе; на этом языке начинают преподавать в школах, соответственно, закрепляются нормы «правильного» произношения и способа выражения мыслей. Могут оставаться вариации в Британии, например, таков язык кокни, распространенный среди рабочего класса, и другие региональные диалекты), но только в делегитимированной форме — в качестве объектов публичных насмешек и знаков неполноценного членства в обществе высокостатусной культуры. Написанная в 1912 г. Джорджем Бернардом Шоу комедия, в которой противопоставлены профессор Генри Хиггинс и Элиза Дулиттл, на поверхности является сатирическим осмеянием классового разделения, но на более глубоком и скрытом уровне отражает успех этнолингвистического национализма.

[2] Это подтверждается даже на уровне единообразия в сексуальном поведении, которое Уоткинс исследует как форму национальной культуры. Главные исключения из ее модели обнаруживаются в странах, где в период между 1870 и 1960 гг. разнообразие демографических паттернов скорее росло, чем уменьшалось; таковы были Бельгия и Ирландия, где как раз имели место этнические раздоры относительно формы государственного суверенитета [Watkins 1991: 5].

Более слабую версию того же процесса можно наблюдать в античных и средневековых государствах. Они не были способны пронизывать общество подобно современным бюрократическим государствам; тем не менее там со временем складывалась определенная степень языковой однородности. Современный процесс примерно такой же, но бюрократическое государство действует быстрее. То, что римляне сделали с этрусками, вероятно, за шесть поколений[1], послереволюционное французское государство сделало с бретонцами за три. Лучше говорить об этом как о языковом господстве — о процессе, в ходе которого язык центрального региона и его правящего класса становится законно доминирующим [государственным] языком, определяющим маркером полноценного членства в данном сообществе [de Swaan 1988]. Италия до 270 г. до н. э. была регионом с множеством различных языков (хотя мы знаем из них только латинский и этрусский). Подъем римского государства привел к исчезновению этрусков, хотя физически потомки этрусков выжили и влились в общую популяцию [Stolz and Debrunner 1966]. В греческих поселениях эгейцы, дорийцы, ахейцы, элейцы и другие воспринимались как отдельные этнолингвистические группы. Распространение греческих колоний от Черного моря до Великой Греции* в 700–500 гг. до н. э. должно было привести к значительному смешению и размыванию границ с другими этническими общностями. Процесс пошел в обратном направлении, когда политическая коалиция против персов разделила всех на «греков» и «не-греков» («варваров», чей непонятный язык воспринимался как «бар-бар» — бормотание). Затем подъем Афин как военного гегемона и культурной столицы привел к формированию стандартного, или образцового, греческого языка именно на основе аттического диалекта афинского региона. Греческая этнолингвистическая идентичность стала еще более политизированной и широко распространилась при македонских завоеваниях Ближнего Востока благодаря политике эллинистических государств, которую вели колонисты в городах греческого стиля во всем этом завоеванном регионе. Культурно-лингвистическая идентичность была установлена политически независимо от того, были ли жители этих городов греками по происхождению или

[1] Здесь имеется в виду период с момента завоевания этрусков около 270 г. до н. э. и до гражданской войны 91–88 гг. до н. э. между этническими группами итальянского полуострова, в результате которой они обрели полное римское гражданство.

* *Magna Graecea* — древнегреческие города в Южной Италии.

нет. В действительности сами македонцы считались ненастоящими греками, или полуварварами, до периода их военного подъема.

Такой была основная динамика, благодаря которой в различных частях света установились крупные языковые регионы. В Китае письменность была стандартизована первой крупной династией Хань, которая завершила период завоевательных войн между многими воюющими государствами [Fung 1952]. Тогда же, вероятно, был стандартизован язык высокого стиля и статуса. Показательно, что в китайском языке для обозначения собственной этнической группы используется слово «хань» — название первой династии, установившей господство в основных населенных областях между пустыней Гоби и Южно-Китайским морем[1].

Поскольку границы [расселения] этнических общностей могут выходить за пределы государственных границ, геополитический престиж могущества также оказывает влияние на тенденции самоидентификации в крупных политических группах. В результате имеет место стремление и давление в направлении к объединению членов одной высокостатусной этнической общности в единое политическое сообщество. Таков источник панэтнических движений за объединение в максимально возможных этнических границах. Панславизм основывался на подъеме престижа могущества Российской империи в течение XIX столетия. К тому времени Российское государство накопило людские и территориальные ресурсы, которые сделали его армии несравненно более сильными, чем у ближайших соседей. При сопутствовавшей этому утрате геополитического могущества Австрийской и Турецкой империями на юго-западном направлении, дальнейшее расширение России казалось в геополитическом плане неизбежным[2]. Панславизм обеспечивал идеологию для этой сферы влияния и узаконивал дальнейшее продвижение русских, позволяя другим славянским народам присое-

[1] Это противоречит историческому мифу, отодвигающему возникновение Китая в прошлое на несколько династий, первая из которых будто бы была основана в 2698 г. до н. э. Последняя, если бы ее существование подтверждалось какими-то историческими свидетельствами, несомненно, была маленьким королевством, разве что немного более крупным, чем племя. Даже Шан — первое подтвержденное свидетельствами китайское государство ок. 1500 г. до н. э. — занимало лишь северную часть долины Желтой реки (Хуанхэ) [Eberhard 1977]. Этнонационализм по своей внутренней природе является процессом мифотворчества.

[2] Об ощущении нависшей угрозы гибели в Австрийской империи см. [Wank 1997: 47].

диняться к престижу российской мощи, переосмысливая ее как свою собственную. Панславизм также играл заметную роль во внутрироссийских спорах с западниками, чей главной заботой была внутренняя модернизация России согласно европейским нормативным моделям. Западники были идеологическим движением, сопутствующим усилиям государства модерна по проникновению в российское общество; панслависты выступали против принижения национального престижа, к которому приводит зависимость от внешних моделей. Нам надо уйти от того, чтобы рассматривать панславизм глазами западников, которые считали его реакционной романтизацией славянского народа и отвержением модернизации. Панславизм был движением, отвечавшим тогдашним обстоятельствам — достижению Россией статуса великой державы на мировой арене. Панславизм был идеологией, которая не только утверждала культурную независимость и превосходство России, но также легитимировала дальнейшее геополитическое расширение Российского государства и предоставляла слабым государствам славянской зоны рациональные доводы в пользу присоединения к нему.

Пангерманизм также имел геополитический характер. Это движение за подъем этнического самосознания среди всех немцев было явно ориентировано на немцев, проживавших за пределами империи, созданной благодаря лидерству Пруссии в войнах 1864–1871 гг. Пангерманское движение достигло высшей точки в 1890-х годах, когда Германия втянулась в международную гонку вооружений и запоздало начала приобретать заморские колонии. Иначе говоря, данная идеология появилась как раз в период, когда Германия стала полноценным участником соперничества, определявшего среди великих держав их уровень престижа. Пангерманизм не является исконным чувством; его не существовало в течение долгого периода региональной раздробленности частей средневекового Рейха. Пангерманизм выстраивался постепенно вместе с консолидацией сильного немецкого государства — Пруссии — в XVIII в. Культурное определение особого *Volk** в сочинениях Гердера 1770–1780-х гг. появилось в прусской зоне северной Германии и совпадало с расширением круга потребляющей культуру публики. Германский этнонационализм вырос из сочетания двух ключевых процессов: начала первого серьезного институционального проникновения государства

* *Volk* (*нем.*) — народ.

в общество и поднимавшегося геополитического престижа одного из германских государств после длительной эпохи раздробленности и слабости, что удерживало немецкий культурный престиж на низком уровне. Пруссия была центром германского национализма не потому, что германская культура изначально была милитаристской и «прусской», а потому, что она была геополитическим ядром, вокруг которого и строилось единое государство.

Поучительно проследить контраст с Австрией. Австрия была геополитической звездой среди немецкоязычных государств с XVI по XVIII в., но от Пруссии она отличалась двумя обстоятельствами: Австрия явным образом была и считалась мультикультурной империей; а к XIX в. ее геополитическое положение ослабевало. Первоначально Австрия возвысилась, будучи ветвью Империи Габсбургской династии и пользуясь престижем испанского могущества; позднее Австрия открыто включила этническую идентичность союзной венгерской аристократии в свою официальную структуру[1]. Хотя и Пруссия/Германия, и Австрия в результате своих прошлых завоеваний включали население, не говорившее на немецком, — польских славян и еврейских *shtetl*[*] в Пруссии/Германии, тех же и многих других славянских и балканских этнических групп в Австрии, — геополитическая экспансия Пруссии была направлена главным образом на области с немецкоязычным населением. Прусская экспансия также велась одновременно с мобилизацией элитарных институтов культурного производства: распространением общегосударственного начального и среднего образования, начавшимся в 1700-х гг. в Северной Германии, а главное — с соперничеством в проведении академических реформ между немецкоязычными университетами после 1810 г., что привело к созданию единого рынка академических карьер[2]. Институты культурного проникновения

---

[1] Австро-Венгерская империя в конце XIX в. была императорско-королевской (K&K — *Kaiserlich-Königlich*), что указывало на «двойную корону» монарха: императора Австрии и короля Венгрии. Эта идентичность была высмеяна Робертом Музилем в романе «Человек без свойств», где страна названа Каканией (игра с двумя буквами «К» и тем, как дети называют испражнения).

[*] *Shtetl* (שטעטל, на идиш — городок, еврейское местечко) — небольшое поселение полугородского типа с преобладающим еврейским населением в Восточной Европе.

[2] *Lernfreiheit* — учебная свобода — институционализированная ок. 1810 г., которая позволила студентам свободно переходить из одного немецкого университета в другой, предвосхитила последовавшие через два десятилетия установление таможенного союза и соответствующую экономическую интеграцию.

государства и престиж геополитической экспансии способствовали созданию сильного этнонационализма в Германии при прусском лидерстве. Австрия, напротив, расширялась в основном в те зоны, где проживало население, не говорившие на немецком языке, и столкнулась с трудностью внутреннего проникновения государства как раз в период испытания целого ряда геополитических потрясений. Таковы были поражения от французско-пьемонтского альянса в 1859 г. и от Пруссии в 1866 г., что привело к утрате Австрией Ломбардии и Венеции в пользу Италии, в которой тогда шла национальная консолидация. Эти поражения привели также к угрозе российской экспансии на восточные части Австрии — угрозе, способствовавшей этническим мятежам на Балканах. Такое геополитическое ослабление не было в достаточной мере компенсировано получением Боснии от ослабевшей Османской империи после ее поражения от России в войне 1877–1878 гг. и последующего раздела ее балканских территорий [McEvedy 1982: 34]. Эти два источника государственной слабости накладывались друг на друга. Слабый австрийский аппарат проникновения государства извлекал все меньше ресурсов для ведения военных действий, что подрывало его геополитическое положение и еще больше способствовало усилению местного противодействия проникновению со стороны государственного центра.

Пангерманизм 1890-х гг. был идеологией, основанной на импульсе экспансии германского государства. Немецкоязычное население, жившее в негерманских государствах Центральной Европы, было воодушевлено надеждой объединения с престижным государством, входившим в круг мировых держав высшего ранга. Их надежды возрастали по мере обрушения могущества и суверенности альтернативного государства, что выражалось вначале в уступках Австро-Венгрии местным автономиям, которые подчинили многие районы с немецкоязычным населением контролю негерманских этнических институций, а затем, в начале XX в. — в распаде Австро-Венгерской империи на несколько слабых государств. Яростный этнонационализм нацистской внешней политики довел пангерманизм до крайних пределов. Считать это исконной немецкой культурной установкой — значило бы принять данное содержание идеологии за основу для ее изучения[1]. Идеология пангерманизма являет собой пример некоего

[1] Брубейкер отмечает, что в Германии существовала особая культурная модель гражданства, основанная на семейном происхождении («крови»), которая отлича-

универсального процесса: геополитический подъем создает идеологию этнического престижа; ряд успехов порождает ожидание дальнейших успехов, что вдохновляет милитаристскую политику и способствует более широкому определению этнического сообщества, к охвату которого стремится ведущее экспансию государство.

3. *Геополитическая слабость государства снижает престиж господствующей этнической общности, отождествляемой с ним.* При самых суровых геополитических напряжениях государство распадается, что ведет к разрушению этнонациональной идентичности. Распад Римской империи привел к созданию отдельных этнолингвистических блоков Южной и Западной Европы, и таким же образом распад Каролингской империи привел к последующим разделениям между французской, немецкой и итальянской идентичностями. В 1990-х гг. возрождение воинственных этнонациональных идентичностей, появившихся из составных частей СССР и Югославии, соответствует данному общему принципу. Этнические распри на местном уровне не следует объяснять просто как продолжение давней этнической ненависти. Этническое сознание неустойчиво как раз потому, что геополитика подвержена резким переменам. Оно может изменяться в сторону как усиления, так и ослабления мобилизации конкретного этнического сообщества. Геополитически сильное государство блокирует внутри себя дробление этнических идентичностей, тогда как за возвышение и популярность сепаратистов как приверженцев такого дробления ответственны именно геополитические неудачи.

Если объединение государств приводит к языковому единообразию, то распад государств производит языковое размежевание.

лась от территориальной французской модели, по которой гражданство автоматически предоставлялось всем рожденным на французской земле [Brubaker 1992]. Хотя этот немецкий закон о наследовании гражданства слабо работал до 1913 г., его значение выросло в период наивысшего подъема германского военного могущества и в контексте пропаганды пангерманизма. Основанное на наследовании определение этнического сообщества соответствует восходящей геополитической траектории объединения немецкоязычного населения в сильное государство, окруженное слабыми государствами, имевшими в своем составе множество немецкоязычных областей. Новое разделение Германии после ее поражения в 1945 г., переселение беженцев тогда и вновь после падения Советского блока в 1989–1991 гг. сохраняли принцип наследования как критерий этнонационального гражданства в качестве основного и для последующих геополитических ситуаций.

Появление романских языков относится ко времени распада Римской империи. Помимо итальянского языка, распространенного на территории самой Италии[1], испанский, французский, румынский и многие другие являются языками областей, колонизованных теми, кто говорил на латыни (причем одни из них были итальянцами по своим этносоматическим признакам, другие — нет). Завоевания германских племенных союзов привели к резким изменениям того, что стало узнаваемыми версиями нынешних национальных языков. Изменения произошли не только в фонетике, но, что наиболее поразительно, — в синтаксисе. Грамматика романских языков освободилась от множества внутренних флексий и сложного словообразования, придававших латинскому языку его особую остроту и свободу порядка слов в предложении. На смену этим особенностям пришло сокращение окончаний, а также более аналитические формы, составленные из нескольких слов [Kroeber 1963: 50–51; Sapir 2001: 158–160]. Однако словарь романских языков сохранил множество латинских корней. Вызовом для исторической макросоциологии языка является задача объяснения того, почему резким изменениям подвергся именно синтаксис — этот глубинный структурный каркас языка, тогда как в фонетике и лексике происходили лишь небольшие постепенные сдвиги [Aitchison 1991]. Складывается впечатление, что дрейф языка происходит более медленно и непрерывно, тогда как резкое изменение языка вследствие внезапного геополитического кризиса приводит к радикальным языковым разрывам[2].

Ключ к решению обнаруживается в схожем процессе языкового разделения, который происходит от устойчивых линий конфликта или от длительного сопротивления геополитическому объединению. Принято считать, что наибольшее языковое разнообразие наблюдается во внутренних областях Новой Гвинеи, среди племен индейцев

---

[1] Не следует полагать, что «Италия» занимала тогда земли, очерченные ее нынешними границами. Так, долина реки По в 270 г. до н. э. считалась Цизальпинской Галлией и в течение последующих столетий — колониальной территорией [Франции].

[2] Боркенау приводит свидетельства того, что сам процесс формирования межплеменных союзов для далеких переселений и завоеваний приводил к серьезным изменениям в синтаксисе [Borkenau 1981]. Среди них было то, что Боркенау называет «Я-форма речи» — североевропейский лингвистический паттерн, отделяющий местоимения, особенно первого лица, и делающий ударение на них, вместо того чтобы обозначать субъектность только флексиями — через склонения (см. Приложение Б).

Северной Америки, в бассейне Амазонки, в сахельском поясе между Сахарой и расположенными на юге землями, где говорят на языке банту [Kroeber 1963: 22–24; Whitney 1979: 242–245, 256–258]. Эти языки обнаруживают огромное разнообразие в структуре, хотя некоторые исследователи настаивают на общем происхождении многих здешних групп, приводя в качестве довода очевидное единство фонетических корней [Greenberg 1987]. На относительно малой территории горного Кавказа также имеется громадное разнообразие языков. Какие же условия заставили языки настолько сильно удаляться друг от друга, особенно в структурных особенностях грамматики?

Объяснение, по крайней мере частичное, имеет геополитический характер. Наибольшее языковое разнообразие наблюдается в областях с интенсивными военными столкновениями или межплеменной враждебностью, что тем не менее не ведет к возникновению крупных и устойчивых завоевательных государств (которые сократили бы языковое разнообразие). В безгосударственных обществах, основным фактором, образующим племя как четко обозначенную идентичность (в отличие от более специфичных родственных, религиозных или политических групп внутри данного племени) служит язык [Elkin 1979: 56–58]. Здесь языковое различие одновременно утверждает групповую идентичность и устанавливает ее границы. Горная местность Новой Гвинеи — территория, которой, по словам Кребера, свойственно «поразительное речевое разнообразие» [Kroeber 1963: 23], — была также одной из основных областей распространения каннибализма и охоты за головами, а отчуждение посторонних (эксклюзия) там было настолько сильным, что врагов, по сути дела, считали какой-то нечеловеческой породой. То же верно и для бассейна Амазонки. В Северной Америке племенного периода «достойная» форма ритуального насилия устанавливала взаимосвязанные цепочки враждебных отношений без захвата территорий или истребления соперничавших групп. Кавказ также соответствует этому геополитическому паттерну, поскольку исторически география труднодоступных гор и положение между соперничавшими низинными империями сохраняли Кавказ как раздробленную буферную зону.

Языки врагов, согласно этой гипотезе, структурируются друг другом — не через прямое подражание и заимствования, а через противопоставление. Каждый такой язык строится, развивая структурные формы, отличные от форм языка врагов. Данная гипотеза подтверждается тем, что известно о последствиях внешнего контакта

между отдаленными языками [Kroeber 1963: 42]. Такие области контакта способствовали особенно быстрым языковым изменениям, но изменения происходили не через подражание или заимствования из чужого языка. Среди нескольких генетически родственных языков сильнее всего меняются именно те, что находятся на территориальной границе и вступают в контакт с наиболее отдаленными языковыми группами. Кребер предположил, что осознание наличия иных форм грамматики служит катализатором для изменений в собственном языке. Результатом же является не пересечение языком границ контакта, хотя контактирующая группа действительно все более отдаляется от других лингвистически родственных ей групп, находящихся вдали от фронтира — границы контакта. Такие изменения бурно происходят в новых направлениях. Этим объясняется, почему у обитателей Сахеля — пограничной зоны между хамитскими и семитскими языками на севере и языками банту на юге — появилось такое большое разнообразие собственных языков, отличных как от языков внешних групп, так и друг от друга.

Носители языка ведут себя так, чтобы как можно резче отличаться от тех, кого они воспринимают в качестве своих врагов. Такое явление обнаруживается не только в племенных обществах в архаические периоды. Лабов и Харрис предоставили свидетельства того, что в наиболее отчужденных частях черных гетто крупных американских городов негритянский английский язык значительно отдалился от стандартного английского [Labov and Harris 1986]. То, что это расхождение проявляется в синтаксисе, а не только в произношении и словаре, говорит о глубине социального конфликта и соответствующего отчуждения. Сегрегация по местожительству в сочетании с бедностью, усугубленные петлями взаимоусиливающих обратных связей, создают еще глубже укорененную культурную обособленность по расовому признаку (то, что я назвал бы крайним пределом континуума этнической обособленности) [Massey and Denton 1993]. Лабов считает, что такие случаи представляют некий общий механизм языковых изменений [Labov 1972; см. также Aitchison 1991][1]. Возможно, именно этот механизм, действовавший

[1] Подобным образом после отделения американских колоний от Британии на рубеже XIX в. имел место весьма резкий отказ американцев от формальных традиций британской речи в пользу особого — более неформального — американского стиля [Cmiel 1990].

в отношениях между готскими завоевателями и некогда господствовавшими римлянами, привел к столь резкому изменению в синтаксисе между латынью и романскими языками.

Давайте рассмотрим несколько возможных исключений из этого общего принципа. Почему итальянская этническая идентичность не исчезла за время длительного периода разобщенности? Гипотетически, основные города-государства должны были создать отдельные этнические идентичности со своими «итальянскими» культурами, все более отличающимися друг от друга и, возможно, построенными на основе этрусской (тосканской), ломбардской, венецианской и других культурных идентичностей. Я полагаю, что этому препятствовали два процесса: один — культурный, другой — геополитический. В эпоху Возрождения и последующие столетия единая итальянская идентичность поддерживалась общеевропейским престижем институтов культурного производства, распространенных на всем полуострове. Итальянские города-государства обеспечивали основу для новаторских движений в живописи и других искусствах. Из-за относительно небольшого размера местных городов рынок покровительства художникам должен был выходить за рамки этих городов и стать единой сетью. Наиболее заметные и престижные институты культурного производства считались «итальянскими», потому что самыми знаменитыми итальянцами были художники, переходившие от одного заказчика к другому во Флоренции, Милане, Риме и других городах[1].

Кроме того, некие ниши для этнической идентичности обеспечивала итальянская геополитика. Возможность итальянской этнической идентичности сохранялась благодаря особому положению Италии как буферной зоны между крупными империями. Неустойчивый паттерн временных завоеваний и смены сфер влияния в Италии со стороны Франции и Испании, а также в какой-то мере Австрии, сохраняло итальянскую идентичность; будто бы на внешних стенах страны была вывешена геополитическая скрижаль о том, что вторгнувшиеся государства нейтрализуют друг друга и будут изгнаны. Вдобавок к этому, папство действовало не только как высокостатусный покровитель сети художников, но и как геополи-

[1] Так, примерно с 1450 г. тосканский стал стандартным итальянским литературным языком, поскольку тосканские города, такие как Флоренция, были центрами культурного экспорта престижного искусства [Burke 1986: 237–238].

тический магнит — центр притяжения для итальянской этнической общности. Элиты городов-государств, такие как семейство Медичи во Флоренции, расширяли сферу своего влияния, выдвигая из своего числа кардиналов и римских пап, используя церковь в качестве заменителя территориальной экспансии, блокированной патовой ситуацией между местными державами, а также весомым вмешательством со стороны Франции и Испании. Если бы Итальянский полуостров не был местом рождения папства, итальянская культурная идентичность, скорее всего, не сохранилась бы и не выросла бы в полноценный этнонационализм в XIX в.[1]

Другое явное исключение — сохранение этнической идентичности после исчезновения государства — служит примером того же следствия из общего принципа. Польская идентичность выжила даже после исчезновения польского государства в результате нескольких разделов между Россией, Германией и Австрией в 1772 и 1795 гг., чтобы возродиться четырьмя поколениями позже — в 1919 г. Урок состоит не в том, что этнолингвистические идентичности нерушимы, а в том, что они подчиняются действующим во времени макроисторическим закономерностям. Разделение поляков между несколькими различными национальными государствами (включая заморскую польскую диаспору в Соединенных Штатах и других странах), вероятно, замедлило процесс языковой ассимиляции. Различия в степени подавления языка или попыток языковой ассимиляции в различных странах позволили выжить некоему ядру хранителей этнической идентичности. Согласно геополитической гипотезе, польская этническая общность исчезла бы быстрее, если бы Польша была поглощена только одним государством, а не несколькими.

«Балканизация» — это удобное название для перехода по континууму от этнонационализма существующего государства к этническому сепаратизму. Резкость и воинственность продвижения по этому континууму соответствуют степени геополитического напряжения. Полномасштабное геополитическое потрясение — распад империи — открывает путь к обширным этническим расколам, даже

[1] Меньшую сложность для геополитической теории этнонационализма представляет укрепление французской национальной идентичности после поражения 1871 г. от Пруссии. Но здесь действовали еще и другие факторы. Проникновение государства ускорилось после этих событий, а геополитическая траектория Франции в целом была на подъеме в связи с ее расширением в 1830–1930-х гг. как колониальной державы.

к созданию множества новых этнических общностей там, где прежде существовала только одна. Меньшие степени геополитической слабости приводят к соответствующим уровням этнического самосознания и бунтарства. Османская и в какой-то степени Австрийская империи были «больными людьми Европы» более столетия, и все это знали. Поэтому они стали регионами, в которых местные протоэтнические общности стали на путь протеста и мятежа (became dissidents). В зонах, которые слабо контролировались империей, этнические националисты стремились создать собственное государство. В других регионах, где все еще сохранялся надежный военный контроль, происходила мобилизация движений за этническую автономию или, в случае неудачи, за этнонациональный контроль над культурными институтами, такими как официальный язык и образование. Последние движения сливались с растущими в то время институтами государственного проникновения, но в этом случае проникновение не только не усиливало централизацию государства, но, наоборот, влекло за собой ее ослабление, поскольку создавало арену для мобилизации протестных этнических общностей.

4. *Геополитический баланс могущества способствует космополитизму*. Иногда геополитическая обстановка остается стабильной в течение длительного времени, когда могущество разделено среди нескольких государств примерно одинаковой силы. Тогда создание альянсов и дипломатия ориентируются на недопущение того, чтобы какое-либо государство слишком превосходило остальные в военной мощи. В этих обстоятельствах престиж могущества государств остается стабильным, но его естественные свойства меняются. Войны, как правило, ведутся по правилам «джентльменского» или «рыцарского» сражения: никто не рассчитывает на большие завоевания, и число жертв обычно невелико. В таких случаях этнонационализм утрачивает значимость. Этому способствуют несколько процессов. Война считается развлечением элиты: в ней участвует относительно небольшая доля населения, и война не особенно влияет на его жизнь. Смена правления не имеет особо драматичного характера, а воюющее государство скорее составляет тонкий слой поверх общества, а не пронизывает его. Эмоциональная мобилизация, вызванная массовым участием или кровавым завоеванием, отсутствует, что закрывает данный путь к формированию этнонациональной идентичности. Вдобавок к этому практика смены

альянсов с целью поддержания баланса могущества делает этнические идентичности размытыми и поверхностными, что согласуется с принципом: этнические общности строятся через разделение и противопоставление себя тем, кого они исключают. Если военные противники и союзники меняются каждые несколько лет, то ощущение своего места в этническом порядке мира оказывается намного слабее, чем тогда, когда продолжительное геополитическое соперничество формирует каркас этнонационального космоса.

В среде государственной элиты, особенно военных, дипломатических и политических правящих групп, наиболее заметной особенностью повседневной жизни является космополитический контакт с иностранными партнерами — этническими аутсайдерами. Такое взаимодействие способствует развитию некоего общего языка — *lingua franca* как инструмента дипломатического дискурса. Космополитический язык такого типа отличается от языка пиджин, возникающего для облегчения коммерции в торговых зонах. Если эти грубые и упрощенные в утилитарных целях языки имеют низкий социальный престиж, то космополитический язык обладает высоким престижем и выражает социальное превосходство. Во время войн в ситуации баланса могущества конца XVII и XVIII вв. французские культура и язык во всей Европе стали признаком благородства и родовитости (the mark of good breeding). Обладание идеалами Просвещения, учтивостью и рациональностью означало членство в элите, способной к изощренному взаимодействию в мире международных связей. В космополитических кругах на местные обычаи взирали свысока как на провинциальные, а престиж этнических идентичностей, таких как русская или немецкая, намеренно принижался. По иронии судьбы этот космополитизм имел место именно тогда, когда государственные бюрократии начали проникать в культурную жизнь соответствующих национальных обществ. Данное пересечение космополитизма и бюрократического проникновения позволяет судить о том, что геополитика является главной переменной, которая перевешивает проникновение государства или по крайней мере сильно влияет на его характер.

Были запущены взаимоусиливающие процессы. Широкое распространение дипломатических переговоров и межгосударственных альянсов потребовало от членов элиты частых поездок и даже вращения в администрациях государств-союзников. Некоторые представители этого космополитического класса почти утратили

государственное подданство, постоянно перемещаясь, занимая посты в армиях и правительствах государств, где они были в национальном отношении чужаками. К этому классу принадлежали выдающиеся министры, такие как Ло* и Неккер** во Франции, Шарнхорст*** и фон Штейн**** в Пруссии. Генералы нанимались на службу

---

* *Ло, Джон де Лористон* (1671–1729) — международный авантюрист, картежник и финансист английского происхождения. Промотав богатое наследство, был заключен в тюрьму за убийство на дуэли, бежал из тюрьмы, покинул Англию, после чего занимался картежной игрой и предлагал финансовые, торговые проекты в Амстердаме, в главных итальянских городах и в Париже. Создал первый частный акционерный банк *Banque générale*, ставший затем государственным. Некоторое время был министром финансов Франции, основал «систему Ло» — выпуск бумажных денег, не обеспеченных золотом и серебром. После спекулятивного ажиотажа вокруг банковских билетов и акций наступил финансовый крах предприятия, после чего Ло бежал из Франции, поселился в Генуе, умер в Венеции.

** *Неккер, Жак* (1732–1804) — богатый парижский банкир швейцарского происхождения, который несколько раз становился главой министерства финансов Франции. Его отставка королем Людовиком XVI послужила одним из поводов к восстанию 12–14 июля 1789 г.

*** *Шарнхорст, Ге́рхард Ио́ганн Да́вид фон* (1755–1813) — немецкий генерал, военный реформатор и теоретик военного дела. Родился в Борденау (Нижняя Саксония), служил в Ганновере, издавал журнал для военных, командовал конной батареей в Голландии в войне против революционной Франции. В 1801 г. перешел на прусскую службу, где вначале преподавал военное дело, был начальником Генерального штаба Пруссии в войне против Наполеона, затем после Тильзитского мира — председателем комиссии по реорганизации армии вместе с Клаузевицем, позже — главой военного министерства. В 1811 г. ездил с дипломатическими миссиями в Петербург и Вену. В освободительной войне 1813 г. против Наполеона был начальником штаба Силезской армии. Был ранен ядром в ногу, с незажившей раной поехал в Вену с целью присоединить Австрию к союзникам, но вскоре умер. Известным стал посмертно изданный в Ганновере его труд, написанный совместно с И. Ф. Гойером, «Руководство для офицеров в прикладной части военных наук».

**** *фон Штейн, Генрих Фридрих Карл фом унд цум* (1757–1831) — крупный государственный деятель, дипломат и историк. Родился в герцогстве Нассау, имел титул имперского барона, изучал в Англии хозяйство, руководил рейнско-вестфальской металлургической индустрией, занимал руководящие посты в Клеве, Вестфалии и Пруссии. Провел в последней важнейшие реформы, в том числе: освобождение крестьян, введение земельного рынка, утверждение городского самоуправления, создание новых министерств. В 1812 г. поступил на службу в Санкт-Петербург к Александру I, готовил план всеобщего восстания в германских государствах против Наполеона, на Венском конгрессе 1815 г. представлял Россию. Способствовал там же созданию Германского союза (предтечи объединения Германии Бисмарком), затем ушел в отставку и занялся историей, став одним из основателей *Monumenta Germaniae Historica*.

иностранными правительствами со времен Лафайета и Штойбена* в период Американской революции и до «китайского» Гордона** при Восстании тайпинов, не говоря уже о переходящих от одной стороны к другой оппортунистах, таких как Конде*** во Франции и Испании XVII в. В отличие от высокомобилизованных этнонациональных идентичностей государств XX в., тогда наличие национального гражданства не было обязательным условием для государственной службы, причем даже в высшем слое.

Этот космополитизм не следует приписывать лишь нехватке глубокого проникновения государства в общество и соответствующего чувства национальной идентичности, поскольку он связан прежде всего с геополитической ситуацией. Трансэтнический космополитизм

---

* *фон Штойбен, Фридрих Вильгельм Августин Людольф Герхард* (*барон фон Штойбен, фон Штюбен*, 1730–1794) — американский генерал прусского происхождения. Родился в Магдебурге, служил британской короне в североамериканских колониях вместе с Джорджем Вашингтоном. С успехом участвовал в войне за независимость. В 1778–1779 гг. выработал план обучения — «Голубую книгу», которая по распоряжению Конгресса была сделана директивой для американской армии.

** *Го́рдон, Чарльз Джордж* (*«Китайский Гордон», «Гордон Хартумский», «Гордон-Паша»*, 1833–1885), знаменитый английский генерал, служил в англо-французских войнах против Китая. Во время Восстания тайпинов стал во главе китайской армии, отстоял Шанхай, перешел в контрнаступление и подавил мятеж. Затем выполнял множество дипломатических и военных миссий Британской империи в Бессарабии, Египте, Индии, а также в Судане, где получил звание паши и пост губернатора. Жил в Палестине, где проповедовал христианство мистического толка. Затем вновь вернулся в Судан, чтобы эвакуировать египтян, осажденных в Хартуме суданцами, восставшими под руководством Махди. Когда английские войска приблизились к Хартуму чтобы спасти Гордона, город был уже взят, а Гордон убит и обезглавлен.

*** *де Конде, Людовик* (*Луи*) *II де Бурбон-Конде, принц* (*Великий Конде*, 1621–1686) — французский полководец, генералиссимус. Начав военную карьеру в 17 лет, в 22 года уже возглавлял французские войска, одерживал блестящие победы над испанцами и баварцами в ходе Тридцатилетней войны, что способствовало заключению Вестфальского мира. В период внутреннего раскола во Франции вначале успешно воевал на стороне Мазарини против Фронды, овладел Парижем, после чего попал в опалу и заключение, бежал, затем воевал уже против Мазарини на стороне новой Фронды, проиграл, бежал в Голландию, и уже на стороне испанцев воевал против Центральной Франции. Проиграл Битву в дюнах в 1658 г. и после Пиренейского мира опять перешел на французскую службу к Людовику XIV. Чуть не стал польским королем, потом с переменным успехом командовал французскими войсками в Нидерландах и Эльзасе. Последние годы жизни провел в своем имении Шантийи, окруженный французскими философами и учеными.

существовал в целом круге исторических обстоятельств с большими различиями в степени государственного проникновения, но с одним общим знаменателем — геополитическим балансом могущества. Латинский космополитизм преобладал в эпоху высокого Средневековья, но с началом консолидации сильных государств в Англии, Франции и Испании уступил место национальным языкам прежде всего вследствие эффективной национализации церковной собственности и, соответственно, средств культурного производства. Культура французского Просвещения сохраняла свой престиж в эпоху переговоров об альянсах после окончания религиозных войн, когда явным идеалом стал баланс могущества, или равновесие сил (balance of power). В Индии, притом что региональные языки возникли в раздробленных королевствах после исчезновения нескольких относительно обширных древних империй (Маурьев и Гуптов), сама слабость этих государств вдохновляла и поддерживала элитарный слой носителей высокой культуры, сохранявших санскрит и его литературу в качестве институтов, преодолевавших рамки местных особенностей.

Трансэтнический космополитизм — это перманентная аналитическая возможность, и космополитические периоды могут повториться в будущем. Предположим, что мы вступаем (или уже вступили) в эпоху, когда ни одно государство не способно к крупному геополитическому расширению. Вместо этого фокусом внимания для действий элит являются гибкие альянсы и международные сети. Согласно моей гипотезе, в таких условиях сама идея этнонационализма становится неприемлемой, по крайней мере для элиты, представители которой теперь чураются каких-либо заявлений о превосходстве их собственных культур. В заключительном разделе этой главы я выдвигаю предположение о том, что «мультикультурализм» и «политическая корректность» конца XX столетия могут быть современной версией трансэтнического космополитизма в особых обстоятельствах геополитического ослабления и этнической мобилизации на уровне неэлиты.

Американский вопрос: ассимиляция или этнический застой?

Американские исследования этничности сосредоточены на проблеме ассимиляции, трактуемой в прошлом в позитивном, а с недавнего времени — в негативном ключе. Этнические отношения,

которые ранее рассматривались как неизбежно развивающиеся в направлении ассимиляции, теперь, по мнению многих, фундаментально статичны. Этническое воспроизводство и классовое воспроизводство [а также их исследование и оправдание] стали почитаемой (и по крайней мере относительно первого, нравственно предпочтительной) социологической позицией. Что мы сделали, так это усечение концептуального континуума этнических изменений. Теория ассимиляции — это объяснение того, как расширяются этнические границы; теории антиассимиляции довольствуются демонстрацией того, как этнические границы вязнут и застревают. Без внимания остается более широкий контекст, который определяет, будет ли продвижение в том или ином направлении по континууму между большим и малым числом этнических расколов. Здесь я сделаю беглый обзор материала, связанного с ассимиляцией и антиассимиляцией, чтобы показать, каким образом он вписываются в охватывающую геополитическую динамику. Главная тема моего рассуждения состоит в том, что изменения среднего уровня — мезодинамика — этнического воспроизводства и конфликта краткосрочны и варьируют в своей силе; одни геополитические конфигурации усиливают их, тогда как другие блокируют.

В основании классических теорий ассимиляции лежало представление об изначально существовавших этнических группах, трактуемых примордиалистски, причем эти группы еще не начали процесс ассимиляции из-за своей пространственной разделенности — разбросанности по географическим регионам. Такой была ситуация в догосударственных и аграрно-принудительных (феодальных / изымающих ресурсы) обществах. В такой эволюционной модели выделялись этапы контакта, временного конфликта, приспособления и ассимиляции; изменения были движимы развитием рыночной экономики, разделением труда и урбанизацией; все это разрушало региональные разделения и запускало процесс ассимиляции по направлению к некоторой группе более крупного размера. Имеется большой объем свидетельств в пользу того, что этот процесс часто именно так и происходит (о недавнем периоде см. [Waldinger 1996]; о рубеже XIX–XX вв. см. [Lieberson 1980]). Однако, как показывает опыт аграрных завоевательных государств, рыночные структуры могут развиваться и при сохранении более узких этнических границ или по крайней мере при весьма скромном продвижении вдоль континуума по направлению к ассимиляции в более крупные группы.

Парсы в Индии, «евреи при короле» в средневековой Европе и ганзейские немцы на Балтике — вот лишь некоторые примеры из множества этнических анклавов, расположенных как раз в центрах торговли и администрации. Даже сложное разделение труда и обмен в индустриальных обществах могут усиливать этническую обособленность. Прежняя сельская или региональная разобщенность как основа этнического разделения в эпоху, предшествовавшую крупным миграциям, может воспроизводиться в локализации бизнеса и в сегрегации по месту проживания. Этнические группы могут создавать профессиональные анклавы при разделении труда — тенденция, в рамках которой индийская кастовая система является лишь самым крайним случаем. Одно время социологи-теоретики полагали, что этническое разделение труда было свойственно лишь доиндустриальным и добюрократическим обществам, однако относительно современных обществ уже есть достаточные свидетельства того, что оно может существовать в каждой известной форме экономики. Разделение рынка труда на высоко- и низкооплачиваемые, протекционизм как ограждение отдельных трудовых рынков подъемом профсоюзного движения (by unionization), этническими кредитными ассоциациями, монополизацией доступа привилегированными этническими группами или «расовой» дискриминацией — вот некоторые структуры, через которые осуществляется этническое разделение труда [Bonacich 1972; Hechter 1974; Portes 1994; Light and Karageorgis 1994; Olzak 1992].

Нашей целью должно быть не просто описание того, при какой степени этнической сегрегации она структурируется как разделение труда в каждом конкретном случае, а объяснение того, почему варьируют сами паттерны. Любая наличная историческая ситуация является результатом равновесия противонаправленных тенденций, порождаемых различными силами. Разделение труда и структуры административной централизации могут оказывать противоположное влияние на движение вдоль континуума этнических границ. В одном направлении любой контакт и совместное участие различных этнических групп может вызывать ассимиляцию и стирание этнических границ. Пока народы сближаются, всегда есть перспектива формирования общей культуры, развития нового языка или *говора* (*patois*), завязывания дружбы и заключения браков, а также формирования единого фронта в конфликте против более отдаленных и чуждых частей населения. Будет ли данный потенциал асси-

миляции реализован или, напротив, контакт лишь усилит ощущение границ — это зависит от того, будет ли тенденция к ассимиляции и стиранию границ сильнее, чем тенденция к распре и вражде. Сами же эти тенденции определяются тем, насколько престиж ассоциируется с участием в общей культуре, легитимируемой государством.

Последствия стратификации сходны. Нам больше знакомы те процессы, при которых стратификация усиливает этническую сегрегацию. Различия в классовых культурах усугубляют различия в этнических культурах (а иногда и создают их), и наоборот. Социологи описали множество таких взаимоусиливающих обратных связей: в современных Соединенных Штатах: контраст в материальном благосостоянии между жителями пригородов и внутренних частей города воспроизводит и усиливает различные семейные, образовательные и ментальные паттерны, которые, в свою очередь, усиливают различие между «уличной» культурой чернокожих и культурой белых представителей среднего класса; этот круг замыкается профессиональной стратификацией и закреплением материального неравенства. Понятие «габитус» у Бурдье представляет собой общую теоретизацию самовоспроизводящихся механизмов. Страсть к таким самовоспроизводящимся моделям стало визитной карточкой американских социологов.

Тем не менее с более широкой аналитической точки зрения стратификация не обязательно приводит к установлению статических этнических границ. Она может также вызывать тенденции к культурной ассимиляции. Стратификация наделяет престижем культуру господствующего класса, которая зачастую распространяется на средние и подчиненные классы через процессы подражания, просачивания и навязывания ее институтами культурного производства. Если классовая стратификация сопровождается этнической стратификацией, такие процессы могут вызвать ассимиляцию этнических культур. Кроме того, стратификация может пробуждать стремление к вертикальной мобильности. Поскольку подчиненные этнические группы поднимаются в классовой структуре или смещаются в сторону, входя в централизованные организации экономики и государства, имеет место тенденция к ассимиляции этнических групп через структурное объединение групповых границ[1].

[1] Существует обширная литература, посвященная структурным условиям профессиональной мобильности, наиболее важным из которых является рост числа не

И наоборот, мы можем ожидать, что данная тенденция к ассимиляции будет наиболее слабой там, где соприкасающиеся этнические группы равны и по классовому положению, и по престижу. Вопрос в том, какая тенденция сильнее — тенденция стратификации к укреплению этнических границ или противоположная тенденция, вызывающая стремление к ассимиляции. А это вновь зависит от текущего геополитического престижа могущества данного государства и тем самым — от престижа этнической культуры его правителей.

Значительное внимание уделялось дополнительной круговой связи между экономическими интересами и этническим антагонизмом. Мобилизация этнического антагонизма зачастую объяснялась через базовые экономические конфликты. Поскольку этнические группы создают анклавы при разделении труда и некий ряд уровней в классовой структуре, всякое изменение экономического положения этих групп порождает классовый конфликт, который самым естественным образом проявляется в форме этнического антагонизма. Например, антисемитизм, редко встречавшийся в христианской Европе до XI в., затем стал проявляться в жестоких нападках на евреев сначала в 1100-х гг. в Рейнской области, а затем и в Восточной Европе. Этот антисемитизм объяснялся распространением купеческой экономики, зачинателями которой были евреи, зачастую составлявшие альянс с центральными правителями, что делало антисемитизм удобным объединяющим лозунгом традиционалистских классов — крестьянства и знати [Murray 1978: 69]. Схожие структурные паттерны обнаруживаются в солидарности грузинских евреев и других этнических групп Кавказа, которые поддерживали собственную неформальную экономику при советском коммунизме [Portes 1994]. В масштабе мировой истории мобилизация этниче-

связанных с сельским хозяйством «чистых» профессий: «белых воротничков», специалистов разного рода [Bendix and Lipset 1959; Blau and Duncan 1967]. Эти условия профессиональной мобильности существуют во всех обществах, независимо от того, высок или низок геополитический престиж могущества. Моя мысль здесь состоит не в том, что геополитическая траектория определяет масштаб вертикальной профессиональной мобильности, а скорее в том, что геополитика детерминирует этническую идентификацию даже тогда, когда в одной и той же этнической группе присутствуют представители разных классов. Этнонациональная идентичность, где каждый считается принадлежащим к одной этнической группе, неизбежно содержит в себе классовые различия.

ских антагонизмов на основе анклавов в условиях разделения труда отнюдь не была одинаковой, а во многих случаях ее и вовсе не было. Готовность принять участие в этническом конфликте — это лишь одна из нескольких причинных сил, которая может быть перекрыта другими, более могучими силами. Самым важным причинным условием, наряду со степенью государственного проникновения, является основанный на геополитике престиж могущества правителей этого государства.

«Американизация» против «балканизации»

Кратковременные процессы в разделении труда, в этноклассовой стратификации и в культурной мобилизации ведут к неопределенным последствиям: они могут способствовать как этническому обособлению и конфликту, так и стремлению к ассимиляции — прежде всего культурной, но также соматотипической и в плане создания ассоциаций. Что из этого произойдет, зависит от условий контекста и прежде всего от геополитической траектории данного государства. Мы можем обозначить два противоположных типа. В «модели американизации» государство расширяется и укрепляет свое геополитическое положение. Соответственно, престиж преобладающей этнической группы высок и преобладает стремление к ассимиляции. В модели «балканизации» геополитическая траектория идет на спад: государство рассыпается, престиж преобладающей этнической группы низок; массовая мобилизация направлена скорее к этническому сепаратизму, чем к ассимиляции. В модели «балканизации» преобладающая этническая группа не только лишается привлекательности, но становится *негативной* точкой соотнесения. Так, например, антиавстрийские и антитурецкие настроения становились важнейшими мобилизующими факторами для политического и социального действия. Таким же образом, русская этническая идентичность во время распада контролировавшейся русскими советской империи стала негативной точкой соотнесения для нерусских.

Соединенные Штаты были геополитически расширяющейся державой с начала 1800-х гг. и стали крупнейшей мировой державой в период Первой мировой войны. С 1800 по 1960-е гг. Соединенные Штаты — этот яркий пример ассимиляционной динамики расширения этнических границ («американизации») — расширя-

лись на все большие территории Северной Америки, встречая лишь минимальное местное сопротивление. К концу 1800-х гг. размер Соединенных Штатов и их преимущества в экономических ресурсах стали колоссальными уже в мировом масштабе. В XX в. Соединенные Штаты сумели извлечь пользу из крайне затратных решающих войн между главными европейскими державами. После 1960 г. Соединенные Штаты пережили некоторый геополитический спад из-за дорогостоящей гонки вооружений («холодная решающая война») с СССР — окраинным государством на противоположной стороне старинной европейской зоны военных баталий. Последующие напряжения были вызваны логистическим сверхрасширением США в борьбе с такими густонаселенными противниками, как Корея и Вьетнам. Этим объясняется высокий этнический престиж англо-американской культуры как цели ассимиляции на протяжении полутора веков с некоторым упадком престижа после 1960 г.

А может быть, я просто подстроил [геополитическое] объяснение «модели американизации»? Ведь Соединенные Штаты не только были восходящей геополитической державой, но и приобрели территорию, богатую экономическими ресурсами, и, возможно, именно это богатство, а не престиж могущества, привлекало многочисленных иммигрантов. Мы можем склониться к уточнению теоретических принципов, добавив следующее: и геополитический престиж, и экономические возможности повышают легитимность и престиж правящих элит и этнических групп; напротив, и геополитическая слабость, и экономический упадок снижают престиж этничности правителей. Однако есть основания, позволяющие признать главенство геополитики в воздействии на этнический престиж. Престиж англоязычной ассимиляции в Соединенных Штатах был высоким с начала 1800-х до 1950-х гг. И если затем он уже ставился под вопрос, то связано это было не с экономическим спадом, а с геополитическими неудачами: прежде всего с Вьетнамской войной (1963–1975), с патовой ситуацией в Корейской войне (1950–1953), с иранским/исламским вызовом (1979) и становлением полицентрического мира. Так подтверждается тезис о том, что геополитический престиж — это вопрос скорее динамики и траектории движения, а не абсолютных величин; вопрос типа «что вы сделали за последнее время?» важнее, чем абсолютный уровень геополитических ресурсов государства и его элиты.

Геополитический престиж и борьба за средства культурного производства

В данном обсуждении условий среднего уровня, влияющих на этнические границы, пока опущены средства передачи культуры (the cultural media), такие как образование и язык. Они же оказывают важное влияние на мезоуровне и на этническую ассимиляцию, и на этническую борьбу. Как и со всеми такими мезоусловиями, вопрос состоит в том, какое именно оказывается воздействие и когда. Так, в одной (ориентированной на ассимиляцию) модели массовое образование производит общую культуру; массмедиа распространяют общий язык; расширение доступа к этим медийным средствам в конечном счете устраняет все этнические анклавы за исключением немногочисленных остающихся традиционалистов. В другой модели (объясняющей сопротивление в отношении ассимиляции или этническое дробление) происходит обратное — распространение грамотности, газет, телевидения и тому подобного создает основу для мобилизации культурных сепаратистов; «модернизация» не способствует универсализму, но создает орудия для укрепившихся в своей отдельности этнических культур (reinforced particularisms). Получается, что образование так или иначе ведет к негативным последствиям: «проклят-если-делаешь» и «проклят-если-не-делаешь». С одной стороны, если государство пытается навязать культурную однородность через систему образования, то возникает чувство озлобления и возмущения — рессентимент — со стороны ущемленных этнических групп. Здесь мы находим литовских, украинских и армянских националистов, сохранявших свою культуру в условиях навязанной русскими системы образования и готовых к взрыву протестов при первой же возможности. С другой стороны, если государство разрешает культурный плюрализм (как в 1980-х гг. и поступали все в большей мере советские реформаторы), оно само вручает оружие групповой мобилизации своим противникам [Waller 1992].

Ключом к тому, какой из этих сценариев будет реализован, является не структура образовательной системы (или структура массмедиа), а геополитические условия, которые определяют общий градиент этнического престижа. Единообразная в культурном плане система образования и навязанная языковая монополия на средства массовой информации потерпит неудачу, если престиж господ-

ствующей этнической группы низок. По крайней мере так будет обстоять дело в тот период (по-видимому, в современных условиях речь идет о нескольких поколениях), когда слабость государства в конечном счете приводит к обрушению централизованного контроля. Нам не следует слишком доверять образу могучего и полнокровного культурного сепаратизма, представители которого встречаются в подполье и ждут того часа, когда смогут выйти в открытое пространство. Мятежные движения этнического национализма в значительной степени конструируются, а внезапные перемены политического ветра могут породить бурный энтузиазм в отношении этнической культуры сепаратизма, носителями которой в течение долгого времени была лишь горстка упертых фанатиков. Процесс «балканизации» может быть длительным и неспешным, когда государственный контроль явным образом крошится и распадается в течение десятилетий или столетий; в таком случае (на Балканах в XIX в. и начале XX в.) открытое культурное сопротивление и мобилизация шли непрерывно. Или же «балканизация» может возникнуть и расти довольно быстро, как при ослаблении центрального контроля в СССР с середины 1980-х гг.; в этом случае, какой бы поворот в культурной политике ни был сделан правителями, он все равно бы способствовал сопротивлению.

С другой стороны, культурная гегемония по «модели американизации» может обходиться и без рыночных процессов. Несмотря на попытки некоторых англо-американцев открыто навязать свою культуру мигрантам в американских публичных школах конца XIX – начала XX вв., преобладающим фактором языковой и образовательной ассимиляции, по-видимому, служил престиж англо-американской культуры. В США никогда не было какого-либо общенационального контроля над образованием, и всегда большую роль играла местная инициатива. Испытывались самые различные формы образования: мощная католическая школьная система, персонал которой в основном составляли не англо-американцы; множество религиозных колледжей; школы с преподаванием на иностранных языках, среди которых живучими и влиятельными оказались только еврейские академии. Различные формы образования вскоре теряли свое своеобразие, и все они начинали подражать одной высокостатусной модели — последовательности ступеней, ведущей к традиционному англо-протестантскому колледжу [Jencks and Riesman 1968]. Не то чтобы полиэтническое соперничество

в Соединенных Штатах никак не сказалось на образовательном рынке; но его следствием стали более острая конкуренция за признание аттестатов и широчайшее, беспрецедентное в масштабах всей мировой истории, распространение школьного образования на всех уровнях общества [Collins 1979]. Результатом стала инфляция аттестатов — этой общей образовательной «валюты», но отнюдь не распад на отдельные этнические анклавы[1]. Таким же образом, ни газеты на особых этнических языках, ни другие типы культурных массмедиа не расцвели в Соединенных Штатах, поскольку не выдержали конкуренции с англо-американской массовой культурой. Не было никаких государственных ограничений, которые сколь-нибудь существенно повлияли на такой результат; престиж англо-американской культуры попросту вытеснил соперничавшие культуры этнических сепаратистов.

4. Проблемные случаи

Всегда ли геополитический подъем в условиях проникновения [в общество] современного государства приводит к этнонационализму? Если мы трактуем это явление в том смысле, что господствующая этническая группа начинает определять общенациональную культуру, а все остальные протоэтнические сообщества или этнические иммигранты исчезают, то сталкиваемся с рядом проблемных случаев. Что если подчиняемые этничности оказывают сопротивление и создают свой устойчивый анклав или даже отдельное государство? Лучшим примером такой успешной попытки плыть против геополитического течения служит Ирландия в период высшего расцвета Британской империи. Что если господствующее этническое сообщество не позволяет меньшинствам ассимилироваться? Таков проблемный случай чернокожего населения в Соединенных Штатах.

---

[1] Так, даже в ходе мобилизации небелых этнических меньшинств во второй половине XX в., требовавших своих кусков образовательного пирога, речь шла об аттестатах единой системы образования, а не об особых этнических школьных системах. Аттестаты были стандартизированы, поскольку они стали законным и обязательным требованием для приема на работу на всем рынке труда. Установление этнически обособленной системы образования было бы равноценно созданию особой валюты, которой нельзя расплачиваться за работу в господствующей экономике.

Ирландия и имперская Британия

Легитимность господствующей этнической группы не означает, что другие этнические группы обязательно будут ею поглощены. Легитимность группы может определяться путем ее противопоставления культурно подчиненной и культурно нелегитимной группе. Случай Ирландии показывает, что администрация побежденной территории может институционализировать структуры, которые превращают региональную протоэтническую общность в мятежный этнонационализм. Английские владыки XVI–XVII вв. рассматривали Ирландию как территорию для обустройства колониальных плантаций, подобную заморским колониям; «дикие ирландцы», по их мнению, лишь немногим отличались от индейских племен Северной Америки [MacLeod 1967]. Классовое различие между колониальными англо-ирландскими правителями и коренными ирландцами закрепилось уже как политическое разделение в результате того способа, которым английское государство формировалось как парламентский режим. Революция и гражданская война в Англии в идеологическом плане привели к отвержению католических и иностранных связей, которые, как считалось, представляли угрозу для национального суверенитета. Право голоса на выборах в парламент было строго ограничено, им обладали только приверженцы национальной англиканской церкви, тогда как побежденным католикам, считавшимся сторонниками чужого — ненационального — короля, было безоговорочно запрещено участвовать в выборах. После окончания гражданской войны Оливер Кромвель проводил в Ирландии необычайно жестокую военную политику, а в период волнений и тревог 1680-х гг. относительно угрозы того, что монархия восстановит католицизм, Ирландия была центром рекрутирования в армию приверженцев католичества. Престиж могущества англо-протестантского правящего класса превратил разделение между католиками и протестантами в Ирландии XVIII в. в разделение между совершенно бесправным классом и политическим классом в самом классическом марксистском смысле.

Геополитика раз за разом укрепляла чужеродную, неанглийскую идентичность Ирландии. Католицизм ирландцев был вполне осознанным основанием при создании дипломатических и военных союзов со времен испанской Армады, включая высадку агентов-иезуитов, а также французскую поддержку восстаний, католических легитимистов и претендентов на королевский трон в XVII–XVIII вв.

Ощущение англичанами чуждости Ирландии подкреплялось тревогой относительно возможности появления на их же «заднем дворе» союзника враждебных континентальных держав. Ирландский национализм со своей стороны подкреплялся возможностью получения поддержки со стороны врагов Англии. Во время революционной войны в Америке чувства ирландцев были целиком на стороне американцев, и англичане удерживали в Ирландии значительные войсковые соединения из-за страха, что французы ее захватят. Во время Французской революции 1790-х гг. ирландские мятежники нашли убежище во Франции, а французские военные экспедиции высаживались в Ирландии [Foster 1989: 152]. В период Первой мировой войны ирландские националисты пытались ввозить оружие из Германии. В XIX в. и в начале XX в. ирландские иммигранты или временные переселенцы в Соединенных Штатах (которые, конечно же, участвовали в нескольких войнах против Англии) стали основной базой поддержки ирландских повстанцев, а также противовесом тенденции к ассимиляции ирландцев в английскую культуру.

Ирландский этнонационализм все более кристаллизовался с начала XIX в. и выстраивался благодаря процессу государственного проникновения, который и предоставил средства для мобилизации разного рода социальных движений, направленных против английского государства как в самой Англии, так и в Ирландии. В 1820-х гг. в Ирландии был период массовых митингов, шествий и символической ажитации; тот факт, что все это происходило главным образом в сельскохозяйственных районах и небольших городках, показывает — даже ярче, чем сопоставимые движения в Англии, — что мобилизация была вызвана не столько распространением промышленности, сколько облегчающим ее проникновением государства. Политические баталии за расширение избирательных прав, происходившие в Англии на всем протяжении XIX столетия, должно быть, вызывали весьма острое чувство отчужденности у ирландских иммигрантов, составлявших значительную часть промышленных рабочих в Англии, но лишенных права голоса. Особый статус колониального владычества в Ирландии продолжился и в ряде британских парламентских реформ избирательного права, либерализация в целом была более ограниченной в отношении ирландцев, чем англичан, потому что ирландские католики имели клеймо двойной нелегитимности, будучи и колонизованным, и нелояльным парламентскому режиму народом. «Ирландский вопрос» стал яблоком раздора в английской поли-

тике, поскольку гуманитарные проблемы, связанные с сельским голодом 1840-х гг., соединялись с вопросами прав собственности и избирательного законодательства. Находившиеся на грани выживания фермеры-арендаторы — наиболее распространенный слой ирландского населения — при каждом неурожае изгонялись со своих земель англо-ирландскими (и другими) землевладельцами, которые превращали землю в более выгодные пастбища. Несмотря на то что в класс землевладельцев входило все больше местных ирландских католиков, историческое закрепление классового разделения между этнорелигиозными идентичностями все сильнее определяло общественное сознание по мере того, как росла вражда в связи с происходившими в середине XIX в. стачками арендаторов и чередой убийств.

Проводимые английской элитой политические реформы вели не к снижению недовольства ирландцев, а к дальнейшему углублению конфликта. В 1800 г. ирландская Палата общин — символ колониального режима — была упразднена. Преобладающее настроение сочетало страх вероломства ирландцев во время войны с революционной Францией и уступки в том, что все больше считалось в Англии скандальной дискриминацией католиков. Английское государство попало в ловушку — ситуацию типа «проклят-если-сделаешь» и «проклят-если-не-сделаешь». Каждый шаг попадал в западню конфликта и вызывал нападки с трех сторон [Foster 1989: 148–211]. Первой фракцией была землевладельческая элита англичан-протестантов, выступавшая против земельной и других реформ, но со временем ее выдавливали из господствующей позиции. В состав второй фракции вначале входило католическое крестьянство, а затем растущий средний класс, получавший все больше избирательных прав и в конечном счете достигший доминирующего представительства в парламенте. Во время переходного периода расширения избирательного права, Ирландию в парламенте представляли, как правило, протестантские мелкопоместные дворяне (джентри), которые пытались завоевывать популярность и голоса, отстаивая интересы католических избирательных округов, тем самым переопределяя классовые и религиозные конфликты в качестве вопросов ирландского национального суверенитета[1].

[1] Несколько первых поколений воинственных ирландских националистов, включая Вольфа Тона и Чарльза Парнелла, были протестантскими землевладельцами, то же касается и литературных националистов, таких как Вильям Батлер Йейтс.

Поскольку ирландская этническая идентичность стала более притягательной, нежели британский этнонационализм, часть англо-ирландской элиты перешла на позиции ирландского этнонационализма. Ирландская элита теперь могла выбирать свою идентичность; сегрегация и дискриминация ирландского народа создали некую неассимилируемую идентичность, в лоне которой ирландская элита могла обосноваться. Политические возможности на английской государственной арене укрепляли и осложняли чувство ирландской особости по мере того, как ирландские члены парламента обретали дурную славу из-за своей несговорчивости, но также пользовались спросом, будучи умелыми манипуляторами в плане создания коалиций с разными английскими партиями.

Третья фракция объединяла ирландских протестантов из откололовшихся фракций, которые изначально были также исключены из политического устройства англиканского парламента. Эти ирландские протестанты были сосредоточены преимущественно в Северной Ирландии, где они представляли все более преуспевающий промышленный деловой класс. Протестантский рабочий класс в этой зоне, сталкиваясь с безработицей и другими экономическими неурядицами, принудительно вытеснял рабочих-католиков; классовая мобилизация замещалась узкой тактикой выталкивания из рабочих мест по критерию этнорелигиозной принадлежности. Ирландские протестанты (которых я называю так, чтобы отличить их от англиканских англо-протестантов) становились все более враждебны в отношении к уступкам католикам со стороны англичан. В то время как английские политики из сочувствия или из-за усталости от распрей все более склонялись к решению ирландской проблемы путем предоставления Ирландии самоуправления (гомруля — home rule) при католическом большинстве, ирландская протестантская оппозиция становилась все более воинственной.

Широкая конфронтация между ирландскими протестантами и католиками переросла в военную мобилизацию обеих сторон и достигла своего пика в 1913–1914 гг. как раз перед тем, как разразилась Первая мировая война. В результате ограниченная форма местного самоуправления под британским контролем над финансовой и внешней политикой, о чем раньше приходилось только мечтать, стала все больше замещаться целью полной национальной автономии.

Данная точка перелома совпала с геополитическими напряжениями, которые стала претерпевать расширившаяся на огромные

пространства Британская империя. Геополитическая сила определяется не размерами территориальных владений, а логистическими издержками по защите этих территорий. Финансовые затраты на Англо-Бурскую войну, ставшие предметом острого обсуждения в парламенте, сделали очевидным это внутреннее напряжение империи. Ирландцы сочувствовали бурам, а британские военные трудности пробуждали и усиливали ощущение того, что сверхрасширение Британской империи давало шанс получить независимость. Ирландцы начали вооруженную борьбу за независимость в 1916 г., сознательно извлекая выгоду из вовлеченности Британии в Первую мировую войну. Хотя первоначально большинство ирландского населения придерживалось умеренных взглядов в вопросе о гомруле (и в состав британской армии в Европе действительно входило множество ирландских добровольцев), восстание радикальной националистической фракции привело к поляризации. В обстановке военного времени британские власти считали предателями не только мятежников, но и умеренных ирландских националистов; в результате, ирландское общественное мнение резко сменилось и перешло на антибританскую сторону. Сходный сценарий имел место во время партизанской войны 1919–1921 гг., пока спираль эскалации жестокости с обеих сторон в конечном счете не привела к истощению и обретению Ирландией в 1922 г. настоящей независимости [Foster 1989: 196–209]. Британское военное превосходство было блокировано военным истощением как следствием огромных расходов на участие в Мировой войне, а также обращением ирландских националистов за международной поддержкой. В частности, Соединенные Штаты, будучи восходящим военным гегемоном, способствовали демонтажу империй на стороне не только побежденных великих держав, но и самих британцев. В долговременном историческом плане, росту ирландского национализма способствовали его геополитические связи с врагами английских завоевателей Ирландии, причем зрелости и успеха ирландский национализм достиг как раз в тот период, когда англичане испытывали ощутимое геополитическое напряжение.

Белое сопротивление ассимиляции чернокожих в Соединенных Штатах

На аналитическом уровне есть поразительные параллели неассимилируемости между ирландцами в Британии и чернокожими

афроамериканцами в Соединенных Штатах. И те, и другие начинали, будучи угнетенным населением в колониальных плантаторских режимах, где политические права предоставлялись только узаконенной в своем положении этнонациональной группе. В Ирландии католицизм был структурным средством обозначения и закрепления этой колониальной иерархии, в Соединенных Штатах такую роль играл цвет кожи. На Юге принимались законы о смешанных браках, которые обретали свое институциональное воплощение в обычае считать всех людей смешанного происхождения черными. Иногда американские межрасовые отношения описываются как кастовая система, но эта аналогия с Индией хромает. Индийские касты являются частью иерархии, включающей большое количество градаций, которое к тому же росло со временем; в Штатах же разница между черными и белыми является единственным и перевешивающим все остальное разделением. Индийские касты создавались путем подражания ритуальной чистоте брахманов, которая была своеобразным *lingua franca* высокого социального статуса в обществе, где государства были слабыми, а правовое регулирование основывалось на расширении отношений родства [Collins 1998: 208–212; в русском переводе: 270–274); американский расизм, отделяющий черных от белых, был выработан государством и до 1960-х гг. во многих местах поддерживался законом.

Более сильной является аналогия между ирландскими католиками в британской политии и неграми в юридически сегрегированных Соединенных Штатах. Многие чернокожие американцы рождались и жили не в южных штатах с официальной сегрегацией, а на промышленном Севере, где у них было во многом такое же положение, что у ирландских рабочих в Англии. В обоих случаях классовые различия укрепляли навязанную в культурном плане разделительную линию; в обоих случаях институциональный стержень государственного законодательства способствовал сохранению видимости и значимости этнического разделения. Даже те, кто проживал вне худших зон откровенной государственной дискриминации (черные американцы — на Севере, англо-ирландская элита — в Ирландии, ирландские рабочие — в Англии), сталкивались с тем, что к ним относятся в соответствии с общественной репутацией их этнической группы. Есть множество параллелей в том, как происходила мобилизация этнического протеста в обеих странах. Восстание ирландских националистов в 1916 г. — в самом разгаре Пер-

вой мировой войны — было более воинственной версией первого национального политического действия, предпринятого американскими неграми, — предупредительной забастовки чернокожих грузчиков на заводах Пульмана во время Второй мировой войны, в результате которой правительство отказалось от политики откровенной сегрегации. Британским геополитическим напряжениям, приведшим к независимости Ирландии, вновь с менее воинственными итогами, соответствует мобилизация движения негров, борющихся за свои гражданские права и участие во власти как следствие геополитических напряжений для Америки в периоды Корейской и Вьетнамской войн. Борьбе трех фракций в Ирландии соответствовали конфликты на американском Юге после отмены рабства: ирландские католики и чернокожие на Юге были одновременно жертвами притеснения, но также сочувствия посторонних наблюдателей, поскольку являлись подчиненными сельскими классами. В обоих случаях действовала элита консервативных плантаторов, причем часть ее становилась фракцией «белых либералов», которые проявляли благосклонность к мотивам угнетенных. И в Ирландии, и в Соединенных Штатах представители нижнего слоя среднего класса и рабочие (ирландские протестанты, соответствовавшие среднему и низшему классам белых южан) становились самыми воинственными противниками равенства и десегрегации.

Ключевое различие между ирландцами в Англии и чернокожим населением в Соединенных Штатах составляет геополитический контекст. Для Британии Ирландия всегда была тревожной территорией, которая мешала Британии вести политику баланса могущества с ее континентальными соседями. В Соединенных Штатах чернокожее население было неотъемлемой частью территории, на которой оно проживало. Даже Гражданская война, во время которой не так давно созданная федерация распалась на отдельные штаты, не стала серьезной угрозой для этой связи, хотя в случае победы Конфедерации (Юга) такая угроза имела бы место. Чернокожие южане были тайными сторонниками унионистов (Севера), причем именно их белые хозяева-южане на протяжении двух или трех поколений после окончания Гражданской войны взращивали свою особую идентичность, основанную на воспоминаниях о войне. В XX в. растущий престиж геополитического могущества федеративных Соединенных Штатов Америки на мировой арене стал сильным притягательным фактором для национальной идентично-

сти, что началось с побед в Испано-американской войне и в Первой мировой, достигнув кульминации во всеобщей военной мобилизации в период Второй мировой войны. Именно в контексте этой и последующих — Корейской и Вьетнамской — войн Соединенных Штатов, ставших мировым гегемоном, происходила мобилизация движения за интеграцию чернокожих и разрушалась поддерживаемая государством правовая дискриминация. Вообще говоря, целью данного движения в то время была ассимиляция — целью, которая приветствовалась и поддерживалась белыми элитами, наиболее тесно связанными с включающим (инклюзивным) этнонационализмом успешного в XX в. американского государства. Именно благодаря этому обстоятельству в 1960-х гг. сложилось ощущение того, что расовая интеграция — это та идея, время которой уже настало.

Как и предсказывает геополитическая гипотеза, престиж глобального могущества США создал американский этнонационализм. Что геополитическая теория прямо не объясняет, так это источник белого сопротивления относительно ассимиляции чернокожих. Здесь мы могли бы вспомнить множество хорошо изученных процессов, благодаря которым этническая стратификация самовоспроизводится. У меня нет ничего нового, чтобы к ним добавить, кроме геополитического контекста, в котором такое сопротивление ассимиляции из легитимного стало нелегитимным. Мировые войны, а особенно быстрый рывок Соединенных Штатов в середине XX в., достижение ими ранга державы с престижем мирового могущества сделали интеграцию в американскую идентичность значимой темой для всех этнических групп[1]. Эти же обстоятельства привели к геополитическому напряжению, связанному со сверхрасширением, прежде всего к обескураживающим поражениям во Вьетнамской войне. Черное движение в Соединенных Штатах включало элементы как освободительного этнонационализма, так и сепаратизма. Этнонационализм возник благодаря явно восходящей траектории американского престижа могущества, что обеспечило движению за

[1] Соединенные Штаты перехватили геополитическое лидерство у прежних великих держав и выстроили послевоенный порядок, способствуя распаду империй последних, а также империй менее крупных обладателей колоний. Поощрение в 1950–1960-х гг. ведомой Соединенными Штатами ООН этнического национализма в постколониальных Азии и Африке привело к созданию атмосферы, в которой произошло культурное определение и началась политическая мобилизация подавляемых этнических общностей и в самих Соединенных Штатах.

интеграцию чернокожих институциональную поддержку со стороны средств массовой информации и в дискурсе государственных чиновников, а также горячую моральную поддержку со стороны космополитически настроенных социальных классов белого населения[1]. Ряд геополитических неудач вызвал настроения делегитимации доминирующей этнической группы, что, в свою очередь, питало черный национализм и сепаратизм. Поражение Соединенных Штатов во Вьетнамской войне было равноценно распаду европейских колониальных империй из-за напряжений Второй мировой войны. В обоих случаях этнонационализм прежде непобедимых государств был поколеблен. Клонящиеся к упадку государства претерпевают моральные натиски на легитимность своего правления, а это отражается в утрате элитой веры в себя, в смешанном чувстве унижения и вины. Именно эта атмосфера вдохновляла бунтарский национализм неассимилированного и ущемленного населения.

В Соединенных Штатах бунтарскому этнонационализму не удалось зайти слишком далеко потому, что геополитическая сила этого государства еще относительно велика. В связи с распадом СССР в 1990-х гг. геополитическое положение Соединенных Штатов вновь укрепилось. Несмотря на всю риторику, сохранившуюся со времен потрясений 1960–1970-х гг., воинственность со стороны чернокожих, латиноамериканцев и азиатов приняла форму борьбы за содержание школьных программ в городских соседских общинах, она касалась сравнительно второстепенных вопросов почтения в отношении культурных символов, а отнюдь не требований о передаче даже части территориальной власти этническим автономиям. Престиж могущества американского государства остается высоким; мы можем ожидать, что престиж общеамериканского этнонационализма будет преобладать до тех пор, пока будет сохраняться та же геополитическая ситуация. Долговременный тренд в данном случае направлен к ассимиляции.

К настоящему времени желаемый стандарт уже не сводится просто к культурному преобладанию белой англо-американской культуры и соответствующего соматотипа. Давление в пользу ассимиляции европейских этнических общностей, которое достигло своего пика

[1] В космополитическом верхнем слое белого среднего класса с 1960-х гг. по настоящее время моральный и культурный престиж стал определяться поддержкой черного движения. Таков один из источников так называемой «политической корректности» 1980–1990-х гг.

в период «Нового курса» и мобилизации во Второй мировой войне, к середине XX в. уже произвело некую гибридную культуру (которая вполне может быть названа «американской креольской»). Гибридный характер этой культуры, несомненно, будет и дальше меняться в связи с включением в нее азиатских и латиноамериканских элементов. Во многих отношениях черная американская культура уже наложила свой отпечаток на американскую национальную культуру, имел место и обратный процесс. Сохраняющиеся различия в большой степени связаны с аспектами классовой культуры, а также с одним отличительным признаком — цветом кожи. По этому поводу геополитическая гипотеза предсказывает оптимистичное будущее для сторонников ассимиляции и пессимистичное — для сепаратистов.

Ключом к приданию расового характера континууму этнических различий служит культурное определение потомков смешанных пар как принадлежащих исключительно нелегитимной категории. На рубеже XXI в. данное культурное определение, по-видимому, разрушается. В 1990-х гг. неуклонно росло признание категории смешанной расы. Последствия такого изменения категориальных границ будут иметь весьма серьезный и долговременный характер. При отсутствии дальнейшего выделения степеней расовой чистоты, наподобие того, что имело место в Бразилии и других странах, распад жесткого разделения черных и белых может привести к тому, что вся эта категориальная схема — «цвет кожи» — утеряет свое центральное значение в качестве этнического маркера. Возможно, мы увидим появление Америки, освобожденной от расовой дихотомии, даже если в течение долгого времени не произойдет ассимиляция всех групп населения. Особая черная расовая идентичность вполне может сохраниться, закрепившись в многочисленном черном низшем классе, который подвержен сегрегации вследствие взаимоусиливающих обратных связей классовой и расовой враждебности, а также «узаконен» криминализацией. Существование культурно обособленного и крайне сегрегированного черного люмпенизированного слоя делает черную кожу общепринятой точкой отнесения и по-прежнему позволяет применять эту категорию по отношению к чернокожим из более высоких социальных классов. Противовесом этой расовой дихотомии является потенциал аморфной категории смешанной расы в деле устранения расового характера американской этнонациональной идентичности. Категория смешанной расы возникает не в результате заключения межрасовых

браков между черными и белыми, как это предполагается в сценариях классических надежд и страхов. Вместо этого она появилась вследствие размывания расовых идентичностей между выходцами из Азии, латиноамериканцами, индейцами, соединения их в некую широкую межрасовую категорию, в которую также вливаются с разных краев белые евроамериканцы и черные афроамериканцы. В обозримом будущем черные и белые могут и смешиваться между собой, но вполне можно себе представить, что они войдут в состав некой более крупной, культурно доминирующей категории.

Если высокий престиж геополитического могущества будет увеличивать престиж единой этнонациональной идентичности, а полная мобилизация всего народа в вооруженные силы станет вливать эмоциональную энергию в такую самоидентификацию[1], то мы можем ожидать, что Америка как мировой гегемон увидит разложение культурного определения расы в грядущих поколениях. Выдающееся геополитическое положение Соединенных Штатов Америки привлекает иммигрантов со всего мира, что способствует тенденции возникновения некой межрасовой идентичности как результата слияния обширного разнообразия этносов самого разного происхождения. В этом контексте классовое различие черных и белых вполне может сохраниться, но все в большей мере лишь в качестве боковых дополнений к дрейфующему центру американской этнонациональной идентичности. Смешанная азиатско-европейско-латиноамериканская идентичность, вероятно, станет той категорий, в которой растворятся все остальные. Однако все это зависит от того, как долго продлится геополитическое господство Соединенных Штатов.

Будущее этничности

Вероятно, этнические разделения будут возникать и размываться на всем протяжении будущего существования человечества[2]. Паттерны этих изменений будут следовать за геополитической динамикой.

[1] См. в работе [Moskos and Butler 1996] свидетельства того, что наиболее сильная солидарность и интеграция черных и белых наблюдалась в армии США в период после Вьетнамской войны.

[2] То же можно сказать и о составляющих этнонациональной идентичности. История языков не завершилась. Языки будущего будут формироваться не только миграцией и контактами, но также геополитическим доминированием и устойчивыми линиями конфликта. Таково обширное поле исследований для центрированной на государстве исторической макросоциологии языков.

Это можно проиллюстрировать, рассмотрев несколько ближайших возможностей.

Крупнейшим геополитическим изменением на рубеже XXI в. является потенциальное появление на мировой сцене двух огромных и могущественных государств — Европейского союза и Китая. От них обоих мы можем ожидать создания направленного на экспансию и заново определенного этнонационального сознания. Уже в 1980-х гг. мы видели попытку определить панкитайскую культурную орбиту в виде конфуцианской культурной традиции; эти идеи выражал такой лидер, как сингапурский политик Ли Куан Ю. Цель этой попытки заключается в том, чтобы преодолеть ныне дискредитированную в геополитическом плане идеологию коммунизма и поставить Китай в центр этнонациональной [панкитайской] приверженности, схожей с панславизмом или пангерманизмом времен расширения соответственно российской и германской сфер влияния. Как далеко зайдет эта идеология, зависит от геополитических переменных, которые могут принести Китаю либо военные конфликты и напряжения, либо установление прямого или опосредованного контроля над смежными регионами.

Европейский союз (ЕС), будучи организован как федерация, возвышающаяся над национальными государствами, идеологически транснационален. В то же время институциональное устройство и культурные сети ЕС, несомненно, будут способствовать возникновению некой европейской культурной идентичности. Насколько значительным будет продвижение в направлении европейского этнонационализма, будет зависеть от престижа могущества ЕС на мировой арене. До сих пор данная федерация сомневалась в отношении мобилизации своей военной силы. Если бы этот шаг был сделан, она, вероятно, распространила бы значительное могущество на своих непосредственных соседей. Даже без сколько-нибудь существенного применения военной силы вакуум могущества в Центральной Европе и на юго-восточном направлении как бы притягивает влияние со стороны ЕС. В этом отношении его главными геополитическими соперниками являются Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций, хотя последняя кажется слишком аморфной, чтобы выработать в каком-либо масштабе этнонационалистический универсализм[1].

[1] До настоящего времени войска ООН воевали только как отдельные национальные формирования, объединенные лишь на высшем уровне военного коман-

В заключение рассмотрим, какой свет проливает геополитическая теория на эти два феномена. Кажущийся парадокс состоит в том, что региональные этнонационализмы в старых европейских национальных государствах претерпели мобилизацию как раз в то время, когда ЕС стал «общим зонтом»: каталонский национализм в Испании, шотландский и валлийский национализмы в Англии, ломбардский национализм в Италии и другие. Не противоречие ли это? Я же полагаю, что данные явления происходят согласно геополитическим принципам. ЕС получил свое могущество от составивших его государств, черпая его прежде всего из их прежней автономии военного действия. Поскольку драматический опыт военного участия является самым сильным источником престижа могущества, утрата независимых вооруженных сил в определенной степени лишила государства их легитимности, а наряду с этим делегитимировала их [доминирующие] этнонациональные идентичности. Подъем региональных национализмов под этим «зонтом» произошел согласно принципу: утрата государством геополитического престижа могущества способствует этническому восстанию. Бунтарство приняло мягкую форму, поскольку национальные государства не были разрушены силой, направленной на раздел территории; вместо этого монополия данной силы сдвинулась вверх к ЕС. Движения за региональную автономию не пытаются установить свою собственную монополию силы, но стремятся действовать в качестве полугосударств под организованным наверху силовым «зонтом». Такие изменения в плане региональной реструктуризации возможны именно в наше время, они обращают вспять тенденцию подъема этнонационализма как следствия консолидации могущества государствами в начале XX в., тогда как теперь в Европе геополитическое могущество вытеснено с уровня национального государства. Эти региональные движения могут быть явлениями переходного периода, когда прежние национальные государства уже делегитимированы, а полноценное общеевропейское государство еще не возникло.

Геополитическая теория прямолинейно и не особенно привлекательно представляет условия, при которых ЕС мог бы стать эмоционально притягательным магнитом для некой новой общеевро-

---

дования. Не было никакого опыта битв с участием солдат различных национальностей в смешанных рядах некой мировой армии.

пейской национальной консолидации (a new Euronational loyalty), стать основанием для пан-европейской этничности: ЕС должен был бы стать полноценным государством в веберовском смысле, мобилизуя свое население через коллективный военный опыт. Возможно, конечно же, что этого никогда не произойдет. Европейская неприязнь к милитаризму во второй половине XX в. может соединиться с имеющейся этнической раздробленностью и препятствовать подъему коллективных настроений, требуемых для действия европейской военной силы. С учетом давних традиций государственного использования силы и относительную эфемерность политических настроений, особенно тех, что связаны с реакцией на прошлую ситуацию, весьма сомнительно, что европейский пацифизм так и будет всегда доминировать. Но пока он существует, геополитическая теория выводит структурное следствие: ЕС не станет объектом сильной эмоциональной приверженности, хотя он может стать удобным каркасом культурных и экономических связей.

Геополитическая теория этнонационализма также предлагает объяснение ужасающего этнического насилия в конфликтах между частями бывшей Югославии. Когда-то связанное в единое целое, государство распалось и пережило подъем этнических национализмов, причем в самых крайних проявлениях. Особая идентичность Югославии заключалось в том, что она была буферным государством, промежуточной зоной между коммунистическим и антикоммунистическим блоками. Распад советской империи и идеологическая делегитимация коммунизма оставили Югославию без ее идентичности и без геополитической роли. Будучи небольшим государством, Югославия занимала особое положение в мировой иерархии престижа могущества, играя роль посредника, или «брокера», облегчавшего торг между двумя могучими блоками, причем такой престиж Югославии не особо зависел от имевшихся у нее ресурсов. Во время «холодной войны» Югославия вполне соответствовала архетипу нейтрального государства, она была лидером-первопроходцем нейтрального блока. У Югославии не было никакого иного легитимирующего ресурса, кроме этой ниши, которую она утратила из-за крушения советского блока. Неясность относительно того, на что могло бы опереться государственное могущество в новых условиях, вызвала местную гонку вооружений и череду взаимных жестокостей, которые быстро выстроили из латентных

этнических идентичностей как бы исконные (примордиальные) чувства вражды и ненависти[1].

В этих обстоятельствах геополитическая теория также предлагает некий прогноз. Ключ к завершению этнической распри состоит в восстановлении престижа могущества государства, причем не обязательно югославского государства, которое безнадежно делегитимировано, но любого иного, главное, — эффективного государства. Наиболее очевидным решением для ЕС было бы предложение инкорпорировать все части бывшей Югославии. В то же самое время ЕС должен действовать как сильное государство, которое не терпит никакого противодействия по отношению к его собственной монополии на легитимное насилие на своей территории. ЕС вполне мог бы разоружить бывшую Югославию, но только обратив значимую эмоциональную приверженность на себя. Сербы, боснийцы, хорваты и все остальные могли бы вновь стать мирными гражданами, наряду с другими типичными гражданами любого другого сильного современного государства. Насколько вероятно, что такое случится, — это уже другая история. Поскольку сам ЕС движется весьма медленно и осторожно в плане собственной трансформации в полноценное государство, сомнительно, способен ли он в ближайшем будущем предложить такого рода решение.

---

[1] Даже если не принимать во внимание изменившуюся геополитическую конфигурацию, примордиалистская интерпретация этнической борьбы в бывшей Югославии ошибочна еще по одной причине. Такого рода толкования наиболее оправданы в ситуациях, когда государство не пронизывает общество, а составляет лишь тонкий верхушечный слой. Однако даже в этом случае такие интерпретации плохо объясняют этническую вражду, поскольку протоэтнические группы, как правило, мирно сосуществовали друг с другом в обстановке отсутствия мобилизации перед тем, как государство начало свое проникновение (Барки показывает это на примере Австрийской и Османской империй; см. [Barkey 1997: 103]). На мой взгляд, бывшая Югославия отнюдь не являет собой пример отсутствия государственного проникновения; имело место ровно обратное: будучи коммунистическим обществом, она представляла собой систему с наиболее глубоким проникновением государства. Падение коммунизма стало двойным ударом, поскольку привело к утрате геополитического престижа (в том числе посреднической ниши как некой версии международного статуса), а также к разрушению основной структуры проникновения государства. Результат же оказался наихудшим в обеих сферах: достаточно централизованное государство и экономические структуры сохраняют арену для борьбы между [этническими] группами, тогда как проникновение государства, которое могло бы удержать эти группы от насилия, делегитимировано.

На рубеже XXI в. на Западе, включая Европу и Соединенные Штаты, преобладающие настроения склоняются к мультикультурализму, связанному с враждебностью к этнонационализму на государственном уровне и сочувствием к закреплению этнического своеобразия в нишах внутри государства. Является ли это просто очередным колебанием маятника истории, которому вновь придается чересчур большое значения из-за близорукости настоящего времени, или же это долгосрочное структурное изменение? Ответить на этот вопрос можно только на основе строгой макроисторической теории относительно процессов большой длительности, а она только теперь начала складываться. Тем не менее я предложу некий диагноз.

Геополитическое ядро государства никогда не исчезнет, но геополитические ситуации могут принимать разные формы. Структурная ситуация 1990-х гг. напоминает баланс могущества, который сложился не столько вследствие мощной военной мобилизации полудюжины великих держав, целенаправленно удерживающих равенство альянсов, сколько благодаря зарождающейся взаимосвязи международных сетей. Торговля, миграция, офшорное производство и финансовые спекуляции, а также огромное множество международных организаций, не обязательно лишают государства способности вести военные действия. Это обошлось бы им дорого, но войны всегда стоили дорого, а экономическая иррациональность войн никогда не была серьезным препятствием ввиду их эмоциональной привлекательности. Что делают сегодняшние транснациональные сети, так это способствуют росту космополитической элиты, в чем-то подобной дипломатам, наемникам и экспортерам культуры, наводившим мосты в Европе в эпоху Просвещения XVIII в.

Рука об руку с геополитикой баланса могущества идет космополитизм, который взирает сверху вниз на все местное и особенное, как на отсталое и низшее в нравственном отношении. Язык мультикультурализма, на мой взгляд, является сегодня таким же *lingua franca*, каким был французский язык в эпоху Просвещения. Есть ирония в многослойности этого нового *lingua franca*, поскольку мультикультурализм (или «политическая корректность») презирает этнический национализм (причем презирается именно собственный национализм), превознося при этом примордиалистские идеологии недавно освободившихся этнических общностей. Поскольку все этничности сконструированы и ни одна из них не является примордиальной, данный подход представляется нелогичным. Таково понятие

терпимости, или толерантности, которое включает терпимость к нетерпимостям или, точнее, терпимость к определенным привилегированным нетерпимостям. Однако эти понятия основаны на более глубокой макроисторической логике. Этническими комплексами особенностей, или партикуляризмами, которые делегитимированы, оказываются партикуляризмы именно национального государства, а поощряемыми — те, что никогда не поднимались на уровень привилегированной национальной этнической группы. Обычно, как только угнетенное или иным образом униженное этническое движение близко подбирается к государственной власти или мобилизует вооруженную силу, что делает государственную власть досягаемой, оно начинает наносить такие же обиды этническим чужакам, причем это характерно для любого этнонационализма. Язык *lingua franca* мультикультурализма питает романтические надежды, схожие с просвещенческими идеалами «благородного дикаря» и «естественного состояния». Этот язык идеализирует негосударственные этничности, стараясь игнорировать государственные формы, которые делают сами эти этничности возможными и которые притягивают их к государству, как металлические опилки к магниту. Чтобы быть социально эффективным, *lingua franca* не должен утверждать что-то конкретное, ему нужно быть общей средой коммуникации. Этот язык структурно соответствует той ситуации баланса могущества, которая преобладает, по крайней мере в западных обществах, при сложившемся положении дел в мировой истории.

Глава 4

Демократизация извне внутрь: геополитическая теория коллегиальной власти

О теориях демократии обычно пишут, держа в уме некую конкретную историю — повествование, или нарратив, со всем бременем принимаемых на веру теоретических предположений. Таким архетипическим нарративом является история Англии — образчик того, что мы имеем в виду под демократией. Наряду с этим излагаются несколько противоположных нарративов или архетипов того, что демократией не является; в первую очередь такова Германия, недемократичность которой достигла своей кульминации в нацизме, такова и Россия со все более трогательным рассказом о ее недавней битве по сбрасыванию антидемократического наследия*; во вторую очередь — Франция, которая находится где-то посередине, обреченная быть ни тем ни сем. В немалой части исторического повествования, а также слишком часто в сравнительном теоретизировании, эти полярные случаи трактуются в телеологическом ключе (например, см. [Greenfeld 1993]). Мы знаем, что Англия стала полноценной демократией, проделав ряд последовательных шагов по демократическому пути. Германия же, напротив, была по своей внутренней природе недемократической. Путь, ведущий к этой архетипической судьбе Германии, представлен пиетизмом** XVIII в.,

---

* В основу данной главы положена статья, написанная Коллинзом в середине 1990-х гг. Соответственно, здесь имеются в виду события в СССР времен перестройки и в России начала 1990-х гг.

** *Пиетизм* — мистическое течение в протестантизме, основанное немецким теологом Шпенером, ставившим религиозные чувства выше церковных догматов, насаждавшим веру в чудеса, фанатизм и мистику, объявлявшим развлечения греховными и т. д. Пиетизм также ассоциируется с показным благочестием и ханжеством.

милитаризмом Фридриха Великого, бесплодностью буржуазной революции 1848 г.; сущность же [немецкого антидемократизма] в полном объеме проявились в нацистском режиме. Историография Германии написана в тени Гитлера, историография России — в тени Сталина.

В телеологии напрашивается вопрос о поворотных моментах. По всем стандартным критериям Федеративная Республика Германии с 1949 г. была стабильной демократией, то же относится и к Японии с 1946–1952 гг. Действительно ли период в половину столетия ничего не значит для сравнительного анализа? Пренебречь данным периодом удобно, если есть желание подвести эти случаи под категорию, указывающую на их истинные цвета в режимах 1930-х гг. Если представить тезис более систематически, то получается, что режимами после 1945 г. можно пренебречь лишь на том основании, что они были навязаны извне с помощью армии завоевателей. Является ли подразумеваемый здесь принцип действительным объяснением? Тогда навязывание силой политического режима является основным фактором, определяющим его долгосрочный характер. В качестве общего принципа этот тезис неверен, что показывают многочисленные сравнительные данные. Введенные в Восточной Европе режимы советского типа являются лишь одним рядом отрицательных примеров; другим рядом являются неоднократные провалы попыток племен-завоевателей из Северной Азии искоренить китайские династические институты. Также неверно предполагать, что в 1945 г. демократические институты в Германии и Японии возникли с нуля. С 1919 по 1933 г. в Германии была полноценная демократия, отнюдь не навязанная извне, ее парламентские институты уходят далеко в прошлое. В Японии парламентские институты существовали с 1889 г. с всеобщим для мужчин избирательным правом, начиная с 1925 г., и наличием нескольких партий вплоть до 1940 г. [Kinder and Hilgemann 1968: 451]. Следует учитывать такие структурные паттерны в любой серьезной попытке объяснить наличие демократии в конкретные периоды и в конкретных местах.

Эксплицитно телеология входит в теорию под видом «культуры». Германия и Япония лишены демократической культуры. Напротив, Англия и Соединенные Штаты были построены на основе такой культуры. Культура включает в себя то, что передается из прошлого; мы делаем что-то определенным образом, потому что такова

традиция, потому что мы и раньше так делали, причем с незапамятных времен, или по крайней мере со времени настолько далекого, что нас уже не волнует, как эти традиции возникли. Историки свободно используют понятие культуры и близкие ему; в теориях социологов явно отстаивается концепция культуры, в сегодняшней метатеоретической полемике культура считается оплотом человеческого достоинства, независимости от материальных и структурных условий, или же гарантией свободы от детерминистских тисков причинно-объяснительной теории. На самом же деле детерминированность культурной традицией является особенно жесткой и консервативной формой детерминизма. Объяснение на основе культуры находится в опасной близости к желанию представить некий ярлык для подручного паттерна чем-то бóльшим, чем реифицированным* описанием того, что как раз и требуется объяснить. Объяснение через национальный характер — это старомодная версия все той же ошибки.

Если признается, что в начальной точке на некую традицию повлияли определенные условия, то резонно спросить, почему в какой-то другой момент времени условия также не могут изменить эту традицию, возможно, даже радикально. Нам требуется теория событий и структур, причем даже теория, придающая весомость культурной традиции, нуждается в основаниях для объяснения того, когда и как эта весомость может существовать. Предположим, что Англия обрела демократическую культуру в какой-то момент времени (скажем, в 1640 или 1689 г., если не в 1215 или 1832 г.), до этого она была наравне с Германией или Россией XX века. Если есть условия, которые приводят к демократической культуре, то они играют решающую роль в разработке объяснительной теории. Точно так же должны быть условия, которые могут модифицировать демократическую культуру, повысить ее или понизить, а возможно, и полностью ее устранить. Невозможно утверждать, что в Англии теперь всегда будет демократия, или, что в период, скажем,

---

* *Реификация* (*овеществление*) — важное эпистемологическое понятие у Коллинза, под которым он подразумевает придание реального (действительного, вещественного) статуса тому, что им не обладает. Вероятно, здесь есть идейная преемственность от указаний на бессмысленность привычных языковых штампов — «глоссов» — у Гарфинкеля, от критики предметно бессодержательных высказываний, пустоты метафизических терминов и т. п. в традиции неопозитивизма и аналитической философии.

между 1689 г. и настоящим временем, никакое событие или структурное преобразование не могло изменить эту культуру.

А если это верно для Англии, он также должно быть верно и для Германии, или для Японии, или для России. Мы знаем, что в Германии были такие условия по меньшей мере дважды — в 1919 г. и вновь в 1949 г. Также Россия, несмотря на злосчастность своей истории (however ill-fated by its history), имела по крайней мере некую версию демократии, начиная с 1991 г., поэтому должны быть некоторые устанавливаемые и обобщаемые условия, которые сделали бы возможным процветание российской демократии. В той же логике, поворот Германии к крайней антидемократичности нацистского режима имеет причины в определенных типах событий и структур. Если Англия может иметь свои переломные моменты, то может их иметь и Германия, к добру это или к худу. Германия не была из-за своей культурной сущности необходимо обречена стать нацистским государством. Тот факт, что это произошло между 1933 и 1945 гг., связан с конкретными причинами, которые вполне могут оказаться лишь непосредственно предшествующими этому периоду.

1. Телеология, культура и одномерная причинность

Наиболее серьезным недостатком телеологического анализа демократии является то, что многомерный процесс втискивается в единственное понятие: такова «демократическая культура», которая у одних обществ есть, а у других — нет. При этом сравнительный анализ направляется на то, чтобы показать условия, связанные с относительной силой демократии. Рассмотрим, однако, откуда появился этот одномерный концепт «демократизации». Термин «демократия» не был популярным вплоть до XIX в. но родственные понятия восходят к древней Греции и Риму. Понятия «свободы» (“liberty”) и «вольности» (или, «независимости» — “freedom”) уже давно использовались учеными и политическими ораторами, они были связаны с периодами бурного эмоционального подъема политической мобилизации, становились популярными лозунгами обороны против вражеских захватчиков, а также движений сопротивления и бунта. Менее архаичными терминами для обозначения политического блага являются «народ» (“the people”, именно его использовали

британцы XVII в. в качестве собирательного для аристократии и джентри, противостоящих короне) и «равенство». Другой концепт — это «права», соотносимый с тем или иным понятием из указанных выше. В разгар политических словесных баталий эти термины часто использовались как более или менее взаимозаменяемые. Они составляют целое риторическое семейство, которое к XX веку вошло в известный собирательный термин «демократия».

Все эти термины имеют полярные противоположности: свобода против рабства, демократия против деспотизма, права против ущемления или отмены прав. Таковы полярности с высоким накалом эмоций, связанные со страстными призывами по типу «все или ничего», «свобода или смерть!» Таковы лозунги для сражений, их одномерность характерна для поляризации противоборствующих сторон, которая в момент наивысшей степени мобилизации упрощает структуру интенсивного конфликта, разделяя всех на два лагеря. Вот одна из причин, почему теория и история демократии с таким трудом продвигаются в аналитическом плане. Их понятия унаследованы от моментов наибольшего эмоционального подъема в политической жизни, а исследователь опосредовано принимает участие в применении этих лозунгов, теперь уже делая их центром внимания в своей работе. Теория демократии является одной из наиболее идеологически засоренных, причем в самой сердцевине своего понятийного аппарата.

При более нейтральном анализе, «свобода», «права», «равенство» и прочие понятия оказываются весьма неоднозначными. Свобода для одной группы может стать притеснением для другой; права феодальной аристократии, собранные в Великой хартии вольностей (Magna Carta) 1215 г., не давали никаких существенных прав крестьянству, и хорошо известно, что равенство в одних аспектах может укреплять неравенство в других. Если мы относим себя к «демократии», с явным вниманием к соответствующим структурным механизмам, или устройствам (structural arrangements), то остается значительная неопределенность относительно того, для кого данное устройство является демократическим, а для кого — антидемократическим. Венецианская республика, существовавшая примерно с 1170 г., была по меньшей мере протодемократией — сложно структурированным политическим устройством, препятствовавшим установлению деспотического господства одного человека или семейства. В то же время избирательные органы в Венеции были построены на основе патрицианских семей, что с точки зрения аутсай-

деров выглядело как недемократическая олигархия. Тем не менее у венецианцев была традиция и риторика защиты своих прав и свобод, и она, по крайней мере в некоторых отношениях, продолжается в тех традициях, которые составили современную демократию.

В англоцентричном нарративе стало привычным считать Великую хартию вольностей ступенькой на телеологическом подъеме к современной демократии. В случае Венеции же мы видим лишь олигархию. В случае немецких «вольных городов» в период от средневековой империи до XIX в., принято сосредоточивать внимание на негативной стороне; и поскольку Германия представляет собой антидемократическую сущность, ее ограниченные формы демократии трактуются лишь как олигархии. Голландское восстание против Испании и образование Голландской республики (1568–1584 гг.) были отправными точками для популярных лозунгов свободы, получивших распространение в английских революциях следующего столетия; поскольку англоцентричный взгляд принимает сторону англичан, неоднократно сражавшихся с голландцами в период 1650–1674 гг., голландцы не включены в канон революций Нового времени и, как правило, не считаются образцами демократического пути. Конечно же, Голландская республика была олигархией с многочисленными чертами деспотизма, с точки зрения тех, кто не состоял в правящих религиозных и классовых группировках, но то же самое было верно и для тогдашней Англии, причем на протяжении долгого времени.

Здесь идеализация, телеология и одномерность укрепляют друг друга. Предполагается, что демократия — это бесспорное благо; то, что она может быть бóльшим благом для одних, чем для других, может даже появляться в образе угнетения для некоторых групп населения, — таковы обстоятельства, на которые позволяет нам закрывать глаза выборочное внимание телеологической истории.

2. Демократизация в нескольких измерениях: коллегиальное разделение власти и широта избирательного права

Поскольку демократия является многомерным набором структур, нам понадобится отдельная теория причинности для объяснения каждого ее измерения. Каждое же измерение представляет собой

континуум, это вовсе не условие типа «все или ничего». Противоположное впечатление возникло из-за того, что многие точки на этом континууме оспаривались при использовании лозунгов, представлявших расстояние между ними настоящей пропастью между добром и злом в политической сфере. Нам нужно заменить телеологические нарративы объяснением движения, — причем движения отнюдь не всегда в одном направлении — а вдоль нескольких континуумов. Порвав с англоцентричной телеологией, мы можем ожидать, что исторические движения вдоль этих континуумов не обязательно совпадают с обычными объяснениями, что Англия не всегда была в авангарде в каждом таком измерении, а Германия отнюдь не всегда отставала.

Я предлагаю рассматривать два ключевых и одно дополнительное измерение демократизации. Два главных измерения — это уровень коллегиально разделенной власти (degree of collegially shared power), и уровень участия в выборах — широта избирательного права (extent of participatory franchise). Дополнительное измерение составляют политические права. Оно является дополнительным, поскольку имеет склонность с течением времени следовать за движениями в главных измерениях и во многом ими обусловлено. Это будет полезным упрощением для наших целей, поскольку описание нескольких измерений уже является весьма сложным, а тем более сложно их причинное объяснение[1].

Коллегиальная власть разделяется такими институтами, как разнообразные советы с коллективным принятием решений, избирательные органы, собрания (ассамблеи) и законодательные органы, независимая судебная система (разработанную типологию см. в книге [Weber 1968: 271–283]). Таковы структуры, которые распределяют власть между несколькими акторами или органами (единицами, образованиями — units). Федерации и коалиции являются формами коллегиального разделения власти на более высоком уровне организационной структуры, однако власть в самих состав-

[1] Правомерны и другие, более сложные, типологии. Например, Тилли, Макадам и Тэрроу предлагают четыре измерения, каждое из которых является континуумом: распространение гражданства, равенство граждан, связывающие обсуждения, защищенность от произвольных действий со стороны представителей государства [Tilly, McAdam and Tarrow 1997]. Я использую более простую типологию, поскольку собираюсь сделать упор на ключевое и слабо теоретизированное измерение — *коллегиальное разделение власти*.

ных частях может быть структурирована автономно (internally). Для простоты давайте изобразим уровень коллегиальности власти выстроенным вдоль абстрактного континуума. На одном его полюсе власть сосредоточена в централизованной иерархии под управлением и произволом некоего автократа. По мере продвижения вдоль этого континуума, число коллегиальных структур растет, равно как и их относительная власть в сравнении с центральной иерархией. Совет или законодательный орган, редко собирающийся и имеющий лишь совещательные права, составляет меньшую коллегиальную демократию, чем органы с бюджетными полномочиями, те, в свою очередь, оказываются слабее органов, способных инициировать политические стратегии (policies). На этом противоположном полюсе (который редко обнаруживается, разве что в нескольких античных городах-государствах, в настоящее время — в некоторых советах небольших городов), коллегиальный орган вовлечен в повседневное осуществление власти.

Широта избирательного права — это доля населения, которая допущена участвовать в политике. Избирательное право (franchise) имеет смысл только в контексте коллегиальных институтов, определяющих структуры власти, в которых осуществляется это участие, т. е. некие «формы», в которые «разливается» участие меняющегося числа лиц. Наследственная автократия (самодержавие) — это точка исчезновения, в которой избирательное право вообще отсутствует. Чуть дальше вдоль этого континуума есть такой пример узкого избирательного права, как Коллегия кардиналов, избирающая пап; ее состав варьируется в диапазоне от 12 до 87 [Kelley 1986: 191, 272, 321]. К противоположному полюсу мало кто приблизился. На практике, даже «всеобщее» избирательное право ограничено взрослыми людьми (причем возрастные границы определяются по-разному), исключает лиц, находящихся в тюремном заключении, и так далее. Даже внутри этих границ, почти всюду до 1920 г. более половины взрослого населения были исключены из участия в выборах: женщины, те, кто не владеет собственностью, не главы домохозяйств, слуги, рабы и рабочие. Поразительно, что реальное в истории недопущение женщин к выборам игнорируется практически всеми политическими теоретиками; в лучшем случае, оно рассматривается в качестве тривиального исключения, которое никак не влияет на суждения о демократии. Аналитическая интуиция здесь, похоже, указывает на молчаливое признание того, что изби-

рательное право — это не единственное измерение демократизации, и что коллегиальное разделение власти является более фундаментальным. Конечно же, это второе измерение едва ли является второстепенным. Если в качестве критерия демократии взять широкое избирательное право (или даже право избирать для простого большинства), то окажется, что до самого последнего времени вообще нигде не было демократии.

Политические права включают в качестве самых важных свободу общения и мобилизации (свободы слова, печати, собраний). Эти права, хотя и являются центральными в символическом плане из-за их значимости в политической борьбе тем не менее в нескольких смыслах являются аналитически второстепенными. Многие политические права являются ответвлениями институциональных паттернов, относящихся к главным измерениям демократизации. Свобода собраний и право на коллективное обращение к властям с жалобами (петициями) являются абстрактным выражением тех типов деятельности, в которые могут включаться члены коллегиальных институтов. Свобода как защищенность от произвольного ареста и наказания напрямую зависит от существования независимой судебной системы и связывающей силы законодательной власти, возвышающейся над органами правительственной иерархии, т. е. исполнительной власти. Права являются культурным самовыражением и кристаллизацией результатов борьбы, продвигавшей движение по двум основным континуумам демократии. Права имеют определенную аналитическую автономию, поскольку государства редко находятся на крайних полюсах демократизации. Государства с коллегиальными институтами или широким избирательным правом часто вводили цензуру и проявляли нетерпимость в отношении более или менее радикального изъявления политических взглядов. В целом мы можем лучше понять [политические] права в контексте объяснения уровня разделения коллегиальной власти и широты избирательного права, чем наоборот[1].

[1] Я опускаю эмпирическое обоснование данного пункта, чтобы сосредоточить внимание на структурных измерениях. Изучение сравнительной истории политических прав показало бы, что даже англо-американская традиция включает отсутствие или нарушение этих прав в конкретные периоды и для определенных групп населения. Следовало бы провести вдумчивый социологический анализ этого измерения демократии.

Таблица 1. Четырехчастная типология коллегиальной власти и избирательного права

	Высокая коллегиальность власти	**Низкая коллегиальность власти**
Узкое избирательное право (малая доля населения допущена к выборам)	Олигархическая республика (1)	Идеально-типическая деспотия (4)
Широкое избирательное право (большая доля населения допущена к выборам)	Идеально-типическая либеральная демократия (2)	Плебисцитарная автократия (3)

Пересечение двух основных измерений показывает возможность существования четырех степеней демократизации (см. табл. 1).

(1) На одном полюсе находится высокая коллегиальная разделенность власти в сочетании с узким избирательным правом. Примером могло бы быть некое аристократическое государство с отсутствием или крайней слабостью центральной монархической власти; так, польское государство XVI–XVII вв. с избираемым королем подпадает под эту категорию. Другим примером могла бы быть олигархическая республика, такая как Венеция, в которой малочисленная элита проводит в своем кругу все голосования, осуществляет административные функции, чередуя глав администрации и почитая конституционные принципы.

Спускаясь по континууму в левом столбце, мы приходим к другому полюсу — (2) высокой коллегиальности власти в сочетании с широким избирательным правом. Таков идеальный тип современной демократии, возможно, редко реализуемый. В правом столбце один полюс (3) совмещает отсутствие коллегиальной власти с широким избирательным правом. Такова плебисцитарная автократия, в которой есть единственный автократ, не ограниченный парламентом или балансом сил, зато избранный при всеобщем участии [в голосовании]. На этом полюсе значение избирательного права в осуществлении власти пренебрежимо мало, но такое сочетание дает отличительной эмоциональный характер массовой мобилизации фашистских государств. В историческом плане этот полюс также обнаруживается в случаях народных вождей; соответствующий порядок был институционализирован в племенной практике выбора военных вожаков диктаторского типа через выкрикивание имен. На боковой ветке этого континуума располагается сочетание широкого избирательного права и слабого совещательного парламента, что в начале XIX в.

имело место во многих европейских государствах. На противоположном полюсе (4) отсутствие коллегиальной власти совмещается с нулевым избирательным правом. Таков идеальный тип деспотии. На практике же, при фактических пределах организационной централизации и наличии придворных клик, эту крайность обычно смягчает некий уровень коллегиальности власти.

Данная многомерная схема позволяет нам с большей точностью схватывать концепции, лежащие в основе привычных исследований демократии. В большой части современных исследований использовано определение демократии, подчеркивающее конкурентность выборов, а также гарантии политических и личных прав [Lipset 1994]. Исследователи неявно предполагают, что выбираются представители тех учреждений, которые имеют реальную власть (а не только внешние атрибуты руководящего статуса); считается само собой разумеющимся, что власть избранного руководителя исполнительного органа хотя бы в некоторой степени коллегиально разделена. Взятые буквально в качестве единственного критерия, открытые и справедливые выборы пожизненного диктатора, власть которого не сдерживается никакими коллегиальными структурами, не должны считаться вполне демократичными; в многомерной модели такое правительство попадает в ячейку плебисцитарной автократии. Если бы папа избирался не только коллегией кардиналов, но всей Церковью, результатом была бы именно такая структура. Это показывает значимость явного рассмотрения обоих измерений: не просто наличия выборов, но также относительную частоту выборов в органы с различным уровнем коллегиальности власти и участия в ней разных групп населения.

Уровни демократизации в некоторых крупных государствах

Ни одно из западных обществ не продвигалось к демократии последовательно и одновременно в нескольких измерениях. В Англии коллегиальные структуры существовали в форме феодальных советов начиная с XI–XII вв. После ряда баронских мятежей, к 1265 г. появился расширенный дворянский парламент, занятый голосованиями относительно финансовых взносов для ведения войн; двухпалатная структура с Палатой лордов и Палатой общин появилась между 1295 и 1350 гг. Независимая судебная власть и местные

администрации возникли в форме адвокатских гильдий и мировых судей как выходцев из среды джентри примерно между XII и XIV вв. Верховенство парламента над исполнительной властью устанавливалось постепенно после 1710 г.; абсолютная власть монарха была окончательно утеряна при Георге III (1760–1820 гг.)[1]. Палата лордов сохраняла право вето в сфере законодательства до 1911 г., высшая аристократия преобладала в министерствах правительств, образованных обеими партиями, до появления в 1905 г. лейбористского правительства [Kinder and Hilgemann 1968: 155, 185, 265, 305, 380, 422; CMH 1910, 11: 339–342; 12: 41–42].

Избирательное право в отношении участников формирования этих учреждений долгое время было весьма ограниченным. Средневековый парламент включал немногих наследственных лордов. Палата общин набиралась через голосование, в котором принимало участие небольшое число землевладельцев, в городах же голосовали только наиболее богатые буржуа. В первый большой период деятельности политических партий, министерств вигов и тори 1700-х и начала 1800-х гг. парламентская демократия была основана на голосовании не более, чем 8 % взрослого населения. Согласно реформаторскому закону 1832 г. было отменено неравенство, связанное с «гнилыми местечками», которые контролировались богатыми аристократами, и был введен имущественный ценз, допускавший к выборам уже 20 % мужского населения Англии, 12 % в Шотландии и 5 % в Ирландии [McEvedy 1982: 10, 30; Mann 1993: 110–114, 617]. В 1867 и 1884 гг., когда правительства консерваторов расширяли избирательное право, включая в число избирателей имевших собственность глав домохозяйств, сначала в городах, а затем и в сельских районах, число избирателей выросло до 4 млн чел. при населении 25 млн (в 1867 г. голосовало 33 % взрослых мужчин, в 1884 г. — 66 %). В Ирландии католики не допускались к голосованию до 1793 г. (при весьма строгом имущественном цензе), в Англии — до 1829 г., и им было запрещено занимать судебные и высокие политические должности вплоть

[1] Институализированная традиция мирного чередования партий в руководстве не была принята с достаточной четкостью вплоть до 1740-х гг. В 1715 г. лорд Болингброк, возглавлявший министерский кабинет тори в 1704–1708 и 1710–1714 гг., был обвинен в заговоре — стремлении вернуть прежнюю католическую династию, был изгнан и прожил в ссылке во Франции до того, как получил прощение в 1723 г. Последняя попытка восстановить монархию Стюартов была предпринята в 1745–1746 гг., когда шотландская армия захватила Англию.

до 1840-х гг. Евреи получили право заседать в парламенте в 1866 г. Всеобщее избирательное право для мужчин не было законодательно учреждено до 1918 г. затем женщины 30 лет и старше также получили право голоса. Всеобщее избирательное право, в том числе для женщин в возрасте 21 года и старше, появилось в 1928 г.

В Соединенных Штатах во многих колониях 1700-х гг. существовали местные [законодательные] собрания. Первое радикальное структурное изменение в странах Запада связано с Конституцией США 1787 г., учреждавшей избрание президента, законодательных собраний и сопутствовавших структур на уровне штатов. Однако избирательное право было ограничено в некоторых отношениях [Williamson 1960; Mann 1993: 153]. Долговая кабала просуществовала до начала XIX в.; во многих штатах действовал имущественный ценз. Избирательное право в колониальных законодательных собраниях колебалась от 50 до 80 % взрослых белых мужчин; [Американская] революция расширила этот круг до 60–90 % и отменила религиозные ограничения; всеобщее избирательное право для белых мужчин появилось только в 1840-х гг. (после ожесточенной борьбы в некоторых местах, включая восстание в Род-Айленде). До 1870 г. рабы, составлявшие 15 % населения, были вообще исключены из числа голосовавших. Фактически же во многих штатах право негров голосовать отрицалось вплоть до 1960-х гг. Американские индейцы не допускались в политику до 1924 г. Национальное избирательное право исключало женщин до 1920 г.

Во Франции 1600-х гг., после провала аристократического мятежа против абсолютистского правления Ришелье, средневековые парламентские институты в целом утеряли свое влияние. В местных делах парламенты продолжали контролировать судебные функции, в 1700-х гг. они выступали в качестве сдерживающего начала по отношению к абсолютизму королевской власти; членство в парламентах представляло собой олигархию богатых. Во время Революции, в 1791 г., избирательное право было распространено на владельцев собственности, составлявших 60 % мужского населения, затем в 1793 г. оно было расширено на всех мужчин. Вследствие переворота 1799 г. влияние избирателей было ограничено рядом непрямых выборов; ярким выражением этих сдвигов стало то, что у законодательных собраний оставались полномочия лишь утверждать законы, навязанные сверху. Плебисцитом 1804 г. Наполеон был избран в качестве императора с правом оставлять наследников.

После Реставрации в 1815 г. продолжало существовать законодательное собрание, основанное на ограниченном избирательном праве, распространявшемся только на самых богатых землевладельцев (треть от 1 % взрослого мужского населения), также существовала палата наследственных пэров. В конституционной монархии 1830 г. палата депутатов получила право законодательной инициативы. В 1848 г. было учреждено всеобщее для мужчин избирательное право вместе с прямыми выборами обоих законодательных органов и президента. После того как государственный переворот 1851 г. был подкреплен плебисцитом, полномочия избираемого законодательного органа были ограничены утверждением законов, поступавших сверху. Этот режим становился все более конституционным после 1860 г. из-за финансовых трудностей Наполеона III и последующих переговоров с парламентскими фракциями. После 1875 г. законодательный орган обрел полноту полномочий, в том числе включавших непрямые выборы сената и президента. На женщин избирательное право не распространялось вплоть до 1946 г. [Kinder and Hilgemann 1968: 290, 295, 302, 344, 353; CMH 1910, 10: 61–67, 71, 478–487; 11: 472, 490; McEvedy 1982: 10].

В Германии коллегиальные структуры власти имели мощные средневековые корни. В ту эпоху принятие решений собраниями дворян и аристократии практиковалось во многих частях Германии; *Ständestaat** соединяло привилегии «сословий» и корпораций с должностями в княжеской администрации [Rosenberg 1958]. Императора избирали на основе крайне ограниченного избирательного права — в выборах участвовали главы восьми государств. Имперский рейхстаг представлял собой съезд послов из нескольких государств империи. Имелось большое количество «вольных городов» и самоуправляемых малых городов, контролируемых олигархическими советами, членами которых обычно были мастера (магистры) гильдий. Эти муниципалитеты утеряли свою независимость после 1800 г., но формальные структуры местного самоуправления, как правило, сохранялись [Bendix 1978: 378–384]. Более крупные государства, появившиеся благодаря объединениям в XVII–XVIII вв., были автократическими монархиями. Ассамблеи возродились в 1820-х гг. с символическими правами подачи петиций и проведения консультаций по вопросам, поставленным правительством; так было,

* *Ständestaat* (*нем.*) — здесь: сословное государство.

в частности, в Пруссии. В некоторых других государствах были приняты умеренные конституции по французской модели [Bendix 1978: 424–425; Kinder and Hilgemann 1968: 321]. При объединении Германии в 1871 г., имперский рейхстаг получил власть над бюджетом и законодательством, тогда как император сохранил право назначать канцлера. Структурно данная ситуация напоминает британское устройство, в котором сильный парламентский лидер фактически мог управлять исполнительной ветвью власти (эту особенность подчеркивали консервативные немецкие политические мыслители). Бисмарк осуществлял такую власть вначале в Пруссии, затем — в Рейхе, с 1861 по 1890 г.; после этого и до 1917 г. император брал верх над своими канцлерами, особенно в международных делах.

Избирательное право в Пруссии после 1823–1824 гг. распространялось только на землевладельцев, и примерно то же было в других германских государствах [Bendix 1978: 426–428; Schnadelbach 1984: 15–16]. Восстания 1848 г. в целом привели к установлению всеобщего избирательного права для мужчин, которое в период последующей реакции было скорректировано, но полностью не устранено. Прусская конституция, действовавшая с 1850 по 1916 гг., разделяла избирателей на три категории на основе уровня налогообложения; причем две верхние категории (содержащие 4,5 и 12,6 % избирателей) избирали две трети делегатов. Имперский рейхстаг, после 1871 г. игравший роль зонта над государствами, которые имели свои собственные ассамблеи, избирался на более либеральных началах: было установлено всеобщее избирательное право для мужчин 25 лет и старше. Веймарская конституция 1919 г. расширила избирательное право на всех мужчин и женщин старше 20 лет. Вследствие нацистского переворота 1933 г. это избирательное право было отменено вместе с парламентской формой правления и автономией членов федерации, а в 1949 г. было восстановлено.

Англия, США, Франция и Германия в наибольшей мере различались по тому времени, когда на национальном уровне обретали действительную власть коллегиальные структуры. В аспекте расширения избирательного права между ними было больше сходства. С учетом отмены рабства, всеобщее для мужчин избирательное право действует с 1848 г. во Франции, с 1870 г. — в Соединенных Штатах, с 1871 г. — в германском рейхстаге, и с 1918 г. — в Англии. Полная демократизация с расширением избирательного права для женщин произошла почти одновременно в трех государствах около

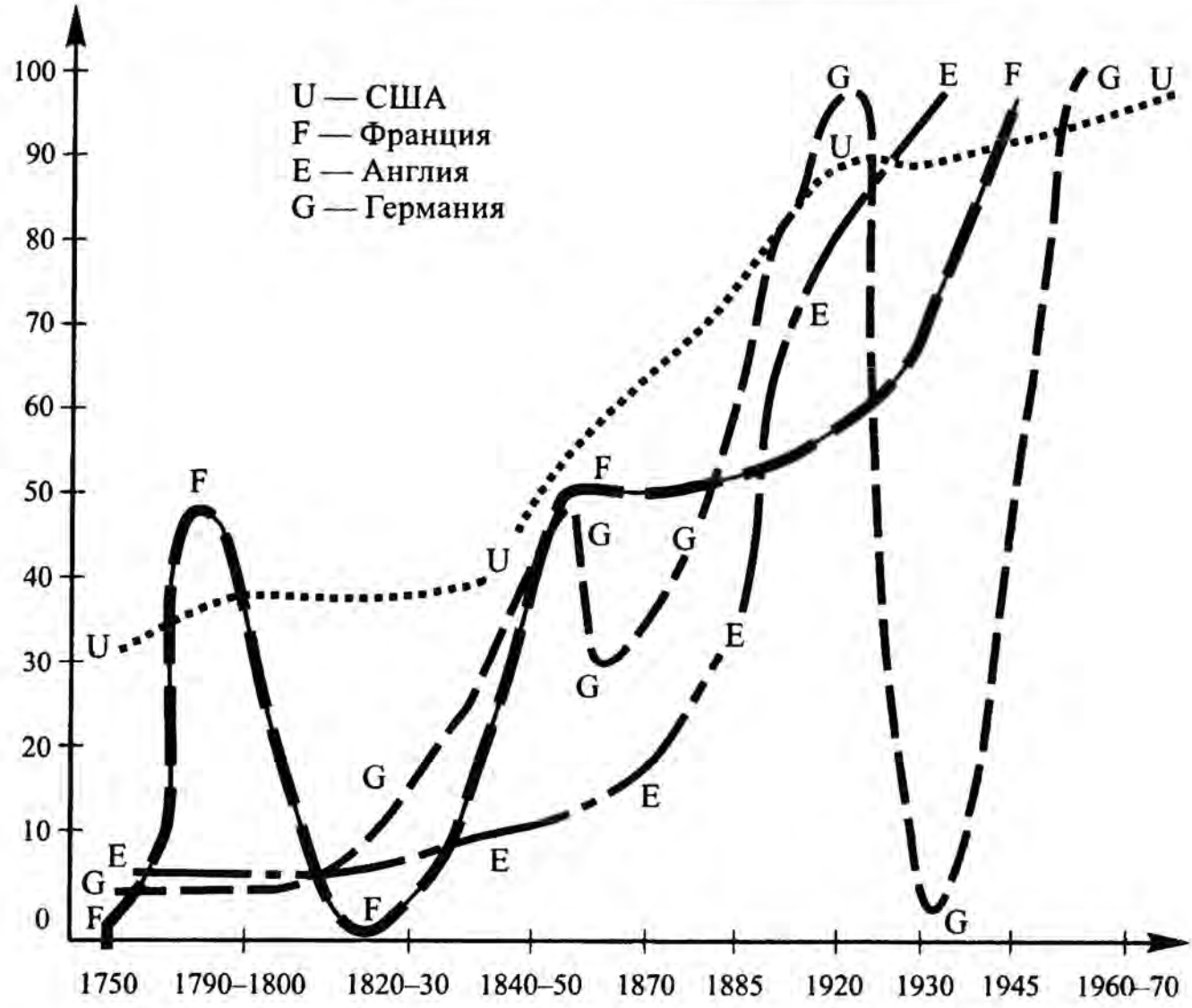

Рис. 9. Доля взрослого населения с правом голоса (в %), 1750–1970 гг.

1920 г., с отставанием Франции, где женщины получили право голоса в 1946 г. (см. рис. 9).

Уровень коллегиальности власти и широта избирательного права не росли в одном темпе. Они не производятся одними и теми же причинами, и не составляют единый дух, или этос, демократической культуры. Сам облик такой культуры появляется в идеологиях, связанных с конкретными политическими баталиями, причем эти идеологии могут принимать весьма различные, даже противоположные, формы. В течение долгого периода «свобода» британских коллегиальных институтов носила откровенно враждебный характер, вплоть до готовности к войне, по отношению к "liberté, égalité, fraternité" Французской революции с ее порывом к распространению избирательного права на широкие массы. Структурное развитие германской политики не так уж и отличалось от британского варианта, оба случая в значительной степени опиралась на

сохранившиеся средневековые структуры *Ständestaat*, которые в глазах приверженцев массовой демократии выглядели оплотами реакционных привилегий. Преобладание коллегиальных структур в Германии в сочетании с узким олигархическим избирательным правом сделало их мишенью для либеральных реформаторов, стремившихся уменьшить традиционные привилегии, часто с помощью бюрократического государства. В Германии оба измерения демократизации зачастую воспринимались как противоречащие друг другу, и эта борьба дала определенную структурную основу того, что в некоторых группировках появилась идеологическая склонность к плебисцитарной автократии. Тем не менее и Германия и Великобритания встали на путь неуклонно расширявшегося избирательного права, что еще раз указывает на множественность причин, действовавших под поверхностным слоем распространенных идеологий.

Теперь мы можем распознать несколько краеугольных камней для разработки адекватной социологической теории демократизации. Есть два весьма различных явления, которые требуется объяснить, причем их совмещения в некоторых точках двумерного поля возможностей производят и хаотичные, и упорядоченные, равно как и открыто конфликтные истории.

3. Объяснение широты избирательного права

Расширение избирательного права было во многом явлением XIX в. В тот же период вышла на первый план идеология демократии, отличающаяся от прежней терминологии свобод и прав, связанной с прежними политическими битвами за полномочия коллегиальной власти. Отсюда и склонность теорий демократизации сосредоточивать внимание на причинах, преобладавших в XIX в.

Наиболее распространенным является семейство теорий, приписывающих демократию промышленному капитализму и господству буржуазии. Липсет подводит итоги этого подхода, основываясь на корреляциях между демократией и экономическим развитием в XX в. [Lipset 1994]. Марксистская теория сходным образом рассматривает демократию как проистекающую от буржуазии — форму правления, наиболее подходящую для осуществления буржуазией своих экономических интересов. Однако, как показывают Решмейер с соавторами, широкое избирательное право не было учреждено буржуазией, которая

обычно выступала за расширение избирательного права для себя, но была против расширения его для других классов [Rueschemeyer et al. 1992]. На самом же деле борьба рабочих движений — вот что привело к установлению всеобщего избирательного права для мужчин.

Модель капиталистической индустриализации правомерна в более узком смысле: индустриализация мобилизует ресурсы, предоставляющие возможности для всех социальных групп участвовать в политике при расширении этой арены до общенационального масштаба [Tilly 1995]. Капиталисты, благодаря накоплению богатства и организационной власти, в большей мере мобилизованы для участия в политической жизни, чем другие группы; также на протяжении XX в. мобилизовывались пропорционально своей численности растущие слои специалистов, рабочих, этнических групп, женщин и других групп интересов. Рост материальных средств ресурсной мобилизации в масштабах всего общества — вот основная причина расширения избирательного права. В структурном плане, мобилизация также проводилась сверху. Как показывает Манн, расширение государственной деятельности, прежде всего взрывной рост численности военных во время наполеоновских войн, привел к гораздо большему проникновению государства в жизнь общества [Mann 1993]. Это воодушевляло местные группы интересов на более космополитичные требования и протесты против центрального правительства, а вследствие этого стали выдвигаться требования права голоса. Государства с большими бюджетами нашли для себя полезным расширение избирательного права, поскольку это наложило на большее число лиц долю ответственности за финансовую поддержку этих бюджетов.

Однако расширение политического участия является демократическим только в том случае, когда имеются демократические структуры, в которых можно участвовать. Структуры коллегиального разделения власти первичны как в аналитическом, так и во временно́м аспекте[1]. К ним мы сейчас и обратимся.

---

[1] Решмейер указывает (в личном сообщении), что этот тезис имеет идеальнотипический характер. Развитие государства, особенно его сдвиги XIX и XX вв. от центрированности на налогообложении и войне к социальному, экономическому регулированию, развитию соответствующих служб, не только мобилизовывало ранее подчиненные группы и подвигало их на требования права голоса, но также создавало новые органы коллегиального разделения власти. Я же делаю упор на долговременные геополитические процессы, порождающие тот каркас (framework) внутри которого это могло происходить.

4. Классические подходы к пониманию коллегиального разделения власти: Монтескье, Токвиль и Вебер

Коллегиальное измерение власти попадало в фокус внимания политических теоретиков аристократического склада, таких как барон де Монтескье и Алексис де Токвиль[1]. Оба они рассматривали централизацию государства как угрозу свободам, укорененным в независимости аристократии; традиционная деспотия, абсолютизм эпохи Просвещения и нововременная бонапартистская диктатура были поставлены на одну доску. Соответствующая аргументация дошла до нас как защита институтов, занимающих промежуточное положение между атомизированными индивидами и всемогущим государством. Обычно противоядием считалось гражданское общество со сферами автономии за пределами государства (такими, как частная собственность), что приравнивалось к трактовке Аристотелем среднего класса как оплота демократии. Таким же образом проблема демократии в постсоветских государствах часто интерпретируется как вопрос создания гражданского общества там, где его раньше не было.

При таком соскальзывании в теорию гражданского общества теряется некий решающий момент. Государство возникло как военная организация, обретающая административную структуру и властную способность к собиранию налогов для поддержки растущих расходов на военную мобилизацию. Хотя государства занимаются широким спектром других видов деятельности, ключевым остается их ядро — принуждение и извлечение налогов, без чего все остальное нежизнеспособно. Это означает, что аргументация Монтескье/Токвиля должна трактоваться в первую очередь в терминах самого государственного устройства. Коллегиальное разделение власти означает наличие выборов, советов, [законодательных] собраний, а также баланс сил между теми институтами политического действия, которые контролируют военную силу и снабжают ее материальными ресурсами. Одна версия баланса властных институтов

[1] Современная версия представлена Буртоном и Хигли: механизмы взаимодействия внутри элиты в большей мере, чем распространение культурного этоса, производят демократические режимы [Burton and Higley 1987].

представлена феодальной аристократией. Аристократия не была «гражданским обществом» за пределами государства, но являлась структурой самого феодального государства. Это исчезло из поля зрения в эпоху абсолютизма, когда было легко отождествлять королевских администраторов с государством, противопоставляя их аристократам, жившим благодаря своим «частным» наследственным владениям (domains). Монтескье и Токвиль были свидетелями отступления французской аристократии. Наша задача состоит в том, чтобы рассмотреть этот вопрос более абстрактно и выделить условия, при которых коллегиальная власть растет или падает. Для анализа яркого расцвета средневековых аристократических институтов разделенной власти нам нужно углубиться в далекое историческое прошлое до Нового времени, рассмотреть структуры, в которых современные противопоставления «общественного (публичного)» и «частного (приватного)» еще не получили своей структурной основы, обратиться к эпохе, когда было бессмысленно говорить о «гражданском обществе», поскольку патримониальное домохозяйство вельмож (great lords) было одновременно и военно-политической единицей, и центром производства и потребления, и рабочим местом, и домом. В некоторых конфигурациях, эта «парцелизация суверенитета» (в терминах Перри Андерсона), производила коллегиальную структуру разделенной власти [Anderson 1974b]. Изучение причин подъема и падения аристократической коллегиальной власти приведет нас на путь к более общей теории.

Вебер сделал шаг в направлении такой аналитической теории, отметив судьбоносные последствия следующего различия: либо воины сами обеспечивают свое вооружение, либо армии централизованно снабжаются оружием посредством использования государственной казны[1]. Первый путь вел к примитивной демократии пле-

[1] Далее Вебер проводит различение между самостоятельно вооружающимися рыцарями и самостоятельно вооружающейся дисциплинированной пехотой. Пехотинцы обычно рекрутировались из небогатых слоев населения и сплачивались между собой как сознающее себя сообщество, поскольку их источником силы была тактика боя как единого целого. Вебер ограничивает применение термина «демократия», используя его для случаев греко-римских и средневековых итальянских городов-государств, где простонародная пехота силой вырывала политические права у аристократии. Так или иначе, военная аргументация Вебера в самой общей форме также помогает объяснить феодальные собрания (ассамблеи) рыцарей, которые были основой коллегиальной демократии в больших территориальных государствах северной Европы. См. [Weber 1961: 237, 240].

менных военных собраний, основу которых составляло все взрослое мужское население с простым вооружением; также он вел к классическому греческому полису. Когда обеспечивающие себя амуницией воины являлись тяжеловооруженными рыцарями, результатом был феодализм — аристократическое ограничение власти правителя. Другой путь — централизованно снабжаемые армии, который Вебер считал характерным для государств Среднего Востока и Азии, — вел к неограниченной деспотической власти правителя. Рассуждение Вебера представляет в военных терминах те же аристократические структуры, о которых писал Монтескье.

Эта аргументация ставит две аналитические проблемы. Самостоятельно обеспечивающие себя оружием силы исчезли почти повсюду, со времени «военной революции» 1600-х гг., при которой стали резко расти размеры армий и военные расходы. Средневековые коллегиальные институты, такие как *Ständestaat*, приходили в упадок, поскольку военная революция дала толчок формированию централизованной государственной бюрократии [Rosenberg 1958]. Парламентские ассамблеи и советы, однажды основанные по всей Европе, устранялись, причем наиболее жестко в модернизировавшихся в военном плане государствах, таких как Пруссия и Россия. Даунинг извлекает следующий урок: государства, которые в наибольшей мере уклонялись от военной революции с характерным для нее централизованным обеспечением армии или ее откладывали (в частности, Великобритания, сохранявшая предпринимательскую модель организации войск вплоть до 1860-х гг.), оставались и наиболее демократичными [Downing 1992]. По крайней мере относительно измерения коллегиального разделения власти мы могли бы заключить, что чем более средневековый характер имеет государственное устройство, тем более демократичным оно остается в эпоху Нового времени. Однако тезис Вебера (и Даунинга) исторически ограничен: во всех государствах по прошествии определенного времени армии стали получать централизованное снабжение, но в противоречии с теоретическим выводом, некоторые государства все еще сохраняли коллегиальные демократические структуры. Некоторые из них даже создали новые коллегиальные структуры уже после организации централизованного снабжения армий (например, в Японии парламент был учрежден после революции Мэйдзи). Теория самостоятельно вооружающихся сил дает нам ключ для формулирования модели

коллегиальных структур, которую следует представить в более общей форме.

Вторая аналитическая проблема заключается в следующем. Самостоятельно вооружающиеся силы могут быть основой для коллегиального разделения власти, но это не единственный возможный исход. Такие силы могут просто автономно развиваться, оставаясь независимыми от какой-либо инстанции коллегиальной власти. Сам себе добывший вооружение рыцарь может стать бароном-разбойником, то есть самой по себе силой, восседать при этом в своем защищенном замке и требовать долю со всей собственности, пересекающей границы его владений. Племенное *levée en masse** взрослых воинов автоматически не образует государства. Манн описывает, как неоднократно распадались ранние государства, когда составлявшие их самодостаточные акторы мигрировали и уходили из-под контроля [Mann 1986]. Эта проблема не связана только с примитивностью экономических условий или открытостью географических пространств для расселения. В геополитической теории территория государства — это некая переменная. Ключевой вопрос заключается в том, где будут проходить границы. Одна и та же часть земной поверхности в разное время может быть нарезана многими различными способами, на более крупные или на более мелкие части. Территория, составлявшая Священную Римскую империю в эпоху Карла Великого, была в Новое время преобразована в государства Франции, Германии, Швейцарии, Нидерландов и других стран, в промежуточные столетия она была разделена на гораздо более мелкие единицы, а теперь, накануне XXI в., превращается в новую структуру Европейского союза. Растет или уменьшается число единиц с собственными вооруженными силами — это предмет для геополитического объяснения. Самостоятельные державы создают политическое устройство с разделением власти только в определенных конфигурациях, когда их части действуют сообща как политическая единица.

Слабость веберовской теории самостоятельных вооруженных сил указывает нам путь переосмысления проблемы с большей аналитической глубиной. Такие силы сами по себе являются лишь

---

* *Levée en masse* (*франц.*) — здесь: ополчение.

одним условием в целом ряде факторов. При определенных обстоятельствах, которые еще нужно выяснить, эти силы вступают в коалиции, представляющие собой коллегиальное разделение власти. В других условиях такие силы идут своими собственными путями, в большей или меньшей степени дробясь на более мелкие единицы. В условиях третьего типа господство захватывают централизующие силы; тогда коалиции независимых силовых единиц сливаются в некое устойчивое целое, что снижает их автономию вплоть до того состояния, когда от нее остается лишь историческая память.

5. Ингредиенты коллегиального разделения власти

Коллегиальные институты появляются из сочетания двух условий: независимого контроля со стороны множества акторов над военно-политическими ресурсами, а также обстоятельств, мотивирующих этих независимых держателей ресурсов на формирование некой коалиции. Как правило, такими ситуациями являются конфликты с другими обладающими могуществом единицами, а соответствующие паттерны лучше всего рассматривать в рамках геополитической теории.

Европейские государства прошли два этапа маневрирования относительно коллегиальных структур. На первом этапе независимые ресурсы и возможности, вдохновлявшие на формирование коалиций, были сугубо военными. Самостоятельно вооруженные землевладельцы, племенные группы или другие сообщества составляли все существовавшие политические структуры, причем иногда они вступали в коалиции. На этом этапе все, что касалось желательности коалиции, ее продолжительности, раздробления или преобразования в более централизованную структуру, определялось геополитическими преимуществами и затруднениями вооруженной борьбы в данном регионе.

На втором этапе армии были преобразованы в организации с централизованным снабжением. Независимые ресурсы, необходимые для коллегиальных структур, становились организационными устройствами для извлечения богатства и транспортировки его к месту, где оно может быть превращено в военную силу.

Централизованные государства становились более мощными, поскольку они прямо контролировали эти организованные силы, но они были также уязвимы, потому что резко росли расходы на снабжение армий. Независимые держатели ресурсов стремились сами формировать коалиции, чтобы противостоять поборам и соответствующим угрозам их собственности со стороны правителя; лиги дворян, города и парламенты сопротивлялись или восставали против наращивания требований взносов на военные расходы, которые предъявляла королевская власть. И вновь здесь был возможен целый спектр следствий. Аристократическая коалиция могла потерпеть поражение, как Фронда в 1648–1653 гг., причем это поражение привело к закату Генеральных Штатов во Франции и подъему могущества центрального государства. Аристократия могла торжествовать победу и вовсе отказаться от взносов, как это произошло в Польше после 1572 гг. Та часть [землевладельческой элиты], которая отказалась платить взносы, могла полностью выйти из наличной государственной структуры, как это сделали швейцарские кантоны во время кризиса Рейхстага 1490-х гг. Либо же могли быть достигнуты уступки в форме более широкого участия в принятии административных решений в обмен на налоговую поддержку правительства; этот паттерн привел к Великой хартии вольностей и Славной революции 1688 г. Парламентские революции обычно приводят к результату, сходному с последним вариантом, когда собрание, или ассамблея, сил налогоплательщиков полностью побеждает, заменяя собой правительство. Вместо того чтобы распасться, победившая коалиция уже сама берет на себя задачу контроля над централизованной военной силой, таким образом, взяв на себя обязательство обеспечивать ее своей материальной поддержкой.

На втором этапе, как и на первом, подъем или спад коллегиального разделения власти определяется сочетанием следующих условий: в какой степени, прямо или косвенно, независимые единицы осуществляют контроль над ресурсами, необходимыми для военной силы, и какова степень сплоченности этой коалиции. Давайте сосредоточимся на последнем пункте. Коалиция в плане своего сплочения мотивируется равновесием между своими слабостями и возможностями. Она может нарушить этот баланс в любом направлении: какие-то одни силы могут выйти из коалиции и существовать по отдельности, либо какие-то другие силы могут настолько эффек-

тивно управлять ресурсами, чтобы одолеть своих партнеров и превратить их в подчиненных. Таков вопрос организации, строящейся в ситуации многосторонних конфликтов.

Аналитическое значение европейского Средневековья

Если теория расширяющегося избирательного права основывается главным образом на периоде промышленного капитализма, то для теории коллегиальной демократии полем проверки являются Средние века. Именно в эту эпоху испытывают подъемы и падения коллегиальные структуры власти. Моя аргументация не является одним из поисков исторических корней, нарративом такого сорта, что приписывает происхождение английской демократической традиции одному документу — Великой хартии вольностей. Традиции, подобно институтам, вырастают и убывают, а их судьба зависит от наличных структур, делающих релевантными определенные ранее полученные идеалы. Из многих возможных исходных моментов только некоторые могут впоследствии оставаться актуальными. Мое намерение состоит не в том, чтобы погрузиться в ретроспективную телеологию, а в том, чтобы использовать Средневековье как лабораторию исследования аналитического вопроса об условиях, необходимых для формирования коалиций и для сохранения равновесия в них, а также вопроса о причинах их соскальзывания в сторону либо дробления, либо узурпации [власти одним из членов коалиции].

Для теории демократии с двумя измерениями, общепринятая граница между «средневековой» эпохой и историей «раннего Нового времени» решительно не подходит. Целые поколения историков приписывали нарративный порядок периоду после 1500 г. в терминах подъема национальных государств. Одни государства лидировали на этом пути, другие спотыкались, но в целом это было якобы неизбежное поступательное движение, при котором опоздавшие расплачивались своей слабостью, а в конечном счете испытали кошмары недавнего времени. Было несложно вплести в эту схему приобщение народов к демократическому сознанию и демократическому управлению. История национальных собраний и расширение избирательного права шли вместе с подъемом централизованного государства. Сама историография как дисциплина возникла как националистическое написание истории, когда профессия исто-

рика была сформирована на основе национальных систем образования. Темы для изучения и границы исторических специальностей были заложены в терминах национальных единиц. История разбита на истории Англии, Франции, Германии, Венгрии, Греции и современных им государств, которые удостоились того, чтобы были написаны их собственные истории. Это всегда политически нагруженное предприятие, которое имеет место и сегодня в написании истории Сербии и Узбекистана, Литвы и Ирака. Что бы ни происходило ранее, это включается в предысторию национального государства, либо же помещается по другую сторону границы между Средневековьем и Новым временем, и тогда становится безопасным — нерелевантным для анализа современных институтов.

Цена, которую мы заплатили за такое удобство исторических повествований, — это неясность аналитических условий для коллегиального измерения демократии. Националисты, демократы, ратовавшие за массовое избирательное право, и строители государств — все они были склонны рассматривать коллегиальные институты Средневековья как нагромождения феодального хлама, которые должны быть смыты, или что еще хуже, как препятствия на пути воплощения их собственных идеалов. Для коллегиальных институтов, склонных пересекать границы для формирования коалиций, естественно быть как антинационалистическими, так и националистическими. Обычно эти институты включали только особые категории участников, определяя их свободы и права в манере, не совместимой с простым критерием массового участия. И они были главными противниками, как в военных распрях, так и в фискальных спорах, по отношению к сознательно «реформистским» и «модернизирующим» строителям [нововременных] государств.

Нам нужно сломать этот устойчивый образ (гештальт), если мы собираемся понять суть коллегиальной власти. Как только мы отбрасываем привычные исторические очки, перед нами открывается обширная полоса истории, которая не только нам не знакома, но имеет еще зачаточный, недооформленный характер. Если бросить взгляд на исторический атлас, становится видно, что в средневековой Европе были весьма смутные и подвижные границы. Часто бывает трудно выделить на карте государства, которые стали действующими лицами современной националистической историографии. Что еще хуже, средневековые государства не были организованы в манере ясно обозначенных и надежных цветовых областей внутри

четких черных линий. Именно этот — не национальный и не современный (не модерный) — характер средневековых государств содержит условия для коллегиального разделения власти.

Средневековые государственные структуры принимали три основные формы. В плане идеальных типов, если пренебречь сочетаниями и перекрытиями, они включали:

1) централизованные режимы, расширявшиеся благодаря завоеваниям: такие режимы владели сопредельной территорией и тем самым по своей географической структуре приближались к современному национальному государству (nation-state), хотя некоторые из них были очень малы;
2) династические брачные альянсы, которые могли связывать отдаленные друг от друга, несмежные территории;
3) федерации, или союзы между политическими единицами, которые могли быть, а могли и не быть смежными [территориями].

С современной точки зрения, брачные альянсы и федерации, такие как описанные здесь, вообще не были государствами, но именно здесь имеет место вход в предлагаемую мной теорию. Федерации — это тип дипломатических структур. Они находятся «за пределами» или «выше» суверенного государства. Но все эти формы текучи, вхождение в дипломатический альянс делает входящего менее «суверенным» в его действиях, и это обстоятельство посягает на сам стержень государства, когда характер действий, о которых ведутся переговоры, состоит во взаимной военной поддержке. Слишком пристальное внимание к государственным границам вводит нас в заблуждение, особенно если мы хотим понять условия, необходимые для коллегиального разделения власти. Ведь именно через эти «дипломатические» структуры вступают в коалиции автономные держатели власти. Что мы хотим понять, так это условия, при которых эти коалиции становятся устойчивыми в большей или в меньшей степени, и при которых внутри коалиции растет или снижается уровень разделения власти. Предвосхищая свое рассуждение, я постараюсь показать, как геополитические федерации (3) способствовали коллегиальной демократии, в то время как государства-завоеватели (1) и династические альянсы (2), как правило, подрывали ее[1].

[1] В дальнейшем вы столкнемся с несколькими усложняющими моментами, когда геополитические слабости как следствия династических альянсов открывали возможности для нового оживления коллегиальных структур.

Чтобы осложнить ситуацию, я введу еще четвертую структуру средневековой государственности: (4) церковь. Здесь мы вновь нарушаем канон современных различений. Средневековая церковь не была частным институтом в современном смысле. В своих возможностях и полномочиях она во многом походила на сегодняшнее государство. Так было еще и потому, что аббаты, архиепископы и сам папа были феодальными лордами, чьи лены давали не только доходы, но и феодальное право на *levées**; при этом монашеские ордена имели свои собственные армии монахов-воинов, а папство было полноценным территориальным правлением. Весьма неоднозначно, следует ли церковь считать одним государством или несколькими государствами. Как номинально, так и фактически (в различной степени), различные сегменты церкви были подчиненными единицами по отношению к папству, что способствовало накоплению его ресурсов и могущества, которое иногда приближалось к теократическому господству над всем христианским миром. В различные периоды сегменты церкви также захватывались местными аристократами или же являлись придатками светских правителей. Мой интерес состоит не в том, чтобы привести эти вариации в церковной военно-политической власти к той или иной жесткой дефиниции, и не в том, чтобы указать на историческую тенденцию; вместо этого я собираюсь использовать данные вариации как материал в лаборатории коллегиального разделения власти. Церковь сама имеет некую политическую историю борьбы относительно своих коллегиальных институтов. Мы можем извлечь урок из подъемов и спадов церковной демократии, которые завершились распадом этой всеобъемлющей коалиции в эпоху Реформации. С другой точки зрения, церковь является категорией (4) внутри смешения трех других типов, причем именно эта общая смесь и является самой масштабной лабораторией коллегиальных структур. Церковные единицы могли вступать в федерации, вмешиваться в династические браки, входить в союз с компактными государствами-завоевателями или же попадать к ним в подчинение. По всем этим причинам церковь сочетала территориальную и надтерриториальную власть. Таков яркий пример сквозных структур, которые играют столь важную роль в балансах могущества, определяющих судьбу коллегиальных институтов.

---

* *Levée* (*франц.*) — здесь: набор рекрутов.

Средневековая история ужасно запутана и плохо поддается привычному упорядочению. Эта запутанность в аналитическом смысле является именно тем, за что мы должны ухватиться, поскольку как раз здесь и находится ключ к демократии. В сущности, демократия — это не какая-то «чистая форма»; она представляет собой некий баланс между многими элементами и получает свою силу именно потому, что институционализирует структурное столкновение. Я покажу это на трех случаях эпохи Средневековья, как-то: Германская империя, папство и средневековые республики.

Демократические структуры в средневековой Германской империи

Германская империя была полна коллегиальных структур: избираемый император, Рейхстаг и региональные ассамблеи, самоуправляющиеся вольные города, лиги городов и рыцарские лиги [Banaclough 1963; Bendix 1978; Strauss 1972; Kinder and Hilgemann 1968; McEvedy 1961]. Этот случай поучителен, поскольку показывает условия подъема и падения коллегиальных структур, а также включает предпринятую в конце Средневековья неудачную попытку превратить империю в республику. Фокусировка внимания на средневековой Германии — это полезное упражнение для преодоления нашего англоцентричного гештальта, поскольку рост английской демократии обнаруживает те же самые структурные ингредиенты, тогда как решающие различия в путях долговременного развития заключаются только в сроках и пропорциях.

Как же империи становились выборными? Ранние племенные вожди избирались через выкрикивание имен временными коалициями, которые сохранялись лишь тех пор, пока были вовлечены в успешные завоевания. По мере возникновения и подъема государств на более постоянной основе, племенные собрания обычно замещались феодализмом, в целом установившемся к 1100-м гг. После распада империи Каролингов в 800-х гг. государства стали обретать тот или иной характер в зависимости от исхода местной борьбы за выборное или наследственное правление. Во Франции в течение 900-х гг. короли были зачастую избираемыми, и только после 1223 г. монархия стала надежно наследственной. В Дании короли избирались до 1370 г., в Венгрии — до 1446 г.; Польша колебались между избираемой и наследственной монархией до учреждения

системы со слабым избираемым королем, подчиненным аристократическому парламенту, который правил с 1572 г. до завоеваний Польши иноземными державами в 1700-х гг. В Германии периоды выборности чередовались с периодами наследования. В 982 г. император был избран знатью и духовенством; в 1024 г. был основан порядок наследования, а затем блокирован немецкими князьями, которые перешли к порядку избрания [верховной] власти в 1076–1152 гг. Семейство Гогенштауфенов сделало сильный шаг в противоположном направлении: Фридрих Барбаросса (правил в 1152–1190 гг.) учредил наследственную монархию, а Фридрих II (правил в 1215–1250 гг.) ее восстановил. В промежуточный период, ряд малолетних императоров давал возможность иностранным державам — Англии и Франции — вторгаться и навязывать своих претендентов на престол. После смерти Фридриха II в 1250 г. был узаконен избирательный принцип, но процедура была в руках уже не прежних племенных «наций», а восьми избирателей: архиепископов Кельна, Трира и Майнца, а также правителей областей Рейн-Пфальца, Бранденбурга, Саксонии, Богемии и Баварии.

Выборный порядок победил по геополитическим причинам. Сильные императоры, расширявшие империю своими завоеваниями, вводили принцип наследования, укреплявший позиции их патримониального режима. Выборный порядок победил как раз тогда, когда империя начала рушиться вследствие особого сочетания геополитических условий: военного сверхрасширения, к которому привели амбициозные императоры, последующего финансового истощения, столкновения претензий императора и папы относительно контроля над ресурсной основой, что раскололо власть и привело к гражданской войне. Кроме того, имела место геополитическая тенденция к дроблению середины, когда на окраинах консолидировались сильные королевства [Collins 1978]. После 1300 г. империя распалась на части. В 1400-х гг. восточные земли, когда-то бывшие славянскими племенными территориями, которые были колонизованы и христианизированы германскими королями и орденами рыцарей-крестоносцев, объединились в независимые королевства Польши, Богемии и Венгрии. Французский король расширил свои владения на западной периферии, периодически пытаясь взять верх над [Германской] империей. Чтобы уравновесить давление со стороны французов, в ситуацию вмешивались английский король и папа. В результате получилась характерная динамика дро-

бящейся середины: вмешательство сильных окраинных держав приводит к изменению расстановки сил между группировками и клиентарными политиями; мелкие политические образования приходят к пониманию того, что их автономия зависит от поддержания баланса могущества и начинают играть то на стороне одного сильного соперника, то на стороне другого. Развитие выборного порядка и прогрессирующее ослабление империи шли рука об руку. К 1350 г. роль императора стала лишь средством повышения личного престижа одного из князей. Золотая Булла, обнародованная в Рейхстаге в 1356 г., устанавливала полукоролевский статус курфюрстов (избирателей), в том числе право на чеканку монет в пределах их собственных территорий.

Также росли размер и сфера действий Рейхстага. Это был законодательный орган, включавший главных феодальных землевладельцев, поделенных на три коллегии — курии (curiae): курфюрсты, князья, а также вольные имперские города. Император считал главным назначением этого органа выделение средств для внешних войн, но это учреждение также становились местом для рассмотрения жалоб, ареной дипломатических переговоров, одновременно легитимирующей и проверяющей инстанцией по отношению к имперскому правлению. В этом органе послам не давались постоянные полномочия, и им приходилось постоянно отправляться домой для получения инструкций. Чтобы обойти этот неуклюжий порядок, иногда в том же месте проводились собрания меньших созывов. В 1420-х гг., воспользовавшись ситуацией нескольких поражений императора в его династических войнах, Коллегия курфюрстов в составе шести курфюрстов западных земель объявила себя преемницей римского Сената с надзорными полномочиями по всей империи. В течение некоторого времени она собиралась ежегодно, иногда низлагая слабых или некомпетентных императоров.

Сходные процессы размывания могущества шли и на более низком уровне. Борьба императора против своих вельмож — крупных землевладельцев — привела к уступкам союзникам рангом ниже. Император предоставил права самоуправления «вольным имперским городам» и дал территориальную автономию лояльным «имперским рыцарям». Быстрый рост числа мелких держав привел к ситуации нескончаемых местных войн и грабежей в сельской местности. Росли сословия, сопротивлявшиеся на местном уровне налоговым требованиям со стороны региональных князей. Рост

числа держав продолжался между 1300 и 1450 гг., и в конце концов достиг такого уровня местного насилия, который сделал мелкие державы уязвимыми в плане восстановления более крупных государств. Между 1450 и 1500 гг. процессы дробления пошли вспять, причем не обратно к единому централизованному государству, а к росту структур средних размеров. Князья стали учреждать центральные администрации в пределах своих территорий по мере того, как в связи с военной революцией и бурным развитием огнестрельного оружия разрушались феодальные замки, а рост наемных армий преобразовывал бюджетные расходы. Результатом стал новый внутренний баланс сил. Феодальные сословия, возникавшие через местное сопротивление верховной власти, были преобразованы в представительные собрания, действовавшие по принципу большинства голосов, а не по правилам индивидуального права вето и частных привилегий — освобождения от налогов. Эти сословные представительные собрания — ландтаги — регулярно проводили встречи с правителями для решения вопросов о взносах для наполнения государственных финансов. В обмен они обрели некую меру законного участия в управлении государством. Для периода, непосредственно предшествовавшего Реформации, германские правительства все более походили на конституционные республиканские структуры.

По мере разрушения геополитического контроля в отношении крупнейших и даже средних по размеру государств возникал другой тип коллегиального разделения власти в форме лиг, включавших мелких игроков. В 1200-х гг. клубы, или лиги, были сформированы в среде имперских рыцарей. В ответ были созданы лиги городов, которые обычно были враждебны по отношению к рыцарям. На вершине своего развития в 1300-х гг. наиболее видные лиги включали Ганзейский союз торговых городов, простиравшийся не только по побережью от Голландии до Балтики, но и внутрь континента до Саксонии, а также Рейнскую Лигу; Швабскую Лигу на юге и Швейцарскую Федерацию. Выступая в качестве заместителя крепкого монополизирующего [военную] силу государства, эти лиги заключали между собой дипломатические перемирия, обеспечивали коллективную оборону и пытались подавить баронов-разбойников, угрожавших торговле. Ганзейский союз даже получил право участвовать в избрании датского короля. Хотя большинство этих лиг были позже уничтожены территориальными князьями, их потенциал заметен в том

факте, что по крайней мере одна из них — Швейцарская федерация — в конечном счете стала самостоятельной республикой.

Германская империя начинала с тех же структур, которые существовали на территории большей части северной Европы. Почему же в поздний средневековый период в ней были развиты коллегиальные структуры в гораздо большей степени, чем в остальных государствах — преемниках прежней империи Каролингов? Основными структурными альтернативами были рост государств-завоевателей и захват территорий династическими брачными альянсами. Первый вариант в германском регионе был заблокирован геополитической слабостью. Хотя в Германии также были династические союзы, они обычно имели место только среди крупных территориальных княжеств. Лиги, как правило, были настроены антагонистически по отношению к династическим принципам. Членами германских лиг были: 1) вольные города, которые сами по себе являлись корпорациями и, следовательно, не могли быть представлены каким-либо правящим семейством, 2) независимые рыцари с крошечными подвластными территориями, не способные своими силами выстроить критическую влиятельную массу, которая позволяла бы им включиться в игру династической политики, и 3) архиепископы, которые, будучи принявшими целибат (обет безбрачия) священниками, также не имели возможности зачинать явные наследственные династии.

Это не означает, что в Германии никогда не появлялось династических владений. В 1300-е гг. династические союзы стали объединяться в обширные владения Габсбургов, Люксембургов и Виттельсбахов. К 1400-м гг. Габсбурги накопили достаточно альянсов для переговоров относительно новых брачных союзов, соединявших некоторые из крупнейших патримоний Европы: Австрии, Бургундии и Испании, — наряду с рассеянными германскими владениями. Судьба этой империи показывает структурную слабость стратегии династических браков. Поскольку браки не предполагали территориальной смежности объединяемых территорий, государственное строительство этого типа, как правило, создавало целую мозаику владений, перемежавшихся с соперничавшими или враждебными государствами. Даже в условиях феодального набора рекрутов (levées) было определенное преимущество в компактной территории. Французское королевство было раздроблено в 1300-х гг. в основном из-за войн с королем Англии по поводу династического

наследования во Франции, что вдохновляло феодальных вассалов на достижение автономии через включение в игру соперничавших между собой сюзеренов. Наконец, только после завершения долгой борьбы, и во Франции и Англии стали консолидироваться централизованные королевства. Когда в связи с военной революцией стали расти военные расходы, а интенсивное централизованное управление потребовало извлечения дополнительных ресурсов, династическая разбросанность владений стала серьезным геополитическим обстоятельством. По этой причине испанская империя Габсбургов, хотя и существовавшая на бумаге, столкнулась с крайне острыми геополитическими проблемами, связанными с разбросанностью ее владений от Нидерландов до Италии и до центральной Европы. Эта разбросанность династических владений эквивалентна геополитической слабости государства, имеющего слишком много границ. Обычно это является проблемой для государства, находящегося в середине между окраинными государствами; вообще говоря, данная проблема заключается в количестве потенциальных противников, с которыми приходится одновременно сталкиваться. Кроме того, династическая разбросанность увеличивает логистические расходы по доставке военных ресурсов из одного отдаленного государственного владения в другое.

Вследствие этого государства, построенные на основе династических браков, становились наиболее могущественными там, где они были способны сразу завоевать прилегающие к их владениям территории и выстроить компактную администрацию. Постепенно они переходили от династических/патримониальных к бюрократическим формам управления[1]. Таков был путь Французского королевства и в конечном счете сильнейших территориальных княжеств в рамках прежней Германской империи, особенно Пруссии. В геополитической ситуации, когда рост за счет прямого завоевания был

[1] Леви-Стросс предполагал, что простейшее первоначальное (primitive) государство могло появиться как результат сходного процесса. В племенной брачной политике политическая стратегия заключения альянсов с отдаленными партнерами приводила к накоплению преимуществ несколькими семьями: «богатые браками» становились еще богаче в этих альянсах, тогда как «бедные браками» в конечном счете выпадали из конкурентной борьбы или же ограничивались местными обменами. Наконец, происходила «революция [преодоления принципа] родства», при которой ведущие семьи приходили к прямому военному руководству, используя аппарат управления, уже не основанный на родстве [Lévi-Strauss 1969].

обычно блокирован, как это имело место в раздробленной центральной части Германии, династические союзы давали только временный престиж, но при этом увеличивали геополитическую слабость. Вновь мы видим, что фаза геополитической слабости может способствовать многостороннему балансу сил, который, в свою очередь, может усиливать смешанные государственные структуры коллегиального разделения власти. Сомнительное и находящееся под угрозой территориальное управление приводило к подъему новых государственных структур, союзов, таких как лиги или ассамблеи, которые начинали проводить военные и налоговые мероприятия, процедуры выбора лидеров, тем самым становясь, по сути дела, самостоятельными квазигосударствами.

Германские лиги, Рейхстаг, ландтаги и Коллегия курфюрстов были мягкими формами коллегиальной демократии. В долгосрочной перспективе не имеет значения то, что внутреннее правление компонентов таких коллегиальных структур, как правило, имело автократический характер. Сам избиратель мог быть наследственным правителем в своем владении, а лиги могли быть сформированы мелкими и никем не обузданными аристократами. Геополитический баланс и союз таких автократий может привести к более крупным структурам с новым принципом демократического разделения власти. Позже такие структуры могли расширяться вниз и внутрь, охватывая все более широкое участие в выборах. Германия представляла некий баланс конфликтов и союзов между автократами, сходный с тем, что имел место в Англии. Структуры коллегиальной демократии могут вырастать, казалось бы, парадоксально, из смеси автократий; им вовсе не обязательно возникать из демократической идеологии. Идеалы широких политических прав обычно следуют из структур, которые институционализировали некий баланс могущества и тем самым нейтрализовали его принудительный характер (coerciveness).

6. Вклад папско-имперского конфликта в геополитическое равновесие

Давайте добавим еще одно структурное условие к тем, что способствовали росту коллегиальных структур в Германии, то условие, которое в значительной степени отсутствовало во Франции и в других

местах. В Германии конфликт между церковью и государством был тесно связан с борьбой относительно коллегиальной власти. Первоначально власть германского императора зиждилась на альянсе с церковью. Император способствовал обращению в христианство и колонизации языческих регионов на востоке, наделяя монастыри крупными земельными владениями в качестве плацдармов для заселения и как потенциального источника военных союзников. Тот факт, что император и папа процветали, создав сильное государство в центре Европы, от северных морей до Италии, в конце концов сделал их соперниками относительно контроля над этими территориями.

Церковные организации, монастыри и епископства были также наиболее ценными владениями и административными центрами на протяжении всего Средневековья. Борьба за право инвеституры* была организационной битвой относительно предоставления этих ресурсов в светские или папские руки. Не имея собственной военной силы, папа вел игру на раздорах между королями, используя их для проведения своих эдиктов, используя при этом угрозу отлучения. Борьба между папой и королем шла с переменным успехом, причем в Германии имел место наибольший баланс могущества. Неоднократно между 1075 и 1250 гг. сильнейшие германские императоры противостояли влиятельным папам и проигрывали. Результатом было то, что в Германии компромисс между светской и церковной властями склонился в сторону выраженной автономии церковных владений. Крупные архиепископы становились полноправными территориальными правителями. Напротив, во Франции в конце 1200-х гг. церковь попала под королевский контроль. В начале 1300-х гг. французский король вынудил папство переместиться в Авиньон, где папские интересы сблизились с французскими. После этого, даже когда папа вернулся в Рим, право собирать налоги с духовенства было уступлено французским королям. Во Франции средневековая церковь никогда не была способна действовать в качестве самостоятельной силы, способствуя балансу могущества, как она это делала в Германии.

В период борьбы за право инвеституры император и папа постоянно вмешивались в выборы друг друга. Папы сыграли важную

---

* *Инвеститура* — юридический акт передачи вассалу лена, должности, сана. Борьба за право инвеституры (Investiture Controversy) велась между папством и германскими императорами относительно права назначения епископов.

роль в провале попыток Гогенштауфенов создать сильный патримониальный режим, основанный на наследовании престола. Первоначальное ядро избирателей, созданное в 1250 г. в связи со смертью Фридриха II, составляли архиепископы. Золотая булла 1356 г., представлявшая собой германскую конституцию, был создана в то время, когда папство активно занималось низложением, отлучением одних германских императоров и поощрением других. Теперь ослабленный император согласился закрепить принцип избрания с согласия Рейхстага в обмен на прекращение папского вмешательства в германские политические дела. Этот компромисс ослабил международное могущество папства так же, как и самого императора, но он увеличил местную власть немецкой церкви. Теперь германские архиепископы становились в значительной степени автономными правителями. Они превращались в ведущих представителей коллегиального разделения власти в Германской империи, а также в силы сопротивления одностороннему господству более крупных правителей.

7. От военной патовой ситуации – к коллегиальным альянсам

Урок немецкого случая для понимания условий расширения коллегиальных структур состоит в том, что коллегиальному разделению власти способствует некий геополитический процесс. В частности, государство, занимающее географически центральное положение в окружении других государств, будет испытывать угрозы геополитического дробления. Эта фрагментация усиливается перекрывающимися организационными структурами, такими как международная церковь, претендующая на военные и экономические ресурсы данного государства. Вследствие такой слабости центрального региона, окружающие его более сильные окраинные государства вмешиваются в выборы его правителей. Поскольку эти внешние государства друг друга уравновешивают, они и мешают друг другу расширять территории, сохраняя раздробленное «внутри» как буферную зону. Эта геополитическая слабость также препятствует росту территориально единых государств-завоевателей в самой внутренней области, устраняя потенциальную угрозу централизации власти и ликвидации коллегиальных структур. Также

среди множества малых государств в раздробленном регионе большинству из них не хватает ресурсов для того, чтобы успешно играть в династическую брачную политику. Те немногие, которые в конечном счете выстроили достаточный «брачный капитал», как правило, накапливали альянсы вне этой центральной зоны, что обычно выталкивало их интересы в направлении более компактных территорий на периферии, подальше от этой трясины раздробленности — германской территориальной политики. Такие процессы часто приводили к раннему образованию дополнительных коллегиальных структур: вольные города росли более интенсивно, поскольку слабые императоры шли на уступки для содействия своим союзникам против государств среднего размера. И поскольку первой военной необходимостью становились, скорее, вопросы местной обороны, обеспечения законности и порядка для путешественников, чем строительство полномасштабной армии для великодержавных кампаний, постольку вырастали лиги мелких игроков, организованные как полноправные коллегиальные органы. Короче говоря, ситуация военного тупика, или патовой ситуации (military stalemate), в раздробленной геополитической зоне исключала крупные территориальные завоевания и смещала акцент на дипломатические структуры, как для вмешательства в другие политические единицы, так и в качестве оборонительных союзов со слабой исполнительной властью. Поскольку эти структуры обретали некоторое организационное постоянство, они составляли сквозную сетку коллегиальных структур разделенной и ограничивающей власти.

Отнюдь не каждое условие геополитической слабости будет иметь такой эффект. В геополитической теории (как мы видели в главе 2) государства могут быть слабыми, поскольку у них меньше военных ресурсов, чем у соседей, поскольку испытывают сверхрасширение из-за чрезмерно отдаленных и дорогостоящих военных кампаний, или же потому, что они занимают внутреннее географическое положение с окраинными государствами на периферии. Вообще говоря, слабые государства как таковые не становятся регионами с коллегиальным разделением власти потому, что обратной стороной их слабости является сила какого-то соседнего государства, которое расширяется и поглощает более слабую территорию. Геополитическая слабость способствует коллегиальным структурам, только если в течение длительного периода времени она остается стабильной. А происходит это потому, что данный регион распола-

гает достаточными ресурсами, чтобы защитить себя, поскольку его внешние противники с более выгодным расположением сами имеют геополитические проблемы, или поскольку сильные соперничающие государства нейтрализуют среднюю зону, либо манипулируют ею, не будучи способны завоевать ее для себя.

При всех этих условиях, которые способствовали структурам коллегиальной власти в средневековой Германии, почему же эти структуры не стали еще сильнее? Учитывая эту фору на начальном этапе, почему Германия не стала первой современной демократией, вместо регионов, имевших на это меньше шансов (согласно геополитической гипотезе) — Англии и Франции? Из-за нашего привычного телеологического пафоса может показаться, что этот вопрос не стоит поднимать, но попытка ответить на него выявляет ключевые аналитические моменты. Коллегиальное разделение власти требует не только условий, которые сдерживают или разрушают (deconstruct) централизованную власть; оно также требует, чтобы это разрушение не заходило слишком далеко в противоположном направлении, раздробляя власть до той степени, когда уже нет никакой коллективной власти для разделения. Фактически Германия в самом конце Средневековья сделала попытку превратить Рейхстаг в республику. Если бы эти усилия удались, Германия вполне могла стать первой крупномасштабной современной демократией. Причины ее подъема и падения дают дополнительные ключи для теории коллегиальной власти.

Провал республики рейхстага

Между 1485 и 1520 гг. кульминацией движения к коллегиальной власти стала попытка установить прочное федеральное правление [Strauss 1972: 73–161; Angermeier 1984; CHM 1910, 1: 288–328; Cameron 1991]. В 1495 г. осуществить план соответствующей реформы пыталось законодательное собрание под руководством архиепископа Майнцского. Рейхстаг был расширен за счет включения коллегии вольных городов и с этого времени должен был собираться ежегодно. Постоянному Императорскому совету, учрежденному в 1420-х гг. в качестве продолжения Коллегии курфюрстов, было предложено контролировать армию и утверждать все указы императора. Налоги следовало взимать со всех местных органов власти для поддержки центральной администрации, и в 1490-х гг. в неко-

торых местах они действительно собирались. Еще в 1522 г. Рейхстаг предложил взимать имперскую таможенную пошлину, чтобы преобразовать пространство внутри внешних границ империи в единое экономическое целое. Правовые вопросы должны были находиться под эгидой суда, не зависевшего от императора.

Как император, так и члены Рейха, имея общие потребности, были готовы рассмотреть эти предложения. Со стороны вольных городов и архиепископов было желание установить внутренний мир, защищая поднимавшуюся торговлю от грабителей и непокорных баронов. В числе первых законов 1495 г. был запрет рыцарям вести какие-либо частные войны. Рейхстаг также стал форумом для обсуждения жалоб, направленных против папской эксплуатации финансов немецких церквей. С другой стороны, габсбургский император Максимилиан I занимался консолидацией своих династических владений; дело в том, что впервые за несколько столетий появился император с личностными ресурсами, которые были достаточны для завоевания престижа, достойного его поста. Реформаторы могли связывать свои надежды с реформой, переговоры о которой уже начались сверху. Рейхстаг в союзе с сильным императором мог стать некой коллегиальной структурой разделения реальной власти.

В течение этого 30-летнего периода прошло несколько волн переговоров, а задуманные реформы в конечном счете провалились. Император Габсбургов выдерживал хрупкий баланс в соответствии со взлетами и падениями его военной удачи. Расходы стали резко расти в связи с революцией в ведении войны. Когда военные предприятия императора в Италии, Бургундии и Нижних землях (Нидерландах) терпели неудачи, он особенно стремился мобилизовать ресурсы, более обширные, чем то, что могло предоставить германское население. Слишком большой провал привел бы к снижению имперского престижа и развенчал бы соответствующие начинания, тогда как слишком большой успех направил бы его внимание на дальнейшее развитие династического расширения, лежавшего в основании самого дома Габсбургов, что уже делало ненужным компромисс с германским Рейхстагом. В конце концов Габсбурги выпали из этого равновесия в направлении чисто династического государства, отказываясь согласовывать политику с сильной германской Федерацией. Наследование испанского титула в 1515 г. связало его будущее с триумфами и опасностями в отдаленных и разбро-

санных династических владениях. Что касается самой Германии, данный исход дела также стал для нее роковым. Шанс для федеративной республики было утерян. Провал политической реформы был связан с одновременным провалом реформы церковного управления. В 1512 г. заседание, ставшее последним в период реформировавшегося Рейхстага, показало тупиковость дальнейшего движения в этом направлении. Пять лет спустя последует революционный распад церкви, в котором габсбургский император станет лидером реакционного лагеря. Полезно будет, прежде чем извлекать аналитические уроки из провала республики Рейхстага, рассмотреть одновременные процессы взлета и падения коллегиальной демократии в самой церкви.

8. Папская демократия и провал консилиаристского движения

Средневековое папство включало множество коллегиальных структур [Southern 1970; Kelley 1986; Oakley 1979; Thomson 1980; Cameron 1991]. Папа избирался коллегиальным органом, настоятели также избирались в своих монастырях, главы монашеских орденов избирались на общих собраниях, а иногда избирались и епископы главами кафедральных соборов. Как все это возникло? Первоначально в Риме папа избирался выкрикиванием имен «народом» (т. е. преимущественно знатью). Когда папство выросло из простого церемониального центра в организацию с панъевропейскими полномочиями, германский император, французский и английский короли стали вмешиваться в выборы папы. В ответ в 1080 г. папа создал коллегию кардиналов как механизм выстраивания сторонников против антипапы, предлагавшегося зарубежными противниками. Коллегия кардиналов росла как международная группа влияния в Риме в то время, когда папство становилось центром судебных разбирательств и управления в отношении отдаленных церковных владений. Этот пример показывает нам, что коллегиальное разделение власти может быть установлено двумя способами: снизу, когда подчиненные пользуются слабостью наверху, чтобы установить ограничения для правителя, и сверху, когда слабый правитель ищет союзников для борьбы с соперниками (в данном случае, против антипап и вмешательства извне). В конце концов эти правила игры

были институционализированы и использовались обеими сторонами[1]. Данный второй путь также имел место в Германской империи: сам император способствовал росту автономных структур, давая вольности городам и имперским рыцарям в качестве противовесов крупным князьям, правившим на больших территориях.

Причина этому была вновь геополитической. Папство, формировавшееся на основе выборов, росло как некая сквозная организация по отношению к создававшимся тогда в Европе государствам. Восстанавливая свою организационную автономию от аристократических семейств через практику целибата, рационализируя свою собственность и судебно-бюрократическую администрацию, церковь начала владеть бóльшими властными ресурсами, чем светские правители с их неустойчивыми связями феодальной преданности и династических альянсов. Рост церковных ресурсов становился вызовом для территориальных правителей. Каковы же были варианты развития событий? 1) Правители могли пытаться подчинить церковную собственность, привязав ее к своим семействам и феодальным отношениям. 2) Церковь могла отстаивать свою автономию, затем продолжать подчинять светских правителей, превращая их в военное крыло для утверждения теократического господства. 3) Светские правители могли заимствовать у церкви новые организационные средства бюрократического администрирования, в конечном счете рационализируя свои собственные структуры управления и преодолевая феодализм с помощью церковных администраторов. В течение столетий до 1100 г. широкий поток средневековой истории шел от варианта (1) — церкви как дополнения к феодальной/патримониальной аристократии. Вариант (2) — подъем и в конечном счете поражение папской теократии — достиг своего пика в 1200-х гг.

[1] Так, в 1328 г. антипапа был избран комитетом 13 римских священников, назначенных германским императором, чтобы бросить вызов авиньонскому папе, находившемуся под французским контролем. Антипапа, в свою очередь, дал сан девяти новым кардиналам, чтобы получить их поддержку и вознаградить несогласное духовенство [Kelly 1986: 216]. В эпоху Средневековья антипапы были обычным делом: было два или больше пап в течение 125 из 514 лет между 999 и 1513 гг., причем этот период включал всего 77 пап и 21 антипапу. Большинство антипап появилось в периоды 1060–1180 и 1328–1449 гг., как раз во времена роста коллегиальных структур. На более низком уровне иерархии коллегиальная власть монахов, выражавшаяся в праве избирать своих настоятелей, была поддержана папами-реформаторами в качестве средства защиты против занятия этих постов мирскими аристократами [Ibid.: 137].

Кульминацией варианта (3) стало создание светских государств в эпоху Реформации. Во втором и третьем периодах, конфликт между церковью и государством еще более расширял сферу баланса сил поверх сложных многосторонних конфликтов феодальных/династических войн. В течение долгого периода, когда церковь и светские королевства были одновременно переплетены и частично автономны друг от друга, каждая сторона вмешивалась в порядок политического наследования другой стороны, тем самым поощряя коллегиальные структуры на вершине иерархии своего соперника.

Это взаимное вмешательство было самым сильным между Германской империей и папством, которые были союзниками со времен Каролингов. В период 1075–1122 гг. между папой и императором наиболее остро шел спор о праве инвеституры — обширная борьба за назначения мирян на церковные посты и тем самым за семейный контроль над церковной собственностью. Так как основным оружием папы было отлучение от церкви и передача юридических прав соперничавшим немецким князьям, на германской стороне результатом было ослабление наследственной преемственности и укрепление принципа выборов. Выборы императора стали прочными институтами столетие спустя после битвы между несколькими папами и Фридрихом II за то, чтобы отправить имперские силы в крестовый поход, а не на расширение владений Фридриха в Италии. В тот момент папство ближе всего подошло к теократической власти. Это была попытка ограничения или прекращения частного использования силы в феодальных спорах под эгидой «Божьего мира», а светское могущество должно было быть повернуто как вовнутрь — для утверждения церковных эдиктов, обвинений в ереси, отлучений от церкви, так и вовне — для борьбы за Христианский мир и для осуществления крестовых походов. Однако, после того как германский император был побежден, вместо него выросли другие региональные королевства. Папское могущество оставалось на вершине только около 50 лет. Французский король вышел победителем из долгой борьбы за то, чтобы навязать право взимать налоги с церковной собственности для обеспечения военных расходов. В 1303 г. папа был взят в плен посредством военной силы, а в 1309 г. курия был переведена в Авиньон. Французская власть также оказалась неустойчивой, будучи оспариваема в 1300-х гг. долгими войнами с Англией, что усугубило во Франции феодальную раздробленность. Во время Великой Схизмы 1378–1417 гг. сопер-

ничавшие папы получали поддержку от французских и антифранцузских правителей. Это был один из немногих периодов сохранения правопреемства антипап, что стало предвестником будущего, уже перманентного, раскола в период Реформации.

Попытка папства установить теократию не удалась по той же причине, что была у провала Германской империи: обе структуры были повержены из-за своего положения со множественными границами в центре европейской геополитики. По разным причинам они обе подвергались геополитическому процессу дробления середины: Германия, находясь в географическом центре Европы, была окружена успешными окраинными державами, а папство составляло административный центр, простираясь во все более отдаленные территориальные государства, тем самым сталкиваясь с политическими (а значит, и военными) вызовами на многих фронтах. И Германская империя, и папство все в большей мере становились коллегиальными структурами правления, особенно в течение 250 лет между 1250 и 1500 гг. Обе стороны были склонны поддерживать институты коллегиального разделения власти друг у друга. Самые могущественные архиепископы составляли ядро выборщиков германского императора, причем именно они в 1490-х гг. сделали шаг к установлению верховенства Рейхстага.

И наоборот, консилиаристское (соборное) движение как самая яркая попытка установления церковной демократии, главным образом опиралось на геополитический противовес со стороны германского императора. В 1414–1418 гг. Констанцский Собор, завершивший Великую схизму, был созван по инициативе императора. Лидеры консилиаристского движения заявили, что верховенство церковного собора — это глас Божий, заменяющий легитимацию папства, основанную на харизме преемственности [высшего церковного] поста. «Реформаторы» низложили соперничавших пап (их было на тот момент целых трое), а новый был избран специально учрежденным органом из 22 кардиналов и 30 представителей пяти традиционных народов Священной Римской империи. Согласно этому плану, соборы должны были регулярно созываться не только для решения о папском правопреемстве, но раз в пять лет. Половина всех церковных доходов была зарезервирована для Коллегии кардиналов, которая наделялась правом утверждать все крупные политические решения папы.

Консилиаристское движение продолжалось в течение долгого Базельского Собора (1431–1449 гг.), который пытался институцио-

нализировать соборное правление. Попытка свергнуть непокорного папу и выдвинуть антипапу провалилась, когда формировавшийся альянс не сумел удержать свое единство. Французское государство, тогда же быстро консолидировавшее могущество на своей собственной территории, вновь добилось отдельного контроля над церковной собственностью. Германские князья в конечном счете попросту выторговывали свои частные интересы в обмен на возвращение на сторону папы. Ведущие церковные интеллектуалы, такие как Николай Кузанский, разочаровались в способности соборной структуры провести реформы церкви и переключили свою лояльность в пользу папы. Другой ключевой реформатор — Пикколомини — стал папой Пием II и в 1459 г. объявил консилиаризм ересью. В воздухе витали призывы к реформам еще задолго до протестантской Реформации. «Реформа» не была узкой церковной доктриной церкви или движением, но долговременным лозунгом, выражавшим беспокойство относительно противоречий между религиозными идеалами и владением материальным имуществом, политическими полномочиями церкви. Эти противоречия делали наивысшие церковные карьеры легкой добычей для светских и часто хищных политиков, тогда как у церковных политиков имелись средства для манипулирования альянсами и для возбуждения вражды между светскими правителями в целях ограничения их полномочий. Центральной идеей реформы все больше становилась попытка разрушить неустойчивое равновесие религиозных и светских властей, которое препятствовало развитию политических структур в центре Европы. Таковы были слабые структуры коллегиального разделения власти; одно направление реформаторских движений было попыткой укрепить их и превратить в нечто вроде полноценных республик. Призывы к церковной реформе, проявившиеся в консилиаристском движении, одновременно сопровождались требованиями реформирования империи, что имело свою кульминацию в реформах рейхстагов 1485–1512 гг.

Провал этих двух реформаторских движений вел к протестантской Реформации. Ее непосредственным результатом было сокращение коллегиальных структур в церкви и государстве. Разделение на более компактные национальные церкви укрепляло автократические государства как на протестантской стороне, где церкви становились частью администрации централизованного правительства, так и в католических областях, где эффективный контроль над церковной

собственностью уступался государству [Wuthnow 1989]. В этих государствах сама церковная иерархия становились все более автократичной; папство становились менее интернациональным, строго говоря, — превратилось в местное территориальное княжество центральной Италии. Однако в зонах, где геополитическое могущество оставалась наиболее неопределенным, продолжались некоторые линии расширения церковной демократии. В раздробленной области Германской империи малые независимые единицы, такие как растущие Швейцарская федерация и вольные имперские города, которые были использованы своими лигами для совместной обороны, становились местами, где учреждалось радикальное самоуправление в форме сильно реформирующихся церквей. Жан Кальвин в Женеве, Ульрих Цвингли в Цюрихе и другие радикалы появились в тех нишах, где геополитические отношения оставляли им свободу создавать общинные (congregational) формы правления на территориях, бывших одновременно городами-государствами и церковными республиками. Кальвинистские церкви отличались отнюдь не только в доктринальном плане, они обладали своеобразием также в организационном отношении, будучи республиками членов церкви, избиравших своих теократических лидеров. Данная черта имела, возможно, даже более важное значение для их распространения.

9. Структурные недостатки провалившейся средневековой демократии

Сопоставим провал республики Рейхстага и провал консилиаристского движения. В обоих случаях, геополитически сформированная структура децентрализованных сил, уравновешивая автократических лидеров, пыталась институционализировать некую гибридную форму — коллегиальную республику. Обе коалиции потерпели неудачу из-за своей неэффективности в качестве руководящих органов. В Рейхстаге слишком мало децентрализованных сил были готовы отказаться от автономии и предоставлять коалиции достаточный объем финансовых ресурсов. На другой стороне, «исполнительная власть» этой коалиции — император — не был настолько отчаянным, чтобы делать уступки разделенной власти. Члены Рейха и император не были достаточно связаны друг с другом,

чтобы согласиться на институциональный компромисс. У составлявших эту конструкцию единиц были альтернативы; так, одна из квазидемократических структур внутри Рейха — Швейцарская федерация — воспользовалась этой возможностью, чтобы выйти полностью и построить свое собственное конфедеративное государство, предпочтя более надежный путь — стать малой региональной республикой вместо того, чтобы стать частью большой. Император тоже имел возможность искать альтернативные источники финансовой поддержки. В конечном счете он соскользнул к принципу династических брачных связей, что увело его внимание к территориям, находившимся зачастую весьма далеко за пределами Рейха.

Эта ситуация имеет общую значимость, поскольку ее ключевая проблема такая же, как и лежавшая в основе демократизирующих революций в Англии и Франции. Средневековые ингредиенты были почти те же. Как поступали аристократы в Германской империи, ровно так же и английские лорды воспользовались геополитическими неудачами и стали протестовать против порожденных геополитикой военных расходов, чтобы протолкнуть свои претензии на коллегиальное представительство. Соперничество с папским руководством в отношении германских территорий привело к тому, что немецкие епископы стали играть ведущую роль в коллегиальных структурах, таких как Коллегия курфюрстов и Рейхстаг. Сходным случаем вмешательства церкви в ограничение светской власти была роль, которую играл английский архиепископ Стефан Лэнгтон, возглавлявший коалицию баронов, которые в 1215 г. навязали королю Великую хартию вольностей. Данный документ начинался с утверждения независимых прав церковной собственности, и это привело к институционализации постоянно действующих парламентов, в которых духовенство заседало вместе с самыми знатными лордами[1].

Судьбоносные кризисы произошли в 1630-х гг. в Англии и в 1780-х гг. во Франции, когда короли были вынуждены иметь дело с институтами разделенной власти (парламентами и Генеральными

[1] В результате уступок короля Иоанна Англия стала фьефом [феодальным поместьем] Папы в этот период, как раз, когда папство продвигалось к своим наибольшим теократическим претензиям [Kelley 1986: 187]. В целом, однако, английский король сравнительно рано достиг успеха на своем острове в контроле над церковными ресурсами. [Английская] корона обретала относительно сильную администрацию, что не удавалось достичь германскому императору, а также обеспечивала некий центростремительный полюс в балансе сил, чего в Германии не было.

Штатами) из-за фискального кризиса, к которому привели накопившиеся расходы прошлой и текущей геополитики. Парламенты отказывались от введения новых фискальных поборов без того, чтобы получить в ответ крупные уступки относительно разделения власти. Существенно не столько то, что Английская и Французская революции свергли центральные правительства, сколько то, что антицентрализаторские силы действительно отказались от центрального правительства. Сам успех революционеров дал им контроль над государственным аппаратом. Революционные коалиции, принимая ту или иную форму, сохранялись как некое целое и логикой событий оказались вынуждены брать на себя ответственность за вооруженные силы государства, за заботы о государственном долге и за введение новых налогов. Во Франции революционное правительство становились еще более централизованным, чем при старом режиме, и устранило многие из прежних коллегиальных структур. В случае республики Рейхстага, революции не было не потому, что антицентрализаторские силы были слишком слабы, а потому, что они были слишком сильны. Империя не была в нужной мере географически ограниченной. Ни члены Рейха, ни император не были в достаточной степени «заперты» в какой-то единой структуре, для того, чтобы их битвы завершились в институциональном разделении центральной эффективной власти. Не доставало столь всеохватного государства, чтобы внутри него была осуществлена революция. Причины же такой государственной конфигурации были геополитическими.

В случае же консилиаристской церкви, всеохватное геополитическое единство центральной власти, в принципе, не подвергалось сомнению, но фактически оно уже стало под вопрос в результате длительного геополитического напряжения. Проблема, которая свела вместе консилиаристов, состояла в необходимости положить конец расколу между соперничавшими Папами, что было сопряжено с атмосферой деморализации. Папство все еще было квазигосударством — верховной законной властью в глазах его сторонников и источником легитимации для всех меньших правителей, которые считались его подчиненными. Папство пыталось принудить к внутреннему миру на территории Христианского мира, чтобы мобилизовать силы для внешних войн и направлять светские власти на подавление восстаний против своего господства. Разделение пап и антипап стало кризисом в самом существовании всеобъемлющей церкви-

государства, тем более потому, что папы и антипапы в действительности опирались на соперничавших могущественных королей и все в большей степени становились их марионетками. Соборное движение возникло в контексте слабого папства; республика подменила в тот момент центральную власть, нуждаясь в широкой поддержке для того, чтобы спасти ее, вырвав из рук того или иного регионального короля. Как и в случае республики Рейхстага и императора, ни коалиция, ни центральная исполнительная власть не были достаточно зависимы друг от друга. Если бы архиепископы, епископы и аббаты, принимавшие участие в соборах, смогли наладить совместное господство над церковью, они бы увеличили свою власть над светскими правителями; однако единство интересов в соборном правительстве было подорвано, поскольку многие региональные церкви уже были фактически национальными церквями (прежде всего во Франции, Испании и Англии, а также во многих германских княжествах), которые не желали жертвовать своей местной автономией. Уже слишком далеко тогда зашла геополитика государственного строительства в направлении консолидации государств, захватывавших контроль над церковными ресурсами в пределах своих территорий. Папство также имело альтернативный путь уступки консилиаризму: оно могло тайком отказаться от своих претензий на государственную власть, простиравшуюся над государствами, составлявшими Христианский мир, и опираться на прямой территориальный контроль папских государств в Центральной Италии. Выбрав этот последний путь, папство в действительности становились еще одной региональной державой на итальянском «боевом поле» (cockpit)* и вскоре стало пешкой в династической семейной политике итальянских городов-государств и близлежащих государств-завоевателей — Франции и Испании. После консилиаристского движения папство встало на путь, аналогичный пути императоров Габсбургов после провала республики Рейхстага. В случае папства это казалось геополитически неизбежным. Что мы могли бы назвать «политической стратегией обширного папства», сохранявшего теократические амбиции средневекового периода, так это его наибольший успех в натравливании слабых европейских правителей друг против друга. Подъем сильных государств на окраинах Европы — то самое условие, которое сделало Германию раздробленной внут-

* *Cockpit* имеет первоначальное значение площадки для петушиных боев.

ренней зоной, — не оставил папству никакого другого реального способа сохранить геополитическую власть, кроме как выбрать «решение малого папства» в Италии. Протестантская Реформация, последовавшая непосредственно после провала республик и Рейхстага и консилиаристов, утверждала и идеологически возвещала открытие новой геополитической реальности.

Аналитический урок этих неудач состоит в том, что расширение коллегиальной власти — это не просто вопрос мобилизации держав, противостоящих некоему автократическому центру. Также должна присутствовать, так сказать, центростремительная сила, способная вообще удерживать вместе эту коллегиальную коалицию. Чтобы это случилось, геополитически благоприятные возможности для коллегиального альянса и его исполнительных органов также должны перевешивать возможности каждого участника покинуть этот союз и действовать в одиночку.

10. Геополитические успехи некоторых средневековых республик

Наряду с рассмотренными только что неудачными институтами коллегиального разделения власти, в средневековой Европе было несколько полноценных республик. Рассмотрим три наиболее успешных: Венецию, Швейцарскую Федерацию и уже в конце Средневековья — Голландскую республику. Все они находились на периферии Германской империи, в промежутках между более крупными завоевательными империями. Все они зарождались как дипломатические структуры — альянсы между небольшими сообществами, которые выстраивали сильные коллективные органы для [обеспечения и организации] военных действий. Все это иллюстрирует некий временной паттерн в геополитической теории демократии: появление государства с полноценным коллегиальным разделением власти зависит не только от начальной геополитической раздробленности, ослабляющей автократическое правление, но и от последующих геополитических преимуществ, которые удерживают коалицию вместе.

Венеция, бывшая изначально провинцией переживавшей упадок Византийской империи, являлась единственной частью Италии за пределами Германской империи. Ее избирательные структуры кристаллизовались из местной борьбы за власть между со-

перничавшими семействами венецианского побережья. В 900-х гг. еще не было города-государства Венеции, а существовали только разбросанные сообщества на водных путях между островами, вовлеченные в семейные распри и заключавшие династические альянсы, чтобы получить власть над другими сообществами [Lane 1973; Kirschner 1995]. Геополитика давала стимул для объединения, предоставляла возможности для военной экспансии и торговли под государственной охраной в условиях геополитического вакуума в Адриатическом море и восточном Средиземноморье. Локальное равновесие сил колебалось между анархическими конфликтами и миром, установленным каким-либо автократичным дожем, возглавившим этот альянс сообществ. Республика появилась как третий вариант, уравновесивший соперничавшие группировки и общее центральное руководство. Дожи избирались выкрикиванием имен на общем собрании данного сообщества — собрании, по сути дела, проходившем спонтанно в центральной части лагуны по случаю смерти старого дожа, причем участниками были семьи, желавшие продлить этот союз. Сильные дожи пытались сделать свою власть наследственной, но передача власти по праву рождения время от времени блокировалась влиятельными семействами, продвигавшими соперничавшие династии. В 1032 г. были избраны два постоянных советника (канцлера), чтобы предотвратить переход к монархическому правлению, а в 1070 г. был создан Большой Совет для участия в постоянном управлении государством. Эта структура была преобразована в иерархию меньших и более эффективных представительных органов: сенат, герцогский совет и ряд избираемых магистратов с ротацией членов для выполнения различных государственных функций. К 1200-м гг. уже существовала сложная система непрямых выборов посредством голосования, а также порядок случайного выбора, направленный на предотвращение каких-либо манипуляций в целях получения фракционного преимущества.

Венеция была организована элитами как консервативная республика с ограниченным избирательным правом. Первоначально власть делилась между примерно 20–50 основных семейств, которые составляли в общей сложности около 500 избирателей и чиновников при населении 100 тыс. чел. В 1323 г. членство в Большом совете было сделано наследственным и стало символом благородства. В 1300-х гг. вследствие гибкости элиты число благородных семей

расширилось примерно до 6–7 % от численности населения. Для средневековой Европы, а также раннего Нового времени, Венеция была крупным образцом республиканских институтов. Здесь были созданы термины «голосование» и «избирательная коллегия», а также такие институты, как тайное голосование, судебное право, общественный защитник, представлявший в суде бедных истцов. Венецианские институты были главным источником доктрины разделения властей. Косвенно, Венеция послужила моделью для Конституции Соединенных Штатов, которая была специально разработана собственнической элитой как сочетание элементов всего европейского наследия консервативных институтов разделения власти [Mann 1993]. Поскольку в современном периоде политической мобилизации демократия определяется в первую очередь в терминах широты избирательного права, или, в другом варианте, как развитие англосаксонской традиции, этот венецианский источник современных демократических структур оказался во многом скрытым.

Венеция не была единственной средневековой республикой, сформированной таким образом. В 1100-х гг. сходные общинные правительства были созданы в Милане, Флоренции и в других местах. В отличие от других северных итальянских городов-государств, около 1300 г., после периода классовых конфликтов между гильдиями и прежней богатой аристократией, Венеция не соскользнула обратно к правлению отдельных семейств. Другие республики городов-государств были подорваны чередованием династических диктатур и массовых восстаний, причем вторые часто приводили к первым. Только Венеция была способна удерживать в равновесии эффективную центральную власть с устойчивым разделением между соперничавшими претендентами.

Что делало это возможным? У Венецианской республики было преимущество особенно благоприятной геополитической ситуации. Воздерживаясь в основном от ненадежных завоеваний внутренних территорий и оставаясь в стороне от запутанных военных действий германского императора и папы, она расширяла свои территории по побережью и водным путям за счет распадавшейся Византийской империи. В 1170-х гг. дож был достаточно значимой фигурой, чтобы выступать в качестве миротворца между папой Александром III и императором Фридрихом Барбароссой. В 1204 г. Венеция выступала в роли плацдарма и штаба для крестовых походов, которые

она направила на захват Византии и греческих торговых портов. Геополитический успех способствовал поддержанию энтузиазма среди венецианских граждан относительно коллективного действия. Внешний престиж могущества укреплял легитимность правящей системы, обеспечивая при этом приток богатства, что вполне удовлетворяло широкие социальные классы. Во внутренних делах, государственная структура работала эффективно, поскольку дож был действующим лицом от администрации в обширной морской геополитике. Разработанные сдержки и противовесы для предотвращения тирании не наносили урон правительству, потому что дож был единственным постоянным должностным лицом среди всех временных магистратов и советников. Как глава армии и руководитель внешней политики, он представлял то коллективное предприятие, в котором у всех венецианцев были ставки. В течение многих веков геополитический успех сохранял в живых эту республику. На другой же стороне итальянского полуострова республики попадали в пасть военных государств-завоевателей с севера и запада.

Слишком легко сформулировать статическое предположение о том, что торговые города со своими составленными из граждан армиями приводят к буржуазной демократии. В течение длительного времени демократии часто падали жертвой внутренних или внешних конфликтов. В коалициях с большой географической разбросанностью, как мы видели в случаях республик Рейхстага и консилиаристов, коллективному руководству часто угрожало прекращение поддержки со стороны отделявшихся членов. Более мелкие города-государства, как правило, пытались запирать своих граждан, чтобы предотвратить бегство, зато сами терпели бедствия в гражданских войнах, особенно в классовой борьбе между богатыми и бедными. И даже если удавалось избежать этих проблем, как в идеальном, по Руссо, малом эгалитарном сообществе, такое государство могло быть легко проглочено внешним завоеванием со стороны какого-либо из более крупных государств, если только оно не было защищено особенно благоприятной геополитической ситуацией. Каждый из этих путей означал, что мелкие демократии являлись, как правило, кратковременными структурами, которые в отсутствии выгодного геополитического положения не были способны к институционализации среди окружавшего строя больших государств.

Швейцарская Федерация также развивалась внутри благоприятной геополитической ниши [CMH 1910, 2; Kinder и Hilgemann 1968; Brady 1985]. Это была одна из нескольких лиг, выросших при дроблении Германской империи и стала единственной лигой, которая процветала и была институционализирована как республика. Швейцарские горные кантоны и окружавшее их кольцо городов внизу перевалов, по которым проходили торговые пути, находились в зоне географического пересечения склонных к взаимным вторжениям держав. Западные кантоны были втянуты в альянсы с Францией, Бургундией или Савойей; восточные кантоны были ориентированы на сильнейшие германские государства. Поскольку на разных сторонах росли мощные государства, их взаимное уравновешивание способствовало становлению независимости этой буферной зоны. В 1200-х гг. угроза Габсбургского династического государства, расширявшегося со стороны южной Германии, привела к созданию оборонительной конфедерации трех тевтонских сообществ, которые в 1291 г. стали Вечной лигой Лесных кантонов. Патриотическая традиция швейцарских свобод появилась в битвах 1270–1290-х гг., когда в качестве героического символа был возвеличен Вильгельм Телль. Военные победы 1300-х гг. над Габсбургами, а затем над Бургундией привели к эффекту следования за побеждающей группой*. В 1353 г. Лига была расширена до восьми кантонов благодаря альянсам, завоеваниям и присоединению независимых городов (некоторые из них, такие как Цюрих, были имперскими городами и бывшими австрийскими союзниками) с подчиненными им деревнями. Центральная Швейцария становились конфедерацией тринадцати кантонов. В начале 1400-х гг. федеральное правительство заключило новые союзы, осуществило новые завоевания и сумело организовать окружавшие лиги в некую лигу лиг. К 1499 г., в разгар движения за реформу Рейхстага, Швейцарская федерация почувствовала себя достаточно сильной, чтобы выйти из Германской империи, отказавшись вносить свой вклад по новой налоговой системе. Это был выбор между местной федерацией с учетом ее растущего успеха и долгосрочными трудностями преобразования слабой Германской империи в некую громадную республику.

---

* В оригинале: *started a bandwagon effect*. *Bandwagon* означает открытый грузовик с музыкантами, ораторами, политическими активистами — распространенное средство уличной агитации в американских предвыборных кампаниях.

В Швейцарской федерации не было иной государственной структуры, кроме законодательного органа, в который кантоны направляли своих делегатов. Эти федеральные структуры способствовали учреждению республиканских институтов на более низком уровне. В плане внешних отношений это защищало кантоны и города от поглощения династическими государствами-завоевателями. Во внутренних делах это не позволяло многим членам-лидерам осуществлять авторитарное господство над другими членами коалиции. Была укреплена общинная власть (communal government) на уровне городов и сельских коммун. При отсутствии местной аристократии военная организация состояла в массовой мобилизации пехоты, что усиливало чувство участия и демократическую солидарность.

Первоначально эти структуры коллегиального разделения власти развивались в геополитическом вакууме. Благодаря преимуществу своего положения как горной буферной зоны и в условиях попыток окружавших государств-завоевателей подавить друг друга, Швейцарская федерация одерживала целый ряд военных побед. Швейцарская геополитическая сила была оборотной стороной геополитической слабости династических государств-завоевателей вокруг нее. Таково общее свойство геополитики: условия, наказывающие государство, усиливают его противников. Там, где весь регион попадает в патовую ситуацию и начинает дробиться, все крупные государства-завоеватели оказываются блокированными, и открывается ниша, в которой баланс могущества может быть институционализирован в форме некоего устойчивого альянса.

Голландская республика кристаллизовалась из другой расщелины Германской империи [t Hart 1993; Tilly 1993: 52–78; CMH 1910, vols. 1–3; Kinder and Hilgemann 1968]. Когда на всей территории Германии вырастали самоуправлявшиеся города и лиги, Нижние Земли (Нидерланды) становились одним из регионов с самой плотной сетью ганзейских городов. По мере дробления Германской империи, Нидерланды становились зоной крайне смешанных политических структур, включавших аристократическое, общинное и конфедеративное правление. Когда в Европе стали консолидироваться династические государства, за эту область многократно и безрезультатно бились прежде всего противоборствующие силы Франции, Бургундии и Люксембурга. В конце 1400-х гг. Нижние земли стали частью патримонии Габсбургов. В 1490-х гг. один из

проектов императора Максимилиана, для осуществления которого он вел переговоры и пытался получить финансовую поддержку Рейхстага, состоял в захвате контроля над Нидерландами как наследством для своего сына. Арена борьбы (cockpit) в Европе становилась как раз такой связью пересекающихся держав, которая способствовала местной автономии. Эта автономия усиливалась, а чувства в ее поддержку идеологически воспалялись благодаря принятию республиканских форм протестантского церковного управления. В 1568–1584 гг. была создана Голландская республика в результате восстания против власти испанских Габсбургов, что также формально прекратило ее включенность в Германскую империю. Институты *Ständestaat* (сословного государства) и оборонительные лиги были объединены в конфедерации — Генеральные Штаты, включавшие депутатов из семи республик. Подобно Швейцарии, а затем Соединенным Штатам, Голландия стала республикой республик.

Как и другие успешные республики, Голландская республика воспользовалась вначале геополитической слабостью своего окружения, а затем собственной геополитической экспансией. Ее победа над испанцами была победой над крупным, но испытывавшим эффекты сверхрасширения противником, который вел войны на нескольких фронтах по всей Европе и на морях, действовал, находясь в дальней точке весьма протяженных линий логистики — перемещения воск и грузов, причем не оправившись от финансовых напряжений как следствий прошлых войн. Будучи однажды учрежденной, Голландская республика институционализировалась благодаря престижу могущества как результата ее собственных успехов. Ее морская империя и полученное благодаря коммерции богатство появились как раз в нужное время, чтобы сохранить в живых юную республику, во многом, таким же образом, как была подкреплена своими геополитическими преимуществами Венеция.

Голландская революция была первой из демократических революций раннего Нового времени, моделью для английских революций 1640 и 1688 гг.; более того, она поставила как войска, так и конституционного монарха для последней из них. Возможно, лучше будет посмотреть на нее, избегая этой терминологии «раннее Новое время» (“early modern”) с коннотацией разрыва с прошлым. Голландская республика была неким мостом, как и Швейцарская Федерация, от средневековых республик к современности.

11. Вклад дипломатического альянса в демократию

Коллегиальные структуры возникают как для ограничения, так и для поддержки центральной власти. Они институционализируются, если только имеет место баланс центростремительных и центробежных сил. Центральная власть ограничена, когда центр относительно слаб относительно сбалансированного множества окружающих его единиц, причем ни одна из них не сильна настолько, чтобы заменить эту центральную власть. Это обстоятельство возникает чаще всего по геополитическим причинам. В то же время должны существовать условия для удержания разделенной власти от дальнейшего дробления, когда части разбегаются в разные стороны. Что-то должно держать коалицию вместе. Для этой стороны геополитика также имеет решающее значение.

Рассмотрим два пути возникновения такого баланса между формированием коалиции и ограничением власти: через дипломатический альянс или внутреннюю революцию. Независимые единицы могут образовать дипломатический альянс: для этого требуется наличие таких геополитических условий на охватывающей арене, которые вначале позволили им стать независимыми, а затем наличие таких геополитических условий, которые мотивируют их объединяться и оставаться вместе. Успешными примерами таких альянсов, ставших коллегиальными государствами, являются Венеция, Швейцария, Голландская республика и, как мы увидим, Соединенные Штаты Америки. Не всем альянсам это удается. Не проводя полномасштабных сравнений, требуемых для обоснования этого тезиса, я предлагаю считать главной причиной распада отсутствие геополитических условий, которые бы поддерживали такой альянс. Два примера неудачных союзов — Республика Рейхстага и консилиаристское движение — не были чистыми случаями независимых единиц, выстраивающих некий дипломатический альянс, а представляли собой попытки реинтеграции ранее централизованной власти, претерпевшей дробление. Противоположным случаем является тот, при котором централизованно управляемое государство слабеет из-за отсутствия военных и фискальных ресурсов. При его кризисе подчиненные единицы с небольшими независимыми силами противостоят фискальным требованиям со стороны центра и, наконец, соглашаются делать вклады в это государство, только

если оно институционализирует некую структуру разделенной власти. Таков был путь демократизирующих революций в Англии и Франции. Республика Рейхстага и консилиаристское движение, попадающие в какую-то точку на континууме между структурой дипломатического альянса и ущербной в фискальном плане Великой державой, также сходны с провалами в рамках модели внутренней революции. В действительности же, путь внутренней революции к демократии также не является чистым случаем, так как он включает остатки прежних, геополитически детерминированных структур — лоскутного одеяла из феодальных альянсов и династических браков, наследия прежней международной системы папства, проникавших сквозь территориальные государства и создававших те парламентские институты, на основе которых английские и французские революционеры позже мобилизовали силы для захвата центральной власти.

Геополитика влияет на демократию в двух довольно четко различающихся фазах, которые можно описать как центробежные и центростремительные процессы. Геополитика запускает центробежные процессы, создавая ситуацию раздробленности на политические единицы, свободные от контроля со стороны какого-либо сильного государства-завоевателя. В других случаях она может серьезно ослабить бывшее до сих пор успешным воинственное государство, обусловив его сильное фискальное напряжение как следствие его геополитических предприятий и расходов, накопившихся от предыдущих завоеваний. Таков отличительный тип геополитической слабости. Формула состоит отнюдь не в том, что любое геополитически слабое государство становится коллегиальной демократией, поскольку при слишком большой его слабости оно попросту поглощается более сильными соседями. Геополитическая слабость, о которой я здесь говорю, является умеренной: такое государство в зоне раздробленности может быть относительно защищено от завоевания или централизации власти, либо же оно может быть ранее сильным государством, переживающим фискальный кризис из-за накопленных геополитических напряжений, но сохраняющим при этом достаточные геополитические ресурсы, чтобы противостоять завоеванию со стороны предприимчивых соседей.

Это лишь половина данной истории. Центробежные силы геополитики не приводят к институционализированным, устойчивым

структурам коллегиального разделения власти, пока за ними не последуют центростремительные силы, мотивирующие членов этой коалиции оставаться вместе. За первой фазой — геополитической слабостью, приводящей к дроблению или государственному распаду, — должен последовать некий поворот событий, то есть должны появиться достаточные геополитические преимущества сохранения коалиционного единства, чтобы эта коалиция не просто противостояла центральной власти, но взяла на себя командование над общими направлениями своей собственной деятельности. Этот альянс должен стать эффективным государством. Случаи оборонительных лиг в средневековой Германии и движения за республику Рейхстага показывают некоторые мотивы попыток коалиции укрепить свое единство в ситуации раздробленности: стремление получить преимущества от внутреннего мира, подавление разбоя и разрушительных мелких войн, защита торговли в период экономической экспансии. Провал коллегиальных структур в средневековой Германии показывает, что эти мотивы сами по себе недостаточны для успеха коллегиального альянса. Как устранение препятствий для мира на местном уровне (отрицательные преимущества), так и военное расширение коалиции (положительные преимущества) играют важную роль в институционализации демократии.

По этим причинам ущербна методология, заключающаяся в попытках установить причины демократии просто кросс-секционной корреляцией в рамках некоторой выборки государств. Геополитика — это условие не конкретного государства, но всего региона. Именно отношения между областями силы и слабости на всей территории участников взаимодействия — вот что определяет, где будут проведены границы государственных образований; число же будущих государств — это результат геополитических процессов завоевания, заключения альянсов и дробления. Геополитические условия влияют на демократию в два этапа: вначале ослабляя сильные государства, которые вели военные завоевания, затем способствуя геополитическим удачам коллегиальных коалиций. Теория демократии, основанная на кросс-секционных корреляциях между структурными условиями, не будет здесь работать, потому что ключом является некий происходящий во времени паттерн: геополитическая слабость, за которой следует альянс, за которым следует геополитическая экспансия.

Геополитические источники становления США

Интерес к геополитический теории коллегиальных структур вызывается не только антикварным пристрастием к старине, к всматриванию в уже исчезнувшие средневековые источники современных институтов. Государство, возникшее относительно недавно, — Соединенные Штаты Америки — является примером обеих фаз геополитики, приводящих к коллегиальной демократии.

Соединенные Штаты образовались во многом таким же путем, как Швейцария или Нидерланды. Как показывает Ли, независимость Атлантических прибрежных колоний возникла при геополитических напряжениях Британской империи в тот период, когда она была вовлечена в конфликты на нескольких фронтах [Li 1996]. Одновременно англичане испытывали затруднения, связанные с логистическими издержками ведения отдаленных боев против поселенцев в своих самых многолюдных и богатых ресурсами колониях. Начало этой борьбы напоминало начало революций в Англии и Франции: требования центрального государства помощи в оплате военных расходов на только что завершенное завоевание Канады и на войны с коалициями индейцев встречали сопротивление со стороны колониальных образований, имевших наибольшую местную автономию. Но в этом случае результат состоял не в захвате государства коалицией сопротивления, а в дроблении самого государства.

Почему же центростремительные силы не продолжали действовать и дальше? Американцам трудно согласиться с этой случайностью, поскольку мы воспитаны на идеологии ясной [национальной] судьбы и на привычках ретроспективной телеологии; мы считаем, что тринадцать колоний естественным образом должны были стать единым государством, простирающимся на весь континент[1]. На самом же деле эта коалиция повстанцев отнюдь не сразу стала держаться вместе. Как показывает Ли, то, что институционализировало федерацию, было в первую очередь геополитической потреб-

[1] Как заметил Валлерстайн, в обеих Америках было 30 британских колоний, большинство из которых имело сходные недовольства относительно фискальной политики Британии [Wallerstein 1989: 210–211]. Многие из них колебались, но в конечном счете не присоединились к восстанию. Например, Новая Шотландия (Nova Scotia — провинция на юго-востоке Канады, *прим. перев.*) была слишком уязвима для британских военно-морских сил и не видела никаких перспектив для успеха.

ностью: запрос поселенцев на захват индейских земель на Западе мог быть выполнен только объединенной армией этой федерации [Li 1996]. Движение переселенцев и сопутствующее добавление новых штатов к федерации были успешными в военном плане, поскольку после 1790 г. оказались благоприятными внешние геополитические условия. Когда французские, британские и испанские войска нейтрализовывали друг друга в Европе, прекратилась их поддержка индейских коалиций, блокировавших расширение США, что привело к вакууму могущества в их североамериканских колониальных владениях, за счет которых США и могли расширяться.

Альянс независимых государств (штатов) становится самостоятельным государством с коллегиальным разделением власти благодаря своей коллективной военной роли. В первое столетие своего существования правительство США занималось в основном военными делами и проводило очень мало мероприятий иного рода [Mann 1993: 362–373]. Соединенные Штаты — это пример того, что геополитический престиж могущества является главным источником легитимности режима: впечатляющий геополитический успех альянса США, простершегося по всему континенту и использовавшего свои ресурсы, чтобы стать мировой державой, как защищал, так и легитимировал американскую демократию. На этом пути, первоначально оборонительная и созданная к случаю федерация республик поселенцев становились надреспубликой (suprarepublic), чей престиж могущества и легитимность затмили те же достоинства ее частей. Подобным же образом, легитимность парламентских институтов в Британии подкреплялась со времени Славной революции и до начала XX в. общим подъемом ее геополитического престижа могущества в течение всего этого длительного периода.

Приложение теории: будущее российской демократии

Остается ли актуальной геополитическая теория демократии? Во всем мире было установлено множество демократических государственных структур, имитирующих европейские и американские модели. Эти институты уже основаны не в геополитических условиях, но в процессе институционального подражания тому, что Мейер описывает как легитимный идеал современного государства [Meyer 1987]. Применима ли геополитическая аргументация только к ранним периодам истории, на материале которых эта модель

и была впервые создана? Я утверждаю, что она все еще значима. Даже когда есть эффект подражания престижным западным моделям при создании демократических структур, на сохранение их жизнеспособности может влиять степень благоприятности геополитических условий.

Рассмотрим перспективы демократии в России в период после антикоммунистических революций 1989–1991 гг. [1] Если демократия зависит от культуры политических прав и привычек, то эти перспективы весьма унылы; российские долгие недемократические традиции не предвещают ничего, кроме дальнейшего повтора того же самого. Краткосрочные институциональные реформы малонадежны. Массовое избирательное право без структуры коллегиального разделения власти, как правило, было формулой для нестабильных и краткосрочных плебисцитарных режимов, которые периодически соскальзывают к автократии*.

Геополитическая теория демократии, фокусируя внимание на структурах организации военной мощи, предлагает иной взгляд. Сама Российская республика обладает преимуществом федеративной структуры, которая удерживается как единое целое отчасти за счет того, что этнические группы пересекают ее внутренние границы. Есть и другие перспективы для федеративных структур, связанные с напряжениями и преимуществами дипломатического альянса между частями бывшего Советского Союза. Если геополитические условия будут способствовать установлению некой федеральной структуры альянсов вокруг ослабленного российского государства, то такая остаточная федерация бывшего советского блока вполне может породить некий баланс могущества, сходный с теми видами структур, которые исторически способствовали коллегиальному

---

[1] Сходный анализ может быть проведен и для Китая. Ключ к возможной будущей китайской демократии, с точки зрения геополитической теории, состоит в том, насколько вероятно возникновение федеративных структур в результате децентрализации и установления регионального баланса сил, возможно, через коалицию с заморскими китайскими режимами. С другой стороны, уверенный рост китайской геополитической мощи в Восточной Азии может благодаря престижу могущества повышать легитимность правящего режима, который тогда останется автократическим. Этот диагноз противостоит более привычным подходам к демократии, которые делают упор на китайские культурные традиции (негативное влияние) или на экономический рост (позитивное влияние).

* Нелишне заметить, что это суждение, как и публикация всей книги, датируется 1999 г. — задолго до трансформации политического устройства России 2003–2005 гг.

разделению власти. Если бы такая федерация «большой России» ограничила сферу влияния своей мощи близлежащими раздробленными зонами Кавказа и других слабых соседей, то она бы могла праздновать возвращение по крайней мере скромного геополитического престижа могущества, который укрепил бы легитимность демократических институтов. Проблема российской демократии состоит в том, чтобы выйдя из фазы геополитический слабости, восстановиться, причем восстановиться настолько, чтобы коллегиальные (разделяющие власть) структуры федеративных правительств могли бы быть удержаны вместе, а не дробились дальше.

Самая оптимистичная картина российской демократии, которую мы можем построить, зависит от будущих геополитических конфигураций. Даже если они окажутся благоприятными, это вовсе не даст гарантии того, что будущее России будет внутренне гармоничным или что скоро появится некая общая «демократическая культура». Такая культура возникнет позже, следуя за патовой ситуацией институциональных структур, составляющей основу демократии. Современные общества не являются узниками культурных традиций; актуальные геополитические структуры — вот что всегда наиболее значимо.

Глава 5

Идеологическая порка Германии и теория демократической модернизации

Стереотипы, уничижительные для наций, теперь табуированы, но за одним исключением. Весьма распространено и считается законным изображение немцев как исконно авторитарных и воинственных. Ходовой элемент в рутине американских комедий — это карикатура на обычного немца, изображающая его эдаким шкафообразным нацистом, готовым в любой момент вторгнуться в Польшу. Подобные антигерманские стереотипы распространены также в Великобритании и других странах. Этот образ отчасти является следствием воспоминаний о войне, но его корни глубже. На протяжении нескольких поколений имело место согласие ученых в представлении немецкой культуры и немецкого общества как авторитарных, лишенных демократических институтов и ценностей. Считается, что над Германией господствует прусский дух регламентации, а глубже — лютеранская этика послушания и пиетистская этика непротивления, замкнутости в своем внутреннем мире. Принято, что над Германией довлеет скорее романтизм, а не рационализм, и еще вдобавок — национальная идентичность, основанная на противостоянии либеральному модернизму Запада.

Эти культурные установки, как правило, объясняются положением Германии как страны, поздно вставшей на путь модернизации. Дескать, отстав от модернизирующих революций в Англии и Франции, немцы вышли на мировую арену с чувством униженности и потребностью наверстать упущенное. Вот почему культурное отвержение Запада со стороны Германии вместе со структурными напряжениями ее быстрой и принуждаемой внешними влияниями

модернизации, проявлялись в антимодернизационных движениях: от национализма — до антисемитизма и фашизма.

Авторитарный образ Германии — это не только критика со стороны иностранцев. Такой взгляд разделялся немецкими интеллектуалами с 1830–1840-х гг.: младогегельянцы сравнивали свою страну с Францией, причем не в свою пользу, поскольку в Германии не произошли политические революции 1789 и 1830-х гг. [Lowith 1967: 96]. Эта критика усилилась в 1850-е гг. после того, как распространение французской революции 1848 г. на германские государства так и не привело к установлению в них конституционного строя, а восстания были подавлены с помощью военной силы. Немцы считали себя людьми, не способными совершить свою собственную революцию; вместо этого они испытывали «революцию сверху» [Moore 1966: 433–442] или, в подражание другим народам, — «революцию извне» [Bendix 1967]. Отсутствие революционной воли стало одним из ходовых идей немецкой историографии[1]. С таким диагнозом также соглашались марксисты. Германия, не сумев вовремя и нормально пройти через буржуазную революцию, представлялась деформированной, что препятствовало революции социалистической; позже этой деформации предстояло проявиться в виде фашистской контрреволюции[2].

---

[1] [Schnadelbach 1984; Willey 1978: 28, 184–185; Kohnke 1991]. См. характерное утверждение в книге Гельмута Плеснера "Die verspätete Nation" («Опоздавшая нация»): «Будучи нацией, пришедшей слишком поздно на мировую сцену, где с самого начала следовали совершенно иным моделям, немецкий народ дистанцируется от латинства и урбанизма, авторитетность которых тем не менее чувствует, тогда как в своем собственном *élan* (*жизненном порыве*) он отдает предпочтение непосредственности и самобытности, а тем самым также внутренней глубине; иначе говоря, он льстит себе, будто является чем-то вроде вулкана, извергающегося расточительно и дико» (цит. по [Schnadelbach 1984: 20]). Книга Плеснера была впервые опубликована в 1935 г., когда он находился в ссылке, — во время совершаемых нацистами потрясений. Здесь мы не будем делать обзор обширной литературы о *Sonderweg* — «особом пути».

[2] Широко известна шутка Сталина о том, что немцы никогда сами не совершат революции, поскольку они боятся ходить по газонам. Этот марксистский образ немцев как склонных к авторитаризму конформистов продолжает изначальные традиции марксизма. В 1840-х гг. Маркс присоединился к критике младогегельянцами немцев как этаких увальней, не поспевающих за французами. В своих поздних работах Маркс пришел к виденью английского индустриализма как образа будущего для Германии. Однако в немарксистском анализе есть склонность относить отход Германии [от общего пути европейского прогресса] еще дальше в про-

Одна несообразность такого взгляда состоит в том, что Германия, не то что не была антимодернистской в культурной сфере, но представляла собой передний край модернистских движений. За последние 150 лет самым радикальным, ориентированным на будущее движением был марксизм, явственно антитрадиционалистским и прогрессивным; обратный взгляд, разоблачающий марксизм как отсталое и обращенное назад движение, прямо противоречит его очевидному содержанию. Немецкими культурными модернистами также были Ницше как наиболее радикальный атеист и Фрейд — самый знаменитый борец за сексуальную свободу[1]. Начало практически всех радикальных философских движений XIX и XX вв. было положено немецкими мыслителями: таковы логические позитивисты от Эрнста Маха для участников Венского кружка; таков экзистенциализм Мартина Хайдеггера; в религии — это Мартин Бубер и Пауль Тиллих[2]; в богословии таковы движения высокой критики и либеральной теологии, нео-ортодоксия Карла Барта и Рудольфа

шлое. Для Элиаса такой причиной были разрушительные войны 1600-х гг., которые повернули Германию на путь депрессии и ностальгии, а в эпоху Вильгельма ввергли в милитаризм сословных культур, даже в среде буржуазии [Elias 1989].

[1] Австрию принято включать в немецкую культурную орбиту, и это имеет структурные основания: немецкоязычные интеллектуалы, художники и музыканты свободно перемещались между государствами Австрии, Германии и [немецкой] части Швейцарии; сеть университетов в этих местах образовывала общее пространство карьерного продвижения; в структурном плане институты Австрии были сходны с институтами германских государств, но с добавлением сложности полиэтнической Австрийской империи. Данное институциональное сходство основано на том факте, что все эти государства когда-то находились внутри Священной римской империи под властью немецкоязычного императора. В Новое время и позже политики также легко пересекали границы: Гитлер по рождению был австрийцем. Странно, что хотя Австрия была значительно более консервативной, чем Германия, она избежала какой-либо «идеологической порки» — тех нападок, которые испытывала Германия, возможно, благодаря тому, что Австрия как бы сбросила на Германию свою культурную идентичность.

[2] Практически все негерманские экзистенциалисты получали свою философскую подготовку в Германии. Датчанин Сёрен Кьеркегор был студентом в Берлине в 1840-х гг. Франц Кафка учился в немецком университете в Праге. Жан-Поль Сартр развивал французский экзистенциализм после обучения в 1933–1934 гг. в *Maison Française* — Французском доме в Берлине, тогда как остальные члены его кружка (например, Раймон Арон) временно проживали в Кёльне, а эмигранты, такие как Александр Кожев (Кожевников) и Александр Койре (Койранский), привнесли во Францию гегелевскую и дильтеевскую философию из немецкой интеллектуальной сети. Данные об этих сетевых связях взяты из книги [Collins 1998].

Бультмана, мирское христианство Дитриха Бонхёффера. Модернизм в музыке продвигался Рихардом Вагнером, Густавом Малером и Арнольдом Шёнбергом. В живописи первым модернистским движением был французский импрессионизм 1860-х гг., но в следующем поколении двумя главными центрами абстрактного искусства являлись Франция и Германия, где около 1905 г. был разработан абстрактный экспрессионизм. В архитектуре лидерами осознанного модернистского движения были школа Баухаус и ее предшественники экспрессионисты примерно 1910–1930-х гг., а в кинематографе — германская киноиндустрия 1920-х гг.

Немецкая культура, отнюдь не консервативная и не конформистская, являлась лидером мировых движений с 1800-х гг. Процесс международных заимствований, опережений и наверстываний был во многом обратным тому, как это представляется в нынешней политической социологии модернизации. В течение того же периода Англия редко была культурным экспортером, напротив, британские интеллектуалы, как правило, отправлялись на континент в поисках современных тенденций. В начале 1800-х гг. романтики Сэмюэл Тейлор Кольридж, Перси Биши Шелли и лорд Байрон путешествовали по Германии и затем принесли на родину философию немецкого идеализма. В 1840-е и 1850-е гг. Джордж Элиот* начала свою карьеру, сражаясь с богословским традиционализмом с помощью переводов работ Д. Ф. Штрауса и Людвига Фейербаха, исполненных антропологическим гуманизмом и материализмом. В 1890-х гг. Бертран Рассел отправился в Германию для изучения тогдашнего законодательства в области социального обеспечения и написал свою первую книгу «Германская социал-демократия» (1896). В этот период для философов, математиков и ученых в области естествознания было принято посещать немецкие университеты, чтобы подхватывать передовые идеи. Этот паттерн заимствования из Германии был еще более выраженным в Соединенных Штатах. В 1830-х гг. [американский] трансцендентализм был результатом заимствования немецкого идеализма.

С 1860-х до начала 1900-х гг. американские философия, естествознание, психология, даже социология были в основном результатом деятельности профессоров, которые ранее учились в немецких университетах; в конце XIX в. около 10 тыс. американских студентов

* Настоящее имя писательницы — Мэри Энн Эванс.

отправились в Германию [Berelson 1960: 14]. В 1930-е гг. миграция из Германии не приемлющих нацизм беженцев продлила американскую культурную зависимость от немецких академических дисциплин вплоть до середины XX в. [Fleming and Bailyn 1969]. Как это ни парадоксально, Великобритания и Соединенные Штаты, считающиеся двумя самыми современными обществами, были в культурном отношении наименее модернистскими и в наибольшей мере зависели от [идейного] импорта.

Другим центром общемирового культурного модернизма была Франция. В Париж съезжались иностранные учащиеся для изучения естественных наук и математики с 1760-х до примерно 1840-х гг., когда центр тяжести в этих сферах переместился в Германию. В литературе со времен Шарля Бодлера и Гюстава Флобера в 1850-х гг., с кульминацией в кружке символистов во главе со Стефаном Малларме в 1890-е гг., а также в искусстве со времен импрессионистов, именно Париж был мировой Меккой модернизма вплоть до последней его «постмодернистской» версии 1980-х гг. И даже Франция ощущала притягательную силу немецких культурных новшеств: в 1810–1820-е гг. среди ведущих французских интеллектуалов имел место культ немецкой философии, которую популяризировали мадам де Сталь и Виктор Кузен. В 1870–1880-х гг. после поражения во Франко-прусской войне ряд французских интеллектуалов, в том числе Эмиль Дюркгейм, жили в Германии, чтобы научиться новым методам в образовании и ознакомиться с содержанием современных дисциплин. В 1920-е и 1930-е гг. французские мыслители импортировали немецкие же феноменологию и экзистенциализм, а в 1950-е гг. — фрейдизм и марксизм. Таким образом, даже во Франции — наиболее самосознательном центре мирового авангарда — периодически проявлялась склонность обращаться к Германию за [идейными] новшествами.

Как же нам объяснить эти противоречивые картины лидерства и отставания в политической и культурной сферах? Современность (модерность) — это не какой-то единый пакет; современность составлена по крайней мере из четырех различных компонентов, которые зависят от разных причин и изменяются автономно. Далее я обрисую исторический опыт Германии и других ведущих западных обществ, рассматривая их степени (1) бюрократизации, (2) религиозной секуляризации, (3) капиталистической индустриализации и (4) демократизации. Отнюдь не будучи отстающей, Германия в свое

время лидировала в нескольких из этих аспектов. Я также поставлю под сомнение ту степень, в которой Германия была «позади» этой последовательности политической модернизации. Такие суждения предполагают некий стандарт для сравнения, причем он должен быть основан на фактическом состоянии других стран, таких как Великобритания, США и Франция в соответствующие моменты истории, а отнюдь не на каком-то идеале, который до сих пор так и не достигнут большинством обществ. Если Германия была всего лишь хромающей демократией до конца XIX в., то в какой-то степени это было верно и для любого другого крупного [западного] общества.

Одним из результатов этого анализа будет демонстрация того, что стереотип немецкой отсталости и антимодернизма является некорректным не только в области культуры, но и в большинстве институциональных сфер, даже в политике. Мой тезис состоит не в том, чтобы обернуть этот стереотип — прославить Германию вместо ее привычного порочения. Нам следует усвоить соответствующий аналитический урок: необходимость понимания того многомерного процесса, который производит социальные изменения в современную эпоху. Негативные аспекты модернизации, настолько очевидные во многих гранях немецкой истории, лучше всего отрезвляют, поскольку являются примерами или гипертрофией тех тенденций, которые есть в структуре каждого современного общества[1].

1. Четыре модернизационных процесса

Одномерная модель модернизации предполагает движение по одному континууму, где различия есть лишь в скорости и продолжительности остановок и откатов назад. Многомерная модель лучше учитывает различные последовательности. Почему нужно сосредоточиться именно на этих конкретных четырех измерениях:

[1] Я использую во всей книге термин «современный» (“modern”) и производные от него, несмотря на популярность обозначения настоящего как эпохи «постсовременности» (“postmodernity”), наступившей в какой-то момент после окончания эпохи Просвещения XVIII в. Фактически все черты «постмодернизма» являются лишь более интенсивным выражением структурных черт модернизации. Если же есть желание сделать особый упор на некоторые тенденции конца XX в., то предпочтительным будет термин «гипермодернизм».

бюрократизации, секуляризации, капиталистической индустриализации и демократизации? Данные компоненты модернизации схватывают то, что верно и в классических одномерных моделях, но связывают эти моменты с соответствующими институциональными сферами. Такие оппозиции, как *Gemeinschaft* и *Gesellschaft*[*], механическая и органическая солидарность[**], указывают на рост крупномасштабной организации поверх местных и личных отношений, но это происходит двумя различными путями — через рост бюрократизации и через расширение рынка. Теория растущей дифференциации обобщает углубление разделения труда, что вновь указывает на процесс, происходящий в рыночной экономике, а в иной форме — в бюрократической организации. В более абстрактном смысле, религиозная секуляризация может также рассматриваться как форма дифференциации культурных сфер [Parsons 1964], но это довольно бледное описание не схватывает ни горячности борьбы между приверженцами религиозного господства и сторонниками секуляризации, ни болезненности, характерной как раз для тех сфер современной культуры, где произошла наиболее обширная секуляризация. Другое предлагаемое ключевое измерение — рационализация — является неудовлетворительным из-за его двусмысленности; данный термин может означать эффективность, предсказуемость или формализацию, которые вовсе не обязательно сопутствуют друг другу или одновременно возникают в каждой институциональной сфере.

Преимущество сосредоточения внимания на конкретных институциональных изменениях (бюрократизации, секуляризации,

---

[*] *Gemeinschaft* (неформальное сообщество с теплыми личными эмоциональными связями) и *Gesellschaft* (формальное общество с холодными безличными рациональными отношениями) — классическая оппозиция, развитая немецким социологом Фердинандом Тённисом в книге 1887 г. с одноименным названием.

[**] Понятия, развитые Эмилем Дюркгеймом в работе «О разделении общественного труда» (1893). *Механическая солидарность*, присущая неразвитым, архаическим (доиндустриальным) обществам со слабым или отсутствующим разделением труда, включает единообразных индивидов, поглощенных коллективом, однотипные социальные функции, основана на репрессивном законе, который направлен на наказание индивидов, нарушающих запреты и обычаи. *Органическая солидарность*, присущая развитым (индустриальным) обществам с выраженным разделением труда, предполагает выполнение каждым индивидом специфической функции, ослабление коллективного сознания за счет развития неповторимых личностей, включает реститутивное право, суть которого не в наказании, а в восстановлении нормального состояния вещей.

капиталистической индустриализации и демократизации) состоит в том, что их легче приложить к теориям, включающим причины и следствия. Четвертый процесс — демократизация — требует особого пояснения. По сравнению с остальными процессами, тема демократизации была наименее удовлетворительно развита в направлении к теории исторической причинности. Относительно капиталистического развития было проведено множество тонких теоретических исследований, предприняты большие усилия для проверки положений на сравнительно-историческом материале. Социология организаций была сосредоточена на бюрократизации, социология религии — на секуляризации. Однако в политической социологии систематическая сравнительная работа была больше направлена на теорию революции (и во вторую очередь — на государственное строительство), чем на теорию демократических структур, и мы еще далеки от согласия об их причинных условиях. Здесь камнем преткновения являются эволюционные теории модернизации, поскольку совсем не очевидно, что демократия является специфическим современным (модерным) институтом, кроме как в том грубом историческом смысле, что общества, конвенционально принятые в качестве образцов современности — Великобритания и Соединенные Штаты — были демократиями. Структурные черты демократии не вытекают ни из какой классической одномерной полярности социального изменения (*Gesellschaft*, дифференциация, рационализация)[1]. Исторически сложилось так, что демократические структуры различных типов существовали задолго до появления других аспектов современности: таковыми были коллективные собрания во многих бродячих группах охотников-собирателей и в племенных обществах; греческие города-государства; органы коллеги-

[1] Парсонс пытался рассматривать демократию как отделение, или дифференциацию, исполнительной администрации от утверждения правовой структуры и законодательного целеполагания, трактуя демократию как универсальную стадию эволюции [Parsons 1964]. Эта теория неубедительна с точки зрения причинности. Неясно, какие именно преимущества следуют из этого типа дифференциации, особенно с учетом того, что демократическое разделение властей может приводить скорее к тупику, чем к эффективному действию. Напротив, Рансиман на основе широких исторических сравнений утверждает, что индустриальные/бюрократические общества могут существовать во множестве политических форм [Runciman 1969]. Более узким образом и пренебрегая досовременными формами демократии, Липсет доказывает, что капитализм является необходимым, но не достаточным условием для демократии [Lipset 1994].

ального разделения власти, образованные знатью, королевства с выборами королей, а также независимые судебные системы в период средневекового феодализма. Требовавшийся диапазон исторических сравнений был препятствием для развития полноценной каузальной теории демократии.

Вполне возможно, что демократия в своей сути не является таким уж современным явлением; на самом же деле она противоречит другим характерным чертам современной социальной структуры. Это может служить объяснением того, почему демократия является наиболее изменчивым качеством и чаще всего подрывается, как это и произошло в нацистском эпизоде первой половины XX в. Такова и причина того, почему Великобритания и Соединенные Штаты могли быть гораздо менее современными во многих аспектах, тогда как Германия и Франция, обладавшие множеством характеристик современности, в то же время в отношении демократии имели крайне шаткий, неустойчивый опыт.

2. Бюрократизация

Бюрократия лежит в основе множества наиболее характерных черт современной жизни. Бюрократия заместила типичную досовременную организацию — домохозяйство, где власть была основана на родстве и наследовании, а подчиненные находились в положении слуг или личных подданных. Вместо этого бюрократия отделяет личную и семейную идентичность от организационной позиции, вводя тем самым такие критерии для продвижения по службе как «достоинство» и «достижение». В связи с отделением личной собственности от организационной бюрократия вводит новый этический стандарт, с точки зрения которого такое традиционное смешение сфер считается коррупцией. Бюрократия ответственна за безличность современной жизни, но при этом она же обычно открывает для индивида сферу приватности за пределами его публичных ролей. Бюрократия действует через бумажную документацию, записи и формальные правила; все это делает возможными любые степени эффективности (и неэффективности), обусловленные непрерывностью и рутиной. Эти бюрократические средства также являются инструментами, отделяющими индивида от его позиции, отделяющими организацию от семьи и ближнего круга. Теперь растущий

объем бумажной работы считается патологией современной жизни, но это было основным цивилизующим процессом, распространявшим вширь сидячий образ жизни и умственный труд. Именно чиновники составляли первоначальный образованный слой в обществах, в которых большинство людей, включая военную аристократию, были неграмотными. Этот же рост объемов организационной документации был в большой мере ответственным за расширение среднего класса, причем даже в большей степени, чем развитие бизнеса, который первоначально осуществлялся в основном в рамках мелких домохозяйств.

Рост бюрократии не был переходом по типу «все или ничего». Грамотность, письменные коммуникации и записи, а также общие законы вводились в организацию патримониального домохозяйства постепенно и в разной мере. Качественный перелом наступил, когда эти инструменты стали использоваться для опрокидывания структур, основанных на родстве и личных связях, а также для утверждения организации как высшей по отношению к входящим в нее лицам. Фридрих Великий, проводивший долгие часы за проверкой отчетов своих подчиненных, произнес: «Я первый слуга Государства!» В этом и состоит самосознание бюрократии, ровно как слова Людовика XIV «Государство — это я!» выражают патримониализм.

В различных частях Европы бюрократия развивалась постепенно и в течение длительного периода. На протяжении многих столетий бюрократические структуры переплетались с небюрократическими формами в *Ständestaat* (сословном государстве) и других смешанных организациях.

Преобладание относительно чистой бюрократии, как основной формы организации на современном Западе, началось в германских государствах, прежде всего в Пруссии. Прусская государственная администрация поднималась по континууму бюрократизации в течение 1700-х гг., в то время как многие из ее характеристик распространялись в *Kleinstaaterei* — мелких княжествах[1]. Впоследствии

[1] [Rosenberg 1958; Bruford 1965; Brunschwig 1947; Bendix 1978]. Строго говоря, самой ранней бюрократией в Европе после окончания римской эпохи являлась папская канцелярия с 1100-х гг. [Southern 1970: 105–124]. Она была также политической организацией в тот период, когда папство заявляло серьезные претензии на светскую власть в борьбе с раздробленными феодальными государствами. Практика делопроизводства папской канцелярии распространилась на светскую адми-

Германия приобрела репутацию источника чиновных званий [Chesterfield 1748/1992: 88] — результат учреждения для чиновников из среднего класса административных рангов, дававших им общественное положение, которое уже не зависело от принадлежности к наследственной аристократии. В веберианской терминологии бюрократ приобретал социальный статус в соответствии с занимаемым постом[1].

В Пруссии ключевая антибюрократическая характеристика — обретение в собственность государственной должности в качестве источника частного дохода — исчезла к 1750 г. В 1770 г. был учрежден экзамен для приема в ряды прусской бюрократии, что ставило во главу угла университетское юридическое образование, хотя дворяне и были поначалу освобождены от этого экзамена. Благодаря реформам 1794 г. чиновники получили защищенные законом постоянные должности и свободу от произвольного наказания и увольнения. В 1804 г. образовательное требование было усилено: теперь для занятия всех высших постов нужно было пройти три года обучения в каком-либо прусском университете. Целый ряд прусских реформ 1806–1812 гг. консолидировал бюрократическую структуру государственного управления через отмену крепостного права там, где оно еще оставалось, через утверждение правового равенства и отмену сословий, через ликвидацию аристократической кастовой системы в армии и государственной администрации, а также посредством

нистрацию в 1200-х гг. [Bartlett 1993: 283–285], что привело к некой патримониально-бюрократической смеси. Бюрократизация частного сектора стала происходить только с 1880-х гг., когда стали формироваться большие бизнес-корпорации. Это происходило более или менее одновременно во всех основных [западных] обществах, главным образом в Германии и Соединенных Штатах. Французские бизнес-организации запаздывали и еще в XX в. во многом основывались на семейных отношениях.

[1] Кайзер и Шнайдер утверждают, что прусская бюрократия в налоговом администрировании XVIII в. включала множество небюрократических элементов, в том числе весьма плоскую иерархию, значительную отгороженность от верхов, а также прием на работу по непотическому, или семейственному, принципу личных связей. Согласно этому исследованию, полноценная бюрократия в Пруссии возникла около 1800 г. [Kiser and Schneider 1994]. Манн указывает на ограниченность немецкой бюрократии, особенно на высших уровнях, а также на отсутствие интеграции между различными административными подразделениями [Mann 1993: 450–452]. Однако такие типы неудач в реализации веберианского идеального типа бюрократии фактически имеют всеобщий характер; в бюрократиях XX в. по-прежнему остаются элементы политизированности и хаоса.

отмены ограничений, ранее установленных гильдиями, на занятие ремеслами и промыслами. В 1810 г. в связи с основанием Берлинского университета и учреждением соответствующего ряда официальных экзаменов, для принятия на государственную службу стало строго требоваться университетское юридическое образование. Таким образом, Германия стала первым обществом на Западе, установившим нечто подобное имперской экзаменационной системе в Китае. В тот момент уже наличествовали все характеристики веберовского идеального типа [бюрократии]. Неудивительно, что теорию бюрократии первым сформулировал именно немец.

Абсолютистское государство во Франции делало шаги в сторону бюрократизации, но не так быстро, как в Германии. Некоторые особенности подрывали разработанные бюрократические структуры [CMH 1910, 8: 36–52; Goldstone 1991: 225–243; Bendix 1978: 331–338]. Продажа государственных постов, которая неоднократно использовалась правительством для привлечения средств, противоречила ключевым бюрократическим структурам централизованного управления и отделения личного имущества от собственности формальной организации. Откуп налогов был вариантом продажи государственных учреждений частным лицам, а это прямо потворствовало тому, что в бюрократическом контексте рассматривалось бы как коррупция — получение личной выгоды от государственных доходов[1]. Множественность судов, феодальных и королевских юрисдикций спутывала линии руководства, затемняла четкую бюрократическую иерархию и разделение функций. Законы и процедуры, регулирующие налогообложение, уголовное правосудие и военную службу, применялись не единообразно, но в соответствии с различиями лиц по многим категориям. Аристократия пересиливала бюрократию во многих моментах, освобождая себя от юрисдикции со стороны чиновников и претендуя на многие посты в силу

[1] Однако, как показывает Кайзер, администрация сборщиков налогов во Франции XVIII в. стала по своей сути бюрократической, поскольку сам сборщик налогов сопротивлялся коррупции со стороны своих работодателей. Когда после Революции правительство вновь перешло к прямому сбору налогов, бюрократическая структура прежних сборщиков налогов, как правило, включалась в государственную структуру. В целом же государственное управление в старорежимной Франции оставалось небюрократическим; по подсчетам Манна только 5 % чиновников могли считаться бюрократами в веберианском смысле этого термина [Mann 1993: 452–454].

своего семейного статуса, особенно в структурах военного командования и в судебной системе. В период после революции 1789 г. и наполеоновских реформ владение должностями было отменено в пользу оплачиваемых позиций. Французская бюрократия отставала от немецкой отчасти из-за того, что, несмотря на множественные перемены режимов в XIX в., там сохранялся порядок партийного распределения государственных должностей. После 1848 г. появились конкурсные экзамены, а в 1872 г. началась формальное обучение чиновников в Grandes Écoles [Mann 1993: 461–463].

Англия оставалась относительно небюрократической намного дольше [Gusfield 1958; Muller 1984; Mann 1993: 454–455, 463–464]. В XVIII в. большинство государственных должностей находились в собственности в качестве источников частных доходов; вплоть до 1800 г. большинство чиновных позиций занимали отсутствовавшие получатели синекур, нанимавшие депутатов для выполнения своих обязанностей за долю их собственных доходов. Такая структура сводила на нет любую цепь подчинения или централизованного бюджетного контроля. До 1872 г. офицерам продавались армейские звания. Полковник был этаким предпринимателем, который организовывал службу в полку, устанавливал распорядок; его прибыль зависела от разницы между средствами, выделявшимися правительством, и расходами на обеспечение его войска. Флот управлялся более централизованно благодаря крупным инвестициям в постройку кораблей и их оборудование, но капитаны все равно могли быть вовлечены в получение частной прибыли посредством экономии на обеспечении и перевозки на своих бортах коммерческих грузов [Stinchcombe 1995]. Разрыв с Германией является тем более поразительным, поскольку именно прусские реформы армии 1733 г., привели к созданию постоянной армии с всеобщей воинской повинностью и стали началом поворота к бюрократизации. Британская судебная система на местном уровне включала мировых судей, которые набирались из местной аристократии. Аристократы-землевладельцы также выполняли полицейские функции до организации централизованной полиции, начало которой было положено в Лондоне в 1820 г. Раздача синекур и частное владение должностями начало реформироваться в 1790-х гг.; к 1832 г. такие практики были в основном отменены. Назначение на основе личного патронажа сохранялась до 1853 г., когда в индийской гражданской службе началась вторая волна реформ. Только к 1870 г. Англия

перешла к полновесным бюрократическим критериям через введение формальных экзаменов для занятия административных должностей. Армейские и университетские реформы в тот период были частью того же пакета.

В Соединенных Штатах первоначально государственное управление осуществлялось через политический патронаж, а на региональном уровне — местной знатью[1]. Реформа началась вследствие яростных споров относительно распределения политических полномочий, возникавших после каждой смены партийного доминирования; эти споры в конце концов привели к распрям между сенаторами и в 1881 г. — к убийству президента разочарованным претендентом на государственную должность*. На федеральном уровне бюрократизация развивалась через законы о гражданской службе 1881–1895 гг., в которых учреждались конкурсные экзамены, формализованные ранги и процедуры продвижения по службе, защищавшие чиновников от смещения по результатам политических перемен и от других опасностей увольнения по причинам, не связанным с работой. Вследствие децентрализации государственного управления, перехода на уровень штатов и их подразделений, движение бюрократизации управления, которое шло под более привлекательным названием «Прогрессивного движения» или «Движения за хорошее управление» (Good Government movement), продолжалось в различных регионах до 1920 г. и даже позже[2]. Вплоть до 1920-х гг. в стране не было единого федерального бюджета.

---

[1] [СМН 1910, 7: 649–650; 670]. Манн отмечает, что поначалу в Соединенных Штатах бюрократия на федеральном уровне формально получала жалованье от государства, но эта система подрывалась практиками распределения государственных должностей за услуги и практиками личного патронажа, которые вплоть до 1870-х гг. становились все более *не*бюрократическими [Mann 1993: 457–459, 468–470].

* Двадцатый президент США Джеймс Абрам Гарфилд 2 июля 1881 г. был тяжело ранен Шарлем Гито, психически неуравновешенным человеком, безуспешно искавшим места посла во Франции. На железнодорожном вокзале в Вашингтоне Гито выстрелил в спину Гарфилда из револьвера. Из-за негодного лечения Гарфилд скончался 19 сентября 1881 г. от заражения крови и гангрены. Гито был признан невменяемым, но суд приговорил его к смертной казни, и Гито был повешен.

[2] В Соединенных Штатах до 1950 г. и даже позже сельскохозяйственный Юг контролировался политикой личных связей (personalistic politics), которую Вебер назвал бы патримониальной [Key 1949].

Для ушей конца XX в. термин «бюрократия» имеет негативный оттенок, связанный с неприятными особенностями современной жизни: обезличенностью, грудами документации и мировоззренческими разочарованиями. Однако бюрократизация также ответственна за те черты, за которые решительно боролись реформаторы и модернизаторы, прежде всего за универсализм и обеспечение верховенства закона, исключающее фаворитизм. В сфере организационной жизни бюрократия означает безопасность для работников от произвола в контроле и взысканиях со стороны их начальников. Бюрократизация была главным выходом из той жестокости, которая была характерна для большинства досовременных обществ и широко распространена в 1600-х гг. Как правило, в первую очередь именно чиновники освобождались от пыток и обращения, унижающего достоинство; причем нормы неприкосновенности человеческого тела и внутреннего «я» со временем распространялись на все население как раз через расширение бюрократических правил[1]. В обществе, разделенном на наследственную аристократию и простой люд, который аристократы почти буквально давили ногами, бюрократия открыла сферу признания достоинства индивида, независимо от его рождения и личных связей. Бюрократизация была одним из главных источников совре-

[1] Бюрократия имперского Китая, более ранняя, чем бюрократии Европы, смягчала суровые наказания, такие как пытки и нанесение увечий, для простых людей в случаях нарушений со стороны чиновников. В Европе же ритуальные публичные пытки и казни оставались обычной практикой еще в 1600-е гг. и даже позже. Пытки во время следствия были частично отменены во Франции королевским указом 1780 г. и уже полностью в революционном своде законов. О гуманизирующих следствиях развития бюрократии свидетельствует также отмена телесных наказаний в прусской армии благодаря реформе 1808 г. Напротив, в британских военно-морских силах по 1820-е гг. дисциплина (прежде всего матросов, которые обычно принудительно вербовались во флот посредством вооруженной силы) поддерживалась публичной поркой, которая во многих случаях превращалась в долгую пытку и приводила к смерти. Неудивительно, что в 1797 г. на кораблях британского флота имели место несколько бунтов, которые подавлялись крайне жестоко. По 1860-е гг. в британских войсках, расположенных в Индии, практиковались ритуальные казни: злоумышленников привязывали к дулу пушки. В гражданской жизни кошмары британского уголовного права, описанные Диккенсом, лишь после 1830 г. постепенно стали смягчаться. До этого времени смертная казнь и ссылка за океан на каторжные работы оставались главными наказаниями практически за все преступления [Lea 1973; CMH 1910, 8: 452–453, 744–755; Kinder and Hilgenmann 1968: 307].

менной тенденции к социальному равенству, не только в плане процедурных прав, но и в аспекте личностного статуса в веберовском смысле.

3. Секуляризация

До XX в. стороной модернизации, наиболее живой и явственной в сознании тех, кто ее переживал, была, несомненно, секуляризация. Вытеснение религии из центра внимания, из ритуалов повседневной жизни, из сферы публичных символов и деклараций, которые легитимировали политическую власть и порядок социальных рангов, произвело целый ряд потрясений и раздоров. В любой момент на протяжении последних 300 лет в глазах народа как носителя традиционного сознания, модернизатор — это богохульник. С другой стороны, реформаторы считали себя теми, кто переходит от суеверий и угнетения — к разуму и гуманистической нравственности[1].

[1] Моя концепция секуляризации несколько отличается от той, что используется некоторыми ведущими социологами религии. Старк и Бэйнбридж утверждают, что происходит некий поступательный процесс: все религиозные движения, начинаясь с высоких степеней ориентации на сверхъестественное и, следовательно, с напряженности в отношениях с секулярным обществом, постепенно приспосабливаются к этому обществу по мере того, как растет социально-классовый уровень членов этих движений [Stark and Bainbridge 1985]. Результатом же является не нерелигиозное общество, но активный религиозный рынок, обнаруживаемый в Соединенных Штатах XX в., где постоянно появляются новые, ориентированные на сверхъестественное религиозные движения, привлекающие новых членов из недовольного или отчужденного от церкви населения, чьи духовные потребности не удовлетворяются в либерализованных церквях (см. также [Warner 1993]). Этой модели секуляризации противоречит явление, которое я хотел бы отметить: данный цикл мирского приспособления господствующей церкви, с периодически возникающими движениями обновления, происходил также в средневековом христианстве, причем без тенденций доктринального ухода от сверхъестественного. Средневековый цикл флуктуировал между формальным соблюдением церковных ритуалов и мистическими или благочестивыми движениями. Цикл Старка—Брэйнбриджа следовало бы обозначить не столько как «секуляризация-и-антисекуляризация», сколько как «социальное-напряжение-и-приспособление». Таким образом, в течение нескольких последних столетий ключевые аспекты секуляризации состояли в упадке центральной институциональной роли церкви среди социальных организаций, а прежде всего в появлении светской формы легитимации государства и светского управления народным образованием.

В Средние века церковь практически монополизировала грамотность и образование, предоставляла материальные условия для наиболее популярной культуры в своих зданиях и празднествах, владела большей частью земли, обеспечивала во многом экономические рост и динамику в монастырях, осуществляла политическое правление как в сотрудничестве со светской властью, так и самостоятельно. В связи с Реформацией и ростом абсолютистских государств, набор этих функций менялся. Монастыри утратили свое значение, а [церковное] имущество в значительной степени перешло в светские руки. Реформация укрепила связь между государствами и церковью. В протестантских государствах церкви обычно учреждались на национальных началах под прямым политическим покровительством государственной власти, имевшей полномочия относительно [церковных] назначений. В католических государствах обычно складывался такой *modus vivendi*, согласно которому гарантировалось превосходство государства (о чем свидетельствует галликанство* во Франции и доминирование Испании в папстве эпохи Контрреформации) [Wuthnow 1989; Cameron 1991]. До конца 1600-х гг. международная политика обычно проводилась в связи с религиозными войнами и союзами.

Борьба и сдвиги вдоль континуума секуляризации происходили с различной скоростью во всех основных европейских обществах. Германия во главе с Пруссией и другими северными государствами стала первым относительно светским современным обществом в результате сочетания ряда факторов. Главными среди них были преобладание государственной бюрократии над церковью и реформа системы образования, проводившаяся под светским контролем.

Протестантизм в целом был далек от того, чтобы быть секуляризующей силой. Первоначально он являл собой возрождение религиозной напряженности в повседневной жизни, что было в некоторой степени реакцией на тенденцию к секуляризму в эпоху итальянского Возрождения и наиболее мирского периода в истории папства. Таким образом, нет оснований ожидать, что протестантская Англия должна была стать ведущей в процессах секуляризации. Религиозные чувства возбуждались рядом династических конфликтов с натравливанием католиков на протестантов как претендовавших на

---

* *Галликанство* (*галликанизм*) — начавшееся в XIII в. религиозно-политическое движение за автономию французской католической церкви от римского папства.

английский престол. Революции 1640-х и 1688–1690 гг. были вызваны и мобилизованы религиозной враждой.

1700-е годы в Англии часто рассматриваются как период утонченной рациональности, в которой религия была сведена к деизму*. Последнее заметное преследование за богохульство произошло в 1729–1731 гг., когда кембриджский аспирант Вудстон был посажен в тюрьму за публикацию памфлетов относительно аллегорического толкования Священного Писания.

Англия оставалась обществом, где в некоторых отношениях преобладала принудительно навязываемая религия [Chadwick 1966; CMH 1910, 10: 621–654; 11: 330]. Католикам было запрещено иметь офицерские звания, получать юридические и образовательные профессии, участвовать в заседаниях парламента. Проведение или слушание [католических] месс каралось тюремным заключением. Такие приговоры выносились еще в 1782 г., хотя интенсивность принуждения постепенно снижалась. В Ирландии английское завоевание, начавшееся в 1500-е гг. и завершившееся в период Протестантского содружества 1650-х гг., сопровождалось религиозными конфискациями, направленными к низведению большинства католиков к положению крестьян, работавших на землевладельцев-протестантов. В 1793 г. ограниченное имущественным цензом избирательное право предоставило возможность голосовать только небольшому числу ирландских католиков. После массовых волнений в Ирландии 1820-х гг., которые усугублялись голодом, в 1829 г. была осуществлена эмансипация католиков и в Англии и в Ирландии, дающая им право голосовать, но с еще более ограниченным избирательным правом и сохранением запрета для католиков занимать высшие политические посты, преподавать в университетах и частных школах (т. е. средних школах, существовавших на пожертвования). Другие санкции и ограничения, в том числе непризнание браков, заключенных католическими священниками, были сняты в 1840-х гг. Евреи получили право заседать в парламенте только в 1866 г. (через 60 лет после эмансипации евреев в Пруссии)[1].

---

* *Деизм* — религиозно-философская доктрина, признающая Бога в качестве мирового разума, но отрицающая Его дальнейшее вмешательство в самодвижение природы.

[1] Бенджамин Дизраэли — премьер-министр в 1868 г. и вновь с 1874 по 1880 г. — не был исключением, поскольку в 1817 г. был крещен.

В отличие от элитарной культуры, в народной культуре рос религиозный пыл. Методистское движение популярных проповедей (первоначально бывшее течением в англиканской церкви) широко распространялось с 1740-х гг. до конца столетия; в 1865 г. была основана Армия спасения*. В начале 1800-х гг. англиканская церковь пережила активистское пуританское возрождение в форме Евангелического движения, начавшего открытую борьбу за полное соблюдение правил священного Дня отдохновения (crusaded for total Sabbath observance), включая запрет на работу общественного транспорта и любых публичных нерелигиозных мероприятий по воскресеньям. Репутация викторианской Англии как эпохи крайней стыдливости была в значительной степени обусловлена влиянием евангелистов. Как рост промышленного рабочего класса, так и увеличение коммерческого среднего класса, сыграли роль в превращении большинства населения Англии в чрезвычайно религиозное общество вплоть до 1890–1910-х гг. [Thompson 1963]. До этого времени английские вольнодумцы (secularizers) смотрели на континентальную Европу как на источник идейного руководства.

В Америке начиная с 1700-х гг. и позже волны народных движений [религиозного] возрождения вторили британским. В период Американской Революции роспуск государственных церквей в нескольких колониях открыл Америку для энергичной рыночной конкуренции между религиозными конфессиями и предприимчивыми создателями сект. Этот религиозный рынок продолжал процветать до конца XX в. В начале 1800-х гг. относительно низкий уровень церковного членства в широких классах населения и на окраинах сменился ростом религиозного членства и участия, продолжавшегося вплоть до середины XX в., а в некоторых отношениях даже до более позднего времени [Warner 1993; Finke and Stark 1992]. Секуляризация, которая в начале XX в. постепенно охватывала британских интеллектуалов и образованные классы, в Соединенных Штатах встретила сильное сопротивление. Знаменитый процесс Скоупса

---

* *Армия спасения* — международная миссионерская и благотворительная организация, поддерживаемая протестантами-евангелистами, со штаб-квартирой в Лондоне; распространяет идеи и догматы Библии с помощью проповедей, оказывает нуждающимся социальную, медицинскую, консультативную, моральную и иную поддержку, включая предоставление помощи в чрезвычайных ситуациях; содержит столовые, ночлежные дома, молодежные клубы; работает с осужденными и т. п.

1925 г. по поводу того, должна ли теория эволюции преподаваться в государственных школах*, был лишь одним в долгой череде битв относительно религиозного содержания в публичном культурном пространстве на протяжении всего XX в. По критериям широкого распространения религиозных убеждений и массовости посещения церкви Соединенные Штаты остаются наименее секуляризованным среди всех крупных западных обществ.

Франция обрела репутацию религиозного нечестия начиная с антиклерикальных колкостей Вольтера, а также философа и атеиста Гольбаха в 1760-х гг., что в 1850-х гг. подкреплялось темами дьявольщины у Бодлера и в последующем литературном авангарде. Во Франции битвы за секуляризацию были яростными и весьма различавшимися по своим результатам[1]. В 1680-е и 1690-е гг., в придворном этосе преобладала религиозная обрядность и показное выражение религиозных чувств. За приоритет боролись соперничавшие религиозные течения и ордена. Пиетистские движения в католицизме, такие как движение Пор-Рояль, запрещались и подавлялись в 1660-е гг., а затем в 1710 г. В других случаях колебания маятника были уже направлены против рационалистических и мирских политических движений, таких как иезуиты, изгнанные из Франции в 1765 г. Вплоть до 1760-х гг. активных протестантов вешали, сажали в тюрьму, отправляли на каторгу или на галеры; наконец, в 1787 г. вышел королевский указ о веротерпимости. Евреи не имели граж-

---

* *Процесс Скоупса* (Дело: Штат Теннесси против Джона Томаса Скоупса, 1925 г.), более известен как Обезьяний процесс (Monkey Trial), — судебный процесс над школьным учителем Джоном Скоупсом (1900–1970), обвиненным в нарушении антидарвинистского «акта Батлера» — закона штата Теннеси, который запрещал преподавать в любом финансируемом штатом образовательном учреждении «любую теорию, которая отвергает историю Божественного Сотворения человека, которой нас учит Библия, и учит вместо этого о том, что человек произошел от животных низшего порядка». Скоупс был признан виновным и приговорен уплатить 100 долларов.

[1] [Heer 1968: 134, 194–203; CMH 1910, 8: 56, 733; 9: 185]. Дебаты между деистами и атеистами в 1770-х гг. начал Гольбах — немецкий барон, живший в Париже. Вольтер писал свои антирелигиозные трактаты, будучи изгнан в Швейцарию, причем во Франции они периодически запрещались. Главным сторонником и патроном Вольтера был Фридрих Великий, который в 1750-х гг. сделал его членом Берлинской академии. В 1760-х гг. публикация *Encyclopédie*, с ее весьма осторожным светским уклоном, была приостановлена французским правительством. В 1864 г. Бодлер был привлечен к ответственности за оскорбление общественных нравов.

данских прав до 1789 г. Совсем уж диким образом маятник качнулся во время Революции. В 1794 г. христианство было на краткий период отменено, его заместил деистический государственный культ Высшего существа. В 1801 г. Наполеон заключил конкордат с церковью, гарантировавший государственное жалованье для священников и восстановивший галликанский принцип государственного назначения епископов и других церковных постов, связанных с имущественным управлением. Также было разрешено протестантским и еврейским общинам существовать под государственным присмотром.

Следствием Французской революции была поляризация религиозной политики. Реакционные консерваторы стали ультрамонтанцами*, а не галликанцами, превознося подчинение папе вместо политической регуляции со стороны национального государства. Церковь, как правило, составляла союз с монархистами и высшим классом крупных собственников, но со временем консервативные ряды были расколоты ссорами относительно приоритетности государства или церкви. Католические претензии на автономию и верховенство церкви в области культуры становятся все более непримиримыми после того, как в 1870 г. папа объявил доктрину папской непогрешимости. И вновь вследствие конфликта возникла поляризация: в этом случае в период движения за объединение Италии (которое поддерживалось французским императором) папа отвечал на угрозу потери папской территории вокруг Рима. Наконец, в 1905 г. — в период Третьей республики — происходит разделение церкви и государства.

Со времен Средневековья церковь доминировала в европейской культуре и общественном сознании, владела большей частью материальных средств культурного производства. Даже когда в 1500-х гг. появилась альтернативная основа в виде книжного рынка, достигнувшего к середине 1700-х гг. такого уровня, что могла поддерживать профессиональных писателей, все равно долгое время самыми продаваемыми оставались религиозные книги. Устойчивое производство интеллектуальной культуры базировалось в университетах — институте, развитом в Средние века под эгидой церкви. В эпоху Возрождения популярность университетов снизилась, а после

---

* *Ультрамонтанство* — направление в католицизме, выступающее за неограниченную папскую власть.

постреформационного подъема в 1600-е и в начале 1700-х гг. вновь упала. В это время светские интеллектуалы при поддержке аристократических покровителей сформировали свои кружки. Тем не менее главные культурные результаты этих новых социальных основ — гуманистическое возрождение классической греческой и латинской литературы в 1400-х и 1500-х гг. и появление нововременного научного естествознания в 1600-е гг. — обычно впитывались университетами и узаконивались в качестве союзников христианской культуры[1]. Главной угрозой для религиозной культуры было движение 1700-х гг. известное как Просвещение, чьей социальной основой были правительственные чиновники и салонное общество политически активной аристократии. Эта группа обычно выступала за отмену университетов как реакционных институтов — курс действий, который в конечном счете был осуществлен в революционной Франции [Wuthnow 1989; Collins 1998: 640–642, в русском переводе: 783–790].

Крупнейший структурный импульс секуляризации имел место, когда университеты вышли из-под церковного контроля. Это явление впервые произошло и стало наиболее влиятельным в Германии. Движение университетской реформы 1780-х и 1790-х гг., завершившееся основанием в 1810 г. университета нового типа в Берлине, было направлено на устранение господства богословского факультета и на повышение статуса философского факультета, который ранее вел лишь начальную подготовку студентов к учебе на выпускающих факультетах [Collins 1998, ch. 12]. Предметы, изучавшиеся на философском факультете, в том числе история, язык и естествознание, были сделаны самостоятельными исследовательскими направлениями. Теперь предполагалось, что преподаватели и профессора должны быть исследователями и новаторами, а в конституции прусского министра образования и религии Вильгельма фон Гумбольдта декларировались принципы автономии преподавания и обучения (*Lehifreiheit* и *Lernfreiheit*). Это изобретение совре-

[1] Иезуиты процветали за счет включения в христианское образование и гуманизма и наук. Хотя в 1400-х гг. гуманисты иногда поддерживали язычество, протестантские реформаторы (Эразм Роттердамский, Лютер, Кальвин и др.) вышли из гуманистических кругов. Опять же во время научной революции такие священники, как Марин Мерсенн и Пьер Гассенди находились в центре этой сетевой структуры, и в целом не было такой уж большой трудностью обеспечить новую науку религиозной легитимацией.

менного исследовательского университета было вначале распространено на другие германские государства в результате конкуренции за престиж и в качестве общего рынка для преподавателей и профессоров. Университет вскоре стал центром ведущих исследований в естествознании, а также центром новой волны учености в гуманитарных областях. Предыдущие основы интеллектуального производства — личный патронаж, поддерживавший научные исследования, и книжные рынки, которые были основой для инноваций в сфере словесности, — в начале 1800-х гг. были отодвинуты на задний план вследствие систематических новшеств, которым способствовала конкуренция между проводившими свои исследования преподавателями и профессорами. Также в сферах среднего и начального образования благодаря ряду прусских реформ 1763, 1787 и 1812 гг. было введено всеобщее обязательное школьное образование, причем обучение осуществлялось учителями, не зависевшими от духовенства. Эта система светского школьного образования быстро распространилась в других немецких протестантских государствах, а после объединения Германии в 1871 г. также в католических южных землях [Mueller 1987: 18–26].

Немецкие университеты были главной организационной основой секуляризации и культурной модернизации, которые повсеместно сопровождали импорт другими обществами германских университетских реформ или подражания им. К 1850-м гг. британские интеллектуалы и преподаватели остро осознали превосходство немецких университетов над английскими, в которых все еще господствовало духовенство, а преподавание велось по традиционной учебной программе, ориентированной на студентов младших курсов. В 1854–1856 гг. и 1872 г. британские университеты были реформированы в соответствии с немецкими образцами через отмену религиозных проверок, ранее исключавших католиков, протестантских нонконформистов и евреев, через секуляризацию преподавательской профессии отменой требования к аспирантам-стипендиатам быть членами какого-либо религиозного ордена, через замену патронажного принятия в аспирантуру конкурсными экзаменами, а также через учреждение исследовательских позиций на факультетах[1].

[1] [Rothblatt 1981; Green 1969; Richter 1964; CMH 1910, 12: 24–25, 57–58; Marsden and Longfield 1992]. В то же самое время (1872 г.) в Британии было введено обязательное начальное образование, поддержанное государственными финансо-

В американской интеллектуальной жизни водоразделом также стала университетская реформа по немецким образцам. Религиозные колледжи, ранее составлявшие все американское высшее образование, в течение одного поколения были вытеснены университетами нового типа, подражавшие основанному в 1874 г. университету Джона Хопкинса и учрежденному в 1892 г. Чикагскому университету как научным школам немецкого стиля по подготовке специалистов высшего класса; в тот же период сходные реформы проводились и в Гарварде [Vesey 1965; Flexner 1930].

Во Франции секуляризация была предметом долгого ряда сражений, результатом чего были колебания в доминировании то клерикальных, то антиклерикальных сил. По этой причине именно во Франции вопрос секуляризации обсуждался в наиболее явной и интенсивной форме, но фактический переход к современной основе культурного производства произошел сравнительно поздно [CMH 1910, 8: 52, 752; 9: 126–129; 10: 73–93; 11: 23–26, 297; 12: 92–93, 114–118; Weisz 1983; Fabiani 1988]. До Революции образование во Франции в значительной степени было в руках католического духовенства и монахинь, другие школы находилось под церковным надзором, за исключением государственных технических школ, готовивших военных и гражданских инженеров. Революция отменила университеты вместе с привилегиями церкви, а также в ходе своих атак на Старый режим запретила адвокатскую деятельность и закрыла юридические школы. Новая система образования, разработанная в наполеоновский период, оставила начальную школу в ведении местных органов власти, а в 1808 г. после сближения государства с церковью — католическим орденам, занимавшимся обучением. Средние школы и высшие учебные заведения были централизованы под эгидой Императорского университета, который монополизировал образование, связанное с присуждением академических степеней, проводил все назначения, контролировал преподавательские жалованья и учебные программы, а также выстроил упорядоченную карьерную иерархию для учителей, инспекторов и руководи-

---

выми грантами и контролируемое правительственной инспекцией. Большинством этих школ управляла Англиканская церковь, а свободное образование без конфессиональной сегрегации было узаконено только в 1902 г. Напротив, в Пруссии уже в 1717 г. было введено поддерживаемое государством всеобщее обязательное образование, которое постепенно развивалось и стало вполне эффективным около 1763 г.

телей учебных заведений. Глава этой бюрократии назначался государством; при Наполеоне это было епископ, который восстановил в системе образования католическую ортодоксию. В отличие от немецких университетов, преподаватели и профессора высших школ Франции не были обязаны проводить независимые исследования; эта деятельность была зарезервирована для работников центрального [научно-исследовательского] института под правительственным патронажем. Прежний университетский факультет философии был заменен факультетами естествознания и литературы. В рамках новой системы инновационные исследования продолжались в математических науках, где *École Polytechnique* поддерживала многих ведущих ученых, но чахла в других областях, где институциональное превосходство перешло к немцам.

В эпоху Реставрации усилился клерикальный контроль, в результате чего все учителя начальных и средних попали в ведение епископов; выросло число церковных школ за счет светских; теперь церковь могла лишать профессоров университетских постов, как это произошло с Кузеном в 1822 г.* Однако борьба между членами папской ультрамонтанской фракции и националистами-роялистами блокировала самые крайние требования первых, и в 1828 г. консервативные вольнодумцы, такие как Кузен, вернулись к преподаванию. Жесткий государственный контроль над церковью толкал католических консерваторов в оппозицию к правительству; это сыграло роль в агитации за либеральные права и избирательные принципы, что привело к конституционным монархиям 1840–1848 и 1859–1870 гг., а также к революциям 1848 и 1871 гг. Революция 1848 г. вскоре предоставила профессорам гарантированные постоянные позиции, хотя в период диктатуры Наполеона III эти позиции были отменены, а либеральные профессора, такие как Шарль Ренувье**, уволены. В 1854 г. были ликвидированы ученые степени в

---

* *Викто́р Кузе́н* (1792–1867) — профессор Сорбонны, блестящий лектор, влиятельный философ, распространитель гегельянства во Франции, сторонник доктрины «искусство для искусства», основатель эклектической философской школы, направленной на критический отбор истин из прошлых философских систем на основе «здравого смысла». Издавал труды Прокла, Диадоха и Декарта. В 1822 г. он был лишен кафедры за свои взгляды. Член Французской академии с 1830 г., в 1840 г. — министр просвещения.

** *Шарль Берна́р Ренувье́* (1815–1903) — французский философ, представитель французского неопозитивизма.

истории и философии и в университетскую программу вернулись средневековые тривиум и квадривиум*. В начальном образовании, где в 1840-х гг. преобладали светские школы, с 1860-х гг. стали ведущими школы религиозные. Католическая воинственность в свою очередь, ужесточала позицию секуляризаторов в правительстве, отстаивавших верховенство собственной администрации. Данная тенденция усиливалась в период Второй империи. После 1865 г. Эрнест Ренан** и Ипполит Тэн*** призывали к светским реформам, что позволило бы Франции догнать Германию в научной сфере. Борьба вспыхнула в полную силу в период Третьей Республики в 1870-х гг., что завершилось реформами 1881 г., при которых вполне сознательно заимствовались многие стороны немецких образовательных структур [Mitchell 1979]. Духовенство было отстранено от университетского преподавания, лишено прав присваивать степени; была создана централизованная система государственного обязательного начального образования. Однако лишь к 1905 г. в начальной школе рядовые учителя заместили членов религиозных орденов, тем самым полностью забрав образование из рук церкви.

Университетская революция была причиной того, что Германия с 1800 г. стала мировым лидером в области религиозной секуляризации, а следовательно, и в создании современной культуры. В Германии интеллектуалы обрели основу культурного производства, в котором упор делался на инновации и независимость [университетской] учености от внешнего контроля. Эта независимость не была абсолютной. В нескольких случаях политически консервативные режимы увольняли профессоров за политический либерализм,

---

* *Тривиум* (грамматика, риторика и логика) и квадривиум (арифметика, геометрия, музыка и астрономия) составляли семь «свободных искусств» — стандартную подготовительную учебную программу (первые 3–4 года) в средневековых университетах.

** *Эрнест Ренан* (1823–1892) — французский писатель, историк и филолог. Автор антиклерикальной «Критической истории начал христианства» (первый том — «Жизнь Иисуса»). С 1879 г. — член Французской академии, с 1884 г. — администратор *Collège de France*.

*** *Ипполи́т Тэн* (1828–1893) — французский философ-позитивист, эстетик, писатель, историк, психолог. Создатель культурно-исторической школы в искусствознании. Автор «Философии искусства» (1865). Один из основателей *École Libre des Sciences Politiques*.

а иногда и за неортодоксальность в религиозных вопросах[1]. Однако в целом тенденция состояла в том, что ученые шли своими собственными путями. Это стало очевидным во время *Kulturkampf** Бисмарка 1872–1886 гг., произошедшей в результате объединения Рейха и присоединения католических территорий к уже гораздо более секуляризованному прусскому северу, что и привело к борьбе за переход всей системы образования из церковного контроля под го-

[1] В 1819 г. после подавления либерального движения студентов многие профессора были лишены своих постов вплоть до 1824 г. Другие стали жертвами агитации младогегельянцев. Людвиг Фейербах потерял свой пост в 1830 г. Д. Ф. Штраус в 1837 г. был уволен из-за скандала в связи с его книгой «Жизнь Иисуса». Научный журнал Арнольда Руге был запрещен, а Бруно Бауэр в 1842 г. был уволен за атеизм. После провала революции 1848 г., несколько откровенных материалистов, а также неокантианцев с либеральными воззрениями на религию были в 1853 г. лишены права преподавать. С 1878 по 1890 г. — после покушения на кайзера — вступили в силу антисоциалистические законы. Однако наказания, как правило, не были долгими и тяжелыми: большинство отстраненных в 1853 г. от преподавания, уже в 1857 г. вернулись на академические должности. Штраус, Фейербах и материалист Людвиг Бюхнер стали авторами самых продаваемых книг — тогдашних бестселлеров [Willey 1978: 61–63, 70, 89, 96; Kohnke 1991: 64, 79, 83, 91]. Такой контроль над умами был весьма мягким по сравнению с ритуальными казнями за ересь, которые совершались еще в 1600-х гг., или с изгнанием, тюремным заключением — типичными наказаниями за неортодоксальность в большинстве стран Европы времен Вольтера. Даже худшие случаи посягательств на академическую свободу в немецких университетах были вполне сопоставимы с тогдашней распространенной повсюду стандартной практикой. В 1840-х гг. лидер трактарианцев Джон Генри Ньюман был вынужден уйти из Оксфорда из-за своей неортодоксальной позиции по отношению к государственной церкви. Во Франции академической свободы не было вплоть до I870-х гг. В Соединенных Штатах до конца XIX в. вообще не было исследовательских университетов. На практике немецкие ученые обрели автономию де-факто, вне зависимости от политического режима, в той мере, в какой их инновации оставались сугубо научными и находились в стороне от политического активизма. Результатом стал ряд гуманитарных работ, которые либерализовали и в конечном счете подвергли полной секуляризации христианское учение.

* *Kulturkampf* (нем. культурная борьба, борьба за культуру) — термин, которым в 1873 г. Вирхов обозначил борьбу прусского и общеимперского германского правительства во главе с Бисмарком против католической партии Центра и притязаний католической церкви. Из Германии был изгнан орден иезуитов (1872 г.), были изданы «майские законы» (1873 г.), устанавливающие строгий контроль государства над школами, назначениями на церковные должности, отношениями между духовенством и паствой. Затем в 1880-х гг. в условиях борьбы с усилившейся социал-демократией *Kulturkampf* была значительно смягчена, а большая часть майских законов отменена.

сударственный. Этот период является явным триумфом немецкого антиклерикализма, но его институциональные корни уходят гораздо глубже, а прусская государственная церковь уже давно была подвержена сильному влиянию секулярно настроенных министров и университетских философов.

Сферу, где немецкие профессора были необычайно свободными в новшествах, составляли библейские, исторические и философские исследования, в которых немецкие ученые получили ряд передовых результатов, подрывавших традиционалистскую религиозную доктрину. В период 1790–1820-х гг. философские учения немецкого идеализма продвигали рационализированный пантеизм, ставший заменой библейскому христианству. В 1830-х и 1840-х гг. историческое исследование жизни Иисуса Д. Ф. Штраусом породило ощущение, получившее затем развитие в заявлениях, доводах Фейербаха и младогегельянцев, что современной формой религии стал гуманизм или даже политический либерализм. Современный политический радикализм, сформулированный Михаилом Бакуниным, Марксом и Энгельсом, вышел из этих же кругов молодых немецких ученых данного периода. С 1820-х гг. и далее в Германии развивалось либеральное крыло богословия (Фердинанд Баур* и тюбингенская школа, а ближе к концу века — Альбрехт Ричль** и Адольф фон Гарнак***), включившее науку историю и философский идеализм

---

* *Фердинанд Баур* (1792–1860) — немецкий протестантский богослов, основоположник тюбингенской школы. Испытал влияние Шлейермахера и Гегеля. Считал, что Новый Завет (синтез) диалектически примиряет и объединяет ранее противоречившие друг другу петринизм (тезис) как иудеохристианство апостола Петра, выраженное в Послании Иакова и Апокалипсисе, и паулинизм (антитезис) как антииудейская трактовка христианства апостолом Павлом Тарсийским.

** *Альбрехт Ричль* (1822–1889) — немецкий историк христианства, протестантский богослов либерального направления; смысл религии видел в нравственном росте человечества, которое и есть Царство Божие.

*** *Адольф фон Гарнак* (1851–1930) — лютеранский теолог либерального направления, последователь А. Ричля, церковный историк, автор фундаментальных трудов по истории раннехристианской литературы и истории догматов, в частности трактата (записи курса лекций) «Сущность христианства». Благодаря вмешательству Бисмарка стал профессором Берлинского университета, чему противились церковные консерваторы. Позже возглавлял Прусскую королевскую библиотеку. Издавал фундаментальные «Тексты и исследования по истории раннехристианской литературы» (45 томов), посвятил несколько трудов творчеству Гете. Христианскую религию трактовал как историческую «эволюцию» с борьбой двух начал: эллинистического спекулятивного гностицизма и консервативно-

в качестве инструментов приспособления религии к современным нравам. В 1880-х гг. Фридрих Ницше мог заявить, что современность уже победила и что Бог умер; в начале 1900-х гг. другой мыслитель, связанный с главными немецкими академическими сетями, — Зигмунд Фрейд — мог анализировать религию в качестве психической патологии.

Эти возобновляющиеся волны антирелигиозных культурных новшеств, скандальные для традиционалистов, порождались именно в Германии вследствие наличия независимой академической основы [культурного производства]. До того, как в Англии и Соединенных Штатах прошли свои университетские революции, их интеллектуальный и религиозный модернизм поступал из источников за пределами этих стран; секулярно настроенные модернистские мыслители Англии и США временно проживали в Германии и переводили авангардные труды о религии с немецкого языка[1]. В ходе первого поколения университетских реформ британские и американские университеты остались полурелигиозными подобно периоду доминирования идеалистической философии, который на рубеже XVIII–XIX вв. переживала Германия. Лидер академической реформы в Оксфорде Бенджамин Джоветт в 1855 г. привлекался к суду за ересь в его либеральных богословских трудах, но был оправдан. Вплоть до XX в. в англоязычном мире не происходило полноценной секуляризации. Первые откровенные атеисты, выступавшие в публичном пространстве, такие как Бертран Рассел, появились в Англии только около 1910 г. В более консервативных Соединенных Штатах в 1940 г. Рассел был отстранен от преподавания в нью-йоркском Сити-колледже. Еще более модернистские движения, пытавшиеся разрешить вопрос о бессмысленности [жизни] в той куль-

---

го иудеохристианства. Считал, что вера в Бога более первична, чем догматы, поэтому христианство необходимо освободить от догматических представлений о Боге и Христе, созданных лишь для выживания религии в прежнем эллинистическом мире.

[1] В 1889 г. попутчик Джорджа Герберта Мида так сравнивал давящее религиозное принуждение в Америке со свободой мысли в Германии: «В Америке, где бедное, ненавидимое, несчастное христианство, дрожа за свою жизнь, затыкает кляпом рот Свободной Мысли и говорит: „Тише, тише! Ни слова, а то никто в меня уже больше не верит“; а он [Мид] думает, что ему будет трудно получить шанс выразить какие-либо предельные философские соображения, отстаивающие независимость» (цит. по [Miller 1973: xvii]).

туре, где религия уже умерла, впервые появились с экзистенциализмом в 1920-е гг. в Германии, в 1940-е гг. — во Франции, а затем вновь всплыли в постмодернизме 1980-х гг. Со времени первоначальной борьбы с религией и в дальнейшем, именно в континентальных центрах [производства] культуры современности (cultural modernity) происходили различные повороты в плане секуляризации, чтобы затем их импортировали менее секуляризованные последователи — общества англо-американского мира.

В мои намерения отнюдь не входит замена обычной трактовки немецкого культурного *Geist* (духа) как реакционного антимодернизма таким же *geistig* (духовным) объяснением Германии как модернистской [культуры]. Все дело заключается в организационной трансформации средств культурного производства. Прежде всего таковым было создание независимого, ориентированного на научные исследования университета, а поскольку он впервые появился именно в Германии, то во всем западном мире подражания ему отставали от Германии на несколько поколений. Германия была экспортером культуры современности практически до 1930-х гг. (а в некотором отношении и позже, в связи с эмиграцией наиболее модернистских немецких интеллектуалов). Если Германия при этом страдала от самого ожесточенного антимодернистского движения в форме нацистского режима, то случилось это отчасти потому, что противоположное движение модернистов в культуре зашло дальше всех именно в Германии.

4. Капиталистическая индустриализация

Промышленную революцию принято относить к Англии 1770–1820-х гг., притом что все остальные общества якобы следовали позади нее. Этот образ внезапного прорыва в экономическом развитии является преувеличением, основанным на англоцентричном мышлении. Распространение механизированного производства после 1770 г. было лишь эпизодом длительного роста рыночной экономики. Валлерстайн и Бродель датируют его начиная с середины 1400-х гг. [Wallerstein 1974; Braudel 1979/1984], другие же относят начальный взлет капитализма в средневековую Европу 1100-х и 1200-х гг. [Gimpel 1976; Collins 1986: 45–58]. Институциональные основы раннего капитализма были широко распространены в северной и

западной Европе. В период 1400-х и в начале 1500-х гг. Германия была важной частью рыночной экономики, когда основные торговые сети проходили через Аугсбург, Нюрнберг, Лейпциг, Франкфурт и Кёльн. Коммерциализация Скандинавии и Балтики проводилась элитами Ганзейского союза, а немецкие банкиры были лидерами в сфере европейских финансов. Нидерланды — лидер экономического роста 1600-х гг. — были одной из частей децентрализованных *Kleinstaaterei*, малых государств средневековой северной и центральной Европы, а институционально — продолжением вольных городов ганзейского образца, поскольку до 1345 г. Нижние Земли являлись частью средневековой Германской империи [Kinder and Hilgemann 1968: 192]. В 1700-е гг. Англия вырвалась вперед, хотя в течение большей части этого периода рост мануфактур и сельскохозяйственного производства во Франции был вполне сопоставим с английским. В значительной степени перемещение лидерства через Ла-Манш произошло вследствие разрушения Германии — результата Тридцатилетней войны. И даже при этом в Германии 1700-х гг. также шла интенсификация производства, особенно на переднем крае индустриализации производства шерстяных тканей и в металлургии, в поясе от Северного моря до Верхнего Рейна, и от Дуная до Саксонии [Mann 1993: 262–263; Barraclough 1979: 144–145, 180–181].

Период однозначного экономического лидерства Англии был относительно краток. Германия приняла участие в этой гонке, но она не начинала с институтов, чуждых капиталистическому рынку. В своей сети частично независимых городов Германия сохранила многое из буржуазных структур прежних столетий: после 1810 г. это наследие было освобождено от ограничений со стороны гильдий, подкреплено активной экономической политикой продвижения со стороны государства, вкупе с инновационными импульсами из университетских исследовательских лабораторий, начавшимися в 1820-х гг. и из политехнических институтов — с 1830-х гг. Основными препятствиями на пути немецкого экономического развития были геополитические — множество таможенных барьеров как следствий политической раздробленности; после 1834 г. это было преодолено таможенным союзом во главе с Пруссией. Тогда сразу же ускорился рост немецкой экономики, получившей к 1900 г. примерное равенство с Великобританией в сельскохозяйственном производстве и достигнувшей к 1913 г. по объему промышленного про-

изводства на душу населения 75 % от британского уровня. Только рост экономики Соединенных Штатов был сопоставим с ранним лидерством Великобритании: США превзошли ее в сельскохозяйственном производстве к 1840 г., а в промышленном производстве — к 1913 г. [Mann 1993: 262–265].

В целом среди крупных западных обществ в их движении по измерению экономической модернизации не было больших различий. Франция, бывшая с середины 1600-х до 1780-х гг. в глазах тогдашних наблюдателей самым богатым обществом, затем стала отставать, но и то лишь относительно. Она продолжала продвигаться по экономическому континууму, хоть и более медленными темпами, чем Англия, и отставая от Германии между 1880 и 1900 гг. Вплоть до 1820-х гг. пресловутую «промышленную революцию» в Англии не было четко видно в быстро менявшихся материальных условиях жизни[1], а ее отличительные особенности продолжались не так уж долго, поскольку к 1850-м гг. на континенте уже получили широкое распространение железные дороги и механизированное производство[2]. Именно в течение этих 50 лет, когда Англия, казалось, была единственной на переднем крае, Маркс и другие младогегельянцы формулировали свои идеи о современной истории; тогда и был создан образ Германии как отсталого общества. Эта часть риторики, разработанная в целях политической агитации, с тех пор стала самостоятельно парящим мифом, который использовался для объяснения различий между Германией и другими западными обществами. Он был неточным уже в свое время, а вскоре стал еще более неправомерным.

---

[1] Термин «промышленная революция» был придуман не в Англии, а во Франции в 1837 г. Огюстом Бланки.

[2] Первая железнодорожная линия в Англии была построена в 1828 г., в Германии — в 1835 г. К 1850 г. железные дороги в Германии были вполне сопоставимы с английскими и значительно более развитыми, чем во Франции. Еще раньше, разница в уровне и темпах экономической модернизации между германскими государствами и Англией было гораздо меньше, чем это внушается нашим ретроспективным воображением. В 1809 г. один наблюдатель называл рурский заводской район «маленькой Англией» [Barraclough 1979: 210]. Роман «Франкенштейн», написанный англичанкой Мэри Шелли в 1818 г., является первым заметным произведением в жанре научной фантастики и предупреждением об опасностях новых технологий. В этой истории столь опасным модернизатором является отнюдь не английский, а немецкий ученый.

5. Демократизация

Измерение, в котором Англия, как правило, считается однозначно лидирующей, а Германия отстающей, — это демократизация. Оба немецких мыслителя [Маркс и Энгельс], а также иностранные авторы обычно приписывали Германии консерватизм, традиционализм и авторитаризм на том основании, что она не совершила буржуазной революции, особенно в форме массового восстания снизу. Эта общепринятая интерпретация значительно преувеличивает значимость только одного случая. Соответствующие сравнения пока еще не проведены, но общий контур паттерна революций показал бы следующее: (а) Германия вовсе не страдала нехваткой революций, начиная с протестантской Реформации до реформаторских и освободительных движений 1807–1814 гг., восстаний 1848 г. и успешной революции 1918–1919 гг.; (б) большинство революций во всем мире производится настолько же часто сверху, насколько и снизу; (в) множество революций — и не только германских — не удавалось завершить политической демократизацией, и сравнительные данные не позволяют утверждать, что демократия непременно производится революциями, тем более буржуазными [Goldstone 1991: 477–483]; (г) если принимать в расчет степени демократизации, то оказывается, что среди западных стран темпы демократизации не были такими уж скорыми, как обычно это представляют.

Наиболее важный аналитический момент состоит в том, что демократия — это не состояние «все-или-ничего», а ряд вариаций вдоль некоторого континуума. Есть по крайней мере два континуума — два основных измерения демократизации: (1) *уровень коллегиального разделения власти* (через парламенты, советы и другие структуры), и (2) *доля населения, участвующая в политических выборах*. В предыдущей главе я пытался упорядочить сравнительные данные по движению в каждом измерении демократизации. Если резюмировать кратко, ни одно из крупных западных государств не двигалось быстро, непрерывно или синхронно вдоль любого из вышеуказанных измерений демократизации.

Парламентские институты и другие структуры коллегиального разделения власти существовали по всей средневековой Европе. Многие из них сохранялись на местном уровне и в Германии, в той же мере или даже более, чем в других местах, вплоть до нынешнего времени. В Англии доминирование парламента над монархией нача-

лось после 1710 г., а в целом такой порядок был выстроен между 1760 и 1820 гг. Наследственная Палата лордов сохраняла свою власть до 1911 г., а в министерствах аристократия преобладала до 1905 г. Во Франции после краткого периода правления революционной ассамблеи в 1790-х гг. и затем в 1848–1851 гг., номинально ассамблея сосуществовала с автократией до того, как в 1875 г. установилось полноценное парламентское правление. В Германии после десятилетий существования номинальных парламентов имперский Рейхстаг, наконец, в 1871 г. получил власть над бюджетом и законодательством, тогда как император сохранил право назначать канцлера. Министерства стали нести ответственность перед парламентом только с 1919 г. Старейшая структура с высокой степенью коллегиального разделения власти сложилась в Соединенных Штатах, начиная с 1787 г.

Что касается измерения широты избирательного права, то в Англии до 1832 г. в выборах участвовало лишь менее 15 % взрослых мужчин. Эта доля выросла до 33 % в 1867 г. и до 66 % в 1884 г., все мужчины получили избирательные права в 1918 г.; женщинам 21 года и старше всеобщее избирательное право было предоставлено в 1928 г. В Соединенных Штатах правом избирать в колониальные законодательные органы обладали 50–80 % белых мужчин и чуть более во время [Американской] Революции, избирательное право для всех белых мужчин было достигнуто в 1840-х гг., для бывших черных рабов — в 1870 г. (хотя фактически только в 1960-х гг.); всеобщее избирательное право для взрослого населения (включая женщин) появилось здесь в 1920 г. Во Франции, после краткого эпизода 1790-х гг. со всеобщим избирательным правом для мужчин, установилось весьма узкое избирательное право, которое было вновь расширено для всех взрослых мужчин в 1848 г. и для женщин — в 1946 г. При выборах в германский Рейхстаг избирательное право для всех мужчин старше 25 лет существовало после 1871 г.; всеобщее избирательное право для мужчин и женщин старше 20 лет было предоставлено в 1919 г. Ни одно из этих государств не достигало 100 %-го избирательного права для взрослых до 1919 г. (причем Германия была первой).

Если мы объединим относительно эффективную парламентскую власть с широким избирательным правом для мужчин, то окажется, что США, Франция и Германия достигли этого уровня примерно в одно и то же время — в 1870–1875 гг. а Англия еще позже. Считать Англию лидером демократизации, значит, либо принимать ретроспективную телеологию, либо придавать чрезвы-

чайный вес ранним парламентским режимам с их аристократическим уклоном и крайне ограниченным избирательным правом[1]. Мой тезис состоит не в том, что Германия исторически была особенно демократической, а в том, что в ее ограниченной степени демократизации нет ничего необычного. Ни одно государство не было по-настоящему демократическим вплоть до XX в., а если ранее и был лидер в данном аспекте, то это были Соединенные Штаты, хотя и с суровым (или даже необычайным) провалом — рабством и недопущением женщин к выборам.

6. Мировые войны и нацистский режим — геополитические корни современной идеологической порки Германии

В целом образ Германии как однозначно авторитарной и традиционной не подтверждается эмпирическими данными. Германия была мировым лидером модернизации в измерениях бюрократического универсализма, религиозной секуляризации и пострелигиозной культуры. Модернизация немецкой экономики отстает от Англии и Франции между 1650 и 1850 гг., но данная экономика отнюдь не была статичной в этот период. Затем Германия быстро сократила разрыв с Англией, а к 1880 г. обогнала Францию. В аспекте демократизации, в 1800-х гг. немецкие коллегиальные институты на национальном уровне распространялись по путям, в которых первенствовала Англия, хотя и с несколько меньшими полномочиями, чем были у автократической исполнительной власти. Расширение избирательного права шло рука об руку с такими же процессами во всех других [западных] крупных обществах, за исключением Соединенных Штатов. Уровень свободы слова везде сильно варьировал со временем, здесь в XIX в. Германия немного, если вообще, отставала.

---

[1] Блэкберн и Эли отвергают тезис о *Sonderweg* («особом пути») в применении к Германии, принимая марксистский взгляд на реальный уровень демократии, достигнутый Англией в этот период [Blackbourn и Eley 1984]. В политическом измерении приведенные Блэкберном и Эли данные подкрепляют мою аргументацию. Слабость их позиции заключается в том, что они придерживаются одномерной модели движения к современности и не распознают те измерения, в которых Германия была лидером модернизации.

В Германии оставалось множество элементов консерватизма и классового неравенства, преклонения перед представителями высших слоев, но эта картина не будет казаться какой-то необычной, когда мы сравним ее не с идеальным типом эгалитарной демократии, а с реально существовавшими обществами XIX и начала XX вв. Социальный консерватизм был более выраженным в Германии, чем в Соединенных Штатах, но был весьма схож с тем, что имело место в Англии. Статистические данные о концентрации землевладения, распределения богатства и доходов показывают, что в около 1900 г. Британия была обществом с наибольшим неравенством среди основных евро-американских обществ. Франция, США и Германия — все были схожи по своим умеренным уровням неравенства [Barkin 1987]. Идеально-типические сравнения окажутся еще менее оправданными, как только мы осознаем, что каждое общество было разделено конфликтами именно по этим поводам. Ложную перспективу представляют такие авторы как Питер Гэй [Weimar Culture 1968], которые сосредоточивают внимание на консервативных и антидемократических фракциях, пренебрегая оппозиционными немецкими либералами и социалистами. Сходным образом, на другой стороне создается ложный идеальный тип теми, кто изображает только английские и французские традиции либерального эгалитаризма, игнорируя британских и французских консерваторов. Фактически можно привести сильные доводы в пользу того, что Англия была ведущей консервативной державой в период с 1776 по 1914 г., противостоя Американской и Французской революциям, отставая в продвижении массовой демократии вплоть до 1917 г. Именно успех английской аристократии в сопротивлении модернизации — вот что перед Первой мировой войной взяли в качестве своего идеала немецкие консерваторы.

Репутация Германии как антимодернистской и консервативной сложилась в глазах других западных обществ в Первую мировую войну и особенно из-за нацистского режима 1933–1945 гг. До этого приверженцы модернизации в Великобритании, США и даже Франции смотрели на Германию как на авангард, особенно в области культуры и организации администрирования [Mitchell 1979]. Причина такой смены восприятия — геополитическая. Британия и крупные германские государства были союзниками еще со времен Войны за испанское наследство (1701–1713 гг.) против Франции как главного противника в наполеоновских войнах и многих дру-

гих. Поворотный момент наступил в 1904 г. с образованием Антанты — союза России, Франции и Британии, той перестройки альянсов, которая и привела к Первой мировой войне[1]. В эту антигерманскую коалицию оказались втянуты и Соединенные Штаты, у которых никогда не было военных столкновений с Германией (притом что в культурном плане США очень зависели от нее) и которые имели давние союзные отношения с французами против Британии. Во время Первой мировой войны пропаганда союзников создала популярный образ немцев как средневековых варваров и лакеев при прусской державе. В этом развороте не было ничего существенного в структурном плане. Если бы Соединенные Штаты оказались в союзе с Германией против Англии, то можно легко представить соответствующий пропагандистский образ Германии как страны добрых простых людей — любителей пива, а образ Англии как управляемой надменными и фанатичными аристократами, перед которыми с протянутой рукой гнут спину рабские низшие классы.

Полноценная демократия в период Веймарской республики не сумела продержаться достаточно долго, чтобы ослабить созданный в войну антигерманский образ. Возникновение и подъем нацистского режима, а также идеологическая мобилизация, продолжавшаяся всю Вторую мировую войну, замазали все германские институты и немецкую культуру одной черной краской. С 1940 г. большинство академических исследований по Германии велось как бы в тени Гитлера: во всей предыдущей немецкой истории собиралось и виделось все, что только могло предзнаменовать будущий Холокост. Такое объяснение постфактум при отсутствии систематических сравнений или обобщающей теории было малополезно. Если Германия по большому счету следовала тем же путям институционального развития, что и другие крупные западные общества, то корни нацизма следует искать в более неудобном месте: в условиях, общих для всех нас. Не претендуя на обзор обширной исследовательской литературы по социальным основам нацизма, позвольте мне предположить, что и здесь решающая причинная переменная — геополитическая.

---

[1] Еще в 1898–1901 гг. Джозеф Чемберлен, будучи британским министром по делам колоний, продолжал отстаивать политику союза с Германией и лишился из-за этой своего поста.

Обычно бывает так, что когда государство проигрывает войну, легитимность правящей в это период партии рушится. Тот же самый процесс усиливает ее противников внутри страны. Рейх при императоре Вильгельме, проигравший Первую мировую войну, был режимом, в котором парламент делил ответственность [с исполнительной властью]. Все партии, включая социал-демократов, имевших наибольшее число мест после выборов 1912 г., подавляющим большинством голосовали за военные кредиты. Все политические партии, а также сама парламентская власть были делегитимированы поражением в войне. Революционный переход власти зимой 1918–1919 гг. сделал новый демократический режим ответственным за ведение переговоров, которые привели к унизительному для Германии Версальскому миру. Веймарская республика, управлявшаяся до 1930 г. либералами и левыми, мало сделала для восстановления международного престижа Германии. Популярность нацистов была в значительной степени основана на их воинственном настрое отбросить военные санкции и возродить Германию как великую державу. В рамках самого этого международного аспекта здесь нет ничего такого, что отличалось бы от общего паттерна государств, стремящихся к достижению национального престижа могущества через подъем военной силы. В империалистический период конца XIX и начала XX вв. мы видим то же самое в случаях Англии и Франции, а также в стремлениях к территориальным приобретениям со стороны Соединенных Штатов с 1790-х гг. и до Испано-американской войны*. Веймарский режим, лишенный международного престижа могущества, имел низкую легитимность, которая затем еще больше была подорвана экономической неэффективностью, проявившейся при инфляции в послевоенные годы и в период Великой депрессии.

Что было наиболее отличительным для нацистов, так это их внутренняя политика, наступление на демократические институты и яростный антиуниверсализм, который привел к расовому геноциду. Все это отнюдь не было преобладающими компонентами в немецкой культуре. Национал-социалисты вошли во власть в 1933 г. в со-

* В результате этой войны, согласно Парижскому мирному договору (1898), победившие США приобрели в качестве колоний бывшие испанские территории: Гуам, Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины. Каролинские и Северные Марианские острова были проданы Германии.

ставе коалиционного правительства, получив меньшинство мест — 288 из 647; они захватили абсолютную власть в результате государственного переворота [Kinder and Hilgemann 1968: 470–471]. Значительную часть немецкого населения привлекла нацистская программа, остальные молчаливо с ней согласились. Однако такая уступчивость по отношению к государственной власти вовсе не является уникальным немецким качеством, она проявляется у большей части населения в каждом государстве. Плебисциты, проведенные в 1930-х гг. и узаконившие подавляющим большинством голосов гитлеровскую внешнюю политику, были результатом вполне известных социологии процессов: как массового энтузиазма, политической манипуляции, так и принудительного отстранения от участия сильнейших противников. Кроме того, немецкое население было привлечено в соответствии с тем, что можно было бы предсказать на основе общих социологических принципов: возрождением международного престижа могущества, а также быстрым выходом из ситуации массовой безработицы благодаря государственнической, по существу, кейнсианской экономической политике гитлеровского режима.

Настроенная пронацистски часть немецкого населения гораздо более интенсивно изучалась, чем аналогичные группы в других обществах. Обзор данных свидетельствует о том, что антисемитизм вовсе не был основным фактором привлекательности нацистского движения. Среди обращенных в нацизм на начальных стадиях движения, менее чем 15 % было озабочено угрозой «еврейского заговора», по сравнению с более 50 % опасавшихся угрозы коммунизма [Merkl 1975: 449–522]. В нацистском движении 1920-х гг. антисемитизм был одной из двух преобладавших тем: обвинения евреев в поражении Германии и гнева относительно Версальского договора; иными словами, Гитлер соединил антисемитизм как старое и относительно слабое движение в Германии с преобладавшей в тот период мобилизующей темой — делегитимацией государства из-за военного поражения. К концу 1920-х гг. в нацистских предвыборных кампаниях антисемитизм был приглушен, поскольку данные по регионам показывали, что он не привлекает избирателей [Goldscheider and Zuckennan 1984: 144].

С начала XX в. в Германии и Австрии действительно имели место ожесточенные антисемитские движения, но приписывать их происхождение исключительно немецкой культуре (как например,

доказывается в работе [Mosse 1964]), значит указать на ложные источники. В начале 1890-х гг. антисемитская Народная партия одержала в Германии несколько побед на выборах, в результате чего антисемитизм распространился также на консервативные и центристские партии. В конце 1890-х гг. эти партии утратили свои позиции и антисемитизм перестал быть одним из центральных вопросов политической борьбы. В немецкоязычных государствах начиная с 1880-х гг. центром антисемитских движений была Австрия, где это было прямо связано с этническим соперничеством в полиэтничной Австро-Венгерской империи [Schorske 1980: 116–180]. Исторически основные корни антисемитизма находились на востоке этой зоны — в славянской Восточной Европе. Вплоть до середины 1800-х гг. евреям из польской части России было запрещено приезжать в центральные российские области*. Когда в 1860-х гг. барьеры были сняты, еврейская миграция на Украину и в Россию привела к погромам 1880-х гг. (СМН 1910, 12: 339–341). До Первой мировой войны главные инстанции официальной государственной антисемитской политики находились в царской России, Польше и Венгрии [Goldscheider and Zuckerman 1984: 139–147]. Немецкую антисемитскую активность в тот же период не следует преуменьшать [Gochmann 1988], но при сравнении с антисемитизмом, прежде всего с уровнем насилия в Восточной Европе, собственный немецкий антисемитизм был производным и вторичным.

В конце Первой мировой войны Гитлер привнес этот австрийский и восточноевропейский стиль антисемитской политики в Германию, где он был подчинен более центральным темам фашистского авторитаризма. Условия для действительно массового геноцида возникли позже, опять же вследствие военных геополитических событий. Массовые убийства Холокоста имели место не сразу после прихода нацистов к власти в Германии в 1933 г., но с 1941 г. и далее, по мере того как немецкие войска продвигались на восток в войне с Россией. Словацкое и румынское правительства организовывали и проводили свои собственные массовые убийства; в Литве,

* Речь идет о «черте (постоянной еврейской) оседлости» — границе территории в Российской империи с 1791 по 1917 г., за пределами которой запрещалось постоянное жительство евреям. Исключениями были купцы первой гильдии, лица с высшим образованием, отслужившие рекруты, приписанные к цехам ремесленники, караимы.

на Украине, в Польше и других странах на Востоке [Европы] местный обслуживающий персонал помогал нацистам в уничтожении евреев [Fein 1979]. Огромное большинство евреев погибло именно в этих восточных районах [Goldscheider and Zuckerman 1984]. Массовые уничтожения евреев в польских гетто по большей части осуществлялись советскими военнопленными под руководством подразделений немецкой военной полиции, которые сами старались уклоняться от непосредственных убийств [Browning 1992]. Геноцид в контексте военной истерии (не особенно отличающийся от того, что имело место в Югославии 1990-х гг.) достиг беспрецедентного уровня вследствие смертельного сочетания современной немецкой военной организации и давней ненависти славянских крестьян к сегрегированным местечковым общинам Восточной Европы.

Сосредоточиться исключительно на немецкой культуре как источнике антисемитизма — значит не заметить вполне сопоставимые идеологические движения не только в Восточной Европе, но также во всех крупных демократических обществах. В Соединенных Штатах имели место антииммигрантские движения, течения приверженцев расового превосходства и антисемитов, в Англии — империалисты и защитники евгенической чистоты, во Франции на переломе XIX–XX вв. антисемитизм достиг апогея в деле Дрейфуса* наряду с антимодернистскими и антидемократическими движениями, такими как *Action Française***, которое было отнесено к фаши-

---

* Процесс (1894–1906 гг.) по делу о шпионаже в пользу Германской империи, в котором обвинялся офицер французского генерального штаба, еврей родом из Эльзаса (на тот момент провинции Германии) капитан Альфред Дрейфус. Вначале Дрейфус был осужден, затем после открытого письма Эмиля Золя, обвинившего военное руководство в фальсификациях, началась общественная кампания за пересмотр дела, и Франция раскололась на дрефусаров (как правило, радикалов и социалистов) и антидрейфусаров (военных, клерикалов, националистов и особенно антисемитов). В результате Дрейфус был полностью оправдан, восстановлен в армии и награжден орденом Почетного легиона.

** *Action Française* (Французское действие) — монархическая политическая организация, возникшая в 1899 г. и организационно оформившаяся в 1905 г. Опиралась на националистически настроенные круги армии и аристократии. Была направлена на реставрацию монархии во Франции (т. е. на восстановление Старого порядка под властью династии Бурбонов), на создание корпоративного государства при национализме в духе «крови и почвы», строгой приверженности католицизму. В 1930-х гг. приняла профашистский характер, организовала вооруженные отряды — «Королевских молодчиков», принимавших участие в фашистском

стским в том же смысле, что и движение нацистов[1] [Nolte 1969]. Эти движения не достигли тех крайностей, которые имели место в Германии, но они являются метками на том же континууме. В XIX в. самыми знаменитыми идеологами антисемитизма и расовой чистоты были англичанин Х. С. Чемберлен* и француз Жозеф де Гобино**. С другой стороны, немецкие противники антисемитского движения не получили столь большого внимания. Ницше, которого обычно считают предшественником нацизма, был откровенным противником антисемитского движения. Среди других критиков был, в частности, Макс Вебер (см. [Weber 1991: 246–261]). Немецкие антропологи и филологи, такие как Теодор Вайтц, Адольф Бастиан и ученик Бастиана Франц Боас, были со стороны науки ведущими противниками расовой теории, их исторические исследования показали, что языковые группы (например, индоев-

---

путче 1934 г. В годы немецкой оккупации Франции существовала легально и активно поддерживала проводившуюся правительством Петена политику сотрудничества с оккупантами.

[1] Голдхаген, доказывая соучастие всего немецкого населения в Холокосте, основывает свою аргументацию на том предположении, что основной причиной таких действий является национальная культура [Goldhagen 1996]. Его слишком узкая сосредоточенность на Германии (выборка по усеченной зависимой переменной) пренебрегает сравнительным аспектом антисемитского насилия. Для полезной коррекции такого подхода см. [Brustein 1996] и готовящуюся к печати работу Майкла Манна «Фашисты».

* *Хьюстон Стюарт Чемберлен* (1855–1927) — англичанин, написавший на немецком книгу «Основы XIX века» (Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts, Мюнхен 1899 г.), в которой доказывал, что европейская культура — это результат слияния искусства, литературы и философии Древней Греции; юридической системы и формы государственного управления Древнего Рима; христианства в его протестантском варианте; возрождающегося созидательного тевтонского духа, а также отталкивающе разрушительного влияния евреев и иудаизма в целом. Две главные темы книги: арийцы как творцы и носители цивилизации, и евреи как негативная расовая сила, разрушительный и вырождающийся фактор истории. Книга стала необычайно популярной в Германии, но в Англии подверглась нападкам: ее либо высмеивали, либо поносили.

** *Жозеф Артюр де Гобино* (1816–1882) — основоположник расистской идеологии, считал расовое неравенство и смешение рас объясняющими принципами исторического развития, суть которого состоит в упадке и гибели различных цивилизаций. От смешения (с обязательным участием «белой» расы) цивилизации рождаются, но оно же в дальнейшем является причиной их вырождения. Гобино считал европейскую цивилизацию вырождающейся и погибающей, что исключало практическое применение расизма, и за это его подвергал критике Х. С. Чемберлен.

ропейские, семитские) нельзя путать с человеческим биофондом, что культура не зависит от биологии. Эти научные позиции никак не соотносятся с [немецким] национальным характером. Ответственной за этот аспект немецкого интеллектуального модернизма была именно автономия дисциплин в рамках немецкого исследовательского университета[1].

Удручающий факт состоит в том, что «честь» расового геноцида исторически отнюдь не ограничивается нацистской Германией: американские индейцы подвергались массовому уничтожению, а остатки — принудительному переселению со стороны испанцев и англо-американцев; в 1620-х гг. британские войска устраивали охоту на «диких» шотландцев, которых уничтожали целыми кланами; в 1650-х гг. англичане пытались принудить всех коренных ирландцев под страхом смерти покинуть их земли и переселиться в резервацию на бесплодной территории северо-западной Ирландии. Эта массовая «этническая чистка» не удалось главным образом потому, что англичанам для осуществления их плана не хватало организационных ресурсов. Тем не менее четверть ирландского населения погибла, а 80 000 были отправлены в Вест-Индию в качестве рабской силы [CMH 1910, 4: 522, 536–537; Foster 1989: 122–123; MacLeod 1967]. Разница с Холокостом здесь состоит в числе жертв и факторе современной организационной эффективности [гитлеровской Германии], но не в базовом импульсе.

Приход нацистов к власти в Германии был результатом случайного фактора, который шел вразрез с процессами модернизации. Если бы не произошла перестройка альянсов, если бы Франция, а не Германия проиграла Первую мировую войну и претерпела санкции, схожие с теми, что были наложены на Германию согласно Версальскому договору, то вполне вероятно, что в 1920-х или 1930-х гг. к власти могли бы прийти французские фашисты. Можно представить реконструкцию последовавшей за этим культурной истории: американцы и англичане, несомненно, стали бы восхвалять разумный и умеренный путь к модернизации, которым следуют их немецкие друзья, осудили бы перегибы и отсутствие органично раз-

[1] Вот последние дни Гитлера в его бункере, когда русские войска штурмовали Берлин. Что же он читал? Ницше? Хайдеггера? Гегеля? Нет, никого из них. Читал он книгу британского поклонника великих героев — Томаса Карлейля [Liddell Hart 1970: 679].

вивающейся демократической традиции, которые привели Францию к фашизму. Можно представить себе подобный сценарий, который осуществляется уже сегодня. Допустим, Соединенные Штаты проигрывают войну и погружаются в экономический кризис. В день острого политического противоборства правительство теряет контроль над законными средствами насилия. Возникает народное движение по наведению порядка, организуются частные армии, а поскольку эти дружины становятся все более угрожающими, фракция, контролирующая государственный аппарат, принимает жесткие, входящие за рамки закона меры, что еще больше разрушает традиции демократического правления. Эта гипотетическая ситуация не такая уж невероятная; такими и были шаги, которыми нацистское меньшинство достигло положения, позволившего совершить государственный переворот против делегитимированной демократии.

Разумеется, в Соединенных Штатах идеология любого успешного антимодернистского движения была бы приспособлена к местным традициям. Американское фашистское движение было бы наиболее успешным, обернув себя не свастиками, а американскими флагами, его образ расового врага был бы адаптирован к текущим условиям, возможно, через вычленение испаноязычных иммигрантов или ведущих экономическую экспансию японцев. Отнюдь не обязательно, чтобы авторитарное, антимодернистское, расистское и националистическое движение было именно антисемитским; на самом же деле, партикуляристское определение фашизма как сугубо антисемитского мешает нам понимать всеобщую динамику [такого рода движений]. К счастью, основные структурные части этого сценария — поражения в войне в сочетании с экономическим коллапсом — маловероятны, но теоретический урок этого немецкого случая не может быть отброшен со ссылкой на чью-то конкретную культурную историю. Именно структурными условиями демократизации и антидемократических переворотов, а также условиями модернизации и контрмодернизации — вот чем мы должны быть озабочены.

7. Мораль этой истории

Историю пишут победители войн. Это один из источников искаженного восприятия закономерностей и причин современных

социальных изменений. Более глубокой проблемой является распространение одномерной риторики, втискивающей многомерный процесс лишь в одно направление развития. Мы видели эту многомерность дважды: в концепции модернизации, которая может быть разложена на бюрократизацию, секуляризацию, капиталистическую индустриализацию и демократизацию, а также в концепции самой демократизации, имеющей различные причинные траектории для институтов коллегиального разделения власти и широты избирательного права. Как в широком общественном мнении, так и в консенсусе внутри научного сообщества путь Германии в процессах модернизации существенно искажен; это означает, что искажены также пути большинства других обществ, но в обратном направлении. Британия и Соединенные Штаты являются примерами идеального типа современности гораздо в меньшей степени, чем это обычно предполагается. На протяжении последних двух столетий они по важнейшим измерениям [модернизации] находятся среди наиболее традиционных и несовременных обществ Запада. Во Франции, где время от времени вспыхивают и множатся крайние модернистские тенденции, также были жесткие конфликты с участием антимодернистских сил. Если мы хотим получить комплексное, глобальное суждение о главном историческом месте возникновения современности, то Германия является столь хорошим кандидатом на такое место, как и любое другое [западное общество]. Ее беды могут представлять собой некий архетип трудностей, внутреннее присущих современным социальным структурам.

Глава 6

Рыночная динамика как движущая сила исторических изменений

Давайте попробуем сделать упражнение на теоретическое воображение. Предположим, что Маркс и Энгельс были на правильном пути относительно основных исторических типов социальных структур и движущих сил, ведущих к их трансформации, но сформулировали эти идеи слишком грубо. Тем не менее предположим, что есть нечто дельное в таких подразделениях как первобытный коммунизм, рабовладельческая экономика, феодализм и капитализм. Представим, однако, что ведущий сектор в каждой из этих форм — это не способ производства и накопления, но особый тип рынка, и что именно из-за рыночной динамики каждая форма социальной организации переживает рост, кризисы и преобразование в другой тип.

Моя аргументация преднамеренно несерьезна в следующем отношении. Я хотел бы предположить, что рынки, пусть в воображении, являются единственно значимой динамикой в мировой истории. Возможны и другие источники изменения, они включают геополитику (которой в предыдущих главах предоставлено почетное место), демографию и экологическое давление. Но давайте посмотрим, насколько далеко мы можем продвинуться на основе панрыночной (omnimarket) модели.

1. Некоторые принципы рыночной динамики

В качестве первоначальной схемы предположим, что все рынки имеют следующие характеристики:

1. Каждая форма рыночного обмена основана на особом виде собственности. Что-то должно быть присвоено для того, чтобы затем быть обменено; а обмен заключается в передаче прав присвоения.

2. Рынки варьируют в плане своей открытости. Некий данный рынок отнюдь не обязательно открыт для всех потенциальных покупателей и продавцов. Полная информация об условиях торговли не всегда широко доступна, обычно бывает как раз иначе. Как правило, участие в рыночном обмене стратифицировано, как из-за экологии [удаленности и трудности] доступа, так и вследствие преднамеренного политического контроля сверху или изнутри. Как утверждалось Гаррисоном Уайтом и ранее Максом Вебером, продолжающееся строительство неконкурентных ниш, или монополий, возможно, и составляет сущность рынков [White 1981; Weber 1968: 144–150, 341–343, 638; Murphy 1988]. Следовательно, всегда есть некоторая тенденция (не обязательно постоянная) к неравному обмену и экономическому неравенству.
3. Рынки как социальные структуры склонны расширяться в течение длительных периодов времени, включая все больше людей, или товаров, или отношений, и главным образом все бóльшую территорию. Расширение в этих аспектах может продолжаться в то время, когда участие становится более ограниченным, особенно для производителей и продавцов по сравнению с работниками и потребителями.
4. Структурное расширение рынков приводит к экономическому и организационному росту за счет увеличения объема товаров и стимулирования инноваций в производстве. Сам объем торговли имеет различные значения в зависимости от того, *экстенсивный* ли это *рост* (в терминологии Эрика Джоунса [Jones 1988]), просто сопровождающий рост населения и его географическое распространение, или *интенсивный рост* производства на душу населения. Разумеется, могут иметь место периоды стагнации или спадов в одном из этих или в обоих аспектах [Curtin 1984]. Важно то, что в течение очень длительных периодов в общей динамике преобладает положительная тенденция.
5. Рынки конкретных единиц обмена, как правило, приводят к появлению вышестоящих, или надстроенных (superordinate), рынков, где торгуют самими условиями торговли. Будущие и дальние обмены становятся товарами, которые могут быть проданы на своем собственном рынке. Такие рынки могут надстраиваться друг над другом и образовывать целые пирамиды. Деньги, дол-

ги, ипотечные кредиты, владение акциями, права на покупку, лицензирование и другие средства обмена могут стать объектами вышестоящего средства обмена, которыми торгуют на рынках следующей ступени.

6. В долгосрочной перспективе рынки, как правило, достигают кризисных точек (в дополнение к краткосрочным циклическим колебаниям, которые также могут иметь место.) Такие кризисы включают замедление или обращение роста основной формы производства в данном рынке, существенное ограничение или разрушение ее основной формы рыночного обмена, а также преобразование социальной организации в структуру, основанную на иной форме собственности.

Данные положения оставляют расплывчатыми механизмы, посредством которых происходят эти процессы, особенно в плане расширения, роста и кризиса. Динамика станет более ясной, когда мы исследуем основные исторические типы рыночных систем. Рассмотрим здесь центральный марксистской вопрос: почему такие структуры претерпевают кризис? Можно было бы сказать, что существует противоречие между характером рынков, допускающих стратифицированное участие, структурированное защищенными нишами (2), их тенденцией к распространению вширь (3) и склонностью к росту объемов (4). К тому же рост надстроенных рынков (5) добавляет топлива в разгорающийся кризис.

Бродель описывал два типа рынков: относительно локализованные обмены лицом к лицу, в которых обычай и надзор принуждают к «справедливой цене», удерживая прибыль и эксплуатацию на низком уровне, и дальние, ориентированные на будущее обмены, в которых капиталистические брокеры манипулируют условиями для получения сверхприбыли [Braudel 1977: 51–53, 62]. Капитализм существует на уровне надстроенных рынков, а тенденция развития таких рынков направлена в сторону монополизации и эксплуатации. Шумпетер согласен с этим, поскольку определяет капитализм как «предприятие, осуществляемое на заемные деньги» и говорит о банках как о «штаб-квартирах капиталистической системы» [Schumpeter 1939; 1961: 126]. Можно было бы утверждать в таком случае, что рыночные кризисы происходят потому, что надстроенные рынки все больше и больше концентрируются и в счете приводят к удушению [базового] рынка.

Однако, хотя надстроенные рынки стратифицированы, из этого не следует, что они должны порождать стагнацию или постоянно сужающуюся концентрацию. И Шумпетер, и Вебер рассматривали надстроенные рынки как динамичные и, в известной мере, как источники роста и изменения. Согласно Шумпетеру, рынки финансовых инструментов изымают ресурсы из самовоспроизводящегося потока обменов и превращают их в новые формы организации, тем самым открывая рынки новых продуктов. Вебер отмечал тенденцию развития каждого данного рынка к монополизации [Weber 1968: 144–150], но присвоение на одном уровне (например, когда средневековые сеньоры монополизировали землю или когда капиталисты экспроприировали у рабочих их средства производства) делает возможным надстроенный над ним рынок со своей собственной динамикой (например, рынок кредитов под залог частной собственности на землю или торговля акциями). Этот рынок более высокого порядка вытесняет первоначальных монополистов, обрекая их на конкурентные напряжения и борьбу за средства монополизации, в частности, через инфляцию национальной валюты.

Шумпетер утверждал, что монополии способствуют экономической экспансии, поскольку поддерживают рентабельность вкладов в рискованные предприятия, в то время как полновесная рыночная конкуренция снижает прибыли до нуля. Но только некий оптимальный уровень образовавшейся монополии должен приводить к такой экспансии. Слишком малая монополизация означает отсутствие прибыли, а слишком большая означает стагнацию из-за удушения спроса. Как указали Артур Стинчкомб и Джек Голдстоун (в личном общении с автором), рынки более высокого порядка, связанные с регуляцией условий торговли, являются рынками фьючерсов — защитой от неконтролируемых случайностей или долгосрочными инвестициями. Если фьючерсные рынки являются по своей природе рискованными, то особенно это верно для тех надстроенных сетей политической власти, которые поддерживают базовую форму собственности. Кризисы в этих надстроенных структурах способны обрушивать всю систему обмена. Политика и войны сами являются конкурентными рынками для материальных затрат, стимулирующими производство оружия, строительство оборонительных укреплений, развитие военного транспорта и материальных средств гражданской администрации. Они также являются надстро-

енными рынками, в которых успех создания политических альянсов или военной экспансии дает отдачу через стимулирование производственных рынков нижнего уровня. При этом издержки политических и военных кампаний могут превзойти отдачу и привести к кризису, сотрясающему всю систему.

Добавьте к этому еще один надстроенный рыночный сектор — производство и распространение культурных товаров в форме религии, образования, развлечений и самопрезентации личности на публике (personal display)*. Они могут называться статусными товарами, поскольку становятся видимыми эмблемами группового членства и достигнутого индивидом ранга. Иногда здесь мы вновь находим быстро расширяющиеся рынки. Когда растет производство статусно-нагруженных объектов, таких как личная одежда, украшения, иконы, музыкальные инструменты, это приводит в движение некий процесс перестройки социальных отношений. Любые новые материальные затраты, которые расширяют сектор церковных построек, школ, мест развлечений и других сфер циркуляции символов, будут повышать озабоченность по поводу статусных идентичностей во всем обществе. Рост материального богатства придает сходную с рыночной динамику межличностным отношениям, которые опосредованы такими символическими товарами, принимает ли это форму соревнования в демонстрации религиозного благочестия или форму сменяющих друг друга стилей в украшениях и потреблении. Вышестоящие рынки маркеров социального статуса, в свою очередь, дают обратную связь, повышая спрос на материальные блага и тем самым поддерживая [рыночный] сектор статусных товаров. Здесь у нас опять получается, что надстроенный рынок стимулирует материальное производство. Но так же, как политический и военный сектора, действующие в режиме перегретого рынка (steamed-up market mode), могут повысить уровень конфликта и даже физического уничтожения, так и мобилизация состязания в сфере культурных символов и статусов может поглощать больше затрат, чем давать обратную отдачу в материальную экономику.

Таким образом, главная линия нашего подхода состоит в том, что тенденции внутри рынков к стратификации и росту издержек,

* Ближайшим смысловым аналогом в русском языке является выражение «на людей посмотреть и себя показать».

особенно в надстроенных рынках и на их самом политизированном краю, периодически приводят рыночную систему к кризису. В своих крайних выражениях эти кризисы являются переломными моментами, или спусковыми точками (tipping points), истории, которые приводят к концу одну систему обмена собственности и заменяют ее другой.

Рынки родства, невольничьи рынки, аграрно-принудительные рынки. Капиталистические рынки

Таковы мои кандидаты на звание систем рыночной динамики в мировой истории. Во-первых, в основанных на родстве, или родоплеменных (kin-based), обществах, главным рынком является сама система родства: рынок союзов, образованных перекрестными браками. Вместо первобытного коммунизма с коллективной собственностью, о котором писали Маркс и Энгельс, здесь имеется сексуальная собственность как способ присвоения. Можно назвать это «леви-строссовским» рынком с его кульминацией в «революции [отношений] родства», которая разрушила структуру, основанную на родстве, и заменила ее возникновением государства.

Во-вторых, я буду рассматривать невольничьи рынки как динамическую систему. Основные примеры здесь те же, что были описаны Марксом и Энгельсом, — Древняя Греция и в особенности Рим. Здесь, однако, я расхожусь с Марксом и Энгельсом, считая рабство не формой производства, но формой обмена. В системе невольничьих рынков рабы были в первую очередь не производителями, а товарами; производительным же классом были военные, а структурный кризис произошел, когда военное «производство» (захвата) рабов перестало себя окупать. Вариантом этой системы был рынок солдат-рабов, ставший особенно значительным в средневековых исламских обществах.

В-третьих, я рассматриваю рыночные системы средневековых аграрных обществ, организованные патримониальными домохозяйствами — таков «феодализм» в марксистских терминах. Здесь рыночные структуры выступили в форме земельной ренты, как правило, в противоборстве с другой структурой — налогообложением. Перри Андерсон предположил, что кризис феодализма имеет своим

источником борьбу за ренту, а также расширение рынка земли и рынка ее продуктов. Сюда я бы добавил еще одного рыночного кандидата: рационализированные корпоративные владения монастырей, составлявшие передний край капиталистического развития в Средневековье как в христианской Европе, так и в буддийских Китае и Японии. Обе структуры собственности: что землевладельческая военная аристократия, что религиозные корпорации в конечном счете были экспроприированы в период кризиса аграрно-принудительных рынков[1].

Наконец, я сделаю краткий комментарий относительно современного капитализма и расширения его надстроенных рынков, в том числе его способности включать в рамках мировой капиталистической системы подрывные социалистические анклавы. Последний вопрос должен быть поставлен так: имеет ли панкапитализм также некую встроенную траекторию в сторону собственного структурного кризиса и трансформации?

Следует заметить, что мой мысленный эксперимент — это веберианизация Маркса. Можно с уверенностью утверждать, что все общества структурированы социальными механизмами контроля над средствами производства, с помощью которых накапливается прибавочный продукт. Вопрос заключается в том, имеют ли такие отношения динамику, объясняющую основные культурные кризисы и изменения на протяжении всей человеческой истории. Я утверждаю, что это никогда не было показано, и что большинство усилий в этом направлении соскальзывало к темам рыночных отношений. Рёмер, переформулировавший марксизм, чтобы прийти к технически обоснованной модели классовой эксплуатации в каждом историческом типе режимов, отказывается от критерия извлечения прибавочного труда в самом процессе производства [Roemer 1982, 1986]. Для Рёмера, некий класс является эксплуатируемым, если ему было бы лучше выйти из существующих рыночных отношений, а эксплуататорским является тот класс, которому стало бы хуже при таком выходе. Хотя рёмеровская модель и не является динамической моделью кризисов и структурных изменений, в ней подчеркивается центральная роль рынков для отношений собствен-

[1] Вообще говоря, невольничьи рынки являются подтипом в разнообразии аграрно-принудительных обществ. Я рассматриваю их первыми, потому что принято говорить о Риме до средневековых Европы и Китая.

ности. У нас нет теории, показывающей, как кризисы в способах производства действуют в качестве движущей силы через основанные-на-родстве/безгосударственные, античные/рабовладельческие, феодальные/аграрные и капиталистические общества. Большинство усилий (в том числе в работах самого Маркса) были направлены на изучение подъема раннего капитализма или динамики зрелого капитализма. Книга Перри Андерсона «Переходы от Античности к феодализму» [Anderson 1974a] на сегодняшний день является наиболее убедительной попыткой объяснения более ранних сдвигов, но она расходится [с марксизмом] именно в вопросе о роли рыночной динамики, на которую я здесь делаю упор. То же самое относится и к работе Салинза и другим попыткам выявить марксову динамику в экономиках бродячих групп (bands) и племен (см., например, [Sahlins 1972]).

Материалистическая теория рынков не зависит кардинально от вопроса о роли классов и еще меньше касается темы классового сознания. Структуры — вот что претерпевает динамику и кризисы; расширение конкретного типа рыночной системы и трудности, проистекающие из ее кризиса, захлестывают и увлекают за собой каждого индивида в обществе. Отнюдь не обязательно, чтобы в политической борьбе главными действующими лицами на разных сторонах были рабовладельцы против рабов, капиталисты — против землевладельческой аристократии, или капиталисты — против рабочих. Отсутствие явного классового сознания, которое столь часто отмечалось (см., например, [Runciman 1983; Ste. Croix 1984]), никак не препятствует рыночной динамике идти своим чередом. Важно то, что именно кризис определенного типа рыночной системы делает дальнейшее ее продолжение чересчур затратным или невозможным. Поскольку политическая организация этой системы требует материальных затрат, политика тоже будет претерпевать кризис тогда, когда его испытает система обменов. Во время потрясений неизбежно появляются те, кто пользуются новыми политическими и экономическими возможностями. Отличает же их отнюдь не классовое происхождение, а новые классовые позиции, которые они создают в рамках открывшихся им структурных возможностей. В этом смысле структурная модель мировой истории, которую выдвинули Маркс и Энгельс, может по-прежнему служить нашим лучшим путеводителем для понимания долгосрочных изменений.

Предостережение: идеальные типы и эмпирические сочетания

Мой мысленный эксперимент проводится и обосновывается в терминах идеальных типов. Я предлагаю упрощенные модели нескольких типов рыночной динамики. Любое конкретное общество может включать в себя несколько таких форм. Племенные общества могут включать как динамику родства, так и динамику рабства. Таким же образом общества с преобладанием динамики рабства включают что-то из динамики аграрно-принудительной собственности, а в аграрно-принудительные рынки могут проникать и элементы динамики родства (как в германских и скандинавских вторжениях в средневековую Европу), и черты капитализма. Общая траектория каждой исторической формации — это результат сочетания компонентов ее динамики.

Любое конкретное общество может также включать сектора, которые вообще не являются рыночными структурами. В большинстве обществ до современного капитализма имели место основные сферы местной автаркии, для которых характерно существование и воспроизводство неизменных структур. Такие самовоспроизводящиеся структуры могли быть в количественном отношении самой большой частью практик этого общества. Хотя рыночные сектора могли быть небольшими, они были при этом непропорционально более значимыми в тех случаях, когда являлись единственным источником динамизма. Эти малые сектора зачастую были основным источником материальных ресурсов для государства, других непроизводственных структур (nonproducers) и поэтому особенно судьбоносными для роста надстройки. Это в равной степени справедливо для родоплеменного общества, в котором большинство систем родства могли действовать по принципу обменов леви-строссовского краткого цикла, тогда как рост политической власти происходил благодаря тем немногим «предпринимателям», которые инвестировали свои браки в обмены долгого цикла. Большинство населения в регионах древнего Средиземноморья находилось вне рыночных отношений военно-рабовладельческой экономики, а рационализированные религиозные экономики цистерцианских и буддийских монастырей были лишь частью европейской и китайской экономик того времени. Но если рынки по своей природе расширяют свой масштаб (по крайней мере до момента кризиса),

то именно в таких ведущих секторах и происходят главные структурные изменения.

Данная концепция не является теорией последовательности стадий развития. Революция [отношений] родства не ведет автоматически к экономике рабовладельческих рынков, а рост средневекового монастырского капитализма (как в Китае) не обязательно завершается современным всеохватным капитализмом. Я действительно следую классическому порядку типов [социально-экономических систем], заданному Марксом и Энгельсом, но главным образом для того, чтобы напомнить: они являются той отправной основой, от которой отталкивается мое рассуждение. Было бы полезнее между экономиками, основанными на родстве, — на одном конце и капиталистическими экономиками — на другом, увидеть несколько вариантов в рамках аграрно-принудительных экономик. В этом «среднем» сегменте мировой истории крупная экономика невольничьих рынков Греции и Рима была необычным вариантом, но она была предшественницей той европейской социальной структуры, которая фактически выросла в современный панкапитализм. Рабовладельческий рынок античного Средиземноморья и исламский рынок солдат-рабов были особыми типами надстроенных рынков в рамках принудительно-рентной и налоговой форм аграрного общества. Дополнительный вариант — корпоративный религиозный капитализм — опять же возник в рамках аграрно-принудительных обществ и придал по крайней мере двум из них — Европе и Китаю — особый капиталистический динамизм.

Сказанное приводит нас на передовой рубеж исторической социологии. Мы ведь совсем недавно пришли к пониманию того, что у Запада не было монополии на прорыв к капиталистическим рынкам. (По этому поводу сравните работы: [Braudel 1979, 2: 93–112, 519–534; 3: 417–461; Elvin 1973; Jones 1988; Collins 1986: 45–76; Abu-Lughod 1989].) Получается, что было два или, возможно, три прорыва, прекратившие состязание в рамках постепенно закрывающейся мировой системы. Восточный прорыв в Китае от эпохи Тан через Сун затем перешел в стагнацию во время династий Мин и Цинь, но можно утверждать, что он составил основу для взлета Японии в эпохи Муромати и Токугава, структурно подкрепившего ее подъем в XX в. Исламские общества Средиземноморья тоже обладали сочетанием рыночных структур, для которых в течение некоторого времени был характерен значительный динамизм,

прежде чем эти общества вошли в период стагнации. Хотя осталось намного больше того, что еще предстоит понять, ничто из этого, в принципе, не является чем-то удивительным в рамках объяснительной теории рыночной динамики. Далее следует набросок ее главных форм.

2. Рынки родства

В безгосударственных обществах основной формой собственности является сексуальная собственность. Права на сексуальный доступ и на все, что с этим связано, присваиваются и обмениваются. Эти права узаконивают деторождение, тем самым и каналы наследования, а также определяют обязанности жить в определенном месте, соответственно, иметь общие бытовые блага и практики в домохозяйстве. Право на постоянный и исключительный сексуальный доступ образует брак, а сопутствующие права и обязанности составляют полноценную систему родства.

В обществе, в котором единственно значимая организационная структура — это родство, брачные союзы являются одновременно военными, политическими, экономическими и религиозными. Основанные на родстве общества существенно различаются по своей сложности и стратифицированности. Эти вариации связаны с величиной излишков, производимых применяемой технологией охоты и собирательства, садоводства, рыболовства, скотоводства, а также определяются относительным изобилием или скудостью окружающей среды [Lenski 1966; Johnson and Earle 1987]. Однако любая стратификация должна быть организована как некая версия родства, поскольку иных организационных форм нет. Как указывал Леви-Стросс, присвоение женщин мужчинами и их межгрупповой обмен создает альянсы; этот тип системы обмена определяет размер и форму взаимных обязательств, а тем самым и структуру данного общества [Lévi-Strauss 1969].

Такие общества относительно эгалитарны в том смысле, что в них может быть мало материальных излишков и небольшая разница в их распределении. Традиционная социальная наука затушевывала этот момент ссылкой на «стратификацию только по возрасту и полу». Но ведь она-то и составляет саму сущность системы собственности: в крайних формах такой системы мужчины владеют соб-

ственностью в виде женщин, а пожилые владеют собственностью в виде молодых, которыми они распоряжаются, заключая брачные союзы. Человек с достатком или состоятельная семья богаты дочерями или, возможно, сестрами, поскольку «инвестируя» их, человек (или семья) может стать еще богаче благодаря новым сыновьям и союзникам, а также получая от последних материальные подарки и военную поддержку. «Капитализм родства» — это инвестиции в родственников.

Мы могли бы сказать, что мужчины и женщины, а также старые и молодые, являются основными социальными классами в рынках родства. Есть значительные различия в их «классовых» привилегиях, в интенсивности «классовой» мобилизации и «классовых» конфликтов. В некоторых системах родства женщины обладают значительной долей власти или по крайней мере способностью сопротивляться господству мужчин. Но женщины маневрируют в рамках той же самой системы обмена сексуальной собственностью, которая и составляет окружающие союзы. Мужчины, как правило, доминируют в отношениях сексуальной собственности, поскольку они контролируют военно-политическую сеть. Женщины относительно автономны тогда, когда структура альянсов слабая (как в бродячих группах охотников и собирателей), они обретают наибольшую власть, когда в определенных политических и экологических условиях сексуальная собственность и средства жизнеобеспечения основаны на наследовании по материнской линии и на соответствующих моделях выбора местожительства* [Blumberg 1984; Chafetz 1984; Collins 1986: 271–321]. Расширение рынка родства обычно все больше и больше загоняет женщин в ловушку системы сексуальной собственности с мужским господством.

Нет общепринятой теории динамики основанных на родстве обществ. Леви-Стросс считал, что значимое различие между системами родства состоит в размере, или протяженности, предполагаемых в той или иной брачной системе альянсов [Lévi-Strauss 1969]. Некоторые системы правил приводят к кратким циклам, в которых две или несколько групп постоянно поддерживают родство через браки, соединяя своих сыновей и дочерей из поколения в поколение. Такие системы устанавливают локальные связи и воспро-

* Соответствующие модели в антропологии называются матрилинейностью и матрилокальностью.

изводят статическую структуру. Другие брачные правила приводят к обширным альянсам: группа родства A связывается через брак с группой B, которая связывается с группой C, которая связывается с группой D и так далее. В конце концов некая группа вновь связывается с группой A. Такие формы с длинным циклом (которые Леви-Стросс называет расширяющим обменом, в отличие от ограниченного обмена в формах краткого цикла) приводят к более крупным сетям альянсов, поэтому соответствующие группы, как правило, становятся более могущественными в политическом и военном плане. Успешные инвесторы в капитал родства пожинают все больше и больше обязывающих связей, которые воплощаются в новых женах и дают новых детей. Результатом является спираль роста ресурсов.

В модели Леви-Стросса раскол между успешными дельцами в сфере родства (kinship speculators), которые идут по пути длинного цикла, и теми, кто следует консервативной стратегии краткого цикла, разрешается в революции [отношений] родства[1]. Первый становится богатым и космополитическим высшим классом, который господствует над локально-ограниченным и ресурсно бедным низшим классом. В конце концов стоящие наверху группы начинают инвестировать непосредственно в военную мощь, создавая тем самым государство и полностью разрывая с обществом родства. Модель Леви-Стросса сходна с тем, что Маркс и Энгельс писали про капитализм: рынок родства ведет к классовой поляризации и кризису, который опрокидывает эту систему собственности и приводит к подъему новой формы собственности.

Модель Леви-Стросса, хотя и проработана достаточно детально для некоторых основанных на родстве обществ, является при этом схематичной и неполной. Леви-Стросс ограничился изучением системы правил, которые предписывали конкретные типы браков

[1] «Расширенный обмен, судя по всему, находится в особой гармонии с обществом, имеющим феодальные тенденции [...] Напрашивается вывод о том, что расширенный обмен почти неизбежно приводит к анизогамии, т. е. браку между супругами с разным статусом; и что это должно проявляться еще более четко, когда такие циклы обмена умножаются или расширяются, но в то же время это вступает в противоречие с системой, и поэтому должно привести к ее падению [...] Такое разупорядочение [...] является неотъемлемой частью данной системы, а именно, конфликт между эгалитарными условиями расширенного обмена и его аристократическими последствиями» [Lévi-Strauss 1969: 265–267].

(например, матрилатеральные кросскузенные браки*). Он не распространял свой анализ на двусторонние (билатеральные) и кровные линии родства или на системы, в которых не предписываются конкретные типы браков, а только запрещаются некоторые. Резонно предположить, что среди этих форм есть также различия между теми, которые ведут к локализации или большей случайности родственных союзов, и теми, которые обеспечивают рост отдачи от инвестиций в родство. Развивая и обобщая идеи Леви-Стросса, мы могли бы предполагать некую динамику среди всех родоплеменных обществ, основанную на росте союзов благодаря определенным стратегиям брачной политики, и в конечном счете — господство «капиталистов родства» над «пролетариатом родства», которому не удается делать такие инвестиции.

Модель Леви-Стросса подвергалась критике как слишком идеализированная. В правилах родства может быть сказано, что мужчине следует жениться на дочери брата своей матери. А что если нет такой дочери, потому что она или вообще не была рождена, или умерла, или, нарушив правила, вышла замуж за кого-то другого? Что если имеется слишком много сыновей или слишком мало дочерей, или наоборот? В модели Леви-Стросса предполагается, что все такие непредвиденные обстоятельства случайны и не ведут к структурным следствиям. Они замедляют работу динамики родства, но не подменяют ее никакой альтернативной динамикой. В долгосрочной перспективе семьи, которые постоянно следуют экспансионистской или статической стратегии инвестиций, пожинают и соответствующие результаты. Хотя демография и полна случайностей, она также подвержена структурному давлению. Семья, получающая отдачу в виде множества жен для своих сыновей и тем самым имеющая благоприятные возможности для политической экспансии, будет заинтересована в том, чтобы иметь много детей. Мы можем предположить, что длинные и короткие циклы будут иметь различные демографические последствия, способствующие соответственно росту населения или застою. Так, например, рынки родства могут в конечном счете привести население к напряженности в плане экологических ресурсов, что приведет к судьбоносным последствиям для производственной и социальной организации.

---

* Браки между детьми родных сестер: двоюродным братом и двоюродной сестрой.

Поскольку рынок [брачных] союзов разогревается, группы иногда прорываются вперед, создавая родственные связи принудительным образом. Как отмечал Вебер, группа вооруженных мужчин может образовывать некую организацию и узаконить ее через измышление («изобретение») фиктивных общих предков [Collins 1986: 272–276]. Это позволяет таким новым псевдородственникам входить на рынок родства наряду с существующими группами настоящих родственников и выстраивать дальнейшие брачные альянсы. Таким образом, разнообразие систем родства оказывается связанным с уровнем состязания в геополитике семей. Правила родства являются стратегиями, выстроенными в ответ на внешнее давление и возможности племенной «мировой системы». Леви-строссовское различие ограниченного и расширяющего обменов указывает на более принципиальное различие между консервативными стратегиями на рынке родства, которые воспроизводят локальные связи и агрессивно экспансионистские стратегии брачных инвестиций. Нам здесь следует увидеть склонность рынков родства, как и всех типов рынков, расширяться в стороны на новые территории и на новые отношения. Существующие родственные союзы создают военную мощь и выстраивают впечатляющие модели для подражания. Для других альянсов появляется привлекательная возможность «впрыгнуть на подножку», присоединяясь к уже успешным группам. Даже те, кто продолжает противостоять успешной группе, могут заимствовать ее организационные формы. Именно таким образом Элеонора Сёрль описывает распространение того, что она называет «хищническим родством» Нормандии эпохи викингов [Searle 1988].

Есть ли какие-либо признаки других предполагаемых паттернов: роста объема производства, подчиненных и надстроенных рынков, ответвляющихся от первичного рынка родства? Родоплеменные общества не были полностью застойными в плане материального производства. В течение весьма длительного периода времени они осуществили несколько крупных экономические трансформаций в мировой истории: развитие садоводства, металлургии и животноводства, освоение тягловой силы животных, а в конечном счете создание городов — урбанистическую революцию. Все это могло быть связано с экспансией рынков родства, которая привела к росту населения и расширению межгрупповых сетей. Брачные обмены были каналами для материальных даров и ответных даров, представлявших собой ранние формы торговли. В патрилокальных

и патрилинейных* формах брачного рынка, которые стали преобладать в протоцивилизациях Европы и Азии, женщины были первым товаром, который обращался среди сообществ. Материальное богатство, как правило, следовало за женщинами. Леви-Стросс считал женщин средством обмена в этой системе. Женщины играли роль денег еще в одном смысле — в качестве ценностных кладовых, или хранилищ стоимости (stores of value), — ведь они производят детей и тем самым долгосрочную судьбу каждой данной семьи.

Женщины часто были главными работниками в сфере материального производства. В охоте, собирательстве и первоначальном садоводстве женщины производили бóльшую часть пищи, необходимой для жизнеобеспечения. Мужчина как капиталист родства, богатый женщинами, тем самым был богат и в плане любых других существовавших тогда материальных благ[1]. В связи с развитием скотоводства, рыболовства и земледелия на основе тяжелого плуга, основное производство перешло в руки мужчин, а женщины стали экономически значимы в первую очередь как производительницы сыновей. Рост производства, сопутствовавший переходу от охоты и собирательства к садоводству, и вновь — от садоводства к хлебопашеству, судя по всему, был обусловлен концентрацией рабочей силы, ставшей доступной, когда некоторые капиталисты родства получили отдачу от своих инвестиций.

Революция родства и возникновение государства

В леви-строссовской модели динамики родства государство возникает вследствие революционного раскола между теми, кто богат альянсами, и теми, кто ими беден. Это не является марксистским восстанием «рабочего класса» данной системы — женщин, а скорее, что может быть более типично в исторических трансформациях, раскол возникает внутри господствующего, владеющего соб-

* Патрилокальная форма родства имеет место, когда новая семья селится в роде или общине мужа, патрилинейная форма — когда счет родства происходит по связи детей только с отцом, соответственно права наследования передаются по мужской линии.

[1] Стинчкомб предположил, что при патрилинейной и патрилокальной системе в смешанных скотоводческих и садоводческих экономиках, женщины объективно подвержены эксплуатации из-за присвоения прибавочной стоимости продуктов их труда [Stinchcombe 1983: 252].

ственностью класса, в данном случае — среди мужчин. В обоснование такому взгляду Леви-Стросс представил путь возникновения протогосударства в горных областях Бирмы и сделал выводы о примерно таком же развитии из данных о ранних родоплеменных обществах Индии и Китая [Lévi-Strauss 1969: 234–268]. Исторические факты, подкрепляющие такой взгляд на переход от родственных альянсов к государственным структурам, имеются для Японии эпохи Хэйан*, для архаических Греции и Италии, а также для ранней норманнской государственности[1].

Согласно принятым теориям происхождения государства, некое сочетание военных завоеваний, технологических инноваций и экологического сдерживания (стесненности) порождало новые организации: армии, государства, церкви, города, — выходящие за рамки родственных связей. Но действительно ли эти объяснения альтернативны идее революции родства? Во многих случаях, группа, организованная в военном плане (обычно кочевники-скотоводы из периферии области оседлого земледелия) приходили в качестве завоевателей и таким образом создавали систему с двумя социальными классами. Но завоеватели должны были сами организоваться, и вполне вероятно, что первоначальным стержнем таких военных союзов были космополитические, агрессивные инвестиции в родственные альянсы. И наоборот, оседлым населением, наиболее уязвимым для завоевания, были те, чьи системы родства были локальными и основанными на кратком цикле, не дававшими достаточного могущества даже для оборонительных альянсов.

То же самое может относиться к мирным переходам к государственности через подъем религиозных или перераспределительных храмовых центров. Как же производился излишек богатства, который мог в первую очередь использоваться для перераспределения? Экономические операции в родоплеменных обществах были организованы через обращение предметов церемониала как протоденег,

---

* *Хэйан* — период японской истории 794–1185 гг., назван в честь столицы Хэйан-ке — современного Киото.

[1] О Японии эпохи Хэйан см. [Lévi-Strauss 1984], а также главу «Придворная политика и статус женщин» в кн. [Collins 1986]. О Греции и Италии см.: [Fustel de Coulanges 1980; Polignac 1995]. О государстве норманнов см. [Searle 1988]. Сёрль утверждает, что система «хищнического родства» викингов была выжившей версией динамики родства, которая в далеком прошлом имела место во всем германском мире [Searle 1988: 8].

что способствовало торговле мирскими вещами [Mauss 1967, 1969]. Некоторые высоко-конкурентные обмены в ресурсно-богатой среде образовали перегретые системы потлача*, которые стимулировали производство и накопление богатства. Соответствующее описание Моссом напрашивается на сравнение с капитализмом, только в контексте отношений родства. Салинз утверждал, что «интенсификация производства» в таком «домашнем способе производства» была связана с политикой, в частности, с конкуренцией за статус между «большими людьми» — бигменами [Sahlins 1972]. Однако это господство «большого человека» само было произведено богатством родственных связей. Можно сказать, что инвестиции в родство дают накопление не только могущества, но и богатства, которое затем инвестируется в политику статусной конкуренции. Такова динамика, через которую стратификация в родоплеменных обществах расширяется до тех пор, пока не достигнет точки, когда сама структура родства рушится[1].

После этого еще продолжают существовать рынки родственных альянсов, но они уже не являются передним краем [общественного развития]. В обществах с государственной организацией эта роль переходит невольничьим рынкам или аграрным системам, основанным на ренте и налогообложении. Такие общества сохраняют некий элемент политики родства. Их основной единицей является домохозяйство, будь то дом мелкого крестьянина, ремесленника или большие укрепленные домохозяйства и дворцы лордов-землевладельцев. Такова структура, которую Вебер называл «патримониальной». Каждое домохозяйство — это дом и имущество семьи, но оно также включает и неродственников. Число последних, в том числе: слуг,

---

* *Потлач* — традиционная церемония индейцев тихоокеанского побережья на северо-западе Северной Америки, суть которой состояла в борьбе за влияние и авторитет посредством раздачи хозяином имущества и материальных ценностей приглашенным гостям: родственникам, соседям, даже недругам и конкурентам.

[1] Это был долгий и медленный процесс. Как показывает Манн, первобытные народы уклонялись от государства, поскольку оно раз за разом наращивало масштаб организации и производства, а затем, когда все же принудительное государство наступало, они, по возможности, мигрировали. И только когда экологические и геополитические паттерны как бы «заключали в клетку» некоторые группы на территориях, из которых они уже не могли бежать, государство устанавливалось как постоянное. Это «заключение в клетку», в свою очередь, происходило вследствие геополитических альянсов и роста населения как результата рынков родства (см. [Mann 1986: 34–72]).

солдат, подданных и гостей — определяет могущество хозяина. Масштаб экономической, военной и политической структуры в таких обществах ограничен тем, что домохозяйства связаны между собой только крупными организациями. Таким образом, данная структура является некой смесью родственных и неродственных форм. Брачные союзы сохраняют значимость для маневров внутри имущего класса, но вертикальные отношения между классами, не связанными родством, являются основой более крупной структуры. Леви-строссовская динамика уже больше не действует; передний край рыночной динамики находится где-то в другом месте. И только в период триумфа современного капитализма вкупе с бюрократической структурой, когда организационная собственность отделяется от семейной собственности домохозяйств, данный остаточный рынок родственных альянсов редуцируется к простейшим формам.

3. Невольничьи рынки

Во многих обществах разных типов имели место различные формы рабства. Они включали временную и случайную рабскую зависимость в родоплеменных обществах, долговое рабство в ранней Греции, военное и административное рабство (особенно в исламских странах), сельскохозяйственное рабство в сочетании с крепостным правом или иной формой эксплуатации крестьянства (особенно в средневековой Корее, а также в России), рабские плантации в полновесных капиталистических обществах (например, на Юге США), а также повсеместный рабский труд, проникающий во все сферы жизни, прежде всего в Риме [Patterson 1982, 1987; Crone 1980; Hellie 1982]. Однако ведущей рыночной динамикой рабство было главным образом в Древней Греции, Риме и в их средиземноморских обществах-противниках, таких как Карфаген. Я сосредоточусь на этом последнем типе, который Маркс и Энгельс называли «рабовладельческим способом производства», а также коснусь «рабов-всадников» в исламском мире.

Основной формой собственности в системе невольничьих рынков были сами рабы. Поэтому ошибочно считать рабов в качестве главных производителей. Военные — вот кто были производителями данного товара, тогда как их производительным трудом были боевые действия по захвату рабов. В Риме этот военный «рабочий

класс» был очень большим: в Республике он включал половину всех граждан, а в период ранней империи 20 % итальянских свободнорожденных мужчин были военными [Runciman 1983: 168].

Динамика военно-рабовладельческой системы была экспансионистской, что включает несколько аспектов. Внутри основных областей государства ведение войн давало кумулятивный эффект в плане производства рабов. Победоносное государство становилось богаче рабами, тем самым наращивало свои внутренние ресурсы, которые, в свою очередь, увеличивали его военную мощь. Раннее местное могущество Спарты было обязано отчасти эксплуатации илотов, освобождавшей спартанцев для полновесной военной мобилизации (хотя илоты были ближе к крепостным, чем к свободно продаваемым рабам). Рим является более впечатляющим примером кумулятивного военного успеха, особенно после того, как огромный приток рабов, полученный в войнах с Карфагеном, привел в движение неумолимую всесокрушающую силу — геополитический Джаггернаут*. Такая кумулятивная динамика, будучи предоставлена сама себе, привела бы к полной концентрации военных ресурсов в одном государстве, но на военную экспансию влияют также дополнительные геополитические факторы (см. прим. 1, с. 85).

Данная динамика войны и рабства развертывается как внутренним образом, так и географически. Некоторые войны были направлены против варваров на периферии обществ с государственной организацией. Непосредственной причиной военных действий могли быть варварские вторжения, но группы варваров, основанные на родстве, объединялись в крупномасштабные военные коалиции отчасти из-за расширения невольничьих рынков за пределами цивилизации[1]. Когда внутри цивилизации появлялся рынок ра-

---

* *Джаггернаут* (от санскритского *Джаганнатха* — владыка Вселенной) — изначально одно из имен Кришны. Придание этому имени значения слепой непреклонной силы связано с ритуалом *Ратха-ятры*, в ходе которого множество людей тянут огромную колесницу с идолом Джаганнатхи, причем раньше индусы часто бросались под колеса, поскольку считалось, что погибшие таким образом получают освобождение от мирских страданий и колеса перерождений.

[1] Такова вторая динамика, в дополнение к уже описанному рынку родственных альянсов, в которой среди безгосударственных народов возникает государственная организация. Обе эти динамики могут перекрываться в каждом конкретном случае. Изначальная динамика рынков родства, по-видимому, действует гораздо медленнее, чем когда невольничий рынок запускает вовне свои щупальца.

бов, захваченных в междоусобных войнах, варвары-«предприниматели» получали стимул для того, чтобы самим поставлять рабов, как правило, из своих же отдаленных областей [Finley 1982: 103]. Таким образом, в Грецию рабы поступали из Фракии и скифских степей, из внутренних областей Малой Азии, из Верхнего Египта и Эфиопии. Римские сети работорговли расширялись сначала в Галлию, затем — в Германию и Британию. В Скандинавии, изначально находившейся за пределами данной системы, рабство появилось, когда она стала периферией мировой системы Рима. Скандинавские работорговцы, в свою очередь, посылали финских и русских рабов в Византию. Рабы были в числе самых ранних и наиболее важных товаров, проходящих через эту торговую сеть по мере того, как внешние области последовательно вовлекались в орбиту цивилизаций. Рабство не обязательно было продуктом цивилизованных торговцев или их контактов с племенами на растущей периферии; многие родоплеменные общества имели собственные формы рабства, хотя обычно не в форме невольничьих рынков [Patterson 1982]. Рынки работорговли расширялись не без геополитических издержек для ядра цивилизации. Рост рыночных структур способствовал развитию политической и военной организации на периферии и, вероятно, также стимулировал рост численности населения, что порождало угрозы со стороны варварства и в конечном счете привело к его военному перевесу над цивилизацией.

Поскольку рынок работорговли — динамичный сектор, нам следует ожидать, что он производил инновации, и он делал это. Классическая Античность считается периодом технологической стагнации, что часто связывают с препятствиями со стороны рабства. Но если мы в качестве производственного сектора усматриваем военное дело, то становится понятным, почему именно в этой сфере технологические инновации имели место. В военной технике был осуществлен весьма значительный ряд инноваций: появились бронзовые и железные оружия и доспехи, шло строительство укреплений и осадных машин, а в военно-морском деле происходила полномасштабная гонка вооружений, которая завершилась многоуровневыми галерами с установленными на них катапультами [Foley and Soedel 1981; Adcock 1957: 58–61]. Это были орудия разрушения, но они должны были стимулировать производство со стороны оружейников, судостроителей и строительной отрасли. Экономика римских легионеров выплеснулась на гражданский сек-

тор в форме дорожного строительства и основания городов [Mann 1986: 272–280].

Самым важным был сектор производства рабов — мотор роста в римском обществе. Как мы уже видели, рыночный рост происходит и в стороны, расширяя географический охват рынков, и в качественном отношении, поскольку в рыночные операции вовлекается все больше видов деятельности и товаров. В системе работорговли ярко проявляется паттерн пирамиды надстроенных рынков над нижележащими рынками — паттерн, который, по моей гипотезе, вообще характерен для рынков. Рабы — это прежде всего товар, но они также легко могут быть перемещены, к тому же они способны стимулировать другие виды экономической деятельности. Рабы использовались в сельском хозяйстве, особенно для товарного производства, а также в рудниках, в рыбных промыслах, в лесном хозяйстве, в ремеслах, особенно в протоиндустриальной концентрации ремесел, в сферах транспорта и торговли. По мере распространения экономики рабства в Греции и, наиболее выраженно, в Риме, практически во всех видах экономической деятельности стали преобладать рабы и бывшие рабы [Runciman 1983][1]. Рабы также составляли значительную часть административного персонала в Риме по крайней мере до 200 г. Единственными важными сферами без преобладания рабов являлись военная служба (как часть данного сектора рыночной динамики) и натуральное хозяйство, которое в этот сектор не входило. Рабы никогда не были большинством рабочей силы, составляя даже в римской Италии в период ее расцвета (в I в. до н. э.) не более 30–40 % от общей численности населения, а в других местах — еще меньшую долю [Mann 1986: 260]. Однако в структурном плане рабство было особо значимым сектором. Все вышеперечисленные сферы производства были подчиненными (нижележащими) рынками, по отношению к которым рынок рабов был надстроенным (вышестоящим). Поэтому в масштабе всего античного общества можно говорить о рынках внутри этой пирамиды как о результате

[1] Как показал Паттерсон, система освобождения от рабства была существенной частью системы, поддерживавшей рабский труд. Данная система представляет собой самоусиливающийся цикл: рабы могли накопить денег, чтобы купить свою свободу, и это было для них стимулом для вхождения в денежную рыночную экономику [Patterson 1982]. Вместо того чтобы подрывать рабство, бывшие рабы сами становились надзирателями и мелкими владельцами других рабов, представлявших собой рабочую силу для предпринимательского производства.

расширения рабства. Над уровнем невольничьего рынка также появлялись вышестоящие — надстроенные — рынки. Вышестоящий рынок связан с инвестициями в дальние предприятия и будущие операции, с торговлей средствами обмена, которые в конечном счете могут быть обналичены. Такой надстроенный рынок первые появился в политике Рима. Если армия была орудием производства, то предпринимательство приняло форму инвестиций в военные нужды. После того как набранные из граждан армии Пунических войн впервые добыли множество рабов, генералы и политики все в большей мере становились инвесторами. Войскам платили в частном порядке, а военачальник окупал свои расходы за счет трофеев, полученных при победе. Юлий Цезарь, будучи сам успешным военным предпринимателем, опирался на финансовую поддержку богатых инвесторов при ведении своих крупномасштабных кампаний [Runciman 1983: 170–171].

В период масштабного расширения Римской военной державы и рабовладельческой экономики (особенно с 130 г. до н. э. до конца эпохи Республики) финансовые инвестиции в военные предприятия делались вполне определенным классом. Вебер отмечал: «Во всем древнем мире был только один капиталистический класс, чей рационализм можно сравнить с рационализмом современного капитализма, а именно римское рыцарство [...] Капитализм этого класса был полностью завязан на государственные и правительственные возможности в отношении совместного использования (лизинга) *ager publicus**, или завоеванной земли, а также земельных владений, или откупа налогов и финансирования политических проектов и войн» [Weber 1961: 247][1]. Военные кампании, такие как война Юлия Цезаря в Галлии, можно рассматривать в качестве перетока труда и капитала в области с наибольшей отдачей от вложений. В более ранний период напряженного состязания между средиземноморскими городами-государствами (греческими, итальянскими и финикийскими), а впоследствии — между эллинистическими им-

* *Ager publicus* (*лат.*) — государственный (общественный) земельный фонд.

[1] Вебер переоценивает сходство всаднического сословия (рыцарей) с классом капиталистов. Рансиман указывает, что высшая сенаторская аристократия и *всадники*, хотя и были политическими противниками, но их хозяйственная деятельность, связанная с землевладением, денежным кредитованием и инвестициями, во многом пересекалась [Runciman 1983: 167–168].

периями, наемники перемещались в ответ на ожидаемые выплаты, которые, в свою очередь, зависели от захваченной добычи, главным образом — рабов.

Питаемый военными захватами невольничий рынок, а также дополнительный приток рабов от вовлеченных в этот рынок предпринимателей-работорговцев с периферии, составляли основную динамику, которая продвигала коммерциализацию и товаризацию античного общества. Разумеется, крупные сектора античной экономики не были товаризованы. Учитывая низкую эффективность наземного транспорта, рыночный слой проходил лишь узкой полосой вдоль морского побережья и берегов судоходных рек[1]. Однако в денежном секторе, Рим стал, пожалуй, самым товарным обществом в мировой истории. Беспрецедентно широкий диапазон предметов выставлялся на продажу: человеческие существа в виде рабов, секс как открытая проституция; голоса на выборах, не в такой степени законно, но весьма широко; была даже известная плата за аплодисменты, которыми награждались речи в залах суда [Runciman 1983: 157–164]. Само по себе римское государство, как и армия, вплоть до бюрократических реформ Диоклетиана после 285 г. н. э. во многом было этаким набором коммерческих предприятий. Допускались государственные контракты для сбора налогов и обеспечения армии, продавались лицензии на эксплуатацию лесов, шахт, на рыбную

[1] Финли и Поланьи критикуют идею о том, что в древнем мире была какая-то значительная рыночная экономика. Торговля велась в соответствии с традиционными условиями, а не по рыночным ценам. Торговля на дальние расстояния (особенно поставки зерна) была частью международной политики городов, которую определяла принудительная администрация или альянс [Finley 1973; Polanyi 1977]. Поланьи утверждает, что настоящий рынок, в котором товары перемещаются в ответ на разницу в ценах, имел место только в восточной части Средиземноморья ок. 325 г. до н. э., до эпохи Августа, когда торговцы зерном на Родосе собирали информацию и направляли свои суда в те порты, где выигрыш обещал быть самым высоким [Polanyi 1977: 228–251]. Такой взгляд на рынки слишком ограничен. Динамика рынков, принципы которой я перечислил в начале данной главы, приложима к системам обмена даже тогда, когда информация ограничена; в этих принципах нет требования рыночного равновесия цен. Ни Финли, ни Поланьи не включали невольничий рынок в свое обобщение относительно отсутствия рынков в древности. Поскольку у рабов было преимущество — быть самостоятельно передвигающимся товаром, они могли обойти ограничения, связанные с трудностями наземного транспорта, которые, как подчеркивает Финли, ставили жесткие рамки для рынка. Цена рабов варьировала в связи со спросом и предложением, а инвестиции в рабов часто были предметом расчета.

ловлю, на использование государственных земель и военной добычи. Эти надстроенные рынки приводили к дальнейшему росту пирамиды частными *societates**, которые стягивали к себе такие контракты. Среди городской бедноты билеты для получения небольшого пособия от Империи стали передаваться по наследству и продаваться. Такая пантоваризация ядра римского общества, я утверждаю, была результатом [динамики] невольничьего рынка. Рабство было передним краем проникновения денежной экономики. Ее распространение в нижележащие (основанные на рабском труде) и в надстроенные (политически спекулятивные) рынки составило соответствующую динамику экономического роста. В нравственном отношении рабство разрушило символические барьеры: если уж люди могли покупаться и продаваться, так все остальное — тем более.

Кризис экономики рабства

Последовательные изменения и кризисы античного общества были трансформациями, вызванными военным/невольничьим рынком. Производители в этой системе — солдаты — стали отчужденным трудом. Демократия городов-государств изначально развивалась, когда свободные крестьяне нашли экономические способы вооружаться самим и принимать участие в коллективной организации воинских формирований типа фаланги или боевых галер [Weber 1961: 237, 240; Bryant 1990]. В Римской республике солдаты были в конечном счете отчуждены от средств производства — в данном случае от материальных средств насилия, — поскольку они больше не обеспечивали свое вооружение и не обладали им. Реформы Мария 108 г. до н. э., которые включали набор военачальником в армию лишенных собственности пролетариев и выплату им жалованья, способствовали расширению практики военных предпринимателей, чьи гражданские войны в конечном счете разрушили республику. В то же время исчезновение обеспечивавшего свое вооружение и экономически независимого солдата подорвало основу народного гражданства. Параллельно шел другой процесс отчуждения. Римские солдаты, призванные из числа сельских мелких собственников, часто теряли свои земли, отсутствуя в течение долгих лет войны; в 300–100-х гг. до н. э. это привело к громадным преобразова-

* *Societate* (*лат.*) — сообщество, товарищество, компания.

ниям римского общества [Ste. Croix 1983: 106]. Для этих вытесненных мелких собственников не было иной альтернативы, кроме как стать профессиональными солдатами или городскими пролетариями, жившими благодаря чьему-либо покровительству. Кроме того, еще раньше солдаты-землевладельцы были вытеснены сельскохозяйственными рабами, обрабатывавшими ту землю, которая попала в руки предпринимательского класса, финансировавшего войны. Эта трансформация имеет все отличительные признаки отчуждения по Марксу: класс (военных) производителей был подчинен посредством продуктов их собственного труда (рабов), которые теперь уже обращались в товарной системе обмена[1].

Апогеем рабовладельческой экономики был период поздней республики и ранней империи, после чего рынок рабов иссяк. Экономика рабства совпадает с широким распространением торговли, чеканки монеты, а также с другими показателями экономического роста, имевшего место после 200 г. до н. э. Экономика выровнялась к I в. до н. э. и претерпела спад после 200 г. н. э. [Hopkins 1980]. Стабилизация (или по крайней мере прекращение) интенсивного роста в период ранней империи, совпала с окончанием военной динамики производства (захвата) рабов. В то время Рим уже претерпевал структурное изменение, которое вело к падению его способа производства. С этой точки зрения, «падение Римской империи» в принятом военно-политическом смысле само по себе не было структурной революцией. Система собственности и рынка была уже разрушена из-за ее собственных противоречий, а военный крах был лишь «толчком после землетрясения» в сфере надстройки.

Макс Вебер представил классическую форму этого рассуждения [Weber 1909/1976], а основные моменты были рассмотрены Перри Андерсоном [Anderson 1974a]: когда военные завоевания прекратились, поставки рабов иссякли, а вместе с этим и экономическая система, основанная на рабстве. Вебер и Андерсон все еще считали рабов производителями, однако главным образом в сель-

[1] В Греции сходный результат был достигнут несколько иным путем. Мелкие фермеры выжили как платящее ренту и налоги крестьянство, в восточной части Средиземноморья в гораздо большей мере, чем в западной его части. Тем не менее стали доминировать распространившиеся рабовладельческая экономика и замена граждан-солдат наемниками. В результате появилась организация высших классов — во многом такая же, как была в Риме, и произошел упадок греческой демократии [Ste. Croix 1983].

ском хозяйстве. Поэтому, когда поставки рабов прекратились, сельскохозяйственные рабы были реорганизованы в семьи, а в конечном счете — в зависимое крестьянство[1]. В моей переформулировке модели рабовладельческой экономики военное производство рабов является опорой для инвестиций и коммерциализации, а также областью порождения надстроенных и нижележащих рынков. Таким образом, спад производства и обмена рабов привел к коллапсу основной формы отношений обмена. Некоторое время экономика еще хромала, опираясь главным образом на изъятие правительством налоговых выплат с богатых провинций для денежного обеспечения армий, дислоцированных на крайних рубежах — фронтирах империи [Hopkins 1977]. Но эти процессы были уже лишены прежнего экспансионистского динамизма, система оставалась пассивной, поскольку производство свелось к поддержанию средств существования на местном уровне.

В веберианской модели, конечной причиной изменения является геополитика. Причина, по которой рушится система, в теоретическом плане находится вне системы обмена, хотя она и предсказуема из геополитических соображений. Расширение государства всегда достигает неких пределов[2]. В моей расширенной модели во-

---

[1] Вебер, однако, действительно видел конец политического капитализма, в котором инвестициями занимались военные предприниматели, как главную трансформацию поздней Римской империи: «Свобода городов была сметена бюрократически организованной мировой империей, в которой больше не было места политическому капитализму. Вначале императоры были вынуждены полагаться на финансовое могущество рыцарства, но мы видим, как они постепенно высвобождаются от этого и отстраняют рыцарский класс от сбора сельскохозяйственных налогов, а тем самым и от наиболее прибыльных источников богатства [...]. Обеспечение экономических потребностей государства осуществлялось через обязательные взносы и обязательный труд зависимых лиц, а не конкурентными договорами. (Таковыми должны были быть договоры на поставку рабского труда. Р. К.) [...] Данный тип развития означает удушение античного капитализма. Наемников заменяет призывная армия» [Weber 1961: 247–248].

[2] Геополитические принципы включают накапливающийся рост ресурсного преимущества [государства] над своими соседями и обратный эквивалент — накапливающиеся угрозы; геопозиционные преимущество или недостаток (окраинное или центральное положение, что определяет число врагов, с которыми придется сталкиваться), а также сверхрасширение — логистические и политические напряжения, растущие по мере того, как армии вынуждены действовать все дальше и дальше от своей исходной базовой территории (см. главу 2). Для Рима эта

енного производства рабов возрастающие геополитические трудности создаются динамикой самого этого рынка. Как мы видели, расширение основных невольничьих рынков превращает «варварские» внешние области в периферию. Здесь появляются местные работорговцы, военные наемники, рынки наемников, короче, идет коммерциализация и политическая организация этих обществ. Такие, только что включенные, области данной «мировой системы» переходили к использованию рыночных отношений (в первую очередь в сфере работорговли) с еще более отдаленными районами. Область геополитической организации расширяется вовне, развивая внешние районы и превращая их в свою периферию. Примерно таким образом политическая, экономическая и военная организация распространялась в Скандинавию, Восточную Европу и Центральную Азию. Последствия этой диффузии, вероятно, включавшие также импульсы к демографическому росту, проявлялись в сшибке войн и миграций, в Volkerwanderung (переселении народов), что в конечном счете привело к агрессивным вторжениям в саму Римскую империю. Этот военно-рыночный процесс порождал полупериферийные державы (в смысле Валлерстайна) из бывшей периферии и смещал в античной мировой системе весь геополитический баланс ресурсов. Происходила трансформация военно-рыночной системы одновременно на фронтире [мировой системы], за ее пределами и внутри нее. За *лимесом** германцы были организованы в про- и антиримские фракции в соответствии со своими связями обмена — как наемники, работорговцы и союзники [Borkenau 1981: 131–288]. Пограничные войска сами стали состоять в основном из германцев (такого явления не было на востоке Средиземноморья, где невольничий рынок не вытеснил крестьянство в той же степени). Эти германско-римские легионы должны рассматриваться как сектор посреднических связей с внешними рынками наемников и рабов, на-

точка резко сокращающихся доходов и роста расходов была достигнута на северном — германском — фронтьере. Кроме того, в соперничающих государствах накапливаются ресурсные преимущества по мере того, как в разных частях земного шара консолидируются военные державы. Такие государства разрушают мелких промежуточных противников до тех пор, пока эти гиганты ни сталкиваются друг с другом в обстоятельствах, когда ни у кого нет решающего преимущества. Именно это и произошло в столетия после 40 г. до н. э. в долгой и затратной патовой ситуации между Римом и Парфией/Персией.

* *Limes* (*лат.*) — здесь: пограничная линия, граница, рубеж.

поминая нам, что геополитические «границы» — это скорее обширная зона обменов, а отнюдь не жесткая церемониальная или правовая линия.

Вторжение германцев и распадающаяся благонадежность римской армии были частями одного и того же процесса. Они представляли собой восстание отчужденных военных тружеников, которые, наконец, стали мстить подчинявшей их системе. Точнее говоря, германцы являлись структурными наследниками издавна отчужденного воинского труда в Средиземноморье, многие представители которого теперь стали зависимыми пролетариями и квазикрепостными. Римская система производства стала соблазнительной мишенью для захватчиков, поскольку вся эта основанная на войне экономика претерпела упадок. Она больше не предоставляла стимулов для поддержания старых структур.

Это восстание «военных работников» эквивалентно тому, которое Маркс и Энгельс предсказывали для фабрично-заводских рабочих в финальном кризисе промышленного капитализма. Но хотя Римская империя могла быть завоевана, она не могла быть преодолена в структурном плане, разве что захватчики были включены в ее текущую форму распадающейся рыночной системы. Таким образом, хотя германское завоевание Западной Римской империи привело в 400–600 гг. н. э. к возобновлению поставки рабов, возрождение динамики невольничьих рынков так и не случилось [Wickham 1984: 31]. Эти рабы были быстро посажены на землю в качестве крестьян, платящих ренту или налоги и не подлежащих перепродаже или обращению на нижележащих рынках. Структурная трансформация уже произошла, и доминировать стала новая форма аграрно-принудительных отношений.

Исламские рынки солдат-рабов

Военная динамика производства рабов — это Западный паттерн, в который должны быть включены не только европейские государства Средиземноморья, но также исламские государства. В Азии невольничьи рынки не играли такой существенной роли. В Китае, Индии и других странах, рабство имело сравнительно небольшие масштабы, а крупных рабовладельческих хозяйств, связанных с военной экспансией, никогда не было. Этот специфический рыночный динамизм отсутствовал на Востоке.

Исламская военно-рабовладельческая система отличалась от римской тем, что она пропустила шаг инвестирования рабов в экономику. Рабы использовались прежде всего в самой военной сфере и в качестве государственных чиновников. Сельское хозяйство оставалось в руках крестьян, платящих ренту или налоги, а ремеслами и торговлей занимались свободные классы[1]. Армии, составленные из рабов, появились после 800 г. в распадающемся Аббасидском халифате, поскольку правители пытались избежать потери военного могущества, переходящего к вассальным феодалам [Crone 1980; Pipes 1981]. Тот же паттерн распространился в Египте и Сирии при Айюбидах, где правители боролись за власть с помощью лично приверженных им солдат-рабов [Garcin 1988: 116–120]. Восстание мамлюков (также солдат-рабов) привело их к власти в Египте в период 1250–1500 гг. Теперь бывшие рабы набирали новых рабов, так как дети этих теперь уже господствовавших солдат уже больше не являлись частью класса рабов и были исключены из системы. Сменявшие друг друга султаны приобретали новых рабов, чтобы комплектовать свои личные армии. Развитие рынков солдат-рабов было основано на внутренних конфликтах — борьбе держателей центральной власти против феодальной децентрализации в военном классе.

В отличие от римской армии, египетская армия не занималась захватом рабов. Рабы приобретались на международных рынках, поскольку солдаты-рабы должны были поступать из отдаленных культурных областей, чтобы не иметь связей с местным населением. Монгольские завоевания 1200-х гг. сделали доступным большое количество рабов, а христианские работорговцы, особенно генуэзские купцы, играли важную роль в пополнении исламских армий рабами. Этот рынок солдат-рабов дал мощный импульс расширению мировых рынков и способствовал сосредоточению внимания государств исламского Средиземноморья к международной торговле, о которой пишет Абу-Луход [Abu-Lughod 1989]. Чтобы оплачивать импорт рабов, представители египетской и сирийской военной знати становились капиталистами. Принадлежавшая государству земля передавалась должностным лицам для откупа налогов в це-

[1] Рабы также использовались в гаремах, в качестве и наложниц и евнухов-стражей [Hodgson 1974, 2: 143–144). В этом отношении рабство было скорее формой роскоши и престижного потребления, а не производства.

лях обеспечения войск. Барщина на этой земле была направлена на производство и обработку товарной продукции, включая текстиль, бумагу и сахар [Ibid: 216–235]. Невольничий рынок стимулировал многие другие сферы рыночного производства, способствовал развитию кредитных инструментов, бухгалтерского учета и банковского дела. Последовательные слои надстроенных рынков включали перепродажу кредитов [Goitein 1967; Udovitch 1970]. Вновь мы видим некий рыночный динамизм, который не зависел от могущественной буржуазии: государственные чиновники возглавляли и обеспечивали подъем рынков, действуя и как главные производители и как крупнейшие потребители.

Падение исламских рынков солдат-рабов привело к сокращению рыночных отношений во всем Восточном Средиземноморье. Невольничий рынок зависит от военных условий и уязвим в плане геополитических пределов. Средний Восток разрабатывал свою рабовладельческую экономику отчасти вследствие своей позиции посредника в паттернах мировой торговли, отчасти — благодаря доступу к резервуарам рабской силы в окружавших кочевнических и племенных областях. Те же самые особенности географии обусловили необходимость военной обороны против вторжений со всех сторон. Использование составленных из рабов армий во внутренней борьбе за власть еще больше увеличило [военное] бремя. Отношение военных к общей численности населения в Египте было в три раза больше, чем в тогдашней Франции [Garcin 1988: 124–125]. Когда после 1350 г. ресурсная основа Египта была подорвана чередой эпидемий чумы, которые сами были результатом замыкания мировых торговых сетей [McNeill 1976], система уже не могла оставаться устойчивой. Ядро этой экономики, как представляется, попало в тиски между все более дорогостоящим импортом рабов и снижением производства экспортных товаров для оплаты этого импорта. Нам не следует рассматривать это как некий случайный результат. Рынок, зависящий от геополитики, терпит неизбежные переломы, его рост обращается вспять, по мере того, как расходы на военную мощь чрезмерно вырастают в связи с подъемом сопротивления, с которым приходится сталкиваться. Кто живет благодаря геополитике, тот и погибает от геополитики.

Протяженные на большие расстояния невольничьи рынки западных обществ можно рассматривать как первую структурную тенденцию к капитализму, пронизывавшую Рим, а затем и исламские обще-

ства, повсюду придававшую импульс к расширению рыночных структур. В рамках военно-рабовладельческого способа [производства] рыночные структуры достигли своего предела и потерпели упадок, но дали в качестве остатка рыночные институты, которые могли быть в дальнейшем судьбоносными. Не менее важным было географическое расширение экономических и политических структур на периферийные области Средиземноморья. Работорговля вместе с рынком наемных солдат сформировала растущие германские, а затем и скандинавские государства к северу от Римской империи, в то время как в исламской орбите тот же процесс имел место в виде роста между 1700 и 1850 гг. прибрежных государств в Африке, промышлявших работорговлей [Wallerstein 1989: 143–147, 164–166]. Отнюдь неудивительно, что при подъеме современной капиталистической мировой экономики рыночные структуры работорговли сыграли свою роль, по крайней мере в начале ее расширения.

4. Аграрно-принудительный обмен

Я называю родовой тип общества, основанный на сельскохозяйственном производстве и военизированном государстве, «аграрно-принудительным обменом». Следуя Уикхэму, мы можем сказать, что он включает два основных подтипа: рентное принуждение и налоговое принуждение [Wickham 1984]. В обоих случаях основной формой собственности является земля и труд на земле. Является ли работник свободным крестьянином или крепостным, принудительная власть землевладельцев — вот что позволяет извлекать продукцию. Эта принудительно изъятая продукция, или ее денежный эквивалент, обращается в обменных системах различного масштаба, причем одни из них весьма локализованы, тогда как другие простираются на значительные расстояния. В системе рентного принуждения землевладельцы с помощью собственных военных средств непосредственно присваивают прибавочный продукт и трудовые услуги; в системе же налогового принуждения представители далеко отстоящего государства монополизируют средства насилия. Как подчеркивал Уикхэм, большая часть политики аграрно-принудительных обществ сосредоточена на конфликте между землевладельцами и государственными чиновниками (а иногда между этими различными видами деятельности одних и тех же лиц).

Аграрно-принудительные отношения не заполняют всю тогдашнюю вселенную. Как правило, присутствует также сектор независимых сельскохозяйственных производителей, которые могут быть фермерами, ведущими натуральное хозяйство (subsistence farmers), или мелкими производителями для местных рынков. В аграрных обществах этот простой товарный способ производства и прямой местный обмен также распространяются на ремесленное (кустарное) производство. Аграрно-принудительная структура может расшириться в сектор жизнеобеспечения или на рынок мелких непосредственных производителей, а также во внешние области, все еще организованные обменами на основе родства (или иногда — невольничьими рынками). Так, в архаической Греции имел место крупный сектор независимых мелких фермеров, который был подорван долгами и постепенно захвачен принудительным способом производства. В этом случае вариант, включающий долговое рабство, скорее более близок аграрно-принудительному способу, а не тому, что я назвал военно-рабовладельческим рынком; греки, попавшие в долговое рабство, были привязаны к своей земле и не поступали на невольничий рынок в качестве движимого имущества. Мы видели, как соответствующий класс малых фермеров в Риме после Пунических войн превращался в военный пролетариат в ходе расширявшейся динамики рынка работорговли.

В рамках аграрно-принудительного обмена расширяющейся является именно рентно-принудительная форма, тогда как налоговое принуждение способствует удушению рыночной динамики. Ниже я уточню последнее утверждение, а здесь отмечу, что рентно-принудительная форма является более децентрализованной. Класс военных землевладельцев изымает продукцию самым непосредственным образом для инвестиций в вооружения и солдат. Поскольку это могущество имеет локальный характер, а военные конфликты весьма отдалены, такие аристократы обычно не могут получать достаточные средства военной силы на месте, но должны покупать их на рынке. А поскольку многостороннее военное состязание — это еще и конкуренция с союзниками, амбициозные лорды должны постоянно состязаться между собой, чтобы произвести впечатление друг на друга и утвердить свой статус. Децентрализованные рентно-принудительные структуры, хоть и примитивные, вовлекают большой объем обмена товаров внешнего престижа, начиная с сетей церемониальных даров или потлачей варварских вождей до демонстрации

утонченного стиля и образа жизни, гостеприимства и культуры придворной аристократии. Вследствие этого дорожают как средства военной силы, так и товары внешнего престижа, что ведет к росту затрат рентного принуждения и приводит к расширению рынков.

Среди вышестоящих рынков, которые надстраиваются в ходе этого процесса, находятся религиозные организации. Материальное расширение церкви в аграрно-принудительных обществах изначально зависит от покровительства со стороны аристократии. Здесь опять-таки речь идет о прямых инвестициях в средства эмоционального производства, направленные на повышение внешнего статуса в сфере сверхъестественного и тем самым на расширение своих социальных альянсов. Однажды будучи созданными, монастыри, храмы, церкви стали уже самостоятельными экономическими и политическими единицами и начали играть на рынке, расширяющемся как в материальном, так и в культурном плане. Они усиливают децентрализованную конкуренцию между организациями и добавляют топлива в экономическую экспансию.

Этот импульс к рыночной динамике идет в основном из децентрализованных, рентно-принудительных форм. Напротив, централизованное государство обычно пытается принудительно обложить налогами непосредственных производителей сельскохозяйственной продукции. Соответственно своему могуществу, государство в той или иной мере преодолевает децентрализацию, оно может ликвидировать рынок или завести его в тупик. Тем не менее король или император время от времени является относительно слабым, а иногда — лишь формально первым среди равных. В таком случае правитель может подогревать рыночную конкуренцию во многом так же, как и любой другой крупный аристократ, инвестирующий принудительно произведенную продукцию в рыночные сделки, или транзакции, по покупке военной силы и средств демонстрации статуса, как светского, так и религиозного[1]. Таким образом, монастыри часто основывались в качестве представителей слабо организованных государств, получая землю в качестве средств управления завоеванными территориями и не уповая на помощь со стороны феодальных лордов-землевладельцев. Иногда монастыри также ис-

[1] Крайней версией такой покупки военной силы были исламские рабы-солдаты, которых правители использовали в качестве противовеса угрозе феодальной децентрализации.

пользовались в качестве источников военной живой силы, особенно в Германии и Восточной Европе раннего Средневековья, а также в Тибете и Японии. На этом пути монастыри также могут избегать светского контроля и становятся независимыми акторами в рыночной экономике.

Расширение аграрно-принудительных рынков

Децентрализованная рентно-принудительная форма характеризуется экспансионистской динамикой. Перри Андерсон описывает одну версию этой «феодальной динамики» земельной собственности, которую считает специфической для Европы [Anderson 1974a]. К этому я добавил бы тот мощный фактор экономических преобразований, названный мною «корпоративным религиозным капитализмом», который сыграл решающую роль в Европе, Китае и Японии. Оба эти варианта аграрно-принудительных экономик соответствуют общему паттерну рыночной динамики, постулированному в начале этой главы: особая форма собственности (в данных случаях, земельное поместье, структурированное военно-рентным принуждением, и его вариант — корпоративная религиозная собственность), стратифицированное участие в рынке, расширение в стороны и качественный рост, надстроенные рынки, поднимающиеся на средствах обмена и в конечном счете продолжительный кризис. Кризис и падение этих аграрно-принудительных форм собственности происходит на фоне соперничающей формы — налогового принуждения со стороны централизованного государства. Принудительно взимающее налоги государство может успешно уничтожить феодальное рентное принуждение и подвергнуть конфискации монастырскую экономику (и то и другое произошло в Китае и в Европе). В других случаях децентрализованные формы аграрной собственности могут вообще никогда не получить свободы для развития[1]. Там, где еще до наступления кризиса дальше всего продвинулись рыночная динамика феодально-рентного принуждения

[1] Такие случайные повороты в уровне государственного могущества в конечном счете определяются геополитикой, которая на расходящихся тропах мировой истории является еще одним слоем причинности в дополнение к динамике рынков. Подобно тому как геополитический фактор играл некую роль в упадке военной/рабовладельческой экономики, он участвовал и в падении социалистического анклава в мировом капитализме XX в. (см. об этом далее).

и монастырских корпораций, государство стало преобладать в той форме, в которой оно само стало субъектом рыночной динамики современного капитализма.

Согласно доводам Андерсона, расширение аграрно-принудительных отношений продвигается борьбой за ренту между господами и крестьянами [Anderson 1974a: 182–209]. Первые (включавшие церковь как сельского землевладельца, а также центральное правительство, если оно существовало) оказывали давление для увеличения изымаемого прибавочного продукта. Крестьяне отвечали поначалу ростом производства. Это приводило к новому этапу расширения. И господа и крестьяне расширяли производство географически, посредством миграции или сведения местных лесов, осушения болот, интенсивной культивации земли. При возможности, крестьяне бежали на окраины, но их настигали принудительные отношения, поскольку землевладельцы также расширяли свои владения, иногда в качестве религиозных миссионеров (как в северной Европе в период раннего Средневековья) или воинов-крестоносцев (как в Балтике). И господа и крестьяне имели стимулы для продвижения технологических инноваций, приводя тем самым к улучшению производственных характеристик данного периода. Военная экспансия, как сухопутная, так и морская, является частью этой общей динамики, поскольку лорды-землевладельцы являются, так сказать, классом непосредственных военных производителей. Части этой системы взаимодействуют: военное соперничество среди господ повышает спрос на изъятие ренты, а это, в свою очередь, приводит в движение процессы, результатом которых становится обострение конкуренции за землю и дальнейшая военная конфронтация.

Для Андерсона апогеем этой «феодальной» экспансионистской динамики было европейское Средневековье примерно 1000–1300 гг. Критическая точка была достигнута после 1300 г. Все тогдашнее предложение земли было исчерпано, больше не оставалось доступных внешних территорий, а внутренние возможности мелиорации достигли экологических пределов. Поскольку экспансия также проявлялась в демографическом росте, имел место и кризис перенаселенности. Снижение уровня питания привело к уязвимости перед чумой, распространению которой способствовало замыкание геополитической связи с Азией. Давление от нехватки земли привело к повышению цен, как в натуральном, так и в денежном выражении.

Обмен стал все больше обретать денежную форму, потому что землевладельцы все больше требовали денег, чтобы участвовать в появившихся все более сложных формах обмена. Самым крупным лордам нужны были деньги для оплаты армий наемников, заменивших прежнее феодальное ополчение из вассалов и зависимого населения, а также для покупки более дорогих новых видов амуниции: металлических доспехов, боевых коней, защищенных латами, арбалетов и в конечном счете огнестрельного оружия.

Я бы добавил, что приходилось больше тратиться на внешнее представление своего статуса. «Цивилизующий процесс» включал строительство более изысканных загородных домов, приходящих на замену грубым военным крепостям. Одежда, драгоценности, кухня, произведения искусства и культуры становились необходимой частью облика настоящего политического игрока. Поскольку общество было по-прежнему организовано вокруг домохозяйств, политическое влияние измерялось количеством гостей, друзей и слуг, которых можно было бы привлечь в свой круг [Girouard 1978]. Усиление соперничества как в мирной политике, так и в военной, резко повышало расходы аристократов. Для этих целей знать нуждалась в наличных деньгах, поэтому заменяла натуральные сборы и трудовые услуги на денежные взносы. Результатом была монетизация отношений в сельской местности.

Давление аристократов на крестьян-производителей было как прямым, так и косвенным. Крестьяне подвергались принуждению, когда у господ было достаточно инструментов власти, они также попадали в зависимость от рыночных сил через товарные цены и денежную систему. 1300-е и 1400-е годы были временем крестьянских восстаний, которые способствовали разрушению крепостного права и усилили тренды, начатые монетизацией. Таким образом, аристократия позднего Средневековья продвинулась дальше к капиталистическому предпринимательству с использованием земледелия, производства шерсти, горного дела и других направлений деятельности для массового рынка. Такие аристократы становились сельскими капиталистами, а крестьяне — сельским пролетариатом.

Андерсон описывает динамику капитализма для средневековой Европы, но под то же описание, кажется, попадает Китай и, возможно, другие общества [Eberhard 1977: 109–236; Elvin 1973: 54–90, 113–178; Gernet 1982: 129–149, 235–330]. В сильном государстве династии Хань (примерно 200 г. до н. э. – 200 г. н. э.) больше изы-

малось налогов государством, чем ренты — независимыми землевладельцами. Приближение к порядку принудительного извлечения ренты произошло при распаде Хань, но последующие сильные государства, в частности Тан (ок. 600–900 гг.) пытались восстановить всеобщий режим налогового принуждения. Наряду с этой линией центральной государственной власти, увеличивались расходы на войну и престижное потребление по мере того, как росли армии, делались нововведения в военно-транспортной технике и производились новые предметы искусства. Паттерн географической экспансии был таким же, что и в Европе: чтобы бежать от войн и хищного налогообложения на севере, крестьяне колонизировали Южный Китай (особенно около 200–600 гг.); затем их колонизация северо-восточного фронтира привела к появлению земледельческих поселений в Маньчжурии и возникновении там государства. Землевладельцы следовали за расселением крестьян в южном направлении, где в конечном счете появились крупные коммерческие поместья, производившие чай и шелк для рынка. Как и Европа, Китай постепенно монетизировался. К середине эпохи Сун (1000–1200 гг.) в Китае уже проживало огромное население, в связи с выпуском бумажных денег имела место денежная инфляция, велась крупная торговля и разразился полномасштабный кризис государственных финансов.

Религиозный корпоративный капитализм

В модели Андерсона внимание сосредоточено на борьбе за ренту между классом землевладельцев и классом принуждаемых сельских тружеников. Я полагаю, что еще более мощная динамика была запущена особой организацией в землевладельческом секторе — монастырями. Буддийские монастыри Китая (особенно ок. 400–900 гг.) и христианские монастыри Европы (в первую очередь орден цистерцианцев, ок. 1000–1300 гг.) в свое время находились на переднем крае экономического развития. И те и другие развивали некую форму рыночного производства и обмена в сфере сельского хозяйства и даже промышленности. Первоначально основанные на накоплении принудительного извлечения аграрной продукции, монастыри продвинулись к той форме капитализма, которая стала прорывом аграрно-принудительного порядка. Как я доказываю в другом месте (см. главу 7), эти монастырские сектора стали обладать большинством черт, которые Вебер приписывал рационализированному капита-

лизму: освобождение всех факторов производства, позволяющее им перетекать в области наибольшей отдачи, что поддерживалось инфраструктурой политического регулирования обмена и имущественных прав, а также универсалистской и дисциплинирующей этикой. Эти условия, как правило, отсутствовавшие в основной части общества, особым образом действовали в отношении ресурсов и персонала в религиозных анклавах. Эти монастыри были центрами накопления богатства и интенсификации производства, включая технологические инновации и квазипромышленное производство с мельницами, железоделательными мастерскими и факториями, а также реинвестирование прибыли в приобретение новых земель, выдачу кредитов и торговлю. Распространение крестовых походов и миссионерских движений, будь то христианские или буддистские, расширяло географический охват, соответственно, европейской и китайской цивилизаций и составляло передний край экономического развития в «средневековом взлете» обеих (см. также [Collins 1986: 45–76]).

Большим преимуществом монастырской организации над окружавшим обществом было то, что она вырвалось из домохозяйственной организации производства и политики. Монахи, благодаря своему безбрачию, оказались за пределами системы семейного наследования собственности и статуса. Таким образом, в рамках аграрно-принудительного общества они стали первым приближением к свободно набираемой и мобильной рабочей силе (после упадка невольничьих рынков на Западе, где рабы уступали в плане мотивации). Монастыри выступали в качестве корпоративных предприятий, чья прибыль могла быть только реинвестирована в дальнейшее производство, — если она не была использована для бахвальства роскошью или не конфискована светскими властями. Буддийские и христианские монастыри двигались по сходной траектории [Southern 1970; Ch'en 1964]. Ранние монастыри зависели от аристократического покровительства. Можно было бы описать их как некие места, куда аристократы вкладывали часть добытой изъятием прибыли в укрепление и демонстрацию своего религиозного статуса, в оплату молитв за себя, в обряды для своих судов и в синекуры для своих детей, которых они сами не могли достойно обеспечить.

По мере того как росло монастырское богатство, различные реформаторские движения продвигали идеи как идеологического очищения, так и организационной автономии от светских аристократов. В Китае наиболее успешными движениями были ориенти-

рованные на миссионерскую деятельность амидаисты, а затем приверженцы секты Чань (Дзен), которые порвали с ритуалистскими сектами столиц и строили монастыри в сельской местности, основанные на использовании ручного труда новых принимаемых монахов [Ch'en 1964: 350–364; McRae 1986; Dumoulin 1988: 155–265). В Европе соответствующие реформаторские волны (совершаемые цистерцианцами, августинцами и нищенствующими монахами) порвали с обрядностью прежних бенедиктинцев. Новые реформаторские монастыри продвигали экономический рост на его ранней стадии. В конце концов аристократия стала следовать за ними, преследуя чисто экономические цели. В Китае при династии Тан землевладельцы уходили от государственного налогообложения, выделяя свои земли монастырям, но сохраняя над ними косвенный контроль. В Северной Европе монастыри оставались более независимыми, но они способствовали расширению денежного сектора и большегрузной торговли, что в конечном счете стало задевать светскую экономику. Таким образом, «феодальная динамика» Андерсона и кризис борьбы за ренту могут быть в значительной части связаны к ведущей ролью монастырского сектора.

Этот религиозный капитализм привел к развитию мощных надстроенных рынков. Можно было бы описать сам монастырский сектор как некий тип надстроенного рынка, который высвободился из аристократических инвестиций изъятой аграрно-принудительной прибыли в демонстрацию религиозного статуса. Монастыри действовали как банки, хранилища ценностей и центры инвестиций; они также были мишенями для конфискации со стороны правительств, жаждавших наличных денег. Эти правительства неоднократно захватывали богатства китайских буддийских монастырей, особенно в 446, 573, 712 и 845 гг. В Европе та же участь постигла разбогатевших на торговле тамплиеров в 1301 г. во Франции и в 1312 г. — в Англии. Эти траектории вели к полной конфискации в XVI в. — в эпоху протестантской Реформации. В период наивысшего подъема монастырского капитализма была в обращении также особая религиозная валюта. В Китае государство облагало налогом монастыри, требуя от монахов покупки особых бумаг — свидетельств лояльности (ordination certificates). К 1100 гг. эти свидетельства уже циркулировали в качестве валюты и стали предметом еще более высокого надстроенного рынка со спекуляциями относительно их будущей цены [Ch'en 1964: 241–244, 391–433].

В Европе после 1050 г. папство стало этаким правительством в рамках религиозного сектора, разрешая в судебном порядке имущественные конфликты между религиозными организациями, получая денежное и политическое вознаграждение за эти юридические услуги [Southern 1970]. Другой надстроенный рынок появился в связи с развитием университетов, первоначально созданных для подготовки канонических юристов и богословов для растущего папства и местных центров церковной администрации. Соответствующий образовательный рынок появился около 1000 г. и достиг своего апогея после 1300 г. — одновременно с кризисом церковной политики. Образование как особое производство обрело свою собственную динамику в связи с тем, что различные регионы стали соревноваться между собой и создавать свои собственные университеты, в результате чего росло и количество студентов. Перетекание образованных кадров из церкви в светские администрации повышало спрос на образовательные свидетельства. Расширение производства образовательных кадров привело к спирали инфляции дипломов. Надстроенная валюта университетских степеней стала девальвироваться после 1300 г., поскольку дипломы стали широкодоступными, и университеты позднего Средневековья часто переживали финансовый кризис [Collins 1981a].

Другая надстроенная валюта была создана продажей индульгенций, т. е. свидетельств о религиозных достоинствах — бумаг, которые были предназначены для предъявления в свое время в чистилище. В реальной жизни они были эквивалентны деньгам, уплаченным за церемониальное раскаяние, которое совершали верующие для повышения своего социального статуса. К 1400 и 1500 гг. состояние папской финансовой задолженности в значительной степени зависело от продажи этих культурных ярлыков (cultural tokens). Напористая активность продававших индульгенции папских агентов и раскручивание инфляционной спирали как следствие расширения этих кампаний по продажам стали непосредственной причиной восстаний местных религиозных организаций, что и вылилось в Реформацию [Southern 1970: 133–169]. Это явление может рассматриваться как революционное разрушение корпоративной религиозной экономики[1].

[1] В исламских обществах была своя версия корпоративного религиозного капитализма. В исламе не было монашества, но религиозные дарственные фонды (*вакф*) в виде школ, больниц, богаделен могли владеть собственностью [Hodgson

Кризис аграрно-принудительного обмена

У нас есть две различных гипотезы для трактовки кризиса аграрно-принудительного обмена. Согласно Перри Андерсону, кризис феодальной ренты в Европе вел не прямо к капитализму, но к некой переходной форме — абсолютистскому государству, которое поддерживало аристократию в ее борьбе за сохранение принудительного контроля над крестьянством [Anderson 1974b]. Внутренние конфликты в абсолютизме, связанные с государственным налогообложением аристократов и извлечением аристократами ренты от подвластных им лиц, должны были быть разрешены путем революции еще до того, как мог возникнуть капитализм. Черта европейского абсолютизма, которая отличала его от других исторических вариантов аграрного, принудительно изымавшего налоги, государства состоит в том, что он был уже в значительной мере пронизан рыночными структурами. Появление пирамид надстроенных рынков, особенно заметных в религиозном секторе, также было особенностью такого абсолютистского государства. Примером этому является продажа государственных должностей, начатая королями в целях сбора денег. Правительство действовало как капиталист, манипулируя и управляя этим рынком должностей. Как и во всех подобных структурах, несмотря на значительную ограниченность данного рынка, последствия такой продажи привели к изменению финансового положения экономики в целом и к росту расходов самого государства. Таким образом, продажа должностей способствовала долгосрочному раскручиванию спирали государственной слабости, что в конечном счете обернулось падением патримониально-абсолютист-

---

1974, 2: 51, 136]. Богатые покровители использовали это средство, чтобы оградить свое имущество от ограничений со стороны чиновников на передачу наследства, а также, чтобы избежать записанных в Коране ограничений на инвестиции. Инвестиции со стороны фондов *вакф* распространялись на городские жилые дома и магазины с целью извлечения ренты, на мельницы, фактории и разные предприятия, которые, в частности, добывали нефть, производили сахар и текстиль [Garcin 1988: 121–123]. Буддийские монастыри в средневековом Китае были использованы китайскими джентри аналогичным образом в качестве средств увода земли от государственных налогов, для обхода ограничений на получавшие прибыль предприятия. Лишенные автономной организационной силы монастырских корпораций, структуры *вакф* не образовали отдельного религиозного экономического сектора, а лишь стали дополнением к исламским рыночным структурам, которые я описал выше в связи с невольничьими рынками.

ского государства [Goldstone 1991]. Как утверждал Валлерстайн, политическая трансформация, образцом которой явилась Французская революция, происходила в обществе, в котором уже стали преобладать капиталистические структуры [Wallerstein 1988: 57–112].

В модели религиозного капитализма капиталистическая система появляется еще раньше, сначала в монастырском секторе, а затем проникает в светскую жизнь. Революционный переход — это кризис религиозной организации. В Европе таким кризисом была Реформация. Она не только разрушила надстройку религиозных валют, таких как индульгенции, но привела к конфискации корпоративной религиозной собственности и к ее прямому инвестированию в светскую экономику. Для Китая данная проблема не была достаточно исследована в этом свете. Но очевидно, что экспансионистская фаза буддийской монастырской экономики завершилась ко времени династии Сун. Революционное падение этой экономики включало сочетание конфискации собственности и государственного регулирования, а после 1050 г. вдобавок к тому — похищение громогласных идеологических угроз неоконфуцианским религиозным движением. Здесь также за данным буддийским эквивалентом Реформации последовало расширение светской экономики. Экономика Сун была, по крайней мере частично, пронизана капитализмом, поскольку включала сильно разросшийся монастырский сектор. Рынки росли, очевидно, во всех направлениях. Имела место надстроенная структура инфляции валюты и спекуляций в сочетании со значительным расширением найма на государственную службу и ростом высококонкурентной системы экзаменов для получения свидетельств, дающих право занимать государственные посты [Chaffee 1985].

Фискальный кризис и геополитическая уязвимость Сунского государства в конечном счете привели к его завоеванию извне. Но такие завоевания не обязательно эквивалентны структурному изменению или упадку. Предыдущие завоевания Китая чужеземцами неоднократно приводили к их ассимиляции китайскими институтами, и монголы не были здесь исключением. Факт состоит в том, что данный кризис средневековой китайской экономики не привел к современной динамике всеохватного капитализма. В Китае, как представляется, уже имелась разросшаяся аграрно-принудительная структура — ядро данной экономики, но там господствовало сильное государство, пытавшееся сохранить традиционные формы прину-

дительного налогообложения. При более поздних династиях, особенно в эпоху Цинь, китайская экономика стала рынком мелких товаропроизводителей с возвышавшимся над ним тонким слоем собирающей налоги государственной бюрократии. Элвин трактует эту структуру как «ловушку равновесия на высоком уровне» [Elvin 1973]. Кого не было в тогдашнем Китае, так это крупных предпринимателей; для этой роли не осталось ни самостоятельных монастырей как корпоративных капиталистов, ни аристократов-землевладельцев, причем на их месте не появились буржуазные капиталисты. Это и было тем переломным моментом, по-прежнему плохо понятым, который составил т. н. «упадок Востока» (по выражению Абу-Луход) в сравнении с Западом [Abu-Lughod 1989].

Однако в более широкой перспективе Восток не был в упадке. Как раз в то время, когда рыночная динамика в Китае находилась в стагнации, Япония переживала феодальный период, в котором буддийские монастыри способствовали расширению монетизированных рынков. И государственность, и буддийские институты были импортированы в Японию как китайские модели, и мы можем рассматривать Японию как продолжение китайской рыночной динамики. После 1600 г. повторное введение централизованного государства правителями династии Токугава разрушило независимость монастырей. Как и в протестантской Реформации в Европе, за этим последовало крупномасштабное расширение рынков в светской экономике. Экономическое развитие Японии после Реставрации Мэйдзи было не внезапным скачком, но продолжением экспансии долгосрочного роста этих рыночных структур.

5. Капитализм

При капитализме вся динамика рынков проявляется особенно сильно. Современный капитализм можно было бы описать как такое количественное преобладание рыночной динамики, при котором все остальные структуры сведены к мелким ролям. «Подъем капитализма» был долгим и медленным процессом; даже период, когда он произошел, является до сих пор предметом дискуссий. Капитализм стал преобладать тогда, когда была пройдена некая поворотная точка — переломный момент. Рыночная динамика всегда была ведущим фактором социального изменения, как в росте, так и струк-

турном коллапсе. В историческом плане, рынки находились на переднем крае перемен, но большие сферы жизни общества оставались вовне этих изменений, здесь многое было привязано к своим местам и консервативно самовоспроизводилось. Как только была достигнута определенная доля рыночного проникновения, его динамика стала всеохватной. Различия в количестве стали различиями в качестве.

«Взлет» современного капитализма является неким ускорением данной траектории. Я предположил, что «рационализированный капитализм» в смысле Вебера проявился в ранней форме как монастырская экономика Китая и христианского мира в эпоху Средневековья. Абу-Луход считает, что рыночная динамика также существовала в «мировой системе» дальней торговли в Евразии примерно в XII–XIII вв. [Abu-Lughod 1989]. Согласно Валлерстайну, европейская мировая капиталистическая система расширялась с характерными циклическими ритмами к XVI в. [Wallerstein 1974]. Если этот процесс кажется ускоряющимся почти что в ином измерении, в первую очередь в Англии конца XVIII или начала XIX вв., то лишь потому, что количественный переломный момент был уже пройден. Это необязательно должно было быть сдвигом, скажем так, с более чем 50 % проникновения крупномасштабных рынков на местные рынки и на связи жизнеобеспечения; «точка невозврата» может быть достигнута с 20 %. Эти цифры слишком схематичны, поскольку существует не только одно измерение рыночного проникновения, будто бы вопрос состоит лишь в противостоянии рынка нерыночным отношениям. Поскольку рост капитализма предполагает выстраивание некой пирамиды надстроенных рынков, «проникновение» является степенью связанности с различными уровнями этой пирамиды.

Наверное, было несколько поворотных точек в Европе: в XIII в. — когда светский капитализм перерос монастырский капитализм, в XVI в. — когда появился мировой рыночный капитализм Валлерстайна, в XVIII в. — когда кульминацией растущего масштаба коммерческого сельского хозяйства и мануфактур стала промышленная революция, и, возможно, в конце XIX в. — с появлением всепроникающих институтов выстраивания финансовых пирамид. При прохождении каждой точки траектория в нескольких измерениях рыночного проникновения поворачивала резко вверх. При таком взгляде победа Европы над Северной Африкой и Азией (прежде всего над

Китаем, Индией и исламским Средним Востоком) отнюдь не обязательно является победой динамизма над застоем, скорее это было первоочередным достижением более высоких поворотных точек. Китай становится все более пронизанным рынками с XI в. в период династии Сун и далее, когда светский капитализм перерос монастырский капитализм. Но это происходило в медленном темпе, с преобладанием относительно узких и лишенных пирамидальной надстроенности рынков, которые делали китайскую экономику слабой и даже стагнирующей, когда она стала соперничать с быстрее растущими европейскими рынками.

Капитализм является самым сильным примером распространения надстроенных рынков, а впрочем, также всех версий роста и расширения рынков — в боковые стороны в пространстве, в объеме, и в инновациях качества. Все больше и больше аспектов производственных факторов втягивались в рынки. По мере роста сложности производства и дифференциации продуктов «побочные рынки» появляются и разветвляются вокруг ранее существующих. Еще более важным является выстраивание «вертикальной» пирамиды рынков, торгующих средствами обмена. Банковское дело расширяется в новые формы кредитования и инвестиций. Фондовые рынки выстраивают свои пирамиды сделок: таковы продажи фьючерсов и опционов, продажи ценных бумаг на срок без покрытия (selling short), выкупы контрольного пакета акций с помощью кредитов (leveraged buyouts). В этих метарынках прибыль отрывается от производства. Инвесторы с правильной стратегией могут делать деньги на «бычьих» рынках (с игрой на повышение) или «медвежьих» (с игрой на понижение), в периоды инфляции или дефляции, роста или сокращения производительности. Спекуляция на денежных рынках и международные обменные курсы добавляют дополнительные слои поверх уже существующих рынков, равно как торговля ипотечными кредитами и переучет векселей. Стратификация в данной системе зависит от степени близости к центру обмена в этих надстроенных сетях. Страховые фонды и пенсионные программы, средства, которые собираются на более низком уровне в целях защиты работника или фирмы от угроз непредвиденных обстоятельств в будущем, становятся доступными в виде фондов или накопленных средств, которые сами являются основными ресурсами для выкупа пакетов акций и для разграбления активов ранее успешных предприятий. Динамичность здесь означает как расшире-

ние метарынков, так и нескончаемую борьбу внутри этого «верхушечного» слоя ("topmost" layer).

«Монополистичность» данной фазы капитализма — ошибочное название. В период около 1890 г. была видна лишь относительно простая форма финансовых пирамид в виде трестов. Поскольку как раз тогда надстроенные финансовые рынки стали весьма заметны, Рудольф Гильфердинг, Ленин и другие думали, что их эпоха является «высшей формой капитализма». Однако этот монополистический капитализм заключался только в контроле над конкретной продукцией. Оказалось, что возможны более обширные надстроенные рынки: диверсифицированные компании (conglomerates) могут расширяться в самых разных линейках товаров, а торговля сложными финансовыми средствами обмена подорвала несколько ранних монополий более низкого уровня.

Капитализм — это общество всеохватных рынков (omnimarket society). Со временем оно становится все более рыночным, явно вопреки логике нулевого порядка. Общество, которое уже полностью пронизано рынками, может добавить дополнительные надстроенные рынки через выстраивание соответствующих пирамид. По сути дела, не существует такого явления, как насыщение рынка. Всеохватный капитализм остается динамичным благодаря созданию новых рынков для надстроенных товаров, в том числе финансовых инструментов и потребительских товаров, как бы пропитанных социальным статусом и престижем. Рост этого третичного сектора подобен капиталистической Вавилонской башне, бесконечно возводимой к небу.

Надстроенные рынки культурной продукции добавляют дальнейшие сложности в средства социального обмена. Как только образование становится связанным с возможностями получения работы, независимо от того, либо это утверждаемые государством дипломы, либо неофициальные символы статуса, образовательные свидетельства переживают инфляцию, подобную денежной, поскольку все большая часть населения начинает бороться за достижение все более высоких ступеней подготовки [Collins 1979]. По мере того как расширяется данный рынок дипломов, предприниматели в сфере образования отвечают на это и созданием новых учебных заведений, и разработкой более продвинутых и более специализированных образовательных программ и ступеней. Это, в свою очередь, ведет к росту требований к свидетельствам об образовании

как для будущих специалистов, так и для приема в бюрократический аппарат. Такие взаимоусиливающие отношения между спросом и предложением в сфере образования стали особенно интенсивными с 1950 г., и конца этим процессам не видно.

Поразительно, что в современном капитализме все превратилось в товар за исключением самых главных товаров предыдущих систем. Изощренные обмены сексуальной собственностью, бывшие в центре родовых/обменных систем, теперь в нашей собственной рыночной системе табуированы. Сексуальная собственность выживает лишь в самом усеченном виде — как двусторонние обмены между двумя индивидами в браке (или как такая же договоренность между людьми, не состоящими в официальном браке). Эти сексуальные обмены в настоящее время нагружены сугубо личными эмоциями (иными словами, современным культом любви) и считаются неправомерными (illegitimate) в качестве каналов для установления политических союзов между семьями. Также и рабство, однажды составлявшее главный товар в крупномасштабных системах обмена, в настоящее время строжайше запрещено. То же верно и для главных отношений собственности в аграрно-принудительных обменах — для присвоения труда зависимых слуг и крестьян военизированными землевладельцами.

Также табуированы формы надстроечной структуры, которые были типичными в аграрно-принудительных политике, — продажа государственных должностей, офицерских чинов, прав на сбор налогов и тому подобное. Складывается такое впечатление, будто здесь действует гегелевская логика отрицания: бывшая основной в предыдущих системах форма собственности отрицается и заменяется последующими формами. Рыночные отношения были исключены из организации государства в целях создания современной бюрократической власти. Запрет на продажу должностей и прав на сбор налогов (откупов) имел решающее значение для получения централизованного, единообразного и, следовательно, рационально-правового контроля над средствами государственного управления. По сути дела, «политические работники» были исключены из административных средств. Согласно теории Вебера, это помогало расширять капиталистическую экономику через создание сектора государственного регулирования рыночных сделок. Однако вскоре после этого рынки вернулись в бюрократию, так сказать, на более высоком этаже, в связи с появлением надстроенного рынка образовательных свидетельств.

Провал социалистической автаркии

Географическое распространение капитализма как общества всеохватных рынков было успешным с наибольшей очевидностью. По всему миру регионы с автаркичными порядками или сугубо местными рынками постепенно подвергались эрозии. В этом плане капитализм является гораздо более мощным рынком, чем его предшественники. Последние островки племенной и крестьянской автаркии, бывшие при прежних рыночных формах еще очень крупными (а по численности населения даже преобладающими), в XX в. практически исчезли. Географическая экспансия капитализма стала особенно очевидной в конце XX в., когда он проник и в коммунистический блок. Социализм, по крайней мере тот, который мы видели до сих пор, по всей видимости, является не более высокой ступенью исторического развития, но сопротивлением со стороны некоторых относительно могущественных аграрно-принудительных государств — России и Китая — к втягиванию в мировые капиталистические рынки. Управляемый государством коммунизм — это распространение на индустриализм централизованной и принудительно изымающей налоги аграрной структуры, которая исторически противостояла рынкам.

Еще до падения европейских коммунистических режимов в 1989–1991 гг. они уже были втянуты обратно в капиталистическую систему, будь то явным или скрытым образом. Социализм сам по себе не обладает динамикой роста; идеологически, он сосредоточен на справедливом распределении, и ему не хватает самостоятельных движущих сил для расширения и инноваций (в том числе тенденций к выстраиванию пирамид надстроенных обменов), которые обнаруживаются в рыночных обществах. Преднамеренное и управляемое сверху развитие не имеет собственного направления и вынуждено подражать внешним вехам капиталистического развития и инноваций.

Коммунистические общества не смогли закрыть свои границы для мировой системы; это видно уже только по военному соперничеству на уровне аппаратных средств. Культурная продукция также легко переливается через границы; именно благодаря этому подражающая статусным товарам массовая продукция западных рынков стала пользоваться большим спросом на Востоке. Как только коммунистические государства вступили на путь интеграции с запад-

ными рынками, они сразу же попали под давление мировых финансовых и торговых структур. Примерно в конце 1980-х гг. рыночные реформы в коммунистических государствах еще ограничивались разрешением частного мелкотоварного производства и обмена; чего не хватало, так это надстроенных рынков, особенно рынков финансовых инвестиций, которые приводили к капиталистическим инновациям на Западе. Открыв границы западному бизнесу (в данный период этот процесс с неистовой силой идет в Китае), Восток попытался воспользоваться преимуществами надстроенных рынков, расположенных на Западе. Следствием, вероятно, будет дальнейшая интеграция в капиталистическую динамику. Политические потрясения в государственном социалистическом правлении только ускоряют уже идущий структурный сдвиг[1]. Даже те режимы (например, в Китае), которые политически консолидированы, должны теперь действовать в условиях, установленных мировыми капиталистическими рынками.

В среднесрочной перспективе социализму, как мы знаем, суждено исчезнуть. Приведет ли это к триумфу глобального капитализма? Может быть. Но давайте не будем забывать о шестой гипотезе из перечисленных в начале этой главы: рыночные системы приводят к кризисам, к обращению вспять тенденций роста, а в конечном счете — к собственной трансформации. Рынки родства пришли в упадок, когда инвесторы в долгосрочные семейные союзы консолидировали политическую власть и перешли к новой организации — принудительному государству. Военные рынки рабов мобилизовали своих собственных внешних противников, которые подорвали их, когда эти рынки достигли своих геополитических пределов. Те, кто извлекал аграрную ренту, были вытеснены растущими расходами на господство в связи с расширением рынков вооружений и статусных товаров. Религиозные корпорации, выстроенные благодаря доходам от принудительного производства, стали автономными секторами протокапиталистического роста, но в конечном счете были подорваны инфляцией своей культурной валюты, а затем экспроприированы.

---

[1] Как я утверждал в работе «Будущий упадок Российской империи», политический кризис советских государств был предсказуем с позиций геополитической динамики. Без такой динамики продолжалось бы экономическое проникновение в них мирового капитализма, но оно встречало бы большее сопротивление [Collins 1986: 185–209].

В каждом типе рыночной системы форма собственности, на которой она была основана, в конечном счете исчезает и заменяется другой формой. Что же это будет? Что может вырваться за пределы характерных для капитализма всеохватных рыночных и сверхпирамидных форм собственности? Несомненно, сейчас слишком рано об этом говорить. Но можно быть вполне уверенными, что история далека от завершения. Если история является неким прецедентом, то капитализм, господствующий сегодня, переживет множество потрясений в своем будущем.

Глава 7

Азиатский путь к капитализму

В мировой истории было три основных типа экономических структур: (1) сети отношений родства при отсутствии отдельной государственной организации, с заданностью экономического обмена брачными альянсами и церемониальным обменом подарками, (2) аграрно-принудительные общества, в которых специализированный класс военных присваивает землю и принудительно изымает наибольшую часть прибавочного продукта, и (3) капиталистические рыночные экономики со своей динамикой самотрансформирующегося роста[1]. Для того чтобы произошли принципиальные экономические изменения, недостаточно одних только рыночных отношений. Рынки могут существовать в обществах других типов, но там они остаются вспомогательными и подчиненными традиционной экономической структуре. Чего не хватает в таких обществах, так это устойчивой инновационности современного самотрансформирующегося капитализма, который расширяется через массовые рынки, умножает рыночные ниши и создает новые продукты.

Исторически, самотрансформирующийся капитализм (тип 3) проходил через три основных этапа:

3а — малый ведущий сектор в аграрно-принудительных обществах приводит в движение инновационную динамику;

3б — распространение капиталистических рыночных структур, движимых сельскохозяйственным производством;

---

[1] В главе 6 я обсуждал четыре типа рыночных структур, а не представленные здесь три типа экономик. Игра, которую я проводил в предыдущей главе, состояла в том, чтобы посмотреть, насколько далеко я могу продвинуться, взяв в качестве основы классические марксистские исторические стадии; в данном же составе трех экономик рабовладельческие рынки являются подтипом аграрно-принудительного обмена.

3в — промышленная революция машинного производства, использующего неодушевленные источники энергии, запускает процессы расширения несельскохозяйственного производства.

Наша задача состоит в объяснении того, как по крайней мере некоторые мировые регионы вначале перешли от этапа 2 к этапу 3а, а затем — к 3б и к 3в. Промышленная революция (3в) могла произойти только на основе 3б — уже существовавшего рыночного капитализма в аграрной сфере [Moore 1966; Wallerstein 1974]. Крупная промышленная технология экономически бесполезна, если она появляется вне контекста институтов, поддерживающих массовый рынок и массовое предоставление факторов производства.

Технологические инновации, создание машин, а также другие новые методы производства и распределения являются не ключевой, но лишь наиболее явной формой этого структурного динамизма капиталистической системы. Самая важная трансформация — тема данной главы — отстоит на два шага назад: прорыв из аграрно-принудительной структуры к ведущему сектору (3а), что включает структуры самоподдерживающегося роста.

Такой ведущий сектор потенциально революционен, поскольку является антитезой структурному консерватизму аграрно-принудительной организации. Это не означает, что аграрно-принудительные общества во всех отношениях находятся в стагнации. Такие общества могут претерпевать геополитические расширения и сжатия, рост и падение численности населения, географические миграции и процессы концентрации. Дальние торговые пути могут развиваться или угасать, и могут даже составлять то, что иногда называют миросистемами [Gills and Frank 1991; Abu-Lughod 1989]. Ключевой вопрос состоит в том, не добавляют ли такие изменения лишь количественные вариации внутри аграрно-принудительной социальной структуры экономических отношений. Пока роль доминирующей структуры занимает военный правящий класс, принуждающий к производству для собственного потребления, богатство сосредоточено в дворцах и монументальных строениях столичных городов, оно не возвращается в качестве инвестиций в тот сектор, где стали бы устойчивыми капиталистические инновации.

Переход от типа 2 к типу 3а, а затем — к 3б, состоялся в ведущем секторе, который составляла материальная экономика религиозных институтов внутри аграрно-принудительного общества. В данной главе я утверждаю, что это происходило в Японии средневековой

эпохи и раннего Нового времени в рамках буддийских институтов, параллельно раннему экономическому развитию Европы под эгидой христианства. Взгляд на азиатский капитализм лишь как на продукт приспособления западного трансплантанта недавно был оспорен в нескольких альтернативных интерпретациях. Согласно одной из них, уделяющей особое внимание азиатскому экономическому росту в конце XX в., капитализм совместим со многими аспектами исконно азиатских культуры и социальной структуры, даже притом что капиталистический взлет произошел не в Азии. Более сильное утверждение состоит в том, что в Японии культурные, экономические и общественные структуры периода Токугава существенно подготовили почву для промышленного капитализма. Еще более сильный тезис таков: Япония самостоятельно развивала капитализм до европейского вторжения. Эти ревизионистские утверждения ослаблены, однако, неспособностью выделить видимые исторические причины с учетом полновесной теоретической модели перехода к капитализму. Частные элементы культуры, такие как конфуцианские ценности (что предложено в работах: [McCormack and Sugimoto 1984; Rozman 1991] или религиозная трудовая этика [Bellah 1957] сами по себе недостаточны, чтобы осуществить прорыв из аграрно-принудительных структур; также не является достаточным наличие купцов или торговли (это подчеркнуто в работах: [Sanderson 1994; Hamashita 1994; Kawakatsu 1994; Howe 1996]. Только в контексте общей модели институциональных компонентов капиталистического роста, а также препятствий на пути этих институтов в аграрно-принудительных обществах, мы можем оценить, существовали ли в Японии или где-то еще условия для самостоятельного развития капитализма.

Мы начнем, таким образом, с общей институциональной модели капиталистического развития. Предыдущее применение этой модели показало, как в течение Высокого Средневековья (1050–1300 гг.) христианская монастырская экономика привела к самому раннему этапу (3а) капиталистических преобразований в Европе. Протестантская Реформация 1500-х гг. и сопутствовавшая ей конфискация церковного имущества знаменовали радикальный прорыв к светской экономике — второму этапу (3б) структурного роста [Collins 1986: chap. 3]. Здесь я буду развивать ту же аргументацию в отношении экономических последствий главной народной религии Восточной Азии — буддизма средневековых Китая и Японии.

1. Структурные компоненты самотрансформирующегося капитализма

Какие условия позволяют капитализму вырваться из аграрной принудительной системы? Наиболее полной картиной таких институциональных трéбований и соответствующих им препятствий в традиционных структурах остается та, что представлена Максом Вебером. Здесь мы должны обратиться не только к работе Вебера о протестантской этике, или даже не к его сравнительным исследованиям экономических предпочтений и склонностей в мировых религиях, но к его институциональной модели в целом. Вебер представил наиболее полный ее обзор в своих лекциях, которые были собраны и изданы как «Общая экономическая история» [Weber 1961]; я же использую здесь [построенную мной на этой основе] формальную модель [Collins 1986]. В свете исторических этапов капиталистического роста, перечисленных выше, теория Вебера остается во многом незавершенной. Она не решает вопрос о том, как появились капиталистическое сельское хозяйство (3б) или промышленная революция (3в). Я считаю, что Вебер дает наилучшую аналитическую модель для этапа 3а, включающую препятствия, с которыми сталкивается ведущий сектор в преодолении аграрно-принудительных структур, и социальные институты, которые должны были быть построены для преодоления этих препятствий.

Следующая схема как модификация идей Вебера и Шумпетера дает три набора условий, каждый со своими подкомпонентами (рис. 10). То или иное условие по отдельности недостаточно, чтобы подорвать аграрные принудительные структуры; собирание всех ингредиентов в единый пакет — вот что приводит к взлету самоподдерживающегося капиталистического роста.

Во-первых, должны существовать рынки для всех факторов производства: земли, труда и капитала. Недостаточно существования товарных рынков, будь то рынок предметов роскоши или даже большегрузная торговля основными товарами жизнеобеспечения (bulk trade in the staples of life). Пока сама земля не подлежит продаже, а контролируется военным принуждением или политическими назначенцами, пока труд движется не в соответствии с рыночными стимулами, но остается привязанным физически или социально к какому-либо месту, и пока капитал, в форме как финансовых инст-

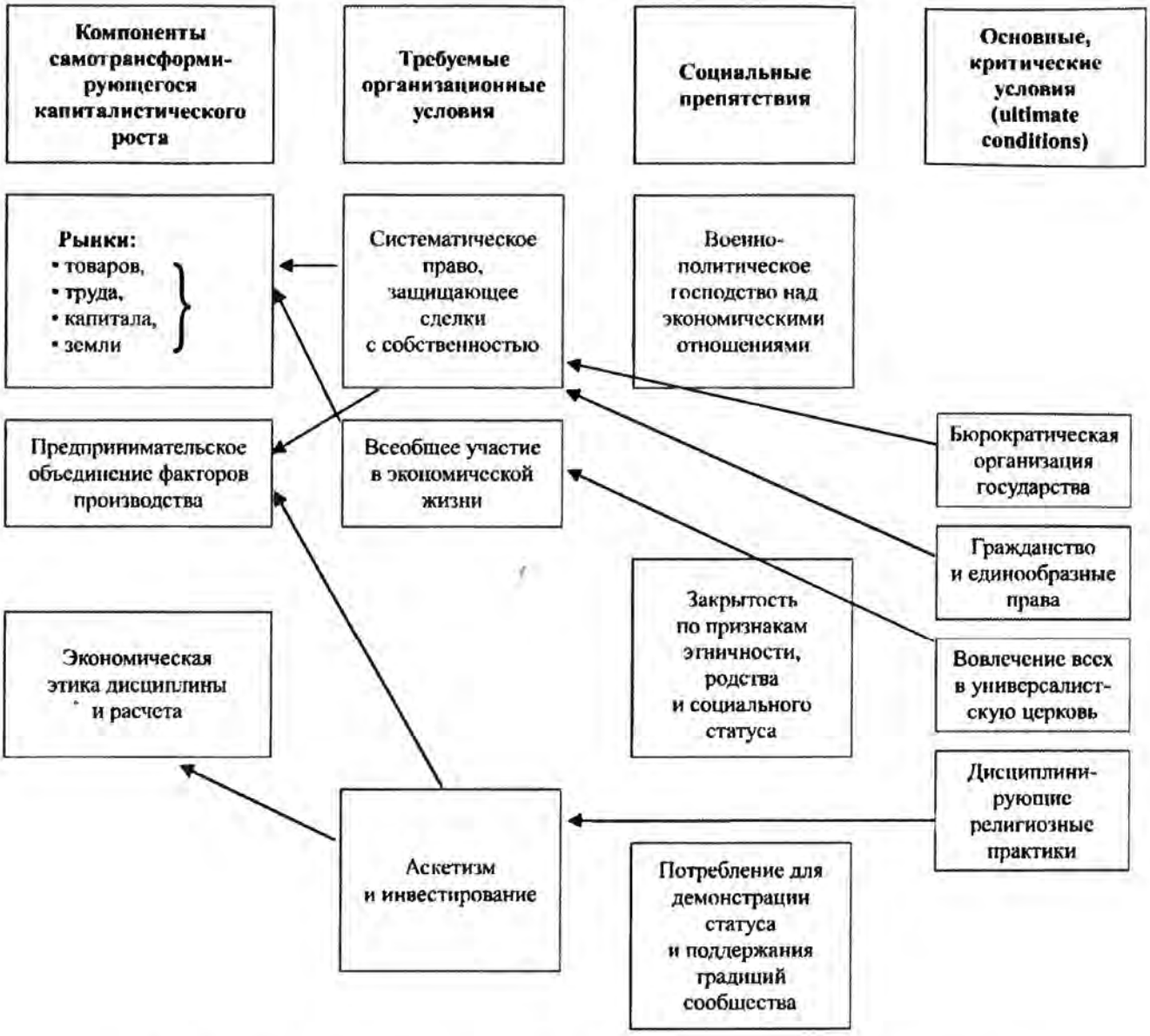

Рис. 10. Цепь причинных условий для самотрансформирующегося капиталистического роста

рументов, так и материальных средств производства, не покупается и продается без затруднений, а факторы производства не движутся гибко и быстро в области наибольшей прибыли, не будет конкурентного процесса замены неэффективных отраслей (industries) более производительными. Одно только наличие торговли товарами не гарантирует существования конкурентного капиталистического рынка, проникающего во все сферы общества и трансформирующего их. Современный капитализм имеет характер взрыва. Он склонен господствовать над политической структурой и заставляет все остальные институциональные сферы приспосабливаться к нему. Именно эта черта отсутствует в товарных рынках аграрно-принудительных экономик.

Вторым важным условием, необходимым для капиталистического роста, является то, что управление всеми факторами производства должно быть объединено в руках предпринимателей. Предприятия должны существовать как организации, которые приобретают землю, капитал и труд в качестве средств производства [товаров] для рынка. Именно такая предпринимательская организация, как подчеркивал Вебер, делает возможным расчет возможностей получения прибыли и, следовательно, направленного потока инвестиций.

Сходными являются характеристики, которые Шумпетер сделал центральными в своем определении капитализма [Schumpeter 1961]: капитализм как предприятие, осуществляемое на заемные средства; а также — капитализм как рыночная система, в которой банки выступают в качестве штабов, рассматривающих соперничающие заявки на вложение капитала и принимающих решения в соответствии с конкурентными предложениями потенциальной прибыли. Банки в этом смысле могут возникать лишь постепенно, а само банковское дело может появиться как сторона деятельности предпринимателей либо в сфере торговли, либо в сельском хозяйстве, либо в производстве готовой товарной продукции. Ключевой момент состоит в том, что потоки инвестируемого капитала должны развиваться совместно с развитием предприятий.

Как подчеркивал Шумпетер, предприниматели создают новые сочетания из доступных входов: труда, земли и капитала. На рынках хорошо проработанных продуктов конкуренция ведет к снижению прибыли, поэтому наибольшую прибыльность дают создание новых продуктов и выход в новые рыночные ниши. Эта модель развития через предпринимательство (entrepreneur-driven model) позже была расширена за счет сетевой теории капиталистических рынков, согласно которой отслеживающие друг друга сети производителей стремятся достичь прибыльности путем создания неконкурентных рыночных ниш на основе инноваций и диверсификации продуктов [White 1981]. Именно эта конкуренция предпринимателей и делает капитализм вновь и вновь преобразующим самого себя — самотрансформирующимся. Этот поиск прибыли под давлением конкуренции на рынках всех факторов [производства] (в том числе под давлением финансовых рынков) приводит к быстрому разрастанию рыночных ниш, что существенно отличается от относительно статичного товарного ассортимента в контролируемых рынках аграрно-принудительных экономик.

Третий фактор, которому Вебер придавал особое значение, — это экономическая этика дисциплинированной работы и расчета производительных выгод. В идеале, данная установка является общей и для рабочих, и для предпринимателей. Экономическая этика включает не только мотивацию к напряженной работе, но также самоконтроль в ориентации на долгосрочные выгоды. Это означает как отказ от немедленного потребления, так и запрет на жадное желание быстрой прибыли; причем эти принципы осуществляются через жесткие практики регулярного накопления малых доходов в повторяющихся коммерческих сделках и благодаря надежным деловым отношениям. Веберовское представление об экономической этике — это сочетание самодисциплины, этического самоограничения и расчета производительности на долгие сроки.

2. Социальные препятствия капитализму

В историческом плане имелись препятствия развитию всех этих капиталистических институций. Большинство факторов производства не поступало на рынки, и все они были предметами активности военных хищников, произвольных ограничений и конфискации государственными элитами; во всем этом проявлялось господство политических структур над экономическими. В большинстве обществ существовали барьеры для полного участия всех групп населения в рыночной экономике. Определенные занятия, такие как торговля, могли быть ограничены рамками особых этнических групп, которые третировались как аутсайдеры основным местным сообществом, причем данные занятия были запрещены членам господствующего этноса. Особым этническим группам могло быть разрешено заниматься определенной профессиональной деятельностью, но отказано в других возможностях. Типичной формой организации было патримониальное домохозяйство, стержнем которого являлась группа родства, окруженная, согласно ее социальному рангу, слугами и вооруженными стражами. Эта структура ограничивала участие в рынке большинства лиц внутри такого домохозяйства как единицы производства и потребления. Иерархия социальных статусов, укорененная во власти военных аристократов, а иногда и специалистов в сфере религиозных ритуалов, формировала замкнутые слои наследственных статусных групп, или сословий, для которых достойными были только вполне определенные профессии.

Это не означает, что отдельные индивиды и семьи непременно были лишены какой-либо мобильности. Некоторых аристократов убивали или их семьи вымирали, тогда как другие пробивали себе дорогу во власть. Однако этот процесс замены не столько подрывал иерархические разделения, сколько укреплял их, прежде всего будучи источником социальной мотивации. В аграрно-принудительной иерархии торговцы, купцы были подчиненной группой, как правило, недостойной и находившейся под жестким контролем. По мере возможностей успешные купцы пытались конвертировать свое богатство в землевладение и государственные должности, становясь, тем самым, членами аристократии и отнюдь не реинвестируя богатство в инновационное производство. При отсутствии таких гарантий всякий раз, когда это купеческое богатство становилось действительно крупным, ему угрожала опасность конфискации, либо же эквивалентные ей принудительные займы. В большинстве случаев купцы не революционизировали производство внутри аграрно-принудительных структур, поскольку их торговля укрепляла существующий порядок принудительной иерархии с соответствующим предпочтением традиционных социальных и экономических отношений[1]. Таким образом, наличие даже высокоразвитых торговых отношений в некоторые ранние периоды (на что делался упор в работах: [Abu Lughod 1989, Chaudhuri 1990, Gills and Frank 1991]), при отсутствии социальных структур динамично развивающегося капитализма, отнюдь не означало того, что шла самоподдерживающаяся экономическая трансформация.

Предпринимательская организация, как и рыночные отношения, как правило, подавлялась в аграрно-принудительных обществах из-за отсутствия институтов собственности для защиты рыночных сделок, а также из-за отсутствия правовых механизмов для [судебного] рассмотрения контрактов и оценки ущерба. Наоборот, закон обычно подтверждал права и привилегии [высших слоев] иерархии. Правитель мог претендовать на собственность всей земли или, в соответ-

[1] Исторически в аграрно-принудительных империях рынки вырастали около столичных городов и других центров [Finley 1973; Nishijima 1986]. Эти рынки были основаны на доставке принудительно изъятых продуктов из поместий местной аристократии — на той системе, которая иногда превращалась в самостоятельные способы транспортировки и доставки, наряду с выращиванием овощей на продажу и кустарными ремеслами для аристократического потребления.

ствии с политическими условиями, мог распределять землю своим военным вассалам или же фермерам, чтобы взимать с них налоги. Там, где аристократы удерживали юридическое право собственности на землю, они обычно монополизировали это право для своего сословия. Крестьяне были вовлечены в различные системы землевладения, но даже в системах, дозволявших номинальное владение землей, редко разрешалось продавать эту собственность на открытом рынке. Контроль за факторами земли, труда и капитала был скорее структурно рассеян, а не сосредоточен в руках предпринимателей.

Наконец, дисциплинированная экономическая этика была не совместима с типичной формой сословной культуры в аристократическо-иерархических обществах. Упор на потребление как форму демонстрации сословного статуса и как средство повышения своего ранга подавлял у богатых классов аскетизм и привычки вкладывать капитал, тогда как традиционные ритуалы, структурирующие годовой цикл смены сезонов, регулировали и работу, и потребление среди трудящихся классов[1].

Как же тогда были преодолены эти препятствия? Вебер наметил некое сочетание политических и религиозных причин, которые перетекают в институциональные структуры капитализма, представленные в средней и правой части той же схемы (рис. 10).

1. Развитие систематического права, защищающего собственность и облегчающего сделки, или транзакции. Если идти далее по цепочке причин, то оказывается, что систематическое право развивается в связи с бюрократизацией государства — заменой персонального военного руководства административной структурой писаных правил. Таким образом, некоторый уровень развития бюрократии является необходимым условием для капитализма, но необходим и уравновешивающий фактор, поскольку бюрократия, предоставленная самой себе в контексте экономики принудительного изымания [ресурсов], обычно использует свои формальные правила не для защиты отношений капиталистической собственности, но для их подавления.

---

[1] Последнее препятствие подчеркивал для Европы Томпсон [Thompson 1967]; относительно Японии см. [Smith 1988b]. Веберианское понятие экономической этики означает не просто тяжелый труд и бережливость; бедные крестьяне именно так и должны были жить, чтобы вообще выжить, но это совсем не то же самое, что иметь расчетливую установку на инвестирование в долговременный рост производства.

Такова и была склонность конфуцианской бюрократии в Китае. По этой причине Вебер добавлял, что должны появиться гражданские права для тех классов, которые в наибольшей мере заинтересованы в капитализме. Именно сочетание гражданства и бюрократии, а также баланс между ними, снижают крайности каждого из них и делают возможной правовую систему, благоприятную для расширения капиталистического рынка и предпринимательства.

2. Вебер подчеркивал роль универсалистской религии спасения, прежде всего христианства, которое преодолело барьеры, заданные этничностью и группами родства. Непреднамеренным следствием было открытие сферы экономических отношений к введению единых этических норм, и был проложен путь для всеобщего участия факторов производства в капиталистических рынках.

3. Вебер также предполагал, что религия является источником экономической этики аскетического самоограничения и рациональности расчета, направленной на экономическую продуктивность. Самый знаменитый аргумент Вебера в данном вопросе касается кальвинистской доктрины предопределения*, которая вела к психологическому напряжению. В качестве исторического фона учитывалась более длинная последовательность, включавшая древний иудаизм и ранее христианство. В общемировой перспективе Вебер подчеркивал экономическое значение скорее религии, направленной на спасение, а не магических манипуляций в целях немедленного получения материальных благ, не церемоний и ритуалов, которые не только не позволяют вырваться из традиционных практик и социальных страт, но

* Согласно этой доктрине избранность человека для посмертного спасения или гибели его души полностью обусловлена не свободой его выбора, но изначально задана — предопределена (такова традиция, идущая от Августина, в его полемике против пелагианства, в котором отстаивалась значимость личного выбора и поведения человека для спасения души). Одни люди предопределены к вечному блаженству, другие — к вечному проклятию. Человек ничего не может сделать для своего спасения, однако, достижение богатства в земной жизни является добрым знаком избранности. Таким образом, Вебер в своей ранней работе «Протестантская этика и дух капитализма» связывал дисциплинирующую этику аскетизма, трудолюбия, накопления и расчетливости с религиозной идеей спасения.

напротив, укрепляют их. Среди религий спасения Вебер подчеркивал важность того варианта, который увязывает религиозный статус с аскетической и этической деятельности в миру, а не с мистическим опытом или выходом за пределы обычного — трансценденцией.

Новая интерпретация веберовской модели как экономики религиозных организаций

Веберовская модель была первой попыткой сравнительного анализа мировых экономических и социальных изменений. В этой работе Вебера, лишь частично завершенной ко времени его смерти, намечен широкий круг институциональных компонентов, которые поддерживали прорыв к капиталистическому росту. Здесь я в нескольких аспектах расширю и по-новому истолкую данную аргументацию. Вопреки тому, что утверждал сам Вебер, нам не следует исходить из того, что данный прорыв был сделан только в Европе. Я ослаблю акцент Вебера на содержании протестантской доктрины, поскольку основанные на религии экономические прорывы происходили в сочетании и с другими доктринальными верованиями: с католическими доктринами активистских монашеских движений европейского Средневековья и с буддийскими доктринами спасения, принадлежавшими как монашеским, так и народным движениям средневековых Китая и Японии. Если сделать веберовскую позицию более абстрактной и общей, то получится, что не только христианство, но все великие мировые религии разрушают социальные барьеры и усиливают этический универсализм. Как же возникают эти универсалии с социологической точки зрения? Доктрина никогда не бывает свободно парящей, но всегда встроена в социальные практики. Универсализм религии проявляется в практике прозелитизма — стремлении обратить в веру любого человека: «мировыми религиями» христианство, ислам и буддизм делает именно то, что потенциально каждая из этих религий обращает в свою веру весь мир. В аграрно-принудительном обществе универсалистская религия — это единственный институт, который рекрутирует своих членов — священников, монахов и набожных мирян — из всех социальных слоев. Более того, если священники и монахи в этой религии дают обет безбрачия, то их позиции уже не будут наследоваться. Организация такой религии структурно не укрепляет

семейное наследование позиций, которое преобладает во всех остальных сферах общества, но вводит некую практику индивидуального религиозного достижения. В буддизме, как и в христианстве, массовый прозелитизм широко распространяет эти этические и мотивационные структуры, и, таким образом, религиозные движения становятся носителями социальной трансформации.

Необходимо также пересмотреть позицию Вебера относительно значимости монашеской религии. С точки зрения Вебера, монашество способствует оттоку религиозной мотивации. Оно устанавливает аскетическую дисциплину, но обращает ее к целям иного мира, предотвращая направленность на трансформацию обычного мира и оставляя мирян с религией ритуального приспособления к обстоятельствам. Драматизируя значимость протестантской Реформации, Вебер изображал средневековый католицизм и монашеские религии Азии как нечто противоположное, тем самым, затемняя их значимость для более ранних прорывов к динамичному развитию экономики в аграрно-принудительных обществах. Монашество могло играть роль ведущего сектора, поскольку само по себе составляло существенную часть материальной аграрной экономики. Первоначально религия способствовала капитализму не тем, что внушала мирянам связанные с верой мотивации, а за счет материального расширения религиозной организации. Монастыри, храмы и церкви сначала формировали свой собственный рынок и отношения собственности, накапливали богатства и первыми создавали новые экономические структуры. Это составило существенный сектор в средневековых экономиках, где религиозные организации в некоторые периоды владели примерно третью посевных площадей и, возможно, еще большей долей движимого имущества. В рамках своего сектора религиозные организации также разрушали препятствия на пути экономического роста, характерные для традиционных обществ: в терминах Шумпетера, монастыри были первыми предпринимателями.

Все институциональные пути (см. рис. 10) были сформированы изначально не в самом аграрно-принудительном обществе, но внутри этого анклава религиозной экономики. В католическом христианстве была своя экономическая этика со строгой дисциплиной, основанная на аскетической и рутинной жизни монахов. Вебер и другие отмечали иронию в том, что аскетический протестант, которому религиозные убеждения запрещали свободное расходование

вознаграждения за свой дисциплинированный труд, в результате, становился все более и более богатым. Этот процесс становится еще более очевидным в случае монастырей, где плоды религиозной дисциплины становятся материальным капиталом для инвестиций. Поскольку из-за своего безбрачия монахи не могли отводить накопленное в семейное потребление, богатела именно монастырская корпорация[1].

В последовательности событий, приведших к прорыву из аграрно-принудительных структур, ведущим сектором (3а) был монастырской капитализм. Переливание в светские экономики (3б) вначале произошло через распространение прозелитических движений, появившихся в монашеских орденах. В Европе, Китае и Японии были периоды роста движений по основанию новых монастырей, как правило, реформирующимися орденами, которые ужесточали монашескую дисциплину (цистерцианцы в Европе, Чань в Китае, Дзен в Японии). Поскольку монастыри процветали, монастырская экономика географически расширялась, накапливая при этом богатство. Тут же или сразу вслед за организационным ростом росли прозелитические движения монахов — проповедников среди простого народа (например, августинцы, францисканцы и братья-доминиканцы; движения Чистой земли в китайском и японском буддизме). Результатом было создание гибридных форм квазиаскетической мирской религиозности. В материальном плане эти движения также распространяли в миру рыночные отношения и строгие экономические практики. Еще позже полномасштабный переход к светской экономике произошел через «реформации» — политические конфискации прежних монастырских владений, после чего это богатство перешло в светские каналы. Религиозные мотивы спасения были направлены в русла мирской деятельности, в том числе экономической.

В долгосрочной перспективе в начале прорыва из аграрно-принудительных структур ведущий сектор должен был включать религиозные организации. По причинам, указанным выше, ни купцы,

[1] Вебер признавал монашество как первую тщательно дисциплинированную и рационализированную организацию жизни, указывая и на христианское католичество, и на тибетский буддизм [Weber 1961: 267–269]. Однако Вебер рассматривал итоговое накопление богатства монастырями лишь как форму мздоимства (corruption), в целом без последствий для экономического роста. См., в частности, его пренебрежительный отзыв о китайском буддизме [Weber 1958: 268–269].

ни военные аристократы не могли стать лидерами первого этапа структурных изменений. Религиозные организации мобилизовали ресурсы из всех социальных классов так, как не делал ни один другой институт. В высших слоях религиозные организации были защищены правителями, которые использовали их для обеспечения церемониальной легитимации. Религия получала приток сыновей и дочерей аристократов, приносивших с собой богатство и престиж, а также энергию и амбиции по расширению влияния подопечных институтов. Религиозные организации получали землю и другие материальные пожертвования как от правителя, так и от нижестоящих аристократов, склонных укрывать свою собственность от государственных поборов. Они также обеспечивали карьеру для средних и даже низших классов, тем самым, мобилизуя социальные энергии, которые иначе оставались бы стесненными в локальных рамках. Религиозные организации обладали преимуществом в плане производственного накопления над другими секторами аграрно-принудительного общества: монастыри были единственной организацией, которая не была структурирована как патримониальное домохозяйство, связанное личными отношениями. По этим причинам, рост универсалистской религии в самом сердце статусного порядка аграрно-принудительных обществ особым образом подходил для переориентации материальных благ и социальных энергий на инвестирование в [новые] формы производства и обмена.

Данная теория представлена через идеальные типы. Множество причин в разной степени сделали свой вклад в структурную трансформацию аграрно-принудительных обществ. Случайные обстоятельства позволяли некоторым торговцам преодолевать традиционные ограничения, связанные с их подчиненностью военной аристократии, а некоторым специалистам в военном деле — незаметно переходить от принудительного грабительского капитализма к созданию инноваций в производстве. Суть моей аргументации состоит в том, что сами по себе такие изменения были бы поглощены господством аграрно-принудительных отношений, если бы ведущий сектор религиозной экономики не открыл первую относительно крупномасштабную фазу инноваций в производстве, тем самым, мобилизуя гораздо бóльшую часть подчиненных классов, чем та, что была стимулирована экономической деятельностью традиционных торговцев или аристократов. Религиозная экономика не была единственным институтом, сделавшим вклад в дина-

мичное развитие капитализма, но на начальном этапе прорыва из аграрно-принудительных отношений она представляла собой ведущий сектор.

3. Долговременный паттерн восточноазиатского капитализма

Экономическое развитие Японии происходило согласно давней модели экономического роста, которая берет начало еще в средневековом Китае. Ключевые японские политические и религиозные институты были импортированы из Китая несколькими волнами, что поставило Японию на путь к расширяющейся рыночной экономике. И в Китае, и в Японии фазе капиталистической экспансии в светскую экономику предшествовал экономический бум в анклаве религиозной экономики. В Азии буддийская монастырская экономика заложила основы роста, вначале в раннесредневековом Китае в результате прорыва к подъему светской экономики в период династии Сун, а затем в Японии, где импортированные китайские буддийские институты инициировали и возглавили растущую рыночную экономику. После сходной с явлениями Реформации конфискации буддийской собственности в период становления режима Токугава, произошел бурный подъем светского капитализма. В терминах вышеприведенной общей схемы преобразования аграрно-принудительных структур, я сосредоточусь здесь на пункте (3а) — буддийской религиозной экономике как ведущем секторе капиталистической экспансии, и на пункте (3б) — прорыве из религиозной экономики к более широкой светской экономике сельскохозяйственного капитализма.

Неовеберианская модель институциональных условий динамичного развития капитализма была применена для объяснения экономического роста средневекового Китая [Collins 1986: 58–72]. Буддийская монастырская экономика выросла в период множества государств* (ок. 400–600 гг.) после распада империи Хань и достигла своей кульминации при династии Тан (618–900 гг.). Как и в случае средневекового европейского христианства, анклав религиозной

* Этот период называют также эпохой Южных и Северных династий.

экономики вырос и выплеснулся наружу, что привело к буму в светской рыночной экономике. В обоих случаях монастырская экономика была преодолена, она стала устаревшей и оказалась ограбленной в процессе «реформаций», что вернуло церковь к состоянию небольших, относительно неимущих организаций, обеспечивающих приватную религиозность. Именно этот рыночный бум второй волны характеризовал династию Сун (960–1280 гг.). Со своей интенсивной урбанизацией, товарным производством и массовыми людскими перемещениями, Сун была первой протосовременной экономикой [Jones 1988: 73–86]. С этими изменениями пришли и характерные для модерна экономические бедствия: экономика эпохи Сун была первой претерпевшей полномасштабную ценовую инфляцию; тогда же в сфере финансовых инструментов были разработаны надстроенные спекулятивные рынки, а вместе с ними — государственная «партийная» политика, основанная на интересах и идеологиях этого рынка [Eberhard 1977; Gernet 1962; Elvin 1973, 1984]. В конечном счете рыночная экономика эпохи Сун вошла в состояние стагнации. Совершив прорыв к протокапитализму, в последующих династиях этот рынок задохнулся в тисках государственного регулирования, сжался к уровню местных обменов, которые так и не восстановили динамику самодвижущегося экономического роста. Экономика эпохи Сун была, вероятно, первой в мире достигшей устойчивого роста производительности труда [Jones 1988]. После этого периода [капиталистический] рост в Китае прекратился; Элвин описывает постсунскую китайскую экономику как ловушку на высоком уровне равновесия, где производительность поддерживала беспрецедентно огромное и растущее население, но не могла восстановить механизм качественного преобразующего роста [Elvin 1973].

Японское общество строилось в ходе структурных трансформаций, которые были запущены в Китае. Япония дает примерную картину того, чем стал бы Китай, если бы продолжал траекторию развития при династиях Тан и Сун. Именно в эти периоды времени Япония импортировала организационные структуры государства и религии, выходящие за пределы кланов. Япония вырвалась из зависимости от прямого притока китайской культуры как раз тогда, когда Китай повернулся институционально и идеологически против буддизма. Именно китайское Средневековье при господстве буддизма — вот что продолжала и развивала Япония. В Китае при дина-

стиях Мин (1368–1644 гг.) и Цинь (1644–1911 гг.), после того как независимость китайских монастырей была разгромлена, а их имущество конфисковано, стала доминировать удушливая бюрократическая централизация, причем в то самое время, когда Япония в социальном и культурном плане становится автономной. Развитие Японии периода Нового времени предоставляет нам некую лабораторию для понимания того, что могло произвести общество, построенное на буддийских организационных структурах.

Пока в Китае при неоконфуцианском возрождении буддизм приходил в упадок, в 1200–1500 гг. китайские буддийские организации распространились по всей Японии в форме движений Чистой земли и Дзен. Создание динамичной рыночной экономики датируется с этих веков: монастыри и народные буддийские движения выстраивали сети коммерческих операций, которые к началу объединения в период Токугава выдвинули Японию в экономическом плане на уровень, вполне достойный в сравнении с любой другой частью мира (см. табл. 2).

Рост средневековой буддийской экономики в Японии

Начало экономического роста в средневековой Японии может быть прослежено на протяжении несколько волн религиозных движений. (Последующее обсуждение опирается на источники: Kitagawa 1990, 1987; Dumoulin 1990; Collcutt 1981; McMullin 1984; Yamamura 1990b; Hall, Nagahara, and Yamamura 1981; Hall and Toyoda 1977].) В VI–VII вв. исконное японское общество родоплеменных кланов было объединено в централизованное государство в первую очередь посредством превращения буддизма в государственную религию. Первые буддийские храмы были организованы на основе линий преемственности, импортированных из Китая и Кореи как раз в эпоху китайской династии Тан, когда буддизм был самым богатым и могущественным. В Японии он стал еще более влиятельным, чем в Китае, так как боровшаяся с буддизмом власть конфуцианской бюрократии, которая в конечном счете подорвала китайский буддизм, в Японии так и не получила развитие. Крупные буддийские храмы в экономическом плане действовали во многом сходно с придворной аристократией. Расположенные в столичных городах — Нара и впоследствии Хэйан (Киото) — или рядом с ними, храмы играли роль узлов аграрно-принудительной экономики, они

Таблица 2. Институциональное и экономическое развитие Японии

Даты	Период	Политическая организация	Экономическая организация	Религия
	Архаический	Воюющие кланы	Экономические сети, основанные на родстве	Клановые культы
700–1185	Нара/Хэйан	Централизованная придворная администрация в китайском стиле	Аграрно-принудительные поместья придворной аристократии и духовенства	Придворный церемониальный буддизм
1185–1333	Камакура	Войны между соперничающими дворами	Рыночная экономика вокруг храмов	Движения Чистой земли и Дзен распространяются в провинции
1333–1460	Муромати	Феодальная раздробленность	Географическое распространение рыночной экономики	Храмы движений Чистой земли и Дзен
1460–1570	Сэнгоку — «Страна в войне»	Феодальные лорды; торговые города-государства; буддийские храмовые государства; крестьянские федерации монто	Рыночные сети в малых городах и сельской местности, быстрый рост населения	Войны между буддийскими армиями
1570–1600	Войны за объединение	Победа Оды Нобунаги над храмовой коалицией	Секуляризация храмового имущества	Делегитимация господства буддизма
1600–1868	Токугава	Абсолютистский двор, контролирующий альянс феодальных лордов	Сельскохозяйственный капитализм; городские массовые потребительские рынки	Религиозная секуляризация
1868–1912	Реставрация Мэйдзи	Централизованная бюрократия; парламентское государство	Промышленный капитализм	Религиозная секуляризация

были пунктами доставки товаров из земельных владений. Храмам организационная динамика была свойственна в большей мере, чем аристократическим поместьям; храмы создавали свои ответвления во всей сельской местности, иногда простираясь на значительные расстояния, часто принимая под свое покровительство местные синтоистские святилища. Главные буддийские храмы становятся основными землевладельцами и центрами крупнейших сетей сбора ресурсов.

Около 1165 г. центрированное вокруг двора государство сменилось феодальной раздробленностью; первоначально появился ряд соперничавших дворов, а около 1330 г. центральная власть полностью распалась. Этот распад совпал с появлением двух новых типов буддийских движений, каковыми были народные секты Чистой земли и более элитный Дзен. Основные секты Чистой земли и их ответвления были движениями странствующих проповедников (Дзёдо, основанная в 1175 году; Дзёдо Синсю, или Икко, основанная Синраном в 1224 г.; Нитирэн-сю, основанная в 1253 г.; Дзи, основанная в 1275 г.). В то время как крупные придворные монастыри набирали послушников в основном из высшего класса и делали упор на сложном церемониале, секты Чистой земли упрощали ритуал спасения вплоть до пропевания нескольких священных молитв и произнесения обетов *нэнбуцу*. Экономической основой этих движений стал сбор милостыни от простого люда. Храмы строились в малых городах, а также в торговых кварталах больших городов. Для поощрения более широкого участия мирян некоторые проповедники (прежде всего в движении Икко) разрушали перегородки в образе жизни между монахами и мирянами, позволяя священникам жениться и, в результате, создавая «протестантскую» форму буддизма, сходную с прекращением традиции целибата в европейском христианстве после Лютера.

Дзен начал с рекрутирования [приверженцев] из высших классов, особенно феодального воинства, сохраняя контакты с придворной аристократией. Дзен также реформировал придворный буддизм, в данном случае, делая упор на медитации, противопоставляя ее церемониям и магии. В 1200-х и 1300-х гг. одна крупная ветвь Дзена — Риндзай — строила большие монастыри под патронажем как сёгуна, правителя Камакуры, так и аристократии Киото. К концу 1300-х гг. большие храмы Риндзай в обеих столицах, так называемые, Пять гор, главенствовали над иерархией вторичных и провинциальных храмов всей страны, чьи доходы питали эти элитарные храмы. Вследствие влияния на культуру элиты, Риндзай Дзен стал самым известным вариантом японского буддизма, но другие ветви Дзена получили более широкое распространение в сельской местности и, вероятно, оказывали большее влияние на экономические практики повседневной жизни. Соперничавшая ветвь Дзена — линия Сото — распространилась в другой нише: в малых сельских монастырях, где медитативные упражнения стали

доступными простым людям. Сото давала начальное образование, что способствовало широкому распространению грамотности среди японского населения. Как и движения Чистой земли, дзенская линия Сото в рамках традиционного буддизма помогала разрушать барьеры между образами жизни монахов и мирян.

Монастыри и религиозные движения становятся доминирующими японскими институтами в период Муромати (1333–1460 гг.) и особенно в эпоху Сэнгоку — в период «Страны в войне» (1460–1570 гг.), когда Япония фактически стала территорией нескольких государств, состоявших из соперничавших военных областей, самоуправлявшихся городов и монашеских государств. Период Сэнгоку был эквивалентом политической децентрализации Европы в эпоху Возрождения. С обычной точки зрения на ортодоксальную политическую легитимность, это было время смуты, беспорядка (дословно «Сэнгоку»* — это «страна, поставленная с ног на голову» ("the country upside down"), но политически была предложена структурная свобода действий, а в экономическом плане в этот период рыночная экономика впервые привела к довольно высокому уровню благосостояния. При наличии примерно двадцати крупнейших даймё (независимых военных областей) и нескольких десятков более мелких даймё, даже номинальная власть императора и сёгуна оставалась почти в полном пренебрежении. В основных экономических районах центральной Японии находились действительно независимые города-государства, управлявшиеся купеческими советами. Одними из самых могущественных даймё считались несколько буддийских храмовых центров, чьи армии опиралась на самую мощную экономическую основу и нередко одерживали верх над армиями светских землевладельцев.

Как материально, так и в плане мотивации, буддийские организации, и особенно их народные ответвления, составляли ведущий сектор экономического роста[1]. На рис. 11 воспроизведены инсти-

---

* *Сэнгоку дзидай* (яп. 戦国時代), дословно — «эпоха воюющих провинций»). Название восходит к периоду Воюющих царств в Китае. Период в японской истории со второй половины XV в. до начала XVII в.

[1] Главные различия были между прежним церемониальным буддизмом связанных с княжескими дворами монастырей (особенно монастырей Сингон и Тэндай), движением Дзен и движениями Чистой земли или схожими с ними. Строго говоря, буддизм движения Нитирэн не был доктриной Чистой земли, но

Рис. 11. Религиозный капитализм в буддийской Японии

туциональные компоненты самостоятельного и устойчивого (selfsustaining) капиталистического роста, ранее представленные на рис. 10, причем здесь уже представлены институциональные формы, развитые в буддийской экономике.

практики и социальные отношения были сходными. С течением времени разные ветви буддизма влияли друг на друга. Песнопения молельщиков *нэмбуцу* часто сочетались с дзенскими медитациями. Подобным же образом, в материальном плане все ветви буддизма в конце концов стали коммерциализированными. Секты Чистой земли играли важную роль в распространении рыночных отношений среди простого люда, а секта Нитирэн была особенно тесно связана с торговыми городками позднего Средневековья. К началу периода Сэнгоку все ветви буддизма, включая старейшие, стали частью производственной религиозной экономики.

4. Рынки факторов производства

Товарные рынки

Первоначальный экономический эффект появления храмов состоял в расширении товарных рынков. Традиционные церемониальные храмы старого хартленда вокруг Нары и Киото приняли группы странствующих аскетов (*хидзин*). На самом же деле они были странствующими торговцами и ремесленниками, которые создали сеть регулярных рыночных отношений в сельской местности [McMullin 1984: 44]. С середины 1100-х гг. и позже растущие движения Чистой земли и народного Дзена распространили рыночные отношения и на отдаленные области. Традиционная организация сельского общества в Японии, ранее во многом ограниченная уровнем кланов, теперь, благодаря участию в религиозной деятельности, становилась открытой универсалистским сетям странствий и сотрудничества.

Все эти процессы развития приводили к росту. Население выросло с 5 млн в XI в. до 10 млн в 1300 г., достигнув к 1600 г. 18–20 млн (по разным расчетам). Площадь обрабатываемой земли также расширялась, с наибольшим ростом между 1450 и 1600 гг. в период Сэнгоку — эпоху воюющих государств [Jones 1988: 153; McEvedy and Jones 1978: 179–181][1]. Самым важным было то, что население, первоначально сосредоточенное в центральной части острова Хонсю — в старом хартленде около Нары и Киото — теперь распространилось по всему японскому архипелагу, а в центре достигло еще большей плотности. Географическое распространение и плотность буддийских храмов (их количество на единицу площади) одновременно способствовали росту населения и сами увеличивались вследствие этого роста.

В раннем Средневековье храмы стали крупнейшими центрами накопления, а значит, организациями, наиболее способными вести внешнюю торговлю. Пребывание в Китае в религиозных целях

[1] К 1600 г. Япония была заселена более плотно, чем сравнимые по площади территории Британии и Франции. В плане отношения величины населения к единице площади Япония являлась наиболее плотно населенной страной в мире — с плотностью примерно на 50 % большей, чем в Нидерландах, как второй страной по плотности населения в то время (вычислено на основе [McEvedy and Jones 1978]).

способствовало торговым отношениям, поскольку монахи оплачивали свое паломничество, продавая привозимые товары. Монастыри Дзен были первопроходцами в развитии чайного рынка в Японии как раз потому, что монастыри Чань развивали производство и распространение чая в Китае эпохи Тан. Монастыри стали одним из первых крупных рынков для массовых товаров повседневной жизни. Но, разумеется, они не были единственными продавцами. Особенно в 1500-х гг. пираты перевозили большое количество товаров через Восточно-Китайское море. Однако эта незаконная торговля была только неким типом межгосударственной коммерции, обычно обнаруживаемой в аграрно-принудительных экономиках, лишенной того потенциала трансформации экономической системы, который имелся в монастырском секторе, где торговля сочеталась с другими институциональными структурами динамично развивавшегося капитализма.

Рынки труда и социальная мобильность

Еще больше вырос динамизм благодаря тому, что буддийские храмы способствовали развитию рынков труда и капитала. Монахи действовали вне неформальной ригидности социальных позиций. Внешние социальные иерархии, как правило, воспроизводятся и в системе монашеских рангов; соответственно, должности настоятелей крупных монастырей были монополизированы аристократами, но фермеры, ремесленники и неимущие могли занимать низшие монашеские позиции и имели возможности роста в связи с расширением буддийских институтов. В 1300-е гг. в Киото принятие пострига (выбривания тонзуры) служило средством освобождения от придворных рангов; такие священники *тонсэйся* не были формально связаны с храмами и вели светский образ жизни [Varley 1977: 186–189]. Сокращая разрыв между мирянами и духовенством, такие люди способствовали делегитимации буддийской религиозности, что проявилось в следующем столетии, поскольку такие монахи обретали репутацию ведущих мирскую жизнь.

Если же посмотреть с другой стороны, это ослабление границы между церковным и светским мирами открывало двери для эпохи беспрецедентной социальной мобильности. Религия была не единственной сферой, где стала возможной социальная мобильность.

Войны периода Сэнгоку разрушили господство прежней придворной аристократии и сёгунских кланов; малые даймё ловили момент и получали свое место под солнцем; военные реформы и образование массовых армий открывало пути подъема простолюдинам, таким как диктатор Хидэёси. И даже здесь инициаторами этих процессов, как правило, являлись религиозные движения[1]. Упадок центрального управления в период Сэнгоку начался с войн между самыми могущественными монастырями, а тенденция к созданию массовых армий началось именно в монастырской сфере. К концу периода Сэнгоку богатые купцы из таких городов, как Сакаи, принимали участие в высокостатусных ритуалах чайных церемоний наравне с аристократами. Это была одна из причин того, что режим Токугава начал с попыток восстановить феодальные отношения почтения, которые к тому времени были существенно подорваны. Социальная подвижность эпохи, предшествовавшей периоду Токугава, отражала возраставший объем взаимодействий между богатыми монастырями, воспитывала купцов, тесно связанных с религиозной экономикой, создавала новый тип военных авантюристов, чьей ресурсной основой была растущая рыночная структура.

Социальная мобильность в высших слоях общества и появление профессий, занимавших неоднозначное место между аристократами и простолюдинами — вот наиболее доступный путь описания доновременного периода, когда простой люд, отсутствуя в записях, оставался в значительной мере невидимым. Однако вполне ясно, что профессиональная мобильность, увеличившаяся в плане монашеских карьер, также оказала влияние на крестьян и ремесленников. В нижних рангах монастырей и уж тем более в народных буддийских движениях большая часть членов была как раз из этих классов. Данные религиозные организации составили каркас, в рамках которого труд мог перемещаться в новые места, а также могли расширяться профессиональные возможности. Религиозная экономика перекрывалась с окружавшей ее светской экономикой. Более крупные рынки труда вырастали вокруг монастырей в посадах — рыночных городках, которые строились внутри монастырских ворот (*дзинаймати*), или сразу за ними (*мондзенмати*).

---

[1] Первые японские простолюдины, получившие общественное признание, были лидерами буддистских проповеднических движений; так, Нитирэн был сыном рыбака.

Формирование производственного капитала

Также продвигалось и развитие производственного капитала. Первые храмы брали для обработки новые земли. Монахи-проповедники, с первых движений Чистой земли и до миссионеров из чудаковатых ветвей Дзен 1600-х гг., были связаны со строительством дорог и мостов, рытьем колодцев и расчисткой земли[1]. Храмы не только создавали материальный капитал в аграрной экономике, но и брали на себя инициативу в организации промыслов, которые превращали сельскохозяйственную продукцию в готовые товары. Как только мы освобождаем наши умы от того предубеждения, что промышленный капитализм сначала должен появиться в городских условиях, так сразу видим, что сельское или квазисельское капиталистическое производство возникло в японских монастырях так же, как это происходило и в цистерцианских монастырях средневековой Европы. К 1330-м гг. в основных отраслях промышленности, таких как приготовление саке в районе Киото, преобладали монастыри на горе Хиэй, возвышающейся над городом. Другие продукты (хлопчатобумажные ткани, соль) производились гильдиями (*дза*), которые были организованы при покровительстве храмов и заимствовали буддийские организационные формы[2]. В конце 1300-х гг. *дза* переходили от коллективных обязательств служить хозяину к договорным отношениям с собственником. Был создан надстроенный кругооборот капитала, поскольку члены таких гильдий платили взносы за право войти в *дза* или покинуть ее [Toyoda and Sugiyama 1977: 137–140]. В период Сэнгоку (1465–1580 гг.) форма *дза* была использована для создания советов старейшин в городском самоуправлении, например, большой торговый город Сакаи начал, подобно *дза*, платить взносы храмовым покровителям.

Финансовый капитал также возник из храмовой сферы. В Китае этот путь был пройден в эпоху династии Тан, где на монастырские структуры возлагались ежегодные обязательства инвестирования и возврата прибыли [Ch'en 1964]. В Японии храмы получали

---

[1] Dumoulin 1990; Kitagawa 1990. Колкут дает содержательный обзор экономической деятельности господствовавших монастырей *годзан* (Пять гор), принадлежавших ветви Риндзай Дзен [Collcutt 1990: 632; 637–642].

[2] Гильдии *дза* создавались также при покровительстве аристократов. Но как показывает относительная частота упоминаний *дза*, поддерживаемых храмами, эта форма и была самой распространенной [Yamamura 1990a].

пожертвования от аристократии в виде земли, зданий и драгоценностей. Эти дары были частью демонстрации своего высокого положения аристократами, которые поднимали религиозный и социальный статус самыми явными средствами публичной драматизации, доступными в средневековом обществе. Храмы использовали драгоценности отчасти для потребления и церемоний, но также хранили их в качестве накапливаемых ресурсов. Храмы превращали материальные блага, получаемые от праздной аристократии, в капитал для более широкого обращения и продуктивного использования. Японские храмы наряду с материальными ценностями накапливали наличность и занимались ссудами. Появилось также кредитование со стороны гильдий, поскольку храмы оказывали покровительство своим приверженцам, распространяя на них свои законные права и защищая от политического вмешательства. Большая часть этих ссуд принимала форму потребительского кредитования, распространявшегося на аристократов и самураев, в результате чего представители землевладельческого класса нередко становились должниками храмов, которые в конце периода Сэнгоку составляли уже основную часть класса кредиторов. Хотя такое кредитование не было особо продуктивным вложением, некоторая часть накопленных храмами капиталов инвестировалась более выгодно в их собственную деятельность по организации обширных сетей экономического предпринимательства.

Поскольку храмы богатели, в их торговых конторах возникал надстроенный рынок. К 1380 гг. настоятели монастырей и старшие монахи (особенно из отдаленных движений Риндзай — Пяти гор) платили за свои назначения. Поскольку часто они занимали такие позиции менее года, щедро тратились на подарки и церемонии по поводу своего вступления в должность, то вполне очевидно, что эти позиции считались прибыльными и большая доля богатства из монастырской экономики извлекалась этими должностными лицами. Сёгун стал присваивать часть этого богатства в виде платы за грамоты, дающие права на назначения, а в 1400-е гг. взвинтил цены на эту услугу, чтобы максимизировать свою прибыль от монастырского сектора[1]. Деловая атмосфера этих монастырей была такой насы-

[1] [Collcutt 1990: 604–609, 613.] Как и в Китае периодов Тан и Сун, грамоты (certificates) о посвящении в монашеский сан (для обычных монахов, не только для настоятелей) продавались в ходе официальных кампаний по повышению [мона-

щенной, что Иккю — этот радикально настроенный мастер Дзен — описывал монахов как более похожих на торговцев, чем на буддийских пастырей.

Рынок земли

Земельный рынок развивался медленнее, чем рынки товаров, труда и капитала. Тем не менее храмы первыми высвободили землю из-под военно-политического контроля. Приобретение храмами земли в форме дара, благодаря правительственному указу, через прозелитизм или для освоения, для мелиорации обращало землю в сектор с формальной документацией по учету и передаче. Борьба между [религиозными] направлениями и расколы буддийских сект способствовали ранним случаям судебных тяжб относительно прав на землю, что дало начало теории и практике передачи земли в миру. Следствиями этого явления едва ли можно пренебречь. В главных провинциях центральной части острова Хонсю храмы имели до 90 % земельных владений[1]. В середине периода Муромати земельный доход крупного храма Риндзай Дзен был больше, чем у императорской семьи. Районы, где буддийские храмы владели наибольшей долей земли, были как раз теми, в которых к 1500-м гг. наиболее внушительно развивалась рыночная экономика [Hauser 1974; Hall, Nagahara, and Yamamura 1981].

Монастырские предприниматели

Храмы были первыми предпринимательскими организациями в Японии, первыми, кто объединил контроль над факторами труда, капитала и земли так, чтобы применить их для расширения производства. Неудивительно, что именно в монастырях (особенно

стырских] доходов; в эпоху Сун эти грамоты обращались в сфере частных перепродаж. В Китае эти грамоты стали использоваться в качестве бумажных денег и являлись средствами инвестирования на спекулятивном рынке [Ch'en 1964: 241–244].

[1] Такова в конце 1100-х гг. картина провинции Ямато (отдаленного от побережья района старой столицы Нара). Доля храмовых земель варьировала в разных частях Японии; согласно одной из общих оценок считается, что в начале 1200-х гг. храмы владели 60 % возделываемой земли. Консервативная оценка по всему периоду Средневековья — 25 % [McMullin 1984: 22–23, 33].

в крупных централизованных орденах движения Риндзай — Пять гор) мы находим первые случаи развития рационализированного администрирования с годовыми планами и практиками строгого бухгалтерского учета. К середине 1400-х гг. уже имелись подробные бухгалтерские книги и правила, требующие подписей надзирающих комитетов и руководителей подчиненных храмовых структур [Akamatsu and Yampolsky 1977: 327–328; Collcutt 1990: 621–622]. Это структурное развитие помогает объяснить то значительное расширение сельскохозяйственного производства, которое началось в середине 1300-х гг. [Yamamura 1981: 310]. Резонно сделать вывод о том, что процветание монастырей и их способов действия прокладывало путь, которому в период Сэнгоку, в 1470–1580-е гг., следовали провинциальные даймё. Ямамура подчеркивает значение рациональных практик даймё в мелиорации земель, в контроле над водными ресурсами и оросительными системами, в горной добыче [Yamamura 1981]. Все это вместе со сбором двух урожаев, появлением рынков удобрений привело с 1550 по 1650 г. к значительному увеличению производства сельскохозяйственной продукции как основы экономического богатства эпохи Токугава. Мы видим даймё, в противоположность их прежней роли по сугубому изыманию феодальной ренты, выступающими теперь в качестве надзирателей и поставщиков факторов производства [Nagahara 1990: 342]. Этой роли верховного землевладельца (overlord) как предпринимателя предшествовала только одна модель — монастырские собственники.

5. Буддийская экономическая этика

Этика самодисциплины и аскетической сдержанности в потреблении, приводящая к накоплению и инвестициям, возникала в контексте внутренних реформ средневекового японского буддизма. В первых храмах периодов Нара и Хэйан (ок. 700–1200 гг.) проводились пышные церемонии по примеру аристократических и придворных, соединявшие магию и ритуалы Сингона с традиционной обрядностью главных японских кланов. Буддийские движения, распространявшиеся начиная с 1200 г., выступали против этого господства церемониальной религии, действуя сходно, с одной стороны, с дзенскими реформами в монастырях, с другой стороны, —

с движениями Чистой земли, упрощавшими [религиозное] участие для простого люда.

Мастера Дзен устанавливали правила дисциплинированной монашеской жизни, пытались отсечь магию и церемонии. Практики медитации Дзен были ориентированы не на погружение в глубокий транс, а на обучение спокойной внимательности с полуоткрытыми глазами (особенно это было характерно для *дзадзен* ветви Сото). Китайские монастыри Чань в эпоху династии Тан, порывая с зависимостью от пожертвований со стороны аристократии и двигаясь к экономической самодостаточности, сделали труд частью религиозной дисциплины. В Японии ветвь Сото порвала с аристократическим покровительством более резко, чем Риндзай. В еще более крайних формах Дзен повседневная деятельность — в том числе и труд — считалась хорошей возможностью для медитативной практики. Тем самым, религиозная дисциплина была распространена на экономическую деятельность, причем весьма основательным образом в плане перспективы на будущее. Отчеты о просветлении знаменитых монахов включают опыт выполнения таких скромных задач, как подметание пола. В движении Сото Дзен, в частности, делался упор на то, что религиозный идеал состоит не в бегстве от мира, но в том, чтобы продолжать сосредоточение на обычной деятельности, даже после просветления [Dumoulin 1990]. Ученые, искавшие источники этой японской трудовой этики, указали на Судзуки Сёсана, жившего в начале периода Токугава, — дзенского монаха, не входившего в тогдашние основные секты. Судзуки проповедовал среди простых людей, он явным образом утверждал, что весь труд — это буддийская духовная практика, формулировал этику для торговцев, делая упор на выполнении обязанностей без корыстного стремления достичь личных выгод [Nakamura 1967; Yamamoto 1992].

Ортодоксальные секты [японского буддизма] еще раньше начали продвигать экономическое развитие среди простонародья. Движение Нитирэн делало особый акцент на аскетизме и дисциплине. Будучи радикально настроенным против церемониала, оно свело ритуал и доктрину к произнесению имени Сутры Лотоса. Нитирэнсю было движением эмоциональной ортодоксии, взывавшим к тому, чтобы постоянно заниматься самоочищением, находясь в гуще повседневной жизни. Как и в других ветвях движения Чистой земли после реформ Синрана, религия смещала акцент с мирских выгод,

ожидаемых от магии и ритуала, к этическим вопросам, связанным с внутренней греховностью и спасением в потустороннем мире. По этой причине Синрана нередко описывают как японского Мартина Лютера. Противники иногда высмеивали движение Чистой земли как слишком легкий путь к спасению, поскольку в нем считалось, что для возрождения в раю нужны всего лишь регулярные песнопения *нэмбуцу*. Однако эти обвинения ошибочны, поскольку упускают из вида социальную и психологическую реальность практики Чистой земли. Ее миссионеры проповедовали, что грешников ожидают адские муки; при этом имело место огромное эмоциональное давление, направленное не просто к тому, чтобы верующие впервые искренне воззвали к божественной благодати, но чтобы они постоянно подтверждали свою приверженность вере в повседневной жизни. Движение Нитирэн славилось своими яростными нападками на греховность господствовавшего социального порядка аристократов и высших иерархов, а также своей непреклонностью перед лицом религиозных преследований. По мере того как в 1400-х гг. в этом движении вырастали монастыри и увеличивалось число приверженцев-мирян, оно стало славиться своими военными состязаниями. Буддизм Нитирэн становится активистской религиозной этикой наравне с орденами крестоносцев в средневековом христианстве и пуританскими движениями в протестантизме XVII в. Вполне сопоставимы пуританские армии периода Английской революции и армии буддийского движения Нитирэн в предыдущих столетиях.

Движение Нитирэн-сю распространялось преимущественно среди горожан и было главной городской религией как раз тогда, когда Япония превращалась из страны сельских усадеб в сеть рыночных городов. Соперничавшее движение Икко опиралось на еще одну социальную основу, организуя группы приверженцев среди крестьян. Таков наиболее яркий пример религиозной сети, пронизывавшей сельскую местность и соединявшей ее с городскими центрами. Следуя за реформами, которые в середине 1100-х гг. централизовали эти организационные сети, общины Икко во всей Центральной Японии стали выплачивать регулярные взносы не местному храму или настоятелю, а непосредственно центральному руководству [Weinstein 1977]. Именно большой храм Исияма Хонган-дзи в бухте Осака стал крупнейшим и самым могущественным храмом, действительно самой сильной организацией в экономическом и военном

отношении, превосходящей в Японии 1500-х гг. соперников любого типа. Он также является поразительным примером того, как религиозно организованные экономические сети выплескивались в светскую экономику. Осака — город, который в начале периода Токугава стал своего рода торговым складом Японии, а вскоре стал городом крупнейших купеческих предприятий, таких как Сумитомо и Мицуи, центром осознанной коммерческой идеологии, — появился как *адзинаймати*, т. е. небольшой рыночный городок в стенах храма Хонган-дзи. Религиозная экономика в своей наиболее эффективной части стала в Японии ведущим вектором развития светского рынка.

6. Буддийский вклад в бюрократическую законность и права собственности

Давайте теперь поднимемся по причинно-следственной цепочке к принципиальным условиям (см. верхнюю правую часть схемы на рис. 11). Мы уже обсудили следствия всеобщего вовлечения в веру и буддийских духовных практик. Нужен особый комментарий относительно того способа, которым японский буддизм обеспечивал систематическое право для защиты имущественных сделок. Эту роль в Европе Вебер приписывал появлению государственной бюрократии вкупе с традициями греческого гражданства и римского права. Однако в конфуцианских институтах, импортированных из Китая, не было независимой профессии стряпчего (законника, юриста), не было и свода законов [о собственности] помимо государственного административного права, которое явно не было ориентировано на защиту сделок с частной собственностью. Более того, даже государственно-бюрократический аспект конфуцианских институтов не был воспринят в Японии, где, в управлении страной господствовали в первую очередь придворные аристократы, а во вторую — независимые феодальные воины. Умиротворение в период Токугава было обусловлено не введением централизованной государственной бюрократии, но тщательно отслеживаемыми альянсом и балансом сил между уделами даймё, каждый из которых имел свою местную армию и администрацию. В конечном счете вырастали некоторые элементы бюрократии по мере того, как сёгунат Токугава и провинции развивали свои собственные

администрации, обременяя чиновников большими объемами бумажной работы, многочисленными правилами и ведением записей [T. Smith 1988a: 138–139].

Структурная проблема состояла в том, что самураи должны были подчиняться законам, которые регулировали их поведение по отношению к своим покровителям и в пределах их собственной статусной группы, но не было никаких законов, регулировавших их отношения с нижележащими социальными слоями. Купцы и фермеры не имели никаких прав по самурайским законам, а самураи де-юре были совершенно свободны в жестоком обращении с этими и более низкими сословиями, особенно в наказании их за личные оскорбления, нарушавшие нормы ритуального почтения [Henderson 1968; Katsumata and Calcutta 1981; Ikegami 1995]. Основная часть законов в уделах даймё, разработанных в период Сэнгоку, состояла из заповедей, регулировавших поведение стражей в домах местных правителей. Отдельные правовые положения были установлены для простых людей, но они в основном были сосредоточены на пресечении преступного поведения, непокорности и мало касались регулирования вопросов передачи собственности. Гражданское право и соответствующая защита сделок с частной собственностью практически не существовали, хотя даймё иногда рассматривали такие споры в своих уделах. На протяжении всего средневекового периода, как и в большей части истории Китая, государственная политика, проводимая сёгуном и даймё, состояла обычно в периодическом списании долгов для защиты самураев или фермеров, действуя, тем самым, против интересов кредиторов — купцов и храмов. Трудно себе представить, как вообще в этих условиях могли возникнуть обширные рынки факторов производства и как могли процветать предпринимательство и инвестирование. Поведение экономически активных слоев населения никак не регулировалось и не защищалось правом, тогда как связанному законом и обладающему властью слою самураев было запрещено их уставом вести экономически прибыльную деятельность.

Эта головоломка решается, как только мы возвращаем в данную картину буддийские организации. Буддизм в пределах своей собственной сферы включал систематические правовые нормы, позволявшие ему расширять свои рынки факторов производства и, тем самым, сеять семена веры в окружающем обществе. Буддизм издавна содержал внутри себя законничество, воплощенное в правилах

Виная, которые охватывали каждый аспект монашеской жизни, в том числе обладание монахами личным имуществом и пользование коллективной собственностью. И в китайских и в японских монастырях появилась полновесная бюрократическая структура. Монахи занимали специализированные позиции ученых, помощников, обслуживающего персонала, рабочих, простых братьев, стражей и многие другие. Высшая администрация монастыря была разделена на Западный сектор, отвечавший за религиозное обучение и практику, и Восточный сектор, который заботился о материальной и финансовой деятельности этой организации [Akamatsu and Yampolsky 1977: 325–328]. Восточный сектор был весьма крупным в богатых храмах, он включал множество подразделений и имущественных владений.

Задача управления внутренними операциями между частями корпоративной собственности храма подобно клину продвигала и неуклонно расширяла сферу правового регулирования экономических сделок. В формативном экономическом периоде Средневековья, когда храмы были основными держателями *сёэн* (поместий, из которых изымалась арендная плата в натуральной форме чиновниками аристократии или храмов), храмовый закон был законом соответствующего удела, а значит, какие-либо правители извне не имели законного права на доступ [к этим ресурсам] [McMullin 1984: 26, 32; Wakita and Hanley 1981: 318–322]. После 1300 г. храмы действовали как законная власть и решали арбитражные споры между купцами, жившими как на территории самих храмов, так и в городках, выраставших вокруг них. Когда в период Сэнгоку многие из этих городков стали самоуправляемыми, особенно те, что были под номинальным управлением сект Икко и Нитирэн, торговые и ремесленные гильдии *дза* присваивали себе полномочия по вынесению судебных решений в собственных делах.

В принципе, согласно средневековому праву, земля могла быть присвоена только каким-то лордом-аристократом, тогда как частные операции с землей были незаконными. Тем не менее в самоуправлявшихся городах, таких как Сакаи, землю можно было покупать и продавать. Освященные буддизмом правовые структуры защищали собственность от списания долгов. Эта защита собственности распространялась и в феодальных провинциях, поскольку воюющие даймё старались привлечь торговцев в свои уделы, гарантируя такую же защиту собственности в городках, прилегающих к их замкам.

То, что буддийские организации разрабатывали некую внутреннюю правовую систему, само по себе не устанавливало законных прав в окружавшем политическом порядке. Более того, в Японии не было эквивалента папства, которое в Европе выступало в качестве руководящей инстанции и [верховного] суда, в который обращались по поводу имущественных споров и сделок между церковными структурами, и который защищал церковное имущество перед лицом светской власти [Southern 1970]. Папство придало особый импульс развитию европейской правовой системы благодаря разработке канонического права и включению юридических школ в покровительствуемые церковью университеты [Berman 1983]. Эквивалента папству в Японии не было, но был некий заменитель: могущество крупных монастырей, основанное на монашеских армиях. С тех пор, когда в конце XI в. стражи (*сохэй*) монастыря горы Хиэй внушили страх правителю Киото, и до тех пор, когда в период Сэнгоку секты Чистой земли стали собирать десятки тысяч воинов, буддийские организации становились все лучше и лучше оснащенными для защиты своих прав. Стражи *сохэй* часто начинали действовать из-за имущественных претензий, многие из их военных вторжений в Киото были вызваны ссорами между соперничавшими сектами (а иногда между интересами сект и их светских противников) по поводу собственности (см., например, [McMullin 1984: 22]). Японские историки всегда описывали эти инциденты в тоне порицания беспутства и бездуховности монахов, но с аналитической точки зрения они представляли собой действие политической машинерии буддизма, способного утверждать права собственности.

В социологическом плане нам вспоминается, что Вебер указывал на происхождение гражданства в социальной организации вооруженных сил, таких, как боевая фаланга греческих городов-государств и обеспечивающие свою амуницию рыцари европейской феодальной системы [Weber 1961: 237–240]. В обоих случаях гражданские права совместного политического участия формировались через корпоративные структуры вооруженных людей. В Японии эти корпоративные структуры возникали в буддийских орденах. Японская буддийская концепция «гражданства» делала акцент не на права отдельного монаха, а на коллективные права общины — *сангхи*, на монастырскую структуру в целом; сила монашеской армии превращала это в права, которые эффективно, пусть и неохотно, признавались на практике. В эпоху Сэнгоку такая корпоративная, а по

сути дела, организационно-правовая, форма распространилась за пределы монастырей посредством *монто* (крестьянских конфедераций), поддержанных движениями Чистой земли. Эпоха буддийских армий совпала с превращением буддийских храмов в экономических предпринимателей и с подъемом автохтонного японского капитализма. В XVI в. эти силы были подорваны завоеваниями Оды Нобунаги и Хидэёси, но к тому времени капиталистический динамизм уже распространился на окружающее общество.

Религиозный капитализм в Японии, как и везде, совершал свои набеги незаметно. Не то чтобы современники не знали о хозяйственной деятельности церкви, но они воспринимали эту активность как нечто неправомерное, как упадок и предательство религиозного идеала. Порицание храмового ростовщичества, коммерциализации, а также торговцев и крестьян, не остававшихся, как положено, на своих местах, было весьма распространено, начиная с эпохи Муромати и позже [Collcutt 1990: 607]. Крупные храмы считались испорченными жаждой наживы, а политическая независимость и богатство народных сект Икко и Нитирэн рассматривались как посягательство на социальную иерархию. В 1500-е гг. заметная мощь буддийской экономики привела к идеологическим последствиям: широко распространилось мнение, что буддийские пастыри были лицемерами под личиной ложной религиозности, и само слово «священник» стало ругательным [McMullin 1984: 268]. Подобные, характерные для Реформации, настроения относительно папства и католических монашеских орденов были широко распространены в Европе, где видимое богатство церкви и его приоритетность над духовностью способствовали делегитимации этих институтов и проторили путь для военно-политических репрессий; однако к тому времени религиозные институты уже сделали свое дело. Религиозный капитализм посеял свои семена в более широком окружении, а ресурсами, которые предоставляла поднимающаяся капиталистическая экономика, теперь уже могли распоряжаться противники церкви.

7. Прорыв к светской экономике

В период Муромати светский капитализм начал освобождаться от храмового капитализма. Независимо от храмов возникали новые гильдии, ростовщичество, и рынки в посадах *мондзенмати* выходи-

ли из-под контроля храмов. К концу 1400-х гг., когда начался военный период Сэнгоку, система владения оброчными поместьями *сёэн* в значительной степени разрушалась, поскольку землю присваивали местные администраторы, воины или крестьянские общины. Хотя таким образом крупные храмы традиционного толка постепенно лишались своих владений, в трансформации собственности ключевую роль играли новые религиозные организации простого люда. Крестьянские восстания 1470-х гг. и более поздние, лишавшие как храмы, так и аристократов традиционной принудительной земельной ренты, достигали успеха главным образом тогда, когда они были организованы как крестьянские конфедерации (*монто*) под эгидой секты Чистой земли — Икко. Экономическое управление переходило от более традиционных храмов к самым рыночно ориентированным храмам. Руководство Икко, располагавшееся в храме Хонгандзи на берегу бухты Осака, меняло порядок денежных взносов. Конфедерации *монто* пользовались самоуправлением на обширной территории северной и центральной Японии и в течение ста лет не платили никаких налогов светским землевладельцам.

Окончательный переход к светской экономике был осуществлен в связи с объединительными войнами, которые в 1570-х и 1580-х гг. вели Ода Нобунага и Хидэёси. Рост военной организации в это время стал возможным благодаря развитию храмового капитализма и его распространению в светском окружении. Организация крупномасштабных буддийских армий стимулировала переход от феодального ополчения к массовым дисциплинированным войскам конца периода Сэнгоку [Kitagawa 1990: 122; Sansom 1961: 289]. Нэгоро-дзи был огромным сингонским храмом, который стоял в одном ряду с Хонга-дзи. Поскольку Нэгоро-дзи был крупнейшим феодальным землевладельцем в экономическом хартленде центральной части острова Хонсю, в нем впервые стали производить мушкеты и мортиры. Его монахи-воины служили в качестве наемников и присоединялись к Нобунаге в его ранних кампаниях [Hall, Nagahara and Yamamura 1981: 4; McMullin 1984: 43–55, 155, 237]. Известное новшество Нобунаги, состоявшее в разрыве с самурайской традицией и в создании армии, набиравшейся из вооруженных мушкетами простолюдинов, было, по сути дела, принятием монастырского способа [военной организации].

К 1550 г. конфедерации *монто* являлись мобилизованными силами величиной в 20 тыс. чел, включая корпус мушкетеров. Япония

объединилась, когда один из даймё взял под контроль достаточное число коммерческих центров и использовал их ресурсы для того, чтобы собрать армию, бóльшую, чем у любых его соперников. Это произошло около 1580 г., когда силы Нобунаги выросли до 137 тыс. чел.[1] Способность мобилизовать войска зависит от логистики — способов хранения и перемещения грузов. То, что такие огромные силы могли быть экипированы и доставлены на поле боя, указывает на существование в то время рыночных сетей. Войны за объединение велись военными союзами, выступавшими за или против крупнейших монастырей. Храм и монастырь Хонга-дзи, который контролировал богатейшую область центральной части Хонсю, был центром коалиции, сражавшейся с альянсом Нобунаги. Будучи обеспечен водой и подключен к речной транспортной сети, проходящей через центральные и даже более отдаленные районы Японии, монастырь Хонга-дзи выдержал десятилетнюю осаду, а его капитуляция стала решающим моментом этой войны.

Объединители Нобунага и Хидэёси проводили политику конфискации монастырской собственности, во многом сходную с политикой протестантской Реформации в Европе. Привилегии гильдий были подорваны созданием свободных рынков; барьеры платы за вход на рынок (которые использовались храмами в качестве источников дохода) были упразднены, и в рамках уделов купцам теперь разрешалось свободное передвижение. Нобунага повышал привлекательность своих владений для купцов, отменяя обнародованные ранее светскими землевладельцами указы о списании долгов, и тем самым защищая купеческую собственность. Хидэёси пошел еще дальше, уничтожив власть самоуправляемых посадов — городков, возникших под эгидой храмов, отменив гильдии и избавив купцов и ремесленников от арендной платы для того, чтобы освободить их от контроля со стороны как аристократов, так и храмов. Конечным результатом стал существенный упадок буддийского капитализма. Храмовые структуры уменьшились до крошечных размеров и были практически лишены собственности. Это было

[1] Такая мобилизация массовой военной силы достигла своего пика в начале периода Токугава, когда в 1634 г. сёгун Иэмицу для демонстрации силы провел маршем через Киото войско в 307 тыс. чел.: эта армия фактически была больше, чем все европейские армии того времени, которые как раз тогда переживали свою революцию быстрого роста [McMullin 1984: 212; Ooms 1985: 54; Parker 1988].

стремительным падением в сравнении с пиковыми значениями средневекового периода, когда храмы владели как минимум 25 % обрабатываемых земель; к началу периода Токугава эти владения сократились до 2,5 % [McMullin 1984: 251].

Развитие капитализма массовых рынков в период Токугава

Ведущий сектор буддийского капитализма послужил катализатором для развития светского капитализма, что к 1500 гг. превратило центральные области Японии в сеть рыночных городов. Накопленные экономические ресурсы были доступны для обращения в военные и политические формы, что сделало возможным новый режим генералов-завоевателей, которые и составили правительство Токугава. Страна вошла в фазу полноценного сельскохозяйственного капитализма: торговые отношения пронизывали сельскую местность, тогда как новые ведущие сектора несельскохозяйственных товаров и услуг начали продвигать Японию к еще более высокой ступени капиталистического роста.

Токугава был периодом второй волны экономического бума. По мере того как светский рыночный капитализм (3б) перерастал религиозный капитализм (3а), Япония обретала знакомые черты городского благосостояния того времени, однако экономический рост в период Токугава отнюдь не был гладким. Примерно после 1720 г. дальнейшее развитие капитализма в Японии стало довольно неоднозначным. Но это вовсе не было застоем. С 1600-х гг. экономика Японии находилась в пределах тех же масштабов развития, что и Западная Европа в целом. В Европе тоже были периоды 30–100 лет, когда тот или иной национальный регион лидировал или отставал, но в рамках более или менее общей институциональной структуры и взаимосвязанной рыночной экономики [Mann 1993: 262–263]. Если Англия или Соединенные Штаты шли впереди в течение десятилетий середины XIX в., когда были возобновлены западные контакты с Японией, то подъемы и спады Японии происходили в диапазоне изменений, сходном с тем, что было в других развитых западных странах (например, во Франции) в период после 1700 г.[1] По боль-

[1] К 1800 г. стандарт уровня жизни японских рабочих был не намного ниже, чем у английских рабочих, которые сами значительно выделялись в Европе по

шинству главных критериев Япония периода Токугава являлась существенно современным — модерным обществом. Ее беды были во многом теми же самыми, что характерны для экономики с господством рынка, а политические трудности сёгуната являлись как раз теми, что делали режимы зависимыми от сильно монетизированной коммерческой основы. Господство капиталистической рыночной экономики сделало правительство заложником своей налоговой базы, а разорившихся военных аристократов — зависимыми от прежней аграрно-принудительной системы изымания ресурсов [Goldstone 1991: 402–414]. По данным причинам значение Реставрации Мэйдзи было переоценено. Это была политическая революция внутри существенно современной институциональной структуры, а не внезапным *deux ex machina*, который начал разрыв с традиционализмом и открыл путь к чудесному прыжку вперед и достижению паритета с европейскими первопроходцами. В этом отношении революция Мэйдзи напоминает ряд французских революций с 1789 до 1871 г., которые сметали остававшиеся правовые институты и традиции аристократического господства прежнего аграрно-принудительного режима. В обоих случаях — европейском и японском — институциональные структуры капиталистической рыночной экономики уже пронизывали тело традиционного общества.

Иногда утверждается, что Япония эпохи Токугава не была капиталистической, поскольку там было мало технологических инноваций, особенно в области промышленного оборудования. В этом отношении Япония резко контрастирует с популярным образом индустриальной революции как известного прорыва в Англии около 1770 г., связанного с изобретениями парового двигателя и заводских машин. Однако институциональное ядро капитализма, представленное на рис. 10 (с. 359), не включает технологию массового производства как таковую. Как отмечал Вебер, промышленная технология является результатом стимула к рационализации производства применительно к специфической сфере фабричного производства; таков поздний компонент в причинно-следственной цепи

этому критерию [Yasuba 1986; Hanley 1986]. В Японии периода Токугава был самый высокий в мире уровень грамотности населения и один из старейших и крупнейших коммерческих книжных рынков [Dore 1965; Moriya 1990]. Об экономическом росте в эпоху Токугава см.: [Hanley and Yamamura 1977; Nakane and Oishi 1990; Totman 1993; Hauser 1974; Nakai and McClain 1991; T. Smith 1959; Toby 1984; Crawcour 1963, 1989].

[Weber 1961: 133–136]. Рационализация в этом смысле означает применение экономической этики расчета и инвестиций, направленной на устойчивый рост прибыли. Но рационализация техники не обязательно включает машинное оборудование; в Европе, как и в Японии, была очевидной рационализация в развитии систематических методов увеличения производства сельскохозяйственной продукции (экспериментирование с культурами зерновых, систематический севооборот, внесение удобрений и т. д.), которые к 1700 г. были предметом популярных учебных пособий в обоих регионах [T. Smith 1988a: 173–198]. На дороге Токайдо между Киото и Эдо службы быстрой почты рационализировали свою работу, чтобы сократить время доставки писем и товаров от шести дней в 1650 г. до двух дней в 1800 г. — не такое уж большое отличие от того, как почти в те же годы английские компании наращивали скорость связи и транспортировки почтовыми дилижансами [Moriya 1990: 107–112; Braudel 1979/1984: 1, 424–428].

Японский капитализм развивался без особых инноваций в промышленной технологии из-за своей особой модели рыночного роста. Сельскохозяйственное производство интенсифицировалось через малые предприятия, а не крупные; до 1930-х гг. преобладал текстиль, а не тяжелая промышленность, что делало наиболее прибыльными трудоемкие технологии [Rosovsky 1961; T. Smith 1988a: 42–45]. Было бы ошибкой полагать, что трудоемкая технология не может быть инновационной или не может включать расчет, ориентированный на рациональное использование рыночных возможностей. В период Токугава в одной из первых рыночных отраслей экономической экспансии — шелковой промышленности — производство было рационализировано путем селекции и разведения шелковичных червей для улучшения качества шелка и получения новых местных сортов. Также росло разделение труда в производстве товаров для рынков за пределами традиционного потребительского сектора [Morris-Suzuki 1994: 34–39]. Здесь мы находим капиталистические инновации, включавшие не трудосберегающие машины и не крупные фирмы, а скорее рост специализации и обмена среди множества мелких [производственных] единиц. Подсчитано, что к концу периода Токугава «промышленная» продукция, включавшая несельскохозяйственные товары, а также услуги, сделавшие бытовые потребительские товары доступными даже самым бедным социальным слоям, составляла 40–45 % национального дохода

[Howe 1996: 54]. В 1910-х и 1920-х гг., после того как Япония вышла на мировой рынок, японские предприятия намеренно упрощали технологии, заимствованные с Запада, чтобы соответствовать азиатским экспортным рынкам дешевых товаров, а также японским моделям децентрализованной организации производства и максимальному сбережению ограниченного сырья [Morris-Suzuki 1994: 67, 107–108].

Японцы рано развили экономику массовых рынков путем, альтернативным по отношению к машинному производству стандартизированных товаров. Вместо этого японский капитализм расширялся через увеличение числа рыночных ниш для различных продуктов и в широком диапазоне качества. Эта организация производительных сетей иногда ошибочно принимается за «кустарный способ производства», который считается характеристикой феодальных, или досовременных, рынков. Однако такой способ лучше соответствует предложенной Уайтом модели рыночной экспансии, ищущей новые ниши [White 1981], — модели, которая стала столь значимой в специализированных потребительских рынках конца XX в. [Sab 1994]. Даже применительно к Западу, наш взгляд на промышленную революцию слишком стереотипно сосредоточен на «революции железа и пара» 1760–1830 гг., за которой последовала «вторая промышленная революция» примерно 1880–1940 гг., связанная с химическим производством и электротехникой, а после 1960 г. — так называемая «постиндустриальная», или «постсовременная», экономика электронных коммуникаций. В рамках схемы, представленной в этой главе, все они являются фазами этапа (3c). Вместо того чтобы считать Японию лишь опоздавшей к началу промышленной революции, мы должны рассмотреть показанные ею альтернативные пути прохождения фазы технологических инноваций и производства для массового рынка.

8. Значимость религиозного капитализма в мировой истории

Капитализм не становится полноценной системой, проникающей в новые рыночные ниши, создающей новые продукты и производственные методы, до тех пор, пока не будет собран особый состав социальных институтов. Давая веберианской модели шумпете-

рианский поворот, мы можем сказать, что все факторы производства (не только товары, но также земля, труд и капитал) должны приводиться в движение, отвечая на рыночные возможности, будучи собранными под контролем предпринимателей, которые мотивированы экономической этикой расчета и инвестиций, ориентированных на будущее. Наиболее значимый пункт в анализе Вебера состоит в том, что господствовавшие структуры аграрно-принудительных обществ являлись серьезными препятствиями для институтов динамично развивающегося капитализма. Купечество, денежная система и торговля на большие расстояния сами по себе были совместимы с продолжавшимся господством аграрно-принудительных структур. Чтобы вырваться из них, требовался определенный набор структурных преобразований: появление отношений собственности для высвобождения всех факторов производства и оказания правовой защиты рыночных сделок, размывание социальных барьеров, препятствовавших полноценному участию индивидов в рынке, а также нужно было как-то обойти статусную иерархию, в которой мотивы людей работали против долгосрочного расчета, аскетической сдержанности и установок на инвестирование.

Указания Вебера полезны и в другом отношении: религиозные институты были наиболее вероятным местом в рамках аграрно-принудительных обществ, в котором впервые мог быть собран ведущий сектор капиталистических институтов. Я предположил, что полный набор таких институтов может быть найден в анклавах религиозных экономик в трех исторических случаях: в средневековой христианской Европе, в средневековом буддийском Китае и в буддийской Японии до эпохи Токугава. В каждом случае за первоначальным прорывом религиозного ведущего сектора последовала церковная реформация, в ходе которой сокращалась дистанция между священнослужителями (religious specialists) и мирянами, а также была конфискована религиозная собственность. В каждом случае результатом стала вторая волна самотрансформирующегося капиталистического роста в светской экономике сельскохозяйственного капитализма. Объяснению все еще подлежит то, почему некоторые из этих процессов развития продвинулись дальше к промышленной революции в несельскохозяйственном производстве, однако представляется очевидным, что данное явление могло иметь место только на фоне предшествовавшего прорыва из аграрно-принудительных структур.

Логика модели Вебера—Шумпетера не является европоцентрической, даже несмотря на собственное ее применение Вебером к [европейской] истории. В широком смысле, аграрно-принудительные структуры были распространены по всему миру. Прорыв [из этих структур] благодаря религиозным экономикам также произошел в нескольких частях мира, как в христианской, так и в буддийской форме. Религиозный капитализм в средневековом Китае заложил основу для особой роли династии Сун в мировой торговой системе, как показала Абу-Луход [Abu-Lughod 1989], тогда как религиозный капитализм в Западной Европе помог этой части света — отдаленному и варварскому краю мировой торговой сети — начать свою агрессивную экспансию. Религиозный капитализм в позднесредневековой Японии заложил институциональную основу для следующего этапа светского капитализма. Это, в свою очередь, привело к общему возрождению Восточноазиатского экономического динамизма, который поднялся до столь внушительных высот в мировой торговой системе XX века.

Приложение А

Как моделирование компактной теории может воспроизвести запутанные пути истории

Роберт Ханнеман, Рэндалл Коллинз, Габриэль Мордт

Одна из причин слабости соотнесения социологических теорий с социальным миром заключается в том, что обычно в них мало уделяется внимания времени и истории. Теория обычно закрепляет общие тенденции: например, правители озабочены легитимностью, конфликт производит солидарность, военно-промышленный комплекс приводит к войне. Каждое такое предложение стоит особняком в качестве обобщения *ceteris paribus* — при прочих равных условиях.

Выводы о поведении систем, описываемые такими утверждениями, часто далеко не очевидны, причем по многим основаниям. Наиболее важными из них являются множественность причин и процессы обратной связи между ними. Даже в очень простых теоретических моделях могут быть неожиданные результаты. Круги положительной обратной связи ускоряют основные процессы и приводят некоторые из них к верхним значениям, где они и останавливаются; круги отрицательной обратной связи дают противодействие сил, которые иногда приводят к устойчивому равновесию, иногда — к колебаниям, а иногда и к хаосу.

Когда теория формулируется устно, как, например, классические представления Вебера и Зиммеля о конфликте, такие варианты остаются открытыми. Мы не знаем, что подразумевается в теории, пока она остается на уровне отдельных общих принципов и абстрагируется от времени. Одним из способов преодолеть это незнание

является экспериментальное исследование таких теорий с помощью компьютерного моделирования. Эта деятельность является процессом совершения открытия: ведь на самом деле непонятно, что теория говорит о мире, пока с ней не экспериментировали как с динамической моделью[1].

Такие эксперименты обнаруживают несколько вещей. Во-первых, они заставляют нас тщательно продумывать абстрактные принципы существующих теорий и добавлять механизмы, которые позволяют этим принципам выдавать реалистичные результаты, накапливающиеся со временем. Лакуны в теории, как правило, неочевидны, пока кто-то не попытается написать программу, определяющую, что произойдет в процессах итерации и взаимодействия. Таким образом, компьютерное моделирование является стимулом для развития теорий.

Эксперименты по моделированию динамики также часто показывают, насколько важными являются даже примерные количественные условия для формирования общих паттернов социального действия. Различные количественные начальные точки могут привести к совершенно иным результатам, даже в рамках одной теоретической модели. Можно экспериментально показать, что количество превращается в качество. Тот факт, что произвольные различия в начальных точках могут приводить к столь громадным различиям для последующих путей развития, названный «эффектом бабочки» в лабораториях, разрабатывающих теорию хаоса [Gleick 1987: 9], также связан с нашей последующей темой, поскольку огромное разнообразие вариаций в истории оказывается всего лишь количественными изменениями, которые производятся относительно простым глубинным порождающим механизмом.

Методы компьютерного моделирования могут помочь перебросить мост между теорией и историей. Часто утверждается, что бесконечная вариативность истории никогда не может быть объяснена на основе абстрактных принципов социологических теорий и что мы никогда не сможем сделать что-то большее, чем описывать

---

[1] Это переработанная версия статьи, первоначально написанной в соавторстве с Робертом Ханнеманом и Габриэль Мордт. Технические детали представленных здесь модельных экспериментов, а также ссылки на литературу (объем которой постоянно растет) по компьютерному моделированию в социологии, можно найти в работе [Hanneman, Collins, and Mordt 1995].

и интерпретировать конкретные исторические последовательности. Тем не менее даже сравнительно простая динамическая теория дает не только один результат, но некий путь к различным исходам, меняющимся во времени, а также ряд различных, расходящихся во времени путей, определяемых начальными условиями. Известные черты неустойчивости реальной истории, с ее странными ветвящимися паттернами и внезапными переломными моментами отнюдь не являются доказательством того, что теоретическое объяснение истории невозможно. Напротив, именно эти типы паттернов производятся в компьютерном моделировании весьма простой абстрактной теории.

Моделирование динамической теории находится на полпути между количественным и качественным направлениями в социологии. В социологических подходах, где в центр мировоззрения ставится процесс, как правило, подчеркиваются уникальные происшествия или конфигурации событий и переживаний (таковы, например, интерпретации на микро/мезоуровне с позиций символического интеракционизма или других подходов, на макроуровне — многие современные работы по исторической социологии). С точки зрения черствого и педантичного (unsympathetic), приверженного количественным методам, социолога, такая качественная социология выглядит как опирающаяся на анекдотические данные и на объяснения, которые в лучшем случае правдоподобны, но никогда не могут быть доказаны. Социолог качественного/интерпретативного направления особо не возражает, но считает свой подход наилучшим из того, что можно делать, он полагает, что социологи, занимающиеся формальными/систематическими исследованиями, не достигают и этого.

Исследователи, занимающиеся моделированием динамических теорий, вполне могут разделять особое внимание к процессуальности в мировоззрении сторонников качественной социологии; действительно существует огромное разнообразие исторических событий, пути развития бывают крайне неустойчивыми, и могут происходить самые разные последовательности событий. Тем не менее динамическое моделирование не принимает текучесть и конкретность истории в качестве коренной основы для анализа, но продолжает исследовать, каким образом различные последовательности порождаются из относительно компактной базовой модели. Ключевой момент состоит в следующем. Динамическое моделирование

показывает, что степень нестабильности и конкретность сами являются переменными: в некоторых условиях жизнь разворачивается в простых повторениях или линейной последовательности событий, в других условиях, которые могут быть зафиксированы с помощью модельных экспериментов, те же причинные процессы ведут к гораздо более сложным паттернам или даже к областям хаоса и непредсказуемости. Такой взгляд с позиций моделирования динамической теории позволяет отдать должное как процессуально-конкретному аспекту реальности, так и обобщенному формально-систематическому аспекту.

1. Конфликтная теория динамики легитимности и внешнее могущество государства

Чтобы проиллюстрировать процесс обнаружения теоретических выводов с помощью компьютерных экспериментов, мы моделируем некоторые принципы, взятые из классической теории конфликта: отношение между внешним конфликтом и внутренней групповой солидарностью, заявленное Зиммелем и Коузером [Simmel 1955; Coser 1956], а также обсуждение Вебером связи между легитимностью правления и геополитически обусловленным престижем государственного могущества [Weber 1968: 901–926]. Поскольку нас больше заботит развитие теории, а не толкование текстов, мы ограничимся общими формулировками принципов, которые будем здесь моделировать.

Принцип Зиммеля—Коузера состоит в том, что конфликт с внешними группами повышает внутреннюю сплоченность. Как следствие, руководители групп, стремящиеся получить внутреннюю поддержку своей власти, заинтересованы в конфликтах с внешними врагами [Coser 1956: 87, 104]. Вебер предлагает некоторые следствия из этих принципов для международного конфликта и политической власти. Он связывает легитимность правителей и правового порядка с геополитическим престижем могущества данного политического сообщества. Могущество и престиж политических сообществ, в свою очередь, во многом определяется их способностью к господству над другими сообществами [Weber 1968: 903–904, 911, 925]. Таким образом, мы предполагаем наличие некой меняющейся тенденции политических сообществ проводить экспан-

сию и участвовать в конфликте в целях повышения их внутренней легитимности. Эта легитимность правителей государства не является постоянной, но меняется с течением времени. Правители с низкой легитимностью, как правило, утрачивают власть, теряют свои посты и заменяются другими; крайние степени потери легитимности в сочетании с другими факторами могут привести к революции [Skocpol 1979; Goldstone 1991]. При этом правители побеждающих и расширяющихся государств обретают особый ореол высокой легитимности. В данном отношении то, является ли легитимность традиционной, харизматической или рационально-правовой, имеет меньшее значение, чем то, высокая или низкая легитимность правителя, государства и правового порядка[1].

Мы полагаем, что политики — это искатели легитимности. В долгосрочной перспективе они склонны проводить политику, которая максимизирует их легитимность. В модели Вебера предполагается, что сильнейшим источником легитимности является правление тем государством, которому посчастливилось получить высокий престиж, обусловленный его отношениями могущества с другими государствами. Победа в конфликте с другим государством является самым драматичным и эмоционально убедительным источником легитимности правителей. Есть и другие источники легитимности: текущие экономические условия общества влияют на популярность правителя, драматические события, динамика больших масс людей, выходящих на улицы, и интерактивные ритуалы лидерства дают официальным лицам ореол эмоциональной внушительности; как внутренние, так и внешние конфликты могут повысить групповую сплоченность вокруг некого лидера[2]. Чтобы про-

[1] В этом анализе мы не проводим различия между легитимностью законного порядка в целом и легитимностью тех, кто занимает позиции держателей власти. На практике динамика легитимности движется вдоль некого континуума: после того как легитимность конкретного должностного лица падает до низкого уровня, дальнейшее снижение приводит не только к революционным заменам состава власть имущих, но и к революциям самой структуры. Теория легитимности, как и все теории, наиболее полезна тогда, когда объясняет целый ряд изменений с помощью динамических процессов. По этой причине трактовка легитимности как континуума, охватывающего как индивидов, так и структуры, более полезна, чем преобладающий в литературе упор на статичной структурной типологии.

[2] Мы считаем, что нет четкого различия между политической популярностью и легитимностью конкретных правителей. Опросы об уровне популярности дают

вести исследование только одной теории, мы ограничимся здесь учетом лишь внешнего престижа могущества и легитимности безотносительно к остальным факторам.

Сказать, что политики являются искателями легитимности, не означает, что они всегда рассчитывают ходы во внешней политике в целях повышения своей легитимности в стране. Без сомнения, политики в той или иной степени делают такого рода расчеты. В краткосрочной перспективе как лидеры, так и их последователи могут быть охвачены эмоциональной динамикой, когда открываются возможности для международного конфликта (таким был широко распространенный энтузиазм относительно наращивания американской военной мощи в арабском мире после вторжения Ирака в Кувейт в августе 1990 г.). В долгосрочной перспективе правители, чьи государства упорно ищут международные конфликты (и достигают в них успеха), выигрывают от добавления легитимности, что, в свою очередь, усиливает агрессивную политику. Правители, которые ничего не делают для поддержания престижа могущества, как правило, подлежат замене. Государство не обязательно должно быть откровенно агрессивным. Экспансия Римской империи после 200 г. до н. э., а также расширение сферы мирового влияния США с конца XIX в. и далее происходили в основном в ответ на провокации противников и на просьбы союзников. Мы же предполагаем, что поскольку возможности для международного конфликта неоднократно появляются в течение многих лет, именно динамика поис-

---

представление о положении правителя в одной части континуума личной легитимности. Такие опросы обычно не касаются крайне низкого полюса в континууме легитимности, но такая предельно низкая популярность лидеров является шагом к полному отрицанию их легитимности как права руководить. Доступные данные, полученные при измерении популярности, свидетельствуют о том, что именно связанные с войной чувства оказываются сильнейшим источником легитимности, тогда как экономическое процветание или недовольство являются более слабым источником [Ostrom and Simon 1985; Norpoth 1987]. Значимое открытие состоит в том, что обусловленная войной легитимность может колебаться как с положительным сдвигом при начале конфликта и при победе, так и с отрицательным — когда растет число жертв. Опросы Гэллапа показывают, что самые высокие рейтинги популярности президентов США были связаны с войной: 89 % процентов у Джорджа Буша в марте 1991 г. (после победы в войне в Персидском заливе), 87 % у Гарри Трумэна в июне 1945 г. (после Дня Победы во Второй мировой войне), 84 % у Франклина Рузвельта в январе 1942 г. (сразу же после атаки японцев на Пёрл-Харбор).

ка легитимности определяет, будет ли правитель использовать некий конкретный инцидент как основание для того, чтобы начать войну, либо пропустит его.

Хотя мы сформулировали нашу модель в терминах открытых военных действий, престиж государственного могущества следует понимать более широко. Государство обретает высокий престиж могущества не только когда выигрывает войны, но также когда играет важную роль в международных делах. Послы и эмиссары такого государства проводят его политику на конференциях и во время зарубежных поездок, а великие державы вершат судьбы малых государств посредством разного рода акций — от экономической и военной помощи до вооруженной интервенции. Мы полагаем, что в целом имеет место одна и та же динамика в тех случаях, когда некое сильное государство приобретает территорию путем завоевания и посредством экономического проникновения через торговлю и финансы, когда оно непосредственно управляет более слабыми регионами и когда действует как лидер коалиции союзников[1]. Успех в этих якобы более мирных и менее принудительных формах престижа могущества обычно зависит от способности государства выигрывать войны, проявленной либо в прошлом, либо в качестве актуальной угрозы. Существует связь между стремлением к легитимности в целом и взлетами, падениями военного могущества.

Открытая война и утверждение господства над другими политическими сообществами через имперские завоевания повышает легитимность правления, но не без издержек. После исследования

---

[1] Примером тому являются расходы Соединенных Штатов на поддержку союзных режимов в Южном Вьетнаме в 1960-е и 1970-е гг. Опять же Афины и Рим сходны в этом отношении с США, а в некоторой степени и с Британской империей Нового времени. Афинская коалиция против персов ок. 480–360 гг. до н. э. действовала как империя, поскольку Афины требовали [от других городов-государств] делать военные вклады для афинского флота и наказывали военным путем за неповиновение. Рим расширялся (после завоевания карфагенских территорий в западном Средиземноморье ок. 200 г. до н. э.) в значительной степени за счет присоединения растущего числа «друзей», чью сторону он принимал в конфликтах между малыми государствами в Эгейском регионе и на Востоке, а также между германскими племенами. Рим демонстрирует разные градации между первенством в союзе и прямым правлением; после двух столетий неофициального руководства [присоединенными территориями] была создана формальная империя.

базовой динамики конфликта и легитимности мы будем развивать данную теорию в двух направлениях. Во-первых, мы добавим предположения о параметрах изменения материальные выгод и затрат при обретении империей новых территорий в соответствии с принципами геополитической теории [Collins 1986: 145–209]. Во-вторых, мы рассмотрим последствия территориального империализма для внутренней политической экономии. Вебер обсуждает некоторые варианты динамики «империалистического капитализма», которые связывают экспансионистские тенденции политических сообществ со степенью зависимости экономики от государства [Weber 1968: 917–919]. В той мере, в какой экономическое производство зависит от способности государства господствовать над другими сообществами, развиваются экспансионизм и империализм. Здесь рассуждение Вебера предвосхищает последующие трактовки влияния «военно-промышленного комплекса».

2. Престиж могущества, легитимность и международный конфликт

Полезно начать с аналитически упрощенных моделей отдельных частей теории стремления к легитимности. Таковыми являются идеальные типы, или чистые формы, в которых действуют только определенные процессы. Сами по себе эти начальные результаты исторически не реалистичны, зато они показывают динамику, присущую данной теории. Исходя из этого теоретического ядра, мы развиваем данные модели в три этапа возрастающей сложности: (а) динамика легитимности и государственного конфликта; (б) геополитические и материально-технические ограничения этих процессов, а также (в) следствия зависимости экономики от государства и того, что Вебер называл «империалистическим капитализмом». Даже окончательная синтетическая версия данной модели остается сильно идеализированной, и в ней не принимается во внимание весь спектр сложности исторических явлений. Тем не менее она предоставляет некоторые интересные приближения к историческим событиям, в том числе событиям конца XX в.

Ядро теории показано на рис. А.1. Стремление правителей начать внешний конфликт прямо пропорционально разнице между их текущей легитимностью и целью достижения максимальной леги-

Рис. А.1. Легитимность и конфликт

тимности. Для любого данного уровня начатого конфликта уровень успеха или неудачи определяется отношением превосходства либо недостаточности могущества рассматриваемого государства к могуществу его противников. Изменение престижа в статусном порядке политических сообществ прямо пропорционально успеху в конфликте, а легитимность следует с некоторым опозданием за престижем.

Динамика внутреннего контура на рис. А.1 предельно проста. Если рассматриваемое государство сильнее, чем его противники, то наступает успех, а затем растут престиж и легитимность до тех пор, пока правитель не добивается своей цели. Там, где рассматриваемое государство слабее, чем его противники, начинается конфликт, за которым следуют потери, что приводит к падению престижа и легитимности, а тем самым и к росту агрессивности правителя. Это означает, что правитель попадает в ловушку усугубления неудачного конфликта, который предположительно приводит в какой-то момент к его гибели. Эти процессы являются очевидными, когда теория

представлена в виде контура обратной связи. Однако мы подозреваем, что большинство социальных исследователей, которые заявляли модели «стремление к конфликту для достижения солидарности» ("seeking conflict for seeking solidarity"), не думали в терминах динамической системы, и, следовательно, упустили вывод о том, что конфликт в долгосрочной перспективе может либо прекратиться, либо усилиться.

Это модельный эксперимент сразу же приводит к теоретическим соображениям, которые Вебером не обсуждались. Неуспешные в конфликтах правители не будут считать для себя полезным попадание в некий саморазрушительный цикл, тогда как успешные правители могут ввязываться в еще более агрессивные политические стратегии. Этот результат обнаруживается при добавлении внешнего контура на рис. А.1. Для любого данного уровня дефицита легитимности, воинственность правителя растет при наличии некой истории успехов в прежних конфликтах. Однако если в конфликте правителя постигла неудача, то снижается его склонность начинать последующие конфликты, даже при сохранении проблем с легитимностью.

На рис. А.2а и А.2b изображены отдельные результаты двух экспериментов с моделью, основанной на схеме рис. А.1. В обоих случаях мы предполагали, что правитель страдает от существенного недостатка легитимности (0,25 на шкале от 0 до 1,0), и что есть некая история успешных конфликтов (поскольку без таковой, в рамках этой модели, конфликт вообще не мог начаться). На рис. А. 2а мы показываем графики изменения уровней конфликта и легитимности в том сценарии, где рассматриваемое государство сильнее, чем его противники (с отношением 6 : 5); на рис А.2б рассматриваемая нация слабее (5 : 6).

В этих экспериментах конфликт государства с более слабым противником приводит к успеху, который на начальном этапе ведет к повышению легитимности и росту интенсивности конфликта. По мере удовлетворения потребностей правителя в легитимности снижается стремление ввязываться в последующие конфликты. Конфликт с более сильным противником приводит к провалу, который ведет и к более низкой легитимности, к угасанию склонности начинать конфликт. Когда память о прошлых успехах в войнах полностью подавляется актуальными поражениями, правитель уже больше не начинает конфликты и остается на уровне хронически низкой

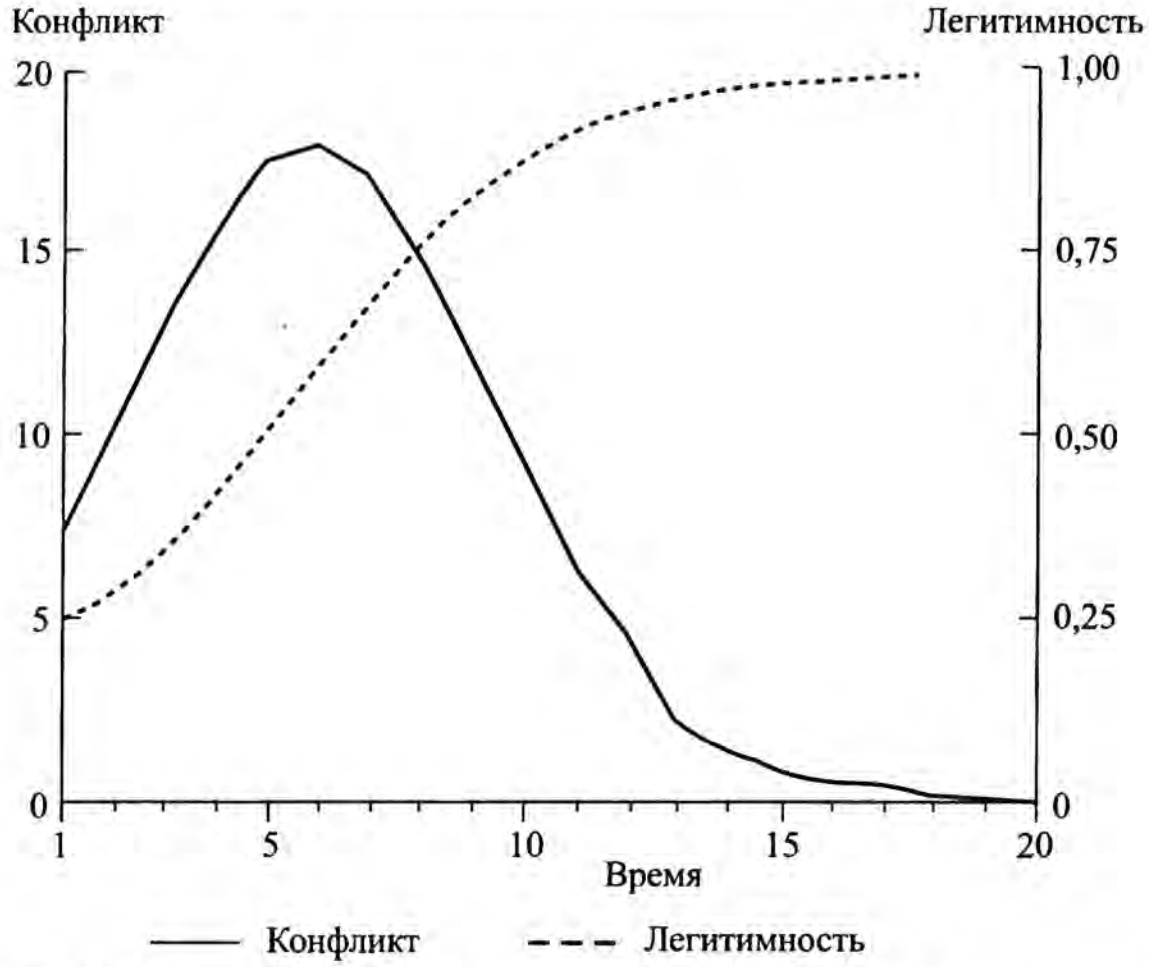

Рис. А.2а. Стремление к легитимности при более слабом противнике

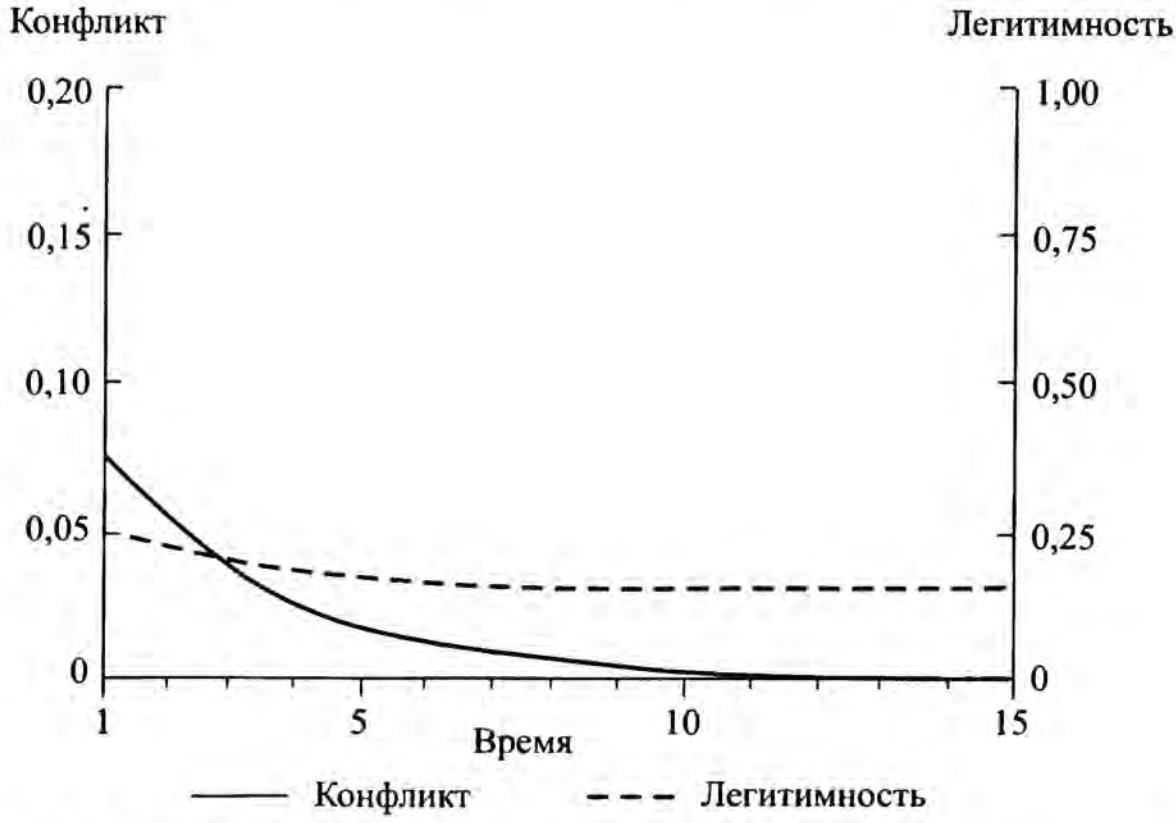

Рис. А.2b. Стремление к легитимности при более сильном противнике

легитимности, еще более низкой, чем перед началом процесса. Эти результаты неудивительны. Перейдем теперь к разработке модели, включающей дополнительные теоретические принципы.

3. Издержки и выгоды империи

Правители не упорствуют в экспансионистской политике в присутствии более могучих противников. Тем не менее даже там, где имеется первоначальное превосходство над врагами, процесс территориального расширения дает как преимущества, так и издержки. Преимущества империи имеют не только политический, но и экономический характер. Обладание подчиненной территорией позволяет центру империи извлекать выгоду через различные сборы, земельные налоги и дешевый импорт. Однако эти преимущества зависят от способности режима умиротворить подчиненные территории, поддерживать внутренний контроль и защищать отдаленные границы. Далее предположим, что эти экономические преимущества империи растут в прямой зависимости от ее размера (т. е. внутри некой однородной периферии). Тем не менее затраты на поддержание контроля над империей растут экспоненциально с увеличением ее размера согласно принципу приложения [и истощения] сил при больших расстояниях. В какой-то момент расширение прямого территориального господства уже себя не окупает.

В пространстве, где осуществляется господство, полезно провести различие между «ядром» (родиной доминирующего политического сообщества, или хартлендом) и «империей» (родными землями покоренных политических сообществ). Будем считать, что территории ядра отличаются от имперских территорий в двух отношениях: во-первых, территории ядра являются более продуктивными, чем имперские, а во-вторых, они не требуют [столь значительных] расходов на поддержание внутреннего контроля. Это слишком схематичное предположение не влияет на логику данной модели. Имперские территории требуют постоянного расходования принудительной силы для поддержания внутреннего контроля над ними и для защиты их внешних границ.

Могущество правителя, считавшееся в исходной модели постоянной величиной, теперь, когда начинают учитываться затраты

Рис. А.3. Модель соотношения издержек и пользы от империи

и выгоды империи, становится переменной. Могущество правителя приравнивается к общему объему производства контролируемой территории за вычетом расходов на внешний конфликт и внутренний контроль. Расходы на конфликт зависят от его интенсивности и уровня потерь при применении военной силы. Предполагается, что эти потери являются нелинейной функцией от соотношения сил участников конфликта: там, где силы рассматриваемого государства и его противников равны, расходы каждого участника на конфликт считаются очень большими, а по мере того как превосходство рассматриваемого государства растет, его относительные потери экспоненциально снижаются. Затраты на внутренний контроль экспоненциально растут в зависимости от меры роста отношения размера имперских территорий к размеру ядра — хартленда. В какой-то «переломный момент» расходы на контроль империи начинают превосходить величину продукции, которая может быть из империи извлечена.

Общая логика этих затрат и выгод империи представлена на рис. А.3. Чтобы дать представление о динамике этой системы, были выбраны конкретные значения параметров. Они, конечно же, являются произвольными. Эти конкретные значения выбраны, чтобы показать следствия добавления факторов [изымаемой из подчиненных территорий] «добычи» и «расходов на внутренний контроль» к базовому стремлению правителя повышать свою легитимность через внешние конфликты. Чтобы проиллюстрировать эту динамику, мы провели несколько экспериментов. Мы опустим случай, когда рассматриваемое государство является менее мощным, чем его противники, а вместо этого сосредоточимся на изменениях в исходном уровне легитимности правителей. Это ключевые эксперименты, поскольку теперь имеют место два отдельных набора процессов, определяющих расширение государства: потребности правителей в повышении своей легитимности и издержки/выгоды империи. В первой модели (рис. А.2а) правитель всегда достигает желаемой легитимности, побеждая противников, что приводит к паттерну стабильного конфликта на низком уровне интенсивности. Однако когда включаются ограничения, или принуждающие связи (constraints), издержек и выгод, правители могут и не достичь приемлемой легитимности, несмотря на свое военное превосходство.

На рис. А.4а и А.4b показаны некоторые результаты двух экспериментов с моделью, включающей затраты и выгоды. На рис. А.4а легитимность правления имеет относительно высокий начальный уровень (0,75 от гипотетического максимума). В этих обстоятельствах поведение модели является почти таким же, как в случаях, когда внешние геополитические ограничения не брались во внимание. Движимый умеренным дефицитом легитимности, правитель осуществляет стратегию постепенного нарастания конфликта; империя при этом расширяется, но не достигает сверхрасширения, потому что удовлетворяются потребности правителя в достижении легитимности. На рис. А.4b перед правителем встает более трудная задача из-за низкого начального уровня легитимности (0,25 от гипотетического максимума). В этом случае точка пересечения издержек и выгод достигается до того, как правитель удовлетворяет свои потребности в легитимности. Результатом является паттерн возобновляющихся усилий, направленных на повышение легитимности через внешний конфликт. Каждая попытка поначалу является успешной, но в итоге приводит к сверхрасширению и коллапсу.

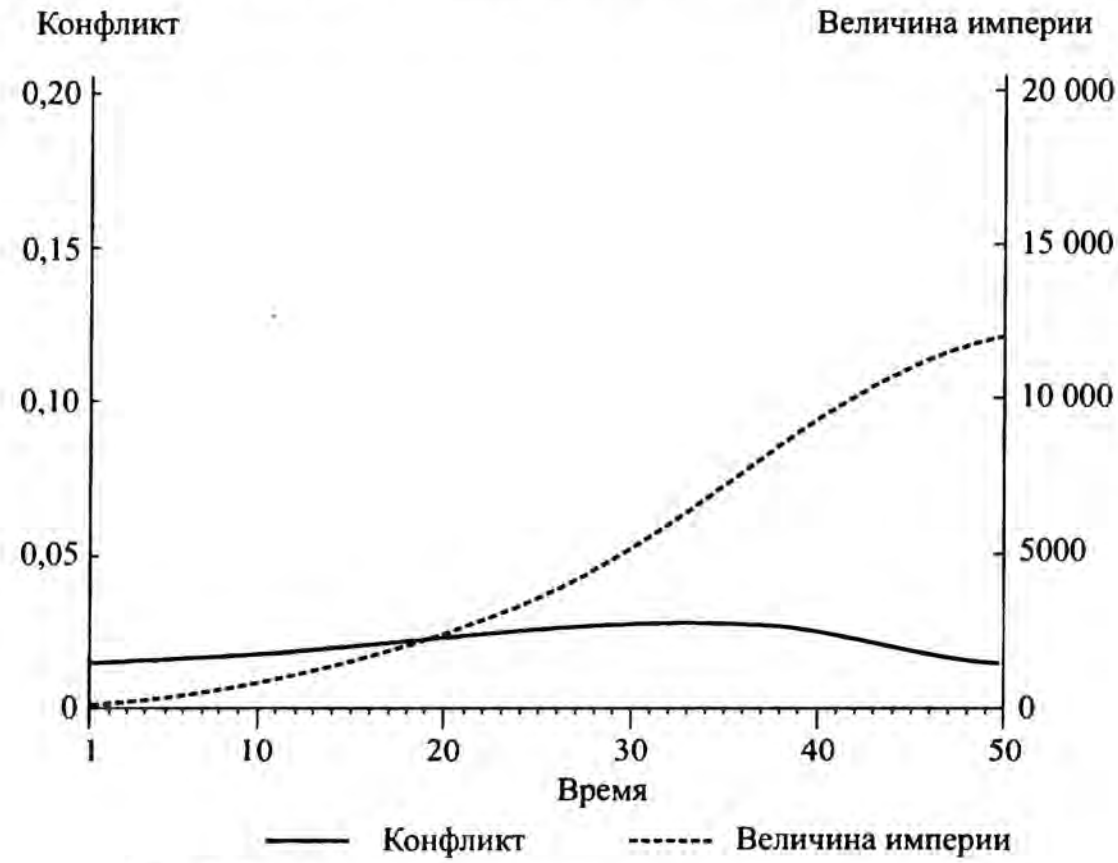

Рис. А.4а. Издержки и польза от империи: результаты экспериментов при высокой начальной легитимности

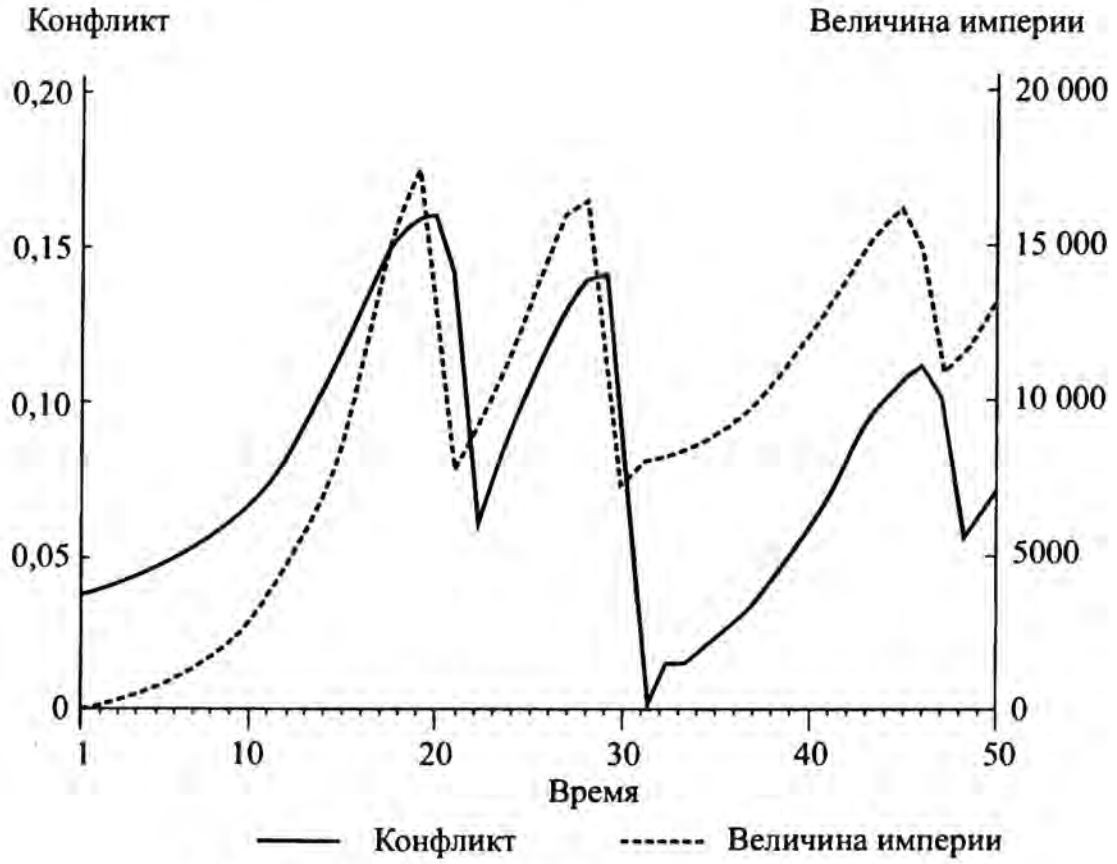

Рис. А.4b. Издержки и польза от империи: результаты экспериментов при низкой начальной легитимности

Из-за задержек и нелинейных связей уникальными оказываются момент наступления и длительность каждого эпизода расширения/коллапса. Эта уникальность имеет неслучайный характер, но является результатом действия детерминированной системы при меняющихся исторических условиях.

4. Империалистический капитализм и военно-промышленный комплекс

Приведенное обсуждение экспансии государства связано с политическими мотивами правителей, стремящихся к легитимности. В этом отношении данная теория согласуется с главными элементами теории «хищнического правления» [Levi 1988; Tilly 1990]. Вдобавок к этому согласно утверждениям Вебера, имперская экспансия государств ядра меняет в нескольких ключевых направлениях их внутреннюю политическую экономию, что может усилить этот процесс. Расширение путем прямого завоевания приводит к росту зависимости экономической деятельности от государства. Усиление этой зависимости связывает интересы экономических акторов с имперским успехом и может оказывать давление для продолжения экспансии. Между прочим, Вебер также отмечает, что возрастающая зависимость экономики от государства может замедлить развитие самостоятельных капиталистических сил с более мирными интересами в торговле и рыночном развитии [Weber 1968: 915]. Этот момент был более полно разработан другими авторами как один из источников бюрократического препятствования ведомой капитализмом динамике в некоторых классических империях [Hall 1986].

При мобилизации для участия международном конфликте государство создает потенциально могущественные классы с заинтересованностью в самом конфликте: военных, производителей вооружений и капиталистов, ссужающих деньги государству. Территориальная экспансия создает новые источники прибыли для классов «империалистических капиталистов»: населения из ядра империи, стремящегося получить землю (поселенцев), имперских сборщиков налогов и администраторов, а также предпринимателей, организующих производство в имперских территориях для экспорта в хартленд. Эти классы также зависят от укрепляющего империю государ-

ства как источника средств к существованию, а следовательно — они способствуют империализму.

Веберу не очень ясны механизмы, посредством которых изменения в политической экономии хартленда влияют на стремящееся к конфликту поведение правителя. Одна возможность заключается в том, что правители, признавая деликатные интересы военных, а также оружейных и финансовых капиталистов, колониальных поселенцев, администраторов и производителей, с большей вероятностью будут продолжать конфликт, поддерживать и расширять империю в качестве эффективного механизма для устранения прорех во внутренней легитимности. Иными словами, при наличии высокой зависимости экономики от государства, склонность стремящегося к легитимности правителя продолжать конфликт возрастает. В отсутствие экономической зависимости от государства правитель с меньшей вероятностью будет проводить ту же политику столь энергично, поскольку она может оказаться непопулярной среди главных структур поддержки.

На рис. А.5 мы добавили эти влияния в контур обратной связи. Конфликт приводит к подъему пропорционального развития некой «индустрии оружия» ('arms industry')*, включающей производителей оружия, самих военных, а также финансовых капиталистов, ссужающих деньги государству. Считается, что уровень индустрии оружия быстро откликается на начавшийся конфликт, но снижается только с существенным опозданием после угасания конфликта (военные долги должны быть погашены, армии подлежат демобилизации, требуется перепрофилирование военного производства на иные цели). Создание классов империалистических капиталистов обусловливается территориальным завоеванием. Доля «империалистического капитализма» в экономике считается прямо пропорциональной производству на колониальной территории. Империя и большой военный аппарат в ее ядре совместно производят экономику, зависимую от государства.

Предполагается, как показано на рис. А.5, что конфликт начинает правитель, стремящийся достичь определенного уровня легитимности. Согласно этой модели в условиях высокой зависимости экономики от государства правитель прямо переводит дефицит своей

* Здесь и далее этот термин будет использоваться в смысле, заданном авторами, — более широком, чем привычная «военная промышленность» или «оборонная промышленность».

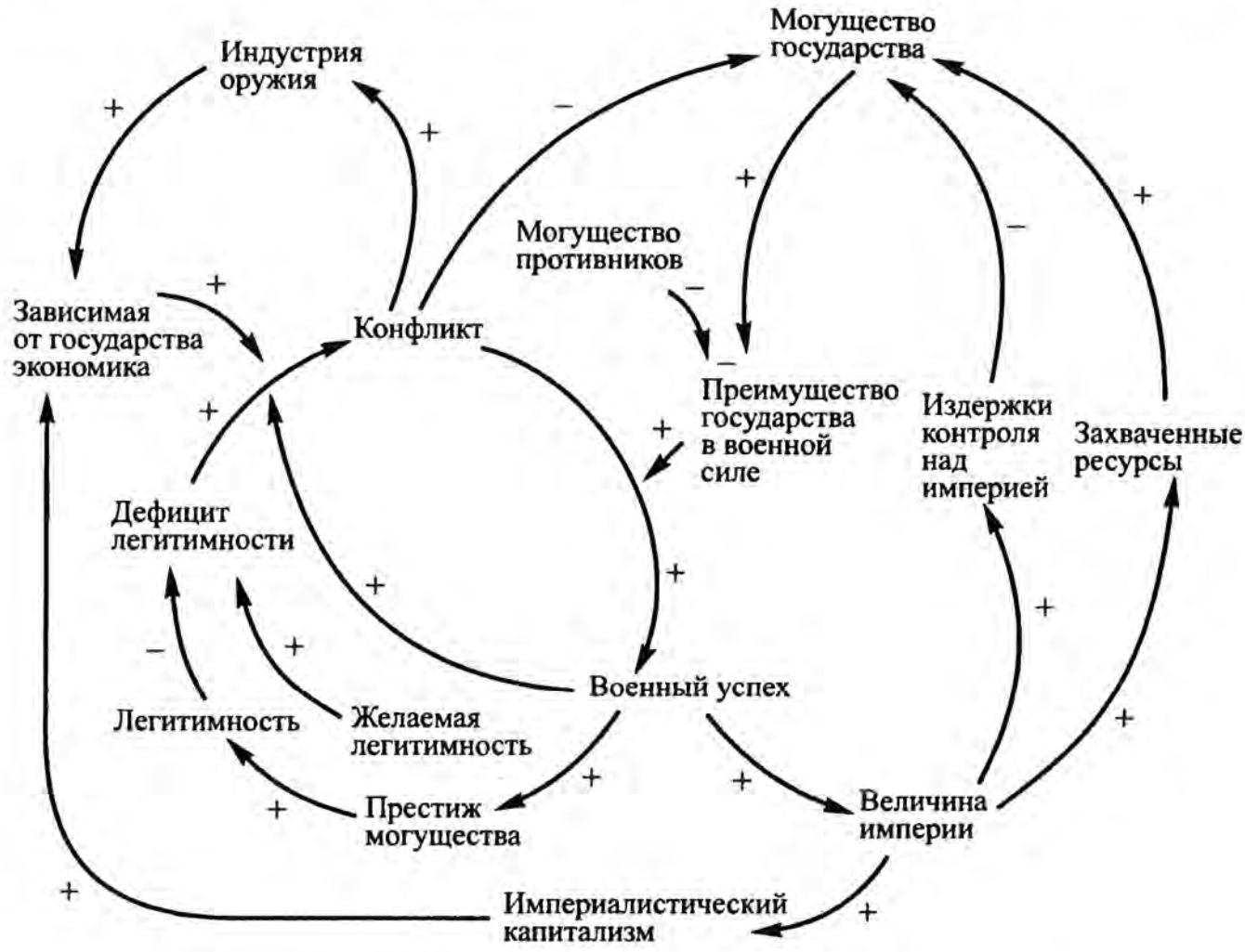

Рис. А.5. Модель империалистического капитализма

легитимности в желание начать международный конфликт. Однако при низкой зависимости экономики от государства стремление правителя ввязаться в международный конфликт для повышения своей легитимности запаздывает.

Результаты нескольких экспериментов с моделью империалистического капитализма представлены на рис. A.6a–h. Опять же мы сосредоточили внимание только на тех ситуациях, в которых рассматриваемое государство обладает начальным силовым преимуществом над своими противниками (там, где нет такого преимущества, динамика следует тому же паттерну, что показан на рис A.2b) и где уровень могущества противников считается постоянным. Поскольку мы обнаружили, что первоначальный уровень легитимности играл решающую роль в определении характера процессов в предыдущей модели, мы снова исследуем два основных сценария: когда правитель изначально имеет высокую легитимность (0,75) и когда правитель сталкивается с серьезными проблемами в этом

аспекте (0,25). В каждом эксперименте, так как рассматриваемое государство изначально еще не имеет империи, давление империалистического капитализма является низким. Однако в каждом сценарии динамики легитимности мы рассматриваем два варианта. В одном случае рассматриваемое государство вначале имеет высокий уровень экономической зависимости от военно-промышленного комплекса (25 % всей продукции выпускается военной промышленностью), а в другом случае мы считаем долю военной промышленности в экономике изначально малой (2 %).

Первые два набора результатов на рис. A.6a–d представляют сценарии, в которых правитель первоначально сталкивается с серьезными проблемами легитимности. В первой серии (рис. A.6a и A.6b) военная промышленность (и шире — индустрия оружия, см. выше) поначалу находится на низком уровне, во второй серии (рис. A.6c и A.6d) — на высоком уровне (эти результаты являются вариациями тех, что показаны на рис. A.4a). В обоих случаях правитель проводит политику активного развязывания внешних конфликтов и осуществляет территориальную экспансию, что приводит к имперскому сверхрасширению и «хаотическому равновесию» в динамике империи и легитимности. Стремление к имперским захватам существенно задерживается начальным низким уровнем империалистических настроений. В обоих случаях сохранение крупной империи приводит к постоянному высокому уровню империалистического капитализма. Продолжающийся высокий уровень конфликта порождает тотальное «военное государство», в котором практически вся продукция как имперских территорий, так и хартленда предназначена для военной деятельности.

В последних двух сериях экспериментов (рис. A.6e–f и A.6g–h), когда легитимность правления считалась изначально высокой, представлен несколько иной результат. В обоих этих сценариях также происходит империалистическая экспансия и создаются империи примерно такого же конечного размера, но данный процесс идет гораздо медленнее, а правители достигают желаемой легитимности. Поэтому, хотя в итоговом состоянии имперской экономики доминирует империалистический капитализм, у правителя нет стремления ввязываться в дальнейшие конфликты, и военная промышленность увядает. Эти империи не являются особо мирными внутри своих границ, потому что они расходуют столько же ресурсов для поддержания

Рис. A.6a. Низкий начальный уровень легитимности и индустрии оружия: следствия для величины империи и легитимности

Рис. A.6b. Низкий начальный уровень легитимности и индустрии оружия: следствия для империалистического капитализма и вооружений

Рис. A.6c. Низкая начальная легитимность и малая индустрия оружия: следствия для величины империи и легитимности

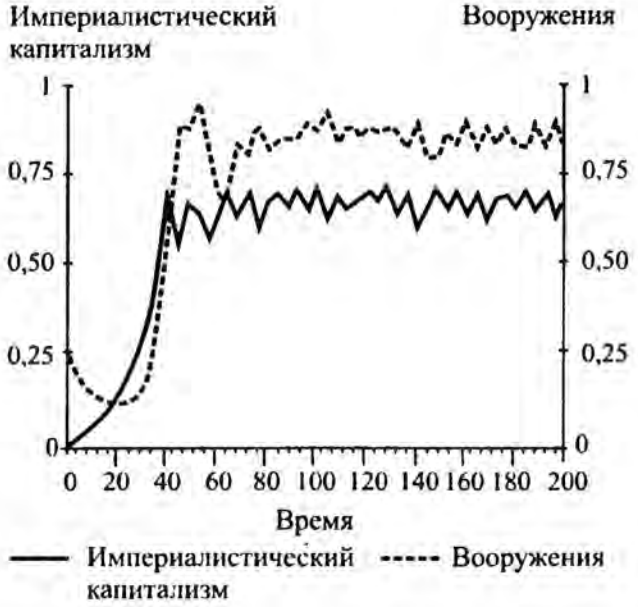

Рис. A.6d. Низкая начальная легитимность и большая индустрия оружия: следствия для империалистического капитализма и вооружений

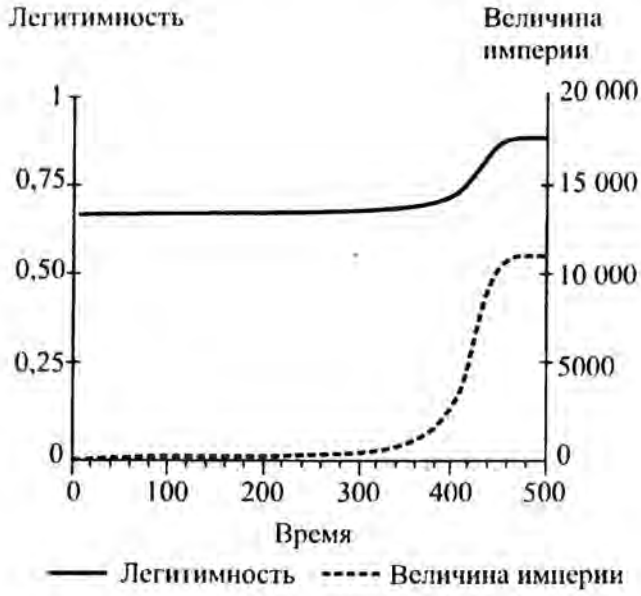

Рис. А.6e. Высокая начальная легитимность и низкий уровень индустрии оружия: следствия для величины империи и легитимности

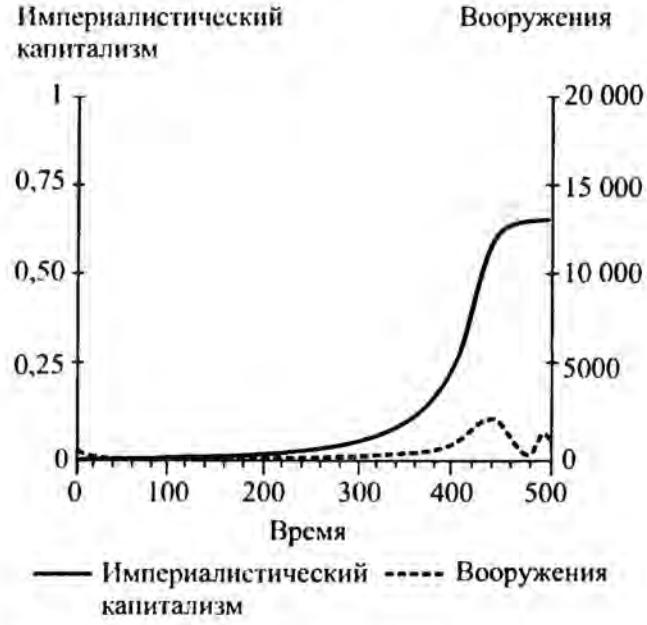

Рис. А.6f. Высокая начальная легитимность и низкий уровень индустрии оружия: следствия для империалистического капитализма и вооружений

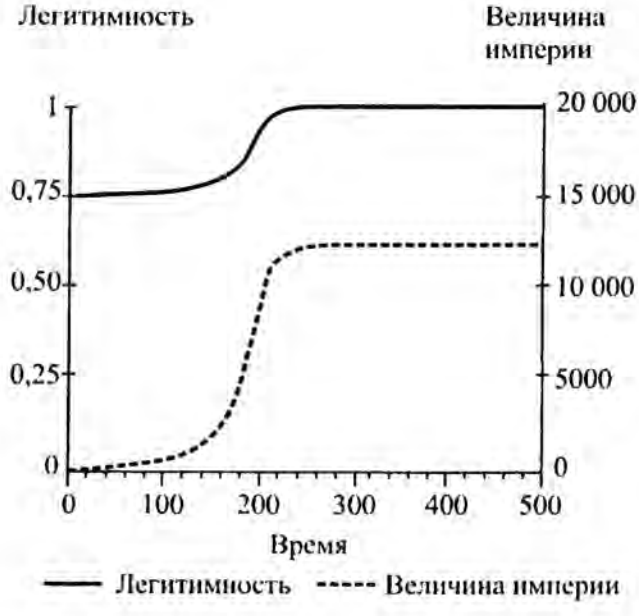

Рис. А.6g. Высокая начальная легитимность и высокий уровень индустрии оружия: следствия для величины империи и легитимности

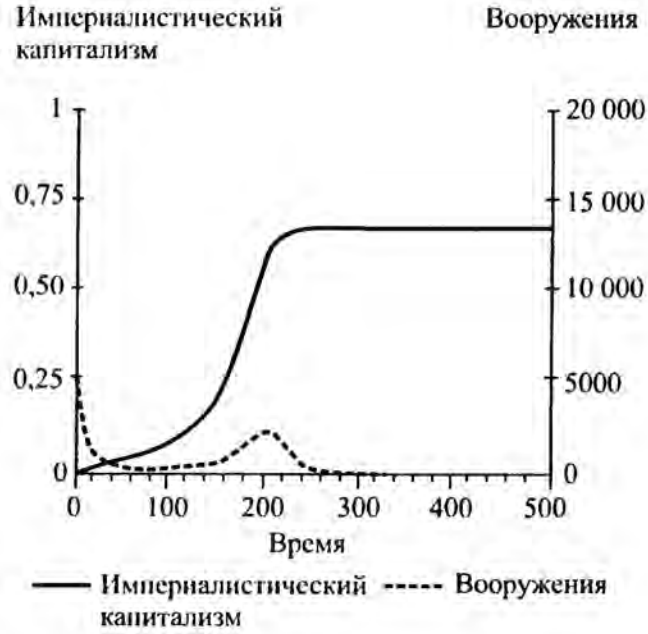

Рис. А.6h. Высокая начальная легитимность и высокий уровень индустрии оружия: следствия для империалистического капитализма и вооружений

внутреннего порядка, сколько получают от эксплуатации имперских территорий. Однако, поскольку правитель удовлетворен, он (или она) не стремится к экспансии, даже несмотря на чаяния империалистических капиталистов.

Наиболее поразительными результатами данной модели являются варианты проявления зависимости долгосрочной динамики экспансионистских государств от начальной легитимности правления. Там, где легитимность высока (но еще не достигает уровня, желаемого правителем), расширение происходит медленно и при менее интенсивным конфликте. В долгосрочной перспективе итоговая империя оказывается столь же крупной, как и у более агрессивных правителей, но она имеет совершенно иной характер. В этих случаях в связи с относительно низким уровнем конфликта и угасанием конфликтов при достижении желаемого уровня легитимности собственный военно-промышленный комплекс не играет большой роли. Напротив, там, где правители вступают на путь экспансии при наличии острого дефицита легитимности, получившиеся империи являются столь же обширными, но испытывают хроническую нестабильность, для них характерны сохраняющиеся (или варьирующие) высокие уровни конфликта, а также некий сплав экономики и государства, в котором практически все ресурсы используются для войны. Таким образом, данная модель говорит о том, что расширение путем прямого территориального завоевания всегда приводит к подъему капиталистического империализма, но только при особых условиях — к «военному государству». Парадоксальным образом империалистический капитализм процветает в тех государствах, которые не являются особо милитаристскими. Хотя эти результаты являются схематичными, они могут пролить некоторый свет на различия между степенью милитаризма в Соединенных Штатах и характеристиками других типов империализма в мировой истории.

Последняя модель является слишком сложной и нелинейной, чтобы находить прямые математические решения. Однако посредством эксперимента можно обнаружить многие из ее общих свойств. Одно из наиболее интересных показано на рис. А.7, где представлен диапазон варьирования полученных в долгосрочной перспективе уровней легитимности в зависимости от исходного ее уровня. При низких уровнях начальной легитимности (ниже примерно 0,08) и высоких уровнях (выше примерно 0,60) модель приводит более или

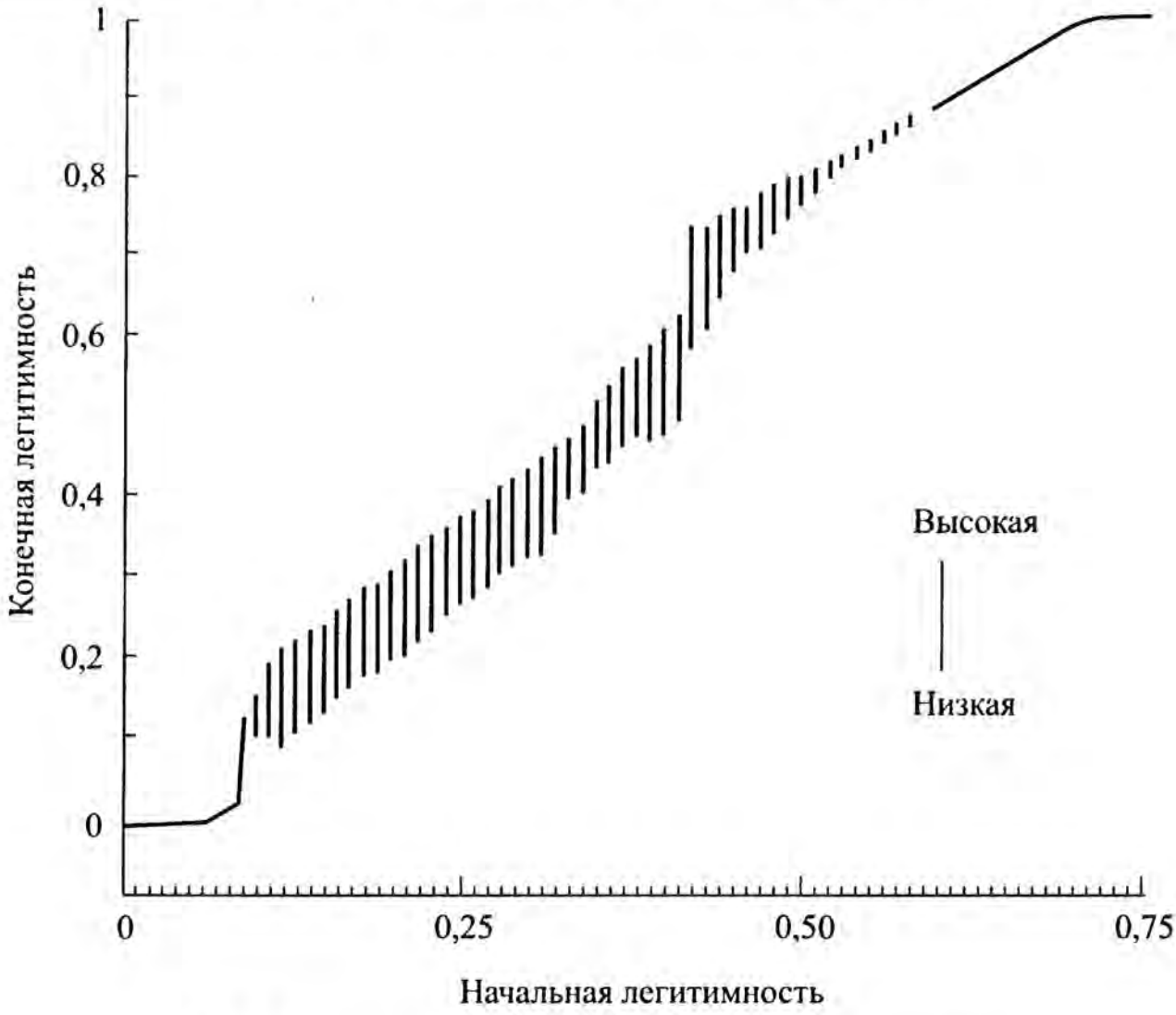

Рис. А.7. Начальный и конечный уровни легитимности

менее плавно к одному состоянию равновесия. Однако в промежуточном диапазоне уровней начальной легитимности поведение модели становится циклическим, а затем — хаотическим.

5. Уточнение модели и ее границы

Развитая здесь теория остается весьма идеализированной и неполной. Среди всех ее многочисленных ограничений три имеют решающее значение. В приведенных выше результатах считается, что противник сам не начинает конфликт и обладает постоянной способностью сопротивляться имперским притязаниям ядра [потенциальной империи] — рассматриваемого политического сообщества. Такое упрощение позволяет нам понять динамику одного сообщества в «постоянном» окружении. Более реалистичный под-

ход привел бы к модели множества политических сообществ, в предположении, что каждое из них ведет себя в соответствии с данной теорией. Диапазон результатов в такой системе не ясен, и исследование ее посредством моделирования было бы значительным предприятием.

Мы выбрали консервативный и центрированный на государстве взгляд на мотивы имперской экспансии. В данной теории, если правитель удовлетворен [уровнем своей легитимности], то никакой конфликт не начинается, даже там, где полностью слились экономика с государством и имеется воинственная история. Более радикальное предположение заключается в том, что желаемый уровень легитимности, преследуемый правителями, может повышаться по принципу храпового механизма* вследствие зависимости экономики от государства, созданной прошлым имперским успехом. Если такое представление было бы более реалистичным в эмпирическом плане, то все случаи империалистической экспансии неизбежно должны были привести к сверхрасширению и нестабильности. Этот альтернативный взгляд имеет интересную противоположность (также неявно предложенную Вебером в его обсуждении стран, предпочитающих нейтралитет, таких как Швейцария): отсутствие имперской экспансии или неспособность создать и сохранить империю могут привести к снижению, по тому же храповому механизму, потребностей правителя в легитимности[1].

В исследуемой здесь теории легитимность правления зависит исключительно от статуса, достигнутого политическим сообщест-

---

* *Храповый механизм* — шестеренка с косыми зубцами и «собачкой» для упора, что позволяет оси вращаться в одном направлении и не позволяет вращаться в другом. Согласно этой технической метафоре желаемый уровень легитимности правителей в такой модели может только повышаться под действием указанных факторов, «застревать», снова повышаться, но он никогда не может снизиться.

[1] Другими словами, реалистичная общая теория государственной воинственности должна указывать на условия, при которых государства избегают международного конфликта. Одна из идей состоит в том, что государства, являющиеся нейтральными в конфликте между основными могущественными блоками, вероятно, слишком слабы, чтобы выиграть у любой коалиции, но при этом достаточно сильны, чтобы не лишиться престижа при вступлении в союз в качестве младшего партнера. Швейцария после 1520 г. и Швеция после 1815 г. являются современными нейтральными государствами, которые заняли такую позицию после периодов, в которых они демонстрировали свою значительную военную силу, что наградило их достаточно высокой степенью легитимности.

вом в международном порядке престижа могущества. Это является значительным упрощением. Легитимность правления и правителей проистекает из множества источников[1]. Успех во внешнем конфликте и достижение престижа могущества в мировом порядке имеют решающее значение для легитимации правления со стороны классов, экономически зависимых от государства. Однако в рассматриваемой версии теории все другие группы трактуются как остаточные (например, ориентированные скорее на торговлю, чем на империализм, капиталисты и участвующие в экономике массы, религиозные и культурные сообщества). Бюрократические столкновения с независимым капитализмом, налогообложение населения и его жертвы [в военных конфликтах], соперничество между элитами различных сообществ внутри страны — все это может играть скорее активную, чем пассивную, роль в ограничении экспансии. Разработка более сложных и реалистичных моделей является следующим шагом в развитии данной теории.

6. Теоретическое моделирование как шаг к прикладной социальной теории

При использовании модельных экспериментов для изучения следствий теории, мы начинаем с модели, основанной на явно упрощенных предположениях. После того как динамика этой базовой модели проясняется, мы усложняем ее, превращая константы в переменные и добавляя дополнительные переменные, чтобы сделать систему более реалистичной. Когда у нас уже есть в распоряжении такие динамические модели, для социологии становится возможным следующий шаг: при корректном уточнении модели достичь хорошего приближения к обнаруженным в историческом прошлом эмпирическим паттернам. Реалистичная модель некоторых основных социальных процессов позволяет проводить мысленные эксперименты другого рода. Становится возможным включать в модель гипотетические условия и прогнозировать результаты в модельном мире. Этот мир может оказаться в долгосрочной перспективе

[1] Тем не менее данные о насильственной смене режимов между 1816 и 1975 гг. указывают на то, что военные поражения и издержки являются главными детерминантами внутренней легитимности [Bueno de Mesquite, Siverson, and Woller 1992].

нашим собственным будущим. Начальными условиями могут быть различные варианты проводимой политики, или же они могут быть реальными условиями, которые мы либо наблюдаем в настоящем, либо ожидаем, что они наступят в будущем.

Свидетельства о практическом применении социологии в прошлом не являются особенно впечатляющими. Отчасти это было результатом разрыва между теорией и эмпирическими исследованиями. Теории редко формулировались таким образом, чтобы способствовать учету процессов в мире с множественными причинами, осложненном эффектами времени и обратными связями. В результате абстрактные вербальные теории, как правило, не предлагали чего-либо более ценного, чем ретроспективные интерпретации. При этом экстраполяция трендов, обнаруживаемых в эмпирических данных, не будучи ведомой теоретической моделью лежащих в основе причинных механизмов, оказалась уязвимой для непредвиденных сдвигов, в частности, тех, что ранее подорвали доверие к демографическим прогнозам. Методика экспериментирования с компьютерными моделями перспективна для того, чтобы социология стала полезной прикладной наукой, на том уровне точности и значимости, который выходит за рамки экстраполяции трендов и тривиального указания на краткосрочные тенденции.

Поскольку социологическое прогнозирование порождает беспокойство в некоторых кругах, в заключение следует устранить некоторые заблуждения. Ориентированное на разработку политики прогнозирование не означает автоматически, что миром будут манипулировать элиты из сферы социальных наук. Это, скорее, будет средством выработки информации, которая может быть включена в обычные дебаты, ведущиеся в рамках политического процесса. Нет ничего внутренне присущего природе имитационных моделей, что помешало бы социологам исследовать последствия тех вариантов проводимой политики, которые они считают соответствующими демократическим интересам. Когда и если социологическая теория станет более успешной, нам следует ожидать, что у соперничающих групп интересов появятся их собственные команды социологов, проводящих компьютерное моделирование. Возможно, их достижения не будут лучше, чем были в недавнем прошлом прогнозы экономистов. Во всяком случае это было бы шагом на пути к более высокому уровню общественной полезности социологической теории.

Вопросы другого порядка касаются возможных пределов реалистического социального прогнозирования. Даже в самом лучшем случае, моделирование динамической теории может быть обречено стать не более успешным, чем метеорология, которая за пределами нескольких дней дает весьма низкую точность прогнозирования. Иными словами, действительно ли большинство общественных процессов, имеющих политический интерес, происходят в областях, где преобладает хаос? Если это так, то никакие дальнейшие улучшения нашей теории не позволят нам преодолеть барьер способности к предсказанию. До сих пор мы мало знаем о том, что может быть сделано или не сделано в моделировании динамической теории. Кажется невероятным, что моделирование не сообщит нам вообще ничего полезного. (Например, какими были бы социальные последствия легализации различных наркотиков? Что последует за полным закрытием государственных границ для иммигрантов или же открытием их для всех желающих?) Получение полезных ответов на эти вопросы зависит от согласованных усилий по их адекватной формулировке в терминах общей теории. Совершенствование прикладного моделирования, таким образом, зависит от общего развития динамических теоретических моделей.

Приложение Б

Боркенау о геополитике языка и культурного изменения

Франц Боркенау умер в Вене в 1957 г. в сравнительно раннем возрасте, в 56 лет. Ричард Лоуэнталь издал посмертный сборник его статей, большинство которых ранее не публиковалось, названный «Конец и начало. О поколениях культур и истоках Запада» [Borkenau 1981]. Эти статьи были написаны в конце 1940-х и начале 1950-х гг. человеком, который получал образование до и сразу после Первой мировой войны. Они являются интеллектуальным возвратом к более раннему поколению. Во многих отношениях это является преимуществом, особенно в использовании Боркенау исторического и сравнительного языкознания — той формы лингвистики, которая выпала из моды. Боркенау приводит нас в те области, где лишь немногие другие мыслители работали до него, особенно в его обращении нашего привычного взгляда на падение Римской империи. Вместо того чтобы трактовать это изменение со стороны «цивилизации», он смотрит на него с точки зрения германцев. Именно в кризисе германского племенного общества, утверждает он, мы должны обнаружить истоки современного западного общества.

Боркенау занимает позицию в интеллектуальном споре с его почти что современниками — Освальдом Шпенглером и Арнольдом Тойнби. Боркенау тоже считает, что цивилизации рождаются и умирают, что Запад появился около 400 г. н. э. и в настоящее время приближается к своему концу. Его преемник уже виден, считает он, и проявляется в новом духе, заметном в России (имейте в виду, конечно, когда это было написано). Можно было бы приписать мнение Боркенау воззрениям представителя Центральной Европы, бывшего члена Коммунистического Интернационала, наблюдающего

из Вены возникшую перспективу ядерной войны и озирающегося через плечо на советские армии.

В другом отношении в сделанном Боркенау вкладе нет никакого анахронизма. Недавно начавшийся Золотой век исторической макросоциологии заставил нас по-новому взглянуть на то, когда именно начинается эпоха «современности». Экономическая трансформации современного капитализма понимается теперь как органически связанная с предшествовавшей политической трансформацией, а обе они уводят нас в более ранние периоды, чем привычная разделительная линия XVII–XVIII вв. Насколько более ранние? Макфарлейн утверждает, что по крайней мере в Англии есть свидетельства существования «современных» структур уже в Высоком Средневековье [Macfarlane 1978], а другие считали, что то же самое относится ко всей северо-западной Европе. Я доказывал, что именно революция в структурной и экономической организации средневековой церкви привела к данному изменению [Collins 1986]. Гуди, пристально изучавший модернизацию семьи, утверждал, что корни этого изменения относятся к еще более раннему времени — к векам после введения христианства в качестве государственной религии (первоначально — в Риме после 300 г. [Goody 1983]).

Боркенау кладет свои доводы на весы такого рода дебатов, причем в этом пункте его датировка близка к позиции Гуди, но с более сложным обоснованием. Отличительные черты Запада возникают при распаде германского племенного общества во времена великих переселений и завоеваний, особенно в период морского вторжения в Британию и Ирландию, последующего распространения на юг через весь континент. Данные Боркенау в значительной степени относятся к религии: как к средневековому христианству, так и к германским мифам. У него также есть потрясающие доказательства из истории языков. Критерий современности для Боркенау имеет культурный характер, но Боркенау, кажется, также полагает, что культура производится социальными условиями. Таким образом, он открывает путь к расширенной теории культуры, а также к интерпретации процессов, создавших Западное общество. Можно увидеть также сходство его аргументации с рассуждениями Перри Андерсона в книге «Переходы от античности к феодализму» [Anderson 1974a], за исключением следующего: для Боркенау принципиальной особенностью было не то, что Запад унаследовал от Рима, но тот кризис, который испытывали германские общества, воспользо-

вавшиеся геополитическими возможностями как результата распада [Римской] империи.

Я намечу некоторые моменты этой аргументации, но сначала скажу несколько слов о том, как читать книгу Боркенау. Она представляет собой сборник из трех частей, причем первая и третья включают уже опубликованные эссе Боркенау, а средняя и самая объемная часть состоит из ранее неопубликованных рукописей, видимо, предназначенных стать основой задуманной книги. Начальная и заключительная части, с их размышлениями об идеях Шпенглера и Тойнби, теперь кажутся несколько устаревшими. Центральная же часть — по сути дела, 300-страничная книга в книге — является одним из самых блестящих образцов исторической интерпретации, с которыми я когда-либо сталкивался.

В этой внутренней книге есть 70-страничная глава, обозначенная как «лингвистическая прелюдия» с заглавием «Возникновение Я-формы речи». Это самый утонченный труд в области сравнительного лингвистического анализа из тех, что мне известны. Основная часть данного приложения посвящена разбору этой аргументации.

1. Возникновение западной речи

Первое использование отдельного местоимения «я» в Северной Европе обнаружено в рунической надписи примерно 400 г., найденной в Дании: «Я, Хлегестр от Холта, сделал этот рог». Это заявление резко контрастирует с духом греческого и латинского способа выражения. Римские ремесленники не стали бы навязывать столь выразительное указание первого лица, а написали бы так: Gn. Manlius faber hoc cornu fecit. («Мастер Гн[еус] Манлий сделал этот рог») [Borkenau 1981: 134–135]. Что мы имеем здесь, говорит Боркенау, так это подъем определенно западного отношения к миру (и к обществу) — индивидуализм, вырастающий в эгоизм, самоутверждение, активизм. Лингвистические данные показывают, что такая установка распространяется на все северные языки [Западной Европы]. Использование местоимения первого лица стало обязательным к 1000 г. в скандинавских языках, а позднее распространилось на английский, немецкий и французский (последний сопротивлялся до 1600-х гг.).

Боркенау намеревается дать социологическое объяснение этого языкового изменения. Чтобы сделать это, он должен разобраться с альтернативными объяснениями. Есть сугубо лингвистический довод: отдельные местоимения появились, поскольку произошедшие фонетические изменения привели к невозможности различать звуки различных окончаний (например, во французском языке: *je fais*, *il fait*). Боркенау, опираясь на внушительный ряд языковых сравнений, отвергает это объяснение, поскольку в нем не учитывается последовательность во времени, в которой эти два изменения (появление местоимений, фонетические сдвиги) происходят в разных языках. Второе альтернативное объяснение возникновения местоимений заключается в том, что это было частью общего перехода от «синтетических» традиционных индоевропейских языков к современным языкам «аналитического» типа. Трактовка Боркенау этой гипотезы является чудом эрудиции. Он рассматривает множество языков на Балканах и на Среднем Востоке в такой манере, в которой это мог сделать лишь центральноевропейский исследователь его поколения. Итог этого анализа выглядит следующим образом.

«Синтезирующие языки», такие как древнегреческий, сжато передавали смыслы с помощью прибавления флексий — приставок и суффиксов — к ограниченному числу корней. Такие формы стали распадаться в связи с политическим упадком античной цивилизации, а к XI в. н. э. аналитические формы, такие как составные времена (“I am going to be moving”), распространились почти всюду. (Есть смысл считать именно «темные века» осевым временем для Запада, а не более поздний период). Имели место разные варианты: славянские и кельтские языки в большей мере сохранили синтетический стиль, германские языки дальше всего удалились от него, тогда как языки Южной Европы заняли промежуточное положение. Боркенау утверждает, что Я-форма речи является лишь одним показателем сдвига во всем общественном мировоззрении: «Такое отделение человека от его действий редко передается в греческом и латинском языках, и только для того, чтобы сделать на это особый упор. Если все современные языки в своей основе психологические, то античность полностью и безоговорочно предана выражению внешних событий» [Borkenau 1981: 146]. Такая смена установки проявляется, в частности, в составных формах времен для выражения будущего. В английском и скандинавских языках используются “shall” и “will” — вспомогательные части речи, которые выражают

обязательство или решение субъекта, сферу намерений, предвидения и сопротивления. В более наполненных флексиями средиземноморских языках продолжается использование окончаний, которые указывают лишь на время, не делая упор на субъекта.

Я не могу воспроизвести искусность и широту эрудиции, с которыми Боркенау сравнивает многочисленные аспекты языков в пространстве от Исландии до Аравии. Достаточно указать на два основных момента.

Во-первых, лежащая в основе его рассуждений теория — социологическая, даже в значительной степени политическая (и геополитическая). Язык отражает изменения в обществе. Например, Боркенау раскрывает смысл изменений грамматических форм в балканских языках, показывая, что сходные процессы определяются не наследием исторических предшественников этих языковых групп, а характером политических границ при их включении в Византийскую империю. Аналогичные результаты следуют из эллинистических завоеваний, которые обусловили политическое единство греческого языка с ближневосточными языками. Хотя теория языка Боркенау осталась несистематизированной, он придает политике важное значение в цепи событий, приводящих к языковым сдвигам.

Во-вторых, в концепции Боркенау есть момент, удивительно близкий к идеям Ноэма Хомского: синтаксис важнее, чем фонетика и лексика для установления базовых социальных и исторических аспектов языка [Borkenau 1981: 152]. Этот упор на синтаксис противоречит господствующим установкам исторической филологии и социолингвистики, которые сосредоточены на более поверхностных аспектах языковых изменений.

Вернемся к конкретным рассуждениям Боркенау относительно возникновения западного мировоззрения. Какие основные общественные события с центром в Северной Европе происходили в период с 400 до 1000 г.? Это был период «переселения народов» — военных миграций, перекроивших политическую и языковую карту. В единственном нам известном домиграционном языке — готском — не было отдельного личного местоимения, тогда как во всех языках, появившихся после миграций, оно уже имеется. Но почему же эта конкретная миграция привела к такому языковому изменению — появлению индивидуалистического самоутверждения, тогда как другие миграции (например, древних италийских народов или мон-

голов) не дали подобного результата? Боркенау показывает, что миграции тевтонцев были прежде всего движениями ситуативно появлявшихся военных вождей с их личными сподвижниками. В особенности морские набеги и вторжения были организованы как созванные группы молодых мужчин, которые шли на новые земли без женщин, порвав свои племенные связи родства. Напротив, другие миграции Боркенау считает движениями целых племен, которые переносили свои традиционные групповые связи родства на новые территории. Именно добровольно набиравшееся, свободное и военизированное движение скандинавов привело к индивидуалистической, исполненной самоутверждения установке, выраженной в их языке.

Есть и другие сложности в данном рассуждении. Из всех кельтских языков только в ирландском были отдельные местоимения. Они появились примерно в VIII в. Опять же, как полагает Боркенау, это произошло в островном обществе в период миграций личных сподвижников, хотя впоследствии политическое давление воскресило местные клановые структуры, противостоявшие любой централизованной королевской власти. В тот же период Англия была в культурном плане колонизирована христианскими миссионерами из Ирландии (пункт, который Боркенау развивает в последующих главах) и стала координационным центром, из которого распространялись обратно на континент монашеские поселения с аскетическим «реформаторским» активизмом. Но Англия также была прежде всего территорией тевтонских вторжений, начиная с англосаксонского периода (с 400-х по 500-е гг.) до эпохи норманизированных викингов шесть веков спустя. Английский, утверждает Боркенау, является самым «западным» языком. Мало того что в английском языке в наибольшей мере исчезла синтетичность (словообразование посредством флексий), но это единственный язык, в котором «я» всегда пишется заглавной буквой (I). Знаменательно, что рог Хлегестра, надпись на котором является первым известным нам случаем использования отдельного местоимения «я», был найден в том самом заливе датского побережья, из которого англосаксонские завоеватели отправились в Британию.

Боркенау добавляет к этому изумительный контрапункт. Он прослеживает возникновение вежливой формы местоимения второго лица множественного числа (итальянское *lei*, французское *vous*, испанское *usted* и немецкое *Sie*), которая стала использоваться вместо

формы единственного числа (*voi*, *tu*, *tu* и *du*). Социальные отношения, которые вели к такому языковому изменению, противоположны тем, которые были вовлечены в появление решительного «я» — "I". Перед тем как стало ходовым резкое местоимение первого лица, местоимение второго лица в единственном числе не имело особой коннотации социальных отношений; но после этого оно приобрело оттенок подчинения собеседника говорящему. Чтобы избежать этого впечатления, стала использоваться вежливая форма второго лица «Вы» — "you"[1]. Более того, это началось на территориях, где дольше всего продолжалось сопротивление приходу новой северной языковой формы. Эта Я-форма распространялась от Скандинавии до Средиземноморья; когда в 1100-х гг. она попала в Прованс и Каталонию, то получила в ответ почтительную Вы-форму, которая стала распространяться в обратном направлении, достигнув в конце концов Скандинавии в 1500-х гг. Опять же Англия является самым ярким примером. Там местоимение второго лица ("though" — «ты») полностью исчезло в вежливой речи (хотя и не без некоторого политического сопротивления, как у квакеров); осталось только самоуверенное заглавное "I", взаимодействующее без какой-либо интимности с универсальным обезличенным "you"[2].

Боркенау подводит следующий итог своему лингвистическому рассуждению: «Такие языковые особенности, как местоимения „я" и „вы", потеря падежных окончаний, появление составных и потеря простых временны́х форм, гораздо более важная роль переходных глаголов и выражений активности субъекта, — все это довольно ясно указывает на общий характер нашей западной цивилизации. Структуры языка дают некоторые общие ключи — подсказки, указывающие на характерные черты цивилизации. Но только непосредственное изучение ее идей и институтов может дать нам уверенность в том, как интерпретировать эти подсказки» [Borkenau 1081: 201]. Боркенау это и делает в остальной части своей «книги

[1] «„Я сделал этот образчик мастерства, а не ты" — вот что, кажется, говорят рунические надписи. Идея вежливости не соответствует идее викинга» [Borkenau 1981: 190].

[2] «Страна, в которой используется только вежливое „Вы", является также страной, где „никогда не показывай свои чувства" является важной воспитательной заповедью, непонятной для всех континентальных жителей. Англия пошла гораздо дальше, чем любая иная часть западного мира, в развитии чувства социальной дистанции и сдержанности» [Borkenau 1981: 192].

внутри книги» о происхождении Запада. Прежде чем перейти к этой теме, я хотел бы добавить следующий комментарий.

В работе Боркенау есть неявная теория языковых изменений, усматривающая их корни в социальной организации. Однако есть проблемы с тем, как Боркенау использует эту концепцию. Имеется некоторое противоречие между предпосылкой о том, что общество производит языковые формы, и понятием зачатка, или зародыша (a germ), цивилизации, суть которого состоит в следующем: как только дух эпохи рождается, он и дальше продолжает быть действенным и производящим. Если общество создает личностные и языковые установки, то оно должно быть обществом, которое поддерживает эти установки и заменяет их чем-то другим. «Дух» не умирает сам собой, хотя Боркенау со своим остаточным шпенглерианством иногда подразумевает, что с «духом» это и происходит, когда истекло отведенное ему время. В этой связи у Боркенау есть интересные мысли о структуре русского языка. Упор в русском языке на [глагольный] вид, а не на временну́ю форму, ориентирует его на постоянство, а не на действия во времени. Русский уклоняется от прямого выражения личной собственности* и «избегает представлять человека как центра вещей» [Borkenau 1981: 197], Данная характеристика может быть правомерной, но сделанный из этого вывод о всемирно-историческом переходе является лишь плодом раздумий Боркенау о замене одной цивилизации другой — типичных для настроений в Вене 1950 г. Я думаю, что социологическое объяснение языка — правильное объяснение. Это означает, что язык не указывает на некий самостоятельный «дух», даже притом что есть долгосрочные механизмы как инерции, так и изменения, которые мы еще недостаточно понимаем. Но это потребует более сложной теории, чем представленная Боркенау.

Лингвистика и социальные науки конца двадцатого века ориентированы не таким образом, чтобы такая теория могла быть развита. «Лингвистический поворот», заметный в философии, антропологии и психологии, получил привилегию на формальный анализ неисторических структур. На мой взгляд, если и будет когда-то разработана историческая теория языка, то сделает это социолог-компаративист.

---

* Вместо того чтобы сказать «я имею» (ср. с обычными в западных языках “I have”, “J’ai”, “Ich habe”), мы говорим «у меня есть».

2. Германская религия и нигилизм

Боркенау показывает, что западная культура имеет несколько корней, и все они относятся к периоду раннего Средневековья, наступившему после распада Римской империи. Он рассматривает пелагианскую ересь, которая появилась в Британии как раз в то время, когда она вышла из-под власти Рима; причем в пелагианстве делался упор на архетипическую для Запада тему спасения человека через его собственные усилия. Боркенау прослеживает политику монашества на ирландском дальнем Западе и ее разрыв с монашеской традицией Средиземноморья. Все это, хотя и обработано творчески, находится еще в пределах традиционного толкования, трактующего западную цивилизацию как развитие классической [античной] культуры, прошедшей через христианство. Что является наиболее отличительным в рассуждении Боркенау, так это его обращение с германской мифологии и религии того периода.

Боркенау задает вопрос, который редко, если вообще когда-либо поднимался: как выглядел распад Римской империи с германской стороны? Уже во времена Цезаря империя привела к кризису в германском обществе. «Партийный» раскол возник между проримской и антиримской группировками в связи с римской политикой создания альянсов через подкуп некоторых племен, которых римляне настраивали против недавних соратников; этот раскол стал еще глубже, когда большинство римских пограничных легионов стали укомплектованы германцами. Данный раскол, как правило, рассматривается как признак того, что более примитивные общества чувствовали свою культурную отсталость при столкновении с более передовой цивилизацией. Однако эта цивилизация в военном плане явно разрушалась. Так, перед германским миром встал кардинальный выбор: или принять средиземноморскую культуру, прежде всего христианство, или двинуться в противоположном направлении — к собственной германской контркультуре.

В этом контексте Боркенау указывает на не очень известный паттерн в истории тевтонских религий. Фактически там было две группы богов: старшие ванические божества («ваны», или «ваниры»: Фрейя, Фрейр, Ньёрд), которые были объектами хтонических, сезонных культов, и божества Асы (или «асиры»: Óдин, Тор и др.) — мужественные боги войны, для поклонения которым требовались кровавые человеческие жертвы. Ванические культы, в которых

практиковались тайные анимистические лесные обряды, уже приходили в упадок во время кампаний Цезаря. Культы асов *появились только около VI в.* и процветали на протяжении нескольких веков, прежде чем уступили христианству[1]. Боркенау представляет два драматических вывода относительно истоков Западной культуры.

Во-первых, германские племена прошли через критический период опережения и замещения Римской империи как *преимущественно нерелигиозная культура*. Древние немецкие саги отличаются от греческих, индуистских и кельтских мифов невмешательством богов в жизнь людей — героев этих сказаний. Западная культура формируется сама по себе не под эгидой навязанных моральных символов, но как сага о безбожных эго. Ведь именно в это время происходят языковые сдвиги, миграции личных сподвижников и разрыв прежних племенных связей. Боркенау ищет мифы и более поздние тексты, чтобы выявить остатки этого периода, представляя впечатляющий ряд толкований саги о Зигфриде и других результатов, которым должен был бы позавидовать сам Леви-Стросс. Выводы Боркенау также оказываются более сильными, чем суждения о статических архетипах того сорта, что выявлял Дюмезиль, потому что Боркенау находит свидетельства тяжелого морального кризиса в период миграций и войн между германскими коалициями: чувства вины за нарушение родственных связей при вступлении в новые политические союзы, ужасные видения последствий того, что жертвы массовых сражений остались непогребенными, — в обще-

[1] Данное положение Боркенау оспорили бы некоторые специалисты, в частности, из школы Дюмезиля, который рассматривает всех германских богов как версию древней индоевропейской схемы с тремя функциями. Мода на структуралистские интерпретации в последние годы в значительной степени избегала вопросов об исторических изменениях и поэтому оставила уровень эмпирической аргументации во многом таким же, каким он был, когда 1950-х гг. писали и Боркенау, и Жорж Дюмезиль. (См. предисловие Струтински к книге Дюмезиля «Боги древних северян», *Dumézil G.* Gods of Ancient Northmen. University of California Press, 1973.) Датировки Боркенау основаны на тщательном исследований рунических надписей и находятся ближе к реальным фактам, чем датировки противостоящей школы. Некоторые конкретные интерпретации Боркенау, например, когда он причислил Бальдера к ваническим богам, могут быть неточными. Но в отсутствие какого-либо другого политически-ориентированного взгляда на историю германской религии, аргументы Боркенау, как мне представляется, остаются приоритетными.

стве, где погребальный обряд занимал центральное место. Когда, наконец, в середине этого периода появился пантеон богов-асов, он оказался представлявшей меньшую [психологическую] поддержку и крайне пессимистичной религией. Оди́н, бог битвы — это также бог предательства, бог казни и бог смерти. При этом Тор и другие божественные герои обречены сражаться до конца света — и проиграть. В основе первопроходческой культуры Запада, как считает Боркенау, лежит экзистенциальное отчаяние, связанное с западным индивидуализмом, стремлением к борьбе и самонадеянностью[1].

Во-вторых, эта культура тем не менее была передовой культурой. Она не была продуктом неграмотных племен, но появилась в том времени и в том месте, когда и где был изобретен собственный алфавит — руны. Это была культура, сформированная в открытой войне против христианства за контроль над новыми государствами севера — в долгой борьбе, вехой которой было восстание в Германии саксонцев-язычников против франков, пытавшихся обращать в христианство, и которая завершилась только насильственной христианизацией последних скандинавов в период после 1100 г.[2] В этом контексте любопытным образом смотрится легенда о распятом на священном древе Оди́не, который по прошествии девяти дней, наконец, освободился, одновременно подражая христианскому Иисусу, отвергая его и превосходя. Это была культура, которая, как представляется, знала, что погибнет, но была полна решимости бороться: исторически это была наиболее сознающая себя культура до нововременной светской эпохи.

Рукопись Боркенау осталась незавершенной, когда он умер, и остается проблема, как связать воедино части его аргументации, такие как: языковая революция в ее самых крайних формах в северных обществах воинов-мореплавателей, чувство «первого преступления темных веков», связанное с предательством по отноше-

[1] «Германская история стала безбожной [после упадка культов плодородия], и этот факт решительно определил не только характер древнего германского язычества, но и германского христианства, затем Западного христианства, а вместе с ним и всей Западной цивилизации» [Borkenau 1981: 256].

[2] Во время завоевания Карлом Великим саксонцев, которое велось более 30 лет (772–804 гг.), его апогеем было срубание священного дерева языческого жертвенного культа и массовое крещение сдавшейся знати. Христианизированная территория была вновь сокращена вследствие бунта в X в. [Kinder and Hilgemann 1968: 119; Bartlett 1993].

нию к племенным узам и обрядам в массовых миграциях и войнах на континенте, трансформация христианства как одновременно врага и наследника этих северных обществ, о чем свидетельствуют последующие пелагианство и монашество. Такая работа предназначена для исторического социолога с глубоким пониманием политической социологии религии, трансформации систем родства, социологии языковых изменений, и прежде всего с достаточно независимым умом, чтобы избежать обычных эволюционистских и средиземноморски-ориентированных клише об эпохе Средневековья. Короче говоря, понадобится кто-то с уникальными талантами Франца Боркенау. Можно только надеяться, что у него найдутся достойные преемники.

Один из современников назвал Боркенау «аргонавтом человеческого духа». Вряд ли можно найти более подходящий образ.

Послесловие

Теории исторической динамики Рэндалла Коллинза и российский контекст*

Николай Розов

В 1995 г. мне впервые встретилось имя Рэндалла Коллинза как того социального исследователя, который сумел предсказать распад СССР на основе общей теории. Тогда в России он был почти не известен, разве что в узком кругу особо продвинутых московских социологов. После выхода в свет нескольких переводных книг, особенно «Социологии философий» (Новосибирск, 2002), а также статей, интервью, докладов, нескольких визитов Р. Коллинза в Москву, Новосибирск и Санкт-Петербург, после приглашения его кремлевскими деятелями на пафосные мероприятия (проводимые, например, в Доме Пашкова) ситуация изменилась. Такое впечатление, что о Р. Коллинзе в России знают уже все гуманитарно образованные люди.

Рэндалл Коллинз — классический, основательный исследователь, он никогда не был замечен в попытках потрясти публику громкими фразами-мемами и соответствующими «революционными» концепциями, типа «конца истории», «общества риска» или «столкновения цивилизаций». Однако на сегодняшний день он является одним из наиболее известных и влиятельных социальных исследователей в мире и в России. Это отнюдь не громкая преходящая слава, но крепкая долговременная репутация, которая, в чем

* Выражаю благодарность Г. М. Дерлугьяну, С. А. Нефедову и С. В. Цирелю за ценные замечания при написании данной статьи.

я абсолютно уверен, будет только расти в последующие десятилетия. В будущем труды Р. Коллинза будут цитироваться и изучаться наряду с классическими шедеврами социальной мысли Ф. Энгельса, К. Маркса, Э. Дюркгейма, М. Вебера, Г. Зиммеля, Й. Шумпетера, К. Леви-Стросса, Б. Мура, Р. Бендикса, Г. Блумера, И. Гоффмана (намеренно упоминаю лишь тех, кому наибольшую дань уважения отдает сам Коллинз).

О творческой биографии Р. Коллинза и его включенности в мировые интеллектуальные сети я уже писал во вступительной статье к его «Социологии философий»[1], этот текст широко разошелся в Интернете, поэтому повторяться не буду. Задача данной статьи — соединить идеи и материал книги «Макроистория» с контекстом долговременных социальных и политических изменений в России, в некотором смысле так повернуть «угол зрения» российского читателя, чтобы отвлеченные, довольно строгие теоретические конструкции Коллинза и линии его аргументации, выстроенные обычно на далеком от нас материале, обнаружили свою эвристичность для понимания закономерностей исторической динамики нашей страны, тенденций ее развития в настоящем и будущем.

При этом я воздержусь от критики идей и теорий Р. Коллинза, оставляя дело критического осмысления книги читателям и рецензентам. Иными словами, модальность последующих рассуждений имеет примерно такую форму: «допустим, что данные теоретические положения Р. Коллинза верны, тогда что ценного и полезного они нам дают для понимания закономерностей и механизмов исторической динамики России?»

1. Золотой век исторической макросоциологии... Россия опять на обочине?

Во вступительной статье Р. Коллинз утверждает, что особая отрасль социологии, изучающая исторические процессы большой длительности, переживает в настоящее время бурный и плодотвор-

[1] *Розов Н. С.* «Социология философий» Рэндалла Коллинза — новый этап самосознания интеллектуалов в мировой истории. URL: http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/collins.htm

ный период (Золотой век), причем он продлится еще на значительный период в будущем. Следует обратить внимание на необычность и смелость этого тезиса, что особенно ярко видно при сравнении с неумолкающим хором интеллектуальных стенаний о «кризисе» всего и вся, начиная с идей упадка Запада (О. Шпенглер) и кризиса европейской культуры (Э. Гуссерль) до провозглашения «конца проекта модерна», «конца эпохи Просвещения», тотального кризиса науки, образования, культуры, да и всей человеческой цивилизации.

Итак, соглашаясь с тезисом о продолжающемся расцвете мировой исторической макросоциологии[1], посмотрим, затронул ли и насколько этот расцвет Россию. Разумеется, необходимо принимать во внимание отечественный интеллектуальный фон: период растерянности и разнонаправленных метаний после семи десятилетий монополии марксистского взгляда на историю. Здесь особо значимы два момента.

Во-первых, «исторический материализм» был отчасти социально-философской, отчасти научной, отчасти идеологической доктриной (парадигмой, если угодно) именно *макросоциологического* характера, причем отцы-основатели «истмата» Ф. Энгельс и К. Маркс (сам Р. Коллинз именно так расставил ранги[2]) до сих пор, наряду с М. Вебером и Э. Дюркгеймом, составляют могучий идейный арсенал социологической классики, который продолжает питать развивающееся социально-историческое познание. В этом плане, сохраняющиеся до сих пор марксистские основы российского обществознания являются солидным потенциалом для неостывающего интереса к самым общим вопросам исторического развития, для масштабности, философской насыщенности российских подходов; при всем этом распространенные догматизм и схематизм имеют тот же источник.

Во-вторых, удручающая пронизанность трудов К. Маркса радикализмом и коммунистической идеологией привела как минимум к двум негативным последствиям. Исторический материализм

---

[1] *Розов Н. С.* Историческая макросоциология: становление, направления исследований, типы моделей и методы // Общественные науки и современность. 2009. № 3. С. 132–141.

[2] *Коллинз Р.* Четыре социологические традиции. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2009. С. 70–96.

в советской версии «марксизма-ленинизма» во многом утерял достоинства открытого и живого научного поиска, превратился в догму. Уже начиная с последних десятилетий советского периода наиболее вдумчивые и основательные историки и обществоведы начинали тихо ненавидеть навязываемые «истматовские» каноны (например, о непременной «пятичленке» смены формаций и классовой борьбе как главной движущей силы истории), что вылилось после распада СССР и коммунистического режима в демонстративный отказ от марксизма со стороны «продвинутых», особенно ориентированных на западную науку российских ученых.

Место марксизма занял цивилизационный подход, сильно уступающий ему в теоретичности. В новой связке с «традиционной русской духовностью» этот подход стал не в меньшей мере догматичным и идеологизированным, чем отвергнутый «марксизм-ленинизм». Соответственно, большинство нынешних российских адептов марксизма, даже отказавшись от его радикально-революционных и коммунистических мотивов, остаются догматиками[1], при этом пытаясь явно или неявно подверстать идеи Маркса к «русскому патриотизму», традиционному православию и державному государственничеству.

Советская социология, которая стала пробуждаться с 1960-х гг., естественным образом ориентировалась на мейнстрим тогдашней западной, преимущественно наиболее развитой американской социологии с ее традиционным вниманием к опросам, анализу общественного мнения и т. п. В советскую эпоху макросоциологическая проблематика оставалась для нашей социологии табуированной именно из-за идеологической монополизации «историческим материализмом».

---

[1] Вот пример моего диалога с таким догматиком на одном из Российских философских конгрессов:

— Вы судите о политэкономии, а какие современные направления и авторы в отечественной и мировой науке вам известны?

— А разве такие есть?

— Да и немало, сейчас весьма интенсивно развиваются исследования на стыке экономики, политической науки, социологии, антропологии и психологии.

— Так ведь это все буржуазные теории!

— Пожалуй, да. Уж точно, что они не пролетарские.

— Так ведь Маркс уже давно раз и навсегда опроверг все буржуазные теории! Зачем же мне их знать?!

До сих пор у российских социологов данная родовая травма сохраняется; поэтому, несмотря на переводы классических макросоциологических трудов П. Сорокина, Н. Элиаса, Н. Лумана, К. Поланьи, Й. Шумпетера, новых превосходных книг В. Макнила, Ч. Тилли, И. Валлерстайна, Р. Коллинза, Дж. Арриги, Д. Норта и др., отечественные социологи за редчайшим исключением остаются равнодушными к анализу крупных социальных процессов, даже не считают такие исследования «подлинно научной социологией».

Так, лидер одной из продвинутых (без кавычек) столичных социологических школ прямо сказал мне, что в их среде любые широкие макроисторические обобщения, модели долговременной динамики, сделанные соотечественниками, рассматриваются как «ужас-ужас-ужас — русский духовный дискурс, бессмысленный и беспощадный». Понять такую позицию тоже можно, поскольку основной вал историософских, социально-философских, цивилизационистских, равно как и «фундаментально-социологических», работ, касающихся истории, не имеют эмпирической основы, не опираются на надежные теории, а выражают главным образом крайне идеологизированные и схоластические «размышлизмы» авторов.

Во многом по причине неведения, отчуждения и равнодушия социологов в России макросоциология пока не легитимирована, не говоря уже об институционализации.

Не менее плачевна ситуация и с другой потенциальной материнской дисциплиной — историей. Постсоветская история имеет сходную травму, связанную с эмансипацией от давно надоевшего марксизма, вкупе с которым были отброшены темы крупных исторических сдвигов и трансформаций, задачи выявления объективных закономерностей и т. д.

Российские историки либо наслаждаются обретенной возможностью проводить сугубо эмпирические, узкие архивные исследования без излишних теоретических умствований, либо переживают «радость узнавания», когда на своем местном материале обнаруживают нечто похожее на новомодные (обычно французские или немецкие) концепты. Лишь редкие историки, как правило, старшего поколения (И. М. Дьяконов, о котором см. ниже), позволяют себе крупные обобщения, широкий сравнительный и теоретический анализ.

Подрастающее поколение историков проявляет живой интерес к проблемам исторической макросоциологии, но действительный

прорыв, появление серии новых ярких работ следует ожидать только после радикального обновления нынешних замшелых вузовских курсов «методологии истории», когда молодые исследователи овладеют не только современным арсеналом методов и средств математической и теоретической истории, но также теоретическим и макросоциологическим стилем мышления[1].

Итак, по многим причинам макросоциология в России весьма далека от признания и институционализации, она все еще «растаскивается» между геополитикой, социальной и экономической историей, социальной философией и философией истории, политологией и политической философией.

В то же время в постсоветской России сохранился и продолжает расти интерес исследователей (как правило, с философским, историческим и гуманитарным бэкграундом) к изучению крупных социально-исторических процессов. С 1990-х гг. стали появляться альманахи, журналы, серии коллективных монографий, ориентированные на мировой научный контекст («THESIS», «Цивилизации», «Время мира», «Логос», «Космополис», «Одиссей», «Прогнозис», «История и математика», «Социальная эволюция и история», «Теоретическая история и макросоциология» и др.), в которых множество материалов посвящено макросоциологической проблематике, пусть и под разными именами.

Большинство отечественных авторов работают на философском, сугубо концептуальном, а то и схоластическом уровне, не прибегая к явному формулированию и проверке теоретических положений, не говоря уже о систематическом анализе исторических данных. На этом фоне выделяется книга историка-востоковеда И. М. Дьяконова «Пути истории» (1994). Несмотря на свое историческое самосознание, Дьяконов написал *вполне макросоциологическую* работу с явным выделением фаз социального развития, критериев их различения, механизмов и закономерностей переходов и т. д. Неслучайно именно эта книга переведена на английский язык и, чуть ли не единственная среди современных отечественных

[1] Попытка исправить ситуацию предпринята в недавно вышедшем учебнике для студентов-историков, три главы которого, посвященные как раз логике и методологии исторического исследования, написаны автором этих строк: Теория и методология истории / Отв. ред. В. В. Алексеев, Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин. Волгоград: Учитель, 2014.

исторических и обществоведческих трудов, изучается в западных университетах.

Особняком стоят отечественные работы по геоэкономике, сравнительной экономической истории, миросистемному анализу, теории модернизации. Их выгодно отличает внимание к эмпирическим данным, к современным дискуссиям в мировой науке, к политическому и культурному контексту экономического развития. Однако оригинальных, ярких, «прорывных» исследований пока нет; возможно, сказывается излишний пиетет по отношению к западным авторитетам, сопутствующая робость в проведении собственных сравнительно-исторических исследований экономического развития по оригинальной методологии.

Следует отметить также перспективное и уже получившее ценные результаты направление теоретического изучения и математического моделирования процессов исторической динамики и социальной эволюции (с 2006 г. регулярно выходит альманах «История и математика» на русском и английском языках[1]). Данное направление обозначило область своих исследований как «клиодинамику»[2]. Фактически это не что иное, как применение математического моделирования и статистического анализа в рамках той же исторической макросоциологии.

Появляются книги, в которых достижения западной макросоциологии (особенно теория модернизации, миросистемный анализ, геополитические модели, концепция военной революции, структурно-демографическая теория и др.) активно применяются для объяснения исторической динамики России[3].

Итак, историческая макросоциология в России, как и во многих странах мира за пределами Евроатлантики, не переживает в полной мере «золотой век» этой науки, а питается пока его отблесками.

---

[1] См., например: Турчин П. В., Гринин Л. Е., Малков С. Ю., Коротаев А. В. (ред.). История и математика: Концептуальное пространство и направления поиска. М.: URSS, 2008.

[2] *Турчин П. В.* Историческая динамика. На пути к теоретической истории. М.: Издательство ЛКИ/URSS. 2007.

[3] *Хорос В. Г.* Русская история в сравнительном освещении. М: Aspect press, 1996. *Кагарлицкий Б.* Периферийная империя: Россия и миросистема. М.: Книжный дом «Либроком»/URSS, 2012. *Нефедов С. А.* Демографически-структурный анализ социально-экономической истории России. Екатеринбург, 2005. *Розов Н. С.* Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в XXI веке. М.: РОССПЭН, 2011.

Перспективы полноценной институционализации со специализированными кафедрами, учебными курсами, журналами пока не просматриваются. Однако явный живой интерес, наличие активных исследовательских сообществ, появление масштабных и вполне оригинальных исследований внушает надежды.

2. Теория революций и политические перспективы России

Первая глава книги посвящена синтезу современных центрированных на государстве теорий революций. Почему эти теории стали вдруг настолько актуальной в сложившейся в России политической ситуации?

Правящая группа, как и сам режим «вертикали власти», в большой мере делегитимирована, особенно в среде образованного класса столиц и крупных городов, но явно не собирается отдавать власть, даже сколько-нибудь делиться ею. Чем дальше, тем плотнее закрывается «мягкий» путь, связанный с переговорами, уступками, ротацией власти по результатам новых честных выборов, — путь мирной трансформации (как это происходило в постфранкистской Испании, а затем в Южной Корее, Бразилии, Мексике). Соответственно, при одновременном росте репрессивности режима (с мая 2012 г.) и нарастании общественного напряжения и вспышек недовольства властью, протестов, единственной возможностью существенного, а не декоративного, преобразования режима оказывается революция.

Тут же в начале главы о революциях обнаруживаем первое разочарование: классическая марксистская теория «скороварки» (напряжение снизу растет и взрывает политическую оболочку) развенчивается. Пока сплочены элиты и их военный репрессивный аппарат, любые низовые брожения тщетны.

Также понятно, что демографический фактор, ключевой в анализируемой Коллинзом теории Дж. Голдстоуна, проявившийся недавно как «молодежный бугор» в арабских революциях[1], при текущем тренде российской депопуляции действует в обратном направлении.

[1] Системный мониторинг глобальных и региональных рисков: Арабская весна 2011 года. М.: Издательство ЛКИ/URSS, 2012.

Избыток молодежи и безработица на Северном Кавказе приводят к росту исламистских движений, к росту кавказских диаспор в Центральной России, что питает агрессивный национализм и парадоксальным образом легитимирует полицейский характер режима.

Вполне релевантным и достаточно прозрачным фактором революционных изменений является «финансовое напряжение, неспособность государства платить своим собственным функционерам и прежде всего своим солдатам» (один из важнейших факторов революции, выделенных Тедой Скочпол). Известная нынешняя ситуация в России «один дарующий — много просящих и берущих» устойчива до тех пор, пока есть что давать, а это определяется главным образом мировыми ценами на энергоносители.

Все более активно обсуждается фактор «межэлитного конфликта, междоусобных войн, разделяющих правителей и парализующих их способность действовать», иными словами раскол элит. Пока признаков его нет. Самым значимым является вопрос о следующем слое причинности: что ведет к расколу элит и иммобилизации (самоблокированию) репрессивного аппарата? Имеющиеся, в том числе рассматриваемые Коллинзом, теории революций указывают на такие факторы:

а) *недостаточность ресурсов* у правящей группы для выполнения ожидаемых от нее обязательств (см. выше);
б) *перепроизводство элит*, что ведет к недовольству «обиженной» части и формированию контрэлиты;
в) *делегитимация правящей группы*, но не с точки зрения законности и оправданности ее правления, а с точки зрения утраты значительной частью элит веры в то, что поддержка этой группы — наиболее безопасная и эффективная политическая стратегия (см. далее о принудительной коалиции);
г) *появление альтернативных центров влияния*, которые по каким-то причинам уже нельзя подавить и уничтожить, и которые явно набирают как общественную популярность, так и притягательность для держателей ресурсов, для административных, силовых структур;
д) появление и популяризация *альтернативного привлекательного образа будущего*[1], соответствующих лозунгов и идеологии,

[1] *Цирель С. В.* Революции, волны революций и Арабская весна. В кн.: Системный мониторинг… 2012. С. 136.

которые дискредитируют правящую группу и усиливают влиятельность новых центров силы;

е) *«бунт регионов»*, когда региональные власти сначала неявно, а потом все более открыто начинают поддерживать не правящую группу, а альтернативные центры силы, главным образом потому, что рассчитывают при их победе увеличить свои автономию, доступ к ресурсам и влиятельность;

ж) военные и международные провалы, *утеря государством престижа могущества на внешней арене*, вина за которую возлагается в общественном сознании на правящую группу и режим;

з) убедительная *поддержка референтными, влиятельными державами альтернативных центров силы* (*контрэлиты*), что дает надежды в обществе на повышение международного престижа государства при их победе[1].

Выше перечислены факторы раскола элит и последующего политического кризиса, который может разрешиться самым разным образом, в том числе реакцией и авторитарным откатом, либо же временной либерализацией, сопряженной с утерей государственного контроля, ростом дискомфорта, тревожности и возвратом к авторитаризму[2]. Выход из этой «колеи циклов» предполагает как организационную подготовку пришедших к власти групп, так и принятие ими особых «правил игры», определенного круга общих принципов, запретов и ценностей[3].

В этом плане значимыми оказываются символические ресурсы и деятельность идеологов, а особого внимания заслуживает анализ Коллинзом представлений Дж. Голдстоуна и Р. Вутноу о роли интеллектуалов в революциях, прежде всего тезисы о структурной

---

[1] Весьма поучительно сравнение каждого из этих пунктов с ситуацией украинского Евромайдана в конце 2013 г. – начале 2014 г.

[2] Бурные события в России 2011–2012 гг. и на Украине конца 2013 г., их различная динамика и последствия могут быть с пользой проанализированы с помощью концептов, заданных Р. Коллинзом и его предшественниками (Б. Мур, Т. Скочпол, Дж. Голдстоун, Р. Вутноу и др.). Польза же заключается отнюдь не в подведении частных случаев под общую теорию, а в уточнении политико-правовых, социально-экономических, культурных и ментальных условий, при которых в рамках широкой теории социальных движений и революций складываются те или иные паттерны массовых протестов и последующих политических изменений. См.: *Розов Н. С.* Механизмы конфликтной динамики и революция в Украине // Гуманитарный вектор, № 3 (39)/2014. С. 161–171.

[3] *Розов Н. С.* Колея и перевал… Главы 14–15.

обусловленности идеологий, о важности «патовой ситуации» между политическими силами для повышения статуса и творческой активности идеологов, о неспособности самих интеллектуалов к последовательным политическим действиям и проведению структурных изменений.

По моей просьбе сам Коллинз в «Предисловии к русскому изданию» проинтерпретировал социально-политические события и процессы в России двух последних десятилетий. Коротко, но вполне концептуально он связал их с «цветными революциями» и «Арабской весной». Вердикт Коллинза вдвойне неутешителен.

Во-первых, сам паттерн «цветных» и «арабских революций» (упорные протесты огромных масс людей, ведущие к переломному моменту и уходу прежнего лидера) далеко не всегда успешен. Конфликтный процесс может привести либо к жестокому силовому подавлению протестного движения (Сомали, Бахрейн, Саудовская Аравия, позже Турция), либо к территориальному разделению с эскалацией взаимного насилия и последующей гражданской войной (Ливия, Сирия).

Во-вторых, даже при успехе и уходе надоевшего лидера, при таком паттерне революции — без структурного кризиса и раскола элит — существенные глубокие преобразования не проводятся, поэтому через какое-то время прежняя элита вновь возвращает себе власть, пусть и с некоторой сменой этикеток (Кувейт, Алжир, Марокко).

Какая же польза от этого пессимистического прогноза? Прежде всего он позволяет отбросить столь популярные сегодня в России романтические упования на то, что при выходе на улицы сотен тысяч и миллионов «Путин уйдет, режим развалится, и тогда будем строить настоящую демократию».

Аналитикам следует сосредоточить внимание на том, имеются ли признаки назревания глубоких структурных противоречий, на том, какие новые принципы социального взаимодействия и институты способны их разрешить, соответственно, каковы должны быть пути трансформации системы (демонтажа режима), через какие идеи и лозунги следует обеспечивать ресурсную и массовую поддержку стратегиям, направленным на такую трансформацию.

Что касается глубоких системных противоречий, то речь может идти о так называемых контурах деградации[1]. Очень может быть,

[1] *Розов Н. С.* Колея и перевал... Глава 13 «Современная стагнация России: деградация, коррупция и риски под прикрытием „стабильности"».

что не социально-экономические неурядицы и не межэтнические конфликты, о которых привычно думать как причинах кризиса, сыграют главную роль, а тривиальная неспособность государственного аппарата выполнять свои функции, что может проявиться в самом широком спектре явлений. Структурным противоречием здесь является то, что властные практики укрепления режима во многом опираются на обеспечение лояльности руководящих слоев: от верхних федеральных до ведомственных департаментов, региональных и городских администраций. «Платой» за лояльность является практическая безнаказанность, а значит и реальная безответственность руководителей и чиновников, в том числе попустительство организованной коррупции, местечковому монополизму, некомпетентности и бездействию.

Другой важнейший структурный фактор — неуклонный рост «условности собственности». Оборотной стороной роста нахрапистого и алчного постсоветского чиновничества (в том числе силового) является уязвимость и «подвешенность» российского бизнеса, живущего под постоянным, даже нарастающим давлением (псевдо)государственного рэкета. Системным следствием является известный переток капиталов за рубеж, а значит неуклонное ресурсное истощение, которое уже сказывается в стагнации и провале программ развития, а затем проявится и в более острой форме. Какой?

Неявными результатами такого рода деструктивных процессов уже сейчас являются бедствия — от неспособности предотвратить лесные пожары и наводнения до катастроф на транспорте. Они являются по своей природе «нормальными случайностями» в смысле Ч. Перроу [Perrow 1984], причем вероятные в будущем серии таких «случайностей» (с особенно очевидной неспособностью власти адекватно и эффективно действовать) приведут к политическому кризису. Согласно столь детально рассмотренному Р. Коллинзом принципу М. Вебера, решающим «пусковым крючком» для распада режима может стать явный провал в геополитическом престиже могущества (в том числе из-за военных поражений), вероятность чего значительно усиливается при углубляющейся изоляции страны и фактическом отсутствии союзников.

Куда же направить усилия тем группам, которые стремятся преобразовать режим в направлении к демократии и открытому правовому обществу? Коллинзовское условие глубокого структур-

ного кризиса, разумеется, не следует превращать в достопамятный ленинский лозунг «Чем хуже, тем лучше». По-видимому, речь должна идти, во-первых, о разработке идей требуемых структурных трансформаций, которые препятствовали бы посткризисному возврату авторитаризма и автократии (а это прежде всего представления о будущем обновлении Конституции и важнейших законов о формировании, взаимодействии ветвей власти, о политических гарантиях для оппозиции, о выборах), во-вторых, о выстраивании «параллельной реальности» (возможно, с ориентацией на польскую «Солидарность» и прибалтийские «народные фронты» конца 1980-х гг.), когда протестные движения и оппозиция берут на себя функции, особенно дурно выполняющиеся режимом, создают дееспособные структуры, постепенно перетягивают на свою сторону часть элиты и симпатии, поддержку населения.

Все это не означает отказа от массовых шествий и митингов, от акций гражданского неповиновения и критики властей, но центр внимания и усилий должен быть кардинально смещен: от ставших дежурными нападок на власть — к собственному организационному строительству, от погони за массовостью уличных толп — к легитимности в глазах элит и населения, от простых лозунгов «долой!» — к обсуждению и разработке сложных конструкций будущего политического и правового устройства с глубокими структурными преобразованиями, которые Р. Коллинз считает важнейшим критерием успешной революции. Весьма сложной и нетривиальной является задача построения хотя бы сценария, сочетающего трудносовместимое: революционную смену режима и мирный, конституционный процесс перехода[1].

3. Предсказание распада СССР и геополитика современной России

Вторая глава о коллапсе Варшавского блока и Советского Союза — единственная в книге, непосредственно посвященная нашей стране и ее недавнему (по историческим меркам) прошло-

[1] См.: *Розов Н. С.* Принципы и критерии легитимности постреволюционной власти // Полис (Политические исследования). 2014. № 5. С. 90–107.

му. Коллинза неоднократно критиковали за эту работу, как правило, указывая на гипертрофию внимания к внешней геополитике и недостаточный учет внутренних (социально-экономических, национальных, идеологических и других) факторов распада. Такого рода критика не учитывает, во-первых, самостоятельной ценности применения аналитически выделенной аспектной теории (в данном случае — геополитической), оказавшейся достаточно сильной не только для полноценного научного объяснения, но и для предсказания[1], во-вторых, того, что геополитическое объяснение отнюдь не отвергает внутренние факторы, а напротив, органически увязывается с концепциями динамики внутри Варшавского блока и внутри СССР.

Сам Коллинз в этой главе говорит о делегитимации власти и коммунистической идеологии, о ресурсном напряжении (во многом вследствие перестроечных реформ, принявших к концу 1980-х гг. форму товарного голода) и о межнациональной напряженности, связанной со сверхрасширением. Вообще говоря, в современной мировой и отечественной литературе нет недостатка в альтернативных версиях «главного фактора» или «комплекса главных факторов» коммунистического коллапса, но никто, кроме Коллинза, до сих пор не сумел представить общую теорию, полученную на другом материале, которая в соединении с фактическими данными об СССР и Варшавском блоке 1980-х гг. дала бы в качестве *дедуктивного вывода* предсказание распада этих структур.

Что же полезного может дать опыт теоретического предсказания коллапса СССР для современной российской геополитики? Насколько оправданы часто звучащие тревоги об опасности дальнейшего распада России? Откуда ждать главных угроз? Каковы перспективы укрепления российских геополитических позиций? Детально все эти вопросы были рассмотрены в другом месте[2]. Здесь укажем только на основные направления мысли, толчок к которым дают принципы теории геополитической динамики Р. Коллинза.

Большое богатство и большое население страны способствуют ее расширению за счет меньших соседей. Все без исключения

---

[1] Ср.: *Гемпель К.* Функция общих законов в истории // Время мира, вып. 1, 2000. С. 13–26.

[2] *Розов Н. С.* Колея и перевал... Главы 20–21.

новые страны, имевшие ранее статус республик СССР, обладают меньшими геополитическими ресурсами (богатством и населением), чем Российская Федерация, поэтому именно она для них представляет объективную опасность, которая в частности, реализовалась в практической аннексии грузинских провинций под видом признания их независимости, а также в присоединении Крыма и военном конфликте в Донбассе, начиная с весны 2014 г. Объединенная Европа отчасти сама страдает от сверхрасширения, что проявилось в плачевных следствиях утраты контроля за финансами отдельных стран, особенно Греции. К тому же главные военные державы западной Европы отделены от России целым слоем малых буферных государств, поэтому страхи перед Западом и НАТО обусловлены скорее возобновлением советской риторики «для внутреннего пользования», а не реальными угрозами.

Принцип ресурсного преимущества уже два десятилетия работает на Китай. Если расширить понятие экспансии с открытого завоевания или аннексии до надежного извлечения наиболее ценных ресурсов из соседней территории, то приходится признать, что Китай, согласно долговременным программам «сотрудничества», все больше становится скрытым владельцем и главным пользователем богатых сырьевых ресурсов Восточной Сибири. Очевидно также, что при продолжении тенденции вымывания российского населения с Дальнего Востока при одновременном бурном росте городов, промышленности и населения северо-восточных китайских провинций принадлежность Приморья России будет все более зыбкой, и оно становится первым претендентом на отпадение в случае глубокого внутреннего политического конфликта.

По параметру *невыгодная центральность / выгодная окраинность* (грубо говоря, отношение длины потенциально опасных границ к длине безопасных) положение Российской Федерации более благоприятно, чем СССР, опять же из-за появления малых буферных государств на Юге и Западе. Однако центральная позиция попрежнему обусловливает немалое геополитическое напряжение: до сих пор потенциальным противником считаются НАТО и США, что ведет к удержанию значительных военных сил на Западе и на Дальнем Востоке. Кавказ, Таджикистан и китайская граница также оттягивают значительные военные ресурсы. При ухудшении конъюнктуры мировых цен на российский сырьевой экспорт данные напряжения непременно проявятся.

Геополитическая центральность снижается, когда опасные границы переводятся в разряд безопасных, а это достигается *за счет надежных союзов с теми, кому можно доверять и кто не точно не планирует посягать на чужую территорию*. Кроме того, по принципу домино (враг моего врага — мой друг) снизить угрозы со стороны наиболее опасных границ можно через оборонительный союз со всеми актуальными и вероятными противниками угрожающей державы.

Из этих соображений и теории Р. Коллинза прямо вытекают императивы установления прочных дружественных союзов с Европой, США, Турцией (т. е. неугрожающими соседями, в том числе заморскими), с Вьетнамом, Индией (странами, которые испытывают угрозы или напряженность в отношениях с Китаем), устранения напряженности на Кавказе (мирный договор и уход с бывших грузинских территорий, которые России ничего не дают, кроме финансовых и репутационных издержек) и в отношениях с Украиной (действительное признание ее как суверенного государства и приемлемое для мирового сообщества мирное, правовое решение тяжелейших проблем Крыма и Донбасса).

Фактор сверхрасширения и соответствующая опасность дробления (фрагментации) для России с ее по-прежнему огромной территорией, отнюдь не исчезли. Коммуникационные, экономические и отчасти даже культурные отношения уже упомянутого Приморья с Китаем, калининградского анклава — с Европейским союзом, Северного Кавказа — с Турцией и арабскими ваххабитами, Карелии — с Финляндией уже сейчас примерно равны или даже более сильны, чем связи этих регионов с Москвой и остальной Россией. Центральная власть эти проблемы видит, но пытается по старосоветским привычкам решать их через «укрепление вертикали», бюджетный поводок, все новые запреты и официозную риторику о «величии» и «единстве».

Геополитическая теория, изложенная во второй главе «Макроистории», дает подсказки для совсем иных приоритетов в политике удержания территорий. Главными структурными факторами, способствующими сохранению целостности страны являются:

а) снижение логистических издержек во внутренних коммуникациях;
б) приверженность населения окраин включенности в общенациональное целое в противоположность отчуждению от репрессивного центра;

в) рост экономических выгод для окраин в рыночных взаимодействиях с другими регионами страны.

Соответственно, упор следует делать отнюдь не на «вертикаль» и запреты, а на дорожную сеть, логистические хабы, на создание таких правовых и экономических условий, при которых власти и население окраин могли бы извлекать все бóльшую выгоду из своей пограничной позиции во все более тесном обмене с другими регионами России.

Блестящим дополнением ко второй главе, посвященной геополитической динамике, легитимности и революции как государственному распаду является Приложение А, посвященное компьютерному моделированию этого комплекса теорий. Вполне актуальными для современной России выглядят следующие положения обсуждаемой синтетической теории и результаты динамического моделирования.

Правители ввязываются во внешний конфликт с тем большей готовностью, чем больше они страдают от подрыва своей легитимности. При этом уровень успеха или неудачи определяется тем, превосходит ли государство противников в своих ресурсах, либо противники обладают совокупным преимуществом. Режим, легитимность которого уже подорвана выборными фальсификациями и массовыми столичными протестами (с декабря 2011 г.), при дальнейшем ухудшении экономической ситуации и росте массового недовольства вполне может пойти на эскалацию военных авантюр, но выиграет только при условии полной изоляции избранной «жертвы». Совокупная же ее поддержка со стороны США, ЕС и Турции (как члена НАТО) приведет к военному и репутационному провалу на внешней арене, а значит еще большему подрыву легитимности правящей группы в России.

Даже если на такой авантюрный шаг российские правители не решатся, они уже сейчас явственно наращивают военные расходы и военную промышленность, что делает актуальными эффекты растущей «индустрии оружия» (см. Приложение А, рис. А.5, А.6). Само это увеличивает в перспективе вероятность военных авантюр, поскольку «в условиях высокой зависимости экономики от государства правитель прямо переводит дефицит своей легитимности в желание начать международный конфликт» (там же).

При вероятном противостоянии таким авантюрам со стороны западной коалиции, с учетом сохранения угроз на востоке страны,

вряд ли можно рассчитывать на серьезные военные успехи и на территориальное расширение для России. Внешние авантюры, скорее всего, получат отрицательное подкрепление и прекратятся. Зато накопленная военная мощь будет перенаправлена на репрессивное поддержание режима внутри страны, что явится существенным фактором в прогнозируемой кризисной динамике, которая рассмотрена в предыдущем разделе.

До какого-то предела возросшая военная мощь режима будет играть стабилизирующую роль в «подмораживании России», но при углублении кризиса, внутриэлитном расколе и появлении новых агрессивных центров силы, эти военные ресурсы станут большим соблазном для силового разрешения политических конфликтов, а значит мирно настроенная оппозиция должна быть готова противодействовать такому развитию событий, чреватому гражданской войной[1].

4. Этническая динамика и тенденции межэтнических отношений в России

Главное положение излагаемой в третьей главе геополитической теории этничности: престиж могущества государства делает привлекательным вхождение в этничность доминирующей в этом государстве группы, напротив, упадок престижа могущества ведет к отчуждению от этой группы и подъему этнонациональных движений за автономию или отделение.

Яркое проявление этой теории в «наших палестинах» представлено во фразе журналистки об одном незадачливом кавказском «политике»: «Когда империя была в соку, он был ментом. А сейчас, вот он — сторонник шариата и халифата». Описание и объяснение волн подъемов и спадов этнонациональных движений в СССР и России — большая самостоятельная задача. Здесь же обратимся к перспективе: как может помочь теория Р. Коллинза в решении действительно насущных и острых проблем этничности в современной и будущей России?

---

[1] О послекризисных развилках в политическом будущем России, условиях выбора разных альтернатив см.: *Розов Н. С.* Колея и перевал... Глава 14 «Сущность демократии и структурные условия демократизации».

Полная этническая ассимиляция (сталинский идеал) и не достижима и не нужна. Зато есть очевидная потребность в укреплении *общенациональной идентичности* (если не под именем «россияне», то по крайней мере в качестве «граждан России» или «русских в широком смысле»).

Вполне приемлемой, а возможно, и оптимальной для России является канадская модель и государственная этническая политика, когда житель Квебека, поляк, украинец, русский, китаец, индус, португалец, индеец сохраняют свою особую идентичность, при этом все они чувствуют себя *канадцами* и гордятся этим. В государственной политике это достигается упором на билингвизм, на поддержку культуры всех этнических меньшинств, но не как изолированных сообществ (подобно пакистанцам в Англии или туркам в Германии), а как *важных частей большого разномастного народа, солидарных с его другими частями.*

Иными словами, в идеале «малая этничность» (например, татарин, грузин, азербайджанец, армянин, узбек, еврей, чеченец, хакас, бурят, якут и т. д.) должна внутренне и извне *не противопоставляться* «большой этничности» («а не русский»), но *сочетаться* с ней («и одновременно российский», «в том числе русский по культуре», «полноправный гражданин России», «русский в широком смысле» и т. д.).

Что подсказывает теория Р. Коллинза относительно путей достижения этого идеала двойной этничности? Во-первых, в поддержке сейчас нуждается именно «большая этничность» (быть русским в широком смысле), а к росту ее привлекательности ведет геополитический престиж могущества России. Здесь важно тонкое различие — значение имеет не столько сама по себе военная мощь (количество ядерных боеголовок, истребителей, подводных лодок и танков), и даже не победы в вооруженных конфликтах и войнах, а именно *престиж*, то есть признание на внешней арене силы государства не только большой, но и оправданной — легитимной, «доброй».

США с блеском выиграли вторую Иракскую войну в военном плане, но их международный престиж явно пострадал (по контрасту с первой Иракской), а Дж. Буш-младший и его команда — правители державы-победителя — утратили легитимность, а не увеличили ее. Подобным же образом, Россия, очевидно, победила в августе 2008 г. Грузию в военном отношении, поскольку установила

контроль на спорной территории, но престиж и легитимность ее были снижены, и это проявилось в том скандальном факте, что даже ближайшие союзники по СНГ и оборонительному блоку так и не признали независимость Южной Осетии и Абхазии. Соответственно после этого не наблюдалось никакого роста желаний малых народностей считать себя русскими, скорее, усилились движения за этническую автономию.

Не помогают ни возврат Кремля к переговорам с США о ядерном оружии, ни попытки представить себя лидером (одним из лидеров) антиамериканской коалиции. Гораздо лучше смотрятся международные акции помощи, проводимые МЧС, что вполне закономерно обеспечивало высокий внутрироссийский рейтинг главе этого ведомства.

Похоже, в патовой ситуации долговременного мира (без масштабных и длительных войн) главным фактором престижа могущества становится *оправданная влиятельность*. Достигается же она:

а) экономической мощью, миросистемным статусом — ростом присутствия на мировых рынках высокотехнологичной продукции, масштабами накопления и успешной коммерческой инициативы;
б) привлекательным культурным экспортом;
в) последовательной линией в дипломатии относительно острых международных проблем, направленной на защиту понятных всем общезначимых ценностей (мира, справедливости, свободы, защиты угнетенных, прав меньшинств, демократии и т. д.).

Вслед за Коллинзом можно сделать смелое предсказание: при усилении факторов а)–в) все больше представителей малых этничностей («национальных меньшинств» в прежней терминологии) станут считать себя «русскими в широком смысле». Проигрыш по этим аспектам (усугубление роли России как сырьевого придатка, снижение качества, масштабов и популярности в разных странах российских фильмов, книг, живописи, дискредитация России как капризного, упрямого и эгоистичного переговорщика, спад ее влиятельности в международных делах) поведет за собой рост этнического сепаратизма в самой России, отчуждение этнических анклавов от России и центра, растущее нежелание считать себя «русскими», подъем популярности старых и новых квазиэтничностей (например, казаков, поморцев, сибиряков, космополитов и т. д.).

5. Геополитическая теория демократии и отечественные перспективы демократизации

Излагаемая в четвертой главе концепция сущности демократии как коллегиально разделенной власти особенно актуальна для настоящего и будущего российской политики потому, что присущая России на протяжении всей ее истории с середины XVI в. «русская система власти»[1] прямо противоположна такому разделению.

Поскольку соответствующие идеи «Царя», «единоначалия», «крепкой руки» сохраняются, будучи прочно укорененными в головах элиты, простонародья и немалой части образованного класса, в устройстве государственных институтов и в повседневных практиках[2], появление новых автономных центров силы как начальное условие коллегиальности, во-первых, крайне затруднено, во-вторых, даже когда случается, воспринимается подавляющим большинством как опасные «двоевластие» или «семибоярщина», которые необходимо преодолеть.

Избавляются же в России от этих «пагуб» обычно жестко и даже жестоко — через опалу, ссылку, политическое убийство, тюремное заключение, осуждение на казнь вероятных политических конкурентов. Если же силовые ресурсы не монополизированы, а распределены, то происходят серии попыток узурпации власти, ведутся малые или большие гражданские войны, результатом которых непременно становится возрожденная «русская власть», не терпящая ограничений и коллегиального разделения.

Вообще говоря, чтение данной главы может вызвать весьма пессимистические чувства у каждого, кто надеется на становление полноценной демократии в России. Слишком много объективных и субъективных условий должны удачно сложиться, причем многократно, тогда как многовековые политические привычки упорно будут этому препятствовать. Детально пять основных развилок и комплексы условий успешного (т. е. ведущего к демократии) про-

---

[1] *Пивоваров Ю. С.* Русская политика в ее историческом и культурном отношениях. М.: РОССПЭН, 2006.

[2] *Розов Н. С.* Колея и перевал… Главы 8–9.

хождения каждой развилки представлены в других работах[1]. Здесь укажу только на главные ментальные сдвиги, необходимые (но отнюдь не достаточные) для демократизации:

- порядок в стране может достигаться не единовластием и вертикальным принуждением, а горизонтальными компромиссами между паритетными центрами силы (в том числе ветвями власти) и соответствующей системой правил;
- не обязательно и не следует полностью подавлять, уничтожать, выбрасывать из политического поля побежденного соперника; возможны и реальны такие договоренности, системы правил и общественный контроль, что оставшийся «в поле» соперник, победивший на выборах в будущем, не будет, в свою очередь, подавлять и уничтожать утратившего власть правителя и его группу;
- при сохранении нынешней территориальной централизации России (в сфере, налогов и распределения бюджета, в столичном контроле над местными назначениями и выборами, в гиперполномочиях федеральных ведомств) путь к демократии закрыт наглухо; только после радикальной федерализации, последующего объединения регионов на новых — горизонтальных, собственно, федералистских — основаниях, а также при умеренном повышении геополитического престижа этой коалиции на внешней арене возникнет устойчивая разделенная коллегиальная власть — фундамент реальной демократии;
- если когда-то удастся выстроить в России такую систему с паритетными центрами силы, горизонтальными компромиссами и регулярной ротацией на основе свободных и честных выборов, все центры силы, региональные альянсы и каждый из них в отдельности должны заботиться не о собственном выигрыше и проигрыше соперников, а о росте престижа государства, что в современных условиях означает подъем в миросистемной иерархии (от сырьевой периферии к ядру мир-экономики), рост культурного экспорта и оправданную влиятельность в мировой политике (см. выше); *демократию мало выстроить, ее еще нужно надежно легитимировать.*

---

[1] *Розов Н. С.* Коллегиально разделенная власть и условия поэтапного становления демократии в России // Полис, 2008. С. 74–89. *Розов Н. С.* Колея и перевал... Главы 14–16.

Следует заметить, что приведенные выше благопожелания весьма слабо соотносятся с жесткой структурной логикой геополитической теории демократии Р. Коллинза. Поэтому возвратимся еще раз к теме российской геополитики, теперь уже сосредоточившись не на угрозах внешних завоеваний или распада, а на условиях, способствующих и препятствующих демократизации страны. К тому же сам Коллинз дает обильную пищу для размышлений в своем кратком прогнозе возможностей развития российской демократии, приведенном в конце 4-й главы. Самый любопытный пассаж приведу здесь полностью.

«Если геополитические условия будут способствовать установлению некой федеральной структуры альянсов вокруг ослабленного Российского государства, то такая остаточная федерация бывшего советского блока вполне может породить некий баланс могущества, сходный с теми видами структур, которые исторически способствовали коллегиальному разделению власти. Если бы такая федерация "большой России" ограничила сферу влияния своей мощи близлежащими раздробленными зонами Кавказа и других слабых соседей, то она бы могла праздновать возвращение по крайней мере скромного геополитического престижа могущества, который укрепил бы легитимность демократических институтов. Проблема российской демократии состоит в том, чтобы, выйдя из фазы геополитический слабости, восстановиться, причем восстановиться настолько, чтобы коллегиальные (разделяющие власть) структуры федеративных правительств могли бы быть удержаны вместе, а не дробились дальше».

Данный прогноз сделан Коллинзом в условном ключе (если бы..., то...) и, как мы знаем теперь, история пошла совсем иным путем. Что же полезного можно извлечь из этого несбывшегося предсказания как для понимания причин ошибки, так и для рассуждений (удручающе затянувшихся — от декабристов и Герцена) о перспективах российской демократии?

Давайте уточним воображаемые условия, при которых благоприятный прогноз Коллинза должен был сбыться.

1. В России уже должна была существовать коалиция (реальная федерация регионов) с эффективным коллегиальным разделением власти как основа демократии согласно коллинзовской концепции.

2. Могущество и влияние этой коалиции должно было распространиться на прежние республики СССР (например, на Белоруссию, Украину, Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Армению, Грузию, Молдавию) и на некоторые части социалистического блока (например, на Сербию, Болгарию, Монголию) из-за значимых центростремительных причин, например, поиска союза с Россией для защиты от внешних угроз (как в свое время к России присоединялись Грузия и Армения, спасаясь от Османской империи) или из-за ее высокого геокультурного и геоэкономического престижа (как ныне страны стремятся войти в Европейский союз).
3. Новым присоединившимся членам коалиции должны были предоставить права и полномочия, близкие к уже значительным (см. п. 1) правам и полномочиям внутренних субъектов Федерации — собственно российских регионов.
4. Созданная таким образом «большая Россия» (некий аналог мечтаний наших великодержавных идеологов, но с существенной и вряд ли приемлемой для них коллегиальной добавкой) должна была бы долгое время «удерживаться вместе» благодаря: а) собственному эффективному управлению, б) внешним геополитическим угрозам и напряжениям, причем успешно преодолеваемым, в) подъему престижа на внешней арене.

Теперь с высоты прошедших лет отчетливо видно, почему ни одно из этих условий не имело места (или вовсе не могло произойти?). Действительно, хотя в 1990-е гг. российские регионы обладали некой, хотя и не настоящей федеративной, самостоятельностью, а при победе «Партии регионов» в 1998–1999 гг. могли еще более увеличить политическое влияние, но общая структура политического устройства в стране уже тогда была далека от коллегиального разделения власти.

Отчасти из-за суперпрезидентской Конституции 1993 г., отчасти из-за давних политических традиций центр принятия ключевых решений находился не в коллегиальных органах (например, Совете Федерации), а в Администрации Президента (прямой наследницы ЦК КПСС и Кабинета Его Императорского Величества). Острая политическая борьба тех лет велась отнюдь не за рост полномочий коллегиальных органов, а как раз за захват высших властных — президентских высот (к чему и стремился Юрий Лужков как самый амбициозный тогда лидер «Партии регионов»). Действительно, до прихода Владимира Путина государственная власть в стране была

ослабленной, но *это вовсе не означало силы и эффективности коллегиальной власти.* Путин же сразу пошел по стандартному пути усиления центрального аппарата, «обуздания» региональной «вольницы», что затем вполне логично привело к искоренению федерализма, а затем и остатков демократии в 2003–2005 гг.

Центростремительные факторы, склоняющие бывшие советские республики и социалистические страны к союзу с Россией, отчасти присутствовали, но оказались слишком слабыми.

Отчуждение авторитарной Белоруссии от демократической Европы, особенно в лице Польши, помнящей о своем прежнем территориальном могуществе, а также явные надежды Лукашенко заменить Ельцина, в какой-то мере толкали Белоруссию к альянсу с Россией и созданию «союзного государства». Однако перевесили факторы размежевания, среди которых важнейший — жесткий отказ Москвы хоть в какой-то мере делиться реальными властными и финансовыми полномочиями с Минском.

При военном конфликте НАТО и Сербии также возникали идеи присоединения последней к России, но геокультурный, геоэкономический престиж Европейского союза, как для элиты, так и для большинства населения Сербии оказались на порядок выше, чем привлекательность России с ее отнюдь не преодоленным имперско-авторитарным «амбре». Разумеется, здесь сыграли роль и отсутствие общей границы, и давние, со времен Югославии и даже более ранние экономические, культурные, политические связи Белграда с западноевропейскими странами.

В какой-то мере непростые отношения и перспективы отношений Казахстана с Китаем, Армении — с Азербайджаном и Турцией, Молдавии — с Румынией, Таджикистана — с афганской горячей зоной, Киргизии — с Узбекистаном сближают эти страны с Россией, но в каждом случае факторы, препятствующие глубокому союзу, особенно с взаимным ограничением суверенитета, перевешивают.

«Большой России» так и не получилось, а сейчас уже не видно возможных условий, при которых она могла бы возникнуть.

В такой ситуации вышеуказанные условия 3 и 4 представляются вовсе невыполнимыми. При отсутствии собственного внутреннего федерализма не приходится ожидать, что Москва войдет в действительную коллегиальную структуру разделения власти с любым из присоединившихся союзников (даже если такие вдруг появятся). Тем более не стоит обсуждения и вопрос об эффективном управлении

такой большой коалиции, «вертикаль власти» в самой России испытывает явный кризис, а любые другие модели управления до сих пор имеют в лучшем случае умозрительный характер.

Ко всему этому следует добавить, что могучие имперские комплексы в умах как правящей элиты, так и подавляющего большинства населения России, расцветут пышным цветом при любом увеличении влияния, тем более при территориальном расширении. Кроме очевидного указанного Коллинзом эффекта возвеличивания лидера, при котором произошло бы такое расширение, соответственно, усиление автократии, есть и другой важный фактор. Имперство в российском менталитете жестко спаяно с идеями «царя» и «сильной (читай, авторитарной) власти», практиками принуждения сверху вниз и низкопоклонства снизу вверх. Все это вместе блокировало бы любые подступы России, разросшейся за счет соседей, к коллегиальному разделению власти, а значит и к демократии.

Итак, геополитический путь к демократизации через «большую Россию» закрыт, по крайней мере в видимой перспективе, на несколько десятков лет вперед. Значит ли это, что геополитическая теория демократии неприложима к России? Отнюдь.

Потенциальными членами будущей коллегиальной структуры власти по-прежнему остаются российские регионы. Сейчас они полностью задавлены гиперцентрализованной фискальной и перераспределительной системой, а также жестким контролем Кремля над ключевыми назначениями и выборами в администрациях регионов и крупных городов. Надвигающийся кризис этой нездоровой системы приведет к спектру возможных траекторий, одной из которых является резкое усиление регионов, формирование структур коллегиального разделения власти, что при определенных условиях[1] открывает путь к демократизации.

6. Четыре аспекта модернизации в российской исторической динамике

Пятая глава книги посвящена опровержению устоявшегося образа Германии как исконно авторитарной, издавна «беременной» нацизмом страны. Эту задачу Коллинз решает, представив широкое

[1] *Розов Н. С.* Колея и перевал... Глава 14.

полотно трудных, неустойчивых, полных возвратных движений процессов модернизации в крупнейших западных обществах: Германии, Франции, Великобритании и США. Он показывает, что Германия, начиная еще со Средневековья, была как раз *авангардом* во множестве аспектов движения к современности, тогда как удручающий нацистский период стал следствием *особого сочетания геополитических и геоэкономических процессов*, причем от подобной судьбы нет абсолютных гарантий ни в одном западном, ныне демократическом, обществе (тем более в остальных, добавлю от себя).

Р. Коллинз дает очень четкую концепцию модернизации, разделив ее на четыре автономных долговременных тенденции: бюрократизацию, секуляризацию, капиталистическую индустриализацию и демократизацию. Поскольку о последней уже сказано достаточно, рассмотрим коротко, как протекают первые три процесса в российской истории и современности, и что это означает для перспектив чаемой многими (в том числе представителями власти) модернизации страны.

Реформы Петра I, наряду с созданием современных на то время военной организации и вооружения (как центральной части его плана «войти в Европу при шпаге»), включали два вспомогательных рывка, прямо соответствующих коллинзовским модернизационным компонентам: *бюрократизацию* и *секуляризацию*.

Дальнейшая история Российского государства — это во многом история прогрессирующей бюрократизации, причем бюрократия использовалась почти исключительно для контроля над страной со стороны авторитарной «русской власти».

Индустриализация изначально имела не капиталистический, а государственнический и даже крепостнический характер (прикрепление рабочих к заводам при Петре и возобновление подобной практики при Сталине). Со времен правления Екатерины II можно говорить о сколько-нибудь значительной капиталистической индустриализации, которая, однако, всегда испытывала немалое давление со стороны государства, нередко вытеснялась государственным капитализмом, особенно в горном деле, металлургии, военном производстве и постройке железных дорог.

После коллапса Империи в 1917–1918 гг. и некоторых вольностей 1920-х гг. сталинский «великий перелом» ознаменовал построение тоталитарного государства с максимальным по историческим меркам проникновением бюрократии (включающей также иерархию

«органов» — репрессивного аппарата) в жизнь общества, каждого его члена, в экономику, культуру и частную жизнь. Построенное Лениным, Троцким и Сталиным советское государство в плане упорства и жестокости борьбы с религией, тотального навязывания атеизма было безусловным чемпионом во всей мировой истории[1]. Капиталистические начала были вытравлены полностью (по этому параметру с СССР может сравниться разве что Северная Корея).

Таким образом, в плане модернизации Советский Союз представлял собой громадный воплощенный парадокс: явный мировой лидер в бюрократизации и принудительном атеизме, значительная, особенно в аспекте военной индустрии, промышленная держава, в корне истребившая все прежние рыночные и капиталистические традиции, с тоталитарным, то есть предельно антидемократическим политическим режимом.

С этой точки зрения любопытным образом смотрятся постсоветские 1990-е «ельцинские» и 2000-е «путинские» годы.

В период правления Б. Н. Ельцина бурное развитие капиталистических отношений и некоторое продвижение в сторону демократии (при остаточных авторитарных традициях и установлении суперпрезидентства в 1993 г.) сопровождалось удручающим ослаблением бюрократических функций государства, особенно в части сбора налогов и контроля над насилием, а также десекуляризацией — полным восстановлением легитимности церкви, реставрацией и постройкой новых храмов и т. д. Таким образом, все четыре советских тренда были обращены вспять. Теперь развитие капитализма и частичная демократизация составляли модернизационные изменения, тогда как (вновь парадоксально!) упадок бюрократических

[1] Некоторые считают «научный атеизм», коммунистическую идеологию и «культ личности» особыми разновидностями «безбожной религии». Такой взгляд можно оправдать как антисоветский риторический прием, однако он неверен ни социологически, ни культурологически. Действительная религия предполагает веру в сверхъестественное (личного Бога, богов или безличное начало), в зависимое от него посмертное существование (спасение, лучшее рождение, нирвану и т. д.), а также регулярные ритуальные практики, претендующие на контакт с этим сверхъестественным. Вместе с тем принудительное навязывание государством атеизма, разумеется, не равнозначно секуляризации, в ядре которого находится веротерпимость (толерантность) ко всяким верам и неверию, а также деполитизация религиозной сферы. В этом плане принудительный государственный атеизм, скорее, сродни принудительному государственному православию или исламу.

функций и десекуляризация направляли Россию вспять от общих трендов модернизации.

В путинский период (продолжающийся по сию пору, когда пишутся эти строки) после некоторого прогресса в развитии капиталистической экономики 2000–2004 гг. стал доминировать курс на государственный капитализм в крупном бизнесе (госкорпорации и «придворные» олигархи), тогда как средний и мелкий бизнес попал в ведение региональных «баронов», как правило, препятствующих свободной конкуренции.

Бюрократия стала при этом более эффективной, что справедливо воспринималось как «восстановление государства», но и более могущественной, что особенно касается силовых ведомств: ФСБ, МВД, прокуратуры, Следственного комитета и др. Десекуляризация стала вырастать в клерикализацию: попытки сращивания РПЦ с государством, проникновение религиозного образования в школы и вузы, негласная установка власти на превращение православия в государственную религию, причем явно с державническим, консервативным и авторитарным уклоном. После 2003 г. шло неуклонное движение отката даже от частичных завоеваний демократии, достигнутых в 1990-е гг.

Итак, в первое десятилетие XXI в. Россия шла по пути модернизации только в одном аспекте: в восстановлении и усилении государственной бюрократии, тогда как в остальных трех процессах сильно откатилась назад. Хуже того, разросшаяся бюрократия при отсутствии внешнего дисциплинирующего контроля (принудительно-устрашающего, как в СССР и Китае, или общественно-репутационного, электорального, как в реальных демократиях) непременно становится подверженной разложению. Она наполняется теневыми коррупционными кликами, беззастенчиво присваивает ресурсы как государства (через распилы и откаты), так и населения (через взятки), неудержимо теряет ответственность и эффективность. В терминологии Макса Вебера *принцип бюрократии* (четкое выполнение безличных правил) все больше замещается *принципом патримониализма* (личные патрон-клиентские отношения в теневых кланах)[1]. По сути дела, это означает подспудный процесс *дебюрократизации*,

[1] *Фисун А. А.* Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации. Харьков: Константа, 2006.

то есть уже по всем четырем аспектам путинское государство переживает не модернизацию, а *контрмодернизацию*.

Оппозиционное и протестное движение, начавшееся в декабре 2011 г., делает упор на демократизацию («честные выборы», «верховенство права», «независимость суда» и т. д.). Все больше осознается опасность клерикализации государства (в связи со скандалами вокруг акции Pussy Riot, поведения патриарха, скандально агрессивных заявлений православных фундаменталистов и др.). Аспекты бюрократии и капиталистических отношений (защиты собственности, свободной конкуренции, формирования рынков земли, труда и капитала с открытым доступом и т. д.) удостаиваются гораздо меньшего внимания, но они являются не менее, а то и более значимыми для российской модернизации на современном этапе. Какие условия и действия требуются для продвижения в этих аспектах — это отдельная большая тема, причем обзор Р. Коллинзом истории такого продвижения в крупнейших западных обществах является отличным начальным пунктом для ее разработки.

7. Рыночная динамика в современной России: специфика и вероятные следствия

В шестой главе Коллинз проводит своеобразный мысленный эксперимент: берет за основу последовательность социально-экономических формаций К. Маркса и Ф. Энгельса, переосмысливает их как эпохи доминирования динамики особых рынков (рынки родства в родоплеменных обществах, рынки рабов — в рабовладельческих, рентно-принудительные рынки — в феодальных и свободные рынки земли, труда и капитала — в капиталистических).

Рынки каждого типа имеют тенденцию к расширению и развитию, что рано или поздно ведет к кризису социального порядка, радикальному сдвигу в системе собственности и переходу к новому типу рынков. Как известно, сходную «панрыночную» парадигму к коммунистическим режимам развивали в свое время Янош Корнаи[1] с его концепцией «вертикального торга» и авторы отечественной концепции «административного рынка». Похоже, в современной России схожие

[1] *Корнаи Я.* Дефицит. М.: Наука, 1990.

рынки власти, полномочий, прав, легитимности, доступа к ресурсам не менее значимы, чем капиталистические рынки товаров, труда и капитала (при крайне ущербном до сих пор рынке земли).

Что же нам помогают увидеть теоретические понятия и конструкции Р. Коллинза в современных российских рынках?

Как гласит его теория, *«каждая форма рыночного обмена основана на особом виде собственности»*. Возьмем классическую ситуацию обмена: президентские структуры требуют от губернатора достижения определенного процента голосов на выборах в пользу «партии власти» или «правильного кандидата». При этом негласно обещают оставить тогда губернатора в должности (или всячески способствовать его переизбранию на новый срок), не подвергая особо строгому контролю в отношении того, как губернатор и его «команда» обращаются с местным бизнесом, какими путями извлекают прибыль из своего командного положения (например, через преференции в землеотводе). Наряду с этим отдельный московский чиновник может намекнуть губернатору на необходимость поддержки особого благотворительного фонда (например, помощи ветеранам спецслужб) для наиболее успешного «решения вопросов».

Как видим, предметами собственности (в широком смысле) здесь являются полномочия и доступ к ресурсам, в том числе финансовым, административным, силовым и символическим. Соответствующие рынки вполне резонно назвать *рынками полномочий и доступа*. Тут же следует сделать оговорку: собственность эта ненадежна, только формальная часть полномочий и доступа защищена административным правом. По сути же дела, эта собственность в подавляющем большинстве случаев имеет условный характер: индивид и группа могут лишиться ее по воле индивидов и групп с более высокими полномочиями.

Согласно концепции Р. Коллинза *«рынки варьируют в плане своей открытости»*. В преимущественно закрытой, непубличной политике современной России и соответствующие рынки полномочий и доступа являются закрытыми (к участию допускаются далеко не все желающие, а только доказавшие свою лояльность и сумевшие предложить что-то значимое для теневого обмена).

«Рынки как социальные структуры имеют тенденцию расширяться в течение длительных периодов времени». Развертывание российской коррупции вширь и вглубь, особенно с начала 2000-х гг. вполне соответствует этому тренду. Главными же ограничениями

выступают финансовые ресурсы государства (с 2000 г. они росли и до середины 2014 г. оставались на высоком уровне даже после спада 2008–2009 гг.) и организованные протесты со стороны ущемленных социальных групп, ставящие пределы действиям участников рынка полномочий.

«Структурное расширение рынков приводит к экономическому и организационному росту за счет увеличения объема товаров и стимулирования инноваций в производстве». Для рынков полномочий и доступа к ресурсам эта закономерность не действует. Скорее склонность экономики к инновациям даже угнетается, поскольку наиболее простым и эффективным путем достижения успеха для бизнеса является вовсе не вложение в венчурные проекты, а достижение монополии на своем рынке путем подкупа местного руководства, иными словами, выгодный обмен в том самом рынке полномочий и доступа к ресурсам (в данном случае «покупается» закрытие доступа конкурентов на «свой» рынок).

«Рынки конкретных единиц обмена, как правило, приводят к появлению вышестоящих, или надстроенных (superordinate), рынков, где торгуют самими условиями торговли». Имеется ли и какова иерархия рынков полномочий и доступа — самостоятельная тема политико-социологических исследований. Здесь же только покажу прямое соответствие идеи надстроенных рынков с остроумной моделью «мягких правовых ограничений» Кирилла Рогова. «В системе, где правила нарушаются, но правила нарушения правил меняются, наибольшими возможностями (властью) обладает тот, кто контролирует режим изменения правил нарушения правил. В результате возникают три этажа системы:

1) те, кто торгуется за право нарушения правил (субъекты санкционированного/несанкционированного правонарушения);
2) те, кто выдает права на нарушение тех или иных правил (исполнительский уровень) и
3) те, кто контролирует изменения правил нарушения правил и таким образом контролирует и тех, кто правила нарушает, и тех, кто выдает права на нарушение правил (это политический уровень)»[1].

[1] *Рогов К.* Режим мягких правовых ограничений: природа и последствия. URL: http://inliberty.ru/blog/krogov/2471/. В данной модели находит объяснение нерациональность вложений в инновации и развитие производств в сложившейся системе:

«В долгосрочной перспективе рынки, как правило, достигают кризисных точек. Такие кризисы включают [...] *существенное ограничение или разрушение ее основной формы рыночного обмена, а также преобразование социальной организации в структуру, основанную на иной форме собственности».*

Откуда ждать кризиса для системы рынков полномочий и доступа, включающей систему «меняющихся правил нарушения правил»? Очевидный фактор колебания основного источника государственных ресурсов — доходов от сырьевого экспорта — может ослабить систему, даже привести к смене правящей группы, но вряд ли изменит стожившиеся структуры и стереотипы поведения в таких рынках. Как считает К. Рогов, сосуществование «вертикального торга» с «горизонтальной» (читай, нормальной) рыночной экономикой, обеспечивающей некую прибыльность, приводит к устойчивой стагнации всей системы. При этом описанная система склонна к неуклонному самоподрыву вследствие действия нескольких *контуров деградации* — кругов обратной положительной связи между разрушительными тенденциями[1]. Здесь укажу только на три фактора.

- *Неистребимо стремление людей, имеющих условную собственность, превратить ее в собственность настоящую*, поэтому тренд бегства капиталов, наиболее инициативных и талантливых людей из России имеет не временно-конъюнктурный, а системный характер и будет далее нарастать. При этом благодаря рынку полномочий и доступа к ресурсам именно в России можно получить (в том числе извне) наибольшую норму прибыли. В результате территория России все в большей мере окажется объектом колониального расхищения, что неминуемо приведет к серии экологических кризисов и социально-политических протестов, способных опрокинуть сложившийся режим и систему рынков.

«...права собственности трактуются здесь как права на результаты использования собственности (прибыль), в то время как сама собственность является отчуждаемой. Инвестиции в покупку индивидуальных прав на нарушение правил — это инвестиции непосредственно в увеличение текущей прибыли, в то время как инвестиции в рост эффективности производства — это инвестиции в собственность, важнейшей характеристикой которой является ее отчуждаемость» (там же).

[1] *Розов Н. С.* Колея и перевал... Глава 13.

- Развитие рынка полномочий и доступа к ресурсам как наиболее потенциально прибыльного *неминуемо оттягивает на себя ресурсы*, в том числе силы, время и ответственность руководителей и функционеров как государства, так и бизнеса. Совокупным результатом является пресловутое «гниение (разложение) системы», все менее способной выполнять основные функции (предоставлять услуги населению, ловить преступников и совершать правосудие, охранять природную среду, поддерживать инфраструктуру, способствовать развитию экономики, выпуску качественных товаров и т. д.). Опять же серии бедствий, взрывов недовольства и протестов при схождении в одну волну самоусиления способны привести к глубокому кризису и обрушить систему.
- Даже при относительно благополучном и устойчивом развитии явлений, указанных выше, через обозримое время (судя по темпам глобального развития — не более 10–15 лет) все более драматически будет сказываться отставание от стран, по отношению к которым Россия долгое время считалась более развитой. Если доминирование Китая уже стало привычным, то отчасти начавшееся, отчасти вероятное в будущем, отставание России от Турции, Бразилии, Мексики, Индии, Таиланда, Индонезии станет все более скандальным, приведет к внешнему упадку престижа, соответственно, — к внутренней делегитимации. Попытки правящей группы, уповающей на военное преимущество России над соседями, восстановить геополитический престиж через прирезывание земель и гибридные войны (грозящие превратиться в настоящие) только сильнее обнаружат пороки режима и ускорят его крах, поскольку тягаться приходится уже со «сборной мира», которая на порядки превосходит Россию в плане ресурсов (см. геополитическую теорию в главе 2 и Приложении А).

Какой режим и какой тип рынков придут на смену нынешнему — об этом из данной концепции Р. Коллинза не узнать, хотя вновь актуальной оказывается теория революций (см. выше). При этом представленный в шестой главе книги детальный анализ специфики исторических типов рынков, кризисов рыночных систем и механизмов перехода, будучи весьма полезным для расширения кругозора, имеет немалую эвристическую ценность.

8. Монастырские корни «японского чуда» и условия пользы церковного «стяжательства»

Седьмая глава книги посвящена, казалось бы, совсем далекому от нас экзотическому сюжету — роли японских буддийских монастырей в формировании ранних капиталистических отношений. Если же присмотреться, то обнаруживаются любопытные параллели между историями монастырей и монастырской экономики в Японии и России, причем возникает закономерный вопрос: *отчего же столь многочисленные и богатые православные монастыри не стали ведущим сектором экономики в России*, не привели к такому внушительному прогрессу в коммерческой инициативе и предпринимательстве, в правах собственности, в технологических инновациях, в практиках накопления и инвестиций, в развитии рынков земли, труда и капитала, в структурах самоподдерживающегося роста, как это красочно описано у Коллинза про буддийские монастыри в Японии?

Действительно, в обеих странах монастыри множились как грибы, обладали большой земельной собственностью и богатством, имели избыток дешевых рабочих рук, вели новаторские работы в области селекционирования, агротехники, обработки сельскохозяйственной продукции[1]. Как в буддийских, так и в православных монастырях были монахи-воины[2], внутренние уставы, велась бумажная — бюрократическая — деятельность. Монахами в обоих случаях становились представители разных сословий, вокруг стен как буддийских, так и православных монастырей росли посады — городки ремесленников и мещан. Любопытно, что идеологические битвы вокруг буддийской экономики в Японии весьма сходны с известным конфликтом между стяжателями (Иосиф Волоцкий) и нестяжателями (Нил Сорский) на Руси. Буддийских монахов так же обвиняли

[1] Так, в Кирилло-Белозерском монастыре в условиях Полярного круга монахи умудрялись выращивать виноград, арбузы и дыни. Отзвуки славы монастырского вина, которое готовили православные монахи, дошли и до нашего времени.

[2] Таковы были монахи-воины — герои Куликовской битвы (звали ли их действительно Пересвет и Ослабя — другой вопрос). Многие монастыри на Руси были построены как крепости и, очевидно, велась особая военная подготовка монахов, чтобы они могли их грамотно защищать.

в бездуховности, в поглощении земными суетными заботами, заменившими возвышенный труд души, направленный на спасение. Очевидное материальное богатство монастырей вызывало благочестивый ропот и в Японии, и на Руси. В обоих случаях властители проводили секуляризацию (первоначальный смысл данного термина — конфискация церковного и монастырского имущества, в том числе земельных владений).

Как видим, сходств немало, причем не поверхностных, а вполне значимых — структурных. Почему же все-таки буддийская монастырская экономика сыграла столь большую роль в становлении раннего японского капитализма, тогда как роль православных монастырей в развитии российского капитализма едва заметна (если вообще имела место)?

Очевидные подсказки дают география и геополитика. Японские острова — это ситуация перманентной стесненности по Р. Карнейро[1], тогда как на Руси открывались бескрайние просторы, особенно в северном и восточном направлениях. Если некуда расти вширь, то инвестировать приходится в какие-то начинания на том же месте. Поэтому стесненность пространства ведет к интенсивной, а открытость пространства — к экстенсивной экономике. Действительно, православные монастыри постоянно отпочковывались, уходили в «пустынь», либо вслед за иноками-первопроходцами, строившими скиты, либо вслед за крестьянами-переселенцами. Энергия православных монахов была направлена на строительство, борьбу с суровыми условиями, привычное освоение новых даровых ресурсов, а вовсе не на поиск новых коммерческих ниш в плотно заселенной местности, чем вынуждены были заниматься монахи буддийские.

Геополитический момент — это сроки и особенности централизации государства. В Японии бурное развитие монастырской экономики «успело» произойти в период раздробленности, при которой (важное сходство с Европой!) сохранялись тесные культурные и экономические связи между политиями (княжествами — даймё), даже конфликтующими между собой. Объединение страны в период Токугава (1600–1868 гг.) не привело к созданию репрес-

[1] *Карнейро Р.* Теория происхождения государства / Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград: Учитель, 2006. URL: http://abuss.narod.ru/Biblio/AlterCiv/carneiro_state.htm

сивной централизованной бюрократии, вместо этого сохранялся баланс сил между даймё, каждый из которых имел свою местную армию и администрацию.

В России централизация государства вокруг Москвы произошла раньше, причем особый характер государства сложился уже со времен Ивана Грозного, когда государственная власть терпит сколько-нибудь самостоятельные региональные администрации, силовые центры лишь пока не способна их подавить и уничтожить. С этих пор и началась неуклонная борьба с самостоятельностью церкви и способностью монастырей к военной защите своих интересов и собственности[1]. Центральное правительство само активно занималось законотворчеством. Ясно, что в такой ситуации внутренние уставы монастырей никак не могли войти в состав защищающей собственность правовой системы — важнейшей основы капиталистического развития.

В XVI–XIX вв. Россия в аспектах государственной централизации и ограничении частной коммерции оказывается сходной с Китаем, тогда как разделенная и коммерциализированная Япония во многом является миниатюрным подобием Западной Европы. В этом плане вполне закономерными видятся сходства между «европейским чудом», двумя волнами «японского чуда», с одной стороны, и жестокими коллапсами Российской, Китайской империй после столетий их геополитического могущества, с другой.

Монастырские земли и собственность конфисковались государством и в Японии и в России. Важное различие в состоит в том, *кто и как затем управлял этим имуществом*. Если в Японии основная часть монастырского богатства попала *в частные руки* торговцев и производителей (происходивших от тех же монахов или связанных с ними), либо аристократов, которые сдавали землю в аренду, то в России бывшие церковные и монастырские земли становились *государственными*, работали на них государственные крепостные, а управление было бюрократическим (ср. с совре-

[1] Борьба оказалась долгой. Особенно драматична история Соловецкого монастыря, выдержавшего несколько нападений шведов, а из-за упорства в старой вере — восемь лет осады со стороны московского войска в 1668–1676 гг. («соловецкое сидение»); еще через сотню лет Екатерина II секуляризовала земли монастыря на материке, причем некоторые авторы считают, что конфискация отнюдь не была мирной.

менными госкорпорациями). Соответственно, накопления коммерческих институтов, практик, традиций, технологических инноваций плавно переходили в Японии из монастырской экономики в светскую, тогда как в России сами эти накопления были слабыми и частичными (те же селекционная работа, виноделие, рецепты), а после конфискации эти ростки если и дали где-то всходы, то отнюдь не привели к взлету в технологиях и рыночных отношениях, основанных на надежной защите собственности и инвестиций.

Следует отметить, что православная церковь в России, несмотря на череду конфискаций (особенно масштабных при Иване Грозном, Петре I, Петре III и Екатерине II), вплоть до большевистского разгрома владела большим количеством земель, значительным имуществом и немалыми денежными средствами[1]. Вклад же этого сектора в капиталистическое развитие вряд ли можно считать существенным, вероятно, из-за того же бюрократического централизованного управления уже внутри церкви (принявшей со времен Петра I и сохраняющей по сию пору облик вертикально-принудительного госведомства).

Подтверждением тому служит обратный случай — нецентрализованная, но могучая старообрядческая экономика[2], давшая России семьи купцов и фабрикантов (Морозовы, Гучковы, Рябушинские, Щукины, Третьяковы), выходцы из которых неслучайно становились крупнейшими лидерами демократического и либерального движения, знаменитыми меценатами и коллекционерами.

Итак, даже предельно экзотическая глава книги Коллинза о средневековых буддийских монастырях в Японии может служить полезным подспорьем для понимания возможностей и драм нашей родной истории.

---

[1] «Согласно статистическим данным 1905 г., по 50 губерниям Церковь располагала 1,9 млн десятин земли, еще 0,3 млн десятин находилось в частной собственности духовных лиц. Ей принадлежало немалое количество промышленных предприятий и торговых заведений, доходных домов». *Шмелев Г. И.* Экономический аспект взаимоотношений церкви и государства. URL: http://www.orthedu.ru/ch_hist/shmelev.htm

[2] Старообрядцы держали в своих руках хлебную торговлю и хлопчатобумажное производство, в крупнейших городах они составляли до половины и более зарегистрированных лиц купеческого сословия. См.: Частное предпринимательство в дореволюционной России. Этноконфессиональная структура и региональное развитие. XIX – начало XX вв. М.: РОССПЭН, 2010.

* * *

Несмотря на обилие работ, посвященных российской истории, а также обществу, политике, экономике и культуре России, закономерности и механизмы долговременной исторической динамики нашей страны еще ждут строгого теоретического и эмпирически фундированного исследования. Необходимой основой для такой масштабной работы является связанный комплекс общих динамических теорий, подкрепленных на широком историческом материале.

Если непосредственной задачей данного послесловия было показать, что казалось бы весьма отдаленные от нас темы «Макроистории» Р. Коллинза имеют самое прямое отношение к возможностям и средствам нашего понимания прошлого и настоящего России, построения прогнозов и планов на будущее, то более значимая и до сих пор неявная цель — другая: *указать перспективные стратегии в дальнейших исследованиях российской исторической динамики, основанные на самых конструктивных к настоящему времени макросоциологических теориях.*

Самая большая польза от этого *послесловия* к русскому переводу книги Р. Коллинза будет, если оно станет *предисловием* к ряду принципиально новых исследований закономерностей и механизмов исторических процессов в России.

Новосибирский Академгородок,
июль 2012 – ноябрь 2014 г.

Библиография

Abu-Lughod, Janet L. Before European Hegemony: The World System A. D. 1250–1350. New York: Oxford University Press, 1989.

Adcock F. E. The Greek and Macedonian Art of War. Berkeley: University of California Press, 1957.

Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay? Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Akamatsu Toshihide and Philip Yampolsky. Muromachi Zen and the Gozan System. Hall and Toyoda, 1977.

Amalrik, Andrei. Will the Soviet Union Survive until 1984? New York: Harper and Row, 1970. Русский оригинал: **Амальрик А. А.** Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? Амстердам: Фонд им. Герцена, 1969.

Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1983. Русский перевод: **Андерсон, Бенедикт**. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2001.

Anderson, Perry 1974a. Passages from Antiquity to Feudalism. London: Verso. 1974. Русский перевод: **Андерсон, Перри**. Переходы от античности к феодализму. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2007.

Anderson, Perry 1974b. Lineages of the Absolutist State. London: Verso. 1974.

Andreski, Stanislav. Military Organization and Society. Berkeley: University of California Press, 1971.

Angermeier, Heinz. Die Reichsreform 1410–1555: Die Staatsproblematik in Deutschland zwischen Mittelalter und Gegenwart. Munich: C. H. Beck, 1984.

Arrighi, Giovanni. The Long Twentieth Century. L.; New York: Verso, 1994. Русский перевод: **Арриги, Джованни.** Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006.

Barkey, Karen. Thinking About the Consequences of Empires. In: Barkey and Von Hagen 1997.

Barkey, Karen, and **Mark Von Hagen,** eds. After Empire: Multiethnic Societies and Nation_ Building. Boulder, Colo.: Westview Press, 1997.

Barkin, Kenneth. Germany and England: Economic Inequality. Tel Aviver Jahrbuch fur Deutsche Geschichte, 1987.16: 200–211.

Barraclough, Geoffrey. The Origins of Modern Germany. New York: Capricorn, 1963.

Barraclough, Geoffrey. The Times Atlas of World History. Maplewood N. J.: Hammond, 1979.

Barth, Fredrick. Ethnic Groups and Boundaries. London: Allen and Unwin, 1969.

Bartlett, Robert. The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change, 950–1350. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1993.

Becker, Abraham S. Sitting on Bayonets: The Soviet Defense Budget and the Slowdown of Soviet Defense Spending. Santa Monica, Calif.: Rand / UCLA Center for the Study of Soviet International Behavior, 1986.

Becker, Abraham S. Ogarkov's Complaint and Gorbachev's Dilemma: The Soviet Defense Budget and Party-Military Conflict. Santa Monica, Calif.: Rand, 1987.

Bellah, Robert. Tokugawa Religion: The Cultural Roots of Modern Japan. New York: Free Press, 1957.

Bendix, Reinhard. Tradition and Modernity Reconsidered // Comparative Studies in Society and History, 1967, 9: 292–346.

Bendix, Reinhard. Nation-Building and Citizenship. Berkeley: University of California Press, 1977.

Bendix, Reinhard. Kings or People: Power and the Mandate to Rule. Berkeley: University of California Press, 1978.

Bendix, Reinhard, and S. M. Lipset. Social Mobility in Industrial Society. Berkley: University of California Press, 1959.

Berelson, Bernard. Graduate Education in the U. S. New York: McGraw-Hill, 1960.

Berman, Harold. Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983.

Bernstein, Alvin H. Soviet Defense Spending. Santa Monica, Calif.: RAND, 1989.

Bessinger, Mark R. Nonviolent Public Protest in the USSR, December 1, 1986 December 31, 1989. Washington D. C.: National Council for Soviet and East Europe Research, 1990.

Black, Antony. Council and Commune. London: Burns and Oates, 1979.

Blackbourn, David, and Geoff Eley. The Peculiarities of German History. New York: Oxford University Press, 1984.

Blau, Peter M. and Otis Dudley Duncan. The American Occupational Structure. New York: Wiley, 1967.

Blockmans, Wim P. A Typology of Representative Institutions in Late Medieval Europe // Journal of Medieval History, 1978, 4: 189–215.

Blumberg, Rae Lesser. A General Theory of Gender Stratification. In: Randall Collins, ed., Sociological Theory. San Francisco: Jossey-Bass, 1984.

Bonacich, Edna. A Theory of Ethnic Antagonism: The Split Labor Market. American Sociological Review, 1972, 37: 547–559.

Borkenau, Franz. End and Beginning: On the Generations of Cultures and Origins of the West. New York: Columbia University Press, 1981.

Boulding, Kenneth. Conflict and Defense. New York: Harper and Row, 1962.

Brady, Thomas A. Turning Swiss: Cities and Empire, 1450–1550. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

Braudel, Fernand. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II: 2 vols. New York: Harper and Row, [1949] 1972. Русский перевод: **Бродель Ф.** Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. М.: Языки славянской культуры, 2002.

Braudel, Fernand. Material Civilization and Capitalism, 1400–1800. 3 vols. Haper and Row, [1967–1979] 1981–1984. Русский перевод: **Бродель, Фернан.** Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII вв. 3 тт. М.: Весь мир, 2006.

Braudel, Fernand. Afterthoughts on Material Civilization and Capitalism. Baltimore: John Hopkins University Press, 1977.

Brinton, Crane. The Anatomy of Revolution. New York: Random House, 1938.

Browning, Christopher. Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland. New York: HarperCollins, 1992.

Brubaker, Rogers. Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992.

Bruford W. H. Germany in the Eighteenth Century: The Social Background of the Literary Revival. Cambridge: Cambridge University Press, 1965.

Brunschwig, Henri. Le Crise de l'état Prussien à la fin de XVIII-e siècle. Paris: Presses Universitaires de France. 1947.

Brustein, William. The Logic of Evil: The Social Origins of the Nazi Party, 1925–1933. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1996.

Bryant, Joseph M. Military Technology and Socio-Cultural Change in the Ancient Greek City // Sociological Review, 1990.

Bueno de Mesquite, Bruce, and David Lalman. War and Reason. New Haven. Conn.: Yale University Press, 1992.

Bueno de Mesquite, Bruce, Randolph M. Siverson, and Gary Woller. War and the Fate of Regimes: A Comparative Analysis // American Political Science Review, 1992, 86: 638–646.

Burawoy, Michael and Pavel Krotov. The Soviet Transition from Socialism to Capitalism // American Sociological Review, 1992, 57: 16–38.

Burke, Peter. The Italian Renaissance: Culture and Society in Italy. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1986.

Burton M. G., and J. Higley. Elite Settlements // American Sociological Review 1987, 52: 295–307.

Calhoun, Craig. The Question of Class Struggle. Chicago: University of Chicago Press: 1982.

Cameron, Euan. The European Reformation. Oxford: Clarendon Press, 1991.

Chadwick, Owen. The Victorian Church. Oxford: Oxford University Press, 1966.

Chafetz, Janet Saltzman. Sex and Advantage: A Comparative Macro-Structural Theory of Sexual Stratification. Totowa N. J.: Rowman and Allanheld. 1984.

Chaffee, John W. The Thorny Gates of Learning in Sung China. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

Chase-Dunn, Christopher. Global Formation: Structures of the World Economy. New York: Basil Blackwell, 1989.

Chase-Dunn, Christopher, and Thomas Hall. Eds. Core/Periphery Relations in Precapitalist Worlds. Boulder: Westview Press, 1991.

Chase-Dunn, Christopher, and Thomas Hall. Rise and Demise: Comparing World-Systems. Boulder: Westview Press, 1997.

Chaudhuri K. N. Asia Before Europe: Economy and Civilization of the Indian Ocean from the Rise of Islam to 1750. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Ch'en, Kenneth. Buddhism in China. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1964.

Chesterfield, Lord. Letters. New York: Oxford University Press, 1992.

CMH (Cambridge Modern History). Cambridge: Cambridge University Press, 1910.

Cmiel, Kenneth. Democratic Eloquence. Berkley: University of California Press, 1990.

Collcutt, Martin. Five Mountains: The Rinzai Zen Monastic Institution in Medieval Japan. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1981.

Collcutt, Martin. Zen and the Gozan. In: Yamamura 1990b.

Collins, Randall. Long-Term Social Change and the Territorial Power of States. In: Louis Kriesberg, ed., Research in Social Movements, Conflicts, and Change. Vol. 1. Greenwich, Conn.: JAI Press, 1978.

Collins, Randall. The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification. New York: Academic Press, 1979.

Collins, Randall 1980. The Future Decline of the Russian Empire: An Application of Geopolitical Theory. In: Collins 1986.

Collins, Randall 1981a. Crises and Declines in Credential Systems. In: Sociology Since Midcentury: Essays in Theory Cumulation. New York: Academic Press, 1981.

Collins, Randall 1981b. Does Modern Technology Change the Rules of Geopolitics? // Journal of Political and Military Sociology, 1981, 9: 163–77.

Collins, Randall. Weberian Sociological Theory. New York: Cambridge University Press, 1986.

Collins, Randall. The Sociology of Philosophies. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998. Русский перевод: **Коллинз Р.** Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002.

Collins, Randall and David V. Waller. What Theories Predicted the State Breakdowns and Revolutions of the Soviet Bloc? // Research in Social Movement Conflicts, and Change, 1992, 14: 31–47.

Coser, Lewis A. The Functions of Social Conflict. Glencoe, Ill.: Free Press, 1956.

Crawcour, E. Sydney. Changes in Japanese Commerce in the Tokugawa Period // Journal of Asian Studies 1963, 23: 387–400.

Crawcour, E. Sydney. Economic Change in the Nineteenth Century. In: Marius B. Jansen, ed. The Cambridge History of Japan. Vol. 5. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Crone, Patricia. Slaves on Horses: The Evolution of the Islamic Polity. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.

Curtin, Philip P. Cross-Cultural Trade in World History. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1984.

Dore, Ronald P. Education in Tokugawa Japan. Berkeley: University of California Press. 1965.

Downing B. The Military Revolution and Political-Change: Origins of Democracy and Autocracy in Early Modern Europe. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1993.

Dumoulin, Heinrich. Zen Buddhism: A History. Vol. 1, China. New York: Macmillan, 1988.

Dumoulin, Heinrich. Zen Buddhism: A History. Vol. 2, Japan. New York: Macmillan, 1990.

Eberhard, Wolfram. A History of China. Berkley: University of California Press, 1977.

Eley, Geoff. From Unification to Nazism: Reinterpreting the German Past. London: Allen and Unwin, 1986.

Elias, Norbert. Studien uber die Deutschen: Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt: Suhrkamp, 1989.

Elkin A. P. The Australian Aborigines. Sydney: Angus and Ferguson, 1979.

Elvin, Mark. The Pattern of the Chinese Past. London: Methuen, 1973.

Elvin, Mark. Why China Failed to Create an Endogenous Industrial Capitalism: A Critique of Max Weber's Model // Theory and Society, 1984, 13: 379–92.

d'Encausse, Helene C. Decline of an Empire: The Soviet Socialist Republics in Revolt. New York: Harper and Row, 1979.

Enggass P. M. Geopolitics: A Bibliography of Applied Political Geography. Monticellc, Ill.: Vance Bibliographies, 1986.

Evans, Peter B., Dietrich Rueschcmcyer, and Theda Skocpol (eds.) Bringing the State Back. New York: Cambridge University Press, 1985.

Fabiani, Jean-Louis. Les Philosophes de la Republique. Paris: Editions de Minuit, 1988.

Facts on File: World Political Almanac. New York: Facts on File, 1984–1991.

Fein, Helen. Accounting for Genocide. New York: Free Press, 1979.

Finke, Roger, and Rodney Stark. The Churching of America, 1776–1990. New Brunswick N. J.: Rutgers University Press, 1992.

Finley, Moses I. The Ancient Economy. Berkeley: University of California Press, 1973.

Finley, Moses I. Economy and Society in Ancient Greece. New York: Viking, 1982.

Fleming, Donald, and Bernard Bailyn. The Intellectual Migration: Europe and America, 1930–1960. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1969.

Flexner, Abraham. Universities: American, English, German. New York: Oxford University Press, 1930.

Foley, Vernard, and Werner Soedel. Ancient Oared Warships // Scientific American, 1981, 244 (April): 148–163.

Foster R. F. The Oxford History of Ireland. Oxford: Oxford University Press, 1989.

Frank, Andre Gunder. The Development of Underdevelopment // Monthly Review, 1966, 18: 17–31.

Fung Yu-lan. A History of Chinese Philosophy. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1952.

Gaddis, John Lewis. International Relations Theory and the End of the Cold War // International Security, 1992. 17(3): 5–58.

Garcin, Jean-Claude. The Mamluk Military System and the Blocking of Medieval Moslem Society. In: Jean Baechler, John A. Hall, and Michael Mann, eds. Europe and the Rise of Capitalism. Oxford: Blackwell, 1988.

Gay, Peter. Weimar Culture. New York: Harper and Row, 1968.

Gelman, Harry. The Soviet Turn Toward Conventional Force Reduction: The Internal Struggle and the Variables at Play. Santa Monica, Calif: Rand, 1989.

Gellner, Ernst. Nations and Nationalism. Ithaca N. Y.: Cornell University Press, 1983. Русский перевод: **Геллнер, Эрнест.** Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.

Gernet, Jacques. Daily Life in China on the Eve of the Mongol Invasion, 1250–1276. Stanford, Cali£: Stanford University Press, 1962.

Gernet, Jacques. A History of Chinese Civilization. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

Gills, Barry K., and Andre Gunder Frank. The Cumulation of Accumulation: Theses and Research Agenda for 5,000 Years of World System History. In: Chase-Dunn and Hall 1991.

Gilpin, Robert. War and Change in World Politics. New York: Cambridge University Press, 1981.

Gimpel, Jean. The Medieval Machine. Baltimore: Penguin, 1976.

Girouard, Mark. Life in the English Country House. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1978.

Gleick, James. Chaos: Making a New Science. New York: Penguin, 1987.

Goitein, Solomon. A Mediterranean Society. Berkeley: University of California Press, 1967.

Goldhagen, Daniel. Hitler's Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust. New York: Knopf, 1996.

Goldscheider, Calvin, and Alan S. Zuckerman. The Transformation of the Jews. Chicago: University of Chicago Press, 1984.

Goldstone, Jack A. Revolution and Rebellion in the Modern World. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1991.

Goldstone, Jack A. Immanent Political Conflicts Arising from China's Environmental Crisis // Occasional Papers Series of the Project on Environmental Change and Acute Conflict. American Academy of Arts and Sciences, Cambridge, Mass., 1992.

Goody, Jack. The Development of the Family and Marriage in Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

Gouldner, Alvin W. The Dialectic of Ideology and Technology. New York: Seabury Press, 1976.

Granick, David. The European Executive. New York: Doubleday, 1962.

Green, V. H. H. The Universities. Baltimore: Penguin, 1969.

Greenberg, Joseph H. The Languages of Africa. Bloomington: University of Indiana Press, 1987.

Greenberg, Joseph H. Language Typology. A Historical and Analytical Overview. The Hague: Mouton, 1974.

Greenberg, Joseph H. Language in the Americas. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1987.

Greenfeld, Liah. Nationalism. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992.

Gusfield, Joseph R. Equalitarianism and Bureaucratic Recruitment // Administrative Science Quarterly 1958, 2: 521–541.

Hagen, William W. Germans, Poles and Jews: The Nationality Conflict in the Prussian East, 1772–1914. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

Hall, John. Powers and Liberties: The Causes and Consequences of the Rise of the West. Berkeley: University of California Press, 1986.

Hall, John Whitney, and Toyoda Takeshi, eds. Japan in the Muromachi Age. Berkeley: University of California Press, 1977.

Hall, John Whitney, Keiji Nagahara, and Kozo Yamamura, eds. Japan Before Tokugawa: Political Consolidation and Economic Growth, 1500 to 1650. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1981.

Hamashita, Takeshi. The Tribute Trade System and Modem Asia. In: A. J. H. Latham and H. Kawakatsu, eds., Japanese Industrialization and the Asian Economy. London: Routledge, 1994.

Hanley, Susan B. Standard of Living in Nineteenth Century Japan: Reply to Yasuba // Journal of Economic History, 1986, 46: 225–226.

Hanley, Susan B., and Kozo Yamamura, eds. Economic and Demographic Change in Preindustrial Japan, 1600–1868. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1977.

Hannan, Michael T. Dynamics of Ethnic Boundaries in Modem States. In: John W. Meyer and Michael T. Hannan, eds., National Development and the World System. Chicago: University of Chicago Press, 1979.

Hanneman, Robert A., Randall Collins, and Gabriele Mordt. Discovering the Long-Term Dynamics in Abstract Theory: Simulation Experiments with State Legitimacy and Imperialist Capitalism // Sociological Methodology, 1995. Vol. 25: 1–46.

't Hart, Marjolein C. The Making of a Bourgeois State: War, Politics and Finance During the Dutch Revolt. Manchester: Manchester University Press, 1993.

Hauser, William B. Economic Institutional Change in Tokugawa Japan: Osaka and the Kinai Cotton Trade. Cambridge: Cambridge University Press, 1974.

Hechter, Michael. The Political Economy of Ethnic Change // American Journal of Sociology, 1974, 79: 1151–1178.

Heer, Friedrich. The Intellectual History of Europe. New York: Doubleday, [1953] 1968.

Hellie, Richard. Slavery in Russia, 1450–1725. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Henderson D. F. The Evolution of Tokugawa Law. In: John Hall and Marius Jansen, Studies in the Institutional History of Early Modern Japan. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1968.

Hepple, Leslie W. The Revival of Geopolitics // Political Geography Quarterly. 1986. 4 no. 4 (supplement): 21–36.

Hobsbawm, Eric, and Terence Ranger, eds. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

Hockett, Charles F. Introduction. In: Whitney [1875] 1979.

Hodgson, Marshall G. The Venture of Islam. 3 vols. Chicago: University of Chicago Press, 1974.

Hoffman, Philip T., and Kathryn Norbert, eds. Fiscal Crises, Liberty, and Representative Government, 1450–1789. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1994.

Holborn, Hajo. A History of Modern Germany. New York: Knopf, 1959–1969.

Hopkins, Keith. Economic Growth and Towns in Classical Antiquity. In: P. Abrams and E. A. Wrigley, eds., Towns in Societies. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

Hopkins, Keith. Taxes and Trade in the Roman Empire, 200 B. C. E.-A. D. 400 // Journal of Roman Studies, 1980, 70: 301–324.

Howe, Christopher. The Origins of Japanese Trade Supremacy. Chicago: University of Chicago Press, 1996.

Ikegami, Eiko. The Taming of the Samurai: Honorific Individualism and the Making of Modern Japan. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995.

Jencks, Christopher, and David Riesman. The Academic Revolution. New York: Doubleday, 1968.

Jochmann, Werner. Gesellschaftskrise und Judenfeindschaft in Deutschland 1870–1945. Hamburg: Christians, 1988.

Johnson, Allen W., and Timothy Earle. The Evolution of Human Societies: From the Foraging Group to the Agrarian State. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1987.

Jones, Eric L. Growth Recurring: Economic Change in World History. Oxford: Clarendon Press, 1988.

Katsumata Shizuo and Martin Collcutt. The Development of Sengoku Law. In: Hall, Nagahara, and Yamamura 1981.

Kawakatsu, Heita. Historical Background. In: A. J. H. Latham and H. Kawakatsu, eds., Japanese Industrialization and the Asian Economy. London: Routledge, 1994.

Keesing's Record of World Events. Published annually. London: Longman.

Kelley, J. N. D. The Oxford Dictionary of Popes. New York: Oxford University Press, 1986.

Kennedy, Paul. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. New York: Random House, 1987.

Key V. O. Southern Politics. New York: Knopf, 1949.

Kinder, Hermann and Werner Hilgemann. Atlas Historique. Paris: Stock, 1968.

King, Gary, Robert O. Keohane, and Sidney Verba. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1994.

Kirschner, Julius, ed. The Origins of the State in Italy, 1300–1600 // Journal of Modern History, 1995, 67 (supplement).

Kiser, Edgar. Markets and Hierarchies in Early Modern Tax Systems: A Principal-Agent Analysis. Paper presented at annual meeting of the American Sociological Association. 1991.

Kiser, Edgar, and Joachim Schneider. Bureaucracy and Efficiency: An Analysis of Taxation in Early Modern Prussia // American Sociological Review, 1994, 59: 187–204.

Kitagawa, Joseph M. On Understanding Japanese Religion. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1987.

Kitagawa, Joseph M. Religion in Japanese History. New York: Columbia University Press, 1990.

Kohnke, Klaus Christian. The Rise of Neo-Kantianism. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Kornai, Janos. The Socialist System: The Political Economy of Communism. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1992.

Kroeber A. L. Anthropology: Culture Patterns and Processes. New York: Harcourt, 1963.

Kuran, Timur. The Inevitability of Future Revolutionary Surprises // American Journal of Sociology, 1995, 100: 1528–1551.

Labov, William. Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972.

Labov, William, and Wendell A. Harris. De Facto Segregation of Black and White Vernaculars. In: David Sankoff, ed., Current Issues in Linguistic Theory 53: Diversity and Diachrony. Amsterdam: Benjamins, 1986.

Lane, Frederic C. Venice: A Maritime Republic. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973.

Lea, Henry Charles. History of Judicial Torture. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1973.

Lenski, Gerhard E. ·Power and Privilege: A Theory of Stratification. New York: McGraw-Hill, 1966.

Levi, Margaret. Of Rule and Revenue. Berkeley: University of California Press, 1988.

Levy-Strauss, Claude. The Elementary Structures of Kinship. Boston: Beacon Press, [1949] 1969.

Levy-Strauss, Claude. The Origin of Historical Societies. Public lecture, UCLA, 1984.

Li, Jie-li. Geopolitics of the Chinese Communist Party in the Twentieth Century // Sociological Perspectives, 1993, 36: 315–333.

Li, Jie-li. State Fragmentation: A Comparative Analysis of the British North American Empire, the United States, and Qing China, 1600–1900. Ph. D. diss., Department of Sociology, University of California, Riverside. 1996.

Li, Rebecca. Alternative Routes to Revolution: An Integrated Model of Societal Disintegration in Qing China. Ph. D. diss., Department of Sociology, University of California, Riverside. 1998.

Liddell-Hart B. H. History of the Second World War. New York: Putnam, 1970.

Lieberson, Stanley. A Piece of the Pie: Blacks and White Immigrants Since 1880. Berkeley: University of California Press, 1980.

Light, Ivan, and Stavros Karageorgis. The Ethnic Economy. Neil J. Smelser and Richard Swedberg, eds., Handbook of Economic Sociology. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1994.

Lipset, Seymour Martin. The Social Requisites of Democracy Revisited // American Sociological Review, 1994, 59: 1–22.

Lowith, Karl. From Hegel to Nietzsche. New York: Doubleday, [1941] 1967.

Luttwak, Edward. The Grand Strategy of the Roman Empire-From the First Century A. D. to the Third. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976.

Macfarlane, Alan. The Origins of English Individualism. Oxford: Blackwell, 1978.

MacLeod, William Christie. Celt and Indian: Britain's Old World Frontier in Relation to the New. In: Paul Bohannan and Fred Plog, eds., Beyond the Frontier. Garden City N. Y.: American Museum Sourcebooks in Anthropology, 1967.

Mann, Michael. The Sources of Social Power. Vol. I, A History of Power from the Beginning to A. D. 1760. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Mann, Michael. Comments on Paul Kennedy's The Rise and Fall of the Great Powers // British Journal of Sociology, 1989, 40: 33 1–35.

Mann, Michael. The Sources of Social Power. Vol. 2, The Rise of Classes and Nation-States, 1760–1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Mardin, Serif. The Ottoman Empire. In: Barkey and Von Hagen 1997.

Marsden, George M., and Bradley J. Longfield. The Secularization of the Academy. Oxford: Oxford University Press, 1992.

Marwell, Gerald and Pamela Oliver. The Critical Mass in Collective Action: A Micro-Social Theory. New York: Cambridge University Press, 1993.

Massey, Douglas, and Nancy A. Denton. American Apartheid: Segregation and the Making of Underclass. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993.

Mauss, Marcel. Les Origines de la Notion de Monnaie. In: Oeuvres. V. 2. Paris: Editions de Minuit. [1914] 1969.

Mauss, Marcel. The Gift. New York: Norton, [1925] 1967.

McCormack, Gavan, and Yoshio Sugimoto, eds. The Japanese Trajectory: Modernization and Beyond. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

McEvedy, Colin. The Penguin Atlas of Medieval History. Baltimore: Penguin, 1961.

McEvedy, Colin. The Penguin Atlas of Ancient History. Baltimore: Penguin, 1967.

McEvedy, Colin. The Penguin Atlas of Modern History. Baltimore: Penguin, 1972.

McEvedy, Colin. The Penguin Atlas of Recent History: Europe Since 1815. Baltimore: Penguin, 1982.

McEvedy, Colin, and Richard Jones. Atlas of World Population History. Baltimore: Penguin, 1978.

McMullin, Neil. Buddhism and State in Sixteenth Century Japan. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1984.

McNeill, William H. The Rise of the West: A History of the Human Community. Chicago: University of Chicago Press, 1963.

McNeill, William H. Plagues and Peoples. New York: Doubleday, 1976.

McNeill, William H. The Pursuit of Power. Chicago: University of Chicago Press, 1982. Русский перевод: **Мак-Нил У. (Вильям Макнил).** В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XI–XX вв. М.: Территория будущего, 2008.

McNeill, William H. Polyethnicity and National Unity in World History. Toronto: University of Toronto Press, 1986.

McPhail, Clark. The Myth of the Madding Crowd. New York: Aldine de Gruyter, 1991.

McRae, John R. The Northern School and the Formation of Early Ch'an Buddhism. Honolulu: University of Hawaii Press, 1986.

Merkl, Peter H. Political Violence Under the Swastika. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1975.

Meyer, John W. 1987. The World Polity and the Authority of the Nation-State. In: George M. Thomas, John W. Meyer, Francisco O. Ramirez, and John Boli, eds., Institutional Structure: Constituting State, Society and the Individual. Newbury Park, Calif.: Sage, 1987.

Miller, George. George Herbert Mead. Chicago: University of Chicago Press, 1973.

Mitchell, Allan. German Influence in France after 1870: The Formation of the French Republic. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1979.

Moaddel, Mansoor. Ideology as Episodic Discourse: The Case of the Iranian Revolution // American Sociological Review, 1992, 57: 357–379.

Modelski, George, and W. R. Thompson. Sea Power and Global Politics since 1494. Seattle: University of Washington Press, 1988.

Moore, Barrington Jr. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston: Beacon, 1966.

Morgenthau, Hans J. Politics among Nations. New York: Knopf, 1948.

Moriya, Katsuhisa. Urban Networks and Information Networks. In: Nakane and Oishi 1990.

Morris-Suzuki, Tessa. The Technological Transformation of Japan: From the Seventeenth to the Twenty First Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Moskos, Charles C., and John Sibley Butler. All That We Can Be: Black Leadership and Racial Integration the Army Way. New York: Basic Rooks, 1996.

Mosse, George L. The Crisis of German Ideology. New York: 1964.

Mueller, Detlef K. 1987. The Process of Systematization: The Case of German Secondary Education. In: Detlef K. Mueller, Fritz Ringer, and Brian Simon, The Rise of the Modern Educational System: Structural Change and Social Reproduction 1870–1920. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Mueller, Hans-Eberhard. Bureaucracy, Education and Monopoly: Civil Service Reforms in Prussia and England. Berkeley: University of California Press, 1984.

Murphy, Raymond. Social Closure: The Theory of Monopolization and Exclusion. Oxford: Clarendon Press, 1988.

Murray, Alexander. Reason and Society in the Middle Ages. Oxford: Clarendon Press, 1978.

Nagahara, Keiji. The Medieval Peasant. In: Yamamura 1990b.

Nakai Nobuhiko and James L. McClain. Commercial Change and Urban Growth in Early Modern Japan. In: John W. Hall, ed., The Cambridge History of Japan. Vol. 4, Early Modern Japan. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Nakamura, Hajime. Suzuki Shosan and the Spirit of Capitalism in Japanese Buddhism // Monumenta Nipponica, 1967, 22: 1–14.

Nakane, Chie, and Shinzaburo Oishi, eds. Tokugawa Japan: The Social and Economic Antecedents of Modern Japan. Tokyo: University of Tokyo Press, 1990.

Nee, Victor, and Peng Lian. Sleeping with the Enemy: A Dynamic Model of Declining Political Commitment in State Socialism // Theory and Society, 1994, 23: 253–296.

Needham E. and collaborators. Science and Civilization in China: 6 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 1954–1984.

Nipperdey, Thomas. Nachdenken über die Deutsche Geschichte: Essays. Munich: C. H. Beck, 1986.

Nishijima, Sadao. The Economic and Social History of Former Han. In: Cambridge History of China. Vol. I., The Ch'in and Han Empires, ed. Denis Twitchett and Michael Loewe. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Nolte, Ernst. Three Faces of Fascism: Action Francaise, Italian Fascism, National Socialism. New York: New American Library, 1969.

Norpoth, Helmut. Guns and Butter and Government Popularity in Britain // American Political Science Review, 1987, 81: 949–970.

Oakley, Francis. The Western Church in the Later Middle Ages. Ithaca N. Y.: Cornell University Press, 1979.

Office of Technology Assessment, U. S. Congress. The Effects of Nuclear War. Washington D. C.: Government Printing Office, 1979.

Olzak, Susan. The Dynamics of Ethnic Competition and Conflict. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1992.

Olzak, Susan, and Joane Nagel, eds. Competitive Ethnic Relations. Orlando, Fla.: Academic Press. 1986.

Ooms, Herman. Tokugawa Ideology: Early Constructs, 1570–1680. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1985.

Ostrum, Charles W., Jr. and Dennis M. Simon. Promise and Performance: A Dynamic Model of Presidential Popularity // American Political Science Review, 1985, 79: 334–358.

Paige, Jeffrey M. Agrarian Revolution. Berkeley: University of California Press, 1975.

Parker, Geoffrey. The Military Revolution: Military Innovation and the Rise the West. New York: Cambridge University Press, 1988.

Parsons, Talcott 1964. Evolutionary Universals in Society. In: Talcott Parsons, Sociological Theory and Modern Society. New York: Free Press, 1967.

Patterson, Orlando. Slavery and Social Death: A Comparative Study. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982.

Patterson, Orlando. Comparing Slave Societies. Paper delivered at Annual Meeting of the American Sociological Association, Chicago, 1987.

Perrow, Charles. Normal Accidents. New York: Basic Books, 1984.

Pipes, David. Slave Soldiers and Islam. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1981.

Polanyi, Karl. The Livelihood of Man. New York: Academic Press, 1977.

Polignac, Francois de. Cults, Territory and the Origins of the Greek City-State. Chicago: University of Chicago Press, [1984] 1995.

Portes, Alejandro 1994. The Informal Economy and Its Paradoxes. In: Neil J. Smelser and Richard Swedberg, eds., Handbook of Economic Sociology. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1994.

Portes, Alejandro. On Grand Surprises and Modest Certainties: Comment on Kuran, Collins and Tilly // American Journal of Sociology, 1995, 100: 1620–1626.

Richter, Melvin. The Politics of Conscience: T. H. Green and His Age. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1969.

Roeder, Philip G. Soviet Federalism and Ethnic Mobilization // World Politics, 1991, 43: 196–232.

Roemer, John. A General Theory of Exploitation and Class. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982.

Roemer, John 1986. New Directions in the Marxian Theory of Exploitation and Class. In: John Roemer, ed., Analytical Marxism. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Rosenberg, Arthur. Imperial Germany: The Birth of the German Republic. Boston: Beacon Press, 1964.

Rosenberg, Hans. Bureaucracy, Aristocracy, and Autocracy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1958.

Rosovsky, Henry. Capital Formation in Japan, 1868–1940. Glencoe, Ill.: Free Press, 1961.

Rothblatt, Sheldon. The Revolution of the Dons: Cambridge and Society in Victorian England. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

Rozman, Gilbert, ed. The East Asian Region: Confucian Heritage and Its Modem Adaptation. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1991.

Rueschemeyer, Dietrich, Evelyn H. Stephens, and John D. Stephens. Capitalist Development and Democracy. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

Runciman W. G. Capitalism Without Classes: The Case of Classical Rome // British Journal of Sociology, 1983, 34: 157–177.

Runciman W. G. A Treatise on Social Theory. Vol. 2, Substantive Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Russell, Bertrand. Why I am Not a Christian. London: Allen and Unwin, 1957.

Sabel, Charles F. Learning by Monitoring: The Institutions of Economic Development. In: Neil J. Smelser and Richard Swedberg, eds., Handbook of Economic Sociology. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1994.

Sahlins, Marshall. Stone Age Economics. Chicago: Aldine, 1972.

Sanderson, Stephen K. The Transition from Feudalism to Capitalism: The Theoretical Significance of the Japanese Case // Review, 1994, 13: 15–55.

Sanderson, Stephen K. Social Transformations: A General Theory of Historical Development. Oxford: Blackwell, 1995.

Sansom, George B. A History of Japan, 1334–1615. Tokyo: Charles Tuttle, 1961.

Sapir, Edward. Language: An Introduction to the Study of Speech. New York: Harcourt, 1921. Русский перевод: **Сепир, Эдвард.** Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 2001.

Schelling, Thomas C. The Strategy of Conflict. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962.

Schnadelbach, Herbert. Philosophy in Germany, 1831–1933. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Schorske, Carl E. Fin-de-Siecle Vienna. New York: Knopf, 1980.

Schumpeter, Joseph A. The Theory of Economic Development. New York: Oxford University Press, [1911] 1961.

Schumpeter, Joseph A. Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process. New York: McGraw-Hill, 1939.

Searle, Eleanor. Predatory Kinship and the Creation of Norman Power, 840–1066. Berkeley: University of California Press, 1988.

Sedaitis, Judith B., and Jim Butterfield, eds. Perestroika from Below: Social Movements in the Soviet Union. Boulder, Colo.: Westview, 1991.

Sheehan, James J. German History, 1770–1866. Oxford: Oxford University Press, 1990.

Simmel, Georg. Conflict and the Web of Group-Affiliations. New York: Free Press, [1908] 1955.

Singer, J. David. Explaining War. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1979.

Singer, J. David, and Paul F. Diehl. Measuring the Correlates of War. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1990.

Skocpol, Theda. States and Social Revolutions. New York: Cambridge University Press, 1979.

Smith, Anthony D. The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell, 1986.

Smith, Thomas C. Agrarian Origins of Modern Japan. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1959.

Smith, Thomas C. 1988a. Native Sources of Japanese Industrialization, 1750–1920. Berkeley: University of California Press, 1988.

Smith, Thomas C. 1988b. Peasant Time and Factory Time in Japan. In: Smith 1988a.

Snodgrass, Anthony. Archaic Greece. Berkeley: University of California Press, 1980.

Southern R. W. Western Society and the Church in the Middle Ages. Harmondsworth: Penguin, 1970.

Spaulding, Robert K. How Spanish Grew. Berkeley: University of California Press, 1943.

Sperber, Hans, and Wolfgang Fleischhauer. Geschichte der deutschen Sprache. Berlin: de Gruyter, 1963.

Stark, Rodney, and William Sims Bainbridge. The Future of Religion. Berkeley: University of California Press, 1985.

Ste. Croix, Geoffrey de. The Class Struggle in the Ancient Greek World. London: Duckworth, 1983.

Stinchcombe, Arthur L. Agricultural Enterprise and Rural Class Relations // American Journal of Sociology, 1961, 67: 165–176.

Stinchcombe, Arthur L. Constructing Social Theories. New York: Harcourt Brace, 1968.

Stinchcombe, Arthur L. Economic Sociology. New York: Academic Press, 1983.

Stinchcombe, Arthur L. Class in Marx's Conception of History // New Left Review, 1984, 146: 94–111.

Stinchcombe, Arthur L. The Political Economy of the Caribbean, 1750–1900: A Sociology of Slavery and Freedom. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1995.

Stolz, Friedrich, and Albert Debrunner. Geschichte der lateinischen Sprache. Berlin: de Gruyter, 1966.

Stone, Lawrence. The Family, Sex and Marriage in England, 1500–1800. London: Weidenfeld and Nicolson, 1979.

Strauss, Gerald. Pre-Reformation Germany. London: Macmillan, 1972.

Swaan, Abram de. In the Care of the State: Health Care, Education and Welfare in Europe and the USA in the Modern Era. Cambridge, Mass.: Polity Press, 1988.

Szelenyi, Ivan, and Balazs Szelenyi. Why Socialism Failed: Toward a Theory System Breakdown — Causes of Disintegration of East European State Socialism // Theory and Society, 1994, 23: 211–231.

Thompson E. P. The Making of the English Working Class. London: Gollancz, 1963.

Thompson E. P. Time, Work Discipline, and Industrial Capitalism // Past and Present, 1967, 38: 57–93.

Thompson, William R. On Global War: Historical-Structural Approaches to World Politics. Columbia: University of South Carolina Press, 1988.

Thomson J. A. F. Popes and Princes 1417–1517: Politics and Piety in the Late Medieval Church. London: Allen and Unwin, 1980.

Tilly, Charles. From Mobilization to Revolution. Reading, Mass.: Addison-Wesley 1978.

Tilly, Charles. Coercion, Capital, and European States, A. D. 990–1990. Oxford: Blackwell 1990. Русский перевод: Тилли, Чарльз. Принуждение, капитал и европейские государства, 990–1990 гг. М.: Территория будущего, 2009.

Tilly, Charles. European Revolutions, 1492–1992. Oxford: Blackwell, 1993.

Tilly, Charles. Popular Contention in Great Britain, 1758–1834. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995.

Tilly, Charles, Douglas McAdam, and Sidney Tarrow. Moral Equivalents of Social Movements. Paper delivered at annual meeting of the American Sociological Association, Toronto, 1997.

Toby, Ronald P. State and Diplomacy in Early Modem Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1984.

Torstendahl, Rolf. Bureaucratization in Northwest Europe, 1880–1985. London: Routledge, 1991.

Totman, Conrad. Early Modern Japan. Berkeley: University of California Press, 1993.

Toyoda Takeshi and Sugiyama Hiroshi. The Growth of Commerce and Trades. In: Hall and Toyoda 1977.

Udovitch, Abraham. Partnership and Profit in Medieval Islam. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1970.

Vail, Leroy. The Creation of Tribalism in Southern and Central Africa. London: James Currey, 1989.

Van Creveld, Martin. Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton. New York: Cambridge University Press, 1977.

Van Creveld, Martin. Technology and War: From 2000 B. C. to the Present. New York: Free Press, 1991.

Varley H. Paul. Ashikaga Yoshimitsu and the World of Kitayama: Social Change and Shogunal Patronage in Early Muromachi. In: Hall and Toyoda 1977·

Vesey, Lawrence R. The Emergence of the American University. Chicago: University of Chicago Press, 1965.

Von Hagen, Mark, and Karen Barkey. After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building. Boulder, Colo.: Westview, 1997.

Wakita Haruko and Susan B. Hanley. Dimensions of Development: Cities in Fifteenth- and Sixteenth-Century Japan. In: Hall, Nagahara, and Yamamura 1981.

Walder, Andrew G. The Decline of Communist Power: Elements of a Theory Institutional Change // Theory and Society, 1994, 23: 297–324.

Waldinger, Roger. Still the Promised City? African-Americans and New Immigrants in Postindustrial New York. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996.

Waller, David V. Ethnic Mobilization and Geopolitics in the Soviet Union: Toward a Theoretical Understanding // Journal of Political and Military Sociology, 1992, 20: 37–62.

Wallerstein, Immanuel. The Modem World System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press, 1974.

Wallerstein, Immanuel. The Modern World System II. Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy. San Diego, Calif.: Academic Press, 1980.

Wallerstein, Immanuel. The Modem World System III. The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730–1840s. San Diego, Calif.: Academic Press, 1989.

Walt, Stephen M. The Origins of Alliances. Ithaca N. Y.: Cornell University Press, 1987.

Waltz, Kenneth N. Theory of International Politics. New York: Columbia University Press, 1979.

Wank, Solomon. The Habsburg Empire. In: Barkey and Von Hagen 1997.

Warner, R. Stephen. Work in Progress Toward a New Paradigm for the Sociological Study of Religion in the United States // American Journal of Sociology, 1993, 98: 1044–1093.

Waters, Mary C. Ethnic Options: Choosing Identities in America. Berkley: University of California Press, 1990.

Watkins, Susan Cotts. From Provinces into Nations: Demographic Integration in Western Europe, 1870–1960. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1991.

Weber, Eugen. Peasants into Frenchman: The Modernization of Rural France, 1870–1914. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1976.

Weber, Max. The Agrarian Sociology of Ancient Civilizations. London: New Left Books, [1909] 1976.

Weber, Max. The Religion of India. New York: Free Press. [Original title: Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen: Hinduismus und Buddhismus, 1917] 1958.

Weber, Max. Economy and Society. New York: Bedminster Press, [1922] 1968.

Weber, Max. The Sociology of Religion. Boston: Beacon Press, [1922] 1991.

Weber, Max. General Economic History. New York: Collier, [1923] 1961.

Weinstein, Stanley. Rennyo and the Shinshu Revival. In: Hall and Toyoda 1977·

Weisz, George. The Emergence of Modern Universities in France, 1863–1914. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1983.

White, Harrison C. Where Do Markets Come From? // American Journal of Sociology, 1981. 87: 517–547.

White, Harrison C. Identity and Control: A Structural Theory of Social Action. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1992.

Whitney, William Dwight. The Life and Growth of Language. New York: Dover, [1875] 1979.

Wickham, Chris. The Other Transition: From the Ancient World to Feudalism // Past and Present, 1984, 103: 3–36.

Willey, Thomas E. Back to Kant: The Revival of Kantianism in German Social and Historical Thought, 1860–1914. Detroit, Mich.: Wayne State University Press, 1978.

Williams, Eric. Capitalism and Slavery. New York: Putnam, 1966.

Williamson C. American Suffrage: From Property to Democracy, 1760–1860. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1960.

Wuthnow, Robert. Communities of Discourse: Ideology and Social Structure the Reformation, the Enlightenment and European Socialism. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989.

Yamamoto, Shichihei. The Spirit of Japanese Capitalism. New York: Madison Books, 1992.

Yamamura, Kozo. Returns on Unification: Economic Growth in Japan, 1550–1650. In: Hall, Nagahara, and Yamamura 1981.

Yamamura, Kozo 1990a. The Growth of Commerce in Medieval Japan. In: Yamamura 1990b.

Yamamura, Kozo, ed. 1990b. The Cambridge History of Japan. Vol. 3, Medieval Japan. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Yasuba, Yasukichi. Standard of Living in Japan Before Industrialization: From What Level Did Japan Begin? // Journal of Economic History, 1986, 46: 217–224.

Предметно-именной указатель

«Анналов» школа, 27
«Арабская весна», 13, 14, 16, 447
«Цветные революции», 13, 447
Абу-Луход, Джанет (Abu-Lughod, Janet), 29, 333, 347, 348, 397
Андерсон, Перри (Anderson, Perry), 309, 329, 338, 340, 476
Анкосс, Элен д' (d'Encausse, Helene), 110, 111

Байрон, лорд (Byron, Lord), 262
Барт, Карл (Barth, Karl), 135
Барт, Фредерик (Barth, Frederick), 135
Бастиан, Адольф (Bastian, Adolf), 300
Баур, Фердинанд (Baur, Ferdinand C.), 286
Бауэр, Бруно (Bauer, Bruno), 285
Бебель, Август (Bebel, August), 73
Бендикс, Рейнхард (Bendix, Reinhard), 90
Бернштейн, Эдуард (Bernstein, Eduard), 73
Бисмарк, Отто фон (Bismarck, Otto von), 210
Бланки, Огюст (Blanqui, Auguste), 290
Блэкберн, Дэвид (Blackbourn, David), 293
Боас, Франц (Boas, Franz), 300
Бодлер, Шарль (Baudelaire, Charles), 278
Болингброк, лорд (Bolingbroke, Lord), 207
Бонхёффер, Дитрих (Bonhoeffer, Dietrich), 262
Боркенау, Франц (Borkenau, Franz), 48, 160, 425–436
Боулдинг, Кеннет (Boulding, Kenneth), 33, 82, 87
Бринтон, Крейн (Brinton, Crane), 52–53
Бродель, Фернан (Braudel, Fernand), 27, 29, 49–50, 288, 306, 477, 478
Брубейкер, Роджерс (Brubaker, Rogers), 158
Брустейн, Вильям (Brustein, William), 300
Бубер, Мартин (Buber, Martin), 261
Буддизм, 25, 69, 357, 365–367, 370–374, 382–388
Бультман, Рудольф (Bultmann, Rudolf), 262
Буш, Джордж (младший) (Bush, George Jr.), 455
Буш, Джордж (старший) (Bush, George Sr.), 128, 403
Бэйнбридж, Вильям Симс (Bainbridge, William Sims), 274
Бюрократия, 60, 71, 72, 107, 166, 216, 267–271, 273, 275, 283, 347, 351, 363, 364, 371, 372, 385, 463, 465, 466, 473
Бюхнер, Людвиг (Buchner, Ludwig), 285

Вагнер, Рихард (Wagner, Richard), 262
Вайтц, Теодор (Waitz, Theodor), 300
Валлерстайн, Иммануил (Wallerstein, Immanuel), 27, 29, 255, 288, 346
Ван Кревельд, Мартин (Van Creveld, Martin), 88
Вебер, Макс (Weber, Max), 24, 26, 147, 214, 215, 272, 300, 307, 318, 321, 326, 329, 330, 341, 358, 360, 361, 363–367, 385, 388, 393, 401, 405, 413
Верба, Сидней (Verba, Sidney), 61
Виттфогель, Карл (Wittfogel, Karl), 24
Вольтер (Voltaire), 278
Вооружения, 32, 60, 79, 80, 84–86, 103, 104, 106, 156, 175, 192, 215–217, 324, 328, 336, 353, 413, 417, 418, 463
Вутноу, Роберт (Wuthnow, Robert), 22, 54, 70, 71, 73–75, 77, 119, 446

Гарнак, Адольф фон (Harnack, Adolf von), 286
Гассенди, Пьер (Gassendi, Pierre), 280
Гегель (Hegel, Georg Wilhelm Friedrich), 24–25, 286, 301
Геллнер, Эрнест (Gellner, Ernst), 135, 481
Геополитика как источник государственного распада и революции, как основа для предсказания 78–130, *см. также:* Коллегиальное разделение власти, геополитические ингредиенты, Этническое изменение
Георг III (George III), 207
Германская империя, 46, 224, 225, 228, 229, 232, 237–239, 241, 242, 245, 249–251, 289
Германские племена, 150, 160, 434
Гилпин, Роберт (Gilpin, Robert), 86
Гильфердинг, Рудольф (Hilferding, Rudolf), 73, 350
Гитлер, Адольф (Hitler, Adolf), 261, 297, 298
Гобино, Артур де (Gobineau, Arthur de), 300
Голдстоун, Джек (Goldstone, Jack), 26, 54–59, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 74, 76, 94, 95, 114, 118, 307, 446
Голдхаген, Дэниэл (Goldhagen, Daniel), 300
Голландская республика, 201, 245, 250–252
Гонка вооружений, 60, 79, 84–86, 103, 104, 156, 175, 192, 324
Горбачев, Михаил, 99, 102, 104, 106, 116, 118, 128
Гордон, Чарльз Джордж (Gordon, Charles George ("Chinese")), 168
Гоулднер, Алвин Уорд (Gouldner, Alvin Ward), 52
Грамши, Антонио (Gramsci, Antonio), 53
Гуди, Джек (Goody, Jack), 37, 426
Гудсблом, Йохан (Goudsblom, Johan), 22, 37
Гумплович, Людвиг (Gumplowicz, Ludwig), 81
Гэй, Питер (Gay, Peter), 294

Демографический рост как источник государственного распада, 58, 61, 67, 94
Демократия, 10, 11, 44, 46, 68, 92, 115, 196–258, 264, 285, 291–296, 302, 303, 328, 329, 423, 447, 448, 454, 457–466, *см. также:* Коллегиальное разделение власти, Избирательное право, голосование
Джиллс, Барри (Gills, Barry), 30
Джоветт, Бенджамин (Jowett, Benjamin), 287
Дизраэли, Бенджамин (Disraeli, Benjamin), 276
Дипломатия, 83, 86, 122, 123, 165, 456
Доунинг, Брайн (Downing, Brian), 92
Дукакис, Майкл (Dukakis, Michael), 128
Дьяконов И. М., 441, 442
Дюмезиль, Жорж (Dumezil, Georges), 434
Дюркгейм, Эмиль (Durkheim, Emile), 23, 263

Евреи, 102, 131, 144, 171, 173, 208, 260, 276, 278, 281, 297–300, 455
Европейский Союз, 16, 190–193, 217, 452, 453, 460, 461
Екатерина II, 463, 473, 474

Женщины, их социальное положение, право выбирать, 203, 209–213, 292, 293, 314, 315, 319, 430

Зиммель, Георг (Simmel, Georg), 70, 398, 401, 438

Избирательное право, голосование, 179–183, 199–213, 224–230, 236–241, 291, 292
Икэгами, Эйко, 38
Индустриализация, 73, 75, 213, 263, 265, 266, 288, 289, 303, 463
Исламские общества, фундаментализм, 19, 118, 309, 313, 334

Йейтс, Вильям Батлер (Yeats, William Butler), 181

Кайзер, Эдгар (Kiser, Edgar), 269, 270
Калхун, Крэг (Calhoun, Craig), 53
Кальвин, Джон (Calvin, John), 241, 280
Капитализм, 15, 17, 20, 25–30, 47, 53, 57, 61, 67, 68, 74, 107, 112–116, 119, 212, 220, 266, 288, 306, 310–313, 315, 316, 321, 322, 326, 330, 332, 338, 341–344, 347–354, 413–420
  империалистический капитализм 409–420
  капиталистическое сельское хозяйство 358–397
  религиозный корпоративный капитализм 382–389, 395–397
См. также: Китай, капитализм в Китае, Индустриализация, Япония, капитализм в Японии, Рынки
Карл I (Charles I), 98
Карл Великий, 217, 435
Карлейль, Томас (Carlyle, Thomas), 301
Карнейро, Роберт, 37, 472
Карфаген, 85, 322
Католицизм, католичество, 71, 75, 179, 184, 278, 366, 367
Каутский, Карл (Kautsky, Karl), 73
Кафка, Франц (Kafka, Franz), 261
Кеннеди, Пол (Kennedy, Paul), 33, 87, 122, 129
Кеохэйн, Роберт (Keohane, Robert), 61
Кинг, Гари (King, Gary), 61–62
Китай, капитализм в Китае, 13, 20, 24, 29, 32, 48, 54, 56, 59, 67, 69, 83–86, 100, 114, 115, 155, 190, 270, 310, 313, 320, 332, 338, 340–343, 346–349, 352, 353, 357, 364, 365, 367, 369–371, 376, 377, 379, 385, 386, 396, 397, 451, 452, 461, 465, 470, 473
Класс, 20, 25, 36, 51–53, 56, 70, 73–75, 92, 93, 106, 107, 154, 166, 167, 172, 173, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 213, 214, 248, 268, 269, 277, 279, 282, 295, 309–311, 315, 316, 319, 320, 322, 323, 326, 329, 333, 336, 339, 341, 355, 356, 363, 364, 368, 373, 378, 380, 413, 414, 422, 444, 457
Классовый конфликт, 24, 26, 51, 53, 54, 56, 70, 74, 118, 151, 173, 247, 315
Кожев (Кожевников), Александр (Kojeve, Alexandre), 261
Козер, *см.* Коузер
Койре (Койранский), Александр (Koyre, Alexandre), 261
Коллегиальное разделение власти 201–206, 214–218
  геополитические ингредиенты 230–234, 245–254
  средневековое 220–250
Коллинз, Рэндалл (Collins, Randall), 20, 21, 23, 77, 87, 398, 437–439, 447, 449, 450, 459, 462, 463, 466, 479
Кольридж, Тейлор Сэмюэл (Coleridge, Samuel Taylor), 262
Коммунизм, 118, 173, 190, 192, 297, 304, 309, 352
Конде, герцог де (Conde, duc de), 168
Кондратьевские волны, 30
Корнаи, Янош, 466
Коузер (Козер), Льюис (Coser, Lewis), 87, 401
Крестьянское восстание, 54, 56, 107, 340, 390
Кромвель, Оливер (Cromwell, Oliver), 179
Кросби, Альфред (Crosby, Alfred), 37
Кузен, Виктор (Cousin, Victor), 263, 283
Куран, Тимур (Kuran, Timur), 124, 126
Кьеркегор, Сёрен (Kierkegaard, Soren), 261

Лабов, Вильям (Labov, William), 162
Лайн, Пенг (Lian, Peng), 114–115
Латинская Америка, 10, 27
Лафайет, маркиз де (Lafayette, Marquis de), 168
Леви-Стросс, Клод (Levi-Strauss, Claude), 39, 229, 314–317, 319, 320, 434, 438
Легитимность, 34, 35, 45, 60, 61, 78, 81, 97–99, 106, 108, 134, 146–149, 175, 179, 187, 191, 248, 256, 258, 296, 374, 398, 401–409, 411–422, 449, 453, 455, 456, 459, 464, 467
Ленин В. И., 73, 350
Ли Куан Ю (Lee Kuan Yew), 190

Ли, Джиэли (Li, Jieli), 22, 114, 255
Ли, Ребекка (Li, Rebecca), 22
Ло, Джон (Law, John), 167
Лоуэнталь, Ричард (Lowenthal, Richard), 425
Лужков Ю. М., 460
Лукач, Георг (Lukacs, Georg), 53
Лэнгтон, Стивен (Langton, Stephen), 242
Людовик XIV (Louis XIV), 58, 168, 268
Людовик XVI (Louis XVI), 98, 167
Люксембург, Роза (Luxemburg, Rosa), 73
Лютер, Мартин (Luther, Martin), 76, 280
Люттвак, Эдвард (Luttwak, Edward), 87

Макадам, Дуг (McAdam, Doug), 202
Маккиндер, Халфорд (Mackinder, Halford), 31
Макнил (Мак-Нилл), Вильям (McNeill, William), 31, 32, 37, 41, 441, 485
Максимилиан I (Maximilian I), 235
Макфарлейн, Алан (Macfarlane, Alan), 426
Макэведи, Колин (McEvedy, Colin), 32, 49
Малер, Густав (Mahler, Gustav), 262
Малларме, Стефан (Mallarme, Stephane), 263
Мальро, Андре (Malraux, Andre), 38
Мангейм (Манхейм), Карл (Mannheim, Karl), 52, 53
Манн, Майкл (Mann, Michael), 11, 12, 21, 35, 63, 122, 213, 217, 269, 272, 321
Марвелл, Джеральд (Marwell, Gerald), 127
Маркс, Карл (Marx, Karl), 24, 29, 57, 260, 290, 291, 304, 309, 311, 316, 322, 332, 439, 440
Мах, Эрнст (Mach, Ernst), 261
Международные отношения, 33, 80–82, 85, 86
Мейер, Джон (Meyer, John), 256
Меннел, Стефан (Mennell, Stephen), 37
Мерсенн, Марен (Mersenne, Marin), 280
Мид, Джордж Герберт (Mead, George Herbert), 287
Миросистема (мир-система), 28, 356
Модельски, Джордж (Modelski, George), 33
Монтескье, барон де (Montesquieu, Baron de), 214, 216
Мордт, Габриэль (Mordt, Gabriele), 22, 398
Мосс, Марсель (Mauss, Marcel), 321
Музиль, Роберт (Musil, Robert), 157
Мур, Баррингтон (Moore, Barrington), 26, 54, 70, 74, 75, 93, 446
Мэхан, Альфред Тайер (Mahan, Alfred Thayer), 31

Наполеон, 18, 42, 43, 209, 279, 283
Наполеон III, 209, 283
Национализм, 19, 81, 117, 131–133, 145–148, 151, 157, 177, 180, 183, 187, 191, 192, 194, 260, 445, 476, 481
Нацисты, 31, 259, 296, 298–301
Негры, *см.* Афроамериканцы
Неккер, Жак (Necker, Jacques), 167
Нефедов С. А., 443
Ни, Виктор (Nee, Victor), 114, 115, 129, 132, 148, 206, 243, 287, 292, 293, 327
Нидерланды, 72, 217, 229, 235, 250, 251, 255, 289
Нидэм, Джозеф (Needham, Joseph), 32
Николай II, 98
Нитирэн, 373, 374, 378, 383, 384, 387, 389
Ницше, Фридрих (Nietzsche, Friedrich), 261, 287, 300, 301
Ньюман, Джон Генри (Newman, John Henry), 285

Общества, основанные на родстве, *см.* Родоплеменные общества
Ода Нобунага, 372, 389–391
Оливер, Памела (Oliver, Pamela), 179
Османская (Оттоманская) империя, 59, 67, 69, 84, 149, 158, 165, 460

Парнелл, Чарльз Стюарт (Parnell, Charles Stewart), 181
Парсонс, Толкотт (Parsons, Talcott), 266
Патримониальное домохозяйство, 215, 268, 309, 361, 368
Паттерсон, Орландо (Patterson, Orlando), 325

Пейдж, Джефри (Paige, Jeffrey), 26
Переломный момент, критическая точка, поворотная точка, спусковая точка, 12–16, 67, 87, 89, 93, 101–103, 105, 106, 111, 124–127, 182, 196–199, 215, 295, 309, 313, 321, 330, 340, 347, 348, 391, 399, 409, 413, 447
Перроу, Чарльз (Perrow, Charles), 100, 126, 448
Петр I, 463, 474
Пивоваров Ю. С., 457
Плеснер, Гельмут (Plessner, Helmuth), 260
Поворотная точка, *см.* Переломный момент
Поланьи, Карл (Polanyi, Karl), 327, 441
Поппер, Карл (Popper, Karl), 38
Портес, Алехандро (Portes, Alejandro), 121
Предсказание, 20, 28, 78, 80, 89, 97, 99, 100, 103, 104, 108–113, 117, 118, 120–122, 124–130, 424, 449, 450, 456, 459
Престиж могущества
  государственный, 16–18, 35, 45, 78, 90, 97–99, 106, 111, 118, 147–169, 176, 177, 405–409
  доминирующей этнической группы 147–189
Путин В. В., 447, 461

Рансиман В. Г. (Runciman, W. G.), 266, 326
Раса, расовая дискриминация, 132, 137, 139, 162, 171, 188, 296, 299, 302
  расовая интеграция, 186, 189
  расовая теория, расизм, 139, 184, 300
Рассел, Бертран (Russell, Bertrand), 262, 287
Ратцель, Фридрих (Ratzel, Friedrich), 31, 81
Ратценхофер, Густав (Ratzenhofer, Gustav), 81
Революция
  Американская, 58, 59, 70, 168, 180, 208, 294
  Английская, 26, 51, 56, 66, 70, 179, 219, 242, 253, 256, 276, 384
  в Нидерландах, 201, 251
  в России, 56, 59
  в СССР, 13, 15, 78–130, 257
  Вьетнамская, 26
  геополитическая теория революции, 12, 37, 45
  Германская, 197, 260, 285, 291
  Китайская, 13, 59
  Мэйдзи, 58, 217, 393
  революция отношений родства, 39, 229, 309, 313, 316, 319, 320
  Турецкая, 59
  Французская, 13, 51, 56, 58, 66, 68, 70, 167, 180, 181, 212, 242, 253, 260, 279, 280, 292, 294
Рейган, Рональд (Reagan, Ronald), 78
Религия, 25, 42, 261, 266, 274, 276, 280, 287, 288, 308, 357, 358, 364–366, 368, 370–372, 377, 382–384, 426, 433, 435, 436, 464, 465
Рёмер, Джон (Roehmer, John), 310
Рёшмейер, Дитрих (Rueschemeyer, Dietrich), 213
Ренан, Эрнест (Renan, Ernest), 284
Ренувье, Шарль (Renouvier, Charles), 283
Рим (Древний), 85, 199, 309, 313, 322–327, 329, 334, 336, 426, 433
Рогов К. Ю., 468, 469
Родоплеменные общества, общества, основанные на родстве, 309–322, 324, 466
Россия, 12, 15–17, 19, 29, 73, 79, 99–106, 155, 156, 158, 164, 196–199, 216, 257, 258, 295, 298, 322, 352, 425, 437–439, 441–445, 447, 449–462, 465–467, 469–471, 473–475
Рузвельт, Франклин Д. (Roosevelt, Franklin D.), 403
Рынки, 47, 112, 281, 304–354, 358, 360, 362, 370, 389
  аграрно-принудительные 309–314, 335–347
  надстроенные, 305–307, 310, 313, 318, 325, 326, 328, 334, 338, 343, 345, 349–351, 353, 369–371
  рынки полномочий и доступа, 467
  рынки родства, 309–322, 466
  рынки факторов производства, 376–381, 386

Священная Римская империя, 84, 217, 239
Сентено, Мигель, 10
Сёрль, Элеонора (Searle, Eleanor), 318, 320
Скочпол, Теда (Skocpol, Theda), 26, 34, 54, 56, 58, 61, 64, 70, 74, 77, 78, 90, 92–95, 97, 106, 118, 119, 445, 446
Смит, Энтони (Smith, Anthony), 135
Соединенные Штаты Америки, 28, 31, 46, 75, 78–81, 104, 106, 128, 129, 133–135, 141, 164, 172, 174, 175, 177, 178, 180, 183–187, 189, 190, 194, 197, 208, 210, 211, 247, 251, 252, 255, 256, 262–264, 266, 267, 272, 277, 278, 287, 290, 292–296, 299, 302, 303, 322, 392, 403, 419, 451–453, 455, 456, 463
Социализм, 28, 36, 70, 112, 114, 115, 352, 353
Спусковая точка, *см.* Переломный момент
СССР, 15, 19, 45, 79, 80, 99, 101–103, 105–108, 110, 114, 115, 118, 119, 121–123, 159, 175, 177, 187, 196, 437, 440, 449–451, 454, 460, 464, 465
Старк, Родни (Stark, Rodney), 274
Стинчкомб, Артур (Stinchcombe, Arthur), 26, 33, 87, 307, 319

Тахрир, площадь в Каире, 14
Телль, Вильгельм (Tell, Wilhelm), 249
Теория революции как государственного распада, 12, 13, 15, 26, 27, 33–37, 45, 54, 55–61, 64, 66–69, 75, 76, 78, 89–99
Тилли, Чарльз (Tilly, Charles), 22, 36, 41, 55, 67, 74, 77, 91, 93, 119, 202, 441, 490
Тиллих, Пауль (Tillich, Paul), 261
Тойнби, Арнольд (Toynbee, Arnold), 24, 38, 41, 425, 427
Токвиль, Алексис де (Tocqueville, Alexis de), 214–215
Томпсон Э. П. (Thompson, E. P.), 363
Тон, Вольф (Tone, Wolfe), 181
Трумэн, Гарри (Truman, Harry), 403
Турция, 29, 54, 102, 447, 452, 453, 461, 470
Турчин П. В., 443
Тэн, Ипполит (Taine, Hyppolite), 284
Тэрроу, Сидней (Tarrow, Sidney), 202

Уайт, Гаррисон (White, Harrison C.), 63, 305, 395
Уалдер, Эндрю (Walder, Andrew), 114, 115
Уикхэм, Крис (Wickham, Chris), 335
Уоткинс, Сьюзан (Watkins, Susan), 151, 153

Федерации, 46, 91, 103, 185, 190, 202, 210, 222, 223, 227, 228, 235, 241, 242, 245, 249–251, 255–258, 372, 459
Фейербах, Людвиг (Feuerbach, Ludwig), 285
Финли, Моисей (Finley, Moses), 327
Фискальный кризис государства, фискальные напряжения, 10, 12–15, 26, 34, 36, 37, 56, 57, 60, 62, 64, 65, 94, 95, 97, 106, 118, 243, 252, 253
Фисун А. А., 465
Флобер, Гюстав (Flaubert, Gustave), 263
Франк, Андре Гундер (Frank, Andre Gunder), 20, 28, 30
Франция, 42, 58, 59, 64, 66, 67, 69, 72–74, 107, 163, 164, 167–169, 180, 181, 196, 208, 210, 211, 217, 219, 221, 224, 225, 229–231, 234, 238, 242–244, 249, 250, 253, 255, 259, 260, 262–264, 267, 270, 275, 278, 280, 282–284, 288–290, 292–296, 299, 301–303, 334, 343, 392, 463
Фрейд, Зигмунд (Freud, Sigmund), 261, 287
Фридрих II (Frederick II), 225, 232, 238
Фридрих Барбаросса (Frederick Barbarossa), 225, 247
Фридрих Великий (Frederick the Great), 197, 268, 278
Фуко, Мишель (Foucault, Michel), 40

Хайдеггер, Мартин (Heidegger, Martin), 261, 301
Ханнеман, Роберт А. (Hanneman, Robert A.), 22, 398
Харизма, 104, 116, 239
Хаузер, Арнольд (Hauser, Arnold), 38

Хаусхофер, Карл (Haushofer, Karl), 31
Хидэёси, 378, 389–391
Хобсбаум, Эрик Дж. (Hobsbawm, Eric J.), 135
Ходжсон, Маршалл (Hodgson, Marshall), 32
Холл, Томас Д. (Hall, Thomas D.), 22, 29, 63
Хомский (Чомски), Ноэм (Chomsky, Noam), 39, 429
Хорос В. Г., 443
Христианство, 25, 69, 231, 262, 279, 286, 357, 364–366, 369, 373, 384, 426, 433–436

Цвингли, Ульрих (Zwingli, Huldrych), 241
Цирель С. В., 445

Чейз-Данн, Кристофер (Chase-Dunn, Christopher), 29, 63
Чемберлен, Джозеф (Chamberlain, Joseph), 295, 300
Чемберлен, Хьюстон (Chamberlain, Houston), 300
Черненко, Константин, 101
Чернокожие афроамериканцы, 137, 139, 162, 172, 178, 183–188, 208
Численность населения, 58–60, 67, 99, 247, 325, 352, 356
  военных, войск, 43, 99, 213
  этносов, 110, 111
Чомски, *см.* Хомский

Шарнхорст, Г. Дж. Д. фон (Scharnhorst, G. J. D. von), 167
Шекспир, Вильям (Shakespeare, William), 131
Шелли, Мэри (Shelley, Mary), 290
Шелли, Перси Биши (Shelley, Percy Bysshe), 262
Шёнберг, Арнольд (Schoenberg, Arnold), 262
Шнайдер, Йоахим (Schneider, Joachim), 269
Шоу, Джордж Бернард (Shaw, George Bernard), 153
Шпенглер, Освальд (Spengler, Oswald), 24, 439
Штойбен, барон фон (Steuben, Baron von), 168
Штраус Д. Ф. (Strauss, D. F.), 285
Шумпетер, Джозеф (Schumpeter, Joseph), 306, 307, 360

Элвин, Марк (Elvin, Mark), 347, 370
Эли, Джефф, 293
Элиас, Норберт (Elias, Norbert), 37, 261, 441
Элиот, Джордж (Eliot, George), 262
Энгельс, Фридрих (Engels, Friedrich), 291, 304, 309, 311, 316, 322, 332, 439
Эразм Роттердамский (Erasmus, Desiderius), 280
Этничность, 19, 45, 105, 109, 110, 131–195, 364, 454–456
  геополитические причины этнических изменений, 19, 143–195
  этническая ассимиляция, 133, 145, 455
  этническая легитимность, 45, 81, 131, 133–135, 147–178
  этническая миграция, 102
  этнические соматотипы, 136–138, 140, 141
  этнические чистки, 11, 110, 111, 301
  этнический конфликт, 101, 105, 132, 134, 299, 448, 456
  этническое восстание, 110, 111
  этнонационализм, 81, 143–146
  этнонационализм, 117, 131
См. также: Язык, Раса

Язык, 39, 41, 48, 71, 106, 132, 136, 141–146, 151, 152, 154–156, 158–167, 169–171, 177, 178, 189, 194, 195, 280, 287, 300, 425–436, 442, 443
  причины изменения, 159–165, 169, 171, 177, 178
Япония, 38, 48, 54, 58, 67, 69, 94, 100, 197, 199, 217, 313, 320, 338, 347, 355–395
  капитализм в Японии 382–395
См. также: Революция Мэйдзи